ФРАНЦУЗСКАЯ НОВЕЛЛА XXВЕКА

1940–1970

Книга подготовлена пользователями библиотеки . Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации:

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В эту книгу вошли новеллы и рассказы французских писателей, созданные в бурное тридцатилетие между 1940 и 1970 годами.

В период второй мировой войны новелла, по необходимости, потеснила роман. Грозные события истории потребовали от художников слова мгновенного отклика, быстроты эмоциональной реакции. При пушечных залпах музы не замолчали — они вступили в сраженье. Капитуляция буржуазного государства не могла стать капитуляцией народа. Только на два месяца прервался выход газеты «Юманите», запрещенной еще в канун «странной войны». Возникли конспиративные издательства — «Эдисьон де минюи», «Библиотэк франсэз»; в тщательно оберегаемых от постороннего взгляда квартирах сходили с ротапринта серые, малого формата листы с гордо звучавшими названиями: «Пансэ либр» («Свободная мысль»), «Ар франсэ» («Французское искусство»), «Кайе де либерасьон» («Тетради освобождения»), «Орор» («Заря»), «Леттр франсэз» («Французская литература»), «Резистанс» («Сопротивление»)… Роман скажет об этой героической эпохе позднее («Коммунисты» Луи Арагона, «Странная игра» Роже Вайяна, «Смерть — мое ремесло» Робера Мерля, «Мы вернемся за подснежниками» Жана Лаффита, «Там, где трава не растет» Жоржа Маньяна, «Година смерти» Пьера Гаскара и др.). Но к читателям уже тогда спешили стихи, очерки, рассказы, рожденные горечью поражения, звавшие к борьбе, исполненные надежды на грядущую свободу. Тайно распространялись неумело сброшюрованные книжицы — «Мученики» и «Паноптикум» Арагона, «Черная тетрадь» Мориака и первые антологии — «Честь поэтов», «Запрещенные хроники». В подпольной прессе появились «Грешник 1943» и «Хорошие соседи» Арагона; издательством «Эдисьон де минюи» были выпущены повести Эльзы Триоле («Авиньонские любовники»), Веркора («Молчание моря»), Клода Авлина («Мертвое время»). Сопротивление разрасталось, набирало силы, — особенно после победы Советской Армии под Сталинградом, ознаменовавшей «самый великий перелом, который когда-либо знала история войн» (Ж.-Б. Блок). Национальный фронт борьбы за независимость имел множество секций, в том числе и секции творческой интеллигенции — художников, кинематографистов, архитекторов, писателей. В июне 1943 года в Лионе под председательством Жоржа Дюамеля собрался Конгресс писателей Южной зоны Франции.

Широк был фронт французской интеллигенции, вступившей в духовное единоборство с фашизмом: Поль Элюар и Луи Арагон, Роже Мартен дю Гар и Франсуа Мориак, Леон Муссинак и Жан Кассу, Шарль Вильдрак и Габриель Шевалье, Альбер Камю и Жан-Поль Сартр, Пьер де Лескюр и Жан Тардье, Поль Валери и Раймон Кено, Жорж Дюамель и Александр Арну… Имена всех этих мастеров слова стоят под историческим «Манифестом французских писателей» от 9 сентября 1944 года. В нем утверждалось единство художников всех поколений и разных школ перед лицом «смертельной опасности, которая угрожает родине и цивилизации». Многие из писателей ушли в маки, взяли в руки винтовку: Ив Фарж, Андре Мальро, Жан Прево, Рене Шар. Не дожили до освобождения Жак Декур, Жан Прево, Антуан де Сент-Экзюпери, Пьер Юник, Робер Деснос, Андре Шенневьер. Но созданные ими произведения, организованные ими подпольные издания продолжали борьбу.

В книгу, которую держит в руках читатель, вошел ряд рассказов, написанных в годы фашистской оккупации. Память о Сопротивлении, о пути Франции преданной к Франции, взявшейся за оружие, живет и во многих новеллах последующих лет. Внутреннюю потребность, рождавшую такие произведения, передал Пьер Сегерс, неутомимый историк литературы Сопротивления: писать надо для тех, говорил он, «кто ничего не знает или хочет все забыть. И если меня спросят, зачем ворошить пепел, я отвечу: для меня, как и для многих других, пепел этот еще не остыл, это пепел моих погибших друзей, моих близких… Завтра в опасности могут оказаться ваш отец, ваша жена, ваш сын. Кому же, как не вам, думать об этом?».

Самая лаконичная из «военных» новелл — «Граната» Мадлен Риффо. Гаврош 1832 года был отчаянно смел: он собирал патроны и задорно напевал под носом у монархистов, уверенный, что смерть его не коснется. На долю Гавроша 1944 года выпало большее: ему пришлось добровольно прижать смерть-гранату к своей груди, чтобы спасти товарищей. Напряженным лаконизмом новелла Мадлен Риффо напомнит строки Элюара, посвященные памяти легендарного героя французского Сопротивления — полковника Фабьена:

Убит человек.Он был когда-то ребенком……..И уходил на бойПротив тех, кто тиранит людей,И ему ненавистна была даже мысль,Что на свете могут жить палачи.

По трагической поэтичности новелле Риффо созвучны «Две дюжины устриц» Пьера Куртада: запах моря, перламутровый блеск раковин и ледяное дыхание пронесшейся рядом смерти. «Был некий таинственный смысл в том, что эти раковины рождены морем», — так безмятежно начинается рассказ Пьера Куртада. И сразу — переход к трагической современности. Море и ночь — контрастные символы свободы и порабощения. Активное сопротивление фашизму, воссозданное Луи Арагоном, Жаном Фревилем, Жоржем Коньо, Пьером Куртадом, Морисом Дрюоном, Ивом Фаржем, действительно предрекало конец эпохе рабства, открывая эпоху величия, возвращая Францию к жизни.

Подобно тому как обвинение первой мировой войне прозвучало в книгах Роллана и Барбюса, Вайяна-Кутюрье и Лефевра, Аполлинера и Вильдрака, Доржелеса и Дюамеля, патетика антивоенного протеста пронизывает и произведения, посвященные второй мировой войне. Как в 20—30-е годы, так и в 40—60-е воспоминания о недавних сражениях заставляют писателей вновь и вновь размышлять о цене человеческой жизни, о величии самоотверженности, о силе братства.

В годы второй мировой войны Франция жила сложной жизнью, за внешне упорядоченным существованием — активность конспиративных издательств, подпольных групп, партизанских соединений. «В городе тогда были люди, — пишет Пьер Куртад, — которые... стояли на трамвайной остановке, но не садились в трамвай; сидели в скверах на скамейке, но не разглядывали женщин и не присматривали за детьми; часами смотрели на реку, облокотившись на перила моста, но не были при этом ни бродягами, ни рыболовами, ни мечтателями; читали газету, вывешенную у газетного киоска, хотя точно. такая же газета лежала у них в кармане; молились в церкви, не веря в бога, и, направляясь куда-нибудь, зачастую выбирали самый дальний путь». Эти люди необычного поведения и отчаянного мужества ковали победу Франции, ее величие.

Урок героизма, преподанный народом Франции, имел длительное влияние на нравственный климат послевоенной французской литературы. Вера в человека, в его способность жертвовать собой, характерная для многих произведений 50—60-х годов, уходит своими корнями в эпоху Сопротивления.

Опыт Сопротивления значим и для новаторского раскрытия темы социальной пассивности. Пассивность в тот период сомкнулась с коллаборационизмом. Писателям важно разглядеть, откуда шел дух предательства, «дух повилики», как говорил Арагон, чем питалось приспособленчество. Габриель Шевалье в рассказе «Одностороннее движение» разоблачает как матерых коллаборационистов, так и «тихих» обывателей, становящихся пособниками оккупантов вроде бы «помимо своей воли». Андре Вюрмсер иронизирует и над самовлюбленным поэтом, который мечтает «красиво умереть», чтобы досадить оккупантам, и над коммивояжером, привычно твердящим: «меня это не касается». Нет, он не стрелял, не арестовывал, не доносил: он жил отрешенно и безмятежно, чувствуя себя уютно среди «чужих» трагедий.

Героиня Эльзы Триоле (новелла «Лунный свет») тоже уверена, будто ее «это не касается». Такой эгоизм столь же «прозаичен», сколь и неприметен — на первый взгляд — повседневный героизм Жюльетта Ноэль из повести Триоле «Авиньонские любовники». Жюльетта живет, любит, борется. Женщина в норковой шубке из «Лунного света» — лишь существует, прозябает. Она символизирует собой другую Францию, ту Францию, которая надеялась «перетерпеть», «переждать», «приспособиться». Страшная реальность — расстрелы и трупы, — все то, чего героиня «Лунного света» старалась не замечать, тем не менее проникло в ее подсознание, и если относительно беспечными были ее дни, то кошмарными стали ночи.

В рассказе Жана Фревиля «Прыжок в ночь», где перед читателем — потомки мопассановского папаши Милона, граница между рабством и величием разрубает семейные узы. Летчики опускаются на вражескую территорию. Но по странному стечению обстоятельств «эта вражеская территория была их страна, их Франция, ради которой они каждодневно рисковали жизнью». Опасность подстерегает их повсюду. И даже если приземление, «встреча с землей завершилась благополучно... так ли благополучно завершится... встреча с людьми...».

Когда смерть — в лягушачьем мундире оккупанта — идет за тобой по пятам, тебе «дорога каждая минута». То, что не слышал, не замечал раньше, вдруг обретает голос, цвет, упругую форму. «Краски, запахи — все было ярко и сильно» в этот день для героя новеллы Ива Фаржа. Он впитывает в себя свежий воздух, цвета, ароматы, звуки, словно его мучает нестерпимая жажда — жажда жить. Но жить ему осталось меньше суток.

Война, насилие порой так калечат человека, что вернуться к миру ему нелегко. Герой рассказа Жоржа-Эмманюэля Клансье «Возвращение» должен пройти мучительный цикл воспитания чувств, так же как его собратья из многих романов (П. Гаскар «Имущество», Э. Триоле «Неизвестный», А. Лану «Свидание в Брюгге», «Когда море отступает» и др.), раскрывших психическую травмированность человека войной.

С новеллами из эпохи Сопротивления тематически связан «Трус» Жана-Пьера Шаброля. Другая земля, другие оккупанты — французы, «усмиряющие» свободолюбивый Вьетнам. Персонажи Шаброля говорят от имени многих персонажей французской прозы — из «Кабильского соловья» Эмманюэля Роблеса, «Первого удара» и «Обвала» Андре Стиля, «И все-таки желаю удачи» Алена Прево, «Молчания оружия» Бернара Клавеля.

Социальные контрасты, характеризующие послевоенную Европу, выявлены французской прозой многогранно. Прогрессивным художникам отвратителен процесс умерщвления человеческого в человеке. Вслед за «Званым обедом» Пруста и «Престижем» Мориака рождаются произведения, которые являют читателю портреты-маски, гримасы жадности («Проклятье золотого тельца» Андре Моруа) или раболепия («Золотой ключик Бернса» Жильбера Сесброна). В наши дни стало немодным

выставлять напоказ богатство и сословные привилегии. Но они продолжают формировать характеры, вытравляя из человека естественность и радость восприятия жизни («Визит» Франсуа Нурисье).

Сила и постоянство привязанностей сохраняются скорее в «низах», в тех сферах общества, где нет ожесточенной борьбы за власть, за «престижное» место, за право повелевать. «Принцы бедных кварталов» — так назвал одну из своих новеллистических книг Пьер Буланже, намеренно подчеркнув, что степень человеческого благородства тем выше, чем ниже ступенька социальной лестницы. Перу Андре Моруа принадлежит немало ироничных зарисовок, высмеивающих лицемерие «высшего света». Но заглянув на простую крестьянскую ферму, он открыл подлинную красоту нерастраченных чувств (новелла «Возвращение пленного»).

В таких новеллах, как «Возвращение пленного» Моруа или «Прогулка» Бордье, «Брачная контора» Базена или «Флюгера» Гренье, оживает традиция, идущая от Октава Мирбо и Шарля-Луи Филиппа, от «Кренкебиля» Франса и «Правдивых повестей» Барбюса. Специфика новеллы 40—60-х годов, пожалуй, в том и состоит, что она чаще романа приближается ко «дну» жизни. Новелла охотно вводит читателя в дома, где люди несут на себе бремя труда и усталости. Изнутри раскрыл драму одиночества Эрве Базен, автор «Брачной конторы». Ярким праздником врывается киносъемка в быт провинциального городка, и никто не отдает себе отчета в том, что подлинная культура и утонченность чувств нашли себе прибежище не на съемочной площадке, а в рабочей комнате телефонистки («Флюгера» Роже Гренье).

До сей поры в буржуазной социологии еще бытует мнение, будто духовный мир «маленького» человека столь примитивен, что взору художника там просто не на чем задержаться. Но молчаливые люди — не значит молчащие души. Под пером новеллиста человеческие сердца умеют говорить, смеяться и плакать, даже если сами герои молчат («Тишина» Андре Стиля, «Дженни Мервей» Роже Вайяна).

Закаленные жизненными невзгодами труженики легче преодолевают отчужденность, на которую пытается их обречь буржуазное общество. Чувство товарищества опрокидывает стену вражды и между солдатами («Человек в кожаном пальто» Бернара Клавеля) и между крестьянами («Стена» Пьера Гамарра, «Водоем» Пьера Гаскара). Люди приходят друг другу на помощь наперекор морали «сильных мира сего». У Монмуссо, Стиля, Гамарра, Вайяна эта душевная щедрость приобретает особые оттенки. В бедной женщине, «так и не сумевшей подняться выше профессии прачки по иерархической шкале величия» и в муже ее — коммунисте — Гастон Монмуссо видит больше человеческого достоинства, чем в «самом богатом человеке края»: мечта о социализме позволяет им высоко нести голову, пренебрегая житейскими неурядицами. Роже Вайян, чуть раньше образа Дженни Мервей создавший в романе «Бомаск» обаятельный образ ткачихи Пьеретты Амабль, размышлял о социальных истоках благородства: «Отныне только рабочий класс, класс восходящий, производит… человеческие типы, именовавшиеся некогда «породистыми»; качества, которые по языковой традиции продолжают называть аристократическими, мы находим сегодня в среде рабочего класса или тех, кто сражается рука об руку с ним».

Встать на сторону угнетателей или угнетенных — подобный выбор приходится делать героям французской прозы и сегодня. Героиня Роблеса (новелла «Гвоздики») должна предпочесть одно из двух: либо опознать — по требованию полиции — смельчака, расклеивавшего листовки, либо принять на себя ответственность за ложное показание: сохранив жизнь незнакомому человеку, она сохранила и свое человеческое достоинство.

Не всем дано вырваться из тьмы одиночества на простор человеческой солидарности. Но люди стремятся защитить себя от уныния будничных дней хотя бы ожиданием «праздника». Одни ищут его, отправляясь на поиски легендарного клада («Черепаший остров пирата Моргана» Ж. Арно), другие, готовясь к встрече с лесом, с поющей зеленью земли («На уток» П. Буля, новеллы М. Женевуа, «Прощай, Булонский лес!» А. Прево). Там они надеются забыть — хоть ненадолго — пустоту, гнетущую их в многолюдном городе: «…в Париже — пустота. Комнатка в предместье — пустая. Стол на площадке лестницы почти всегда пустой. На улице, в поезде, в метро — незнакомцы с пустыми глазами» (новелла А. Прево «Прощай, Булонский лес!»). Глаз подстреленного фазана, напротив, очень выразителен — он вопиет, взывает к совести, будит уснувшие воспоминания: герою Алена Прево кажется, что он снова лежит в изнеможении, истекая кровью, неподалеку от алжирского села… «Праздник» оказался иллюзией. Чтобы обрести гармонию с миром, нужны иные решения. Но «маленькому» человеку не так-то легко к ним подойти.

Чтобы резче противопоставить гуманистический идеал жизни мертвящей атмосфере буржуазности, писатели порой сознательно наделяют своих героев необычными судьбами: в повествование вторгается романтическая условность или фантастика. Психологическая достоверность характеров не позволила бы героям новеллы «Радуга» бросить вызов общественным предрассудкам. Но Андре Дотель, писатель-романтик, тревожно всматривающийся в однобокое развитие буржуазной цивилизации и противопоставляющий ей ценности человеческого духа, создал для них ситуацию исключительную: ливневый поток, подхвативший юношу и девушку, позволил им вкусить особую, нездешнюю любовь. С тех пор в грозу они всегда выбегают из дома — прочь от держащих их в плену

скуки и лицемерия. В новелле Марселя Эме «Человек, проходивший сквозь стены» «нездешняя» сила помогает смирному клерку торжествовать над коллегами по министерству, придирой-начальником, полицией. Реальная действительность таких перспектив не открывает, уверен Эме, но фантазия делает человека всемогущим, хотя бы ненадолго.

Жанр новеллы выявляет самые различные возможности современной прозы: документального повествования («Последнее письмо» Коньо, «Национальная дорога» Муссинака) и авантюрной истории («Черепаший остров пирата Моргана» Арно); сказки («Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Маленькие зеркальца» Бютора) и библейской легенды («Ной» Кайуа); психологической миниатюры («Возвращение пленного» Моруа, «Дженни Мервей» Вайяна) и фантастической аллегории («Человек, проходивший сквозь стены» Эме).

Французская новелла мастерски пользуется иронией, — то создавая ситуации парадоксальные («Чем опасны классики» Вьяна), то рассказывая случаи, обычные для буржуазных нравов («Подпись» Буланже), то исследуя сложную логику человеческого характера. Ироническая интонация некоторых новелл заставляет читателя взглянуть на героя-рассказчика, веско аргументирующего свое право на «спокойную» жизнь, глазами автора, неприемлющего такой позиции. Так, например, к финалу своей исповеди «маленький» человек из новеллы Вюрмсера «Накипело…» кажется не столь уж безобидным: он упрямо хочет считаться «маленьким», чтобы раболепно отступить перед палачами. Само название новеллы — «Les involontaires» — многоаспектно: это и невольные признания, и «невольные» поступки, и опасные своей пассивностью люди: они презирают добровольцев — volontaires — и оправдывают свое предательство тем, что действовали «не по своей воле».

Лучшими своими произведениями французские писатели убеждают современника: социальная пассивность — сродни преступлению; тот, кто отходит в сторону, уступает дорогу слепой и грубой тирании. Вот почему большинство героев французской новеллы по-прежнему сопротивляются самой системе буржуазных ценностей, отстаивая право человека самоотверженно любить, увлеченно трудиться. Они стараются защитить не только себя, но и тех, кто растерялся, кто впал в отчаяние.

В январском номере журнала «Нувель ревю франсэз» за 1975 год прошла дискуссия о значении жанра новеллы сегодня. Едва ли можно согласиться с «оптимистическим» выводом ее участников, будто бы только новеллы — в силу их лаконизма — и способен еще читать современный читатель, «опустошенный вечным шумом, измученный скоростями, беспрерывно «торопящийся с того момента, как зазвонит будильник». Еще менее справедливо утверждение, что новелла, «схватывая мгновение», не претендует — в отличие от романа — на социальный анализ. Но в дискуссии верно зафиксировано основное направление развития новеллы: «она старается держаться ближе к земле, к реальной жизни». В этом смысле поиски французской новеллы и романа движимы одной целью: помочь современнику понять других и самого себя, разгадать причины отчуждения, противопоставить ему мораль взаимопонимания.

Новеллы, составляющие эту книгу, повествуют о классовых противоречиях и духовной стойкости, о трагедиях и надеждах, о нравственных испытаниях и росте самосознания французов в середине XX века. Внебуржуазная шкала ценностей, которой поверяют свои поступки многие герои современной французской прозы, помогает им искать путь к активной борьбе за торжество социальной справедливости.

Монмуссо родился в селении Люин (департамент Эндр-и-Луа-ра) в бедной рабочей семье. Его детство и школьные годы протекли в деревне Азей, на земле Турени, прославленной именами Франсуа Рабле и Поля Луи Курье.

В юности Монмуссо плотничал, работал на мукомольном заводе в Туре, а с 1910 года стал железнодорожным рабочим в Париже. Возмущенный капиталистической эксплуатацией, Монмуссо включается в стачечную борьбу. «Октябрьская революция... — свидетельствует он, — изменила ход истории во Франции и во всем мире».

Бессменный директор еженедельника «Ви увриер» с 1922 года, Монмуссо в том же году избирается генеральным секретарем Унитарной всеобщей конфедерации труда. Делегат II конгресса Проф-интерна, он вместе с Пьером Семаром встречался и беседовал в Москве с В. И. Лениным. Задолго до этой встречи Ленин «вошел в мою жизнь... под сильным воздействием реальности и опыта, — вспоминал Монмуссо. — В моем сознании Ленин и Октябрьская революция составляли монолит. Встреча в Кремле побудила меня совершить первый, решающий шаг к коммунизму».

Еще в самом начале 20-х годов у Монмуссо наметилось внутреннее размежевание с анархо-синдикализмом: под влиянием борьбы Советской власти с интервенцией и внутренней контрреволюцией он приходит к признанию необходимости пролетарского государства. После возвращения из Москвы на родину Монмуссо вступает в ФКП. В 1926 году избирается в ее ЦК.

В 20-е годы реакция неоднократно бросала Монмуссо в тюрьмы. Он боролся против фашизма и в эпоху Народного фронта, и в годы Сопротивления. «Человек, который стремится постичь истинный смысл жизни, — говорил Монмуссо в грозный 1944 год, — вступает в борьбу за человечество, за наилучшую цивилизацию на стороне народа и вместе с народом, во имя коммунизма».

Позиция Монмуссо-художника столь же определенна: он на стороне рабочего класса, на стороне народа; он открыто утверждает идеи коммунизма, историческое значение примера Советского Союза.

Любимый герой Монмуссо, рассказчик всех его книг — коммунист Жан Бреко. Ироничный ум Жана Бреко, его юмор и жизнелюбие сродни мудрой насмешливости и жизнестойкости Кола Брюньона. В памяти Бреко живет история «благословенной Турени», а в его сочной речи оживает ее красота: сотворенные гением народа сказочные замки, первозданность Шинонского леса, стремительный бег Луары, аромат Вуврей и Шанонэ. Жан Бреко любит труд: ведь «жажда созидания лежит в самой природе человека». Однако при капитализме творческие возможности труженика остаются втуне. Настанет день, верит Жан Бреко, когда миллионы рабочих «размиллиардят миллиардеров».

Разные истории из жизни туреньских крестьян и рабочих поведаны с юмором, а порой и с мягким лукавством. Когда же речь идет о толстосумах, ирония и сарказм Жана Бреко обретают памфлетную силу.

«Никто не станет отрицать, — говорил Марсель Кашен, — что, вслед за Рабле и Полем Луи Курье, Жан Бреко в наши дни защищал права народа наперекор всем его исконным врагам».

Gaston Monmousseau: «La musette de Jean Brecot natif de Touraine» («Котомка Жана Бреко, уроженца Турени»), 1951; «Indre et Loire, chef-lieu Tours» («Эндр и Луара, центр — Тур»), 1951; «L'Oncle Eugene selon Jean Brecot» («Дядюшка Эжен по Жану Бреко»), 1953; «La musette de Gaston Monmousseau» («Котомка Гастона Монмуссо»), 1963.

Рассказ «Дядюшка Эжен» («L'Oncle Eugene») входит в книгу «Дядюшка Эжен по Жану Бреко».

Дядюшка Эжен

Если вам случится ехать из Тура в Сомюр той дорогой, что вьется по правому берегу Луары, вы непременно увидите старый феодальный замок, — он возвышается над городишком Люин, напоминая цветущий побег, прижившийся у подножья холма.

Из этих-то мест и происходит мой дядя Эжен, сын папаши Сильвена, который в свое время произвел на свет и мою мать.

Жители Люинской коммуны — и богатые, и бедные — в один голос утверждали, что дядюшка Эжен сумел «выбиться в люди» и «был оборотист в делах», не то что моя незадачливая матушка, которая выше прачки так и не поднялась.

Судьба, как видно, часто зависит от пустяка, вот и угораздило меня родиться в семье прачки и Жана-без-земельного; мой отец, с молодых лет увлекавшийся республиканскими идеями самых разных мастей и оттенков, в конце концов стал коммунистом и оставался им до самой смерти.

Если бы я родился сыном не своего отца Бреко, а «оборотистого» дяди Эжена, то, по всей видимости, давным-давно был бы не тем, что я есть.

Может, я был бы нотариусом, или отошедшим от дел торговцем недвижимым имуществом, как мой дядя Эжен, или, наконец, председателем судебной палаты по уголовным делам.

Правда, мне могут возразить, что в таком случае совесть моя была бы не столь покойна…

Как знать? Никто еще не появлялся на свет с заранее сложившейся совестью.

Совесть зарождается в человеке, как почка в растении, развитие и изменение ее зависят от того, на какой почве, в каком климате она растет и как за ней ухаживают.

Чтобы чувствовать угрызения совести, надо уметь к ней прислушиваться, и главное — не страшиться ее суда, даже если он беспощаден.

Короче говоря окажись я сыном «оборотистого» дядюшки Эжена, у меня, чего доброго, была бы теперь совесть богатого выскочки, и, наверное, я так же прекрасно уживался бы с нею, как и мой дядюшка.

В том, что я плоть от плоти своей матери и своего отца Бреко, — вина не моя, и если моя мать осталась простой прачкой, то вовсе не потому, что таково было ее призвание: вряд ли занятие это могло нравиться ей, скорее, она чувствовала к нему отвращение; но у нее не было выбора; чтобы выжить, надо было кормиться, а на еду приходилось зарабатывать деньги. Вот тут-то и оказалось, что многие обитатели городка Азэ, принадлежавшие к среднему и тем более к высшему сословию, предпочитали по тем или иным соображениям отдавать свои простыни, рубашки, скатерти и носовые платки в стирку.

А посему моя мать, кроме собственного белья, стирала еще и чужое, за тридцать су в день.

Надо думать, она могла бы делать работу и поинтереснее: доверяли же ей мыть посуду во время свадебных пиров или праздников урожая.

Прошу заметить, из нее могла бы выйти и учительница, и акушерка, и булочница или бакалейщица, — в любом деле она была бы не хуже других, если бы ей представилась какая-нибудь возможность.

Но в том-то и дело, что в наше время единственный род деятельности, где она могла проявить себя, был труд прачки, а на этом поприще не приходится рассчитывать ни на блестящую карьеру, ни на большие деньги.

Если дать волю воображению — а почему бы и нет, ведь это ни к чему не обязывает, и я знаю людей, которые, ища утешения от жизненных невзгод, не отказывают себе в удовольствии помечтать о том, чего не было и никогда не будет, — так вот, если вообразить, что мой отец Бреко — не Жан-безземельный, а богатый собственник, которому повезло в делах, и я вовсе не сын прачки, то на моем месте все равно оказался бы кто-нибудь другой, потому что по нынешним временам во французских городках невозможно обойтись без прачек, равно как без белошвеек и портных. И те и другие найдутся тотчас, — известно ведь, какая пропасть бедняков требуется, чтобы содержать одного богатея, и не случайно всюду, где есть богатые, бедных всегда большинство.

Так вот, отец мой Бреко происходил из крестьян все той же Люинской коммуны; правда, у его отца, мелкого землевладельца, «угодий» было ровно столько, что для их обработки вполне хватало двух пар рук — его собственных и моей бабки Бреко.

Женившись, отец арендовал участок земли и развел виноградник, — на той возвышенности, что позади замка.

Прежде чем виноградник начнет плодоносить, ждать надо четыре года; это почти как у людей: чтобы научиться резво топать ножками, бойко болтать язычком и без посторонней помощи делать пипи в укромном уголке за забором, времени требуется не меньше.

Перед самым плодоношением отцовский виноградник, как и многие другие, был сплошь поражен филоксерой. Пришлось отцу отказаться от аренды, а так как его республиканские взгляды были всем известны, то в округе, где верховодили монархисты, найти работу ему не удалось.

В один прекрасный день меня усадили на телегу, где была кучей навалена мебель и кухонная утварь, и, выехав таким вот манером из родного Люина, я как-то под вечер оказался в Азэ, что на реке Шер, в краю республиканцев, где отцу посчастливилось устроиться поденщиком, а матери, привыкшей иметь дело с родниковой водой, довелось познакомиться с моющими свойствами воды речной.

Чего бы я, Жан Бреко, ни стоил сам по себе, путь мой по жизни начался именно так; и это понятно: когда люди делятся на богатых и бедных, вовсе не мы распоряжаемся своей жизнью, это жизнь распоряжается нами — и так будет продолжаться до тех пор, пока мы не переделаем ее на собственный лад.

И задирать нос тут нечего, — это я говорю тем, кто смотрит на простых тружеников свысока, хотя, если рассудить здраво, они не достойны чистить нам башмаки.

Так вот, естественным ходом вещей дядюшка Эжен сделался торговцем недвижимостью, а моя мать — тоже не менее естественным образом — стала всего лишь прачкой.

Когда я пытаюсь установить истинное значение слов, то убеждаюсь, что в подобных случаях слова «брат» и «сестра» утрачивают — с точки зрения обычной морали — всякий смысл.

Мне могут заметить, что в истории дядюшки Эжена нет ничего исключительного — подобным историям, мол, «несть числа»…

А что если я, Жан Бреко, все-таки хочу поговорить с вами о моем дяде? Дайте мне досказать до конца.

Сильвен, мой дед со стороны матери, был бонапартист, семь лет прослужил он в армии при Наполеоне III, так и не сумев дослужиться до унтер-офицерских нашивок; его низкое происхождение было тому виною; и тем не менее, он не уставал твердить дядюшке Эжену, что «в те поры всяк носил в походной сумке маршальский жезл».

Дед работал до глубокой старости, но так почти ничего и не наработал; это не мешало ему внушать дядюшке, что «ничего не добиваются одни только бездельники» и что «господь бог всегда отличает достойных».

Можно, оказывается, смотреть и не видеть.

С тех пор, как эти незыблемые истины засели в дядюшкиной голове, им овладела навязчивая мысль — разбогатеть, — и, вернувшись с военной службы, он принялся делать деньги; это ему удалось; и чем больше денег у него становилось, тем истовее почитал он господа бога, уверовав в его доброту.

Мать моя тоже с детства верила в божескую милость, но год проходил за годом, и чем дольше стирала она на людей, чем сильнее сводило ей ревматизмом суставы, чем чаще приходилось ей прибегать к жавелевой воде, полоща белье прямо в реке при любой погоде, тем больше ветшала ее вера, пока не износилась вовсе.

Я вовсе не утверждаю, будто коммунистом нельзя стать, не исходив всех тех дорог, что выпали на долю четы Бреко, однако надо признать, что мысль об этом гораздо скорее приходит в голову, когда продираешься сквозь заросли шиповника, чем на прогулке средь розовых кустов перед фамильным замком.

Дядя Эжен нанялся кучером-садовником к одному из местных нотариусов. Наслушавшись поучительных разговоров о том, как скупать земли у крестьян, попавших в беду, как перепродавать их тем, кто побогаче, или как улаживать дела о наследстве, он понял, что нашел верный путь.

И вот, почувствовав себя достаточно окрепшим, чтобы летать на собственных крыльях, дядюшка

возвратился в родные края и сделался торговцем недвижимостью.

Прошлым летом, оказавшись на Луаре и проезжая по дамбе, что как раз напротив Люина, я вдруг узнал старый трактир у поворота дороги, спускавшейся от реки к городу.

Еще мальчишкой я приходил сюда играть с сыном трактирщика.

«Сделаем-ка остановку, — подумал я, — и пропустим по стаканчику во славу этих мест». При входе в трактир у меня часто забилось сердце, — и немудрено: ведь прошло, почитай, шестьдесят пять лет, а здесь ничего не переменилось, только трактирщик был мне незнаком; я попросил его принести бутылку «вуврэ» или «монлуи».

— Сухого или сладкого? — спросил трактирщик.

Тут я хочу всем вам дать дружеский совет: если случится — а так случается нередко, — что вас спросят, какое «вуврэ» или «монлуи» вы предпочитаете, сухое или сладкое, отвечайте не моргнув глазом: «Принесите бутылочку из урожая такого-то года», и при этом глядите трактирщику прямо в глаза.

Он улыбнется понимающе, отнесется к вам с величайшей предупредительностью, и вы отведаете настоящего «вуврэ» или «монлуи»; оно может оказаться сухим или сладким, — все зависит от года сбора либо от сезона, когда вы будете его пить, — только и всего.

Ибо вино, если оно настоящее, — это кровь виноградника, а виноградник, даже упрятанный в бутыли, продолжает жить в этой крови, выжатой из него и должным образом процеженной. Он начинает буйствовать, как только в лозе пробудится сок, еще пуще неистовствует в пору цветения и позже, когда из недозревших еще ягод готовят «кислое» молодое вино, пока наконец, уже слишком старый и утомленный борьбой, не становится смирным напитком, в котором дремлет избыток достоинств: благородный оттенок, тонкий букет и дивный аромат — и тогда нам остается только уметь им наслаждаться.

Отпивая вино маленькими глотками, смакуя его и прополаскивая горло, я подумал о дяде Эжене и вдруг загорелся нетерпением узнать, что с ним теперь.

— Вы про господина Эжена? — осведомился трактирщик. — О, это самый состоятельный человек в здешних краях! И притом весьма достойный. Да, ему уже за девяносто. Теперь, на старости лет, господин Эжен остался совсем один; все свое состояние он завещал люинскому приюту для престарелых, получил там для себя отдельную комнату до конца дней и живет припеваючи!

Бедный дядюшка Эжен! Я его понимаю: я хоть ему и племянник, но никогда не рассчитывал стать его наследником.

Мысль о дяде никогда не связывалась у меня с представлением о наследстве, — слишком велика была пропасть, отделявшая сына прачки от его разбогатевшего родственника.

Таким уж меня, Жана Бреко, сделала жизнь; в канун Нового года меня, совсем еще крошку, моя бедная мать посылала поздравлять с праздником своих клиентов; по обычаю, бедняк, вроде меня, получал за поздравление гостинцы, и я чувствовал себя таким завзятым попрошайкой, что ощущение это сказалось потом и на моих отношениях с богатым дядюшкой: «Если я навещу его, — казалось мне, — он, пожалуй, решит, что я хочу к нему подольститься».

«А ну его!» — зарекся я. Позднее моим сознанием завладели иные понятия — понятия рабочего человека, тем прочнее укоренившиеся во мне, что они не имели ничего общего с представлениями торговца недвижимостью.

Чего-чего, а наследников у дядюшки Эжена хватало; бесчисленные племянники и племянницы со стороны моей тетки наперебой заискивали перед ним, и если он, нажив состояние, остался в старости один, как перст, то это потому, что хорошо знал, чего стоят излияния его родственников.

Столько дел о наследстве прошло через его руки! Как часто приходилось ему видеть наследников, что бросались к нотариусу и чуть ли не дрались над свежей могилой богатого родственника или состоятельного отца!

И вот дядя передал все свое добро в богадельню. Бедный мой дядюшка Эжен, как я его понимаю: он ни в чем не нуждается, ноги его обуты в мягкие шлепанцы, ест он понемножку, ровно столько, сколько в состоянии переварить желудок человека, которому перевалило за девяносто, — все равно, богат он или беден.

Теперь дядя Эжен в богадельне; а в богадельне много народу — стариков и старушек в синих халатах, у которых либо никого нет, чтобы им помочь, либо есть дети, но и они уже не в силах ухаживать за ними — то ли из-за отсутствия средств или времени, а может, потому, что и у них не

осталось никакого «добра» — ни дома, ни земли, проданных по причине филлоксеры или аграрного кризиса, разоряющего одних только малоземельных.

Не исключено, что дядя Эжен с ними знаком.

Но у дяди Эжена — отдельная комната; вероятно, он сидит в своем кресле и размышляет, — теперь он может посвящать размышлениям все свое время.

Мой отец прожил более восьмидесяти лет, и я знаю, что такое восьмидесятилетний старик, у которого вдоволь времени для размышлений.

Когда в 1936 году меня избрали депутатом от коммунистической партий, отец сказал мне при встрече: «Это славно, мой мальчик, но смотри не бери пример с других… Конечно, мне хотелось бы пожить еще немного, чтобы увидеть во Франции Советы, но все равно я счастлив — ведь мне довелось быть свидетелем того, как крепнул социализм в СССР».

Вот о чем думал мой отец. Дожив до восьмидесяти лет, он не предавался тягостным воспоминаниям о том, что выпало на его долю, он думал о будущем.

А вот дядюшку Эжена одолевают, должно быть, те же мысли, что и деда Сильвена: тот, сидя в кресле, только и мог, что рассказывать о своих итальянских походах. Дядюшка Эжен тоже вспоминает о победах, одержанных на поприще перекупщика земли, о деньгах, которыми он ссужал невезучих крестьян под такой кабальный залог, что те уже никогда не могли расплатиться.

Долгими днями вспоминается ему то участок земли, то дом, которые уже перестали быть собственностью попавших в беду хозяев, и добавились к его «добру» или, после перепродажи, звонкой монетой осели в его ладонях.

И дядя Эжен по-прежнему не устает повторять себе: «Я стал самым богатым человеком в округе». Бедный дядюшка! Снова и снова, по сто раз на день, твердит он одно и то же, и как знать, не мнит ли он себя равным нынешнему герцогу Люинскому, который с высоты своего замка озирает потухшим взором великолепную панораму долины, где текут воды милой моему сердцу Шер, спеша в ласковые объятия серебристых струй Луары?

Взять реванш над своим господином — вот ведь что важно для крепостного, — не так ли, бедный мой дядюшка Эжен? — а вовсе не тревоги и не слезы крестьян, разоренных филлоксерой, градом или ящуром и решившихся прибегнуть к услугам перекупщика!

Если бы дядя Эжен задумался над судьбой этих несчастных, то я знаю, за какую мысль он бы ухватился: он успокоился бы на том, что не он же наслал филлоксеру на виноградники маломощных хозяев, не он заразил ящуром их скот и хлева, — он просто делал свое дело перекупщика, притом в полном согласии с законом, и господь бог, который не может быть одинаково добр и к богатым, и к бедным, признал его достойным милости и сподобил стать богаче всех в этом краю.

И мне вдруг захотелось навестить дядю Эжена.

«Это я, Жан Бреко, — сказал бы я ему, — сын прачки, ваш племянник, коммунист; много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз, мне было тогда не больше сорока пяти, а теперь уже все семьдесят…

Бедный мой дядюшка! Стало быть, вы — в доме для престарелых и всем довольны. Значит, бедный мой дядюшка, комнаты в двадцать пять метров достаточно, чтобы приютить на склоне лет богатейшего человека округи, — и, кроме убогого воспоминания, что огоньком свечи мерцает над мраком прошлого, вам, стало быть, ровно ничего не нужно?

Право, стоило ли ради этого стараться, бедный мой дядя Эжен!

Нет, нет, не тревожьтесь, я не посягаю на вашу собственность, это пристало разве что наследникам господина Бус сак а, — они небось сгорают от нетерпения: «Старику давно бы пора на тот свет», — твердят они, готовые вцепиться друг другу в глотку.

Ведь я, Жан Бреко, сын прачки, — один из самых богатых людей Франции, мне принадлежат несметные сокровища, бедный мой дядюшка: я богат животворной и пламенной идеей, она сверкает ярче самой прекрасной звезды на небосклоне, она никогда не угаснет и вечно будет звать меня вперед.

И потом — у меня есть семья, огромная и добрая, как хлеб».

За свою жизнь Андре Моруа опубликовал около двухсот книг: романы («Молчаливый полковник Брэмбл», 1918; «Превратности любви», 1928; «Семейный круг», 1932; «Инстинкт счастья», 1934), новеллы, воспоминания, литературные эссе, исторические и социологические очерки, художественные биографии — Гюго, Бальзака, Жорж Санд, Дюма, Байрона. Но в любом жанре Моруа остается прежде всего психологом. В прославивших его биографиях он мог весьма вольно обойтись с историческим фактом, но придирчиво следовал за логикой человеческого характера, корректируя событийную неточность психологической достоверностью. «Не столько анализировать творчество, сколько показывать борение человеческих страстей», — требовал от себя автор «Лелии» (1952), «Олимпио» (1954), «Прометея» (1965).

Это же стремление руководило и Моруа-новеллистом. «Что я знал хорошо? — самокритично спрашивал он. — Среду нормандских промышленников, в которой провел десять лет, позднее — литературные круги Парижа и немного, совсем немного крестьян Пери-гора. Все это слишком узкие пласты моей эпохи. По сравнению с Бальзаком... или Чеховым, врачом, входившим и в избы бедняков, и в поместья богачей, мой опыт более чем скромен».

Моруа всегда стремился «не судить, а объяснять», но социальная зоркость художника в таких новеллах, как «Проклятие золотого тельца» или «Отель Танатос», побуждала его менять мягкие ироничные интонации на резкие, сатирические. Глубину современного искусства Андре Моруа охотно поверял эталоном русской классики (книга о Тургеневе, циклы статей о Чехове и Л. Толстом). Свою близость традициям русской реалистической литературы Моруа ощущал особенно явственно, размышляя о гражданском долге интеллигента, об ответственности перед простым человеком, который «берется за книгу вовсе не из желания повосторгаться техникой письма. Он ищет в ней нравственные ценности и новые силы, чтобы продолжать борьбу».

Моруа-публицист и литературный критик (книги «Миссия общественных библиотек», «Диалоги живых», 1959; «От Пруста до Камю», 1963 и др.) полон уважения к своим современникам, он всегда ищет в их жизни и творчестве черты, ему близкие, стараясь разгадать логику иных судеб, сложившихся не так, как его собственная.

Andre Maurois: «Meipe ou ta Delivrance» («Meun, или Освобождение»), 1923; «Premiers contes» («Первые рассказы»), 1935; «Toujour l'inattendu arrive» («Всегда случается неожиданное»), 1943; «Le diner sous les marroniers» («Обед под каштанами»), 1951; «Pour piano seul» («Только для фортепьяно»), 1964.

Новелла «Возвращение пленного» («Le Retour du prisonni-er») включена в сборник «Обед под каштанами». Рассказ «Проклятье золотого тельца» («Malediction de l'or») входит в книгу «Только для фортепьяно».

Возвращение пленного

История эта не вымышленная, а подлинная. Произошла она в 1945 году во французской деревушке, которую мы по понятным причинам назовем условно Шардей.

Начинается наша история в поезде, на котором возвращаются из Германии пленные французы. Их двенадцать человек в купе, рассчитанном на десятерых; им страшно тесно, они изнемогают от усталости, но настроение у всех повышенное, и они счастливы от сознания, что после пятилетнего отсутствия снова увидят наконец родные места, свой дом, свою семью.

Почти у всех воображение занято сейчас образом женщины. Они думают о ней с любовью, с надеждой, а кое-кто и с тревогой. Найдут ли они ее все такою же, по-прежнему верной? С кем она встречалась, что делала в эти долгие годы одиночества? Удастся ли вновь наладить совместную жизнь? Те, у кого есть дети, волнуются меньше. Их женам пришлось заниматься ребятишками, и присутствие малышей, их жизнерадостность, помогут на первых порах войти в привычную колею.

В углу купе сидит высокий, худой мужчина, с живым лицом и горящими глазами, похожий скорее на испанца, чем на француза. Зовут его Рено Лемари, и родом он из Шардея в Перигоре. В то время как поезд мчится в ночи и время от времени паровозный свисток покрывает однообразный грохот колес, он беседует с соседом:

— Ты женат, Сатюрнен?

— Конечно, женат… Еще до войны два малыша родилось… Ее зовут Марта. Хочешь, покажу карточку?

Сатюрнен — низкорослый веселый мужчина со шрамом на лице — вынимает из внутреннего кармана потрепанный, засаленный бумажник и с гордым видом показывает рваную фотографию.

— Красавица! — замечает Лемари. — И тебе не боязно возвращаться?

— Боязно?.. Я сам не свой от радости. Чего же бояться?

— Но ведь она красавица, осталась одна, а вокруг столько мужчин…

— Ты меня смешишь! Для Марты других мужчин от роду не существовало… С ней вдвоем мы всегда были счастливы… А если бы я тебе показал, какие письма она мне присылала все эти пять лет…

— Ну, письма… Это еще ничего не доказывает… Я тоже получал прекрасные письма… И все-таки я очень волнуюсь.

— Ты не уверен в своей жене?

— Да нет, уверен… Был, по крайней мере, уверен… Пожалуй, больше, чем кто другой… Мы женаты уже шесть лет, и ничто никогда не омрачало нашу жизнь.

— Так в чем же дело?

— Все дело, старина, в моем характере… Я из тех, что никак не могут поверить в счастье. Я всегда твердил себе, что Элен для меня слишком хороша, слишком красива, слишком умна… Она женщина образованная, мастерица на все руки… Возьмется за тряпку — тряпка превращается в платье… Примется обставлять крестьянский домик — он становится раем… Вот я и думаю: во время войны в наших местах перебывало много беженцев и среди них, разумеется, попадались люди куда лучше меня… Возможно, были и иностранцы, союзники… На самую красивую женщину в селе, ясное дело, обращали внимание.

— Ну и что же такого? Раз она тебя любит…

— Так-то оно так, старина. Но ты представь себе: жить в одиночестве целых пять лет. Шардей не ее родина, а моя. Родни у нее там нет. Значит, соблазн был велик.

— Ты меня смешишь, честное слово! У тебя мозги набекрень… Ну, допустим даже, что что-то и было… Что ж из этого, если она о нем и думать перестала? Если только ты один ей и нужен?.. Скажут мне, предположим, что Марта… Так я отвечу: «Ни слова больше!.. Она мне жена; пришлось воевать; она осталась одна; а теперь снова мир… Мы начинаем сызнова».

— Я не таков, — возразил Лемари. — Если я узнаю, когда вернусь, хоть сущую малость…

— Что же ты тогда сделаешь? Убьешь ее? Ты полоумный, что ли?

— Нет, ничего я с ней не сделаю. Даже не попрекну. Я сгину. Уеду куда-нибудь подальше,

переменю имя. Оставлю ей деньги, дом… Мне ничего не надобно, я заработаю себе на хлеб. Начну новую жизнь… Может, это и глупо, но уж таков я: все или ничего…

Паровоз просвистел; загромыхали стрелки; поезд входил в вокзал. Собеседники умолкли.

Мэром Шардея был сельский учитель. То был человек честный, добрый и осмотрительный. Получив в один прекрасный день уведомление о том, что двадцатого августа должен вернуться домой Рено Лемари, входящий в группу пленных, направляющихся на юго-запад, мэр решил лично оповестить об этом его жену. Он застал ее за работой в садике; садик у нее был лучше всех на селе, ползучие розы обрамляли крыльцо с обеих сторон.

— Я отлично знаю, мадам Лемари, что вы не из тех женщин, которых, во избежание опасного осложнения, нужно предупреждать о возвращении супруга… Надобности в этом нет, разумеется. Более того, позвольте заметить, ваше поведение, ваша строгость всех восхищали… Даже кумушки, которые обычно не слишком снисходительны к другим женщинам, не могли ничего сказать на ваш счет.

— Всегда найдется, что сказать, господин мэр, — заметила Элен, улыбнувшись.

— Я сам так думал, мадам, именно так… Но вы всех их обезоружили… А пришел я для того, чтобы увидеть, как вы обрадуетесь… и, уверяю вас, радуюсь вместе с вами. Вам, думаю, захочется устроить ему торжественную встречу… Как и у всех теперь, у вас, верно, не густо, но по такому случаю…

— Вы совершенно правы, господин мэр. Я устрою Рено торжественную встречу… Вы сказали, двадцатого? А в котором часу, как вы думаете?

— В бумаге сказано: «Поезд отправляется из Парижа в двадцать три часа». Такие составы движутся медленно… Мужу вашему придется слезть в Тивье, значит, ему предстоит пройти еще четыре километра пешком. Так что раньше полудня его не ждите.

— Уверяю вас, господин мэр, ему будет приготовлен отличный завтрак… Сами понимаете, вас я не приглашаю… Но я очень благодарна вам за то, что вы пришли.

— В Шардее все любят вас, мадам Лемари… Хоть вы и не здешняя, все вас считают своею.

Двадцатого числа Элен Лемари поднялась в шесть часов утра. Ночь она не спала. Накануне она убрала весь дом, вымыла выложенные плиткой стены, натерла полы, заменила запыленные шнуры у оконных занавесок свежими. Затем она отправилась к Марсиалю, местному парикмахеру, так как решила завиться, и пролежала ночь с сеткой на голове, чтобы не смять прическу. Она пересмотрела свое белье и любовно выбрала шелковое, которое ни разу не надевала за все долгие годы одиночества. Какое надеть платье? Когда-то ему особенно нравилось полосатое синее с белым из переливчатой ткани. Но, примерив его, она с великим огорчением убедилась, что оно стало ей широко, так сильно похудела она от недоедания. Нет, она наденет черное, которое сшила сама, и украсит его цветным воротничком и поясом.

Перед тем как приготовить завтрак, она припомнила все, что он любит. Но во Франции 1945 года многого недоставало… Сделать шоколадный крем?.. Да, он очень его любит, но шоколада-то нет. К счастью, у нее было несколько свежих яиц от собственных кур, а Рено говорил, что она готовит яичницы лучше всех… Он любит недожаренное мясо, хрустящую картошку, но лавка шардейского мясника закрыта уже третий день… Был у нее цыпленок, зарезанный накануне; она изжарила его. А так как одна из ее соседок уверяла, что в городке неподалеку лавочник продает из-под полы шоколад, она решила съездить туда.

«Если я выйду из дому в восемь, — подумала она, — то к девяти могу возвратиться… Перед уходом я все приготовлю, так что, когда вернусь, мне останется только заняться стряпней».

Она была глубоко взволнована и вместе с тем очень весела. Погода стояла прекрасная. Никогда еще утреннее солнце так не сияло над долиной. Она стала накрывать на стол, напевая. «Скатерть в белую и красную клетку… Стол был покрыт ею за нашим первым супружеским обедом… Будут розовые тарелки с картинками, которые так забавляли его… Бутылку игристого вина… а главное — цветы… Он всегда любил, чтобы на столе были цветы, и говорил, что я подбираю букеты лучше всех».

Она составила трехцветный букет: белые маргаритки, маки, васильки и несколько колосьев овса. Прежде чем уехать, она, опершись на велосипед, долго смотрела в распахнутое окно на их маленькую столовую. Да, ничего не скажешь, все приготовлено отлично. После всех пережитых

невзгод Рено будет, конечно, удивлен, что и в доме его, и в жене почти ничего не изменилось… Она посмотрелась в большое зеркало. Слишком худа, пожалуй, но зато какой цвет лица, какая она молодая и притом явно влюблена… Голова кружилась у нее от счастья.

«Ну, пора в дорогу! — подумала она. — Который час? Боже, уже девять!.. Как я замешкалась… Но мэр сказал, что поезд придет около двенадцати… К тому времени вполне успею».

Домик супругов Лемари стоял на отшибе, на самой окраине села, а потому никто не заметил, как солдат — худой, с горящим взглядом — прокрался в их сад. На мгновение он замер, ослепленный светом и счастьем, одурманенный красотой цветов и гудением пчел. Потом он тихо позвал:

— Элен!

Никто не ответил. Он повторил несколько раз:

— Элен!.. Элен!..

Встревоженный безмолвием, он подошел к окну и увидел стол, накрытый на двоих, цветы, бутылку игристого. Сердце его так дрогнуло, что ему пришлось прислониться к стене.

«Боже! Она живет не одна!» — подумал он.

Час спустя, когда Элен вернулась домой, соседка сказала ей:

— Я видела вашего Рено. Он бежал по дороге. Я его окликнула, а он даже не обернулся.

— Бежал?.. В какую же сторону?

— В сторону Тивье.

Она бросилась к мэру, но тот ничего не знал.

— Я боюсь, господин мэр… Очень боюсь… Рено на вид хоть и суров, но он человек ревнивый, мнительный. Он увидел два прибора… Он, вероятно, не понял, что я жду *его*… Надо немедленно его разыскать, господин мэр… Во что бы то ни стало… С него станется, что он уже и не вернется… А я так люблю его!

Мэр распорядился, чтобы на вокзал Тивье отправили рассыльного на велосипеде, поднял на ноги жандармов, но Лемари (Рено) исчез. Элен всю ночь просидела у стола; было жарко, и цветы стали уже вянуть. К еде она не прикоснулась.

Прошел день, потом неделя, потом месяц.

Теперь вот уже два года минуло с того трагического дня, и до нее не дошло ни малейшего слуха о муже.

Я пишу эту историю в надежде, что он прочтет ее и вернется.

Проклятье золотого тельца

Войдя в нью-йоркский ресторан «Золотая змея», где я был завсегдатаем, я сразу заметил за первым столиком маленького старичка, перед которым лежал большой кровавый бифштекс. По правде говоря, вначале мое внимание привлекло свежее мясо, которое в эти годы было редкостью, но потом меня заинтересовал и сам старик с печальным, тонким лицом. Я сразу почувствовал, что встречал его прежде, не то в Париже, не то где-то еще. Усевшись за столик, я подозвал хозяина, расторопного и ловкого уроженца Перигора, который сумел превратить этот маленький тесный подвальчик в приют гурманов.

— Скажите-ка, господин Робер, кто этот посетитель, который сидит справа от двери? Ведь он француз?

— Который? Тот, что сидит один за столиком? Это господин Борак. Он бывает у нас ежедневно.

— Борак? Промышленник? Ну конечно же, теперь и я узнаю. Но прежде я его ни разу у вас не видел.

— Он обычно приходит раньше всех. Он любит одиночество.

Хозяин наклонился к моему столику и добавил, понизив голос:

— Чудаки они какие-то, он и его жена… Право слово, чудаки. Вот видите, сейчас он завтракает один. А приходите сегодня вечером в семь часов, и вы застанете его жену — она будет обедать тоже одна. Можно подумать, что им тошно глядеть друг на друга. А на самом деле живут душа в душу… Они снимают номер в отеле «Дельмонико»… Понять я их не могу. Загадка, да и только…

— Хозяин! — окликнул гарсон. — Счет на пятнадцатый столик.

Господин Робер отошел, а я продолжал думать о странной чете Борак… Ну конечно, я был с ним знаком в Париже. В те годы, между двумя мировыми войнами, он постоянно бывал у драматурга Фабера, который испытывал к нему необъяснимое тяготение; видимо, их объединяла общая мания — надежное помещение капитала и страх потерять нажитые деньги. Борак… Ему должно быть теперь лет восемьдесят. Я вспомнил, что около 1923 года он удалился от дел, сколотив капиталец в несколько миллионов. В ту пору его приводило в отчаяние падение франка.

— Безобразие! — возмущался он. — Я сорок лет трудился в поте лица, чтобы кончить дни в нищете. Мало того, что моя рента и облигации гроша ломаного теперь не стоят, акции промышленных предприятий тоже перестали подниматься. Деньги тают на глазах. Что будет с нами на старости лет?

— Берите пример с меня, — советовал ему Фабер. — Я обратил все свои деньги в фунты… Это вполне надежная валюта.

Когда года три-четыре спустя я вновь увидел обоих приятелей, они были в смятении. Борак последовал совету Фабера, но после этого Пуанкаре удалось поднять курс франка, и фунт сильно упал. Теперь Борак думал только о том, как уклониться от подоходного налога, который в ту пору начал расти.

— Какой вы ребенок, — твердил ему Фабер. — Послушайте меня… На свете есть одна-единственная незыблемая ценность — золото… Приобрети вы в тысяча девятьсот восемнадцатом году золотые слитки, у вас не оказалось бы явных доходов, никто не облагал бы вас налогами, и были бы вы теперь куда богаче… Обратите все ваши ценности в золото и спите себе спокойно.

Супруги Борак послушались Фабера. Они купили золото, абонировали сейф в банке и время от времени, млея от восторга, наведывались в этот финансовый храм поклониться своему идолу. Потом я лет на десять потерял их из виду. Встретил я их уже в тысяча девятьсот тридцать седьмом году — у торговца картинами в Фобур-Сент-Оноре. Борак держался с грустным достоинством, мадам Борак, маленькая, чистенькая старушка в черном шелковом платье с жабо из кружев, казалась наивной и непосредственной. Борак, конфузясь, попросил у меня совета:

— Вы, дорогой друг, сами человек искусства. Как, по-вашему, можно еще надеяться на то, что импрессионисты снова поднимутся в цене? Не знаете?.. Многие считают это возможным, но ведь их полотна и без того уже сильно подорожали… Эх, приобрести бы мне импрессионистов в начале века… А еще лучше бы, конечно, узнать наперед, какая школа войдет в моду, и скупить сейчас картины за бесценок. Да вот беда: заранее никто ни за что не может поручиться… Ну и времена! Даже эксперты тут бессильны! Поверите ли, мой дорогой, я их спрашиваю: «На что в ближайшее время поднимутся цены?» А они колеблются, запинаются.

Один говорит: на Утрилло, другой — на Пикассо… Но все это слишком уж известные имена.

— Ну, а ваше золото? — спросил я его.

— Оно у меня… у меня… Я приобрел еще много новых слитков… Но правительство поговаривает о реквизиции золота, о том, чтобы вскрыть сейфы… Подумать страшно… Я знаю, вы скажете, что самое умное перевести все за границу… Так-то оно так… Но куда? Британское правительство действует так же круто, как наше… Голландия и Швейцария в случае войны подвергаются слишком большой опасности… Остаются Соединенные Штаты, но с тех пор как там Рузвельт, доллар тоже… И потом придется переехать туда на жительство, чтобы в один прекрасный день мы не оказались отрезанными от наших капиталов…

Не помню уж, что я ему тогда ответил. Меня начала раздражать эта чета, не интересующаяся ничем, кроме своей кубышки, когда вокруг рушится цивилизация. У выхода из галереи я простился с ними и долго глядел, как эти две благовоспитанные и зловещие фигурки в черном удаляются осторожными мелкими шажками. И вот теперь я встретил Борака в «Золотой змее» на Лексингтон-авеню. Где их застигла война? Каким ветром занесло в Нью-Йорк? Любопытство меня одолело, и, когда Борак поднялся со своего места, я подошел к нему и назвал свое имя.

— О, еще бы, конечно, помню, — сказал он. — Как я рад видеть вас, дорогой мой! Надеюсь, вы окажете нам честь и зайдете на чашку чая. Мы живем в отеле «Дель-монико». Жена будет счастлива… Мы здесь очень скучаем, ведь ни она, ни я не знаем английского…

— И вы постоянно живете в Америке?

— У нас нет другого выхода, — ответил он. — Приходите, я вам все объясню. Завтра к пяти часам.

Я принял приглашение и явился точно в назначенное время. Мадам Борак была в том же черном шелковом платье с белым кружевным жабо, что и в 1923 году, и с великолепными жемчугами на шее. Она показалась мне очень удрученной.

— Мне так скучно, — пожаловалась она. — Мы заперты в этих двух комнатах, поблизости ни одной знакомой души… Вот уж не думала я, что придется доживать свой век в изгнании.

— Но кто же вас принуждает к этому, мадам? — спросил я. — Насколько мне известно, у вас нет особых личных причин бояться немцев. То есть я, конечно, понимаю, что вы не хотели жить под их властью, но пойти на добровольное изгнание, уехать в страну, языка которой вы не знаете…

— Что вы, немцы тут ни при чем, — сказала она. — Мы приехали сюда задолго до войны.

Ее муж встал, открыл дверь в коридор и, убедившись, что нас никто не подслушивает, запер ее на ключ, возвратился и шепотом сказал:

— Я вам все объясню. Я уверен, что на вашу скромность можно положиться, а дружеский совет пришелся бы нам как нельзя кстати. У меня здесь, правда, есть свой адвокат, но вы меня лучше поймете… Видите ли… Не знаю, помните ли вы, что после прихода к власти Народного фронта мы сочли опасным хранить золото во французском банке и нашли тайный надежный способ переправить его в Соединенные Штаты. Само собой разумеется, мы и сами решили сюда перебраться. Не могли же мы бросить свое золото на произвол судьбы… Словом, тут и объяснять нечего… Однако в тысяча девятьсот тридцать восьмом году мы обратили золото в бумажные доллары. Мы считали (и оказались правы), что в Америке девальвации больше не будет, да вдобавок кое-кто из осведомленных людей сообщил нам, что новые геологические изыскания русских понизят курс золота… Тут-то и возник вопрос: как хранить наши деньги? Открыть счет в банке? Обратить их в ценные бумаги? В акции?.. Если бы мы купили американские ценные бумаги, пришлось бы платить подоходный налог, а он здесь очень велик… Поэтому мы все оставили в бумажных долларах.

Я, не выдержав, перебил его:

— Стало быть, для того чтобы не платить пятидесятипроцентного налога, вы добровольно обложили себя налогом стопроцентным?

— Тут были еще и другие причины, — продолжал он еще более таинственным тоном. — Мы чувствовали, что приближается война, и боялись, как бы правительство не заморозило банковские счета и не вскрыло сейфы, тем более что у нас нет американского гражданства… Вот мы и решили всегда хранить наши деньги при себе.

— То есть как «при себе»? — воскликнул я. — Здесь, в отеле?

Оба кивнули головой, изобразив какое-то подобие улыбки, и обменялись взглядом, полным лукавого самодовольства.

— Да, — продолжал он еле слышно. — Здесь, в отеле. Мы сложили все — и доллары и немного

золота — в большой чемодан. Он здесь, в нашей спальне.

Борак встал, открыл дверь в смежную комнату и, подведя меня к порогу, показал ничем не примечательный с виду черный чемодан.

— Вот он, — шепнул Борак и почти благоговейно прикрыл дверь.

— А вы не боитесь, что кто-нибудь проведает об этом чемодане с сокровищами? Подумайте, какой соблазн для воров!

— Нет, — сказал он. — Во-первых, о чемодане не знает никто, кроме нашего адвоката… и вас, а вам я всецело доверяю… Нет уж, поверьте мне, мы все обдумали. Чемодан не привлекает такого внимания, как, скажем, кофр. Никому не придет в голову, что в нем хранится целое состояние. Да вдобавок мы оба сторожим эту комнату и днем и ночью.

— И вы никогда не выходите?

— Вместе никогда! У нас есть револьвер, мы держим его в ящике комода, по соседству с чемоданом, и один из нас всегда дежурит в номере… Я хожу завтракать во французский ресторан, где мы с вами встретились. Жена там обедает. И чемодан никогда не остается без присмотра. Понимаете?

— Нет, дорогой господин Борак, не понимаю, не могу понять, ради чего вы обрекли себя на эту жалкую жизнь, на это мучительное затворничество… Налоги? Да черт с ними! Разве ваших денег не хватит вам с лихвой до конца жизни?

— Не в этом дело, — ответил он. — Не хочу я отдавать другим то, что нажил с таким трудом.

Я попытался переменить тему разговора. Борак был человек образованный, он знал историю; я попробовал было напомнить ему о коллекции автографов, которую он когда-то собирал, но его жена, еще сильнее мужа одержимая навязчивой идеей, вновь вернулась к единственному волновавшему ее предмету.

— Я боюсь одного человека, — шепотом сказала она. — Это немец, метрдотель, который приносит нам в номер утренний завтрак. Он иногда так поглядывает на эту дверь, что внушает мне подозрение. Правда, в эти часы мы оба бываем дома, поэтому я надеюсь, что опасность не так уж велика.

Другой их заботой была собака. Красивый пудель, на редкость смышленый, всегда лежал в углу гостиной, но трижды в день его надо было выводить гулять. Эту обязанность супруги также выполняли по очереди. Я ушел от них вне себя: меня бесило упорство этих маньяков, и в то же время их одержимость чем-то притягивала меня.

С тех пор я часто уходил со службы пораньше, чтобы ровно в семь часов попасть в «Золотую змею». Тут я подсаживался к столику г-жи Борак. Она была словоохотливей мужа и более простодушно поверяла мне свои тревоги и планы.

— Эжен — человек редкого ума, — сказала она мне однажды вечером. — Он всегда все предусматривает. Нынче ночью ему пришло в голову: а что, если они вдруг возьмут да прикажут обменять деньги для борьбы с тезаврацией. Как тогда быть? Ведь нам придется предъявить наши доллары.

— Ну и что за беда?

— Очень даже большая беда, — ответила г-жа Борак. — Ведь в тысяча девятьсот сорок третьем году, когда американское казначейство объявило перепись имущества эмигрантов, мы ничего не предъявили… А теперь у нас могут быть серьезные неприятности… Но у Эжена зародился новый план. Говорят, что в некоторых республиках Южной Америки вообще нет подоходного налога. Если бы нам удалось переправить туда наши деньги…

— Но как же их переправить без предъявления на таможне?

— Эжен считает, что сначала надо принять гражданство той страны, куда мы решим переселиться. Если мы станем, например, уругвайцами, то по закону сможем перевезти деньги.

Идея эта так меня восхитила, что на другой день я пришел в ресторан к завтраку. Борак всегда радовался моему приходу.

— Милости прошу, — приветствовал он меня. — Вы пришли как нельзя более кстати: мне нужно навести у вас кое-какие справки. Не знаете ли вы, какие формальности необходимы, чтобы стать гражданином Венесуэлы?

— Ей-богу, не знаю, — сказал я.

— А Колумбии?

— Понятия не имею. Лучше всего обратитесь в консульства этих государств.

— В консульства! Да вы с ума сошли!.. Чтобы привлечь внимание?

Он с отвращением отодвинул тарелку с жареным цыпленком и вздохнул:

— Что за времена! Подумать только, что, родись мы в тысяча восемьсот тридцатом году, мы прожили бы свою жизнь спокойно, не зная налоговой инквизиции и не боясь, что нас ограбят! А нынче что ни страна — то разбойник с большой дороги… Даже Англия… Я там припрятал несколько картин и гобеленов и теперь хотел их перевезти сюда. Знаете, что они от меня потребовали? Платы за право вывоза в размере ста процентов стоимости, а ведь это равносильно конфискации. Ну прямо грабеж среди бела дня, настоящий грабеж…

Вскоре после этого мне пришлось уехать по делам в Калифорнию, так и не узнав, кем в конце концов стали Бораки, — уругвайцами, венесуэльцами или колумбийцами. Вернувшись через год в Нью-Йорк, я спросил о них хозяина «Золотой змеи» господина Робера.

— Как поживают Бораки? По-прежнему ходят к вам?

— Что вы, — ответил он. — Разве вы не знаете? Она в прошлом месяце умерла, кажется, от разрыва сердца, и с того дня я не видел мужа. Должно быть, захворал с горя.

Но я подумал, что причина исчезновения Борака совсем в другом. Я написал старику несколько слов, выразив ему соболезнование, и попросил разрешения его навестить. На другой день он позвонил мне по телефону и пригласил зайти. Он осунулся, побледнел, губы стали совсем бескровные, голос еле слышен.

— Я только вчера узнал о постигшем вас несчастье, — сказал я. — Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, ведь я догадываюсь, что ваша горестная утрата, помимо всего прочего, донельзя усложнила вашу жизнь.

— Нет, нет, нисколько… — ответил он, — Я просто решил больше не отлучаться из дому… Другого выхода у меня нет. Оставить чемодан я боюсь, а доверить мне его некому… Поэтому я распорядился, чтобы еду мне приносили сюда, прямо в комнату.

— Но ведь вам, наверное, в тягость такое полное затворничество?

— Нет, нет, ничуть… Ко всему привыкаешь… Я гляжу из окна на прохожих, на машины… И потом, знаете, при этом образе жизни я наконец изведал чувство полной безопасности… Прежде я, бывало, выходил завтракать и целый час не знал покоя: все думал, не случилось ли чего в мое отсутствие… Конечно, дома оставалась моя бедная жена, но я представить себе не мог, как она справится с револьвером, особенно при ее больном сердце… А теперь я держу дверь приоткрытой, и чемодан всегда у меня на глазах… Стало быть, все, чем я дорожу, всегда со мною… А это вознаграждает меня за многие лишения… Вот только Фердинанда жалко.

Пудель, услышав свое имя, подошел и, усевшись у ног хозяина, бросил на него вопросительный взгляд.

— Вот видите, сам я теперь не могу его выводить, но зато я нанял рассыльного — bell-boy, как их здесь называют… Не пойму, почему они не могут называть их «рассыльными», как все люди? Ей-богу, они меня с ума сведут своим английским! Так вот, я нанял мальчишку, и тот за небольшую плату выводит Фердинанда на прогулку… Стало быть, и эта проблема решена… Я очень вам признателен, мой друг, за вашу готовность помочь мне, но мне ничего не надо, спасибо.

— А в Южную Америку вы раздумали ехать?

— Конечно, друг мой, конечно… Что мне там теперь делать? Вашингтон больше не говорит об обмене денег, а в мои годы…

Он и в самом деле сильно постарел, а образ жизни, который он вел, вряд ли шел ему на пользу. Румянец исчез с его щек, и говорил он с трудом. «Можно ли вообще причислить его к живым?» — подумал я.

Убедившись, что ничем не могу ему помочь, я откланялся. Я решил изредка навещать его, но через несколько дней, раскрыв «Нью-Йорк таймс», сразу обратил внимание на заголовок: «Смерть французского эмигранта. Чемодан, набитый долларами!» Я пробежал заметку: в самом деле, речь шла о моем Бораке. Утром его нашли мертвым: он лежал на черном чемодане, накрывшись одеялом. Умер он естественной смертью, и все его сокровища были в целости и сохранности. Я зашел в отель «Дельмонико», чтобы разузнать о дне похорон. У служащего справочного бюро я

спросил, что сталось с Фердинандом.

— Кому отдали пуделя господина Борака?

— Никто его не востребовал, — ответил тот. — И мы отправили его на живодерню.

— А деньги?

— Если не объявятся наследники, они перейдут в собственность американского правительства.

— Что ж, прекрасный конец, — сказал я.

При этом я имел в виду судьбу денег.

Читатель, не слышавший о Леоне Муссинаке, после знакомства с его книгами «Рождение кинематографа» (1925), «Новые тенденции в театре» (1930), «Трактат о режиссерском искусстве» (1948), «История театра от возникновения до наших дней» (1957), «Кино в переходном возрасте» (1946, 1967), наверняка предположил бы, что автор их был кабинетным ученым, с головой ушедшим в искусствоведение. Документальная основа этих исследований, богатство материала действительно поразительны. Но написаны они человеком, который не мыслил себя вне общественной деятельности, вне антифашистской борьбы. Участник первой мировой войны, член ФКП с 1924 года, один из самых активных организаторов Народного фронта, талантливый журналист и издатель, антифашист-подпольщик и председатель Национального комитета писателей Франции — таковы вехи жизненного пути Леона Муссинака.

Опыт общения с самыми разными людьми его поколения отразился в пьесе «Папаша Июль» (1926), которая написана Муссинаком в соавторстве с Полем Вайяном-Кутюрье, в романах «Запрещенная демонстрация» (1935), где показан рабочий класс Франции, «Очертя голову» (1931) и «Записки Э. Ж. Кудерка» (1947), воссоздавших мучительную эволюцию интеллигента, «Шан-де-Моэ» (1945), обращенном к судьбам французского крестьянства.

Действие последнего романа, так же как и рассказа «Национальная дорога», разворачивается в департаменте Ло, откуда был родом отец писателя.

Трагическое знакомство с тюрьмой (апрель 1940 — осень 1941), куда французское правительство торопливо прятало «неблагонадежных», дало жизнь дневнику под названием «Плот Медузы.» (1945). Петэновцам, утверждавшим, будто они защищают честь Франции, Муссинак во время допроса твердо ответил: «В Коммунистическую партию привел меня патриотизм». В годы второй мировой войны Муссинак обнаружил и незаурядный дар поэта («Нечистые стихотворения», 1945).

С Советским Союзом Леона Муссинака связывала творческая дружба. Он работал как режиссер в московских театрах, участвовал в проведении Международной Олимпиады самодеятельных революционных театров в Москве (1933), вдумчиво изучал русскую и советскую культуру (книги «Советское кино», 1928; «Сергей Эйзенштейн», 1964).

Муссинак всегда смотрел вперед, готовый к новым задачам, выдвигаемым жизнью. «...Теперь, — писал он, — приходится строить новые дороги... Старые были хороши для лошадей, для дилижансов. Пришла пора менять и трассировку, и покрытие дорог, чтобы все быстрей и быстрей мчались по ним машины. Так и поэзия — она неотделима от мира, в котором мы живем и который мы преобразуем по своему усмотрению». Эти слова, как бы освещающие особым светом публикуемый рассказ Муссинака «Национальная дорога», были написаны им в канун смерти, которую он встретил с сознанием честно исполненного долга.

Leon Moussinac: рассказ «Национальная дорога» («La Route nationale») опубликован в газете «L'Humanite» 28 января 1960 года.

Национальная дорога

Когда, миновав поля, добираешься до виноградника Праделей, что находится на плоскогорье Сегала, здесь, наверху, чувствуешь себя вырвавшимся из тумана и залитым потоками света; это чувство особенно остро после грозы, когда снова сияет солнце и все трепещет в прозрачном воздухе. Отсюда, с вершины холма, взору открывается весь горизонт, и можно пересчитать деревеньки, приютившиеся у родников по краю гребней. Еще дальше простирается Лимузен, Овернь и плато Косс. Внизу, в долине, где Бав и Сер встречаются с Дордонью, зеркало воды отбрасывает серебристые блики, весело играющие на стенах монастыря Кареннак, в котором, как рассказывают, Фенелон написал своего «Телемака». Утопающие в густой зелени замки и дворянские поместья, сарацинские башни Сен-Лорана, крепостные укрепления Кастельно и Лубресака, сохранившие очарование архитектуры Ренессанса Монталь и Отуар, — все напоминает о волнующей истории старого Керси… Голубятни смотрят на виноградники, сбегающие по склонам холмов, куда ведут выходы из пещер, расположенных под теми самыми прибрежными скалами, где стояли лагерем солдаты Цезаря и которые до сих пор называют «цезаревыми». Здесь невольно приходят на память страницы далекой истории и поэтические предания старины.

Я стою около груды камней, — все, что осталось от хижины, некогда служившей приютом для пастухов. Вот показалась высокая фигура Жереми, на плече у него какой-то инструмент: должно быть, шел вниз, на свой виноградник.

Жереми мой друг. Он принял меня в число своих друзей, потому что не считает чужим в этих краях, потому что знал мою семью и потому еще, что может говорить со мной по-гасконски, хотя отлично владеет французским, много читал, да и сейчас еще почитывает зимними вечерами. У Жереми полно всяких историй. Рассказывает он увлеченно и просто, с большим юмором, сокрушаясь при этом, что речь молодых все чаще — к тому же совсем не к месту — пересыпается французскими словечками.

Как-нибудь я непременно напишу портрет Жереми в рост. Он из той уже исчезающей породы крестьян, которые умеют ценить заветы прошлого, по крохам накопленную мудрость поколений, воодушевляющую человека терпеливой верой в будущее. Внешне Жереми похож на дикий орех — узловатый, со следами бурь и летнего зноя, но крепкий, ибо питается он влагой небесной и соками земли. Когда Жереми в своей фетровой шляпе сидит за столом, потягивая вино, это вылитый «Мужчина с бокалом» Жана Фуке, полотно, которым я не перестаю восхищаться с юношеских лет, с тех пор, как впервые его увидел.

Живет Жереми со своей женой Далилой в старом доме, в деревушке, расположенной по-соседству с Пюи-мюль. Они бездетны, что в этих местах редкость, живут скромно на доходы от хозяйства, вести которое помогает им работник. Однако старики никогда не унывают, потому что, как говорил дядя Огюст, их друг, «у Жереми и Далилы своя философия».

Жереми присел со мной на пожелтевшие от солнца камни. Его ясный взгляд охватывает широко раскинувшийся перед глазами ландшафт. Но вереница автомобилей на дороге, той, что ведет из Фижака в Тюлль через Сен-Сере, Бретну, Бьярс и Болье, как будто тревожит его…

— Видишь, едут и едут, без конца… Ни одной лошади, только автомашины, и с каждым днем их становится все больше…

Он умолкает. Я догадываюсь, где витают его мысли: они перенеслись во времена повозок и двуколок.

— Прикинь, прошло всего полсотни лет, а какой прогресс!.. Погляди, вон там молодой Симон на своем красном тракторе… Так-то бежит время… Даже здесь, у нас на холме, новые дороги заменили старые крутые тропы, по которым одни только ослы и могли пройти. Сколько старых седел и упряжек и сейчас еще валяется на чердаках да в сараях! Перед первой мировой войной провели паровик из Сен-Сере до Бьярса, но и он не выдержал конкуренции с автомобилем. Люди не всегда понимают что к чему… В ту пору наши места сильно пострадали от филлоксеры и многие жители ушли отсюда, но благодаря мелкой промышленности и особенно благодаря торговле фруктами, за пятьдесят лет край этот постепенно расцвел снова. В Бьярсе, когда я был мальчишкой, не насчитывалось и десятка домов, а теперь это главный город кантона. И причиной всему — дорога, новые средства сообщения. В старину никто тут дальше Фижака и Тюлля носа не показывал… А ведь дальше тоже Франция, но большинство о ней и ведать не ведало. А сегодня, сынок, автомашины идут со всех концов… Помню, учитель в школе говорил нам: «Дороги, они вроде кровеносных артерий — без них нет жизни, нет прогресса». И верно. Только я что хочу сказать: прогресса нет также без горя и жертв…

Мне было ясно, что Жереми занимает какая-то история, которую ему очень хочется рассказать. Я передаю его слова, как умею, — для меня важна сама мысль старика и то значение, которое придает он фактам, отложившимся в его памяти.

— Послушай-ка меня…

Жереми всегда начинает этими словами. Остается только внимательно его слушать, что требует немалого напряжения, ибо рассказы свои он то и дело уснащает, как он сам выражается, эдакими «скобками», за что старый Казальс, бывший деревенский учитель, и прозвал его Жереми-Скобка.

— Ты помнишь заброшенный дом, неподалеку от Кло? У которого прошлым летом в грозу крыша рухнула? Ну так вот, судьба его обитателей подтверждает то, о чем я сказал. А жили в этом доме Сегалу. Ты не знал их? Они приходились мне родственниками со стороны матери. Пока крыша была цела, я захаживал туда, бродил по чердаку. Там я нашел старые бумаги и несколько книг, которые отнес к себе. Покажу, если хочешь. Перебирая эти бумаги, я здорово волновался. Они помогли мне многое понять. Да, если бы молодые побольше читали, они лучше бы разбирались в жизни… Помню, бывало, твой дядя Огюст, я, к примеру, и Казальс тоже, мы делились впечатлениями о прочитанном… Я что хочу сказать… Наружность человека другой раз и обманывает, а жизнь его загадочна, все равно что какая-нибудь пропасть в наших краях: чтобы проведать ее тайну, большая нужна осторожность…

Прерывать Жереми не надо: пусть говорит, передавая присущими ему словами малейшие оттенки своих мыслей.

— Послушай-ка… Я коротко расскажу тебе про семью Сегалу. В скобках замечу: ты вот написал «Шан-де-Моэ», ну а из их-то истории у тебя бы целый роман получился. Огюст давал мне читать твою книгу: все там, говорил он, сущая правда, а иногда ему даже казалось, что он запах земли чувствует… Сегодня у нас в деревнях скорее газойлем пахнет, верно? Ну так вот: девичья фамилия Катрин Сегалу была Лафаж, родом она из Жентрака. Ее взял к себе дядюшка Джеймс. Он служил врачом в Кареннаке, предки его, англичане, сражались в Столетнюю войну. В семье Лафажей было много ртов, всех прокормить они просто не могли, особенно после филлоксеры… Еще скобка: теперь опять ожидай беды со всеми этими новыми болезнями, которые точат растения и деревья. Сперва виноград болел, потом колорадский жук появился, а разве помидоры, другие овощи и фруктовые деревья лечить не приходится? Погляди, орех — и тот болеет, и дерево, хоть оно молодое, хоть старое, гибнет за два года. Одни только сливы еще и держатся, этим летом они нас просто спасли. Яблони болеют. Груши тоже. И персики, и все другие деревья.

Раньше-то росли себе и росли. Помнишь? Тогда ведь так не ухаживали за фруктовыми деревьями, а все же после первой войны они давали нам кое-какой прибыток: мы снабжали фруктами кондитерские фабрики, шли они и на экспорт… Понятно? Я что хочу сказать… Ну словом, Сегалу жилось тогда туговато; было у них гектара четыре земли, две коровы, ослица. Отец подрабатывал на поденке у соседей или на лесопильне в Бьярсе. Дядюшка Джеймс, кареннакский врач, что взял к себе Катрин Лафаж, помог и семье Сегалу: он устроил их сына Ахилла в Монфоконскую семинарию: денег-то не было, а только в семинарии и учили бесплатно. Так почему бы не воспользоваться? А от духовного звания можно потом и отвертеться. Кстати, отец твой так и поступил. Что в семинарии приобрел, при тебе останется, даже если ты в чем и согрешил. А уж бог простит, он должен быть добрее людей, даже истинно верующих. Понимаешь… я что хочу сказать…

Бежать из семинарии Ахиллу Сегалу не пришлось. Ему было шестнадцать лет, когда умер его отец, и он вынужден был вернуться домой помогать матери вести хозяйство. После ученых-то книг крестьянская работа не очень привлекала его. Однако сам знаешь, что такое настоящий крестьянин: стоит ему взяться за дело, и от земли его уже не оторвешь… Земля, она, стерва, хватает тебя за нутро! И уж ты вовек не расстанешься с нею… Я вот к чему подвожу.

Дядюшка Джеймс одинаково любил и Катрин Лафаж и Ахилла Сегалу, и он, конечно, прикинул, что из них могла бы получиться неплохая пара. Когда Ахилл вернулся с военной службы, свадьба и вправду состоялась. Радовались этой свадьбе все в округе. Молодые поселились в Кло. Имущество у Сегалу было заложено, как почти у всех здешних жителей, и работать приходилось не покладая рук. Позабыл тебе сказать, что дядюшка Джеймс, — опять он, эта добрая душа, — дал Катрин в приданое десять тысяч франков. Тогдашних франков, понятно?.. Я что хочу сказать… Часть этих денег ушла на покупку инвентаря, небольшого участка земли и каштановой рощи. Не стану все расписывать, расскажу покороче главное. Родился у них сын; ему исполнилось четыре годика, когда в августе четырнадцатого года отца его убили на войне. Имя Ахилла Сегалу ты прочтешь теперь на памятнике погибшим жителям нашей коммуны…

Во время войны Катрин со свекровью работали, как и все женщины, не разгибая спины, чтобы сберечь имущество и скотину. Только крестьянин поймет, каково приходилось тогда женщинам в деревне… Катрин ходила за плугом, растила сына, продавала все, что приносила ей земля, и скопила небольшую сумму. После заключения мира ей удалось выкупить свое имущество; в те годы многие смогли это сделать. Учитель был доволен маленьким Пьером Сегалу, он советовал учить мальчика дальше: паренек тоже мог бы стать учителем, и ему не-пришлось бы так мыкаться. Гордясь сыном, Катрин трудилась из последних сил; свекровь ее умерла, и помогал ей в хозяйстве только один работник. Она рассчитывала, что процентов от оставшегося приданого хватит на то, чтобы платить за ученье сына. Да только…

Жереми переводит дух, сдвигает шляпу на затылок.

— …Ты слушай хорошенько, что я хочу сказать… Когда еще до войны у нас проходила подписка на строительство железной дороги от Сен-Сере до Бьярса, нотариус уговорил Катрин купить акции по сто золотых франков. Но очень скоро они упали в цене до десяти. Вот ведь беда какая!

Жереми сжал мою руку, словно боясь, что я отвлекся или устал слушать.

— Послушай-ка, сынок… В девятьсот восьмом году собрали капитал в четыреста семьдесят пять тысяч франков. Но как только построили путь и уложили рельсы, обнаружилось, что концессионер — жулик. Он заказал необходимые материалы какому-то предприятию — то ли на востоке, то ли на севере, теперь уж не помню, — а денег за свои поставки это предприятие с него не получило и стало главным кредитором дела. Снова подписка: на семьдесят пять тысяч дополнительных акций. Кое-кто неплохо заработал. Только не бедняжка Катрин! Целую историю раздули. А шуму-то было, ты представляешь? Но все-таки пять составов в день ходили в оба конца, и это облегчало перевозку дров на дубильную фабрику в Валь-де-Сер: раньше-то из каштановой рощи на волах возили. Прогресс, ничего не скажешь: местные жители получили работу, оживилась торговля, стало появляться все больше и больше мелких предприятий.

От Сен-Сере до Бьярса можно было теперь доехать за полчаса, а на наших «курьерских», да еще с грузом на это уходило целых полтора. Вникаешь? Но в войну четырнадцатого года все пошло кувырком: угля для паровиков не хватало, топили их дровами. Число поездов сократилось, один-два в день, да и грузовиков стало больше. Выходит дело, опять конкуренция. А когда война кончилась, департаментские власти взяли дорогу в свои руки. Вот тут-то и решили, как выразился нотариус, «откупиться» от акционеров из расчета десять франков за акцию!.. Катрин вконец измоталась, муж ее погиб, все надежды рухнули… Злой рок преследовал Сегалу. Ну а дядюшка Джеймс? — спросишь ты. Увы! Старый врач отдал богу душу. Катрин не могла оправиться после стольких ударов судьбы: прошло еще несколько лет, и тут случилась страшная драма. Пьер благополучно вернулся домой и стал работать в поле, как когда-то работал Ахилл, его отец. Но однажды вечером Катрин наложила на себя руки. Пьер нашел ее в хлеву висящей в петле…

Жереми снова умолкает.

— Вникаешь, сынок?.. Горе поселилось в доме Сегалу, а жизнь, она шла своим чередом. Паровик приносил доход, в Бьярсе построили фабрику и стали изготовлять шпалы. Туда поступили работать многие наши парни. Бегство из деревни, как говорили в ту пору, поуменьшилось, но у этих полукрестьян-полурабочих было уже совсем другое сознание. Они читали газеты, стали вникать во все, что происходит вокруг. Потому что крестьяне уже не сидели только в своей деревне, чаще встречались друг с другом на ярмарках, охотней общались с городскими, обсуждали между собой свои нужды, говорили о всяких несправедливостях. Паровик уступил место тепловозу, появились пассажирские вагоны. Люди стали покупать в кредит велосипеды, мотоциклы. Но — сейчас я закрою скобку — во время страшного кризиса девятьсот тридцать второго года — помнишь? — железная дорога не выдержала конкуренции с автомобилем: она давала такие убытки, что департаментские власти решили ее ликвидировать… Локомотивы пошли на лом, пассажирские вагоны продали. Некоторые из них и по сей день еще валяются в виноградниках. А потом даже было решено субсидировать владельцев грузовиков и автобусов, виновников этого нового банкротства… Так-то вот идут дела… Понятно?..

Жереми снова прерывает рассказ, на этот раз ненадолго.

— Который час? — спрашивает он после паузы.

Солнце уже садится за башни Тюренского замка. Не ожидая моего ответа, Жереми продолжает:

— На виноградник идти уже поздно. Доскажу тебе про Сегалу… Стало быть, Катрин лишила себя жизни. Надеюсь, бог хорошо ее встретил в том, лучшем, мире и отомстил за нее кюре, который согласился отпевать покойницу только после того, как вся деревня возмутилась. Пьер остался в доме один, работал он как вол: сажал фруктовые деревья, а зимой нанимался снимать рельсы. Они теперь никому уже были не нужны и только мешали автомобильному движению. Бывало, в дождливую погоду едешь на велосипеде, услышишь, что сзади тебя нагоняет грузовик, так и впиваешься в них глазами, чтобы не наскочить и не перевернуться… Сегодня это все — воспоминания… А дорога, сынок, она и вправду стала национальной. Погляди на номера машин, и ты увидишь: идут они со всех концов Франции…

— Ну, а Пьер?

— Пьер вырос, стал красивым, умным парнем. Он сумел преодолеть свое горе. Занимался спортом в команде Сен-Сере вместе с другими ребятами, стал интересоваться политикой. После кризиса мы уже не были такими покорными, такими тихонями. В скобках: и я тоже, вместе с другими землевладельцами из департамента Ло я защищал интересы крестьян. Двадцать пятого декабря

тридцать четвертого года на ярмарке в Сен-Сере мы выступили против уплаты пошлины за место и налогов на сельскохозяйственные продукты. Только от нашей коммуны в тот день выступило человек двадцать, и Пьер был с нами. Очень скоро в одном нашем округе нас стало больше двадцати тысяч. С вилами в руках мы пошли на Фижак, разоружили жандармов и добились своего. Вот это был день! Кое-кто косился на нас: власти-то всех называли коммунистами! Среди нас действительно было несколько коммунистов, ну и что? Это было в порядке вещей. Мы их знали и уважали. Вспомни-ка, в тридцать шестом мы голосовали за кандидата рабоче-крестьянского блока. В первом туре ему не хватило всего-навсего двадцати шести голосов, чтобы победить де Монзи! Представляешь? Как подумаю, что еще пятьдесят лет назад почти все в округе клялись только именем принца Мюрата!.. На этот раз крестьяне не уступили, хотя и мэр и префект запугивали нас, да и жандармы провоцировали. Но, как теперь выражаются, мы осознали свою силу и свои права. Мы сломали решетку ограды и кричали: «Не будем платить налогов!» Здорово мы тогда с ними схватились, но все-таки добились своего. Эх, когда горе сменяется у бедняков надеждой!..

Жереми внезапно встает.

— Послушай-ка! Пошли ко мне! Я покажу тебе бумаги, которые нашел на чердаке у Сегалу. Ты поймешь, почему от их дома в Кло остались сегодня одни развалины.

Дорогой Жереми обычно молчит. Чтобы начать рассказывать, он должен присесть на камень или бревно, рядом с тем, кто его слушает. Предпочитает он воскресные встречи под липами, на каменной скамье перед сельской церковью; во время службы здесь обычно встречается мужское население окрестных деревень, хотя к мессе ходят и не все.

Прежде чем выйти на дорогу, мы молча пересекаем жнивье и вспаханное поле. Яркие полосы света прочерчивают пейзаж. Уже наступил осенний вечер. Внизу под деревьями показался дом Жереми, а оттуда, на другой стороне, виднеется Отуар — край света, где только водопад разрывает мрак известковой глыбы. Искусные каменщики времен Ренессанса щедро разукрасили белый камень, обрамляющий проемы строения, оставив нетронутым только окно просторной кухни. В кухне — массивные балки из дикого ореха, пол каштанового дерева, высокий и глубокий очаг, тяжелая мебель: шкаф для посуды, скамейки, кровать с закрывающимися створками и низкий кованый сундук. Далила разводит очаг, и огонь ослепляет нас, едва мы переступаем порог дома. Здесь все дышит прошлым.

Жереми швыряет сабо на каменный пол. Золоченый маятник больших часов раскачивается с какой-то неиссякающей надеждой.

Здороваюсь с Далилой. Она моложе Жереми, и по сохранившейся гордой осанке можно себе представить, какая это была красавица. Довольно высокая, стройная, с тяжелыми, слегка седеющими волосами, зачесанными на виски, и глаза, в которых еще не угас пыл молодости. Несмотря на видимую усталость, ее движения не утратили былой гибкости, столь привлекательной у здешних девушек.

— Посиди, я сейчас вернусь.

Жереми отправляется на чердак, а Далила, поставив на стол два стакана, разумеется, идет за традиционной бутылкой настойки.

— Опять он проболтал целый день, уж я-то вижу. Вы знаете, теперь ведь мало у кого хватает терпения его слушать! А если кто и соглашается, как вы, например, того он ласково называет «сынок».

— Он рассказал мне про Сегалу…

— А!.. Этот Пьер Сегалу и вправду был ему как сын.

Жереми входит в кухню с ящиком, набитым бумагами и книгами, и ставит его на стол.

— Вот!

Следует долгая пауза. Далила разливает вино и идет к очагу. В медном котле варится корм для свиней.

— …Эти газеты Пьер покупал в Сен-Сере и давал мне читать… Вот второй номер «Контр пуазон», ее в тридцать втором году издавал в Менарди Анри Фор… Посмотри… Двенадцать номеров, пять франков в год… А вот другая, «Т'зан-Пьерру», он же выпускал, только уже в тридцать пятом. Видал? «Против гонки вооружений, в защиту интересов крестьян»… И листовки Союза защиты крестьян департамента Ло… А вот еще пожелтевший листок. Тут изложена муниципальная программа рабоче-крестьянского блока на выборах в Сен-Сере в мае девятьсот тридцать пятого года, А вот воззвание Союза защиты крестьян, в виде плаката. Вот номер газеты «Керси лаборье» с портретом Жана Касаньяда, «борца за хлеб, за мир, за свободу», крестьянского кандидата на парламентских

выборах в тридцать шестом году. Читай; общее количество поданных голосов — четырнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь, за де Монзи — шесть тысяч триста пятьдесят четыре, за Ка-саньяда — шесть тысяч триста двадцать восемь… Ты понимаешь? Даже здесь, в Сен-Мишель, коммунист Касаньяд получил тридцать девять голосов, а де Монзи только двадцать восемь… Я это тебе для того показываю, чтобы ты понял, почему Пьер Сегалу ввязался в политику. Как и все мы, он ненавидел несправедливость. И потом, он все-таки был образованнее многих других. Может, и одиночество располагало к размышлению. Он по-прежнему любил читать… Вот «Мельница Фро» Эжена Ле Руа, он и мне давал эту книгу… Но к политике его тянуло и по другим причинам. Так просто всего не расскажешь, сынок.

Сам понимаешь, оставшись один, Пьер решил жениться. По правде говоря, долго искать невесту ему не пришлось: он быстро приметил дочку Клараков из Жине-ста, одну из лучших невест в нашей коммуне. Жанетта была славная и работящая девушка, опять же образованная: она воспитывалась в женском монастыре в Грама. Все местные жители — и Клараки, разумеется, тоже — уважали семью Сегалу за то, что это были достойные и мужественные люди, а Пьера особенно — за его добрый нрав и трудолюбие… Но я хочу сказать… В деревне очень сильны предрассудки: никто не мог забыть, что мать Пьера наложила на себя руки… Для крестьянина нет ничего хуже отчаяния, это все равно как безумие. Отчаяться — значит отречься от бога. Разве человек лишит себя жизни, если у него нет какого-нибудь наследственного порока?.. Понятно? И уж, конечно, никто не согласится отдать свою дочь за парня, каким бы хорошим он ни был, если его мать, еще нестарая женщина, покончила с собой… Влюбленные между тем встречались украдкой, надеялись, что со временем… Но кто-то однажды сболтнул лишнее. И Клараки отправили дочь в Тулузу, к родственникам. Возможно, одиночество и толкнуло Пьера в ряды борцов. Но главная причина, по-моему, в том, что он сам пострадал от несправедливости. Наверняка скажу только одно: потеряв свою любовь, он уже не мог утешиться. Демобилизовавшись после «странной войны», Пьер Сегалу вернулся домой и почти сразу вступил в один из первых отрядов Сопротивления.

Жереми умолкает, затем чокается со мной.

— И потом, я скажу, у жителей Керси в крови есть что-то бунтарское. Ты и сам это знаешь. Удивляться может только тот, кто не знает нашего прошлого, не знает, как боролись наши отцы и деды против поборов и против жестокости монархии. Сколько было у нас крестьянских волнений, и не пересчитать.

— Твоя правда, Жереми.

И на этот раз скобки открываю я.

В начале революции, летом 1790 года многие деревни округов Фижак, Кагор и Гурдон отказались платить сеньорам тогда еще не отмененные налоги. В знак своего освобождения они сажали на площадях так называемые «майские деревца», которые сохранились кое-где по сию пору. Одно такое деревце и сейчас еще можно видеть перед здешней мэрией: даже солдаты не смогли уничтожить эти символы свободы. В округе Гур-дон ударили в набат. Собралось около пяти тысяч крестьян. Они были полны решимости постоять за себя, и хотя в дело вмешались войска, властям пришлось уступить…

Далила зажигает лампу. Я собираюсь уходить.

— Послушай-ка! Я что хочу сказать… Пьер Сегалу один из тех крестьян, республиканцев и патриотов, которые, когда это нужно, становятся настоящими солдатами. Погляди!

Жереми вынимает из конверта смятый лист бумаги и дрожащей рукой протягивает его мне. Я читаю:

«ФТП — ФФИ 13. Донесение о боевых действиях с 22 по 25 августа 1944 года».

Жереми пальцем указывает на абзац, подчеркнутый красным карандашом:

«Бой в районе Фижака. Утром 24-го немцы вошли в Фижак, перейдя мост Камбюра, который по оплошности двух человек оказался не взорванным. Высланные в разных направлениях немецкие разведчики уничтожены.

I. Имбер, произведя взрыв на восточном участке шоссе № 122, уничтожил 35 вражеских мотоциклистов.

II. Бессьер вывел из строя 30 солдат противника.

III. При обстреле вражеского грузовика уничтожено более десяти бошей. Один наш партизан погиб».

Последние слова подчеркнуты дважды, а на полях — приписка: «ФТПФ — сержант Пьер Сегалу».

Жереми украдкой смахивает слезу. Далила опускает глаза.

— К четвертому августа сорок четвертого года прошло уже больше месяца, как внутренние силы освободили наши места. Дорога, по которой двенадцатого июля дивизия «Рейх» отступала в Нормандию и где партизаны устроили засады и уложили немало бошей, осталась национальной дорогой… Понятно, сынок? Каждый вечер, в десять часов, радиостанция Керси с высоты сен-лоранских башен передавала все более и более радостные сообщения. В день четырнадцатого июля над всеми окнами были вывешены флаги. На доме в Кло я тоже повесил флаг. Этот флаг, сынок, я храню до сих пор.

Морис Женевуа родился в Десизе (департамент Ньевр), в семье фармацевта. Его детские впечатления навеяны природой Орлеана, лугами Луары, городским пейзажем Шатонеф. В школьную пору любимая книга Женевуа — «Без семьи» Гектора Мало; в лицейские годы он «проглотил» всего Доде; романы Бальзака потрясли его. Женевуа навсегда сохранил изумление перед «чудесной способностью... этого колосса воссоздавать реальность».

Занятия Женевуа в Высшем педагогическом училище в Париже прервала первая мировая война. В 1915 году он был тяжело ранен на передовой. После войны завершил образование, защитил дипломное сочинение о реализме романов Мопассана. Писателем Женевуа стал, побуждаемый заботой воскресить в памяти и рассказать другим о том, что «мучило, обжигало, незабываемо объединяло на дне чудовищного тигля» войны всех людей, одетых в солдатскую форму. Автобиографические книги — «Под Верденом» (1916), «Ночи войны» (1917), «Грязь» (1921), роман «Эпарж» (1923) — художественно-документальные свидетельства о войне, пронизанные духом пацифизма. Повесть «Кролик» (1925), удостоенная Гонкуровской премии, принесла художнику международную известность. «Все, чего ни коснулся бы автор, — писал о Морисе Женевуа И. И. Анисимов, откликаясь на перевод в 1926 году его повести в Советском Союзе, — неизменно набухает живой, сочной конкретностью. Природа расцветает в самых... характерных своих красках... Не фабулой, тщательно разработанной, не сложным драматизмом положений, а умением следить за простыми, будничными, внешне незаметными событиями жизни и всю глубину их раскрывать — привлекает Женевуа». Наиболее значительные его романы, и повести — «Р-ру» (1931), «Человек и его жизнь» (1934–1937), «Последнее стадо» (1938), «Белочка из дремучего леса» (1947), «Роман о Лисе» (1958), «Утраченный лес» (1967).

Лейтмотив творчества Женевуа, продолжившего в литературе традиции Луи Перго, — человек перед лицом живой природы, великого многообразия животного мира. В пристальном внимании художника к тончайшим проявлениям трепетной жизни сказалась его реакция на разрушительное воздействие буржуазной цивилизации. В мечте Женевуа о гармонии человека-труженика и природы претворилась его стойкая гражданственная память о двух мировых войнах, о товарищах, павших в далеком 1915 году, его протест против военного насилия.

Морис Женевуа — член Французской Академии, а с 1958 года ее непременный секретарь. Его творчество отмечено в 1970 году Большой Национальной премией.

Maurice Genevoix: «Derriere les collines» («За холмами»), 1963; «Tendre bestiaire» («Кроткий зверинец»), 1969; «Bestiaire enchante» («Очарованный зверинец»), 1970; «Bestiaire sans oubli» («Незабываемый зверинец»), 1972.

Рассказы «Дом» («La maison»), «Еж» («Le herisson»), «Кролик» («Le lapin»), «Жираф» («La giraffe») входят в книгу «Кроткий зверинец».

Дом

Помнится, я вам уже говорил: я долго жил в деревне — до шестидесяти лет, если не считать перерывов, когда уезжал учиться, а потом на время войны. После войны я вернулся в крохотный городок, скорее даже поселок, где жил мой отец. Дом наш стоял на окраине, в конце улицы, при нем только и было, что тесный палисадник: два дерева — каштан и кедр, да несколько кустиков — бересклет, остролист, два-три розовых куста, все очень обычно. Но тут же рядом настоящее раздолье: просторная долина, над которой веет ветер с океана и проносятся в равноденствие огромные стаи перелетных птиц. Из комнаты, где я работал, поверх крыш видны синеющие вдали, за восемь километров, леса Солони.

Каждый день в любую погоду я шагал по проселкам, перелескам и запрудам Луары. Сменялись времена года, и я научился узнавать цветы и травы, косогоры, непаханые земли и перелоги. Птичьи песни и гнезда, грибы, пугливые зверьки, букашки в листве, мелкая живность в лужах, мошкара, что пляшет в солнечном луче, — все они увлекали меня от одного чуда к другому, я шел за ними следом и заново привыкал к той жизни, которую почти уже позабыл. Не скажу худого слова о книгах, лишь бы они не исключали всего этого, а помогали. То, чем я им обязан, возникало словно бы само собой, пока ежедневная прогулка от одного родника к другому определяла мой путь на завтра.

Отец мой скончался, и я покинул наш дом на окраине. Годом раньше, во время более дальней прогулки, чем обычно, я случайно повстречался с другим домом. Именно повстречался, иначе не скажешь. Сейчас мне даже кажется, что из нас двоих не я, а дом первый сделал шаг мне навстречу.

Он стоял, заброшенный, в буйной чаще сорных трав и разросшейся ежевики. Черепичная крыша посередине просела; фасад как раз над входом выпятился — вот-вот обвалится. Но старую-престарую черепицу одел золотисто-бурый мох, весь в звездочках заячьей капусты. Но сбоку, подле колодца, густо розовел шиповник. А по другую сторону склонялась почтенного возраста бузина — кривая, вся в трещинах, она дала, однако, множество молодых побегов; такую бузину называют черной по цвету блестящих ягод, но в тот час вся она была огромным простодушным цветком, и чистый воздух напоен был ее горьковато-сладким ароматом.

Со всех сторон в теплой тишине слышался шорох и трепет крыльев. Из-под застрех взлетали горихвостки; в ветвях бузины, весело посвистывая, сновали синицы; в акациях на косогоре, пьянея от собственной песенки, во все горло заливалась славка. И мне тоже хотелось запеть, так были хороши старый дом и птичьи песни, и этот свет, и необъятный простор. Ведь тут же, у подножья холма, струилась Луара. И небо и вода были голубые, точно цветущий лен, только Луара чуть больше светилась. На другом берегу кое-где крестьянские дворы, стройная колокольня, подальше еще одна напоминали, что люди близко; и о том же говорили переливчатые поля: желтые — рапса, розовые — эспарцета, и солнечная зелень подрастающей пшеницы; и все сливалось в радостной гармонии весны, уже готовой перейти в лето.

Я купил этот домишко, вернее, я его выменял. Можно бы рассказать эту историю, забавную и чуть-чуть грустную, в ней столько скромнейших отзвуков человеческой души. Заброшенный дом принадлежал деревенскому каменщику, который лет за девять перед тем пустился кочевать с одним из мастеров, что брались отстраивать заново, как говорится, порушенное войной. Не без труда я разыскал этого домовладельца в своеобразном гетто, где жили каменщики-неаполитанцы. Одна из его дочерей, толстощекая, с глазами телушки и без передних зубов, вдохновляла их мандолины, которые звучали весьма дружно, так сказать, объединив свои усилия и стремясь к той же цели. Рабочий этот оказался самым настоящим крестьянином: очень себе на уме, недоверчивый, смесь простодушия и уклончивости. «Ну да, ну да, подпишем бумагу». А назавтра: «Я тут думал… Надо еще потолковать…»

В городе ему надоело, охота вернуться в деревню…

Что ж, толкуем еще, снова достигнуто согласие. А назавтра или через день: «Я бы рад, да не за мной остановка. Это все Мари, моя жена, чтоб ей…»

А Мари передумала.

И тем сильней мне хотелось купить этот дом, так всегда бывает. Но желание, как и нужда, порой прибавляет изобретательности. Меня осенило. Я купил освободившийся очень кстати дом в соседнем поселке. И предложил обменяться. Кто постигнет тайны чресел и сердец? Гордое звание домовладельца в поселке на Мартруа, перед памятником Жанне д'Арк, заставило решиться моего молодца, а главное — его супругу. Итак, дом перешел ко мне, а с ним и гнезда под стропилами, колодец под кустом бузины, колокольни на краю небосвода, извивы Луары, зеркало воды размахом в двенадцать километров, в которое с песчаных розовеющих берегов опрокидывались длинные травы. Мы выпрямили стены, подлатали крышу, заменили изъеденную временем черепицу. И я поселился здесь в уединении, точно отшельник.

Теперь старый дом разросся. Неизменно верный, он всегда ждал меня, куда бы ни заносил меня ветер странствий. Ему уже за сто, но он по-прежнему остается нашим домом. Он хранит наши воспоминания — даже те, которые мы носим в душе, сами того еще не сознавая, и поверяем ему одному. Ибо, хотя совсем рядом по шоссе непрестанно мчатся автомобили (но шоссе проходит севернее, за домом, а окна смотрят на юг), вокруг, в сущности, ничто не изменилось. Окрест лежат все те же знакомые дали, дом неотделим от них и неотличим, он — наша маленькая общая родина. Лишь с огромным трудом я вспоминаю себя здесь одного, в ту пору, после смерти отца, когда, и вправду очень одинокий, я привел сюда старую служанку, что вот уже тридцать с лишком лет делит наши радости и печали. Это настоящая крестьянка, человек чуткого сердца и величайшей внутренней культуры — быть может, потому, что она всю жизнь оставалась близка природе. Она здесь освоилась мгновенно.

За десять лет, по тому же молчаливому уговору, наше жилище, терраса и подраставший позади лесок стали своего рода приютом, где всевозможные живые твари, подобно нам самим, чувствовали себя как дома. Почему я вспоминаю здесь эти словно бы случайные и очень личные подробности? По самой простой причине: этого требует все, что я хочу рассказать. Нашим общим другом, постоянной темой наших разговоров суждено было стать ежу. И я хорошо понимаю: из-за него-то мне и надо было сперва рассказать вам об этом уединенном уголке, где время шло не торопясь, где у нас было вдоволь досуга, терпения и тишины. Пчела, блестящий дождевой червяк, про которого я вам как-нибудь еще расскажу, чибис, землеройка или цапля привели бы меня к тому же. От ежа к террасе, от террасы к нашему сельскому жилищу — и дом тоже стал постоянным членом нашего зверинца. А почему бы и нет? Он тоже теплый и живой под своей мшистой шкуркой. Его тоже можно погладить.

Еж

Мы, люди, отзываемся о еже куда хуже, чем он заслуживает. Оттого что, почуяв опасность, он съеживается, оттого что он, как и подобает ежу, в такие минуты ощетинивает иглы, которыми его наделила природа, он стал символом брюзгливости и необщительности. То же и в растительном мире: я знаю одно испанское растение, его желтые цветы напоминают дрок, но кисти колются, не успеешь их коснуться. И как же его назвали? Ежиха!

Все это очень несправедливо. Тот, кто съеживается, выпуская свои колючки, вовсе не бросает вызов ближнему: просто он не хочет, чтобы его разрезали на куски, сварили и съели. По крайней мере, так оно с ежом. Поглядите-ка на охотничьего пса, когда он столкнется с этим пожирателем насекомых. Вот он замер на трех лапах, одна передняя осторожно поднята и застыла на весу, напрягся до дрожи, хвост вытянут палкой, и он лает-надрывается. Его сдерживает благоразумие, которое до смешного не сочетается с охотничьим азартом, и порой, расхрабрясь, он делает вид, будто нападает. Вобрав когти, протягивается поднятая лапа, едва касается колючего шара — и отдергивается, словно прошитая электрическим током. И снова взрыв неистового лая, яростная брань, исступленный вызов. А меж тем еж замкнулся наглухо — колючий неприступный клубок, — и лишь в краткие мгновения, когда крикун переводит дух, слышит он стук собственного сердца. Кажется, невозможно свернуться туже, и, однако, едва приметными судорожными толчками его мышцы сокращаются еще сильней. Ни один скряга не сумел бы надежней затянуть завязки своего кошелька. И в конце концов победа останется за ним. Разочарованный, жалкий, поджав хвост, пес уберется восвояси. Итак, господа, да здравствует еж!

Я говорю так, потому что, наперекор общепринятым взглядам, убедился: он не только полезен — заботливый хранитель садов и огородов, ревностный сторож с зорким глазом и превосходным аппетитом, — к тому же он еще и славный малый, учтив, обходителен и привязчив. Я-то знаю, ведь я водил компанию и дружбу с ежом, вернее, с целым семейством: папашей, мамашей и их потомством — тремя веселыми ежатами.

Они появились из рощицы со стороны кухни — сами понимаете: мусорный ящик. Не раз вечерами, возвращаясь с прогулки, я слышал в той стороне предательский шорох. Сперва я думал, что туда наведывается какая-нибудь кошка из ближней деревеньки. Но кошка была бы и не так пуглива и не так неуклюжа. А главное, тут явно действовал не один посетитель.

На другой вечер я стал караулить в доме. С этой стороны кухня выходит на маленький, покрытый цементом дворик, по вечерам его можно осветить лампой изнутри. Едва заслышав возню, я зажег свет — и увидал всех пятерых: застигнутые врасплох посреди своих хлопот, они подняли рыльца и удалились. Но в тот короткий миг, пока я их видел, было чему подивиться. Ящик был слишком высок даже для папы-ежа. И тогда папаша и мамаша попросту составили лесенку. Я пожалел, что провозгласил fiat lux и этим вызвал панику. Но в темноте я видеть не умею, что, конечно, только на пользу моим глазам, раз уж я животное дневное. Итак, я быстро примирился с обстоятельствами и поискал нового пути.

Учебники относят ежа к насекомоядным. Но он животное всеядное, в чем я не замедлил убедиться. За неимением комаров, комариных личинок и дождевых червей я цепочкой насыпал на цементе во дворике мелкие остатки мяса, жира и хрящей от жаркого. Словно камешки мальчика с пальчик, они вели прямиком к порогу кухни. И тут на ступеньке я поместил самое лакомое блюдо — кусочки мягкого, нежного мяса вперемешку со всякой требухой. Но предусмотрительно завернул их не слишком плотно в грубую оберточную бумагу, какою пользуются мясники.

Я спрятался за дверью и из своей засады явственно услышал то, чего и ожидал: под ловкими лапками шуршала бумага, но я не стал мешать пиршеству. На следующий вечер я оставил дверь приотворенной, а большую часть еды положил в кухне, на кафельном полу. И уже на третью ночь они все гуськом — папаша, мамаша и три отпрыска — вошли туда, словно к себе домой.

Я не мог опомниться от изумления — до чего же легко они освоились! Они уже не пугались или, по крайней мере, очень быстро успокаивались каждый раз, как по моему почину мы поднимались на новую ступеньку дружбы: я затворял за ними дверь, зажигал свет, заманивал их в прихожую, где им было удобней и уютней резвиться. Они уже ничему не удивлялись, да и я тоже. Я восседал на дубовой скамье, и все они бегали и прыгали у самых моих ног. Я уже не путал их, знал каждого в отдельности — и мордочку, и нрав, и повадку. Все они темно-серые и словно солью присыпаны, у всех то же надежное орудие — крепкое рыльце, которым удобно докапываться до личинок и земляных червей, у всех под навесом жестких бровей блестят быстрые глаза; но у отца округлей голова, мать проворней и настойчивей в поисках добычи, и дети тоже все разные: один — забияка, чуть что задирается, разевает розовую зубастую маленькую пасть; другой — ловкач, мигом без промаха нацелится на самый лакомый кусочек; а третий — хилый и нелепый, суетится без толку, вечно опаздывает, и всегда ему приходится подбирать одни лишь жалкие остатки.

Я вмешивался и старательно восстанавливал справедливость. Я разнимал их, осторожно отодвигал

друг от дружки. Они больше не свертывались в клубок. Вскоре я уже мог брать их в руки. Сейчас же срабатывал рефлекс, брюшко сжималось, слегка взъерошивались иглы, но тем дело и кончалось. Очень быстро я чувствовал — пружинка ослабла, они добровольно отказывались от своей ежиной самозащиты. И даже самые колючки делались безобидно мягкими, как будто внезапно все упитанное тельце стало легче и невесомей. Я предоставлял им пировать. Ну и челюсти! Никаким сухожилиям перед ними не устоять. Великолепная дробилка для всяческих отходов.

Дождавшись, когда они наведут в кухне чистоту и порядок, я отворял дверь и выпускал их в ночь. Дверь выходила на юг, в сторону, противоположную той, откуда они явились. И, однако, они не колебались. Один за другим они скатывались с высокой каменной приступки и гуськом уходили в темноту.

Много лет спустя я рассказал родным эту историю. Разумеется, они мне поверили. Так почему же мне захотелось большего? Однажды летним вечером, когда все мы собрались на террасе, меня заставил насторожиться знакомый шорох. В нем определенно слышалось что-то ежиное. Темно было хоть глаз выколи, но меня не проведешь. Не говоря ни слова, я приготовил приманку. На сей раз я решил соблазнить гостя молоком. Назавтра в тот же час я заслышал его еще издали, он принюхался, направился к блюдечку и, от спешки подталкивая его по песку, стал жадно лакать. Внезапно я осветил его электрическим фонариком — он зажмурился от неожиданности, но мои присные изумились и того больше.

— Ну, как? — скромно спросил я их.

После этого ежик приходил каждый вечер. Он был совсем юнец, доверчивый и покладистый. Вскоре мои дочери, как и я, стали брать его на руки и преисполнились жалости: оказалось, у бедняги полно блох. Они взялись избавить его от этой напасти. Мы прозвали его «Анисэ». На время он стал членом нашей семьи. Увы! Разве в наш беспокойный век можно сыскать оседлую семью? Мы отправились путешествовать, ставни закрылись, терраса опустела. Сколько раз, наверно, он приходил вечерами, понемногу теряя надежду… А когда мы вернулись, было уже поздно. Больше мы нашего Анисэ не видели.

Хотел бы я, чтобы прошла без трагедий короткая жизнь этого любителя наших садов! Да избавит его творец всего живого от жестокой развязки, что уготована ежам во все времена и в наш век, — да не сварит его в котелке над костром какой-нибудь бродяга, да не оставит распластанного в крови на дороге, пронзительно скрипнув шинами и сверкнув фарами, бешено мчащийся автомобиль.

Кролик

Я еще застал кроличий золотой век. Имею в виду, разумеется, дикого кролика. У него было вдосталь врагов, если даже говорить только о людях, и они яростно его преследовали, изощрялись во все новых способах убийства. То расставляли силки, то в лунную, но туманную ночь, натянув сети, напускали на него превосходно натасканных гончих псов, то охотились на него с хорьком, то подстреливали, ослепив фонарем, и в любую минуту браконьер мог приготовить себе жаркое или с черного хода продать добычу какому-нибудь трактирщику.

В пору моего детства дичью в Шатонеф торговали кондитерские. Едва начинался охотничий сезон, в их витринах уже с девяти утра вывешивались гирлянды куропаток, а на дощатых прилавках длинными рядами вплотную уложены были кролики; точно братья-близнецы выставляли они напоказ белое брюшко, синеватые уши и вытянутые лапы, пожелтевшие на подошвах от помета в норке. Запах мертвых зверьков заглушало благоухание ромовых баб, миндальных пирожных и мятных конфет. Где корни привычек? Эти убитые кролики, маленькие воскресные мертвецы и по сей день неотделимы для меня от воспоминаний о том, как с молитвенником в руках выходишь из церкви, и от дам в шляпах с перьями — так и слышу их болтовню и вижу, как они откидывают вуаль с лица и, вытянув шею, чтобы не насажать пятен на платье, жеманно оттопырив мизинчик, впиваются зубами в пирожное с кремом.

В долине Солони кролики просто кишмя кишели. Столько их развелось, что наши технократы объявили их общественным злом: «кроличий вопрос» чуть ли не прежде всего определял отношения буржуа-собственника, господина такого-то (он всегда один и тот же, как бы его ни звали), с арендаторами его земли (а также с его поденщиками, пастухами, птичницами и собаками и, понятно, сторожами).

А кролики знай плодились и размножались. Выйдя прогуляться, житель Солони вспугивал их на каждом шагу, — они прыскали во все стороны, скакали, кувыркались, так и мелькали куцые белые хвостики. В этих многочисленных беглецах было что-то очень славное, добродушное — сколько раз я замечал, как, глядя на них, смеялись и радовались дети. Да и не только дети. Однажды в ту пору нас проездом навестили друзья — супружеская чета, — и мы повезли их на прогулку. Они были из бедного края: я хочу сказать, из мест, бедных кроликами. Солонь этим своим богатством не хвастает, окроличенная вдоль и поперек, она остается сама собою, только и всего. Мы, здешние, к ним привыкли. Наши пресыщенные взоры привлекал пруд или густолистый красавец-дуб посреди луга, а кроликов мы и не замечали. Но наш гость! Он привстал в коляске и тыкал пальцем то вправо, то влево, но и этого ему было мало: он брал в свидетели жену и поминутно восклицал в безмерном восторге, почти в испуге: «Кролик! Кролик!

Смотри, Колетта!.. Да посмотри же! Нет, ты только подумай!.. — И снова: — Кролик! Кролик!»

Я уверен, он и сейчас вспоминает ту прогулку.

Необычайно деятельный грызун, способный нанести немалый ущерб, кролик был неотъемлемой частью Солони, словно некое установление или, вернее, неизбежность. Надо было с ним примиряться и терпеть; но, смею сказать, тут было нечто большее, чем простая терпимость. Давно уже терпимость перешла в особую снисходительность, в благосклонность.

Один мой легковерный родич вычитал в каком-то справочнике, что кролики не соблазняются ивой, и засадил несколько гектаров ивняком. Какой успех! Саженцы принялись, набухли почки, развернулись листья. Кое-кто с сомнением пожимал плечами, а новоявленный лесовод в ответ лишь скромно, но самодовольно улыбался. Засаженная ивняком лощина густо зазеленела. Наш герой уже чувствовал себя провозвестником новой эры, благодетелем Солони. А в одно прекрасное утро проснулся и глазам не поверил: хоть бы один ивовый листочек! Все исчезло за одну ночь. Последние кролики откатывались в лес и даже не слишком торопились: на сытый желудок не очень-то прытко поскачешь. Они ждали часа, когда угощение достигнет совершенства, станет всего нежней, всего сочнее — объеденье да и только. Наш плантатор их понял и простил.

Да, он был из тех, кто летними вечерами, где-нибудь на лиловых от вереска пустошах, на опушке сонного соснового леска мог без устали созерцать игры и долгие переговоры в этом огромном кроличьем садке под открытым небом. Тут был настоящий подземный город. Топоту лап по песчаным площадкам, среди вересковых кустиков, отзывалось снизу гулкое эхо, будто под землей зарыты были барабаны. Но все население города высыпало наружу, так заманчив был чудесный, на редкость безмятежный летний вечер.

Тихо, тепло, воздух почти недвижен. Лишь изредка дохнет едва заметный ветерок, небрежно взъерошит мягкую шерстку… Горожане встречались, раскланивались, прядали ушами, терлись друг о дружку носами. Иные солидно прохаживались, приостанавливались, возвращались, вновь останавливались — то ли погружались в раздумье, то ли о чем-то мечтали. Под елью, что низко свесила длинные пушистые ветви, собирались компании, сливались в густую толпу, словно

притянутые магнитом железные опилки. Тут велись тайные совещания, тут объяснялись жестами и, тоненько повизгивая, произносили длинные речи, тут сталкивались «различные направления», они внезапно сплачивали ряды и внезапно рассыпались — кто подскочит, кто перекувырнется, кто препотешно растянется на земле. И так же внезапно (так внезапно пустеет зал) из-под свода ветвей ушастые оравы галопом уносились, спеша — куда? К каким новым забавам? Ибо во всей этой суматохе через край било веселье, бодрость, радость жизни. Прелесть вечера, его чистоту и прозрачность, закатные лучи, что струились по розовым стволам сосен и золотили лист папоротника, — всю эту мирную красоту, от которой смягчается человеческое сердце, на свой лад ощущал и праздновал также и длинноухий народец.

А потом… Нашелся некий господин, которого возмущал «наносимый кроликами ущерб». То был ученый муж. Он списался с другим ученым мужем, светилом в области микробиологии, знатоком по части ультра-вирусов. Почта доставила крохотный пакетик — и среди кроликов вспыхнул миксоматоз.

Это ужасная болезнь, у ее жертв воспаляется и распухает голова, глаза выходят из орбит. Они наливаются кровью и мучительно болят, словно их вырывают с корнем; и все же они держатся, и мученье длится. Любители живописных зрелищ уверяют, что мордочка истерзанного болью зверька походит на львиную маску. И это верно. И маска эта, надетая насильно, маска вируса, кажется поистине чудовищной.

Мне довелось еще раз в Солони погожим вечером увидать, как на опушку сосновой рощи и на цветущую вересковую равнину высыпал под открытое небо из своего подземного города кроличий народ. Скрюченные, наполовину парализованные, со сведенными судорогой лапами, зверьки еле тащились, они проползали друг перед другом, словно призывали друг друга в свидетели своих страданий, а может быть, молили о помощи, но ее не суждено было дождаться.

И вдруг то один, то другой начинал кричать. Это был долгий, пронзительный, отчаянный, поистине душераздирающий вопль. Такие вопли я когда-то слышал поздними вечерами на полях жесточайших сражений. Стоит только одному раненому так закричать, и ему отзывается другой, и вскоре подхватывают все. Крики словно подхлестывают друг друга, нарастают, достигают какого-то адского исступления, и слышать их уже нет сил.

На лес и на пустошь опустилась ночь. В темноте я уже не видел кроликов. Но вся равнина по-прежнему исходила криком.

Жираф

После памятного утра, которое я посвятил когда-то прогулке по Зоологическому саду в Каире, я уже не могу себе представить жирафа одного.

Была ранняя весна, и зверей охватило волнение. Запертые каждый в отдельной клетке, не получая отклика на свои призывы, бушевали самцы шимпанзе. Как они топали ногами! Как потрясали длинными черными руками, грозя этому миру, где для них не нашлось подруги! Орангутанг, весь в рыжей шерсти, точно объятый пламенем, лежал на боку, подперев ладонью подбородок, лицо его было неподвижно, только медленно вздрагивали тяжелые, словно пеплом присыпанные, веки, и в этой дрожи была скорбь всех одиноких вдовцов. Зато зеленые мартышки, уистити, кроткие макаки уселись парами и, крепко обнявшись, щека к щеке, восторженно загляделись в зачарованные дали.

Но какими словами описать влюбленных жирафов! Когда-то меня поразил рассказ Одюбона о любовных обрядах большого американского тетерева-глухаря. Благодаря Одюбону я в какой-то мере предчувствовал колдовское обаяние (или недобрые чары — это уж как на чей взгляд), что внезапно переносит нас в первобытный мир козлоногого Пана, вне времени, вне собственного «я» — и сознаешь себя человеком лишь настолько, чтобы острее ощутить, как неодолимо завладевает тобою Природа. Много позже, в Зоологическом саду близ Квебека, меня так же захватили брачные танцы огромных короткоклювых соколов, когда они вытягивают крылья и раскачиваются, будто завороженные.

Но можно ли описать свадебный обряд влюбленных жирафов, передать, как вытягиваются и раскачиваются гибкие жирафьи шеи, какие тут приливы и отливы, шквалы и затишье, легкая зыбь и мгновенья глубокого покоя, — где найти нужные слова?

Невообразима полнота этого согласия, совершенная гармония, и когда один долю секунды промедлит, это неуловимое даже для самого зоркого глаза отставание и есть необходимая малость, которая пробуждает в самой глуби затуманившегося сознания ощущение полного жизни жаркого совершенства — зыбкое, мимолетное, оттого-то оно и задевает сокровеннейшие струны нашей души и властно заставляет отрешиться от себя.

Жирафов двое, и они — одно, это слияние полно благородства, изящества, оно куда несомненней, чем если бы соединилась их плоть. Они двигались рядом, бок о бок, размеренным шагом, от которого волнообразно колыхались вытянувшиеся во весь рост песочно-желтые тела, усыпанные округлыми пятнами, словно темными цветами, — несколько шагов, остановка, и вновь они выступают, будто священнодействуя, будто одержимые, и в самую глубокую синь устремляются вскинутые в танце стройные шеи. Колышутся рядом, параллельно, и уже не принадлежат одна самцу, другая самке, но обе — часть одного существа, словно два языка одного и того же пламени, неразличимые и все же отчетливые, и, глядя на них, я погружался в странное очарование, рожденное памятью и мечтой.

Где, когда еще я видел такой вот скользящий танец в сиянии неба — не синего, но розовато-пепельного, как цветущая сирень? То были пряди северного сияния, они вот так же колыхались в танце, объятые светящейся ночью, по ним опять и опять пробегал снизу доверху тот же мягкий трепет — медлительная, величавая волна. Лучи света среди света, подобие теплых перьев во весь размах северного неба, длинная, волнистая звериная шерсть, в едином ритме языками пламени взмывающая в зенит тропических небес, взлетающие метеоры — и на вершине взлета качаются узкие головки животных с удлиненными губами и смутным взором кротких глаз… Все эти видения влекли меня к порогу запретного мира, полного загадок и тайн, — того мира, где мчатся по своим орбитам небесные светила и частицы атома, где танцы желания пробуждают в сердце человеческом тоску по невозможной красоте, — к миру, через который мы проходим с широко раскрытыми глазами и настороженными чувствами по самому краю жизни, для нас навеки недоступной.

Габриель Шевалье — коренной лионец. В Лионе он родился, получил образование (сначала в религиозном коллеже, затем в Лионской школе изящных искусств), сюда вернулся после первой мировой войны, которую прошел рядовым пехотинцем. Впечатления этого периода отражены, писателем в романе «Страх» (1930) и в повести «Крапуйо» (1948).

Во время фашистской оккупации Шевалье — участник Сопротивления в Южной зоне. Вместе с Луи Арагоном и Жоржем Садулем он пишет для подпольной газеты «Этуаль», сотрудничает в Национальном комитете журналистов и писателей. После Освобождения остается в Лионе, занимает ряд крупных постов в культурных организациях города, возглавляет региональное отделение Общества франко-советской дружбы.

Истории Лиона, описанию быта и нравов провинциального общества посвящает Габриель Шевалье свою знаменитую трилогию: «Клошмерль» (1934), «Клошмерль-Вавилон» (1954), «Клошмерль-водолечебница» (1963), к которой примыкает книга «Изнанка Клош-мерля» (1966). Шевалье принадлежит и ряд других романов («Святой холм», 1937; «Девушки свободны», 1960; «Брюмерив», 1968).

Сатирические произведения Шевалье — яркие фрески провинциальной жизни буржуазии. Желчно и язвительно описывает он «ярмарку тщеславия», выявляет механизм маскарадной жизни, участники которой, изображая «респектабельность», на самом деле исполнены, обывательского здравого смысла. Впрочем, острота социальной критики у Шевалье заметно смягчается тем, что писатель нередко смотрит на жизнь глазами стороннего — хотя и саркастически настроенного — наблюдателя, не верящего в возможность изменить существующий порядок вещей. «Мы являемся тем, чем нас сделала жизнь, — говорит один из персонажей Шевалье. — Она поставила нас на определенное место, согласно талантам и умственным способностям, отпущенным нам природой». Если писатель и готов увидеть в мире светлое начало, то носителями его он делает детей и подростков, которые еще не успели столкнуться с действительностью, якобы не оставляющей места для «идеала». Таковы романы. «Моя подружка Пом» (1940), «Олимп» (1959).

Возможно, именно это отношение к жизни снизило актуальность творчества Шевалье и его популярность среди современных французов, активных участников общественных бурь, стремящихся занять не нравственно отстраненную, но политически заинтересованную позицию в социальной борьбе.

Однако как бы ни соотносилось творчество Габриеля Шевалье с политической злобой дня, оно ценно как честное и горькое свидетельство о состоянии буржуазно-обывательского общества XX века.

Gabriel Chevalier: «Mascarade» («Маскарад»), 1948.

Рассказ «Одностороннее движение» («Le sens interdit») входит в указанный сборник.

I

Жан-Мари Дюбуа угодил в тюрьму. Говоря откровенно, по собственной вине: вовремя не поостерегся. Попал, значит, по простодушию, а вовсе не лез на рожон, не бунтовал. Он, видите ли, верил в справедливость. А так как справедливость имеет не одну, а тысячу ипостасей и толкуется на тысячу ладов, он создал себе на потребу идею некой абсолютной справедливости, положив в ее основу чистую совесть и здравый смысл самого Ж.-М. Дюбуа. Что ж, мерка как мерка, не хуже прочих. Но он сильно недолюбливал тех, для коих справедливость — это просто заработок, нажива, привилегии, вообще путь к продвижению.

Первый свой проступок Ж.-М. Дюбуа совершил 21 июня 1941 года. Он бойко катил на велосипеде по Парижу, по не похожему на себя Парижу, почти пустынные мостовые которого предоставляли великолепное поле для велосипедного движения. Он выписывал по деревянной мостовой замысловатые зигзаги, радуясь, что не надо спускаться в промозглое чрево метро, сам дивясь быстроте и легкости езды. И хотя Ж.-М. Дюбуа изрядно отощал от постоянного недоедания, он еще не дошел до той стадии, которая дает ощущение физической легкости и прекрасную спортивную форму. Шел слух, что врачи прямо-таки в восторге от введения карточной системы, столь пользительной для здоровья всей нации. Светила медицинского факультета вдруг обнаружили, что французы питались слишком обильно, жрали, как свиньи, и пили, как сапожники. Открытие это было сделано с помощью Берлина и немецких докторов, весьма сведущих во всех тонкостях статистики и умеющих дозировать калории вплоть до миллиграмма. Из уст в уста передавали волнующие истории об излечении от всех болезней печени, о бесславной сдаче позиций диабетом и уремией. Великолепно вышколенная и охотно морализирующая пресса ежедневно печатала статьи об этих чудесных исцелениях. Прости-прощай, запоры, тучность, завалы. И как естественное следствие этого — бодрый дух и приятная физическая легкость.

Правда, все еще оставалось чувство голода, до того неотвязное, что через час после еды у вас начинало сосать под ложечкой. Однако, по утверждению знатоков, это не более, чем временный этап, перешагнув который человек уже легко приспособляется к брюквенному режиму. Немцы и тут не растерялись: сумели-таки с помощью брюквы привить французам дух побежденных, тем более что последние страдали от всяческих растяжений и расширений внутренних органов, не говоря уж об умственной тупости. Одной из наиболее положительных сторон поражения было именно это навязанное французам здоровое, гигиеническое питание. Французские желудки, по мысли победителей, должны были намного сократиться в размерах, а следовательно, не требовать излишней пищи. Слишком долго французы обжирались разными там рагу, цыплятами в сметане, тушеным мясом, бараниной по-суассонски, утками с репой, салом с луком, индейками с каштанами, почками в мадере и даже не догадывались искать в поглощении всей этой снеди хоть какого-то идеологического смысла. Отныне об этом позаботятся власти предержащие. Отныне начинается запрограммированное питание посредством системы строгого распределения, обязательного для всех пищеварительных трактов Европы. А такой режим прямым путем ведет к размягчению мозгов в интеллектуальной и теоретической парилке, благотворное влияние которой скажется в самом недалеком будущем. Необходимо пройти через коротенькую подготовительную стадию, в течение которой, увы, придется вывести в расход известное количество мозгов, чересчур заскорузлых для вышеупомянутой операции. Но и это тоже еще одна мера социальной гигиены, что не преминут оценить добропорядочные граждане.

Лично Ж.-М. Дюбуа считал, что его желудок что-то слишком долго не сокращается в размерах. Выписывая кренделя на своем велосипеде, чувствуя, как горят худые ягодицы, трущиеся о кожу седла, он мысленно предавался чудовищным пиршествам плоти. И тогда он еще яростнее налегал на педали, как будто впереди маячила свежая свининка, горяченькие сосисочки и жареный свиной хвостик, а всю эту снедь он непременно зальет изысканным божоле или молодым анжуйским винцом. О еде он мечтал как одержимый и, согнувшись над велосипедным рулем, судорожно глотал слюну. Он сам угрызался такими мыслями, придирчиво допытывался у себя, уж не плохой ли он гражданин? Ведь нормирование продуктов — это, так сказать, искупительная жертва. И общая их нужда — тоже вроде бы искупление. Ему бы разделить всеобщую участь, вести себя благопристойно, — пускай они побежденные, зато полностью это осознают. Как ни говори, а шею им намяли… Правда и то, что он чуточку обалдел после всех этих не слишком воодушевляющих событий.

С силой нажимая на педали, Ж.-М. Дюбуа круто свернул в переулок, чиркнув колесом по обочине тротуара. Но, услышав за спиной полицейский свисток, он уперся одной ногой в землю и стал безропотно ждать представителя общественного порядка.

— Нарушаете! Односторонний проезд, не видите, что ли? Документы.

Всеми своими помыслами Ж.-М. Дюбуа рвался к свежей свининке. Рот у него был полон слюны. Гнаться за свининой и напороться на протокол — может ли быть разочарование горше?

— Да не смешите вы меня, ей-богу, — сказал он полицейскому. — Небось бошам вы бы проезда не

запрещали!

— Вы, надеюсь, не бош?

— Где уж нам! — взорвался Ж.-М. Дюбуа. — Но будь я гитлеровским прихвостнем, черта с два посмели бы вы делать мне замечания, от страха языка бы лишились. Просто какое-то проклятье, достаточно тебе быть французом, и тут же тебя другой француз непременно обложит! И именно из тех, что поустраивались на теплых местечках да еще на брюхе перед оккупантами ползают.

— Каким это тоном вы со мной разговариваете! — рассердился полицейский.

— Патриотическим! — отрезал Ж.-М. Дюбуа.

— Скажите на милость! Я, может, патриот не хуже вашего.

— Вот бы не подумал, — протянул Ж.-М. Дюбуа. — Потому что ремесло-то у вас уж больно сволочное.

— То есть как так сволочное?

— Да-да, сволочное, особенно при бошах. Ведь вам приходится перед ними пресмыкаться. Да я на вашем месте лучше бы козий навоз на Елисейских полях подбирал.

— Хватит! — оборвал его полицейский. — Не учите ученого. Давайте документы.

Ж.-М. Дюбуа зашелся от злости.

— Вы что же, нарушение мне припаяете?

— Как не припаять, — подтвердил полицейский. — Считайте, что еще дешево отделались.

— А все-таки до чего же обидно, — не унимался Ж.-М. Дюбуа, — что существуют такие гнусные типы! Они, видите ли, готовы немцам зад лизать, а на французов набрасываются!

Он даже попытался призвать прохожих в свидетели, но в этот час их здесь было мало. А те, что были, старались улизнуть побыстрее, согнув хребет, пряча предательски-трусливые физиономии, словно за ними по пятам уже гнались молодчики из гестапо или верзилы из полевой жандармерии.

Самому Ж.-М. Дюбуа казалось, будто он ничуть не вышел из границ дозволенного. Искренние убеждения, по сути дела — неистребимая, рокочущая сила. Во всеоружии своего простосердечия он приводил довод за доводом. И благородный гнев придавал им чисто стихийную неотразимость.

— Бывают же такие французы — ну просто дерьмо, извините, конечно, за выражение.

— Уж не на меня ли вы намекаете?

— Если я говорю: дерьмо, значит, я о дерьме и говорю. А уж это ваше дело по совести разобраться, что к чему.

— Не советовал бы вам дольше испытывать мое терпение.

— А на мое терпение вам плевать, да? У шпиков одно только занятие — подхалимничать! Ох, и бедная же наша Франция! И поделом нам, что мы проиграли войну!

— Я ее не больше вашего проиграл!

— Ну, это еще бабушка надвое сказала, голубок! Возможно, вы и перли на них в атаку, да только, так сказать, придерживались одностороннего движения, чтоб было сподручнее ихней свастике кланяться!

Ж.-М. Дюбуа хватил через край. Но он уже завелся. Все, что накипело у него на душе, требовало выхода, пусть хоть раз в жизни. Тут уж он ничего с собой поделать не мог. Он крыл полицейского, его нес героический порыв, в таком состоянии он бы мог безоружным пойти на вражеский танк или поддать ногой под зад фрицу, а один бог знает, сколько раз Ж.-М. Дюбуа хотелось поддать под зад фрицу!

Дело в том, что, помимо вечного недоедания, он страдал также и морально. Страдал от того, что комедианты и краснобаи продали его с головой. Его мобилизовали якобы для того, чтобы сражаться с врагом, а потом вдруг заявили, что сражаться ему незачем, что дело уже в шляпе, что речь идет просто о том, чтобы блокировать немцев. Конечно, на границе требуется известная бдительность, но никому не запрещается и в карты поиграть, и в футбол, и выпить. Вот увидите, немцы сами быстро выдохнутся — ни жратвы у них нет, ни горючего. А кончилась эта история всесветным

драпом, паникой и неразберихой. Вчерашних варваров, гитлеровских подонков провозгласили чуть ли не богами, а все потому, что находятся теперь люди, которые говорят, даже пишут, что вовсе Гитлер не ничтожество, вовсе он не плохо воспитан, — напротив, он потрясный тип, настоящий рыцарь, да что там — гений! Что боши — прекрасный народ, дисциплинированный, трудолюбивый, аккуратный, а уж со вдовами и сиротами они — сама любезность, обожают детей и животных, ведут себя в любых обстоятельствах корректно, тем паче что уже успели закончить свою работенку — расквасили вам морду и сожгли ваш отчий кров. Что нас все равно бы расколошматили, коль скоро французы — дегенераты, лентяи, пьяницы и развратники. И нашлись такие французы, чтоб изложить все это в изящных фразах, и нашлись такие, чтоб эти фразы смаковать.

Ж.-М. Дюбуа знал, что французы просто несчастны, за исключением сволочей, жиревших на всеобщем бедствии. Ему хотелось бы, чтобы это ни с чем не сравнимое горе они несли все вместе, чтобы общая напасть сплотила их теснее. И коль скоро напасть эта имела вполне определенное лицо — лицо боша, значит, надо было встать против него сплошной стеной, без единой трещинки, без щели. Вот он, единственный случай для братского единения. Когда человек сыт и благополучен, он на глазах превращается в толстопузого нахала. Ж.-М. Дюбуа готов был сейчас любить всех французов подряд, хотя в прежние времена плевать он на них хотел, обзывал их глупцами и раззявами. Конечно, он был неправ, раз дошел до такой мысли. Но в какой-то мере и он был таким же раззявой и глупцом: готов был дарить свою любовь соотечественникам, потому что их предали, посадили на скудный паек, принесли в жертву, лишили свободы, горючего, разорили и унизили. Потому что боши устроили на авеню Опера стоянку для своих автомашин. Потому что на улицах Парижа шел беспрерывный маскарад дураков-победителей, снующих взад и вперед, как клопы, и потому что эти тупицы какого-то фабрично-серого цвета принесли с собой зловещую систему повальных бедствий. Да еще вид у них был такой, будто эта система вполне нормальная и в смысле курева и в смысле жратвы. А взять хотя бы их комендантский час… Ну скажите на милость, какой толк навязывать военные порядки людям, добровольно решившим больше не драться? Ведь французы сложили оружие, и это вполне устраивало немцев. Стало быть, эти тупицы даже не считали нужным соблюдать правила игры. Как, например, объяснить, что они заняли добрую половину Франции, забирают у нас молоко, масло, кур, скот, да еще требуют ежедневно четыреста миллионов франков?

Вот почему Ж.-М. Дюбуа считал, что им, французам, следовало бы возлюбить друг друга, друг другу помогать, отказавшись от маленьких подлостей, бывших расхожей монетой в довоенные времена. Стянуть бы всем вместе потуже пояс, им, отощавшим оборванцам, над которыми еще всячески издеваются немцы. Вот тогда бы и родилась такая солидарность, о которой прежде и не слыхивали.

И вдруг какой-то гнус, получающий двойной паек как работник физического труда только потому, что ползает на брюхе перед бошами, припаивает ему нарушение за какое-то идиотское одностороннее движение! Весь гнев, накопившийся на сердце Ж.-М. Дюбуа, вся неприязнь, все возмущение вылились в бурном потоке слов, сдержать который он был уже не в силах. Он клял полицейского и так и эдак, и ему чудилось, будто таким образом проклятья доходят и до самого Гитлера, до его зловещих приспешников, до его солдат-автоматов и до всего ихнего мерзкого, обрыдшего всем великого рейха.

Шпик вчинил ему следующее обвинение: оскорбление полицейского, призванного охранять общественный порядок, при исполнении им служебных обязанностей. В суде полицейский заявил, что правонарушитель несколько раз произнес слово «бош». Это бросило судей в дрожь ужаса — не дай бог, в зал затесались доносчики. Ж.-М. Дюбуа заработал год тюремного заключения с немедленным взятием под стражу.

— Ну, это уж вы хватили! — сказал он господам судьям, когда приговор был оглашен.

После этого удара он так и не оправился. Приговор убил в нем не только доверчивого патриота, француза, хранившего верность своему знамени, но и гордость, которую он надеялся сберечь в недрах своей души, пусть даже его родину постигла такая беда.

II

По самой своей природе Ж.-М. Дюбуа не был предназначен для сидения в тюрьме. Был он слишком честен, слишком наивен. И всегда старался чтить все статьи кодекса как гражданского, так и военного. Потребовались воистину величайшие потрясения, чтобы жизнь его сошла с нормального своего пути. Потрясения эти свершались на его глазах, но умом он не мог постичь всей их глубины. Не понял он также смятения умов, не усвоил правил личной безопасности, базирующихся на бесчисленных компромиссах. Видя на наших площадях бошей с их плоскими барабанчиками, в сапогах и в огромных касках, он твердил:

— Какого хрена эти дудильщики заявились к нам в Париж! Да чтоб они все передохли!

Он все еще верил в Кловиса и Жанну д'Арк, в Баярда, в Тюренна, во взятие Бастилии и в битву при Валь-ми, в Наполеона и Фоша. Правда, он не сумел бы расположить всех этих героев и все их подвиги хронологически на страницах истории. Но они прочно засели у него в голове, и не в таком он был возрасте, чтоб снова садиться за парту. Великие эти имена вошли составной частью в его формирование как француза в такой же степени, как белое винцо, капустный суп, чесночный салат, телячье рагу, игра в белот и шары и как весьма удобная система «изворачивайся, как знаешь». А что эти типы из Берлина дали им взамен?

Ж.-М. Дюбуа свел свое первое знакомство с тюрьмой времен оккупации — то есть тюрьмой, набитой до отказа, с ее парашечным режимом. Вообще-то о тюрьме, как таковой, никогда не думаешь, особенно если веришь, что туда не попадешь. Довольно скоро Ж.-М. Дюбуа смекнул, что Франция вступила в такую полосу, когда люди, буквально все люди подряд, могут угодить за решетку. И требовался для этого сущий пустяк: последний приказ немецкого коменданта города Парижа, падло-консьержка, неосторожное слово, попытка обойти немецкие законы, без чего все французы просто перемерли бы с голоду. Отдельный индивидуум отныне лишался всех прав, а полиция прислуживала любым хозяевам. Полицейские упивались выпавшей на их долю ролью, хватали направо и налево, да еще вымогали с тебя взятку. Так что в тюрьме можно было обнаружить любую человеческую особь, от истинно порядочных людей до последних гадов. И, как правило, лучше всех устраивались здесь спекулянты и дельцы.

В тюрьме, куда попал Ж.-М. Дюбуа, безраздельно царил некий мсье Проспер, арестант высокого класса, окруженный почтительным восхищением. Изворотливый циник и, в сущности, свойский парень, он вел крупную игру в покер и подкармливал сокамерников излишками заработанного игрой продовольствия. Стража и та выполняла все его прихоти. В вонючей камере благоухал одеколоном один лишь мсье Проспер, как помазанник божий — миррой. По его словам, он был на короткой ноге со всеми заправилами Берлина, Парижа и Виши. Его арест — грубейший просчет мелкой полицейской сошки, и кое-кому еще «это дорого обойдется». Такая в нем чувствовалась сила и уверенность, что никто бы даже не удивился, если б тюремные стены рухнули перед ним в назначенный им же самим час.

Совсем приунывший Ж.-М. Дюбуа почтительно восхищался мсье Проспером. В его глазах тюрьма была создана для того, чтобы принизить человеческую личность через общую уравниловку позора. Он не мог опомниться от того, что и здесь, в этом тесном кругу, все шло точно таким же чередом, как и повсюду. Он обнаружил, что в преступлении и низости имеется своя особая иерархия, свои баловни, свои рвачи и свои жертвы, свои шефы и просто серая кобылка. Кое-кто из заключенных умел внушить тюремщикам уважение к личности арестанта и говорил о будущей расправе с ними таким непререкаемо-уверенным тоном, что те тряслись от страха. Но правонарушение Ж.-М. Дюбуа было дурацким правонарушением. Солидный человек за такие пустяки в тюрьму не попадет.

Мсье Проспер проникся симпатией к Ж.-М. Дюбуа, симпатией мастера к дилетанту. Ему нравились вот такие цельнокроенные натуры, равно способные и на нерассуждающую преданность и на нелепый жест. Чувствовалось в них что-то чистое, освежающее. И к тому же просты в эксплуатации: именно среди таких жертв общественного порядка вербуются первоклассные подручные и безропотные статисты.

— Так как же, милейший Дюбуа, — однажды сказал он, — значит, вы бесповоротно решили уморить себя голодом в нашу эпоху изобилия?

На самом-то деле ничего Ж.-М. Дюбуа не решил. Он облаял полицейского просто так, сгоряча, возможно, потому, что его мучил голод и огнем жгло ягодицы от долгого ерзанья по велосипедному седлу. Но специального призвания к мученичеству он не имел. Он не скрыл от своего собеседника ни своей безысходной нищеты, ни печальных своих забот, так как дома у него осталась жена с двумя ребятишками, которые кормились только тем, что зарабатывал он. Как-то там они, несчастные, выкручиваются без него? Поэтому-то он и обомлел, услышав, что мы живем в эпоху изобилия.

— Боши у нас все забрали. Они хотят нас голодом уморить.

Снисходительно улыбаясь, мсье Проспер объяснил, что на самом деле все происходит наоборот. Обладая блестящими организаторскими способностями, оккупанты проводят сейчас разумный отбор, что в ближайшее время приведет к перераспределению ценностей. Для того чтобы устоять против обильной пищи, богатой соками и витаминами, требуется сначала достичь известного уровня культуры, в противном случае, потребляя пищу, вы рискуете впасть в грубый материализм, материализм оглупляющий. Одной лишь элите не вредит обжорство, поскольку в состоянии эйфории она мыслит еще плодотворнее, еще изящнее. Когда немецкая система войдет в силу, то представителя элиты без труда будут узнавать среди толпы по яркому румянцу, по костюму дорогой ткани, по обуви мягкой кожи, по тонкому белью и т. д., и т. п. До последнего времени кормили всех вперемешку, кормили, не задумываясь, кто дурак, а кто умник. В результате полная социальная неразбериха, в которой сам черт ногу сломит. Но сейчас забрезжила определенная надежда, что отныне вся эта орда дураков будет поставлена в такие рамки, где дальнейшее размножение уже невозможно. Это, естественно, высвободит известное количество продуктов питания, которые раньше расходовались по-идиотски, — кормили разных получеловеков, а теперь все лучшее будут получать лишь наиболее светлые умы.

— Значит, — осведомился Ж.-М. Дюбуа, — есть досыта всегда будут одни и те же, а другие одни и те же будут всегда ходить впроголодь?

— Ничего подобного, — возразил мсье Проспер. — Именно здесь-то и видна гениальность этой системы. До войны любой тип, даже бездарь, ничтожество, мог купить себе той же пищи, какую потреблял и миллиардер. Если вдуматься, это крайне несправедливо — ведь не может же миллиардер съесть в сто раз больше, чем какой-нибудь заурядный болван. Улавливаете ход моей мысли, Дюбуа?

— Да-а, — тупо протянул Ж.-М. Дюбуа. — Стало быть, с вашей системой остальным в задницу идти, что ли?

— Да вовсе нет, — заверил мсье Проспер. — Самым лучшим, самым смелым, самым изворотливым предоставляется великолепнейший случай включиться в будущую элиту. Сильные заставят с собой считаться.

— А все-таки боши они и есть боши, — гнул свое Ж.-М. Дюбуа. — Шпик вон жрет от пуза, потому что млеет перед ними, с ними вожжается. Нет, по мне, уж лучше…

— Знаю, знаю, что бы вы предпочли, — мягко прервал его мсье Проспер. — Вы предпочли бы, чтоб ваши дети на ваших глазах зачахли от туберкулеза, а ваша голодная бедняжка жена убивалась на работе.

— Да бог с вами! Но нельзя же услужать этим сволочам, которым даже одностороннее движение — не помеха. И что, скажите на милость, они у нас делают?

— Вы неправильно ставите вопрос: важно не то, что они у нас делают, важно, что они здесь, у нас.

— А потом, как-никак существует родина!

— Существует, — согласился мсье Проспер. — Но родина — понятие растяжимое. Границы то и дело меняются.

— А стыд-то какой, что эти типы нас расколошматили…

— Оказывается, до сих пор еще существуют люди, которые так ничего и не поняли, — спокойно проговорил мсье Проспер. — Поверьте мне, поражение обошлось нам намного дешевле, чем обошлась бы победа, оплаченная миллионами трупов.

На все у него был готов ответ, у этого мсье Проспера. Благодаря общению с ним тюрьма превращалась в учебно-просветительное заведение. Но, увы, его скоро освободили. Покидая стены узилища, он, как барин, раздавал надсмотрщикам чаевые, будто лакеям в отеле. Сам господин директор приватно принял его в надежде, что тот не откажет ему в своем покровительстве и походатайствует о нем перед высокими персонами. Он даже извинялся — ничего не попишешь, тяжелое у него ремесло, плохо оплачиваемое, тут трудно не наделать промахов. Мсье Проспер поспешил заверить директора, что не держит на него зла. Очевидно, директора тюрем утратили нынче знание света…

Уходя, мсье Проспер дал Ж.-М. Дюбуа свой адрес и посоветовал заглянуть к нему, когда его тоже выпустят. Очень возможно, что он останется без места, вряд ли прежние хозяева встретят его с распростертыми объятиями.

— Счастлив был познакомиться с вами, милейший Дюбуа. Уверен, что недолгий тюремный стаж послужит вам на пользу.

Но так как Ж.-М. Дюбуа казался не слишком в этом уверенным, мсье Проспер тепло добавил:

— И я раньше был, как вы, Дюбуа, и я тоже загубил свою молодость на угрызения совести. Предубеждение против тюрьмы, поверьте мне, вредное предубеждение. Я избавился от него лет пятнадцать назад. И с тех пор открылась моя карьера.

После себя мсье Проспер оставил в тюрьме лишь сожаления, восхищение и уважение. Отсвет его удачи упал на всех заключенных. Даже надзиратели признали, что для исправительной тюрьмы это огромная потеря.

— Но, — философически добавляли они, — разве здесь удержишь такого типа? Уж больно много у него деньжат.

III

Девица дьявольской сексапильности, с копной волос теплого золотистого оттенка, провела Ж.-М. Дюбуа в огромную комнату, где все так и дышало богатством, всю в коврах, зеркалах, картинах, ценных безделушках. Впервые в жизни ему довелось увидеть нечто столь шикарное и комфортабельное. Но эта роскошь огорошила его, совсем как накануне, после выхода из тюрьмы, огорошил первый день свободы, яркий солнечный свет.

Лицо у него было землисто-серое, изглоданное, одежда рваная. Проклятый желудок, никак не желавший уменьшаться в размерах, все время сжимало, словно клещами. Одна у него была цель, одно устремление — наесться. Даже самое ходовое выражение: «набить себе брюхо» — волновало его, как волнует пьяницу, отлученного от алкоголя, мысль о рюмочке. При бедственном своем положении он был лишен возможности покупать калорийную пищу: масло, яйца, сочные бифштексы, настоящую, а не эрзац-колбасу…

Девица попросила его подождать, и он остался один. Из соседней комнаты доносились голоса. Ж.-М. Дюбуа неловко притулился на краешке стула в позе робкого просителя.

Вдруг по спине у него поползли обильные струйки пота, руки затряслись. Он был близок к обмороку, вроде бы даже начала кружиться голова. Как зачарованный, он не отводил глаз от огромного письменного стола красного дерева. По столешнице были небрежно разбросаны почти в фантастическом количестве пачки бумажных денег, именуемые на языке спекулянтской элиты «брусчаткой». В каждой было не меньше миллиона в пятитысячных купюрах только что из-под пресса. В таком виде с ними ничего не стоило управиться.

Никогда мысль о краже даже случайно не касалась Ж.-М. Дюбуа. А тут перед этими никем не охраняемыми грудами миллионов явно подозрительного происхождения она вдруг втемяшилась ему в голову. Стоит только схватить две-три пачки, сунуть их в карман, быстро выскользнуть в переднюю, а спросят — сказать, что заглянет, мол, завтра. Кто станет заявлять о краже? Пребывание в тюрьме кое-чему его научило — кое-какие понятия он переосмыслил. Но сейчас его застало врасплох. Левая рука лихорадочно вцепилась в правую, которая уже рванулась было вперед, на лбу от страха выступили капли пота, а сам Ж.-М. Дюбуа мучился вопросом: а куда же девать честность? (Впрочем, — шептал ему внутренний голос, — вся твоя честность гроша ломаного не стоит…) Так он и не решился сказать себе ни «да», ни «нет». Воля тут была ни при чем. Валяйся перед ним несколько тысяч франков, возможно, руки бы он не отдернул, но от этой монументальной груды у него буквально дух перехватило. Потрясло его до нутра. При виде такого несметного богатства здесь, совсем рядом, только руку протяни и бери, он совсем растерялся, как тогда, у Седана, под первой лавиной бомб, сброшенных с фашистских самолетов. Как он тогда не мог установить, трус он или не трус, так сейчас он не знал, что в нем, в сущности, говорит: порядочность или обыкновенный страх, а может, он просто непривычен к таким делам и потому колеблется. Наконец он буркнул про себя:

— Как был слизняком, таким и останешься!

От этих слов ему полегчало, и он снова обрел прежнюю моральную форму. Неужто сдрейфил?.. В прежнее время это словечко резануло бы его, словно воровской жаргон. Но сейчас, после года тюремного опыта и тамошних разговорчиков, он уже не мыслил прежними моральными категориями, тем более что мораль сейчас безнадежно отставала от реальной жизни: дрейфит тот, кто не умеет вовремя урвать или во-время сжулить.

Его внезапно охватила ярость, сродни той, что год назад привела его в тюрьму. Он решительно встал со стула и ворвался в соседнюю комнату, к секретарше.

Мадемуазель Нина как раз мечтала о любовных приключениях и о тех неслыханных успехах, каких она добьется в жизни в силу своей принадлежности к слабому полу. Растопырив пальчики, чтобы не смазать свежий лак, она разглядывала свои тонкие руки, созданные для бриллиантов, причем, не меньше, чем в пять каратов, а уж никак не для стучания по клавишам машинки. Она ждала, чтобы судьба послала ей богатого содержателя, который не только бы давал ей ежемесячно крупную сумму на булавки, но и, как на крыльях, перенес бы ее в высшие сферы, где царит подлинная элегантность. Конечно, она не отказалась бы и от брака, но пока еще не видела возможности подыскать себе подходящего партнера, — разумеется, в финансовом смысле, — не пройдя предварительно через стадию содержательства. Был у нее любовник, милый, ласковый мальчик, но, увы, вечно сидит без гроша. Как только она вступит на самую первую ступень столь чаемого успеха, она тут же его прогонит. Оставалось только ждать счастливого случая.

Голос Ж.-М. Дюбуа грубо прервал ее мечтания.

— Послушайте, красотка, вы, видимо, совсем ума решились? Разложили на виду этакую уймищу деньжищ и заперли меня с ними в кабинете. Вы разве не знаете, что я из тюряги?

— Такие, как вы, у нас часто бывают, — пояснила мадемуазель Нина. — Дружки шефа. А вы с ним тоже там познакомились?

Тут только она спохватилась, с чего начался их разговор.

— Ах, господи боже, я и забыла, что мсье Жозеф притащил эти деньги. Наши комиссионные за партию одеял для Восточного фронта. По-моему, он сказал, сколько там: не то двадцать один, не то двадцать три миллиона. Вы не пересчитывали?

— Ну и дьявольщина! — озлился Ж.-М. Дюбуа. — Значит, вам начхать — два миллиона больше, два миллиона меньше!

— Мне по телефону звонили. Я и забыла посчитать деньги… Их здесь проходит столько, что и внимания на них как-то не обращаешь.

— Стало быть, — спросил Ж.-М. Дюбуа, — я мог бы преспокойно стырить миллиончика два, и будь здоров?

— Ну-у, знаете, — с улыбкой протянула мадемуазель Нина, но по ее спокойному взгляду он понял, что она считает его мало пригодным для такой операции.

— И никто бы не знал, что это я. А вдруг — вы?

— Стану я мараться из-за каких-то несчастных двух миллионов, — спокойно возразила мадемуазель Нина. — Вы подумали о том, как сейчас трудно жить, как трудно устроиться на работу? Пускай мне эти миллионы на блюдечке принесут. А как по-вашему, принесут?

— Да уж кривобокой вас, безусловно, не назовешь, — сказал Ж.-М. Дюбуа. — Девица что надо, первый сорт. Да есть еще в вас что-то эдакое хищное, властное, что ли, такое. А вашими зубками только бриллианты крошить, да еще жемчуга в придачу.

— Мужчины, — сентенциозно заметила мадемуазель Нина, — любят дорогих женщин, с изюминкой.

— Ну и дела, — сказал Ж.-М. Дюбуа. — Для вашего возраста вы здорово изучили жизнь. С таким железным сердечком, да еще под такими маленькими, не залапанными титечками — ох, и далеко же можно пойти. Сколько еще вы их увидите у ваших ног, этих толстяков с миллионами! Послушайте-ка, а ведь вы могли бы и шпионажем заняться, по нынешним временам и на этом ремесле тоже можно деньгу зашибать.

— Да ну вас, с вашим шпионажем, — поморщилась мадемуазель Нина, — вот уж грязное занятие. И притом еще спать со всеми нужно. Я предпочитаю спать без шпионажа. Ведь это тоже не пустяшная работа. Женщина, которая спит для того, чтобы спать, при всех обстоятельствах вправе высоко держать голову.

— Ладно, — согласился Ж.-М. Дюбуа. — Выходит, вы все уже обмозговали. На добровольных началах, извините за выражение! А если у вас при этом еще и соответствующий темперамент… В этой лавочке у вас хоть хорошее положение?

— Неплохое, — ответила мадемуазель Нина. — К шефу можно попасть только через меня. Посудите сами! У нас тут самый разворот: кожа, масло, сигареты, кофе, сахар, бензин, сгущенное молоко, ткани, покрышки… И все это вагонами, тоннами, тысячами. А по мелочам извольте обращаться к спекулянтам. Дешевка — это не наше амплуа. Наша сила в том, что все здесь из первых рук. Вы, очевидно, думаете — продал товар, и на тебе сразу миллионы. Хочешь не хочешь, а надо подмазать одного, второго, десятого… К нам столько всяких присосалось — и самых крупных, и разной мелюзги.

Тут Ж.-М. Дюбуа спросил, еле переводя от волнения дух:

— А как вы считаете, мне у вас хоть малость отломится?

— Почему бы и нет? — ответила мадемуазель Нин а. — К нам еще не такие приходили. Вы за черный рынок в тюрьму попали?

— Нет, — отрезал Ж.-М. Дюбуа.

— Партизан? Коммунист? Еврей? Рекомендация незавидная.

— Я попал в тюрьму, потому что я человек чести.

— Какой еще чести? Ладно, можете сколько угодно кичиться тем, что вы, мол, такой оригинал. Только послушайтесь моего совета: об этом лучше молчите.

Вам деньги на пропитание нужны?

— А то нет!.. — вздохнул Ж.-М. Дюбуа. — Супружница и парочка малолеток, поди-ка их накорми.

— Предупреждаю вас, шеф желает, чтоб среди его персонала были сидевшие только по серьезным мотивам. Придется вам перестроиться.

— И я того же мнения! — согласился Ж.-М. Дюбуа. — Главное, чтоб платили.

— В этом отношении можете быть спокойны. Ни в чем недостатка испытывать не будете. И отсидка в тюрьме тоже оплачивается. Шеф своих людей в беде не бросает.

— Значит, придется снова в тюрягу идти? — поинтересовался Ж.-М. Дюбуа.

— Возможно. Когда зарабатываешь сотни и тысячи, все может случиться. Но не обязательно. Вопрос удачи и аппетита. При нашем размахе шеф просто не в состоянии улаживать все истории. Конечно, полиция у нас из рук ест, но ведь существуют еще не прирученные. Но не волнуйтесь, в конце концов их тоже прижмут. Доносят на них в гестапо и в Виши. Их тоже сажают. Если не сумеешь внушить к себе уважение, лучше не браться за дело.

Как раз тут появился сам мсье Проспер. Ж.-М. Дюбуа видел его только в облике арестанта. И вдруг очутился лицом к лицу с роскошным, скупым на жесты господином, из тех, что производят впечатление огромной общественной силы. Никогда еще Ж.-М. Дюбуа не знался с сильными мира сего. Он сразу смекнул, что перед ним представитель именно этой категории воротил, и — обомлел. Мсье Проспер к нему обратился ласково и без ложного стыда намекнул на некое учреждение, где они свели знакомство.

— Рад вас видеть, Дюбуа. Ну, как сиделось? Как там наши друзья? Давайте пройдем сюда.

Он ввел гостя в соседний кабинет, поменьше первого. На столе — с десяток телефонных аппаратов и груды образчиков.

— Да, кстати, — проговорил он, — напомните-ка мне, кем вы работали до посадки?

— Работал агентом по продаже ваксы.

— Полагаю, дела шли не слишком блестяще?

— Да уж куда там, — вздохнул Ж.-М. Дюбуа. — Когда была вакса, продажа из-за конкурентов не шла. А когда спрос на ваксу повысился, вакса пропала. Но я насобачился на разных эрзацах и побочных продуктах; эрзац-горчица, эрзац-перец, эрзац-мыло, эрзац-конфеты. С грехом пополам дело шло. Только приходилось накручивать километры и километры и не кемарить за рулем.

— Мелкие делишки, а? — спросил мсье Проспер.

— Да, — признался Ж.-М. Дюбуа. — Я ведь не шибко образован. А поди обмани хозяев!

Мсье Проспер налил два стакана портвейна. Протянул портсигар, указал пальцем на зажигалку.

— Ну как, Дюбуа, одумались?

— Еще бы не одуматься, — ответил Ж.-М. Дюбуа.

— Следовательно?

— Я тоже жрать хочу, — проговорил Ж.-М. Дюбуа. — Мне и самому сил не мешает набраться. Ребятишки отощали, хоть плачь. Жена последнее здоровьишко потеряла, слишком уж она настрадалась. А когда меня сунули за решетку, потому что я был настоящий француз… Дураком был, ничего не попишешь, с детства таков. Теперь-то, конечно, я все понял. Кто знает, может, тот поганый шпик мне добрую услугу оказал.

— Надеюсь, — подтвердил мсье Проспер.

Через какие-нибудь полгода Ж.-М. Дюбуа стал совсем другим человеком. По свежему цвету лица, по уверенной осанке сразу было видно, что он вдоволь и вкусно ест. Разодет в пух и прах. Яркий галстук и контрабандные золотые часики с розовым циферблатом. Ботинки на толстенной каучуковой подошве. И американская вечная ручка, плоская серебряная зажигалка, бежевое пальто. Он раскатывал по департаментам на машине всегда с полным баком первоклассного бензина, с пропуском, выданным имперской полицией. Вольные пирушки с коньяком и шампанью. Сигарет «Голуаз» — завались. И почти всегда рядом с ним на переднем сиденье девица, именуемая

Мими, Мими-Грелочка или еще — Мими-Поцелуй-разка. Ж.-М. Дюбуа щипал ее за ляжки или, держа баранку одной рукой, другой — лез ей под юбку, и не потому, что был от Грелочки так уж без ума, а скорее — чтобы доказать самому себе, что он ведет чертовски красивую жизнь и все, что требуется, при нем.

Он уже почти перестал удивляться своему превращению. Пожалуй, теперь он удивлялся, как мог столько времени быть прежним Ж.-М. Дюбуа, безнадежным болваном, при одном воспоминании о котором он багровел от презрения и жалости. Подумать только, такой молодец, как он, человек такой хватки, мог прозябать при ваксе и эрзацах! А сейчас — чистенькими тридцать тысяч в месяц, только успевай получать. Как же вовремя тот шпичок направил его на верный путь! Какой же у него самого оказался тонкий нюх, что он въехал тогда под кирпич и облаял полицейского! И как же ему повезло, что в тюрьме он встретил мсье Проспера. Не говоря уж о разгроме… Если бы нам не задали такую мировую взбучку, ни в жизнь ему не привалила бы удача, никогда бы не добиться ему такого положения. А теперь принят повсюду как лицо значительное — и в префектурах, и в торговых палатах, и у крупнейших промышленников. «К вашим услугам, мсье Дюбуа». И все так почтительно, так предупредительно. «Служба закупок» — гласило удостоверение, снабженное печатями, но его он вынимал лишь в самых крайних случаях. Зато сколько дверей открывает перед вами такая бумажка!

Правда, надо сказать, и человек в подобных обстоятельствах должен обладать немалыми достоинствами. На его месте какой-нибудь простачок вовсе бы растерялся. Тут требуется коммерческий опыт, ловкость рук при сделках, а главное — умение завязывать связи. Если ты торговал ваксой на всех парижских площадях, продать или купить вагон товара с гнильцой — дело не сложное. Все искусство оптовика — это выбить большой тоннаж и непосредственно вести переговоры с крупными потребителями. Раз существует великий рейх, о потребителях можно не беспокоиться! Уж одна русская кампания — это же раздолье для экспортера…

Но для того, чтобы крупные торговые операции шли без сучка, без задоринки, не надо ссориться с представителями Берлина. Ж.-М. Дюбуа теперь часто наведывался к строителям Новой Европы. В основном, к толстякам и обжорам, сотрясавшим стены своим утробным сальным смехом. Эти типы промашки насчет деньги не давали. Но и с ними можно было делать дела, особенно, если немножко уступить. И все это шумно пировало на авеню Клебер, где мсье Проспер принимал заправил нынешней экономики.

Теперь Ж.-М. Дюбуа скорее склонялся к мысли, что с бошами вполне можно ладить. Неужели не лучше договориться с ними, не держа камня за пазухой, чем вечно бить друг друга по мордасам? Если хорошенько вдуматься, то к чему это ведет? Те, с которыми он встречался, клятвенно заверяли, что не хотят Франции зла. И к тому же на них можно славно заработать. Ведь этакие индустриальные глыбины! Тут тебе и оптика, и химия, и все прочие их последние открытия…

— Ну и сволочь же ты после этого! Вот выиграют они войну, и увидишь тогда, какое это дерьмо — твои разлюбезные боши!

Это изрек Пюпар, агент по сбыту бакалейных товаров, так и оставшийся затурканным бедняком, с которым Ж.-М. Дюбуа еще во время своих шныряний по Парижу нет-нет да и пропускал стаканчик-другой. А сегодня встретил на улице, подхватил в свою машину и повез обедать в ресторан, расположенный между бульваром Сен-Жермен и набережными и снабжавшийся с черного рынка, — нечто сногсшибательное, по шестьсот монет с носу за один обед. Когда же обед был съеден и коньяк выпит, Пюпар уже не считал нужным скрывать свой образ мыслей. Иссох он до неузнаваемости, щеголял в потрепанном пиджаке, в разлезшейся, не первой свежести рубашке, и поэтому кичливое благополучие Ж.-М. Дюбуа казалось ему особенно противным. Да и присутствие Мими его раздражало. Бедра у нее были роскошные, груди вызывающе торчали, на руке — массивный золотой браслет, а на мизинце — кольцо с брильянтом. Как и всегда к концу обеда, она слегка захмелела, вела себя вызывающе, жалась к своему кавалеру, всем своим видом говоря: «Ну и позабавимся же мы!» Словно и Францию-то разгромили для того, чтоб вознести в заоблачные выси таких вот шлюх, как эта Мими. Выходит, достаточно иметь жирную задницу, и будешь каждый день набивать себе брюхо. Надо сказать, что Пюпар страдал желудком. Да и зарабатывал недостаточно, чтобы выпивать то количество алкоголя, которое поддерживало его в былые времена.

— Не знаешь, а говоришь, — поморщился Ж.-М. Дюбуа. — Ну что ты знаешь о бошах?

— И знать их не желаю! И на них быть похожим не хочу! Тот, кто с ними шьется, ох, и далеко же может уехать! Ты что, про их концлагеря не слыхал?

— Преувеличивают, — отозвался Ж.-М. Дюбуа. — Все это английская пропаганда.

— Правильно, старик! А немецкая пропаганда тебе слаще меда. Ох, совсем забыл, тебе же за это платят!

— Ни за что мне не платят. И при бошах я не побоюсь высказать свои мысли. Но против них я лично ничего не имею. При ближайшем рассмотрении — такие же люди, как и все. Мими тебе подтвердит, она их хорошо изучила.

— Сама корректность, — подтвердила Мими. — Любезные, и все такое прочее. Полковники, генералы… А какие манеры, какие разговоры! Уж поверьте мне, редкие умницы.

— А главное, платят, даже не торгуясь.

— Нашими денежками платят, — подхихикнул Пюпар.

— Но деньги-то у нас здесь остаются.

— Деньги-то остаются, а товары тю-тю, уплывают! Тебе, конечно, плевать! Ты Францию продаешь, потому и жиреешь.

— Не серди меня, Пюпар, — проговорил Ж.-М. Дюбуа. — Поговорили — и будет. Хорошо, пусть я работаю с бошами, но я как был, так и остался честным французом. И сидел в тюрьме за сопротивление. Спроси хоть Мими.

— Допустим, так оно и было, значит, снова тебе сидеть. Только на сей раз уже не за патриотизм.

Это пророчество больно задело Ж.-М. Дюбуа.

— Учти, — сказал он, — что и тебе ничего не стоит туда попасть, если вовремя не заткнешься. Не забудь, мне достаточно слово сказать.

— Оказывается, мсье к тому же еще и шпик! — язвил Пюпар, ковыряя зубочисткой в зубах. — На доносах прирабатываешь?

— Я смогу твоей супруге деньги дать. Авансом. На всякий, так сказать, пожарный случай.

— А моя супруга чхать хотела на твои деньги, — заявил Пюпар. — Мы такого хлеба не кушаем. Хлеба предателей.

— Попрошу выбирать выражения! — рявкнул Ж.-М. Дюбуа. — Обидно как-то получается, накормил дружка обедом, а он тебя вместо благодарности честит.

Теперь уже орали оба. С соседних столиков на них оглядывались. Мими сочла за благо вмешаться. И сделала это на свой манер.

— Да брось ты, — посоветовала она Ж.-М. Дюбуа. — Ты же сам видишь, это несчастный бродяга. Просто озлобившийся тип.

— Нет, вы только послушайте нашу шлюху, которая отпускает бошам между завтраком и обедом!

— И горжусь этим, — отрезала Мими, оскорбленная в своих лучших чувствах. — По крайней мере, они хоть настоящие мужчины. А не развалины с вонючей пастью.

— А зависть его еще повонючей, — заключил Ж.-М. Дюбуа. — Сам мсье, видите ли, ни одного дельца провернуть не умеет, ну и злится на тех, кому везет.

— Таких дел, как твои, найти — раз плюнуть, только поди предложи свои услуги. Я бы тоже мог якшаться с бошами и их за доброту благодарить. Только предпочитаю сдохнуть. Но сдохнуть честным.

— Честным да ничтожным, — злобно огрызнулась Мими. Она не выносила мужчин, равнодушных к ее чарам.

— Вот так-то, красуля, — не унимался Пюпар. — Уж как-нибудь проживем и в немецкую подстилку не превратимся.

Обедающие не вмешивались, а только потихоньку хихикали: никогда ведь не знаешь, с кем тут имеешь дело и кто находится в зале. В основном публика бывала здесь отборная, выхоленная, девицы упитанные, с массивными золотыми побрякушками. Но даже это еще ничего не значило: в часы трапез за столиками встречались люди из самых различных тайных сфер. Шуточки лишь скрывали тошнотворный свинцовый страх, замешенный в равной мере на крови и злате. Кое-кто из пирующих, — возможно, и большинство их, широко швырявшихся деньгами, — знали, что рискуют своей шкурой и что грядет час расплаты. Об убийстве ближнего своего здесь говорили таким тоном, будто просили огонька — прикурить сигарету. Впрочем, имелось немало и других надежных способов убрать врага, не марая рук: не зря небось существует гестапо. Но орать, как эти два болвана, могут только сумасшедшие. Там, где делаются большие деньги, взгляды никакой роли не

играют.

Но тут появился сам хозяин заведения. Брюхом вперед, жирный загривок, могучие плечи. Не без диктаторских замашек, и как все, кто кормит втридорога, чувствует себя при этом чуть ли не вашим благодетелем.

— А ну давайте под сурдинку, — посоветовал он. — Мне не с руки заводиться с экономическим контролем. Такие дискуссии не по душе моим клиентам. Не портите им аппетита.

— Вы же меня знаете. И Мими тоже знаете, — залопотал Ж.-М. Дюбуа. — Мы к вам частенько с друзьями наведываемся. И никогда ни гаму, ни шуму. Посмеемся, пошутим и по домам. И по счету — полный порядок. На расходы не скупимся…

— Знаю, знаю, — буркнул хозяин.

— Привел я сегодня сюда этого доходягу, вот он перед вами сидит, от чистого сердца пригласил, как приятель приятеля. А он брюхо, будьте спокойны, вот как набил: два мясных блюда, не говоря уже о ветчине и колбасе, а теперь сами видите — за мое же добро мне в морду плюет. Полюбуйтесь!

— В наше время, — заметила Мими тоном великосветской дамы, — воспитанных людей фиг-то найдешь!

— Ну ладно, смываюсь, — заявил Пюпар, нахлобучивая шляпу. — Только я, дружки любезные, бошевские неразлучники, только я ваших бошей на дух не терплю! Привет честной компании!

И, уже взявшись за ручку двери, он обернулся и послал честной компании последнее ласковое словцо:

— Запомните хорошенько — всех вас до единого вздернут, а тебе, мамуленька Мими, надеюсь, здорово задницу прокупоросят. Просто так, для дезинфекции.

— Черт бы его побрал! — вскинулся Ж.-М. Дюбуа. — Не понимаю, что мне мешает его…

— Да брось, — посоветовала Мими. — Сам виноват, зачем с голодранцами возишься. Это человек не нашего круга.

— Ты же пойми, я из самых добрых чувств!

— Добрые чувства хороши были до войны, — пояснила Мими. — А сейчас для твоих чувств — не время! Теперь каждый сам за себя. И если человек не умеет выкручиваться и голодный сидит, незачем с ним связываться!

— Вздернут… — повторил Ж.-М. Дюбуа.

— Не расстраивайся, — успокоила его Мими. — Раззяв-то в первую очередь и вешают… Так уж издавна повелось…

IV

В глубине души он, Ж.-М. Дюбуа, был человек чувствительный. И потому, что был он чувствительный, та сцена в ресторане запала ему в душу.

У него был принцип — дела это дела. Держаться корректно, но не более того. И соблюдать известную дистанцию. Кто такой бош? Просто крупный клиент. А клиент — всегда клиент: это вам любой делец подтвердит. Если мсье платит вам деньги, он вправе рассчитывать на соответствующее качество товара и на уважительное обращение. Потому что он, клиент, всегда может обратиться в соседнее заведение, и тогда вам его не видать. Другое дело — боши. Им всучивают за их денежки что похуже. А так как деньги им достаются дуриком, не грех их и прижать с ценами. Сам, предположим, заплатил десять, а с него берешь тридцать, пятьдесят, иной раз даже сотню. Ну, и на количестве, понятно, тоже их облапошиваешь: одиннадцать подсовываешь за дюжину, десять дюжин за целый гросс. А ему и времени нет пересчитывать да перевешивать: слишком он доволен собой, слишком большой у него аппетит — любое слопает. Вот благодаря этим-то жульническим махинациям торговля с бошами как бы получала индульгенцию, особенно если еще удавалось всучить им третьесортный товар. Чего тут стесняться, все равно у них на Восточном фронте все погниет.

На одну Мими уходила уйма денег. Ежедневно обед и ужин в «черном» ресторане, пачка сигарет в день, аперитивы, кино, а главное, чего стоило ее одевать! Одно ее белье, наводившее на игривые мысли, непременно шелковое, розовое, черное и, извините за выражение, прозрачное там, где прозрачному быть не обязательно. Если хочешь шикарной любви, приглядкой тут не обойдешься, приходится раскошеливаться. Настоящая женщина была эта Мими, и пахло от нее всегда хорошо, и за собой следила что надо. Прямо из сил выбивалась, впрочем, никакого другого дела у нее и не было. А в любовных играх — ну, прямо зверь! Все, что Ж.-М. Дюбуа выцарапывал у бошей и потом продавал на черном рынке, все Мими пожирала. Он лично считал это как бы особой формой патриотического обложения.

А вот о чем другом Ж.-М. Дюбуа помалкивал. О политике — ни звука. Не желал он портить себе репутацию сотрудничеством с немцами. Бош — клиент, и точка. Ну, заработал, ну, потерпел убыток… Ж.-М. Дюбуа даже предпочел бы терпеть убытки, лишь бы иметь возможность при встрече с тем полицейским под кирпичом выложить ему все, что думает. Без всяких околичностей! Что он, мол, даже сейчас, разбогатев, не забыл ни оскорблений, ни несправедливости. Однако в тайне он хотел, чтобы боши исчезли с горизонта не слишком быстро. Когда при нем говорили, что это протянется еще лет десять, в глубине души он только радовался. Вот подпишут мир, все придет в норму, кому вы тогда будете сбывать ваши тонны? Пусть ты прямо не сочувствуешь бошам и обжуливаешь их потихоньку, но ежели ты хочешь, чтоб теперешняя сладкая жизнь длилась и длилась, надо помогать немцу сражаться, снабжая его всем необходимым. Теперь-то Ж.-М. Дюбуа понимал, что имел в виду мсье Проспер, говоря о наступившей эпохе изобилия… Он уже привык жить на широкую ногу. А с другой стороны, война-то не у нас идет. Поэтому нет ничего худого желать, чтобы она не прекращалась.

И какой-то доходяга, ни на что не пригодный неудачник, посмел обозвать его изменником, его, Ж.-М. Дюбуа, который попал в тюрьму именно за свои благородные убеждения. Да еще грозил ему виселицей!

— Знаешь, что я тебе скажу, — твердил он вечерами Мими, лежа с ней в постели, — слишком я мягок со всей этой шатией завистников, которые разыгрывают из себя участников Сопротивления! Сами при оккупантах не смеют рта открыть, а меня честят почем зря. Да я же с бошами дела делаю, разве могу я против них сволочью быть?.. Тогда все пошло бы шиворот-навыворот.

— Да брось, — посоветовала Мими. — Ведь с тобой же твоя куколка. Обними меня покрепче. А правда, как вкусно лангуст по-американски, правда, Жан-Мар?

— По-американски! — воскликнул Жан-Мар. — Посмели бы они, те, заказать лангуста по-американски при бошах! Крикнули бы в бистро во всю глотку: давай, мол, да поскорее. Чувствуешь намек? А меня еще обзывают продажным! Попомни мои слова: все переменится.

Ж.-М. Дюбуа становился определенно агрессивным. Гневно отзывался о «террористах», твердил, что лично этих типов ничуть не боится, потому что он сторонник порядка. Слышите, порядка! А порядок — это когда каждый может делать свое дело и честно зарабатывать себе на жизнь. В самых убийственных терминах разглагольствовал он о балаганных «патриотах», которые смеют поучать его, Ж.-М. Дюбуа. Он говорил все это громогласно, говорил повсюду, говорил вызывающе. Слишком много говорил.

Некий персонаж, пока еще скрывавшийся за кулисами, немало способствовал тому, чтобы

усугубить и без того нервозное и раздражительное состояние духа, в котором постоянно пребывал ныне Ж.-М. Дюбуа, чтобы окончательно испортить ему характер. Речь идет о самой мадам Дюбуа, особе, с которой не слишком считались и которая, выйдя из мрака кулис, вдруг появилась на авансцене, чтобы сыграть роль супруги, предъявляющей законные права на своего мужа, преуспевающего дельца. В течение долгих месяцев жена бывшего коммивояжера не отдавала себе отчета в том, что происходит, а постоянные лишения и тяжелая работа не могли подготовить ее к этой разительной перемене. И уж тем паче тот факт, что Ж.-М. Дюбуа просидел год в тюрьме, доставив тем богатую пищу для всяческих сплетен и клеветы. А теперь она видела, как в дом хлынул поток довольства: мясо, масло, сливочное и оливковое, яйца, сгущенка, сахар, отрезы, топливо, электроприборы — всего этого с избытком хватало для ее счастья. Разумеется, Ж.-М. Дюбуа исчезал на целые недели, и куда исчезал — неизвестно. А появлялся он лишь на самое короткое время. Чувствовалось, что мыслями он где-то далеко, от семьи оторвался, и всегда у него была уйма предлогов, чтобы улизнуть поскорее из дома. Вернее, один предлог: дела. Но этот предлог вовсе не был выдумкой, коль скоро его благодетельные результаты ощущались вполне реально. После тринадцати лет замужества Леони Дюбуа достигла той стадии, когда женщина предпочитает иметь мужа, пусть и постоянно отсутствующего, зато приносящего домой немалые деньги, чем нищего, аккуратно ночующего в ее постели. При одном воспоминании о последних днях месяца, когда концы не сходились с концами, ей и сейчас становилось страшно. Леони Дюбуа, как никто, знала эту вечно гложущую заботу, удесятеренную опасным соблазном рассрочек, необходимость латать и штопать, чтобы продлить век любой тряпки, неизбывный страх, что в последнюю минуту случится что-нибудь непредвиденное и окончательно поломает ваш и без того скудный бюджет. И поэтому, когда изобилие вошло в ее дом, она сочла это просто чудом. Оказалось, что есть, одеваться и не околевать от холода — это тоже большое дело. Она была сыта уже оттого, что ее дети уплетают за обе щеки. Любовь, которую она питала к мужу, давным-давно обратилась на детей, в чем и заключается подлинный удел женщины, закон ее глубинного самовыражения. Леони видела, как к детям снова возвращается румянец, веселость, как быстро они набираются сил. В сереньком жалком мирке, где все стенали и жаловались, это было сродни чуду. А чудо это было делом рук нового Ж.-М. Дюбуа, отсидевшего год в тюрьме, и развязная самоуверенность этого нового Дюбуа постепенно изгладила память о прежнем чудаке, возможно, и хорошем отце и супруге, но действовавшем в рамках, не суливших ничего лучшего в будущем.

Есть вещи, к которым привыкаешь быстро: в числе их — богатство и комфорт. Былая покорность судьбе отошла в прошлое. Леони Дюбуа чувствовала, как к ней возвращаются силы, а вместе с силами — исчезнувшие было упругости, приятно распиравшие теперь корсаж и юбку. Она даже помолодела. Поставщики в их квартале отпускали ей восхищенные комплименты, правда, не без ехидного намека:

— Дела у вас, мадам Дюбуа, идут на лад! Ваш муж, видать, умеет выкручиваться. Всякий строит свое счастье на несчастье других...

Состояние материального полудостатка накрепко привязывает человека к его судьбе. А теперь, избавленная от необходимости стоять в очередях и торчать у окошечка за пособием, коль скоро все в изобилии доставлялось на дом, Леони Дюбуа вкусила всю сладость досуга. Досуг же порождает мечты и надежды. Никогда мадам Дюбуа не посещали игривые мысли. Целых тринадцать лет у нее был Дюбуа, и этого вполне хватало, к чему навязывать себе на шею еще и лишний труд. Одно хозяйство чего стоило: стряпня, глажка, штопка, возня с ребятишками — а их двое, — а тут еще ни черта не зарабатывающий муж — женщине и этого по горло, уж можете мне поверить! Плоть только тогда предъявляет свои права, когда человек бездельничает, не знает, что такое усталость. И изнуренная плоть Леони Дюбуа молчала.

Теперь, когда она отдышалась, ее начала мучить не так плоть, как дух. Она стала одеваться изящно, к лицу, ухаживала за руками и ногтями, заглядывала к парикмахеру, мазала губы и подбирала пудру под цвет кожи. Словом, стала совсем другой женщиной. А Ж.-М. Дюбуа, казалось, этого и не замечает. Он по-прежнему исполнял при ней свою роль бога-снабженца. В каждый его приезд приходилось спускаться на улицу и помогать ему выгружать из машины ящики с сардинами, килограммы масла и сыра, колбас и окороков, бутылки вина, рома и шампанского — филейные куски подпольного разбоя. Все полки в доме были забиты продуктами, да еще в погребе хранились немалые запасы. Ж.-М. Дюбуа полагал, что, поставляя столько жратвы, он полностью расквитался с домашними.

— Ну, рады? — весело восклицал он. — Ни в чем недостатка не будете знать. Ешьте, ешьте, еще привезу. Эпоха изобилия, детки!

От глаз Леони не укрылась перемена, произошедшая с Ж.-М. Дюбуа. Пиджак из первоклассной материи, нежно-зеленые рубашки, лимонно-канареечные галстуки, шляпа лихо сбита набекрень, подметки из толстого каучука — словом, типичный торговец «левым товаром», даже скорее — гангстер, каких показывают в кино.

И вечно от него пахло какими-то на редкость стойкими духами, пряными, вызывающими, весь он пропитался этим запахом, запахом уличной девки. Подозрениям Леони суждено было

подтвердиться. Случайно она увидела в машине Ж.-М. Дюбуа женщину, в профессии которой вряд ли бы кто усомнился. Один видик чего стоит! А позже она как-то заметила его на террасе кафе в обществе все той же женщины. Не станете же вы меня уверять, что он ведет свои торговые дела с этой проституткой!

Леони Дюбуа была не знакома физическая ревность. В былые времена даже трудно было предположить, что кто-нибудь вдруг влюбится в ее Дюбуа, агента по продаже ваксы, велосипедиста-доходягу, который с утра колесил по окраинам Парижа и возвращался вечерами весь в пыли, с разламывающейся от усталости поясницей. А польститься на его гроши — да не смешите вы меня! И сама она была женой этого бедолаги, надорвавшейся от работы, вечно озабоченной нехваткой денег, типичной женщиной тех черных дней, прислугой за все, обихаживающей трех человек. Да еще из последних сил надрывалась, чтобы наскрести хоть немножко продуктов для передачи в тюрьму.

А теперь, видите ли, мсье только потому, что деньги сами сыплются ему с неба, забыл супружеский долг и завел себе дамочку для удовольствий. У этой размалеванной толстозадой девки есть даже свое привычное место в машине Дюбуа. Таскалась небось по разным гостиницам и «черным» ресторанам. От нее мужчина такого наберется, что порядочная женщина со стыда сгореть может. Тем-то она и держит Ж.-М. Дюбуа. А этот болван еще влюбленного разыгрывает… Ему теперь требуется допинг, подавай ему шлюх, чтобы с ними везде показываться, если только, конечно, это не из тщеславия делается.

Вот тут-то ревность Леони, ревность холодная, рассудочная, вошла в игру. Тринадцать лет при ней болтался жалкенький Ж.-М. Дюбуа. А теперь, когда он стал хорошо зарабатывающим мужем, он у нее из рук выскальзывает. Ну ладно, пусть немножко порезвился бы, она не против. Но только пусть ее не вышвыривают, как ни на что не пригодную ветошь. Словно он ее стыдится! Никогда на люди не выведет, никуда с ней не ходит!

А эту жирную свинью повсюду за собой таскает. И все только ей, ей: меха, нейлоновые чулки, сумочки, туфли крокодиловой кожи, золотые браслеты. Правда, еды у них сейчас столько, что и за год не переесть. Но жизнь — ведь это не одна еда да питье. Существуют еще чувства, репутация, справедливость. А деньги, деньги? Необходимо прикопить на будущее. Была война, была оккупация. Сетовать на это не приходится, потому что сейчас открылись сотни возможностей для разных комбинаций и торговых сделок. Но не вечно же так будет. Раз уж такой болван, как ее Ж.-М. Дюбуа, человек без образования, без определенной профессии, разыгрывает сейчас из себя этакого пижона и запросто, как миллионер, вытаскивает из бумажника пятитысячную купюру — это определенно дурной знак. И на что это, в сущности, похоже, — у Леони Дюбуа муж, словно бродяга какой-то, залетит домой, как вихрь, и тут же мчится к своей сожительнице. Подумайте сами, это же в глаза бросается, люди хихикают у нее за спиной: еще бы, кинул свою законную жену.

Нежданно-негаданно Леони заявила мужу, что хватит ей быть идиоткой. Не желает она снова нищенствовать и на этом основании потребовала себе из мужниной добычи более крупную долю, чем получала до сих пор. При необходимости, она может отплатить за предательство предательством: пойдет и скажет пару теплых слов этой куколке и закатит хорошенький скандальчик. (Обшаривая карманы Ж.-М. Дюбуа, Леони нашла письмо Мими.) А то еще устроит так, что ее укокошат как агента гестапо. Проще простого. На улицах то и дело подбирали трупы, не особенно вдаваясь в подробности, кто с кем и за что сводит счеты. Впрочем, нет никакого сомнения, что эта потаскуха — шпионка и доносчица. Те, кто похищает чужих мужей, на все способны.

Перепуганный Ж.-М. Дюбуа пошел на уступки. Положение явно осложнялось. Зажатый между Леони, которая по-прежнему продолжала грозить доносом, и Ми-ми, без которой он сам не мог обходиться, осаждаемый с двух сторон требованиями денег, он вынужден был расширить объем дел. А следовательно, идти на еще больший риск, чуть больше обворовывать немцев, чуть больше жульничать при расчетах с мсье Проспером. Он уже ступил на наклонную плоскость.

Пюпара не стало. Как-то вечером, уже в сумерках, он брел по авеню Версаль. А там только что уложили из браунинга двоих оккупантов. Стрелял какой-то велосипедист, он пронесся вплотную к тротуару и успел скрыться. Весь квартал, онемев от ужаса, словно вымер, все двери были закрыты, люди запирались у себя в квартирах на двойной поворот ключа. Каждый боялся расправы. Слышно было, как к перекресткам, пыхтя, подкатывали полицейские машины и останавливались, громко визжа тормозами. Будто ветром вымело все вокруг, потом все стихло, кроме тяжелых быстрых шагов. На место происшествия прибыло гестапо. Возможно, *они* будут шарить по домам.

Пюпар забрел сюда без всякой задней мысли. Он как раз вышел из маленькой бакалейной лавчонки, входившей в сферу его обслуживания и помещавшейся метрах в двухстах от места происшествия. После обеда он перехватил стаканчика два-три, что и поддерживало его слабеющие силы. Однако у него мучительно ныло все нутро, и неудивительно, такое уж было время — голод и

мрак! Голова его была занята лишь одним: будет ли дома что пожевать, а если да, то — что. Жена его была растереха и к тому же не в ладах со стряпней. А ведь ему уже давно осточертели безвкусные рагу и вареные без масла овощи. Он охотно бросил бы жену и ее варево. Но уж больно момент был неподходящий. Холостяком сейчас тоже не проживешь, — с одной стороны, сам отоваривай карточки, а с другой — к ресторанам не подступишься, такая там дороговизна. Ему бы в жены ту бакалейщицу, к которой он заглянул вечерком в Бийянкуре. Правда, уже под сорок, но еще свеженькая, бойкая, ухватистая. За магазинчиком следит в оба. Что ни говори, а с бакалейщицей и ее бакалейным товаром жить куда легче. При торговле продуктами всегда как-то можно выкрутиться. И подумать только, до войны такой вот бакалейный магазинчик — да ведь это был сущий пустяк. А в наши дни — уйма денег из-за черного рынка! Теперь повсюду торгуют тайком, из-под прилавка. Вдруг он вспомнил, что дома, в кухонном шкафу, завалялся кусочек колбасы. Эту колбасу посчастливилось добыть на прошлой неделе. После колбасы мысль его естественно перешла на Ж.-М. Дюбуа, у которого багажник всегда битком набит продуктами. А кто такой был Ж.-М. Дюбуа до разгрома и даже после него? Обыкновенный голодранец, торговец ваксой, агент с грошовым заработком. Словом, ничего особенного! А сейчас живет себе припеваючи с этой пухлявой Мими! Просто сволочь, если глядеть на вещи с определенной точки зрения. Однако сумел-таки втереться в деловые круги, а попасть туда не так-то легко. Желающих вести торговые дела с бошами — сотни: не будь Ж.-М. Дюбуа, другой бы нашелся. Особенно если вам платят двадцать — тридцать, а то пятьдесят косых в месяц… Вот получать деньги за доносы — это, конечно, гнусно. Но какое же тут преступление сбывать бошам товары с гнильцой? И неужели вы воображаете, что тех, кто сумел сейчас разбогатеть, так вот вам возьмут и повесят? Держи карман шире! Вытряхнут из них денежки, да и то не все. Эти наверняка останутся в выигрыше.

Под влиянием усталости и голода, каждодневного его мучения, мысли Пюпара стали еще печальнее, а его патриотизм дал трещину. Он сравнивал свой огрызок колбасы, обветренный, сморщенный огрызок, с роскошным обедом, каким угостил его полтора месяца назад Ж.-М. Дюбуа. Ну за что он облаял своего старого дружка? Что верно, то верно, Ж.-М. Дюбуа хотел пустить пыль в глаза. Ну и что тут такого? Ему бы сделать вид, что он ослеплен, и Дюбуа снова пригласил бы его в ресторан. А может, и какое-нибудь дельце небольшое сосватал. Кто знает, вдруг ему, Пюпару, представился бы случай потискать толстуху Мими. Эта не из недотрог: достаточно поглядеть, как она на мужчин пялится… А что-то в ней, в толстухе Мими, есть такое завлекательное… Именно это обстоятельство его больше всего и злило: чтоб какой-нибудь Дюбуа завел себе любовницу, шикарно разодетую бабу, которая знает разные там штучки, предназначенные для одних богачей…

Внезапно чья-то рука грубо схватила Пюпара за плечо. Он оглянулся и тут только заметил, что у него по бокам шагают два молодчика с автоматами, угрожающе наставленными на него. Двое штатских.

— Следуйте за нами, мсье!

Пюпар попытался вырваться, что-то объяснить. Он поспешно сунул руку в карман — достать документы. Но, видно, те двое иначе истолковали его жест. Ему влепили сразу две пощечины.

— Заложник, мсье!

Пощечины придали Пюпару отвагу отчаяния. И отвагу почти что искреннюю: как раз за минуту до того он был полон самых доброжелательных чувств по отношению к оккупантам. До того полон, что даже Ж.-М. Дюбуа уже ни в чем не обвинял.

— Произошла ошибка, — с силой произнес он. — Я Эмиль Пюпар, честный француз, сотрудничаю с немцами. Ничего я никогда против вас не делал. Я сторонник Новой Европы, понятно? Я уже давным-давно твержу: если немцы с французами договорятся по-хорошему, они станут хозяевами мира, никто тогда и пикнуть не посмеет!

— Заложник, мсье, — повторил один из молодчиков, схватил Пюпара за руку и потащил за собой.

— Заложник, мсье! — как эхо, повторил второй.

Было в этих немцах что-то несгибаемое и глуповатое: бьют вас по лицу и одновременно величают «мсье»!

— Да что же вы делаете? — крикнул Пюпар сдавленным голосом. — Вы же хорошие оккупанты, вас же все любят. Я лично всегда говорю: «До чего же корректный, дисциплинированный народ, почему бы нам с ними не дружить?»

— Заложник, мсье!

— Послушайте, — снова заговорил Пюпар, — я знаком с Дюбуа. Это мой старинный приятель. Он на вас, этот самый Дюбуа, работает вместе с толстухой Мими. Шикарная девочка, с вашими офицерами спит, а на гол-листов доносит, понятно?

— Заложник, мсье!

Так они добрались до небольшого грузовичка, стоявшего у обочины тротуара; его задняя брезентовая стенка откинулась, открыв перед Пюпаром зловещую темную дыру. По обе стороны стояли солдаты. Пюпара подтолкнули к грузовичку. Он отбивался, инстинктивно откинулся всем телом назад. Один из молодчиков снова ударил его по лицу и снова проговорил: «Заложник, мсье», — будто имел дело с полным идиотом, не способным ничего понять.

— Заложник, заложник! — в негодовании завопил Пюпар. — Да какого черта вы других в заложники не берете? А ведь сволочей полным-полно. Я сам их вам сколько угодно покажу.

Ответом был вторичный удар такой силы, что с головы Пюпара слетела шляпа, а ствол автомата еще больнее впился ему в бок. А затем его втолкнули в грузовик.

Внутри было темно. Но даже во мраке Пюпар различил какие-то трепещущие тени. А потом и бледные пятна лиц. Он был до того обозлен, что почти не чувствовал боли и не заметил, что губа его кровоточит.

— Что тут происходит? — осведомился он.

— Говорят, двух немцев укокошили…

— Ну и что? — не унимался Пюпар. — Мы-то здесь при чем? Верно ведь?

— А им плевать, кто при чем!

— Но можно же доказать! Неужели во всей Франции не осталось ни одного человека, чтоб нас защитить?

— Защитить! — насмешливо протянул чей-то голос. — Под Седаном нужно было защищаться.

— А что они, по-вашему, с нами сделают?

— Расстреляют! — отрезал все тот же невидимый собеседник, и в голосе его прозвучала злорадная насмешка, как будто ему хотелось, чтобы и товарищи по несчастью разделили одолевавший его страх.

— Как же так? Без суда?

— Будут они тебе стесняться!

— Это же… — начал было Пюпар. — Этого только не хватало!

Ему вдруг открылся весь ужас их положения. Он понял, что ему грозит расстрел, ему, который с детства жил в вялой покорности. И упрекнуть себя, если уж говорить начистоту, в отношении оккупантов ему было не в чем. Ну, раза два-три не сдержался и болтнул лишнего, просто так, из духа противоречия. Ведь это же истинная правда! Мизерная работенка и лишения — вот он, итог всей его жизни. Ежедневные, однообразные до тошноты поездки по клиентам, причем он себе за железное правило взял — никаких жгучих вопросов не поднимать: в торговом деле своих собственных мыслей иметь не положено. Не вожжаться с бошами, не противодействовать им — вот какого принципа он держался… И после нескольких лет оккупации влипнуть по-идиотски, так сказать, расплатиться за какого-то болвана, вздумавшего ни с того ни с сего палить из револьвера! Куда как хитро стрелять в ничего не подозревающих бошей. Но какая подлость, взять и сразу же смотаться, а за тебя пусть расхлебывают другие. Пюпар всегда не одобрял террористических актов. Он высунул голову и обратился к солдату:

— Это же какой-нибудь террорист стрелял! Когда нужно было драться, он — в кусты, а теперь победителю в спину пуляет! Совершенно с вами согласен, такую сволочь расстреливать мало!

— Заложник! — проревел солдат, и мощный удар отбросил Пюпара в глубь грузовичка.

— Экие гады, — пробормотал он, неизвестно кого имея в виду, террористов или немцев.

— Чего ты суетишься? Не все ли равно, как сдохнуть… — донесся из темноты все тот же насмешливый тенорок.

Внезапно Пюпар до боли ясно ощутил вкус того самого огрызка колбасы, о котором он думал, шагая по авеню Версаль. Даже нёбу стало сладостно от запаха копчености! Сейчас он страстно жаждал, больше всего на свете жаждал этого огрызка, самую крепкую свою связь с жизнью и будущим. Немцы не взяли его документы. И он подумал, что если позволил втолкнуть себя в эту колымагу, значит, ему конец. И, значит, никакой справедливости не существует.

Спустилась ночь, беспросветная военная ночь. Пюпар спрыгнул с грузовичка и, выписывая зигзаги, бросился бежать по мостовой, чувствуя только, как кровь гулко стучит у него в висках.

Оба солдата выстрелили почти одновременно. Пюпар ткнулся головой в землю, дважды перекатился по мостовой, как зверь, сраженный охотником, и из его тела, изрешеченного пулями, уже наполовину мертвого тела, вырвался крик, подсказанный гневом, древний крик предков:

— Да здравствует Франция!

V

Ж.-М. Дюбуа так ничего и не узнал о смерти Пюпара. А ведь она могла бы подтвердить его правоту и послужить оправданием в собственных глазах. Она явно доказывала, что Пюпар был просто-напросто жалким неудачником, из тех, кому никогда ни в чем не везет и кто расплачивается за чужие грехи. А поэтому не следует слушать их советов, все их рассуждения — сущий вздор.

Однако за несколько недель до своей кончины Пюпар сумел заронить каплю яда в душу Ж.-М. Дюбуа, и едкая капля эта разъедала ему нутро. Там, где Ж.-М. Дюбуа ожидал встретить восхищение, он наткнулся на презрительную дерзость. И от кого бы! — а то от голодранца, который, видите ли, кичится своей неподкупностью. «Ей-богу, смех да и только!» — твердил про себя Ж.-М. Дюбуа. Но смеха почему-то не получалось. Пюпар был его старым приятелем, еще со времен общей их нищеты. Они вместе мерили парижские мостовые в одних и тех же кварталах, выпивали в одних и тех же кабачках, вместе вечерами подбивали итоги своих комиссионерских трудов. И сейчас, став человеком богатым, Ж.-М. Дюбуа хотел бы по-прежнему дружить с Пюпаром.

— Верно говорят, что деньги разлучают людей! — горько заметил он.

— Отстань от меня со своим голодранцем, — огрызнулась Мими. — Пусть сдохнет!

— Ведь и я, я тоже вышел из народа! — не унимался Ж.-М. Дюбуа. — И мне вначале приходилось не сладко. И я бы остался таким же жалким дурачком, как Пюпар, не будь этой войны, когда все для меня так удачно повернулось…

— Но ты же, Жан-Мар, в тюрьме сидел! А у него, скажи сам, хватит ли духу угодить за решетку? Если человек боится попасть в тюрьму, ему в наши дни грош цена!

Но Ж.-М. Дюбуа, богач, загребавший деньги лопатой, был, так сказать, нравственно во власти мертвого Пюпара, отравившего его своими желчными речами. В той среде, где сейчас вращался Ж.-М. Дюбуа, трудно было удивить кого-либо успехами. И мучился он потому, что его не понял старый дружок, которому он желал только добра и к которому отнесся столь великодушно.

Сейчас он был не так упоенно счастлив, как в начале своей карьеры. Словно клещами зажало его между Ми-ми и Леони, которые ревновали и устраивали ему сцены, и обе то и дело требовали с него денег. Незаметно для него самого и его потребности все возрастали. Он стал добычей тех забот, что омрачают жизнь миллионеров.

Наступила весна сорок четвертого, все жили в ожидании великих и решительных событий. Ж.-М. Дюбуа продолжал хорохориться:

— И вы, вы верите в эту высадку? Да они, ваши англичане, все до одного перетонут!

Своим убеждениям он не желал изменять. Он сотрудничал с бошами и не стыдился говорить об этом открыто, а те, кому это не по вкусу…

— Духа ваших англичан не выношу! — заявлял он.

И повторял эти слова повсюду, не слушая советов мсье Проспера.

А тот и не думал сворачивать своих дел, совсем наоборот. Он считал, что золотой век может прийти к концу. Он, мсье Проспер, был прозорлив! Недаром последние полгода он потихоньку давал деньги на Сопротивление. Поначалу не крупно — тридцать — пятьдесят тысяч франков. Но он чувствовал, что близится минута, когда придется пожертвовать и несколькими миллионами.

— Легче на поворотах! — советовал он Ж.-М. Дюбуа. — Ситуация может со дня на день перемениться. Постарайтесь устроить так, чтоб у вас была заручка в обоих лагерях.

Но уязвленный Ж.-М. Дюбуа не хотел внимать мудрым речам. «Я ему, Пюпару, еще покажу, — твердил он про себя. — Непременно его разыщу…» Это стало у него чуть ли не навязчивой идеей. Он желал теперь победы немцам, желал из-за Пюпара, просто, чтобы доказать ему, что тот поставил на битую карту. «Ну кто, старик, кто оказался прав?» А когда он создаст себе прочное положение в Новой Европе, он устроит работенку и Пюпару. Такова будет его месть, единственная.

Произошла высадка. В это время Ж.-М. Дюбуа как раз находился в Нормандии, куда он вообще часто заглядывал по делам и где, из-за хвастливого своего языка, приобрел прочную репутацию коллаборациониста. Он нарвался на засаду макизаров. При обыске у него нашли удостоверение, скрепленное немецкими подписями и печатями. Таким образом, слухи подтвердились официально, случай был более чем ясен: предатель.

Ж.-М. Дюбуа пытался было что-то доказывать, но только заработал несколько ударов прикладами. Макизары решили расстрелять его на месте. Времени у них было в обрез; их ждали более важные и

более опасные дела. Не тащить же им за собой пленного.

А Мими, с которой сорвали все ее побрякушки и туалеты и вдобавок накидали по морде, пронзительно вопила. Глядя на автоматы, она совсем зашлась от страха. Молодые макизары, взбудораженные, небритые, свирепые, были похожи на разбойников. Покровительство немцев обернулось здесь только во вред.

Но вдруг ее осенило:

— Изнасилуйте меня, мальчики! — крикнула она им. — Вот тогда вы убедитесь, хорошая я француженка или нет.

Но макизарам как-то не улыбалась эта идея — насиловать даму по ее же просьбе. Или они слишком торопились. Или просто слишком ее презирали. Лишь двое-трое ответили ей грубым словом. И при этом еще надавали пощечин, как бы желая показать, что сейчас, мол, не до учтивостей и не до разных там удовольствий. К тому же они намекнули, что можно, конечно, и изнасиловать, но это еще не значит, что расстрел отменяется. Потом они бросили голозадую Мими среди деревенских просторов. Да еще ее же губной помадой намалевали ей на спине свастику, чтобы, пояснили они, ее сразу распознали дружки-боши.

Ж.-М. Дюбуа со связанными руками и ногами стоял, прижавшись к стволу липы. А макизары щелкали у него под носом затворами автоматов. Где-то далеко-далеко ухала пушка. Мощный гул потрясал небо звуковыми волнами. Сияло солнце. Легкий ветерок играл в листве, проносился над поляной, пригибая к земле уже тронутые золотом колосья. Метрах в ста кругозор замыкала живая изгородь. Над ней расстилалось ярко-синее, бескрайнее небо, нагретый воздух слегка дрожал. Именно такой мирный пейзаж обычно облюбовывают себе автомобилисты для привала.

После побоев Ж.-М. Дюбуа не совсем понимал, что с ним происходит. Со лба его стекала по лицу струйка крови. С него стащили пиджак и галстук, разорвали рубашку. Пустые вывернутые карманы печально свисали мешочками. Он был похож на закоренелого бродягу, которого здорово отделали в полицейском участке.

И ни одного даже плохонького убежденьица в поддержку! Годы и годы люди умирали насильственной смертью, но они черпали в ненависти или в чистоте души силу не согнуться до самой последней минуты, не согнуться перед теми, кто их бил, будь то палачи или судьи. Но у Ж.-М. Дюбуа не было ни малейшего резону умирать. Ни из-за ненависти к англичанам, которых он и в глаза не видал. Ни из-за симпатии к немцам, которых он, откровенно говоря, всегда недолюбливал. Ни во имя какого-либо идеала. Ни по какому-либо мотиву, который способен помочь человеку мужественно встретить смерть. Если его смерть наступит в безвестной нормандской рощице, она будет просто нелепым эпизодом, лишенным всякого смысла. Никогда даже в мыслях он не держал изменять своей родине или продать ее. Плевать ему с высокого дерева на нацистов и на Гитлера, равно как на Аттилу, Юлия Цезаря или Ганнибала. Он действовал в соответствии с приказами мсье Проспера, которые передавались ему через мадемуазель Нина, в соответствии с интересами Мими, Леони и двух своих ребятишек. Мучился тридцать восемь лет, чтоб заработать гроши на кусок мяса, а потом представился счастливый случай, но и тогда он только и делал, что изворачивался. Никому не причиняя вреда, да и не желая причинять. Все эти европейские интриги, вся эта сволочная война — разве он что-нибудь в них смыслил?

Вот что хотелось ему втолковать этим мальчикам, которые явно торопились поскорее его прикончить, считая, что делают правое дело. Он не видел никакого смысла в своей смерти, ни для кого не видел. Ну, пусть у него заберут машину, бумажник, часы, вечную ручку, это на худой конец еще может сойти за акт патриотизма. Это он готов был принять. Но убить ни с того ни с сего мирного человека? Оставить Леони вдовой, осиротить ребятишек…

Страх смерти как-то удивительно не вязался с этим светом, мягким, падавшим чуть наискосок, с этой уже начинавшей чувствоваться вечерней прохладой. Какое-то сладостное спокойствие окутывало все вокруг, однако даже оно было не в силах умерить людской свирепости: по-прежнему доносился рев пушек и гудение самолетов. Как хотелось бы Ж.-М. Дюбуа растолковать этим мальчикам, таким же французам, как и он сам, что он собой представляет. Да он в отцы многим этим юнцам годится. Но мучительно ныла голова. Ему никак не удавалось собрать воедино мысли, его окончательно покинула способность сложить хотя бы одну убедительную фразу. Он обливался потом и одновременно лязгал зубами, его лихорадило от жара и страха.

— Ты шпионил на немцев, сейчас мы тебя прикончим! — произнес командир отряда. — Хочешь что-нибудь сказать?

— Вы совершите грубую юридическую ошибку, — ответил Ж.-М. Дюбуа.

Термин «юридическая ошибка» крепко запал ему в голову еще во время отсидки. И к тому же, его последнее слово все равно получится коротким, так как макизарам не терпелось вскинуть автоматы

и пальнуть.

— Признаешь, что работал на бошей? А ведь они тем временем наших расстреливали!

— Работал, но вроде и не работал. Главное, для того, чтобы их обжуливать. Всю жизнь терпеть не мог бошей.

— А их деньги любишь, сволочь продажная?

— Да хватит вам, — вмешался высокий брюнет, которого так и зудило разрядить свой автомат, — к чему всякие дискуссии разводить! Пришьем это падло и все.

— Расстрелять! — закричали кругом.

— Послушайте, — взмолился Ж.-М. Дюбуа, — я всю эту полицейскую шваль, что пресмыкается перед бошами, всегда поносил. Клянусь головой своих детей.

— Заткнись, продажная морда! — кричали макизары.

— Я ваксу развозил, — смиренно продолжал Ж.-М. Дюбуа. — Я неимущий пролетарий…

— Заткнись! — крикнули ему.

Тут все головы повернулись к командиру.

— Ну как? Ведь сейчас танки подойдут!

— Целься! — скомандовал командир.

Ж.-М. Дюбуа видел, как макизары вскинули автоматы. Видел ряд маленьких круглых дырочек, откуда сейчас вылетит смерть. Он задрожал, ноги обмякли. Слезы текли по его вспухшему, запачканному кровью лицу, но он их не замечал. Он судорожно искал, за что бы зацепиться, надеялся обнаружить хоть какую-нибудь простую инстинктивную веру, которая помогла бы ему вознестись над этой страшной минутой. А времени оставалось в обрез.

— Да здравствует Франция! — крикнул Ж.-М. Дюбуа, закрывая глаза перед вечной тьмой.

— Огонь! — крикнул одновременно с ним командир.

Мадемуазель Нина, которая спала с высокопоставленными, но теперь явно компрометантными покровителями, сдала свою квартиру приятельнице, а сама укатила из Парижа в надежде переменить атмосферу. Мсье Проспер внес значительную сумму на нужды подпольной организации полицейских города Парижа. В этой организации состоял полицейский агент Костаначи, здоровяк, который похвалялся, что не спускал этим скотам из полевой жандармерии. Кстати, это как раз он составил в сорок первом году протокол на Ж.-М. Дюбуа.

Толстуха Мими вышла сухой из воды и снова обзавелась туалетами, мужественно расплачиваясь, где нужно, собственным телом. Это только с виду она казалась беспутной, а на самом деле была великая труженица! Она бросалась на шею американцам с пылом, который не мог не льстить освободителям Франции, швырявшим деньгами, как и полагается гражданам страны с высоким денежным курсом. Как-то вечером, напившись виски и накурившись сигарет «Честерфилд», она, будучи сильно под мухой, окончательно расчувствовалась и припала к груди одного парня из штата Аризона, весьма собой недурненького — этакая смесь Кларка Гэбла и Аль-Капоне.

— Американчик ты мой, — щебетала она, — как же я вас ждала. Я ведь была в Сопротивлении, честное слово, была. Не зря же я вечно твердила: «Эти нью-йоркские сильней всех на свете, потому что они самые-рассамые богачи. Они придут, когда все уже будет готово, и еще положат денежки себе в карман».

— Yes. You are a nice French girl, my darling! — ответил ее партнер.

На все прочее парню из Аризоны было в высшей степени наплевать. Он надеялся получить как можно больше удовольствия за свои деньги, а потом вскочить в джип, ожидавший у подъезда, и промчаться по этой чертовой старой Европе. Зевнув, он промямлил:

— The war is a job like another.

И тут же захрапел. Потому что был еще пьянее, чем толстуха Мими.

Первые произведения Эльзы Триоле написаны на ее родном, русском языке («На Гаити», 1925; «Земляничка», 1926). После десяти лет сомнений в своих творческих возможностях, когда она уже соединила свою судьбу с судьбой Арагона и приняла активное участие в движении Народного фронта, Триоле снова берется за перо. «Добрый вечер, Тереза» (1938) — первая ее книга на французском, источник многих, сложившихся позднее, сюжетов. Здесь, писала она, «предвестие всего, что я напишу позднее, прелюдия к моим будущим книгам». Вспоминая своих героев следующего десятилетия — из новеллистического сборника «Тысяча сожалений» (1942), из романов «Вооруженные призраки» (1947), «Инспектор развалин» (1948), «Конь Красный» (1953) и др., — Эльза Триоле продолжала: «Здесь тысяча сожалений, окрашивающих одиночество многих Терез; здесь инспектор бродит по развалинам человеческих душ; здесь теплится интимность тетрадей, предназначенных только для самой себя, даже если их не зарывают под персиковым деревом; здесь слышится галоп средневековой лошади и шаги вооруженных призраков; здесь мужество уже соприкоснулось с кровью и смертью».

Творчество Эльзы Триоле затрагивает самые различные проблемы нашего тревожного времени: угроза атомной катастрофы и горькая участь людей, заброшенных на чужбину («Встреча чужеземцев», премия Братства за 1956 год), контрасты научно-технического прогресса (цикл романов «Нейлоновый век», 1959–1963) и поиски исторической истины (роман «Великое Никогда», 1965).

Писательница не склонна к созданию широких эпических картин; она полнее проявляет себя в жанре новеллы, с ее психологической пристальностью и особым временным диапазоном. Рассказы, составившие сборник «За порчу сукна штраф 200 франков» (Гонкуровская премия 1945 года), и повесть «Авиньонские любовники» (1943) печатались подпольно и по праву считаются классикой литературы Сопротивления наряду со «Свободой» Элюара или «Розой и резедой» Арагона. Новеллистические миниатюры принадлежат к лучшим страницам последних книг Триоле: «Расскажу — покажу» (1968), «Соловей смолкает на заре» (1970).

О писательской профессии, о своей переводческой работе (Эльзе Триоле принадлежат переводы произведений Чехова, Гоголя, Маяковского и многих советских поэтов), о долге художника Триоле размышляет в книге «Передать словами» (1968). Ответственность и риск для нее неотделимы от искусства.

Elsa Triolet: «Mille regrets» («Тысяча сожалений»), 1942; «Cahiers enterres sous le pecker» («Тетради, зарытые под персиковым деревом»), 1944; «Six entre autres» («Шесть среди других»), 1945; «Le premier accroc coute 200 francs» («За порчу сукна штраф 200 франков»), 1945.

Новелла «Лунный свет» («Clair de lune») впервые опубликована во время войны в журнале «Поэзи»; затем включена в сборник рассказов Э. Триоле «Шесть среди других», вышедший в Швейцарии.

Лунный свет

Гибкие длинные стебли, сверкающие железные цветы, тихое жужжанье моторов, бульканье воды… Искусственный сад, знойный, благоухающий; никель, фаянс, зеркала, зеркала, зеркала в длину и в ширину, отражающие белые фигуры с тиарами перманентных завивок… Головы отрезаны от мира страшным гудением ветра под касками-сушилками, на лицах — странное отсутствие какого-либо выражения. Женщины в розовом склоняются к рукам, доверчиво протянутым им неподвижными белыми фигурами в тиарах; другие еще более смиренно сгибаются над пальцами ног, покрывая их рубиновым лаком…

— Месье Антуан, — кричит хозяйка, — можете вы принять в три часа мадам Дюбрейль?

— А что у нее?

— Укладка волос.

— Постараюсь…

Месье Антуан, красивый брюнет с оливковым цветом лица и мешочками под глазами, улыбаясь, шепчет что-то на ухо даме, затылок которой покоится у него на ладони… Женщины в креслах парикмахера, как и голые женщины, не поддаются классификации. Ну кто бы вообразил, что вон та, с молитвенным выражением поднявшая к зеркалу свой чистый лоб, через минуту окажется маленькой толстушкой в платье из пестрого шелка с платиново-бесцветной завитой головой, на которой едва держится шляпка. Или что мокрые, редкие и прямые волосы на голове мужеподобной брюнетки обратятся вдруг в очаровательные локоны и из пеньюара появится прелестная стройная девушка с нестесненной упругой грудью под полотняной блузкой…

Перекись пенится на голове мадам Леонс. Мадам Леонс терпеливо ждет, она не скучает — у парикмахера никогда не бывает скучно. Как красива эта белая пена на ее голове! Она — просто маркиза… Никогда не бываешь такой красивой, как у парикмахера. Надо бы раздобыть на дорогу жирного крема…

— Чуточку уксуса, месье Реймон, пожалуйста, не забудьте, — говорит дама рядом.

Когда головка сидящей рядом дамы вынырнула из воды, она оказалась до смешного маленькой. Точь-в-точь такое же обманчивое впечатление производит лохматая собака мадам Леонс, когда ее купают: просто не верится, что на самом деле она так мала и тщедушна.

— Месье Реймон, — говорит мадам Леонс, — вы про меня не забыли? Я боюсь, как бы мои волосы не стали платинового цвета.

— Не беспокойтесь, мадам, я помню об этом…

— …Она вышла замуж за доминиканца, — рассказывает дама рядом, в то время, как месье Реймон массирует ей лицо.

— За доминиканца? — повторяет месье Реймон, глядя на отражение дамы в зеркале.

— Да, очень красивый парень.

— За доминиканца? — Месье Реймон становится так, чтобы лучше видеть. — В сандалиях на босу ногу?

Дама только что вернулась из Парижа, это очень хорошая клиентка, очень богатая, и месье Реймон настолько воспитан, что не выражает удивления, хотя эта история кажется ему странной.

— Почему вы думаете, что он непременно ходит босиком? Красивый молодой человек, и вовсе не босой… Втирания совсем не те, что были раньше, ничуть не щиплет.

— Это просто несчастье!.. А уж если у нас такие, значит, лучших нигде не найти. Вы слышали, Меги, Даниель Дарье вышла замуж за доминиканца… А я-то думал, что монахи…

Маникюрша подсаживается к даме.

— Неужели!.. — восклицает она.

— Да нет, месье Реймон, я же вам говорю — доминиканец, из Южной Америки, оттуда…. Там есть республика, которая называется… ну как ее… Словом, тамошних жителей называют доминиканцами. Атташе посольства, вполне светский человек…

— А я удивился, что монах…

— Это бенедиктинцы ходят босиком, а вовсе не доминиканцы.

— Кармелиты, милая, кармелиты, — не выдерживает дама, сидящая в стороне.

— Этому нет конца! — заявляет хозяйка, проходя за креслами с бутылкой шампуни в руках, и все смеются.

— Месье Реймон! Я не хочу стать «платиновой», вы совсем не занимаетесь мною. Я тороплюсь на поезд!

— К вашим услугам, мадам Леонс!

— Сегодня первый летний день, — констатирует маникюрша, подпиливая ногти мадам Леонс (мытье головы, укладка волос, все уже сделано, остались руки).

— Только в парикмахерской и узнаешь новости, — говорит мадам Леонс. — Я ничего не слышала… С этими карточками и очередями не замечаешь, как проходит жизнь… Поторопитесь, мадемуазель, мне нужно поспеть на поезд.

— Опустите руку в воду, мадам. Вы едете отдыхать?

— Да, мне посоветовали один уголок, где утром к завтраку подают масло. У меня там как раз оказались друзья. Невероятная глушь, будет, наверно, скучно, но в наше время…

— Нам всегда говорили, что парижанки высокомерны и требовательны… — вздыхает маникюрша. — А я нахожу, что они просты, щедры и постоянны. Если парижанка осталась довольна, она непременно возвращается к нам… Зато наши южанки никогда не знают, чего им нужно… Другую руку, мадам, а эту кладите в воду… Правда, у парижанок острый язычок, но с ними легче сговориться, чем с нашими. У наших дам прекрасные поместья, однако на чай они не дают. А без чаевых разве проживешь на наши-то заработки?..

Время от времени маникюрша поднимает прекрасные круглые серые глаза на круглом гладком лице с выщипанными бровями, с чуть желтоватой кожей, великолепно очерченным ртом и так ярко накрашенными губами, что зубы ее кажутся ослепительно-белыми.

— Что это за помада у вас? — интересуется мадам Леонс.

— «Виктуар», Но, кажется, она у нас уже кончилась…

— Вообще ничего больше нет… Не найдется ли у вас случайно пары чулок?

Маникюрша на секунду задумалась.

— Чулки? Может быть, за двести франков… По-моему, это слишком дорого. Они же такие тонкие, зацепишь — и прощай двести франков…

— Действительно, слишком дорого! Последний раз я заплатила сто пятьдесят. Это становится невозможным. Но ведь для женщины самое главное — хорошие чулки… Этот лак долго сохнет? Я боюсь опоздать на поезд.

— Минут пятнадцать, мадам. Лак — военного времени. Потерпите немного, жалко будет, если вы его смажете… У вас красивые ногти!

Мадам Леонс и сама недурна. Тоненькая, очень холеная и подобранная, тип сухопарой англичанки; она сильно накрашена, волосы обесцвечены перекисью, ногти ярко-красного цвета, такие женщины в жизни заняты только своими детьми и своим мужем.

Мадам Леонс едет отдыхать одна. Несмотря на бездну изобретательности, которую она проявляет (а может быть, именно из-за нее), чтобы семья хорошо питалась и была прилично одета, она очень похудела и нервы ее совсем расстроились. Доктор рекомендовал ей отдых, деревню. Мадам Леонс считает, что Тулуза, где они живут, уже деревня, все, что не Париж, — деревня! Но Робер настоял, чтобы она уехала. Робер, он такой внимательный; сам в течение месяца будет питаться в ресторане, а малышу будет хорошо у Мэмэ… Ей нельзя больше думать о карточках, сказал доктор. «Карточкомания» приняла угрожающие размеры, есть люди, которые говорят только о карточках и о том, где что можно достать. Они стоят в очередях из любви к искусству, они разъезжают потому, что талон ДН, который у них в районе не стоит ничего, в соседнем департаменте чего-то стоит.

— ДН, — говорит мадам Леонс, — это мучные изделия, их и здесь можно получить.

Вообще-то мадам Леонс решила переменить врача, этот смешон своей болтовней о «карточкомании». Еще немного, и он объявил бы ее помешанной. Разве она упрекает доктора за то, что он все время говорит только о войне? Выходит, у него «войномания»? Она рассказала ему

историю с пальтишком Лулу, и он тут же воскликнул: «Вот видите, вот видите!» А что, собственно, должна она видеть? Подумаешь, какое событие! Лулу вырос из своего пальто, и нужно было обменять его на другое. Она пошла в мэрию, оттуда ее направили в «Национальную помощь», там взяли пальтишко и выдали ордер на другое детское пальто, но сверх того, которое она отдавала, с нее потребовали еще двадцать талонов. Какая же тут выгода? Тогда она отправилась в префектуру, где ей дали ордер, не взяв ее пальто, но, правда, двадцать талонов все же вырезали… Это было уже лучше: тут она на самом деле выгадала старое детское пальтишко. Как, однако, все организовано!

— Вот видите, месье Леонс! Об этом я вам и говорил. Очень советую отправить жену в деревню…

Она, должно быть, взяла с собой слишком много вещей… Вполне возможно, но в конце концов это ее право. Почему война уничтожила на вокзалах всех носильщиков? Их нет и в помине. Нечего и пытаться все это понять. К счастью, в поездах встречаются военнослужащие и молодые люди в шортах. Непонятно, что это за люди, но они всегда готовы помочь вам поднести чемодан… Мадам Леонс ехала с двумя пересадками. Первый раз ей пришлось бежать, чтобы поспеть, потому что поезд, с которым она прибыла, опоздал. Тоннель тянулся бесконечно, высокий молодой человек хоть и производил впечатление силача, но все же обливался потом, пока наконец не уложил в сетку три ее чемодана. Он тоже бежал по тоннелю. Удивительно, какие бывают сильные мужчины! Подумать только, бежать с тремя чемоданами! Мадам Леонс рассыпалась в благодарностях… Молодой человек едва успел выскочить из вагона, как поезд тронулся, набирая скорость. На второй пересадке все было наоборот: опаздывал поезд, в который мадам Леонс должна была пересесть, и ей пришлось бесконечно долго ждать в буфете вокзала, где ее буквально атаковали мухи, хотя в буфете было пусто — даже для мух не нашлось бы ничего съедобного.

Но гвоздем путешествия был самый его конец — прибытие к месту назначения, точнее — почти к месту назначения, потому что мадам Леонс вынуждена была переночевать в этом городе и только наутро могла выехать на машине в захолустное местечко, которое и являлось целью ее путешествия, а до него оставалось еще пять километров.

Мадам Леонс пришлось долго кокетничать с контролером у выхода, прежде чем он разрешил носильщику, единственному на привокзальной площади, пройти на давно уже пустынный перрон, где в полном одиночестве ждали ее чемоданы. Носильщик смахивал на столетнего старца: он приподнял большой чемодан и сказал: «Несите сами, для меня чересчур тяжелый», — и взял два чемодана поменьше. Мадам Леонс пришлось коленом толкать перед собой большой чемодан. К счастью, контролер заметил ее еще издали и поспешил на помощь, а по выходе с вокзала нашелся рабочий, который взвалил все три чемодана на тележку и подвез их до гостиницы «Терминус».

Свободной оказалась лишь комната за сто франков: мадам Леонс приехала на четверть часа позже всех остальных. Ей достался номер с тремя широкими, чуть ли не двуспальными кроватями. Общежитие, а не гостиничный номер! Ванная, вся в паутине, походила на русло высохшей реки… Было около десяти часов вечера, мадам Леонс с утра ничего не ела, а нужно было еще позвонить друзьям, в то местечко, куда она направлялась. До чего же насыщена жизнь! Мадам Леонс испытала чувство удовлетворения, какое, вероятно, испытывает исследователь, преодолевая неожиданные препятствия и ловушки, расставленные природой, счастливый и гордый тем, что затраченные усилия привели его наконец к победе. Даже не верится, что до войны она не знала никаких трудностей. Чем была она занята целый день? Ведь тогда она и Лулу еще не имела! Все можно было купить, ничего не надо было раздобывать, ничего не приходилось искать, можно было не запасаться ни продуктами, ни углем, ни сухим порошком… До войны она ни за что бы не согласилась спать одна в номере с тремя кроватями. Какая нелепость! Да таких номеров тогда и не существовало, необходимость в них, должно быть, порождена временем. Мадам Леонс вымыла руки довоенным мылом, которое захватила с собой, — в дороге все так грязнится! — и проверила, есть ли сахар в ее очаровательной маленькой коробке еще от Ланселя: может быть, внизу ей дадут чаю.

Но прежде всего — переговорить по телефону: что будет с нею и с тремя ее чемоданами, если завтра за нею не заедут на машине? Усевшись в кресле, она читала рекламные брошюры, которые валялись на круглом столике. Она не могла понять, о чем в них говорится и к какому времени они относятся. Она снова и снова перечитывала одно и то же, чтобы хоть как-нибудь убить время. В холле было всего несколько человек: телефонистка у своего аппарата, мужчина, ожидавший разговора… Время от времени кто-нибудь проходил, брал ключ и поднимался в номер. Мадам Леонс ждала уже около получаса, кресло начинало казаться ей чересчур твердым. Она очень устала.

Застекленная дверь вела в ресторан. Оттуда вышел мужчина, и за его спиной тотчас погас свет. Мадам Леонс подумала, что ей так и не удастся сегодня поесть. У мужчины был красноватый цвет лица, какой часто бывает у англичан. Хорошо скроенный, но довольно потертый костюм сидел на нем неуклюже, брюки сползли низко на бедра, рубашка почти вылезала из них. На узком лице застыла улыбка, обнажив кривые зубы. Его Глаза встретились с глазами мадам Леонс, и они узнали друг друга: к ее огромному удивлению, это был Тарриг, коллега мужа в самом начале его карьеры. Они потеряли его из виду лет десять тому назад, с тех пор, как он уехал в Африку, работать в

колониальном управлении.

— Вот чудеса! — сказал Тарриг, пожимая ей руку. — А куда вы девали Робера?

— Мадам, — позвала ее телефонистка, — обычно в это время М. отключают от города…

Неужели нельзя было сказать ей об этом раньше?!

— Давайте, Жаннетта, выйдем ненадолго?

Мадам Леонс очень устала, но если бы удалось раздобыть где-нибудь чаю…

— Разумеется, вы получите ваш чай! Я тут знаю одно довольно приличное кафе с террасой… Ведь мы не виделись десять лет…

На улице было совсем темно. Это приключение сбивало с толку мадам Леонс: незнакомый город, ночь, появление Таррига из дверей ресторана, словно из далекого прошлого… Ей казалось, что ее несут волны ночи и усталости. Ночь была великолепная, а усталость — как от вина. Терраса кафе тонула во мраке: к затемнению в этом городе относились очень серьезно. Кресла были удобные, и, благодаря настойчивости Таррига, мадам Леонс наконец получила чай. Она была очень довольна: ей оказывали необычайную милость, подавая горячий чай в такой час, когда уже не было газа. Тарриг что-то говорил, но его голос доносился, словно сквозь толстую стену: по правде говоря, мадам Леонс наполовину спала.

— Да, — слышалось откуда-то издалека, — жизнь в колониях — странная штука, там можно встретить прелюбопытных людей…

Тут мадам Леонс потеряла нить рассказа, когда же она нашла ее вновь, голос продолжал:

— …если б не война, я никогда бы сюда не вернулся, я хотел во что бы то ни стало пойти в армию…

Мадам Леонс чувствовала себя виноватой: она пропустила все, что касалось жизни в колониях. Она сделала над собой усилие, но нить снова оборвалась, и она уже ничего не слышала из того, что Тарриг рассказывал о войне…

Они вернулись в отель. Портье подал мадам Леонс ключ от комнаты и телеграмму. Ну конечно, телеграмма была для нее: они не сразу разобрали фамилию, и телеграмма пролежала с утра!.. Окончательно проснувшись, мадам Леонс вскрыла ее: друзья, которые приготовили ей квартиру и должны были отвезти ее на машине, извинялись, что вынуждены ускорить свой отъезд. Ключи они оставили под ковриком около двери.

Мадам Леонс расстроилась, она протянула телеграмму Тарригу.

— Я вам помогу, — сказал он. — Если вы в состоянии ехать сейчас же, я могу вас отвезти, машина у меня есть…

— Я всегда могу превозмочь себя, когда это необходимо, — многозначительно произнесла мадам Леонс, — только я хотела купить утром шоколадных конфет, завтра как раз пятница, и это единственный во Франции город, где еще можно достать шоколадные конфеты.

— Если у вас есть вещи, я вам советую воспользоваться моей помощью, — настаивал Тарриг, — вам не придется плутать в одиночестве по этому захолустью… Я хорошо знаю эти места, они прекрасны, но жить там немыслимо. Признаться, я не понимаю, почему вы туда едете.

— Говорят, к утреннему завтраку там можно получить масло…

— О, тогда… — Тарриг засмеялся, он находил, что мадам Леонс не лишена чувства юмора.

Чемоданы мадам Леонс снова снесли вниз.

— Интересно, что бы вы делали без меня! — сказал Тарриг, укладывая чемоданы в багажник. — Красивых женщин господь бог не оставляет…

Они миновали город. Вокруг было черно, словно в бутылке с чернилами. Но при выезде из города, когда они ехали по бесконечно длинному мосту, на небе, усеянном звездами, внезапно показалась огромная луна, и стало совсем светло. Вдалеке, над рекой, протекавшей где-то внизу, виднелись арки древнего виадука. Было, вероятно, за полночь, но мадам Леонс окончательно проснулась.

Тарриг рассказывал о последних событиях, и на сей раз мадам Леонс его слушала. Однако говорил он один, темный силуэт рядом с ним никак не откликался. Когда в самом начале замужества месье Леонс заставил свою жену прочитать «Войну и мир», она прочла только «мир». В книгах она обычно пропускала именно то, о чем сейчас рассказывал Тарриг. Сама она никогда о войне не говорила,

разве только чтобы сказать: «Вот когда война кончится…» Было даже странно, насколько глуха она становилась, едва речь заходила о войне, можно было подумать, что ей мгновенно закладывало уши… Она чувствовала себя неспособной вообразить все те несчастья, в которые погружен мир… Впрочем, была в них и ее доля со всеми этими карточками, с Лулу, который лишен того, что ему необходимо… И вот сейчас, во мраке, она совсем выбилась из сна, и уши у нее не заложены. Она воспринимает слова Таррига примерно так же, как, будучи ребенком, через силу глотала ложку касторки, — зажав нос, запрокинув голову… Тарриг заговорил на этот раз о голоде…

— Голода не будет, потому что всегда будет черный рынок, — возразила она. — Конечно, для бедняков это тяжело… Но ведь богатые и бедные существовали всегда…

— Я вижу, Жанна, вы человек стойкий…

Большая луна, толстая и упитанная, набросила на окрестности огромный белый саван… Тарриг замолчал. Убаюканная движением автомобиля, мадам Леонс снова задремала.

— Вы знали Барбье? — спросил Тарриг после долгой паузы. Его голос заставил мадам Леонс вздрогнуть.

— Как будто знала, — сказала она, не вполне осознавая, что она говорит и о чем идет речь.

— Я снова его встретил в Камеруне. Мы подружились, как можно подружиться только там. По крайней мере, так мне казалось…

К сожалению, у Таррига глухой голос, бесцветный, как лунный свет. Он ускользает от внимания, словно вода, уходящая в трещину. Мадам Леонс делает отчаянные усилия, она слышит:

— …Он ждал ее десять лет. В течение десяти лет своей жизни он ждал и ничего больше не делал. И вот в один прекрасный день случилось так, что она оказалась свободной!

Мадам Леонс вдруг вспомнила, что так и не достала шоколадные конфеты, и ее начала терзать эта мысль, но все же то, о чем рассказывал Тарриг, ее интересовало, похоже, что это любовная история, а любовные истории всегда ее интересуют. Знать бы только, будет ли она получать с завтрашнего дня масло к завтраку…

— …Тогда, — продолжал голос Таррига, — он решил выколоть себе глаза… Не знаю, почему в минуту отчаяния эта мысль все время приходила ему в голову… «Я выколю себе глаза, я выколю себе глаза…» Он попытался…

— Может быть, потому, что она оказалась не такой, какой он ожидал ее увидеть… — произнесла мадам Леонс, прослушавшая в этой истории все, что было между десятью годами ожидания и моментом, когда кто-то решил выколоть себе глаза. Возможно, это уже совсем другая история? Впрочем, нет, так как Тарриг ответил:

— Пожалуй… Вы правы, а я не подумал… Только женщина способна на такую проницательность…

Тарриг повернулся к мадам Леонс, он видит только ее белое от лунного света лицо, глаза, огромные от этой белизны… Какое изумительное лицо у этой женщины! Вот она закрывает глаза. Можно подумать, гипсовая маска…

Мадам Леонс так и не узнала конца истории; возможно, это и все, а может быть, эта история вообще без конца. Она проснулась, когда машина остановилась.

Перед ними были ярко освещенные луной стены, с которых лунный свет смыл все пятна, все шероховатости, стены, побеленные лучами, гладкие и блестящие… Густые тени служили им оправой… Тарриг вышел из машины. Он тоже был как бы омыт лунным светом, его глаза сверкали бриллиантами, узкий и аскетический профиль утратил живые краски.

— Пройдем здесь… — сказал он.

Они вошли через ворота. За оградой неподвижно высились большие деревья. Резкие черные тени, обрезанные по краям, как по линейке, стлались по круглым камням, которые причиняли боль ногам Жаннетты. Тарриг предложил ей руку. Она слегка отпрянула перед черной зияющей дырой, которая оказалась проходом сквозь высокую ограду, но тут же в проходе был поворот, и вот они в маленьком, стиснутом стенами внутреннем дворике, под луной, застрявшей где-то на верхушке церкви. Дворик до краев полон волнами лунного света, которые спускаются сверху и застывают, как льдины… Тарриг все еще держит Жаннетту за руку. Еще один черный проход — и другой дворик, побольше, скорее, маленькая площадь с деревьями и фонтаном посредине. Тут лунный свет более рассеян, тени — серее… Тарриг продолжает идти вперед, увлекая за собой Жаннетту.

— А чемоданы? — Голос Жаннетты растаял в воздухе, как снег в воде.

— И правда, чемоданы…

Но он все шел вперед. Теперь это был белый, мощенный булыжником, круто спускающийся вниз переулок, в котором дома стояли без крыш, а вместо дверей и окон зияли черные дыры… Переулок развалин, оказавшийся просто тупиком…

— Под ковриком? — спросил Тарриг.

Он нагнулся, открыл дверь. Они вошли.

— А чемоданы?

Голос Жаннетты пророкотал, как удар грома… В ужасе от произведенного ею шума она умолкла. У Таррига оказался электрический фонарик: они находились в длинном сводчатом коридоре.

— Вам незнаком этот дом?

— Нет, — прошептала она.

Коридор заканчивался дверью, справа была лестница. Тарриг открыл дверь и зажег свет: кухня, все еще жилая, с запахом обугленных поленьев и остывшего кофе. Одна ее дверь вела в сад. Жаннетта остановилась у порога. Кухня оказалась ниже уровня сада, Жаннетта поднялась по ступенькам. Это был совсем маленький садик, со всех сторон замкнутый высокими стенами. Огромными девственно белыми стенами. Луна здесь разгулялась вовсю, залив своим светом и садик и стены. Серебряные лилии, будто на алтаре, росли вдоль левой стены, и их терпкий аромат никуда не мог улетучиться, замкнутый в стенах этой закрытой вазы. Среди зарослей травы стоял каменный стол, круглый, белый, словно покрытый скатертью… Странно было видеть каждую травинку так же отчетливо, как видишь дно озера сквозь очень прозрачную воду… Тарриг вышел вслед за Жаннеттой, уселся на стол и замер… Тишина душила обоих своими войлочными руками, вызывала головокружение, как пустота пропасти. Прозрачная бесконечность, побеленная луной, покрывала их, как стеклянный колпак покрывает часы. Их окружала вечность. И так была она чиста, что даже аромат лилий казался слишком ощутимым, слишком тяжелым.

Голос Таррига скользнул, не нарушая тишины:

— Вне времени и пространства… Что скажете, Жанна, женщина, привязанная к злодеяниям мужчины?

— Тысяча девятьсот сорок второй… — отозвалась Жанна. Она вернулась в дом.

Кухня, которая только сейчас казалась такой обжитой, вдруг обледенела: туда тоже проник лунный свет. Жанна пересекла кухню и поднялась по лестнице, словно знала, куда идти. Комната наверху была очень большая. Жанна увидела стены ржавого цвета, с большими пятнами сырости. Там стояла кровать, и Жанна не пошла дальше… Она быстро разделась, легла, потушила свет…

Сначала пробили церковные часы. Выждав минут пять, столько же раз прокуковала кукушка. Плотно притворенные ставни не пропускали пи воздуха, ни лунного света, большая незнакомая комната со стенами цвета ржавчины казалась совсем черной. Сейчас, темной ночью, это было все, что знала о ней Жанна. Бум… Снова церковные часы. Кукушка прокукует позже. Всю ночь бой стенных часов с кукушкой будет переносить Жанну в детство, в ее девичью комнату. Окно было справа, платяной шкаф — прямо перед ней, и ей достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться розового абажура маленькой ночной лампы у изголовья кровати. Бум… Бум… Бум… Кукушка не торопилась, как бы для того, чтобы все вокруг успело вновь обрести свою неподвижность, и только тогда раздалось: «Ку-ку… ку-ку… ку-ку…» Лунный свет, острый, как стальной клинок, отсек завесу дыма, за которой, желая не видеть и не быть видимой, пряталась Жанна. Оружие… Люди… Ребенком она боялась темноты, над ее кроватью вечно склонялись какие-то огромные гримасничающие рожи. Тогда окно было справа, а шкаф — прямо перед ней. Люди… Жанна видит их. Они шествуют мимо нее, костлявые и совершенно нагие. У всех торчащие скулы, все курносые… В лицах мертвецов всегда есть что-то азиатское… Бедра их не толще худющих рук, грудь впалая, над огромным вздутым животом торчат ребра… Они останавливаются и стоят навытяжку… Есть среди них и живые, розовые, обутые в сапоги. Вот они снова приходят в движение… Как могла она жить, нося в себе, словно ужасную болезнь, это чудовищное видение? Но его раньше не было! Нет, было, было всегда. Иначе откуда бы оно взялось, если не из нее же самой?..

«Муки для матерей больше нет…» Быть может, и эти слова она носила в себе? «Муки для матерей больше нет…» Она это где-то читала. Несомненно. Читала, закрывая глаза… Хлеба для детей больше нет… Люди продолжали шествовать мимо. Они не смотрели на Жанну, к счастью, им было не до нее… Время от времени кто-нибудь падал, время от времени земля разверзалась перед марширующими и поглощала их… Потом вспыхнуло пламя. И с открытыми и с закрытыми глазами

Жанна ясно видела пламя. Оно стлалось по самой земле. Что же на этой сухой, потрескавшейся земле может гореть? Люди съели всю солому, они съели даже пыль… Вместо травы на земле всходят языки пламени. Они покрывают равнину пылающим газоном, поднимаются все выше и выше, достигают горизонта, к которому направляются курносые люди. Там видны дома… Люди идут, они не смотрят на Жанну… Огонь обгоняет их, прыгает на соломенную крышу какого-то дома и извивается там, точно хвост огромного, гордого красного петуха… Жанна вместе с вереницей людей проходит сквозь пламя, она мучается вместе с ними, невероятно страдает. Бум… Неумолимый звон. Теперь очередь за кукушкой… Но что может сделать жалкий голос кукушки в этом пламени…

Лунный свет просачивается сквозь приотворенные ставни. Препон больше нет, мир надвигается на Жанну, нет-нет, она несет его в себе, голова ее словно планисфера со всеми континентами земли, со всеми морями, вулканами, ледниками и пустынями, со всеми ее обитателями, со всеми людьми… Вырвать себе глаза, вот что надо сделать! Вырвать глаза и сердце, чтобы больше не видеть, не ведать, не ощущать… Боже милосердный, помоги мне не ощущать ничего!

Жанна соскользнула на пол, встала на колени на холодные камни. Боже мой! Отними у меня разум, чтобы я ни о чем больше не знала! Что перед этими страданиями предродовые боли… Боже, смети меня с лица земли…

Луна скатилась на уровень окна. Скрестив руки, Жанна встретила ее страшный свет. Она испустила крик, протяжный, как вой сирены в час тревоги, и потеряла сознание.

Она не слышала боя церковных часов, ее разбудила кукушка, прокуковав девять раз… Жанна поднялась и легла на кровать. Что за дом! Этот матрац полон блох… Ей не поверят, если она расскажет, что была вынуждена провести ночь на полу, — до того извели ее блохи. А может, это были комары. Ничего удивительного, когда сад так запущен… Заброшенный дом! Какое нахальство со стороны друзей заманить ее в подобное место. Кстати, где же вода, как ей умыться? И кто приготовит ей завтрак? Если не будет масла, она немедленно уедет… А чемоданы? Куда исчез этот Тарриг? Когда людям вздумается оказать вам услугу, неприятностей не оберешься…

Мадам Леонс нашла свои чемоданы внизу на кухне, молоко стояло перед дверью, в конце коридора, а масло — в буфете. В десять часов в дверь постучали: явилась служанка. Перед отъездом друзья мадам Леонс все предусмотрели, обо всем позаботились. Какие милые люди! Можно тут записаться на яйца? Прекрасно! А на мучные изделия? Просто чудесно! Тогда она сможет послать яйца в Тулузу для Лулу. Дети в наше время — такая тяжкая забота!.. У служанки их трое, один совсем маленький, и двое близнецов трех с половиной лет. Они уже не получают ордера на пеленки. А во что их одевать? В три с половиной года малыши ведь не перестают расти! Мадам Леонс не замедлила преподать ей несколько советов.

Вода для кофе кипела на плите. Сейчас мадам Леонс отправится на автобусную остановку и поедет в город, чтобы не упустить шоколадных конфет…

Свои стихи Арагон начал публиковать в разгар первой мировой войны, в журнале дадаистов. Спустя некоторое время в печати появились и прозаические этюды, составившие позднее книги «Столичные удовольствия», «Вольнодумство» (1923), «Волна мечтаний» (1924). Характер этих зарисовок определялся во многом эстетикой сюрреализма, отводившей большую роль сновидению, алогизму словосочетаний, иррациональности.

Разрыв Арагона с группой сюрреалистов был продиктован решительным поворотом к злобе дня, к проблемам действительности. Программное название романического цикла — «Реальный мир» — предвещало появление новых сюжетов и новых героев. В каждой книге цикла слышны раскаты готовящейся или уже вспыхнувшей войны; герои проходят испытание на человечность, соприкоснувшись с общенациональной трагедией.

В оккупированной Франции, «назавтра после Сталинграда», по словам самого Арагона, написаны первые страницы «Коммунистов» (1949–1951), завершающего романа цикла «Реальный мир» (второе дополненное издание автор подготовил к 1967 году, сорокалетию своего вступления в коммунистическую партию).

Горе униженной нацистами Франции сделало Арагона «поэтом родины» (М. Торез). Лирика военных лет («Нож в сердце», 1941; «Глаза Эльзы», 1942; «Паноптикум», 1943; «Французская заря», 1945) выразила горечь поражения, неприятие политики «нового порядка» и коллаборационизма, веру в силы народа. Противопоставление двух лагерей — антифашистского и соглашательского — прозвучало в заглавии новеллистической книги — «Рабство и величие французов. Сцены страшных лет» (1945). Большинство вошедших в книгу новелл печаталось в подпольной прессе.

Последовательная борьба Арагона с милитаризмом отмечена Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами» (1972); он награжден орденом Октябрьской Революции.

В общественной и литературной жизни послевоенной Франции большую роль сыграли публицистические и литературно-критические исследования Арагона «Человек — коммунист» (1946–1953), «Пример Курбе» (1952), «Свет Стендаля» (1954), «Советские литературы» (1955) и другие.

За последнее тридцатилетие Арагон редко обращался к жанру рассказа, предпочитая вплетать новеллистические зарисовки в ткань своих поэм и романов (поэма «Меджнун Эльзы», 1963; романы «Бланш, или Забвение», 1967; «Театр-роман», 1974). К этому располагает подчеркнуто раскованная форма последних его книг, скрещение хронологических планов и интенсивная роль памяти, которая внезапно высвечивает в прошлом героя отдельные дни, события, встречи.

Louis Aragon: «La servitude et la grandeur des Franqais. Scenes des annees terribles» («Рабство и величие французов. Сцены страшных лет»), 1945.

Рассказ «Грешник 1943» («Penitent 1943») напечатан подпольно в «Lettres franqaises», 1944, М 21; вошел в книгу «Рабство и величие французов». Новелла «Весенняя незнакомка» («L'inconnue du printemps») опубликована в собрании сочинений Арагона и Триоле («Oeuvres romanesques croisees», v. 4, 1964).

Грешник 1943

— Господин кюре не слишком задержится? Это я из-за брюклы.

— Нет, Мари, приготовьте мне на ужин что-нибудь полегче. Экая жарища! Я не надолго, только отпущу исповедников.

Господин Леруа очень исхудал. Его домоправительница проворчала, что хорошая порция брюклы ему не помешала бы, но как раз от нее-то он и хотел избавиться. Г-на Леруа всегда раздражало, что Мари называет брюкву брюклой, как все здешние. Сам он говорил правильно — брюква. И терпеть ее не мог. От дома священника к церкви был прямой путь через сад, где дивно пахли акации в цвету. Но кюре предпочел выйти за ограду, немного пройтись, прежде чем он запрется в своей исповедальне.

Нельзя сказать, чтобы он так уж любил этот квартал, где его и сейчас, десять лет спустя, как в первый день, не покидало чувство, что он не на своем месте.

Он предпочел бы настоящую деревню или настоящий город. Но только не эту слободу — ни рыба ни мясо, — где жили мелкие рантье, мелкие торговцы или люди, работавшие на стороне, довольные уж тем, что у них есть эти три травинки и деревце за оградой, эти жалкие домишки, все на один лад: входишь, направо — комната, налево — другая… Вот быть бы священником в Б., за километр отсюда, в рабочем пригороде, с его трудностями, повседневной борьбой.

На площади, где все еще дышал зноем асфальт, в сквере, зелень которого в этот светлый вечер казалась искусственной, с ним поздоровались две женщины, болтавшие на скамье. Чуть дальше, у края тротуара, разговаривали, прижавшись друг к другу, парень и девушка. Он, позолоченный загаром, в светло-голубой майке-безрукавке с широким вырезом, опирался на велосипед, этот символ доблести молодых. Парня г-н Леруа не знал. Зато девчушка лет пятнадцати, не больше, хорошенькая брюнетка, в белой, чисто выстиранной блузке, под которой угадывались еще слепые груди, в коротенькой юбчонке, без чулок, гордая своими туфлями на деревянной подметке, не так еще давно приняла первое причастие и ходила к нему учить закон божий. Г-н Леруа отвернулся, чтобы не смущать их. Каждый год одно и то же: весна… Может, весна несла с собой не одни только грехи… Пути господни неисповедимы…

Деревца на площади гнулись под тяжестью цветов. Г-н Леруа вздохнул: он смотрел на свою церковь и без всякой радости думал об исповедях, которые ему предстояло выслушать. Он знал все наперед. Нет, его прихожане грешили не так уж тяжко, во всяком случае, те, что приходили каяться… Он не спеша шел к церкви, дети, как всегда, играли в свои обычные игры! Нет, у него не было никакого повода задерживаться. И к тому же, как ни ничтожны их грехи, люди, которые его ждали, ждали.

В сущности, эти люди были под стать своей церкви. У г-на Леруа не лежала к ним душа. К своей церкви он так и не привык. А что, собственно, в ней особенного? В том-то и дело, что ничего особенного в ней не было: одно из тех готических зданий 1910 года, которые сначала, пока камень еще не потемнел и ясно проступали соединительные швы, казались сложенными из детских кубиков. Потом стены загрязнились, покрылись патиной. Дым Б., относимый сюда ветром. Снаружи церковь выглядела довольно просторной, но, как войдешь, обманывала надежды: хорам не хватало глубины, боковым нефам — размаха. И ничто здесь не подымалось над уровнем вульгарного благочестия массового производства, а это не могло не удручать человека, не чуждого художественным притязаниям, вроде г-на Леруа, который в свои младые годы интересовался искусством, бегал по музеям. О, ему нужно было так немного. К тому же в доме господнем главное — помыслы: пусть церковь и не слишком красива, достаточно, не правда ли, чтобы те, кто здесь преклоняет колени, привносили духовный порыв, которого не хватает архитектуре. Да, разумеется, но в том-то и беда, что они его отнюдь не привносили.

Господин Леруа вовсе не жаждал служить мессу в какой-нибудь романской базилике или совершенном готическом нефе. Он вполне удовольствовался бы сельской церковью, которых так много по деревням Франции, пусть и нескладной, но свидетельствующей о своего рода духовном рвении. Господь бог и епископ решили иначе. На долю г-на Леруа выпал крест быть священником в этом бездушном здании с его иконостасом вощеного дерева, пошлой розеткой и вульгарными витражами, плиточным полом, как в ванной комнате, гипсовыми статуями конфетных тонов. Но случались дни, когда все это вставало ему поперек горла, как брюква: он охотно обошелся бы без всего этого.

Какой удручающий покой царил вокруг! Если бы не этот гул над самой головой, на который уже давно никто не обращал внимания, поскольку аэродром располагался совсем рядом, трудно было бы даже поверить, что идет война. В особенности здесь, где почти не видно было афиш, потрясавших г-на Леруа. Если не считать тех, что висели на тумбе и, вытеснив с нее анонсы кинофильмов или концертов, рекламировали трудповинность, сбор железного лома или службу в милиции. Зеленые мундиры оккупантов в этих местах появлялись редко. С соседней улицы донесся свист молочника,

который развозил снятое молоко.

«Ладно, — подумал кюре, — пора», — и он поднялся по ступеням паперти. Он представлял себе, кто его ждет, своих, как он в шутку называл их, клиентов. Вероятно, г-жа Гийбутон… старая матушка Бюзвен… Дядюшка Будар, дорожный сторож… один-два молодых человека из училища Святой Евлалии, мучимых отроческими сомнениями… Какое нужно терпение! Г-н Леруа обрек себя на скуку, заранее охватившую его. Тем паче что, если народу собралось много, он пропустит радио, последние известия из Северной Африки… Он и этим пожертвовал во имя божье, правда, не очень охотно. Рука его коснулась четок в кармане.

Его ждали семеро. В том числе шесть женщин, и при свете свечей, зажженных перед Непорочным Зачатием, г-н Леруа сразу узнал несносных любительниц поговорить: этих хватит надолго. Его опасения нисколько не были преувеличены. Он знал от начала до конца все, что скажут эти неумолимые святоши, в какую чепуху, в какие сплетни он должен будет окунуться по меньшей мере на час. Господи, да сбудется воля твоя! Кюре прошел в ризницу надеть облачение. Каким жалким оно стало! Стоило г-ну Леруа вспомнить прекрасные стихари, тонкое, красивое полотно былых дней, им овладевали сожаления. Он корил себя за подобную дань мирской суете, но, с другой стороны, что нужно, то нужно: священник обязан представать перед верующими в пристойном виде. Как сменит он свою уже залатанную сутану? Сколько текстильных талонов требуется на сутану? Не меньше пятидесяти! А ему полагалось всего двадцать!

Усевшись в своей исповедальне, он рассеянно слушал шепот, доносившийся через решетку, из-под зеленых занавесок: «Отец мой, простите мне, ибо грешен…» Бывают исповедники, которые упиваются пустяками, нарочно раздувая их, словно для того, чтобы подчеркнуть ничтожность своих провинностей, кажется, они пришли не покаяться в грехах, а похвалиться своей добродетелью. Впрочем, добродетель — это слишком сильно сказано… Г-н Леруа думал об акациях в саду, о том, с каким удовольствием он сыграл бы партию в шахматы с кюре из Б., не будь тот одержим ужасной манией переводить разговор на политику… Он даже гадал, хотя и не был голоден, что приготовит на ужин Мари, коль скоро брюква отложена на завтра. Внезапно он поймал себя на нерадивом отношении к своему долгу, задал невпопад какой-то вопрос исповеднице и устыдился. Духовному наставнику надлежит владеть собой. «Дочь моя, вы прочтете десять раз «Отче наш» и десять раз «Богородице Дево, радуйся…»

Из-за решетки, на этот раз — справа, доносился другой голос. Г-н Леруа чуть раздвинул шторку взглянуть, не устал ли кто ждать у налоев подле исповедальни. Увы!.. Придется выдержать испытание до конца. Кюре заставил себя прислушаться, вникнуть в это бормотание. За неплотно задернутыми занавесками мерцали свечи, и он не мог удержаться от мысли, что такой расход воска в наши дни, когда людям не хватает мыла, — непозволительное роскошество… Так ли уж он уверен, что Непорочная дева радуется, видя, как попусту сгорает то, что могло бы быть использовано… Он прогнал эти опасные мысли… «В помыслах, поступках или по небрежению…» Что? Ах, да. «Дочь моя, не надо упрекать себя в том, что естественно…»

Так, в сгущающихся сумерках, тянулось шествие, и исповедальный трибунал отправлял свои функции то в правом, то в левом окошечке. В тот вечер г-на Леруа томило странное желание поскорее уйти из церкви и бродить без всякой цели, дышать цветами, заполонившими улицы. Дважды ему показалось, что дело идет к концу, но он, очевидно, ошибся, подсчитывая исповедующихся. Ну вот, наверно, последняя. Добрая женщина, винила себя в том, что, получая консервированные томаты, обжулила бакалейщицу с талонами на разные продовольственные товары, и самое глупое, что через две недели эти томаты стали продавать без карточек… Кюре послышалась какая-то возня в церкви.

— Вы видите, дочь моя, обман себя не оправдывает. Небо хотело тем самым показать вам, что от лжи нет никакого проку… Но ваша провинность, сколь ни предосудительна она по намерениям, к счастью, может быть прощена легче, ибо не имела последствий и не нанесла ущерба лицу, которое…

Он приподнял занавеску: в церкви двигали стульями. Что там такое? Никто его больше не ждал.

— Во имя отца и сына… — Несколько встревоженный, он отпустил старую женщину.

Выйдя из исповедальни, г-н Леруа заметил, что в правой кабине из-под занавески торчат мужские ноги.

Неужели он снова сбился со счета? Еще один хочет исповедаться! Но кто-то ходил на хорах, слышались громкие голоса. Кюре наморщил брови. Что все это значит? Он подошел ближе.

Перед ним были трое полицейских и двое в штатском, он сразу понял, с нем имеет дело. Они уставились на старуху, выходившую из исповедальни, но беспрепятственно выпустили ее из церкви.

— Что случилось, господа? — спросил г-н Леруа с большим достоинством, тем не высоким и не

низким голосом, секретом которого он владел и который даже в соборе был бы слышен из конца в конец, хотя, казалось, кюре говорит едва ли не шепотом. Полицейские замерли в смущении.

— Господин кюре… — начал один из них.

Мужчина в штатском оборвал его:

— В Б. только что опять была совершена террористическая акция, брошена бомба, террорист бежал у нас на глазах и мог укрыться в вашей церкви…

Он прекрасно говорил по-французски, но что-то, какая-то жесткость произношения… Г-н Леруа сказал очень спокойно:

— Ищите, господа, ищите… но, вы сами видите, здесь никого нет…

Он замолк.

— …кроме последнего из моих прихожан, который вот уже три четверти часа ждет, чтобы я отпустил ему грехи… Если позволите, я продолжу исповедь…

Во мраке исповедальни им на миг овладели сомнения. У него колотилось сердце. Тут, совсем рядом с собой, он слышал тревожное дыханье человека, башмаки которого, возвращаясь, оглядел еще раз, — жалкие башмаки со стоптанными каблуками, нуждавшиеся в основательной починке. Он вспомнил свои собственные слова, сказанные только что по поводу этой дурацкой истории с продуктовыми карточками: «Обман себя не оправдывает…» И к тому же он был не слишком уверен в своих побуждениях: быть может, его отчасти толкало любопытство… Наконец он решился, отворил правое окошечко и, прикрыв глаза рукой, чтобы лучше сосредоточиться, произнес:

— Говорите, сын мой, я вас слушаю…

В исповедальню доносился шум шагов. Господин Леруа представил себе: сейчас откроют двери ризницы. Там, наверно, церковный сторож. Но здесь, рядом с ним, мужской голос, глубокий, сдавленный, произнес:

— Господин кюре… Отец мой…

Надо думать, это человек, которому непривычно беседовать со священником. И все же он нашелся, назвал его «отец мой»… Вероятно, ходил к исповеди в детстве. «Простите мне, отец мой…» — сказал он даже, но это, быть может, просто совпадение, хотел, наверно, извиниться за то, что спрятался здесь.

— Я вас слушаю, сын мой… — повторил исповедник. Шаги приближались к исповедальне. Кюре инстинктивно почувствовал, как человек на коленях напрягся, готовый к прыжку. Он прошептал ему:

— Тихо… молчите… — и, выйдя из исповедальни, лицом к лицу столкнулся со штатским, который минуту назад разговаривал с ним посреди церкви…

— Что у вас еще, месье? — произнес он, повысив на этот раз голос, тоном священника, привыкшего говорить в своей церкви громко, читать проповедь, одергивать мальчишек на уроках закона божьего.

Застигнутый врасплох внезапным появлением кюре, тот стоял, почти касаясь его телом, потом, сделав шаг назад, ответил приглушенно:

— Entschuldigen Sie… Извините меня, господин кюре, я хотел…

Кюре ощутил дрожь удовлетворения, как человек, который не ошибся в своих выводах, — его зычный голос разнесся по церкви:

— Но в конце концов вы отдаете себе отчет, где находитесь, месье? Дадите вы мне или нет отправлять мои обязанности? Человек исповедуется, это мой прихожанин, за которого я отвечаю и который ожидает здесь уже три четверти часа, повторяю, три четверти часа… А меня ждет ужин, брюква, если вам угодно знать, и я надеюсь, что вы очистите помещение…

Подошли полицейские.

— Никого нет, — сказал один из них.

Немец бросил несколько слов второму мужчине в штатском.

— Я хотел бы обратить ваше внимание на то, — сказал священник, — что в церкви есть еще один

выход, через дверцу в часовне Иоанна Крестителя…

Все разом оглянулись. И в самом деле, но в таком случае…

— Вы оставили кого-нибудь снаружи, бригадир?

Бригадир сказал, что оставил. Вся группа — кто с каской, кто со шляпой в руках — направилась к Иоанну Крестителю. Г-н Леруа смотрел, как они удаляются, выходят. Он удовлетворенно улыбнулся. В его ушах пело «Славься». Он утратил всякое представление о грехе. Он погряз в своей лжи, и он ею гордился. Хуже того: он поймал себя на мысли, что примет покаяние этого человека, да, да, примет его с радостью. Но когда кюре обернулся, он увидел мнимого исповедника: тот стоял, опустив руки, шляпы у него не было. Пламя свечей отбрасывало тени на его лицо.

— Вы не хотите исповедаться? — сказал г-н Леруа несколько разочарованно.

— Господин кюре, — сказал мужчина, и, бог мой, до чего же глубокий был у него голос, казалось, он исходил из самых глубин его существа, резонируя в широкой, могучей грудной клетке, грудной клетке грузчика или солдата. — Спасибо, господин кюре, с вашей стороны это было здорово… Но теперь мне лучше смыться…

— Если вы сейчас выйдете, они вас схватят, сын мой…

Господин Леруа употребил обращение «сын мой», словно стремился воспользоваться двусмысленным положением, в котором преимущество было на его стороне. Осознав это, он устыдился, что не проявил истинно христианского милосердия. И потому он мягко поправился:

— …мой мальчик…

Мальчик почесал в затылке.

— Ну и влип я! — убежденно сказал он, потом внезапно ощутил потребность извиниться: — Я был вынужден, господин кюре, я не хотел оскорбить ваши чувства… Каждому свое… Но у меня не было другого выхода!

Он явно просил прощения за то, что вошел в исповедальню, будучи неверующим и не собираясь исповедоваться…

— Понимаю, понимаю, — согласился священник, — это вполне естественно! У меня и в мыслях не было воспользоваться создавшимся положением…

Тот не понял этих слов, да и трудно было бы их понять, но бывают минуты, когда говоришь что попало, ибо важно сказать хоть что-нибудь.

— Они не сказали вам, — спросил парень, — хоть один там скапутился?

— Хоть один что? А, нет. Не сказали.

— Эх, — вздохнул парень, — обидно, если я промахнулся.

Господин Леруа всмотрелся в него. Он выглядел добрым малым. Из тех, что не любят «халтуры». Кюре робко осмелился:

— Боши?

— Ну, если и не боши, то одна бражка!

Конечно, вопрос был дурацкий. Чтобы замять его, г-н Леруа спросил:

— Хорошо… а что вы намерены делать теперь?

— Если вы позволите, я подожду здесь, в уголке, как пай-мальчик.

Они одновременно рассмеялись.

— Нет, — сказал г-н Леруа, — а если эти… ну, легавые, вернутся?

Парень ответил уклончивым жестом, казалось, он измерял взглядом церковь, словно арену предстоящей рукопашной схватки. Кюре покачал головой.

— Нет, нет… лучше не надо… Пойдемте со мной, вот сюда: из ризницы можно пройти прямо ко мне… дом священника…

Парень не заставил себя просить дважды. Он только повторял:

— Нет, правда, это здорово… для кюре… очень здорово…

Акации пахли так хорошо, что это не могло не быть знаком господнего одобрения.

Старая Мари воздела руки к небу, когда господин кюре сообщил ей, что у него гость к ужину.

— Другого от вас и не жди! Сначала говорите, что только слегка перекусите, потом приводите кого-то!

Этот «кто-то» к тому же несколько удивлял ее. Она ничего не спросила и скрылась в кухне, было слышно, как она там шурует, ворочает кастрюлями, достает тарелки.

— Боюсь, — сказал священник, — что у нас к ужину только брюква… Но на войне… Вы любите брюкву?

Парень слегка поморщился:

— Вы хотите сказать брюклу? Я предпочитаю, ясное дело, жареную картошку, но и брюкла не так уж плохо… лучше, чем репа…

— Ну нет, не согласен, — возразил г-н Леру а. — Репа, тушеная, это правда, вместе с картошкой… И потом, вы все тут говорите брюкла, а нужно — брюква…

— Каждому свое: у нас тут говорят брюкла…

Они вдруг оба расхохотались: не так, как в церкви, потихоньку, но тем добрым раскатистым смехом, от которого сотрясается все внутри. Это было сильнее их. Они стояли в кабинете господина кюре, и сверху, с большого распятия на зеленом бархате взирал на них Христос. Г-н Леру а вытер мокрые глаза. Только теперь, на свету, он ясно разглядел лицо своего гостя. Характерны были не столько мощные челюсти, сколько глаза, еще совсем мальчишеские, вбиравшие в себя все, — карие быстрые глаза и веснушки на носу. Не будь этой морщинки у рта, его можно было бы принять за новобранца… Г-н Леру а припомнил рожу другого, того верзилы — «Entschuldigen Sie mich…» — ничего общего! Ребят вроде этого, стоявшего сейчас перед ним, он видел ежегодно на уроках закона божьего. Эти мальчишки дрались друг с другом, играли в шары, выражались не слишком изысканно, тискали девушек. Потом они взрослели и уже не показывались в церкви, не всегда здоровались с ним, встречая на улице, но, если не считать раздавшихся плеч и свободы движений, они оставались все теми же ребятами, что носились на велосипедах или прижимали девчонок в укромных уголках… И лица у них были такие же, какие были у их отцов, еще совсем недавно…

— Вы курите?

Вопрос! Он не откажется. Кюре подтолкнул его к низкому креслицу, обтянутому репсом.

— Садитесь же, мой мальчик!

У того было счастливое лицо. Он курил, и он сидел, и все повторял:

— Каждому свое… Верно говорят, хорошие люди есть повсюду, но… Приятно видеть, что это правда… Каждому свое…

Он-то, должно быть, за свое держался крепко. Г-н Леруа подумал, что обращать такого парня — напрасный труд. Впрочем, на уме у него было совсем другое. Они нравились друг другу именно потому, что многое понимали по-разному. Не будь г-н Леруа, к примеру, священником, вся эта история — да, да! — выглядела бы куда менее убедительно, и точно так же… Короче, кюре думал, что было бы совсем некстати, воспользовавшись случаем, привлечь в лоно церкви еще одного верующего: это бы все испортило. И большой Христос на зеленом бархате, казалось, был того же мнения.

Но нашего кюре волновало другое. Два или три раза он подыскивал слова. Не находил. Наконец, придвинув поближе свой стул, он фамильярно шлепнул гостя по ляжке и, наклонясь к нему, спросил с лукавым, живым любопытством в глазах:

— Ну… между нами… так как же эта бомба?

Весенняя незнакомка

— Я-то боялась, что опаздываю, и, на тебе, пришла раньше времени!

Малютка влетела вихрем с охапкой белых в синюю полоску пакетов и черной блестящей сумкой. Свалила все это кучей на столик. Очаровательна — вздернутый носик, гнедой конский хвост. Он подумал: «Провинциалка…» — и улыбнулся, но тут же вспомнил о горькой складке, которая совсем недавно прорезалась у него в углу рта. Прошли те времена, когда они с ходу принимались с ним кокетничать…

— Ваши часы правильные? У меня свиданье в пять, и, подумать только, я явилась первая… Они точные, да? — Она повела вокруг глазами. — У вас тут мило, официант…

Он привык, что ему говорят «бармен». Если уж дошло до «официанта», пиши пропало: оставь надежду, старик. Девушка, которая говорит тебе «официант», спать с тобой не ляжет. Бар был почти пуст. Синий плюш делал бы его несколько старомодным, не будь здесь американского автомата и этого субъекта в кожаной сбруе с густой напомаженной шевелюрой, который так тебе и тряс автомат: лампочки вспыхивали то справа, то слева, шарики летели каскадом. Бармен вышел из-за своей стойки красного дерева, а клиентка этого даже не заметила. Он почтительно стоял перед нею, весь внимание. Она вытащила зеркальце из сумки, лежавшей в груде свертков, и занималась теперь тем, что пудрила нос, хотя в этом не было ни малейшей нужды, комично двигая в разные стороны вытянутыми в трубочку губами, точно пыталась рассмотреть нечто невообразимо ужасное на своей мордашке.

— Что подать мадемуазель?

— Мадам, — небрежно поправила она, опустив ресницы.

«Должно быть, не слишком давно», — подумал бармен и, выйдя из своей роли, произнес вслух:

— Должно быть, не слишком давно…

Она подняла на него глаза, тряхнула своим конским хвостом и ответила вполне серьезно:

— Все-таки уже скоро два месяца… Ну ладно, чего бы мне выпить?

Он ответил уклончивым жестом, классическим для этого вопроса, который, в сущности, вопросом не является и ответа не предполагает.

— Без четверти пять, — сказала она, — Жильбер взял бы виски… Жильбер — это мой муж.

А! Ну пусть поговорит хоть о муже, все равно ведь… Но речь не о том, что выпил бы ее муж.

— Дайте мне… хоть чаю, что ли… У вас хороший чай, официант?

Его вдруг до того к ней потянуло, что он оперся рукой о стол и представил себе, как она восхищается размахом его плеч.

— Не ждет же мадам, что я скажу: чай у нас никуда не годный…

Она сняла перчатки, расстегнула пальто: точно такие в этом году во всех витринах. Он уставился на ее груди так, что сам испугался, как бы она этого не заметила.

— А у вас правда плохой чай? — спросила она. — Совсем-совсем плохой?

— Да нет, чай как чай, ничего особенного.

— Странный вы человек, официант, — сказала она, — что же вы поносите свой товар?.. Все равно я выпью чаю!

Теперь она принялась запихивать все обратно в сумку, и он увидел, что у нее есть руки… ну и что, у каждого есть руки! Вопрос — какие.

— Молоко или лимон?

Она подняла глаза, словно не понимая, о чем речь.

Гляди-ка, а он недурен, этот официант, подумала она. Для официанта. Холеный. Сколько ему может быть лет? Пожалуй, все тридцать. В свое время он был, вероятно, недурен. Что это он спросил у нее? Молокоилилимон… какое смешное слово. Она наморщила носик:

— Дайте мне китайского…

А все Симона… она пьет только китайский, из снобизма… с тех пор как этот ее дружок из общества франко-китайской дружбы, или как оно там называется, подарил ей пестрый сундучок с китайским чаем…

Задумавшись о том, почему бы Симоне не выйти за него замуж, она не сразу заметила, что официант отрицательно качает головой, негромко прищелкивая языком о свои великолепные зубы.

— В чем дело? Вы не хотите подать мне китайский? Я, знаете ли, привыкла… у меня есть подруга… На ее месте я бы вышла замуж… Впрочем, вы ведь не можете всего этого знать!

— Нет, — серьезно ответил бармен, — этого я знать не могу, но зато я точно знаю, что у нас подают только цейлонский… Я тут ни при чем — просто они не покупают другого… вот я и подаю цейлонский…

— О, цейлонский никуда не годится, — сказала она, крайне недовольная, — он слишком уж темный, крепкий, ну, прямо солдатский табак… Пожалуйста, дайте мне китайский…

Все, что можно вложить в уклончивый жест, было в него вложено. Подбросив тыльной стороной руки свой конский хвост, девочка заметила:

— Бьюсь об заклад, что вы футболист… Ладно, давайте цейлонский, если нет у вас ничего лучше… Жильбер тоже играет в футбол. Он вроде вас, с виду… Только помоложе, разумеется…

Он отошел. Плевал он на этого Жильбера, — сейчас она станет распространяться, какой у ее Жильбера объем лодыжки. Она окликнула его:

— Эй, послушайте…

Он обернулся:

— Что еще? Я забыл закрыть за собой дверь?

— Да нет, — сказала она, разведя ладони, — я решила: дайте с лимоном…

Ему вдруг ужасно расхотелось уходить. Как было бы славно присесть рядом с ней на банкетку, просто так, без всяких, и поболтать о чем-нибудь, пусть даже она и станет рассказывать о своем Жильбере… Что бы такое придумать…

— Разрезать лимон пополам или подать ломтиками? — задал он совершенно нелепый вопрос, отбросив обращенье в третьем лице.

А она:

— Да как хотите… Мне все равно… Заварка у вас какая? Вы заливаете кипятком или окунаете пакетик? Сама не знаю почему, но это полосканье напоминает мне, как когда-то, когда я была совсем маленькая, наша служанка развешивала в кухне всякие мокрые тряпки…

— Когда вы были совсем маленькая… наверно, тоже месяца два тому назад…

— Странный вы человек. Ну, сколько вы мне дадите, с ходу?

— О, я не слишком щедр, не слишком.

— Так вот, мне двадцать. Даже больше, на полтора месяца. Жильбер…

«Он у меня уже в печенках, этот Жильбер. Футболист несчастный. В пять часов он, видите ли, закладывает виски. И с виду вроде меня…» Бармен бросил на себя взгляд в большое зеркало над банкеткой и спросил:

— Он, случайно, не наш клиент?

— Кто, Жильбер? Почему бы и нет? Он с таким видом давал этот адрес… Не знаю, он мне никогда ничего не рассказывает… И потом, это было ведь до меня! Значит, вы его знаете?

— Возможно. Я знаю нескольких Жильберов… Но не ручаюсь, что среди них и Жильбер мадам…

Облокотившись на мрамор столика, она положила подбородок на ладошку и сказала доверительным тоном:

— Мой… как бы вам сказать… Он брюнет, как вы, примерно вашего роста… Но он не похож на вас… Ушки у него совсем маленькие… Для мужчины просто удивительно! Лицо щекастое, и он чуть что краснеет — лоб, шея… Он у меня сильный и взрывается, как порох, лучше его не трогать…

Хорошенький, очень хорошенький… представляете?

— Да, вообразить могу… Так, в общих чертах… На улице вряд ли узнаю… Мадам извинит меня, чай для мадам…

— Ну, знаете, когда говоришь о Жильбере, чай может и подождать, — сказала она. — Один зуб у него золотой, но сразу не видно. Ему выбили на матче с Сушо… Жуткие типы в этой команде Сушо, еще немного, и они бы мне окончательно его изуродовали…

Он отошел. Она опять позвала его:

— Если вы хотите узнать Жильбера, главное — это глаза, они у него особенные: маленькие, карие и к тому же всегда смеются, всегда!

Чего бы он сейчас не отдал за то, чтобы у него были маленькие карие глаза, как у Жильбера, а не большие и светлые, которыми еще не так давно бредили все женщины. Ладно, поговорили и будет, пойдем за чаем!

Он уже отвернул у машины за своим баром кран с горячей водой, приготовил чайничек с заваркой, когда она опять позвала его:

— Официант! Вы не могли бы сказать тому молодому человеку, чтобы он не гремел так этой штуковиной? Оглохнуть же можно!

Но тот и сам ее услышал, обернулся и неподражаемым тоном произнес: «Ах ты, цыпочка!» После чего так тебе и загрохотал автоматом, точно с цепи сорвался, лампочки замигали всеми цветами радуги. Тогда она стала кричать, словно была на улице и обращалась к кому-то на другом тротуаре, через поток машин:

— Знаете что, официант, я передумала, не надо! Пока этот чай заварится… Сейчас без десяти… Я как раз хотела купить Жильберу свитер в «Прентан», я уже заходила, но не было нужного цвета, мне сказали, что на складе есть… Я боялась опоздать, у меня часы спешат, не знаю, что с ними стряслось, и я им там сказала: я ждать не могу, у меня муж, я еще вернусь, только заскочу в бар, а вы тем временем… Я боялась, он уйдет… ну, вы понимаете… а оказывается, пришла раньше времени! Вот я и думаю, может, мне теперь заскочить туда? И Жильбер получит свитер! Это будет мило, правда? У нас свиданье, и вот, пожалуйста, я прихожу со свитером! Жильбер обожает подарки, вы себе даже не представляете! Ради одного этого хочется ему дарить, — только чтобы увидеть, как он радуется, щекастик этакий, и глаза смеются… Но я тут разболталась, а время идет… Я оставлю мои пакеты, ладно? Приглядите за ними. Я вернусь…

Она одернула пальто, встряхнула свой конский хвост, надела на руку сумку. Направилась к двери. Субъект возле автомата исподтишка окинул ее взглядом ценителя. Внезапно она обернулась:

— Вот что, официант, если мой муж придет до того, как я вернусь, задержите его, а то он решит, что я ушла… Вы ему скажите про эти пакеты, там…

— Хорошо, — сказал бармен, — но как я его узнаю, вашего мужа?

Она возмутилась:

— Странный вы человек! Я вам битый час толкую, какой он, Жильбер, описываю во всех подробностях, и после этого вы меня еще спрашиваете… Щекастый, вашего роста, уши маленькие, спортсмен, ну, чего еще! И вы же его знаете… Заметьте, я не любопытна, я у вас не выспрашивала, с кем он сюда ходил. Предпочитаю не знать… У меня есть подруга, она мне всегда говорит…

Она помахала рукой, свободной от сумки, как машут на экране королевы, приветствуя с балкона свой народ, или красотки, садясь в поезд…

Когда она скрылась за дверью, парень в коже, прервав на минуту свое громыханье, проникновенно сказал:

— Сволочь этот Жильбер…

Было пятнадцать или шестнадцать минут шестого, когда она наконец вернулась. Запыхавшись, прижимая к груди бумажную сумку, — со свитером, надо думать, со свитером, конечно. У стойки сидел клиент, бородач, явно не тот, кто был ей нужен. Она огляделась вокруг.

— Его все еще нет? А я-то торопилась! Можете себе представить, официант, они не нашли у себя на складе! Ну, я им устроила! Вы меня не знаете, уж если я заведусь!.. Я была в ярости. Но все хорошо, что хорошо кончается: свитер я достала, а Жильбера еще нет… Который же это час? Уже семнадцать, почти восемнадцать минут шестого! Вы уверены, что они не спешат, ваши ходики?

Жильбер — сама точность! Вы хоть сказали ему…

Бармен за своим красным деревом мыл стаканы. Невозмутимый. Он ничего не ответил.

— Я к вам обращаюсь, официант! Вы сказали Жильберу…

Американский автомат обезумел. Игрок схватился с ним врукопашную, хохотал, хлопал себя по ляжкам…

— Неужели вы дали ему уйти, ничего не сказав! — кричала малютка.

Бармен поставил перед собой стакан, второй, третий. Он холодно упивался местью — местью всему: времени, которое безвозвратно убегает, женщинам, которые смотрят на других, горькой складке, вот тут, где он только что провел пальцем. Красивая девчушка, но что из того? Видел я ее Жильбера, видел я таких навалом…

— Но в конце концов, официант, я вам так хорошо его описала! Во всех подробностях, ушки маленькие… И вы не могли ему сказать…

Он поднял глаза и окинул ее долгим взглядом. Бородач у стойки забавлялся как одержимый, стараясь изничтожить соломинку, что теперь, когда их делают из нейлона, не так-то просто. Он тянул зеленый шартрез… Должно быть, недавно из колоний… эта несуразная ленточка в петлице…

— И вы не могли… не могли… — надрывалась она. — А я, как последняя идиотка, явилась со свитером. Ну почему вы не сказали…

— Я его не узнал, — ответил бармен, засучивая манжеты и поглаживая обильную растительность, прикрывавшую его руки, словно черное кружево.

— Не узнали? Как это может быть, господи боже мой! Что, у вас здесь темно от посетителей, что ли?.. Входит молодой человек, такой, как я вам описала, щекастый, с маленькими смеющимися глазами, и вы его не узнаете? Никогда не поверю! А он, конечно, решил, что я уже ушла! Он меня знает, я мигом вскипаю, и след простыл! Вы молчите?

— Извините, — сказал бармен, — я вам уже ответил, что не узнал вашего Альбера.

— Жильбера!

— Альбер, Жильбер… не узнал я его, и баста!

— Несмотря на маленькие смеющиеся глаза!..

Тут терпенье его лопнуло, и он сказал со злостью, как человек, который ни к кому не обращается в третьем лице и никогда не спрашивает, что угодно будет заказать мадам, и усаживается рядом с женщиной, если ему вздумается, и позволяет себе прочие, известно какие, грубые штуки, — сказал, точно он сам был этим американским автоматом с его оранжевыми, зелеными, фиолетовыми и синими лампочками:

— Да, несмотря на маленькие смеющиеся глаза… потому что, если вам угодно это от меня услышать, комариные лупетки вашего Жильбера отнюдь не смеялись. Как же прикажете его узнать, мадам, если он не помнил себя от ярости и готов был все вокруг сокрушить, ваш щекастик, и было это в две минуты шестого, если желаете знать!

— Брижитт! — крикнул с порога молодой человек.

И тогда бармен, воздев к небу руки, обратился к бородачу — нужно же к кому-то обращаться на этой земле, на худой конец хоть к бельгийцу, вернувшемуся из Конго:

— И ведь надо же — ее еще зовут Брижитт! Нет, этот мир поистине невероятен!

Жану Фревилю, сыну обеспеченных родителей, получившему всестороннее образование, открывалась дорога к административным постам в министерствах Третьей Республики. Но идейные убеждения привели его в ряды коммунистической партии (1927). Партийную работу Фревиль считал главным делом своей жизни: он был обозревателем «Юманите», заместителем генерального секретаря Ассоциации революционных писателей и художников Франции, членом руководящего Совета научного Института имени Мориса Тореза.

Полемизируя с фальсификаторами исторических истин, Жан Фревиль пишет историю французского рабочего движения и возникновения ФКП («Ночь кончается в Туре», 1951; «Рожденная в огне», 1960), социологический этюд «Нищета и количество. Мальтузианское пугало» (1956), очерки-портреты Мориса Тореза, Анри Барбюса (в соавторстве с Жаком Дюкло), Инессы Арманд, богато документированное исследование «Ленин в Париже» (1968), полемическую книгу «Золя — сеятель бурь» (1952). Фревилем подготовлены, два французских издания антологии «Маркс и Энгельс об искусстве» (1936, 1954), сборник статей Маркса, Энгельса, Ленина по проблемам семьи и брака, прокомментированы основные литературно-критические эссе Поля Лафарга.

Фревиль не любил называть себя писателем, но его новеллы, составившие сборник «Коллаборационисты», единодушно причислены французской критикой к классике литературы Сопротивления.

Романы Фревиля посвящены проблемам социального неравенства и классовой борьбы («Тяжелый хлеб», — литературная премия «Ренессанс», 1937; «Сильный ветер», 1950; «Голодный порт», «Без гроша», 1969). Автор их стремился увидеть жизнь в ее реальной противоречивости, преодолеть прямолинейность художественных решений. «Схематичное произведение, — писал Жан Фревиль, — ничего не объясняет, эмоционально не волнует, даже если оно политически правильно».

Jean Freville: «Les Collabos» («Коллаборационисты»), 1946.

Новелла «Прыжок в ночь» («Descente dans la nuit») входит в указанный сборник.

Прыжок в ночь

Во время ночной бомбежки осколками повредило баки. С тех пор прошло уже более часа: самолет обречен был на гибель, и все четверо это знали. Им оставалось только прыгнуть за борт или вместе с самолетом рухнуть на вражескую территорию. И — какая издевка! — эта вражеская территория была их земля, их Франция, ради которой они каждодневно рисковали жизнью.

Если их схватят, немцы сочтут их не военнопленными, но изменниками, военными преступниками.

Покорные судьбе, они вглядывались в показатель уровня горючего и альтиметр. На первом — стрелка приближалась к нулю, на втором значилось 4500.

Старший пилот, Роже Дюге, обернулся к товарищам.

— Конец! — крикнул он. — Мы в окрестностях Нима. Прыгайте!

Второй пилот заорал ему в ухо:

— А ты?

Заглушаемый грохотом моторов, донесся ответ:

— …буду рулить… по возможности протяну… спикирую в чащу… пусть не сразу обнаружат обломки… Прыгайте!..

Трое потонули во мраке. Самолет накренился, качнулся, выровнялся, снова накренился. Ледяной ветер хлестнул Дюге в лицо… Левый мотор заглох, правый — захлебывался…

Пилот мысленно был с товарищами, теперь барахтавшимися в воздухе где-то далеко позади… Если б только им удалось выпутаться из этой передряги! Так распался их дружный экипаж, тесно спаянный самоотверженной борьбой, единством убеждений, горячей преданностью общему идеалу. Умерло нечто прекрасное и неповторимое…

Он выключил газ. Грохот моторов утих, теперь он мог отстегнуть ремешок шлема. Внимание пилота было приковано к приборам и карте… Хотя бомбардировщик и освободился от груза бомб, горючего и даже от людей, летел он с трудом. Лишь какой-нибудь случайный воздушный поток мог отсрочить падение. Авось ему повезет! Дюге взял курс на запад, откуда дул ветер, — самолет нырнул и выровнялся лишь на высоте 3000 метров. На какие-то мгновения стрелка замерла, потом медленно отклонилась влево, к нулю… Ничего не поделаешь — он продолжал снижаться. Дюге нахмурил брови, мысль работала напряженно, он выполнял одну за другой все необходимые манипуляции, стараясь предельно уменьшить скорость снижения: нет, ни за что не продержаться ему в воздухе до тех пор, когда в рассветных сумерках покажется наконец лес, куда он сможет бросить свою машину.

Теперь самолет то нырял, то рывком взвивался кверху, то скользил на крыле, то всей тяжестью проваливался в воздушные ямы над лощинами. Он словно повторял холмистые очертания земли и несся к ней с такой же неотвратимостью, с какой терпящие бедствие корабли несутся на утесы. Дюге уже мог различить внизу какие-то темные и светлые пятна. Смутно белела узкая полоска, вот что-то сверкнуло… Дорога, ферма…

Альтиметр показывал не больше 1800, а на карте гористой местности, над которой он сейчас находился, значились вершины от 700 до 1500 метров. Его снова поглотила воздушная яма. Самолет нырнул. Невозмутимо, словно на большой высоте, Дюге выровнял курс… И сейчас же стрелка метнулась к 1400… Конец… Еще несколько секунд — и он врежется в утес. Последует краткое сообщение: «Один из наших бомбардировщиков не вернулся на свою базу…»

Скалистая стена, о которую самолет неминуемо разобьется вдребезги, стремительно неслась на него… Дюге рванул рычаг управления и бросился к спасительному люку… Самолет вздыбился, чуть не задев вершину, и, словно истратив в этом порыве последние силы, качнулся в воздухе и скользнул на крыло, теряя скорость…

Головой вперед, Дюге канул во тьму и дернул кольцо парашюта. Тараща глаза, раскинув руки, барахтался он во мраке, готовый ухватиться за любой выступ. Корявые ветви хлестали его по ногам, стегали по ляжкам, в кровь раздирали лицо. Ловя руками воздух, пытаясь найти опору для ног, он очутился верхом на каком-то Суку. Сокрушительный рывок опрокинул его: парашют, подхваченный порывом ветра, поволок его за собой. Он рухнул в пустоту, сильно ушибся, потерял сознание.

Когда он пришел в себя, рассветное небо бледнело. Он лежал, запрокинув голову, на спине, среди груды врезавшихся в тело камней, а над ним вздымалась отвесная скала. На вершине этого гладкого, как стена, утеса Дюге заметил трепетавшие на ветру, одетые листвой, дубовые ветви.

Острый булыжник впивался ему в затылок, терзал поясницу. Дюге попытался привстать, но только он шевельнул рукой, как тут же скатился по крутому склону на каменную осыпь. Он полетел кувырком, то перекатываясь со спины на живот, то опрокидываясь вниз головой, и тщетно пытался уцепиться за траву, за выступы горной породы. Но вот он натолкнулся на какое-то деревце, и ему удалось сесть. Он ощупал себя: благодаря кожаному шлему, голова почти не пострадала, хотя кровь текла ручьем. Дюге сильно ушиб плечо и спину, но руки были целы и невредимы. И на этот раз его встреча с землей завершилась для него благополучно. Так ли благополучно завершится и встреча с людьми? Едва наступит день, кто-нибудь заметит обломки самолета и поднимет тревогу. Начнется облава, его поймают, предадут военному суду…

Легкие облачка на востоке из темно-лиловых стали ярко-красными. Еще невидимое солнце золотило вершины, чеканило рельефы, придавая скалам причудливые очертания. Гребни гор по обе стороны лощины, рисовали фантастический пейзаж. Высеченная в камне неким изумительным скульптором, возвышалась вереница крепостных замков; их отвесные стены взмывали куда-то к облакам, в головокружительную высь. А дальше то в воинственных, то в задумчивых позах застыли какие-то каменные великаны, уродливые гномы в странных колпаках, нахлобученных по самые уши или небрежно сидящих на макушке, бородатые епископы в митрах и сутанах до пят, величавые воины, могучей дланью грозящие звездам. То была чудовищная схватка циклопов, мановением волшебного жезла превращенных в камень. От этой апокалиптической битвы не осталось ничего, кроме навеки застывших подле своих разрушенных крепостей недвижных исполинов, этих пленников гор, и огромных, величиною с дом, валунов, валявшихся тут и там на крутых склонах, — гигантских камней, которые они швыряли некогда друг в друга, легко перебрасывая их через ущелье.

Солнце встало. Бескрайняя осыпь простиралась вокруг летчика. Среди скал и обломков горных сланцев, рядом с тернистым можжевельником, цеплялись за бесплодную почву корявые, низкорослые дубки, своими ветвистыми корневищами сдерживая камнепады. На противоположном, еще не освещенном склоне Дюге заметил вскарабкавшуюся до половины хребта каштановую рощицу, повыше — беспорядочно громоздились чахлые деревца, вперемешку с колючим кустарником, и снова — скалистые осыпи и розовые пятна вереска.

Мрачные, дикие места. Однако внизу, в глубине лощины, там, где неслась горная река, примерно в полукилометре, пилот угадывал, судя по голубым дымкам, затерявшуюся среди зарослей деревеньку. На противоположном склоне виднелись две брошенные фермы с заколоченными ставнями. Серые, как эти горные валуны, дома были от них почти неотличимы. Чтобы спрятаться там, нужно было спуститься вниз и выйти на дорогу, рискуя натолкнуться на какого-нибудь крестьянина.

Как быть? Идти вверх или вниз? Дюге казалось, что одинокие труженики, живущие среди своих овец, лицом к лицу с природой, менее опасны. К тому же на безлюдных плоскогорьях ему не угрожает, как в деревне, случайный донос сварливого соседа. Дюге решил идти вверх. Запрятав парашют в расщелине скалы, он стал карабкаться по отвесному склону, цепляясь за скальные выступы и пучки травы. По земляному желобу, зажатому между каменных глыб, он, запыхавшись, добрался наконец до вершины утеса, откуда просматривалась лощина. На дне ее петляла ниточка стремнины, кое-где Перерезанная белой бороздкой порогов. Дюге сделал несколько шагов, взобрался на пригорок, поросший тощей травой и разбросанными то тут, то там тщедушными, высохшими деревцами. Вокруг, куда ни глянь, тянулись такие же каменистые возвышенности, угрюмые, голые холмы — ни деревца, ни тропинки, ни хижины, — унылый, усеянный скалистыми глыбами пейзаж лунной пустыни, где, казалось, никогда не ступала нога человека.

Над плоскогорьем носился холодный ветер. Но Дюге, карабкаясь вверх и вниз по холмам, обливался потом. Он стащил с себя меховой комбинезон и шлем и остался в мундире цвета хаки с блестевшими на отворотах золотыми нашивками. Счастливая звезда привела его в один из тех немногих уголков, которыми, ввиду их безмерного убожества, пренебрег захватчик. Здесь, на этих вершинах, нечего опасаться ареста. Тогда как враг захватил города и села; тогда как из концлагерей и каторжных тюрем неслись стоны, вопли и предсмертные хрипы и тысячи обреченных покидали камеры пыток только затем, чтобы очутиться под пулями карательного отряда или под ножом гильотины; тогда как вся Франция — от края и до края — стала огромной бойней, огромным рынком рабов; когда прислужники палача затевали зловещие облавы, — здесь, между небом и землей, он по-прежнему оставался свободным… В любом другом месте этой гигантской каторжной тюрьмы на него накинулись бы жандармы — немецкие или французские, — и он гнил бы уже в каком-нибудь каменном мешке, избитый, замученный, может быть, до смерти. Но здесь, на плато, нависшем над преисподней, он бодро шагал в своем военном мундире, и неприступность этой пустыни, овеваемой извечно неуловимым, вольным ветром, спасала его от бошей.

Много часов подряд блуждал он по этим иссохшим холмам, не находя на твердой, как хорошо утоптанная дорога, земле никаких следов — ни тележного колеса, ни человеческой ноги. Наконец, взобравшись на пригорок, он различил внизу, в ущелье, какие-то серые строения, стоявшие среди вспаханного поля. Казалось, то был оазис, окольцованный невозделанными бесплодными землями

холмистой гряды.

Постучаться в двери этой фермы? А может быть, лучше подождать где-нибудь неподалеку, не появится ли одинокая человеческая фигура?

Так он размышлял, когда внезапно до его слуха донесся перезвон бубенчиков. На едва заметную кочковатую дорогу, пролегавшую чуть пониже, из ложбины, подпрыгивая на ухабах, выехала двухколесная телега, запряженная с трудом семенившей лошадью.

Дюге бросился к упряжке и преградил ей путь. Удивленный возница, натянув вожжи, зажав кнутовище в руке, внимательно его разглядывал.

— Не бойтесь! — крикнул ему Дюге.

Крестьянин спрыгнул на землю.

В горле у пилота пересохло. Сомнения одолевали его. Не решаясь заговорить, он взглядом изучал возницу. То был хоть и сгорбленный, однако довольно рослый крепыш лет пятидесяти, с большими, навыкате, пронырливыми глазами, не лишенными лукавства, но все же добродушными. Кирпично-смуглую кожу избороздили морщины. Он был курнос, и над треугольником коротко подстриженных усов зияли широкие ноздри; приоткрытый рот обнажал длинные желтые зубы. На крестьянине была плоская шляпа, развевающаяся на ветру черная блуза и темные штаны. Словно приготовясь к обороне, одной рукой он держался за оглоблю, а в другой зажал кнутовище и ждал объяснений, уже догадываясь, в чем дело.

Дюге наконец собрался с духом:

— Я, как видишь, нечаянно с неба свалился… Летчик… Француз… Теперь наша база в Англии… Если схватят меня полицаи или немцы, мне несдобровать… Не миновать виселицы…

Крестьянин почесал затылок.

— Ишь ты! Стану я совать нос не в свое дело!.. Тогда, пожалуй, и мне виселицы не миновать… Сыщите кого другого…

— Зачем же? Раз уже мне повстречался ты…

Крестьянин недовольно проворчал:

— Не один же я тут, на плоскогорье…

— Да, но встретил-то я тебя…

— А повстречали бы полицаев?..

— Я бы не показался им на глаза.

— Знаете ли, молодой человек, не так давно боши приходили к нам на фермы — они и грозились, и награду сулили, если кто парашютистов выдаст…

Дюге взорвался:

— Ну, и выдавай меня! Денежки-то лучше, чем виселица!..

— Не нужны мне ихние деньги! — заорал крестьянин. — Ну-ка, проваливай! Я тебя видеть не видывал… Уж будь спокоен, я-то тебя не выдам. Не полицай какой-нибудь! Но хлебнул я горя еще в ту войну, и жена у меня… и землица… добро всякое… мне моя шкура дорога!

Дюге не отступался:

— А я вот на этой войне воюю! И у меня жена, дети. Мог бы и я жить да поживать потихоньку. Но подумал, что родина-то дороже моей шкуры…

Собеседник сник.

— Знаю, знаю. Есть еще у нас храбрые парни. Да пойми ты… Хочешь так вот, сразу… Мне ведь грозит…

— Не больше, чем мне!

— Ну, ты — дело другое…

Крестьянин задумался. Спросил:

— Так что же тебе от меня надобно?

— Спрячь меня… Помоги бежать в Испанию…

— Спрятать? Легкое ли дело? У меня батраки — народ болтливый, да на ферму полно людей шатается: за продуктами приходят… А что до Испании — это и вовсе не в моих силах…

— Что ж, выдай меня полицаям!

Старик шумно вздохнул, поддал ногою камень.

— Да ну тебя с твоими полицаями! Погоди!..

Он поковырял землю кнутовищем. Потом сдвинул шляпу на затылок, сунул руки за спину, сделал несколько шагов, остановился и, насупившись, исподлобья, недоверчиво оглядел летчика.

— Не так-то все просто… Вот уж не ко времени, — бурчал о н. — Боязно, черт побери! Они с этим не шутят… Что ни день — в газетах читаешь, сколько народу расстреляно, а все за то, что помогали таким вот парням, как ты…

Он снова зашагал взад-вперед, бормоча:

— Хватает у нас и без того мороки… С чего это себе еще придумывать… Что ни день — кирпич на голову… Тут тебе и поставки, и твердые цены, и реквизиция, и налоги, и регистрация, и полицаи… Соберешься на базар, или там свинью заколоть, или хлеб испечь — заполняй бумажки… Скоро и вовсе дохнуть не дадут!..

Дюге ждал, глядя в пространство.

Крестьянин подошел к нему вплотную.

— По правде говоря, спрятать тебя не так уж мудрено… В двух шагах, на обочине дороги — овчарня порожняя. Ключ — над дверью, под камешком. Никто туда не придет, тебя там не сыщет…

Предложение было довольно туманное.

— Надеюсь, ты не дашь мне подохнуть с голода?

Собеседник промолчал, и Дюге добавил:

— Жду тебя, да поскорей.

— Поглядим еще, как оно все обернется, — ответил наконец крестьянин. — Не видел ли тебя кто… не гонятся ли за тобой полицаи… вроде опасно…

Он уже садился в телегу. Кнутом показал в сторону.

— Отсюдова метров двести будет, за косогором. Увидишь, — справа овчарня… Там солома постлана… Будешь курить — огонь не кидай, страховка нынче не положена!

Он подобрал поводья. Дюге застыл в нерешимости, вопрошая его взглядом.

— Ежели все будет ладно, — добавил крестьянин тверже, — наведаюсь. Попозднее… к ночи… Спешить тебе некуда… Желаю удачи!

Он нагнулся и стегнул коня. Дюге перекинул через плечо соскользнувший комбинезон, нацепил на руку, подобно корзине, свой шлем и пустился в путь… Он без труда разыскал овчарню, заперся изнутри и спустя несколько минут храпел вовсю, зарывшись в солому.

Когда Дюге наконец проснулся, ему показалось, что спал он долго. Через дверную щель он глянул наружу. Тени стали длиннее, солнце садилось. Перед его взором простиралась все та же дикая пустыня, те же холмы, усеянные замшелыми скалами, белыми кругляками булыжника, обломками сланца, клочьями тощей травы. Он оказался на дне лощины, обрамленной холмами. В небе — ни птицы, ни облачка. Только нерушимая тишина, пронизываемая стремительными порывами свежего ветра, только сухая, растрескавшаяся земля, унылая и бесплодная.

— Ну и дыра! — пробормотал Дюге. — Надеюсь, не придется здесь обрастать мохом.

Он в ярости топнул ногой. Его товарищи, изо дня в день рискуя жизнью, летают в небе, а он пришит к земле, словно какой-нибудь штафирка. Подобно тому как раненые с госпитальной койки рвутся к своему орудию, так и он лихорадочно жаждал боя.

Его участь зависела от крестьянина, указавшего ему на это пристанище. Пристанище временное,

возможно — опасное. Крестьяне — люди замкнутые, скрытные, непостижимые. А что уж говорить о крестьянах с этих засушливых плоскогорий! Правда, он их не знал, но они представлялись ему еще более загадочными, более себе на уме, чем обычный крестьянин. На них лежала печать молчания и тайны. И уж, наверняка они цепко держатся за свою выгоду, подобно этим растениям, что искривленными корнями впиваются в бесплодную почву плоскогорья… Надо быть начеку… А вдруг этот старик бросит его на произвол судьбы. Или, того хуже, вернется с полицаями.

Ну, нет, он им не дастся! Не попадется он к ним в западню, не желает он пропадать в тюрьме безвестно, нелепо, никчемно. Только бы ему раздобыть штатское платье, он скроется в Пиренеях. Убегали же другие из лагерей, не зная языка, проделывали сотни километров по вражеской земле. Он будет шагать ночами, обходя стороной дороги, мосты, города и деревни, отсыпаться будет днем где-нибудь в овраге или в лесу, пищу найдет в огороде, краюшку хлеба выклянчит на какой-нибудь ферме и, конечно же, ускользнет от полицаев…

Дюге вышел из овчарни. Наступила ночь, — безлунная, звездная ночь. Нещадные порывы ветра леденили его, проникая сквозь комбинезон. Куда идти в этом мраке, без карты, с пустым желудком? В Испанию? Бредовая мысль…

Нащупав в скале углубление, Дюге сел. Нескончаемо тянулось время. Внезапно какой-то шорох привлек внимание пилота. Он заметил свет.

— Эй, летчик!.. Дружище!.. Где ты?

Дюге отчетливо увидел светящийся прямоугольник открытой двери. В проеме вырисовывался чей-то силуэт. Не ловушка ли это? А вдруг хозяин пришел не один?

Дюге собрался с духом.

— Я здесь… Иду!

— Чего ты там торчишь, снаружи? Сейчас не время охотиться на сусликов.

У крестьянина в руках был узелок, на плече — большой кожаный ягдташ.

— Ждать невмоготу, — сказал Дюге. — Я и вышел навстречу.

Крестьянин присел на кормушку, оставив фонарь на полу.

— Я принес тут чего пожевать, — сказал он. — Мы вот что сделаем: ты напялишь это тряпье, — оно хоть и ветхое, да чистое, — а мундир офицерский сожжешь. Завтра, поутру, придешь ко мне на ферму, спросишь, не найдется ли какой работенки. Я прикинусь несговорчивым, а ты покажешь мне свои бумаги, и я тебя найму. Перед домашними я буду чист как стеклышко. Нынче каждого остерегайся. Только ты да я и будем знать, что к чему.

Да смотри не оплошай: ежели будет промашка, расплачиваться-то придется мне.

Крестьянин вытащил хлеб, колбасу, кусок пирога, большой ломоть сыра с зелеными прожилками.

— Повезло тебе, парень, что попал на мой участок. В деревне — там опаснее… Эти кумушки — они бы тебя быстро раскусили…

Он поставил в кормушку литровую бутыль.

— Немного спотыкача тебе для храбрости.

Дюге удивило, что крестьянин употребил это название, и он спросил, не жил ли тот в городе.

Крестьянин рассказал, что пятнадцать лет провел в Ниме, там и женился. Держал гараж и грузовик, и жил он в свое удовольствие, дел хватало. Но случилась авария, страховое общество отказалось возместить ущерб, и «предприятие» Саразета лопнуло. А тут умер отец, надо было получать наследство, вот и пришлось вернуться в эти пустынные места.

— Жить здесь — радости мало. Чтобы держаться за эти мергеля, надобно не только тут родиться, надобно никогда отсюда не уезжать. Я одного хочу: покончить с фермой, продать мою Фужоль, — земля нынче в цене, — да и вернуться в город.

Поболтав еще немного, фермер ушел и сразу же потонул во мраке ночи, а Дюге закурил последнюю сигарету.

Саразет шагал взад-вперед по длинной комнате с низким потолком, а сын злобно, с пристрастием

допрашивал его, осыпая попреками на местном диалекте, ибо здешние крестьяне никогда не разговаривают между собой по-французски.

— Значит, продаешь… Само собой — продаешь… Отец не отвечал. Жена, сын, невестка сидели с края за огромным столом и глядели на него выжидательно.

— Да отвечай же… Мы вправе знать. Небось не чужие…

Саразет вышел из себя:

— Ну, да! Продаю. Имею я право, надо полагать… Пока еще я здесь хозяин… Как пожелаю, так своим добром и распоряжусь… И нечего вам свой нос совать!.. Не ваше это дело!..

Невестка вскипела:

— Как это — не наше дело? Кто же тут, по-вашему, жилы из себя тянул? Вы, что ли? Или же ваш сын, да жена, да я? Вы-то всегда незнамо где бродите…

Саразет побагровел от гнева и, наступая на сноху, стукнул кулаком по столу.

— Ну, ты, помалкивай. Я тебя в дом принял, потому как ни одна девушка, будь она хоть с низины, хоть невесть откуда, на наших мергелях жить не согласна. И не зря… Но у тебя-то ничего за душой, ничего… Что ты в дом принесла? Ты как после замужества пришла, все приданое в узелке у тебя и уместилось… Жилы из себя тянешь, говоришь. Да любая служанка не хуже тебя тут справится!

Сноха яростно расхохоталась:

— Служанка! Так ведь ей платить надо!

— Платить! — рявкнул Саразет. — Зато она блажить не станет, а будет помалкивать.

Он снова зашагал взад-вперед по комнате, потом уже спокойнее стал вразумлять их:

— Вы чего упрямитесь? Чего цепляетесь за это гиблое место? Надобно пользоваться случаем… Земля нынче в цене… и продать нетрудно… Уж верьте мне, в городе жизнь совсем другая… Чтобы шесть месяцев в году тебя ветром обжигало да шесть — засыпало снегом, такое вам по душе? Мне — так нет! Видел я и гараж, что мне предлагают. Превосходное дельце!.. После войны, только появятся машины да бензин, да сызнова движение начнется, ведь это будет золотая жила!

Наморщив лоб, угрюмо набычившись, сын процедил сквозь зубы:

— Ты уже с одним гаражом прогорел, а теперь хочешь все сызнова начинать… Да ты всех нас по миру пустишь. Здесь-то мы — что имеем, сами разумеем… Сами себе хозяева… А в городе разве угадаешь? Чуть не повезло — и ты нищий. Изволь на других батрачить…

Сноха черным ногтем скребла стол. Она ткнула мужа в бок, придавила ему ногу коленкой. Сын продолжал с ожесточением:

— К тому же я в своем праве, как и ты… Я уже не мальчишка, которого тумаками вразумляют. Тебе ежели тут, на здешних мергелях, жить в тягость, и без тебя обойдемся!.. Да много ли тут твоего труда!..

Саразет, метавшийся, словно медведь в клетке, остановился ошарашенный. Побагровев, он схватил сына за плечо и стал трясти:

— Вот это так! — заорал он. — Гони меня!.. Какая от меня польза!.. В самую пору надевать суму да и отправляться по миру. Это мне-то, богатейшему хозяину здешних мест! Ну, да я ведь бездельничаю… Ладно! Увидим, чья возьмет… И нынче же… Разом и отвечу тому человеку. Дело решенное… Пусть готовит две бумаги: на продажу фермы и на покупку гаража… А по миру пойдешь ты со своей женушкой! Ей-то не внове: не подвернись ей такой дурень, как ты, так бы и батрачила где-нибудь на ферме. Так город, значит, вам не по душе? Еще бы! Вы ведь хуже всякого дикаря…

Саразет вышел, хлопнув дверью.

Сын поглядел на жену, на мать. Та пожала плечами:

— Его не собьешь. А ведь он, пожалуй что, и прав. Я-то городская, ни в какую к этой дыре не привыкну… Здесь воды умыться — и то нету…

Сын, обескураженный, встал и, сказав: «Пошли кормить скотину», — тоже вышел, а следом за ним — жена.

За полдником они молчали: батраки и старый пастух сидели тут же, за столом. Каждый погружен был в свои мысли. Сноха то и дело бросала на тестя злобные взгляды.

Снаружи яростно залаяли псы. Саразет поглядел в окно:

— Этого еще только не хватало!..

Дюге был неузнаваем: выцветшие бархатные штаны, украшенные множеством заплат самых разнообразных размеров и очертаний, болтались у него на ногах; истрепанный свитер, грубо заштопанный пестрой шерстью, и поношенная охотничья куртка плотно облегали его тело. На плечи наброшена была солдатская шинель, некогда голубовато-серого цвета, с прикрепленными проволокой пуговицами. Бесформенная и выгоревшая фуражка, сдвинутая на одно ухо, закрывала глаз. Саразет усмехнулся: в этих лохмотьях летчик выглядел не лучше любого завсегдатая ночлежки.

— Привет честной компании! — хриплым голосом произнес бродяга, стоя раскорякой посреди комнаты и опираясь на дубинку, выломанную по пути из какого-то плетня.

Саразет поднял голову, сын — тоже. Два молодых, безбородых батрака, с дубленой кожей, прокаленной ветрами плоскогорья, тоже подняли глаза. Не упуская ни одной ложки супа, с полным ртом, все хором, на разные голоса, ответили: «Привет».

Саразет тщательно выскреб тарелку, опорожнил стакан, вытер ладонью усы и взглянул на пришельца.

— Что, приятель, прогуливаемся?

— Ну, да, — ответил тот, переминаясь с ноги на ногу. — Шел мимо, думаю — зайду… Хочу хозяину словечко молвить. — И добавил доверительно: — С глазу на глаз.

Саразет не спешил. Наконец он встал:

— Тебе чего? — спросил он громко.

Дюге извлек какие-то старые бумаги и протянул фермеру. Тот внимательно разглядел их. Затем, на местном наречии, обратился к сыну:

— Парень работу ищет… На вид здоровый — что надо!

— Шалопай какой-нибудь, скрывается небось… — высокомерно ответил сын. — Делай как знаешь… Только берегись полицаев и бошей… Чтобы он не накликал на нас какой беды!

Дюге слушал с безучастным видом, не понимая ни слова в этой помеси провансальского с овернским.

— Ладно, — сказал наконец Саразет, возвращая ему бумаги. — Работа для тебя найдется, этого хватает… Садись, поешь с нами…

Невестка, Наоми, разглядывала пришельца. Она молча швырнула — не поставила! — на стол потрескавшуюся и щербатую фаянсовую тарелку, наполнила ее до краев густой, дымящейся похлебкой, подтолкнула к гостю стакан, краюху хлеба и вернулась на свое место, рядом со свекровью, — под навес огромной печи, где теплился огонь.

Сын защелкнул свой нож. Он был сыт, значит, и работники должны были быть сыты. Беззубый старик пастух сунул свою горбушку в карман.

Сын, по-прежнему на местном наречии, распорядился по хозяйству, потом повернулся к отцу:

— Пускай парень семенной картофель подготовит. Навряд ли он много его сажал, ты его научи.

Вместе с женой он сошел во двор, вывел волов, надел на них ярмо, затянул ремни.

— Эй, Мотылек!.. Эй, Баран!..

Он ткнул штырем одного, потом другого вола. Упряжка, а за нею мужчина и женщина грузным, неуклюжим шагом двинулись за ворота, пошли вдоль вспаханных полей, огороженных плетнем и тощими тополями, выбрались на дорогу, змеившуюся среди каменистых холмов, и остановились у свежевспаханного участка.

Жена хлопала волов по голове рукоятью штыря, те пятились, а муж крепил в это время цепь и приторачивал плуг к ярму. Закончив, он крикнул:

— Эй, Мотылек!.. Эй, Баран!..

Волы двинулись с места. Женщина брела за ними, шагая почти бок о бок с мужем. Понурив голову, она грузно передвигала ноги в грубых, разношенных башмаках. Бездумные, как у ее волов, глаза ничего не выражали. Внезапно она спросила:

— Послушай, Самюэль… Ты куртку, что на этом проходимце, заприметил?

Муж покачал головой.

— Сдается мне, я уже видала ее на твоем отце.

Вцепившись в рукояти плуга и поневоле тащась за ним, муж проворчал что-то невнятное.

— Да, эта самая куртка, уж я-то знаю!..

Они дошли до края пашни.

— Ты свихнулась… Вертай скотину… Ну же!..

Несколько борозд они прошагали за плугом молча.

Потом дали упряжке передохнуть.

— Что с нами-то станется, ежели твой отец ферму продаст? — спросила женщина.

— Да нет… не продаст он… Только пугает…

— Однако же то письмо, про гараж, ведь показывал он…

— Это чтобы позлить нас…

Женщина в сердцах стукнула по дышлу.

— Вот уж нет! Увидишь… Оставит он нас без крова, придется в люди идти, батрачить.

Смуглое лицо Самюэля побледнело: всеми корнями врос он в эту землю, вырвать их было для него равносильно смерти, и он вскипел. Он потряс кулаком, огромным узловатым и грязным кулачищем с извилистым переплетением мускулов и вен.

— Да я скорее убью его… Да, убью… Задушу насмерть… Словно курчонка…

Жена поджала губы, в глазах у нее мелькнул злобный огонек.

Подзуживая Самюэля, она сказала:

— Болтай больше… Пойдешь на попятный перед стариком… Лучше всадить ему пулю в спину… Оно вернее…

— Отвяжись ты от меня… Поворачивай!

И они продолжали пахать, медленно, монотонно, под палящим солнцем и знойным ветром, которые испепеляли землю, людей и скотину.

Жена вернулась к прежней мысли:

— Так ты куртку не признал?

— Нет.

— Да ведь у тебя такая же была, в точности.

— У всех такие! Ткни Мотылька… Не тянет он…

Женщина размышляла: морща лоб, шевеля губами, она разговаривала сама с собой. Этот парень объявился на ферме внезапно, а на плечах у него куртка тестя… А тот, всегда такой недоверчивый, разом его нанимает… Даже своих условий не ставит…

— Послушать, как псы лаяли, так пришел он с Бордов…

Самюэль расхохотался:

— С Бордов? Почему не с неба? Да нет, уж само собой — он с Мазелей пришел, с дороги.

Наоми не отступалась:

— А может, он заночевал в овчарне, что в Бордах?

Разговор утомлял Самюэля, привыкшего трудиться по целым дням не раскрывая рта. Вздорная болтовня жены была ему в тягость.

— Гляди за упряжкой… Волы развесили уши и ни с места… Чем зря болтать, ткни их, как следует…

Они пахали молча до самого вечера. Потом выпрягли волов.

— Иди вперед, — сказала Наоми. — Я тебя догоню…

Не возражая, он пошел, гоня волов перед собой.

Во дворе фермы он заметил нового работника. Тот сидел в глубине сарая и резал картофель. Самюэль окликнул его:

— Эй, парень!.. Поди-ка на минутку. Помоги распрягать.

По неловким повадкам работника Самюэль сразу угадал в нем новичка.

— Впервой на деревне работаешь? Городской небось? Оно и видно!

— Да. Там с голоду подохнешь… Вот и крутишься.

Самюэль искоса взглянул на него.

— Крутишься… Не туда попал… Здесь вкалывать надо… Да откуда же ты? Болтаешь ты — хоть куда! И все только по-французски.

— Я с севера… Неподалеку от Парижа.

— Аа!.. Кто же тебе на Фужоль указал?

— Никто. Я бывал когда-то в этих краях.

— Аа!..

Самюэлю становилось это все подозрительней. Парижанин у них на плоскогорье!.. До войны мимо фермы за год и десяти чужаков не проходило.

Он украдкой взглянул на куртку. Куртка — как все охотничьи куртки — со множеством карманов и штампованными металлическими пуговицами, украшенными атрибутами охоты.

— Подымись-ка ты на сеновал да набросай сена. Деревня — она труд уважает, это тебе не игрушки. Хочешь оставаться, так заработай, по крайности, свою похлебку… Задаром ни человека, ни скотину не кормят.

Дюге не проронил ни слова. Он вскарабкался на лестницу и выполнил приказание. Он заметил, что за ужином снохи не было. Не обращая внимания на чужака, Саразет с сыном и батраки переговаривались на местном жаргоне. Покончив с ужином, старый пастух отвел Дюге в конюшню, где была его постель: четыре доски в углу, прибитые к брусьям, поверх соломы на них брошены были грязные, потрепанные и дырявые одеяла.

Саразет сидел еще за столом в обществе молодых батраков, когда вошла Наоми. В руках у нее был большой сверток и фонарь.

— А ну, гляньте-ка, — сказала она, заходя в комнату свекра и свекрови.

Удивленный Саразет пошел за нею. Наоми прикрыла за ним дверь.

— Вот что я в Бордах нашла, — пробурчала она.

Кинув сверток на пол, она подозрительно взглянула на свекра.

— С чего бы это нашему фонарю там очутиться?

Саразет бросил на нее простодушный взгляд и хмуро проворчал:

— Должно, я позабыл его там.

— Вот чудеса-то! Только вчера зажигала его. Тут дело нечисто.

Она сверлила тестя мрачным, ненавидящим взглядом.

— А это? — И она рывком раскрыла сверток.

Саразет так и застыл, разинув рот. Он боязливо дотронулся до комбинезона и мундира летчика.

— Кто же мог сунуть это в нашу овчарню? Да за такое дело — расстрел! Шмотки-то воинские!

Наоми смекнула, что свекор попался. Торжествуя, она злобно расхохоталась, словно мегера.

— А вы почем знаете, что они в овчарне были?

— Ты же сказала, что пришла с Бордов… с овчарни… где же им еще быть?.. — пробормотал Саразет.

Наоми фыркнула ему в лицо.

— Не думайте, что я дурее, чем есть… Да к тому еще ваша старая куртка… Я-то сразу ее распознала, как на этом верзиле увидела… Вы небось всю его подноготную знаете, не то, что мы…

Саразет в бешенстве вытолкнул ее за дверь.

— Ты чего суешь нос не в свое дело, дрянь ты этакая? Шпионишь?.. Убирайся отсюда вон! Да придержи язык, пока его тебе не укоротили! Подлая тварь!

Он схватил принесенную одежду и швырнул ее в угол. Потом вышел, чтобы подвесить фонарь в передней комнате.

Сноха что-то шептала свекрови на ухо.

— Опять шушукаетесь? — прикрикнул на них Саразет. — Ладно, недолго уж вам тешиться! А не то — всех выставил бы за дверь… И выставлю, даже скорее, чем думаете… Продам! И жалеть не стану…

Он возвратился в свою комнату и, остолбенело взглянув на мундир, отшатнулся как от ящика с динамитом. Надо бы сжечь все это, и поскорее… Саразет развернул комбинезон, погладил шелковистый мех, пощупал тонкое, бархатистое сукно мундира.

— Жаль, что ни говори, такую ладную одежонку губить… Ведь нынче и штанов-то порядочных ни в какую не сыщешь… А в этой одежке небось и зимой — хоть северный ветер, хоть стужа — все нипочем…

Присущая земельному собственнику бережливость, даже скаредность восставала в нем, бунтуя против такого святотатства… Завтра будет видно!

Вошла жена, Саразет снова перевязал сверток и забросил его на шкаф.

— А может, ты бы его куда в другое место запрятал? — спросила она.

— Чтобы кто из батраков его нашел?.. Мало тебе одной Наоми?

Прошло несколько дней. Все садились за стол, когда вдруг залаяли собаки. Дюге выглянул в окно и увидел трех полицаев.

— Полезай-ка на чердак, — шепнул ему Саразет. — Если окликну, убегай через слуховое окно.

Дюге выскользнул, а сноха с понимающим видом расхохоталась.

Спустя четверть часа Саразет пришел за летчиком.

— Бояться нечего… Попросту — обход. Слезай.

Фермер пригласил полицаев к столу. Дюге, грязный, всклоченный, сидел на другом конце, между старым пастухом и двумя батраками, и раскрывал рот только затем, чтобы проглотить пищу. Полицаи усердно набивали брюхо и не обращали ни малейшего внимания на эту невзрачную личность.

— Да вот поговаривают, будто один из этих проклятых самолетов упал где-то в районе Мейрюейса, — сказал бригадир. — Мы пошли в обход. А вдруг вы что-нибудь да знаете.

— Мы-то его и видать не видали, — заверил Саразет. И с простодушным видом спросил: — Это когда же он свалился, самолет-то?

— Э, должно, уже давненько. Парнишка один его обнаружил, да только в наших краях вести не

скоро доходят.

— По правде говоря, свались он тут, в нашей дыре, — сказал, посмеиваясь, Саразет, — так все одно, некогда мне ходить вас извещать: у меня дел и без того хватает. Ну, сказать-то, конечно, сказал бы… Да коня ради такого случая запрягать бы не стал.

— И зря, — степенно отвечал бригадир, — получил бы хорошее вознаграждение.

Самюэль осведомился, какая обещана награда. Полицаи этого не знали: надо, мол, обратиться в комендатуру. И завели разговор о хозяйстве фермера.

— Может, найдется у тебя кусок сала, или там яички, или сыра малость, или картошка, — это было бы очень кстати, — подмигнув Саразету, сказал бригадир.

Саразет, не роняя достоинства, поспешил укрыться под сенью закона.

— А черный рынок? Торговля ведь запрещена? А местное начальство? А полиция?

— Отпетый шутник! — воскликнул бригадир, ткнув Саразета вбок. — Мы не слепые и не глухие. Знаем, что крестьянин торгует… Не бойся, никаких неприятностей у тебя не будет. Попробовали бы мы с семьей жить на карточку, — да мы давным-давно отдали бы концы! Позаботься о нас, в долгу не останемся!

Полицаи ушли: физиономии у них раскраснелись, носы побагровели, губы лоснились от жира, кепи съехали набекрень, а кожаные патронташи заметно вздулись. Прощаясь, они снова шепнули Саразету на ухо:

— Случись у тебя какая неприятность, только дай знать: мигом все уладим.

Вечером Дюге позвал Саразета в сарай.

— Раз уж приходили полицаи, ничего хорошего не жди. Думаю, благоразумней будет смыться.

— Спешить некуда. Не жалую я этих бездельников. Но в случае чего — они меня предупредят…

— Нет уж, — настаивал Дюге, — не к чему здесь больше задерживаться. Проку от меня тут никакого. Как подумаю, что товарищи мои сейчас сражаются, кусок поперек горла становится… Уж не хочешь ли ты, чтобы я торчал тут, на ферме, до конца войны, словно трусливый заяц, забившийся в свою нору?

— Вот уж нет! К тому же ферму я продаю. Но у тебя — ни денег, ни документов…

— Документы? Могло же случиться, что я их потерял. Да их и не спросят у бродяги…

Это не убедило Саразета. Бережно, не спеша, он порылся в бумажнике, вынул из него пачку ассигнаций и сунул их Дюге.

— Держи! Пусть хоть деньги у тебя будут. — Потом махнул рукою: — Твоя правда: долго ждать — все потерять. Раз уж взбрело в голову, отправляйся. Завтра поутру набью хорошенько ягдташ, и ты погонишь скотину в Борды. К вечеру будешь уже далече. Ни пуха ни пера, дружище, пришла твоя пора. Побольше бы таких вот ребят, как ты…

Они горячо пожали друг другу руки.

Раздеваясь у себя в комнате, Саразет взглянул на шкаф, где лежал мундир. «А все-таки, — подумал он, — пожалуй, самое время запрятать его в какое ни на есть другое место…»

Среди лысых холмов, в густом облаке пыли мчались два бронетранспортера. Эти приземистые, продолговатые машины с прорезями бойниц в стальных стенках вели невидимые, укрытые броней водители. В кузове, уронив голову на руки, держащие винтовку, дремали, невзирая на тряску, обвешенные патронами солдаты в касках. Другие стояли, вцепившись в борта, и вглядывались в однообразную картину холмистой гряды.

На одном из поворотов офицер, сидевший рядом с водителем, указал ему на что-то, увиденное сквозь смотровую щель: там, в стороне, под присмотром пастуха, паслись овцы.

Поравнявшись со стадом, офицер крикнул:

— Halt!

Он перешел из кабины в кузов, отстранил солдат и, сложив ладони рупором, крикнул пастуху, чтобы тот подошел.

Пастух, казалось, не понял, к кому обращен этот суровый окрик. Согбенный, в старой солдатской шинели, наброшенной на плечи, он опирался на посох и с глуповатым видом продолжал стоять посреди стада, а его черная овчарка злобно рычала, оскалив клыки.

— По-французски понимаешь? — рявкнул офицер.

Пастух наконец отважился и подошел, волоча ногу.

— Чего надобно?

Немец увидел лишь надвинутый на глаза картуз, жесткую, небритую щетину, грязные до черноты ладони, ворох выгоревших заплатанных лохмотьев.

— Это дорога на Фужоль? — спросил офицер.

— Ну как же… прямиком туда…

— А здесь… как место называется?

— Мазели.

Офицер развернул карту, а пастух тем временем давал туманные пояснения:

— Ну, да… тут — это того… Мазели… А ферма — это там, сзади…

Он показал на холм.

— Тут… эта не Фужоль… тут — Мазели.

Офицер пожал плечами.

— Ну и тупые же скоты эти французские крестьяне! Я спрашиваю тебя, где Фужоль… Далеко отсюда? Тут и дороги-то не видно…

Словоохотливый пастух кричал во все горло и, сопровождая свои пояснения странными ужимками, словно затем, чтобы лучше быть понятым, называл дорожные приметы: какую-то стену, какой-то провал, какую-то развалившуюся лачугу.

— Ну, да… Оно далече… Пешему — более часа… А тут — это не то, тут — это Мазели…

Тыча куда-то посохом, брызжа слюной, весь дергаясь, пастух глупо похохатывал.

— Сколько километров? — спросил немец.

Опустив голову, пастух сосчитал на пальцах и, вскинув руку, растопырив пятерню, заорал, указывая вдаль.

— Пять… Добрых пять будет. Вон туды… все прямиком…

Офицер выругался, и бронетранспортеры укатили.

Согнувшись, опираясь на дубину, пастух провожал их взглядом. Стоило им скрыться из вида, он выпрямился, глаза его засверкали, он вытер слюнявый рот, натянул шинель и твердым шагом устремился в безлюдные просторы, открывавшиеся перед ним. Пес бежал рядом. Пастух приласкал овчарку и прогнал ее обратно к стаду.

— На место!.. Пошел!.. Ну, пошел!..

Пес сделал пол-оборота, поплелся к овцам и сел, повернув морду к хозяину. Вскоре человек превратился в едва приметную точку, и неоглядные дали поглотили его.

Завидев Фужоль, оба бронетранспортера остановились. Окруженный подчиненными, офицер вышел, осмотрел местность и отдал приказ. Один из бронетранспортеров врезался в огород, давя свеклу, капусту и салат, обогнул строения и поднялся на холм, откуда хорошо видна была ферма. Вторая машина с торчавшим над кабиной водителя стволом пулемета, похожим на длинный и тощий палец, указующий на двор фермы, подъехала к воротам.

Собаки залаяли, держась на почтительном расстоянии. В диком смятении заметались куры, утки и гуси. Вышел офицер, за ним остальные: унтера, вооруженные автоматами, солдаты с винтовками, гранатами, пистолетами.

Они прошли через двор и направились к стоявшему в глубине приземистому прямоугольному зданию с толстыми крепостными стенами, в которых — на уровне первого этажа — было несколько окон. На крыльце, куда вели цементные ступени, толпились Саразет с семьей и батраки.

Офицер быстро вбежал на крыльцо.

— Все в дом! — скомандовал он.

Крестьяне, подталкиваемые солдатами, подчинились и растерянно сгрудились посреди большой комнаты.

Немец положил портфель и револьвер на стол. Упираясь коленом в скамью, он порылся в папках и, сдвинув на затылок каску, спросил:

— Кто хозяин?

— Я, — ответил Саразет.

— Ты?.. А этот?

Он показал на Самюэля. Тот пробормотал что-то невнятное. Отец без запинки ответил за него:

— Мой сын.

— Хорошо… А эти?

— Эти-то? Батраки.

Офицер полистал бумаги. Не подымая головы, он спросил:

— Сколько?

Поколебавшись и взглянув на жену, Саразет ответил:

— Четверо.

— Четверо? Тут сказано — двое.

Саразет не смутился.

— Два пастуха. Старик пасет ягнят. Позвать?

Сверля его взглядом, немец утвердительно кивнул.

Выйдя на крыльцо, Саразет окликнул старика. Тот вошел, держа картуз в руках.

— А четвертый?

— Сторожит овец.

— Где?

— На Мазелях. Вы, должно, его повстречали…

Офицер, наступая с револьвером в руках, ухватил Саразета за отворот его куртки и приставил дуло ко лбу.

— Отвечай сейчас же: где летчик? Где его прячешь?

Побледнев, Саразет пролепетал:

— Летчик… летчик… Какой еще вам летчик?

— Отвечай, не то убью! — вопил офицер, встряхивая его.

Саразет собрался с духом:

— Нету тут никакого летчика на ферме. Обыщите дом, увидите, я правду говорю.

— Хорошо… Открыть все помещения. Все обыскать. Всем оставаться здесь. Лицом к стене!

Солдаты уселись на скамье с автоматами в руках, остальные приступили к обыску.

— Веди нас в свою комнату, — приказал офицер.

Едва успев войти, солдаты опустошили шкаф, выпотрошили матрацы, расшвыряли все по комнате. Сара-зет глядел на них в оцепенении. Вдруг один из унтеров, взобравшись на стул, обнаружил на шкафу большой сверток, встряхнул его и бросил к ногам офицера.

Одежда Дюге!

Саразет оперся о стол.

Офицер развернул комбинезон. Побагровев от ярости, он завопил:

— Лгун! Скотина! Никакого летчика… А это что?

Выворачивая карманы мундира, он извлекал документы, карты, пропуска с наклеенными фотографиями.

У Саразета подкашивались ноги, он пытался оправдаться:

— Сноха нашла это намедни… На плато… Я хотел сдать в полицию…

Немец расхохотался.

— А, ты хотел сдать в полицию… Бандит… террорист… Так почему ты не сделал этого вчера, когда полиция к тебе приходила?

Солдаты набросились на Саразета и вытолкнули его в большую комнату. Офицер, подойдя вплотную к батракам, протянул им фотографию Дюге.

— Кто это? Знаете его?

Парнишки, дрожа, ответили в один голос:

— Это Роже, господин офицер… Это Роже… Тот, что сторожит овец на Мазелях.

Офицер понял, что его одурачили.

— Как он одет, этот Роже?

— Старый картуз, желтые штаны, бархатные… Шинель солдатская…

Холодная ярость захлестнула немца. Он отдал отрывистый приказ. Один из бронетранспортеров отъехал, подымая тучу пыли.

— Ну, теперь очередь за вами! Арестовать обоих! — крикнул офицер, указывая на отца и на сына. — Под суд их! Расстрелять…

Самюэль глядел на него остолбенев.

— Меня-то?.. Меня?.. Да я ведь тут ни при чем… — лепетал он.

Наоми поспешила на помощь:

— Правда… Ни при чем он… Он и знать-то ничего не знал. Вот кто во всем виноват! — Она указала пальцем на свекра. — Он и одежу свою летчику дал…

Саразет, безучастный ко всему с тех пор, как обнаружено было обмундирование, выслушал ее слова со свойственной крестьянину покорностью судьбе. Он смерил взглядом Наоми, отвернулся и плюнул.

— Тварь, — прошипел он.

Офицер, язвительно усмехаясь, наблюдал за этой сценой.

— Дадите показания перед военным трибуналом! Всех увести!

Здоровенные ручищи вцепились в пленников, Самюэль неистово сопротивлялся; подстегиваемый страхом, он отбивался что было сил, кусался, брыкался. Солдаты старались загнать его в угол: он ускользнул, прыгнул на стол и выскочил в открытое окно. В ту же минуту затрещали выстрелы.

Офицер подбежал к окну.

— Капут… капут…

Наоми бросилась к двери на крыльцо, солдаты преградили ей путь.

— По машинам! — крикнул офицер. — Взять обеих женщин!

Трое арестованных, подгоняемые прикладами, спустились по ступеням. Под окном, раскинув руки, недвижимо лежал Саразет-сын. Лицо его было обращено к небу. Пуля раскроила ему череп, выбитый глаз повис на щеке. На земле белели ошметки мозга, смешанные с черной, уже спекшейся кровью.

Отца, мать и сноху впихнули в бронетранспортер. Вернулись солдаты с пустыми канистрами, заняли свои места, и машина тронулась.

Вторая машина ожидала около Мазелей. Фельдфебель издали знаками давал понять, что его постигла неудача: Дюге здесь уже не было. Загадочные, угрюмые, непостижимые просторы плоскогорья поглотили его.

Офицер рявкнул яростное «Доннерветтер!» — и, погрозив кулаком своим пленникам, завопил:

— Вы за это ответите!

Саразету чудилось, что в далекой дали, за холмистой грядой, уходившей к горизонту, широким шагом, в шинели нараспашку, с посохом в руке, идет навстречу свободе летчик. А за спиной у Саразета вставало густое черное облако дыма. То горела его ферма.

Уроженец Салон-де-Прованс (департамент Буш-дю-Рон), Ив Фарж воспитывался в учительской среде. Занимался в лицеях Экса и Марселя, где вошел в круг французской социалистической молодежи. Сотрудник газеты «Эр франсэз», в 1927 году он основал в Касабланке социалистическую секцию, был организатором массовой демонстрации в защиту Сакко и Ванцетти. Очерк Фаржа «В итальянском павильоне» (1931) о злодеяниях итальянского фашизма в Африке увидел свет в еженедельнике Анри Барбюса «Монд». Фарж — редактор газеты «Депеш де Дофинэ». На ее страницах весной 1934 года он предостерегал против фашистской опасности, призывал с оружием в руках защищать республику.

В 1938 году Ив Фарж завершил роман «Бешеный ветер» — о матросской солидарности, а в 1940-ом — этюд о своем любимом художнике — «Джотто — лицом к народу», где сформулировал девиз всей своей жизни: «Нужно всегда быть с народом и стоять насмерть, когда народу грозит гибель».

В годы второй мировой войны Фарж — организатор антифашистского сопротивления в Лионе. Он клеймит позором предательство Виши (репортаж «Тулон», 1934), участвует в создании партизанского соединения на плато Веркор. С апреля 1944 года Фарж — комиссар Республики восьми южных департаментов. Героическая эпоха Сопротивления запечатлена им в мемуарной книге «Повстанцы, солдаты и граждане» (1946), Фарж-памфлетист изобличал сановников («Хлеб подкупа», 1947), вновь поднявших голову попустителей фашизма («Война Гитлера продолжается», 1948), доморощенных и заокеанских вещунов атомной гибели человечества.

Ив Фарж — один из зачинателей движения сторонников мира, председатель Французского национального совета мира, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1952).

Из литературного наследия Фаржа время сохранило книгу новелл «Простое слово», новелл столь емких, что им суждено надолго пережить своего создателя.

Ives Farges: «Un simple mot» («Простое слово»), 1953.

Рассказ «Дорога каждая минута» («Chaque minute compte») входит в указанный сборник.

Дорога каждая минута

Как и все селения в этом крае, Волонна, построенная на земле, которую избрали для нее правители Дофинэ, дабы им простилась гордыня их, стоит спиной к горной громаде и внемлет послеобеденной молитве Прованса.

Жан нашел висячий мост. На душе стало спокойнее, потому что большак остался по ту сторону Дюрансы. С чувством облегчения он прибавил шагу.

Началась дорога, обсаженная вязами. Пожалуй, не дорога, а скорее аллея, где можно говорить в полный голос, прогуливаясь под руку или в обнимку. Здравствуй, школа! Здравствуй, почта! Здравствуй, жандармерия! А почему бы и нет? Ведь жандармы, скинув мундиры, гоняют шары.

— Месье, — женщина в зеленом платье говорила с ним, стоя на пороге своей лавочки, воздвигнутой на толстой каменной плите, — вы можете остановиться либо в гостинице «Наполеон», либо у тетушки Жюльен. Тут рядом, пойдете налево…

Если бы, перебравшись через Дюрансу, Жан не стал другим человеком, он покраснел бы под взглядом женщины, внимательно рассматривавшей его помятую одежду, грубую стоптанную обувь, выбившиеся из-под дрянной шляпчонки волосы и наспех уложенный рюкзак. Но на этой маленькой площади, жмущейся к увенчанному белым обелиском источнику, любопытство выглядело приятельством, дружелюбием, сердечностью.

Все — свежий воздух, краски, звуки, запахи — дышало отрадой на этом тесном пространстве. Площаденка свободно уместилась между трех карликовых домочков. У двери каждого из них, словно образцы в витрине, восседали женщины и наблюдали за игравшими тут же детьми. Этот мирок, при всей малости его, обладал полнотой совершенства, и тень платанов была густа и напитана тучными соками жизни. Жан обрел дивное прибежище — сумрачную впадину, глубину которой подчеркивал осиянный источник. Дабы стало постижимо свойство предметов, солнце там и сям метило вещественную плоть своим знаком, и Жан узнал, что здесь — голубой ставень, там — оббитый край колодезя, а немного отступя — коричневые ворота сарая. Брызги солнечного дождя на розовом лифе, на рдяных цветах герани, на железной крыше автофургончика дали ему изведать чувство высшего совершенства.

— Комнаты невелики, но опрятны, — продолжала женщина в зеленом. — В гостинице «Наполеон» кормят так же, но форсу побольше.

К источнику медленно шла девушка. Она поставила лейку под трубу, огляделась и с огорчением обнаружила, что подле нет никого, с кем можно было бы завести беседу. Вода говорила в утробе лейки: и сердилась, и смеялась в одно и то же время; неумолчно лопоча, добралась до верха и залилась смехом, сбегая через край. Девушка сдернула лейку и пошла прочь, и ее бедра отвердели от тяжести ноши.

— Это служанка госпожи Жюльен. Она убирает комнаты и ухаживает за садом. Если вы собираетесь сегодня ужинать, вам следовало бы предупредить ее не позже шести часов.

Жан поблагодарил женщину за любезность.

— Извините, еще хотела вам сказать, — добавила она, — в «Наполеоне» останавливаются немцы.

На пути к дому г-жи Жюльен он испытывал трудно переносимое ощущение тяжелого взгляда, упиравшегося ему в спину, и потому остался довольно равнодушен к любопытству женщин-образцов, поворачивавших к нему лица при его приближении.

Сидевший в заключении человек приобретает обостренную чувствительность к некоторым вещам. Комнатенка г-жи Жюльен приятно поразила Жана. Несомненно, здесь единственное на свете место, где постоялец может, не сходя с места, любоваться видом из окна: слуховое окно расположено столь удачно, что гость старается задержаться подольше, дабы продлить удовольствие. Это открытие преисполнило Жана восторгом. Сходя в нижний этаж, он едва не запел во все горло. Он и не предполагал, что свобода может так пьянить.

Новый жилец рано пошел спать.

Через низкое оконце с площади волнами доносился людской говор. Жан лежал, вытянувшись под жесткими простынями. Он стал другим человеком. Ни разу в нем не шевельнулось воспоминание о событиях минувшей ночи.

Какое-то время его покой смущали голоса двух мужчин у входа в корчму: они звучали слишком

внятно. Затем ночь поглотила их. Потом в переулке послышались перешептывания и приглушенный смех двух прогуливавшихся девушек, всякий раз, достигнув конца его, находивших еще какой-нибудь повод для продолжения доверительной беседы. Но вот и они ушли в потемки, унося с собой ребяческие признания.

Пронзительные голоса матерей прогнали с площадки детишек: им пора в постель. Ночь сгустилась и стала наливаться тишиной. От лип порывами доносится медвяный дух. Сон подступает к Жану.

Дюранса заводит неспешную болтовню, в которую грубо вторгается шум воды у моста.

Жан решил, что спит. Два тюремщика препираются у двери камеры, потому что им не удается сдвинуть крышку глазка. Они громко спорят, и грудь спящего теснит груз воспоминаний. Один из стражников, видимо, не согласен с товарищем. Надзиратели не могут договориться о том, как лучше всего открыть волчок. Жан просыпается и не может сразу сообразить, куда попал: отвык от свежих простыней. Он прислушивается.

Мужской голос, в котором звучит зависть:

— А я ему говорю: «Ничего не понял, повтори-ка еще раз». Тут до него начинает доходить. «Насмешки строишь!» — кричит. А я ему в ответ: «Коли занимаешься ремеслом глашатая, надо хотя бы говорить разборчиво, а у тебя каша во рту!»

— Конечно же, ты лучше справишься, — вступает другой голос, — когда их выставят из мэрии, этим тоже надо будет заняться в первую очередь…

— Еще бы! А этот начал издеваться надо мной. Тогда я ушел, посулив ему на прощанье: «Вот погоди, пропорю твой барабан!»

— Сволочи!.. Не будь здесь их лавочки, они бы не то запели…

Судя по всему, они удалились. Шаловливое журчание Дюрансы вновь наполнило темноту. Но они возвращаются:

— Это я-то честолюбец! Чья бы корова мычала!..

Мужчина был доволен собой. Он усмешливо продолжал:

— Тут некоторые сдут в Марсель открывать торговлишку, пороги околачивают, а я что? Сижу себе тихо, смирно, да пеку блинчики по-шанделерски!..

Оба разражаются смехом.

Жан провел спокойную ночь. Пробудившись утром и глянув в окно, он с отрадою на душе увидел потягивающуюся спросонок землю, когда солнце не обрушило еще на нее палящий зной. Жану и в голову не приходило спрашивать себя: «Разве такой воображал я свободу, когда бежал вчера из крепости Систерон?» Он не старался понять, как попал сюда. Он был здесь и наслаждался по праву принадлежащим ему сокровищем.

Жан взошел на холм, где кусты дрока росли реже. Посмотрел направо, налево, обошел деревню и, окруженный роями жужжащих насекомых, углубился в чащу тростников, которыми поросли берега реки до самой железной дороги.

Он помнил, что, едва завидевши вокзал, должен поворотить налево, найти розовый дом, пересечь двор, открыть дверь и сказать: «Я варвар».

Жан остановился и посмотрел на Волонну, живым кольцом обступавшую выбежавшую вперед церковь и каменный остов, вознесший над селением онемелые часы. Он находился на дне рытвины, прорезавшей толщу песка и гальки и многими руслами сбегавшей к самой воде. Он слышал, как наверху ездили легковые машины, автобусы, грузовики, но не видел их. Он знал, что люди совсем рядом, и испытывал блаженное чувство безопасности оттого, что не мог повстречаться с ними. Земля Волонны укрывала, лелеяла, пьянила его. Радость его была велика и хмеляща, как радость мореплавателя, открывшего необитаемый остров.

Небо было синее, синее синего там, где промоина упиралась в кручу, поросшую кудрявой зеленью злаков и оливковых деревьев.

Жан сел и достал сыр, решив подкрепить силы. Поднес ладони к лицу и вдохнул чудесный запах земли, смешанный запах чабреца, лаванды и серпухи. Краски, запахи — все было ярко и сильно. Он никогда не думал, что его худое тело может быть таким тяжелым и горячим. Жан еще не отдышался. Он подождал, когда дыхание стало ровным, вдохнул всей грудью, и голова у него пошла кругом.

Он растянулся прямо на земле и широко открытыми глазами глядел в небо, радостно покорившись облакам. Он забыл, как дышит грудь, как шумит в голове кровь, почему твое тело верный товарищ тебе. Теперь к нему возвращалось это упоительное ощущение. Он потянулся, раскинул ноги, и ладони его медленно и крепко гладили траву, чтобы сильнее пахла.

С внезапностью сорвавшейся с земли птицы над оливковой рощей взлетел человечий голос. Жан встал на ноги, несколько раз шагнул. Наступило долгое молчание. Под залиловевшим небом зелень оливковых деревьев посерела, в песок и гальку въедались резкие тени.

Кто-то бежал, из-под ног катились каменья. Жан двинулся по одной из тропинок и оказался на вершине скалы. Солнце ослепило его. На сей раз голос звучал отчетливо:

— Девочка пошла завиваться, завтра праздник.

Слова летели в легком воздухе, как песня.

В сиянии летнего солнца скользила женщина. Поля шляпы колыхались над тенью у лица, словно крылья усталой чайки. В облегающем переднике из розового полотна она казалась более нагой, чем если бы шла без одежды. Жан еще не различал ее черт, но живо ощутил блаженное тепло влажного от испарины женского тела. Впереди бежала голубая тень. Женщина шла и поводила грудью, уклоняясь от ветвей. Она все ближе, ближе, заслонила полмира.

Женщина посмотрела в сторону и крикнула:

— Ах ты, негодница, грушу обгладывать!..

И побежала отгонять козу, удаляясь от скалы. Прежде чем женщина успела скрыться в терновнике, солнце неохотно натянуло на нее одежды.

Жан перевел дух. Чтобы добраться до вокзала, нужно было еще идти берегом. Он не видел ничего, кроме места, где ступали его ноги, не слышал ничего, кроме звенящего гула жизни. Сила вернулась к нему, он чувствовал ее в себе.

Ни разу в продолжение пятимесячной неволи Жан не видел сна прекраснее. У нее было девичье лицо и гибкий стан, вкруг которого крепко обвилась рука, чтобы удобнее было идти вдвоем.

Он тихонько продолжал разговор, прерванный войной, вкрадчиво говорил, сам не зная толком о чем, потому что правая рука перебралась с талии вверх и легла на горячую женскую грудь. Теперь поворот направо, к ней лицом, и — поцелуй. По всем правилам.

— О, черт, мне же нельзя к вокзалу!

Жан увидел розовый дом с резным подзором под серой черепицей. Оплетенный виноградом, обсаженный кустами бересклета, он стоял в поле на отшибе.

Жан прошел по двору. Дверь была закрыта. Он взялся за скобу.

— Эх, была бы тут женщина! Только бы была!

Он громко засмеялся и приотворил дверь.

Автоматная очередь скосила его. Он упал, ударившись головой оземь. Тело его снова стало худым, правая рука подвернулась, как сломанная, на свет глянули протертые до дыр подошвы башмаков. Два раза спина его судорожно вздрогнула.

Теперь засмеялся другой, и дверь со скрипом распахнулась настежь.

Из дула автомата в руках немца поднимался дымок, синий, как небесная синева.

Всякому, кто хоть раз держал в руках «Юманите», не могло не встретиться имя журналиста, изо дня в день (на протяжении более двадцати лет!) помещающего колючие политические заметки под рубрикой «Но… говорит Андре Вюрмсер» на первой странице газеты французских коммунистов.

Почти вся сознательная жизнь Вюрмсера связана с демократическим и коммунистическим движением. Член ФКП с 1934 года, он является активным и страстным борцом за ее идеалы.

Между тем Вюрмсер — не только видный общественный деятель, блестящий и острый полемист, живо и незамедлительно откликающийся на любое серьезное событие политической жизни. Он, кроме того, — вдумчивый литературный критик, умеющий уловить в суматохе сменяющих друг друга дней живую жизнь непреходящих культурных ценностей. Это редкое сочетание предельной злободневности с широтой охвата явлений культуры составляет одну из характерных черт творческой деятельности Вюрмсера. Не случайно в течение многих лет он вел отдел литературной критики в газете «Леттр франсэз», не случайно является автором обстоятельных работ о французских писателях-классиках, таких, как Стендаль и Гюго, и не случайно вершиной его литературно-критической деятельности стало фундаментальное исследование «Бесчеловечная комедия» (1964), посвященное титану XIX столетия — Бальзаку.

Но Вюрмсер и сам — писатель, писатель очень оригинальный, обладающий широким и разнообразным дарованием. Ему принадлежит семитомный цикл романов «Человек приходит в мир» (1946–1955) и другие произведения, среди которых видное место занимают новеллы. Два сборника рассказов Вюрмсера, объединенных общим названием «Калейдоскоп», — его несомненная и большая литературная удача.

Вюрмсер — искусный мастер ультракороткого рассказа. Его новеллы (занимающие иногда всего полстраницы!) — это миниатюрные образцы повествовательного искусства. Почти в каждой такой миниатюре Вюрмсеру удается сделать то, что, как правило, бывает под силу только писателям, обращающимся к большим литературным формам, — очертить психологию персонажа, дать увлекательный диалог, развить своеобразный микросюжет и, наконец, создать драматическое напряжение, разрешающееся всякий раз неожиданно и остро.

Новеллы Вюрмсера строятся как моментальные зарисовки уличных сценок, бесед, услышанных в кафе, внутренних монологов, воспоминаний, психологических коллизий, воспроизводимых автором с большим художественным тактом.

Несмотря на разнообразие и пестроту материала, эти новеллы легко и просто складываются в целостную картину жизни современных французов с их проблемами, житейскими казусами, невзгодами и трагедиями. Ибо для Вюрмсера в жизни нет случайных, ничего не значащих эпизодов: для него каждый миг человеческого существования — это решение какого-либо важного нравственного вопроса. Вюрмсер требователен к человеку; он всегда готов понять его, но далеко не всегда готов простить, ибо знает, что никакие внешние обстоятельства не могут оправдать того, кто поступился своей совестью. Вот почему новеллы Вюрмсера — то серьезные и грустные, то злые и насмешливые, то мягкие и лиричные — пронизаны глубоким сочувствием к людям, чья жизнь есть постоянный поиск справедливости, истины и добра.

Andre Wurmser: «Le courrier de la solitude» («Вестник одиночества»), 1929; «Kaleidoscope. Soixante-dix nouvelles breves et sept nouvelles longues» («Калейдоскоп. Семьдесят коротких и семь длинных новелл»), 1970; «Le nouveau kaleidoscope. Soixante-dix autres nouvelles breves et sept autres nou-velles longues» («Новый калейдоскоп. Еще семьдесят коротких и семь длинных новелл»), 1973.

Новеллы «Накипело…» («Les involontaires»), «Жюльен распахнул окно» («Julien avait ouvert la fenetre»), «Помощник директора прав…» («Ce sous-directeur a raison…») входят в книгу «Калейдоскоп».

Накипело…

Что ни говори, тридцать лет как не виделись, а ведь какие были друзья, и теперь вот встретились, да еще при таких обстоятельствах, в книжке прочтешь — не поверишь. Значит, в Америке ты ее больно-то преуспел? Могу себе представить! Ну, что я? Нет, пить я не пью. Как говаривала Одилия: «Рыцаря Бутылки из тебя не получится». Одилия… первая моя жена. Знаешь, я ведь никогда не жаловался — обманутый муж только смешон, но я очень страдал. Я даже оскорбил ее, когда вернулся. А теперь вот жалею. Дружок ее помер, а развестись так и не успел. Живет она одна, и ей нелегко приходится, если верить сыну. Я немножко ей помогаю, но Маринетта, ясное дело, ничего про это не знает. Ведь я, само собой, снова женился. И не сказать, чтобы несчастлив. Ну конечно, два-то раза такое не выпадет, и все тут. Уж какая она была свеженькая, нежная, ласковая! А мы молодые были. Друг на друга надышаться не могли. Что ж, мне есть чем похвастаться: жена, дети, дела и все прочее. Остальное меня не интересует. Ну там, религия, политика, спорт… Я своим клиентам никогда не противоречил. Не такой я дурак. Вот если б все поступали, как я. Бедняга еврей, который жил в квартире напротив, здорово про это сказал: каждый за себя, а бог за всех. Никто из их семьи так и не вернулся. Никто. А ведь он тоже только одно и знал — жена, дети, дела. Несправедливо это. Да он скорей всего и газет-то не читал. Ну как я.

Я в ту пору был торговым агентом. В той же фирме. Носился по Парижу без устали. Хотелось поскорее стать на ноги. Мой младший брат? А? Ты его помнишь! Мы не больно-то ладили. Конечно, если бы я знал. Но разве знаешь заранее? Их бомбили с воздуха. В роте только он один и погиб. Судьба.

Когда началась война, мы еще не выплатили за мебель. Я, как идиот, торчал на линии Мажино. Оди-лия стала работать вместо меня. Клиенты мои почти все были мобилизованы; с одним из них мы пять лет просидели в лагере для военнопленных. Ну а те, кто остался, не очень-то церемонились, сам понимаешь. Я ее не обвиняю, она — мать моих детей. Вернее сына. Дочурка наша умерла, когда они из Парижа бежали. Не нашлось ни врача, ни лекарств. Бедная малышка. Мне потом рассказали. Она лежала в сарае, у нее был жар, глаза стали такие огромные, и она все спрашивала: «Мамочка, отчего так? Я не хочу умирать. Скажи, отчего, мамочка?» Ну как объяснишь ребенку?

Не слишком-то веселая история, да? Ну, есть люди, которым пришлось и похуже… А Маринетта просто создана для семейной жизни. Мне не в чем ее упрекнуть. Но нельзя сказать, что я начисто перечеркнул прошлое. Знаешь ли, каждый раз в день Святой Одилии сердце у меня щемит. Что поделаешь, не могу забыть. Особенно один эпизод. Одно воскресенье, самый чудесный день в моей жизни. Тогда хоронили жертв пожара в «Нувель галери» в Марселе. Мои клиенты только об этом и говорили. В ту неделю я заработал фантастическую сумму. И вот, на цыпочках выйдя из дома, я отправился на рынок, купил такой огромный букет, что в автобусе мне пришлось стоять на площадке, чтоб его не помяли. Сердце мое ликовало. Хорошая работа, дети, любовь, здоровье — ну чего еще желать? Мне не терпелось поставить цветы в вазу, пока Одилия не проснулась. И на тебе! На Аустерлицком мосту дорогу нам перекрыло шествие, с фанфарой, со знаменами, нескончаемое шествие, мне такого никогда не приходилось больше видеть, и шли французы. Не регулярная армия, нет: на голове мягкие шляпы и каскетки; но это были и не штатские — ни одной женщины среди них. Пассажиры автобуса недоумевали, а на тротуаре уже собрались группки зевак и аплодировали. Это вместо того, чтобы лишний часок понежиться в постели. До чего же неразумны люди! Я подумал было: может, все еще празднуют двадцатилетие перемирия? Но кондуктор сказал, что нет, это, мол, добровольцы возвращаются из Испании. И правда, тут и там полицейские машины, отряды жандармов. Добровольцы! Как будто беда не приходит сама по себе и надо еще лезть в дела, которые тебя вовсе не касаются! Уж я-то на своей шкуре испытал. Так и вижу себя на площадке автобуса с букетом. Конечно, она уже встала. Все теперь испорчено. Я ругался как сапожник. Так-то. Я вот думаю, почему я тебе все это рассказываю? Ведь было это так давно! Моему сыну теперь столько же лет, сколько было мне тогда, а его дочурке столько, сколько было моей малышке, когда она умерла. Эх, лишь бы они оставили нас в покое… Гарсон, принесите-ка нам еще по рюмочке.

Жюльен распахнул окно

Жюльен распахнул окно. Мимо покинутого сада, где у подножья статуй больше не сидели влюбленные и не бегали по дорожкам дети, вдоль бульвара к южным заставам текли разношерстные обломки кораблекрушения: роскошные автомобили и машины устаревших марок, ручные тележки, доверху нагруженные чемоданами, картонками, тюфяками — ну прямо ломбард на колесах. И эти дымящиеся головешки в небе.

Он испытывал горькое удовольствие, бродя по дому в таком растерзанном виде: рубашка хаки с расстегнутым поясом, закрученные спиралью обмотки спускаются на грубые солдатские башмаки. Он опустил жалюзи, чтобы представить себе, каким станет его жилище без него. Когда обедаешь в городе или уезжаешь на каникулы, книжка на ночном столике, загнувшийся уголок ковра, валяющаяся на полу детская игрушка — все говорит о том, что жизнь вот-вот вернется сюда. Но сейчас предстояло нечто большее, чем простая отлучка. Все застыло, словно забальзамировано, покинуто. Подло покинуто. Окружавшие его предметы сами по себе не представляли особой ценности, но нити воспоминаний тянулись от одного к другому, и Жюльен страдал не столько оттого, что терял их, как оттого, что тем самым как бы признавал: мы побеждены. Как смириться с мыслью, что чужие сапоги будут пачкать постель, его укромный уголок, что какая-то скотина утащит эти книги, многие из которых еще и нечитаны: когда-то они купили прекрасное издание «Освобожденного Иерусалима» Тассо, но так и не нашлось времени прочесть этот почтенный шедевр. Его сжигал стыд перед вещами, от которых он сам добровольно отрекался.

Он медленно переходил из комнаты в комнату. Он страдал, словно похищали не его добро, а его детей и мать его детей, словно семья его не пробиралась сейчас дорогами исхода, словно в какой-то авиационной катастрофе он вдруг потерял их всех разом. Словно каждый француз потерял всех своих близких. И не осталось никого, кроме вдов и сирот.

Он поставил на письменный стол маленький чемоданчик — вот и все, что он, как его предупредили, сможет захватить, отправляясь на военном грузовике через провинции, за двенадцать веков отвыкшие быть полями сражений. Влезет три-четыре книжки, не больше. «Какие книги вы взяли бы с собой на необитаемый остров?» Да, теперь это уже не было игрой. Он выбрал томики стихов и именно те, которые мог бы и не брать, так как знал их наизусть.

В дверь позвонили.

Посетитель был ему незнаком — маленький, лысый человечек без возраста, на руке пиджак, ворот рубахи расстегнут, лицо изрыто оспой, на крупном носу очки, влажный рот. Он сказал:

— У меня к вам дело. В Париже не осталось ни одной живой души. Все погибло, ведь так? — Он подождал, но совсем немного, чтобы его не успели опровергнуть. — Остались только вы да я. Я пришел к вам за советом.

Жюльен слушал, бессильно опустив руки.

— Думаю, мне лучше всего покончить с собой. Что вы на это скажете?

Уж не собирался ли он просить у него пистолет? А может, он сошел с ума? Жюльен не предложил гостю присесть. Ему надо было уложить чемодан, вернуться в свою часть, — автоколонна ждать не будет.

— Мы вступаем в позорный период, Дюброк. И те, кто посвятил жизнь служению Красоте, у кого нет ни жены, ни детей… Я считаю своим долгом показать пример неповиновения. Как вы к этому относитесь?

Жюльен боялся, что тот добавит: я поступлю, как вы мне посоветуете.

— Вы ведь не еврей, не коммунист, — попытался возразить он с некоторой даже язвительностью, — чего же вам бояться?

— Я ничего не боюсь, но я поэт. В Германии поэзия умерла, она умрет и здесь, и что тогда? Работающий вхолостую мотор, осознав, что работает вхолостую, перестанет работать. Грядет царство Зверя. Так лучше достойно умереть, чем недостойно жить, а никто не сможет жить достойно, никто. Жить — будет означать принять все.

Для себя Жюльен выбрал Действие — его побуждение не оставляло никаких сомнений: Действие с большой буквы, — а Поэт?

— Моя миссия — не позволить себе опуститься, как вы считаете?

Жюльен сказал, что должен закончить сборы. Рябой поэт не был этим оскорблен; он покорно следовал за ним из кабинета в туалет, в супружескую спальню, ходил с видом осквернителя могил, но не переставал при этом громко рассуждать, спрашивать, объяснял, что одного только Жюльена и может выбрать в свидетели. Вот оно что: он нуждается не в моих советах, а в свидетеле. И Жюльен машинально твердил: да нет, да нет, никто ведь не приговорен к бездействию на веки вечные.

— Я одобряю ваш выбор, Дюброк, но уважайте и мой. Лично я бездеятелен, это, можно сказать, почти что мое назначение. Бесполезен, если вам так больше нравится. Не будем спорить о терминологии в столь роковую минуту. Смысл моего существования — Поэзия. Перед лицом того, на что она обречена, советовать мне жить — все равно что советовать выброшенной на траву рыбе спокойно дышать.

Он вскричал:

— О, конечно, я хочу жить, но найдите оправдание моей жизни, для этого я и пришел.

Жюльен обходил его, слегка толкая, стараясь запихнуть между носками тюбик зубной пасты, как раз в ту коробку, где лежали поэты. Ему казалось непристойным говорить о книгах, которые он брал с собой, и он поспешно закрыл чемодан.

— Вы уезжаете, вы тоже уезжаете, — сказал гость, и в голосе его прозвучала печаль, покорность и капелька осуждения.

— Я ведь вам сказал, что еду через час, со своим полком.

Он вошел в спальню, — поэт неотступно следовал за ним, — застегнул пояс, надел куртку. Близились последние минуты. Там, за окном, — безудержное, ослепительное лето, а здесь — склеп, гробница фараона. Он огляделся вокруг, он был бессилен удержать то, что проваливалось в небытие: вазы, которые с таким радостным азартом они покупали за гроши на барахолке, кресло, обитое русским белоэмигрантом, которого изгнание сделало совсем красным, диван, на котором вот таким же летним воскресеньем полулежала Мали, когда дети играли в саду, и взгляды их встретились, она улыбнулась ему: «Прикрой ставни…»

— Должен откровенно признаться: вы не дали мне того ясного ответа, какого я мог ожидать от вас при вашем блестящем таланте.

Жюльен пропустил его в дверях перед собой. Консьержка и та убежала. И жулики, конечно, тоже. Поток машин катил с таким оглушительным грохотом, какой наверху, в квартире, невозможно себе было даже вообразить. Трое мужчин из противовоздушной обороны, наполовину экипированные по-солдатски, продолжали стоять на своем посту у станции метро. Один из них, с седыми волосами, лицо которого показалось Жюльену знакомым, грустно ему улыбнулся.

— Ну что там слышно? — неопределенно протянул он.

У поэта внезапно задрожали руки, он снял очки, подул на них, по-ребячески вздыхая. Слишком светлые голубые глаза его слезились, лицо было растерянным. Он пробормотал привычные слова прощания. Потом, пошатываясь, двигаясь как-то зигзагообразно, с пиджаком, перекинутым через руку, зашагал прочь.

Как все.

Помощник директора прав…

Помощник директора прав: любовь дает нам преимущество над нашим избранником. Даже когда от этого не умираешь.

Хлеб у нас был, правда, из маисовой соломы, пораженных долгоносиком отрубей и канцелярского клея. Антрекот существовал лишь в наших мечтах. Уж не помню, был ли то год земляной груши или кормовой свеклы, но слово Сталинград еще не появлялось в военных сводках; газеты советовали выращивать сою и клялись, что талон на жиры за предыдущий месяц будет в самое ближайшее время отоварен честь по чести. Честь… Из какой-то своей поездки я привез круглый, сияющий, как солнце, плод — до вторжения он не был такой уж редкостью, — и мы заставили сынишку съесть его при нас, перед уходом в школу: боялись, вдруг он поделится с кем-нибудь своим апельсином. Честь…

В этот день я встретился с Жакобом, который обеспечивал связь с железнодорожниками. Он всегда носил в жилетном кармашке таблетку стрихнина. «Если они станут меня пытать, — говорил о н, — я себя знаю, я не выдержу… ну так вот». Как это он ухитрился дожить до победы, не проглотив из предосторожности свою таблетку? А потом с листовками, распиханными по карманам, я промчался через опустевший дом, в короткий промежуток между поспешным бегством жившей здесь участницы Сопротивления и прибытием гестапо. Измученный, голодный, несся я на велосипеде по лесу. Я не сразу заметил, что он трусит сбоку. Когда я наконец слез с велосипеда, он тут же уселся рядышком, высунув язык, тяжело дыша, полный доверия. Он был белый с черным пятном вокруг глаза, словно кто-то наставил ему синяк, уши и хвост тоже были черными. И, разумеется, никакого ошейника. Он снова побежал за мной, стараясь держаться поближе к моему велосипеду до тех пор, пока я не хлопнулся на землю. Ей-богу, он меня избрал. Какое странное отсутствие чутья у фокстерьера! Ведь сентиментальные щенячьи «мамочки» так и ощетиниваются при виде меня…

Я остановился на самой опушке, отсюда, если посмотреть вниз, то по одну сторону видишь кроны дубов, кудрявое зеленое руно, а по другую — пейзаж на заре человечества, когда люди ютились в невидимых глазу расщелинах Косского плато. От удовольствия кончик хвоста отчаянно колотил по земле.

— Где ты его подобрал? — поразилась жена.

Его назвали Пятницей: то был день нашей встречи; день, когда оба мы потерпели кораблекрушение. Он ел, не жадничая, но и не разыгрывая деликатность, густую похлебку, замешенную в основном на остатках заплесневевшего солдатского хлебца. Когда я отправился на прогулку, он без колебаний пошел следом за мной. Он играл с моим сынишкой, позволял жене ласкать себя, но любил он именно меня. Он убегал вперед, стремительно возвращался, вскидывал на меня глаза, полные преданности.

Вечером для него было приготовлено ложе в погребе. Но ровно через час кто-то прыгнул ко мне на постель. Тогда я запер дверь в погреб на ключ, но пришлось сразу же его освободить: он так выл, что разбудил жену, сына и весь хутор. Он скромно улегся на самый краешек кровати, стараясь занять лишь то место, на которое ему давала право его любовь.

На следующий день на военном совете жена высказалась со всей решительностью: когда эти славные люди, которые выжигают древесный уголь по ту сторону леса, привезут нам на зиму дрова на своем грузовичке, отдадим Пятницу им. Я не посмел возразить: «Но он любит меня!» Трудности с кормежкой, наши частые отлучки, опасность… Разумно ли в подобных обстоятельствах держать собаку? Это даже неосторожно.

Пятница встретил угольщиков с такой злобой, словно догадывался о наших планах. Пришлось прибегнуть к самым мерзким хитростям, в которые меня не стали впутывать из чистого милосердия. В конце концов, угольщик зашагал к своему грузовику, обхватив обеими руками Пятницу, который вырывался, точно сабинянка, похищаемая древним римлянином. К несчастью, они проходили мимо меня. Я притворился, что читаю, но думал только о том, что происходило. Пес заметил неблагодарного и сначала в тревоге позвал на помощь, потом завыл со все возрастающим отчаянием. Он выл, взывая к небесам, о том, что никто в мире не заслуживает любви. Повернув ко мне голову, он все вытягивал и вытягивал шею, как борзая на гобелене…

Каждый раз, проезжая через нашу деревню, угольщик заходит к нам выпить стаканчик вина. Он говорит, что пес привык к вольной жизни у лесничих, что он охотится на кроликов, которыми в ту пору так и кишел лес, и очень привязался к своим хозяевам.

Но что он знает о нашей любви, этот угольщик?

Родился в Лионе. Образование получил в коллежах Ле-Мана и Вильфранш-на-Соне, в парижском лицее Святого Людовика. В годы военной службы — летчик-истребитель, с 1926 года — пилот гражданской авиации. В 1925 году опубликовал рассказ «Авиатор», три года спустя — роман «Южный почтовый». Повесть «Ночной полет» удостоена премии Фемина за 1931 год. В феврале 1939 года издана «Планета людей». В период «странной войны» — капитан дальней разведывательной авиации. Сент-Экзюпери не примирился с капитуляцией Петэна, продолжая сражение и своим пером. Он издает документальный репортаж «Военный летчик» (1942), запрещенный во Франции фашистскими оккупантами.

В Сент-Экзюпери всегда совмещались повествователь-документалист, рассказывающий о своем призвании и друзьях-летчиках, и моралист, размышляющий о смысле жизни. В годы войны с фашизмом раздумья писателя о гражданской ответственности за судьбы родины, о ценностях истинных и мнимых, достигнув зрелости, потребовали иной, более емкой и универсальной по сравнению с его предшествующими книгами формы повествования. Так возникла философская сказка «Маленький принц», тонкими, но прочными нитями связанная с освободительной борьбой народов мира против фашизма.

В «Маленьком принце» использован характерный для философской повести мотив путешествия героя по неведомым мирам, где живут разные люди, как две капли воды похожие на обитателей Земли. В отличие от вольтеровского Задига, которого судьба сталкивала с носителями разных политических доктрин, герой Сент-Экзюпери встречается с характерными типами людей, воплощающими пороки кастовой буржуазной системы. Тут и маниакальный властолюбец, и самодовольный враль и хвастун, и ученый невежда, мнящий себя непогрешимым оракулом, и, наконец, бизнесмен, одержимый единственной страстью — подсчитывать звезды и прятать цифры в сейф. Только фонарщик, всегда занятый делом, понравился Маленькому принцу...

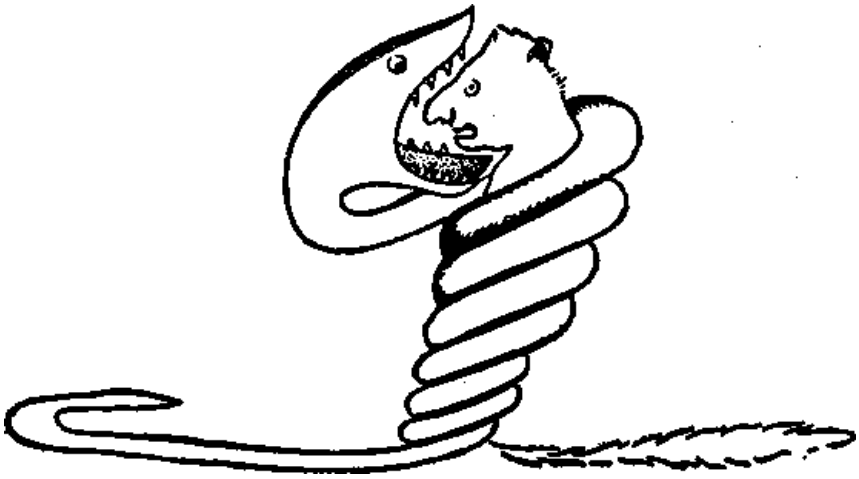
«Маленький принц» появился в апреле 1943 года. Год спустя, 31 июля 1944 года, его создатель из очередного разведывательного полета не вернулся на базу.

На планете Маленького принца водилось дурное семя — баобабы. Зазеваешься — баобабы укоренятся и своими щупальцами раскрошат всю планету. Фашизм — дурное семя, которое нужно вырвать с корнем. Такова итоговая мысль Сент-Экзюпери.

Antoine de Saint-Exupery: «Маленький принц» («Le Petit Prince») в книге «Oeuvres». Bibliotheque de la Pleiade, P., 1959.

I

Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея — удав — глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано:



В книге говорилось: «Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу».

Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок № 1. Вот что я нарисовал:

Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.

— Разве шляпа страшная? — возразили мне.

А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок № 2:

Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками № 1 и № 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.

Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути.

На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше.

Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я показывал ему свой рисунок № 1 — я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.

II

Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю.

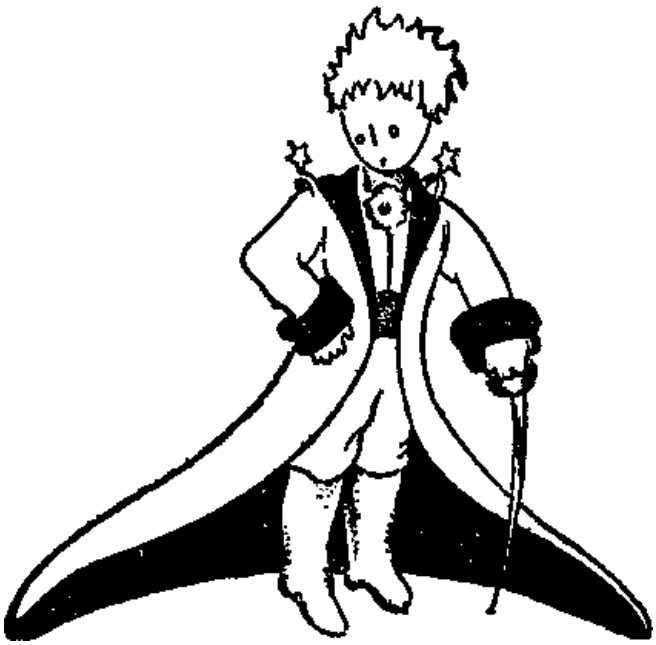
Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал:

— Пожалуйста… нарисуй мне барашка!

— А?..

— Нарисуй мне барашка…

Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Начал осматриваться. И вижу — стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые внушили мне, что художника из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов — снаружи и изнутри.



Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:

— Но… что ты здесь делаешь?

И он опять попросил тихо и очень серьезно:

— Пожалуйста… нарисуй барашка…

Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться.

Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и правописанию, — и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что я не умею рисовать. Он ответил:

— Все равно. Нарисуй барашка.

Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать: удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул:

— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.

И я нарисовал.

Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:

— Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого.

Я нарисовал.

Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся. — Ты же сам видишь, — сказал о н, — это не барашек. Это большой баран. У него рога…

Я опять нарисовал по-другому.

Но он и от этого рисунка отказался.

— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.

Тут я потерял терпение — ведь надо было поскорей разобрать мотор — и нацарапал вот что:

И сказал малышу:

— Вот тебе ящик. А в нем сидит твой барашек.

Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:

— Вот такого мне и надо! Как ты думаешь, много он ест травы?

— А что?

— Ведь у меня дома всего очень мало…

— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.

— Не такой уж он маленький… — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. — Смотри-ка! Он уснул…

Так я познакомился с Маленьким принцем.

III

Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но, когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), он спросил:

— Что это за штука?

— Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает.

И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул:

— Как! Ты упал с неба?

— Да, — скромно ответил я.

— Вот забавно!..

И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:

— Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?

Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне! — подумал я и спросил напрямик:

— Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?

Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет:

— Ну, на этом ты не мог прилететь издалека…

И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.

Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о «других планетах». И я попытался разузнать побольше:

— Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?

Он помолчал в раздумье, потом сказал:

— Очень хорошо, что ты дал мне ящик, барашек будет там спать по ночам.

— Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек.

Маленький принц нахмурился:

— Привязывать? Для чего это?

— Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.

Тут мой друг опять весело рассмеялся:

— Да куда же он пойдет?

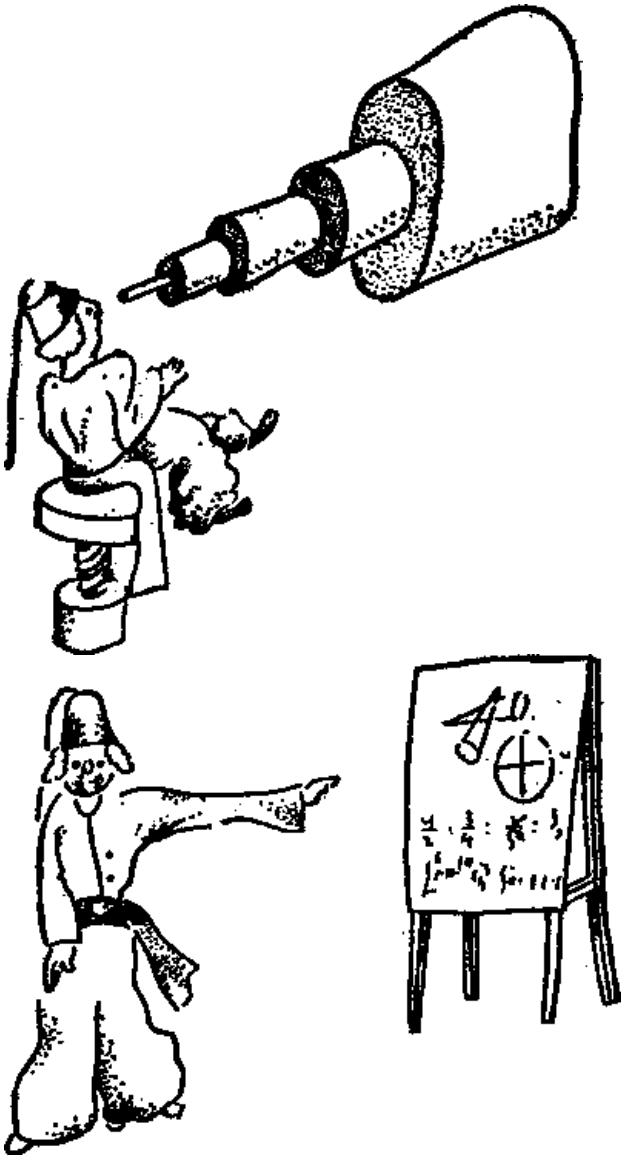
— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.

Тогда Маленький принц сказал серьезно:

— Это ничего, ведь у меня там очень мало места. — И прибавил не без грусти: — Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь…

IV

Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!



Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Мар^ Венера, существуют еще сотни других, которым даже имен не дали, и среди них такие маленькие, что их и в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например: астероид 3251.

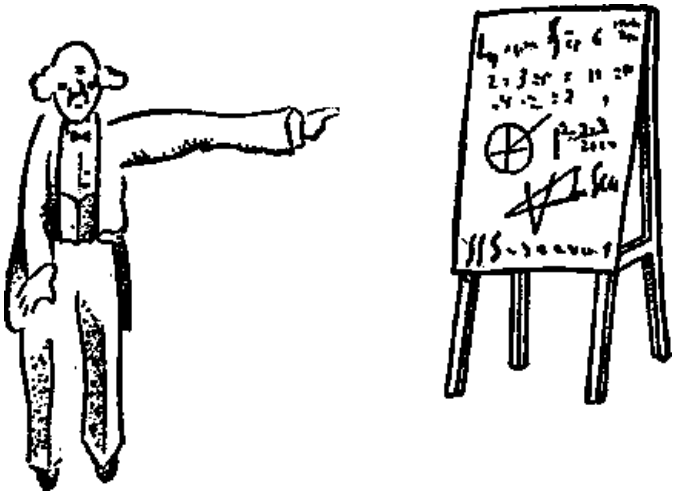
У меня есть веские основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется «астероид Б-612». Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.

Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!

К счастью для репутации астероида Б-612, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде — и все с ним согласились.

Я вам рассказал так подробно об астероиде Б-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него

герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»



Точно так же, если им сказать: «Вот доказательства, что Маленький принц на самом деле существовал: он был очень, очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, безусловно, существует», — если сказать им так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если сказать им: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид Б-612», — это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.

Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, — мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так:

«Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга...» Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу увидели бы, что это гораздо больше похоже на правду.

Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книгу читали просто ради забавы. Слишком больно вспоминать и нелегко мне об этом рассказывать. Прошло уже шесть лет с тех пор, как мой друг вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Вот еще и поэтому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто — в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю жизнь только и нарисовал, что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! Конечно, я постараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже: на одном рисунке принц у меня вышел чересчур большой, на другом — чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверно, я старею.

V

Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с баобабами.

Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил:

— Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?

— Да, правда.

— Вот хорошо!

Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький принц прибавил:

— Значит, они и баобабы тоже едят?

Я возразил, что баобабы — не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба.

Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:

— Их пришлось бы поставить друг на друга…

А потом сказал рассудительно:

— Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.

— Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?

— А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах.

И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.

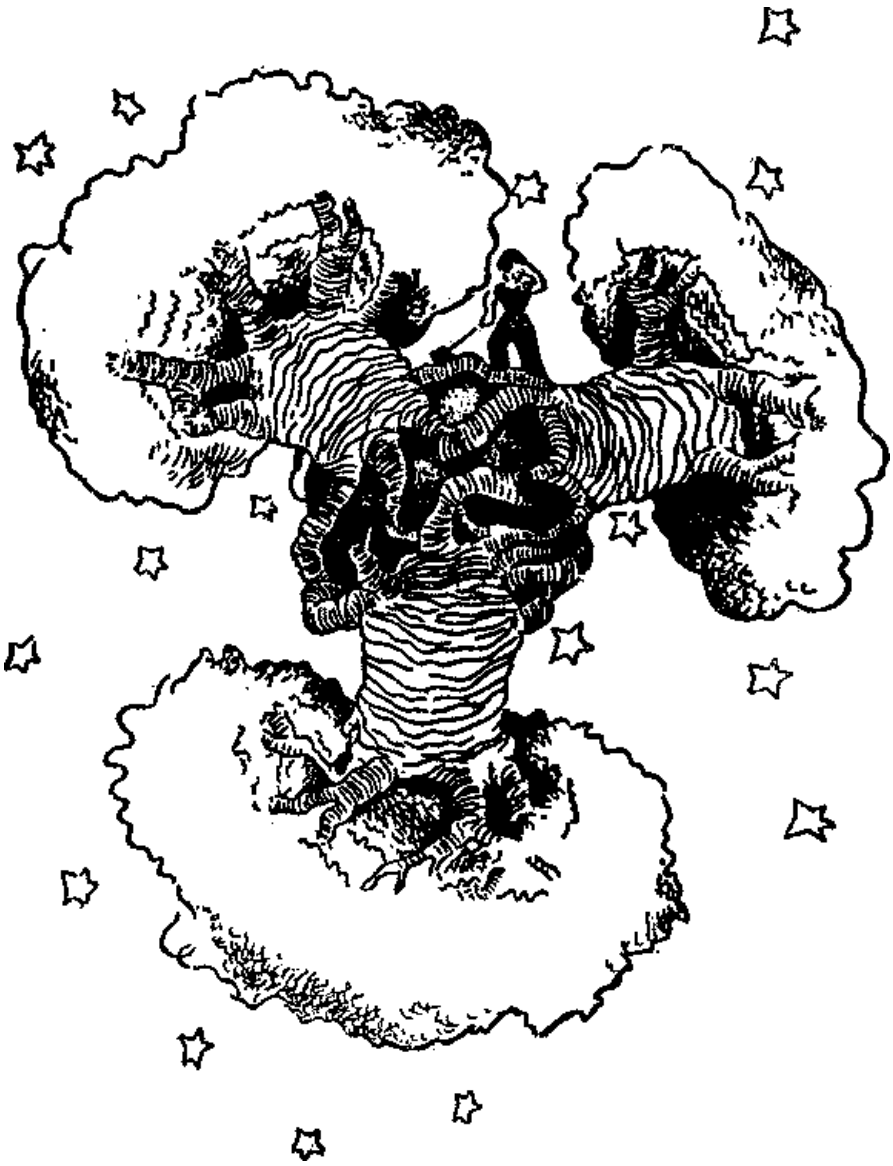
На планете Маленького принца, как и на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена… Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.

— Есть такое твердое правило, — сказал мне после Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.

Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли.

— Если им когда-нибудь придется путешествовать, — сказал о н, — это им пригодится. Иная работа может и подождать немного — вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика…

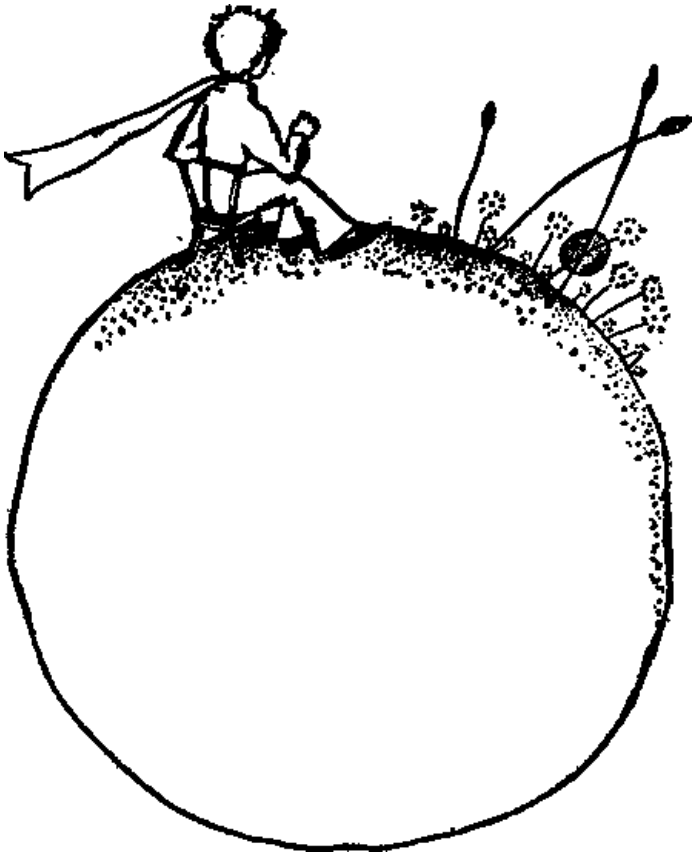
Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на астероид, очень велика; вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети! — говорю я. — Берегитесь баобабов!» Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите: отчего в этой книге нет больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами? Ответ очень прост: я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.



VI

О Маленький принц! Понемногу я понял также, как печальна и однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение: ты любовался закатом. Я узнал об этом наутро четвертого дня, когда ты сказал:

— Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце.



— Ну, придется подождать.

— Чего ждать?

— Чтобы солнце зашло.

Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собою и сказал:

— Мне все кажется, что я у себя дома!

И в самом деле. Все знают, что, когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень, очень далеко. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов. И ты снова и снова смотрел на закатное небо, стоило только захотеть…

— Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!

И немного погодя ты прибавил:

— Знаешь… Когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце…

— Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно?

Но Маленький принц не ответил.

VII

На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет Маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий:

— Если барашек ест кусты, он и цветы ест?

— Он ест все, что попадется.

— Даже такие цветы, у которых шипы?

— Да, и те, у которых шипы.

— Тогда зачем шипы?

Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заело одну гайку и я старался ее отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.

— Зачем нужны шипы?

Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц никогда не отступался, пока не получал ответа. Неподатливая гайка выводила меня из терпенья, и я ответил наобум:

— Шипы ни за чем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.

— Вот как!

Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:

— Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают: если у них шипы, их все боятся…

Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: если эта гайка и сейчас не поддастся, я так стукну по ней молотком, что она разлетится вдребезги. Маленький принц снова перебил мои мысли:

— А ты думаешь, что цветы…

— Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.

Он посмотрел на меня в изумлении.

— Серьезным делом?!

Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым.

— Ты говоришь, как взрослые! — сказал он.

Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:

— Все ты путаешь… ничего не понимаешь!

Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы.

— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек серьезный!» — совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.

— Что?

— Гриб!

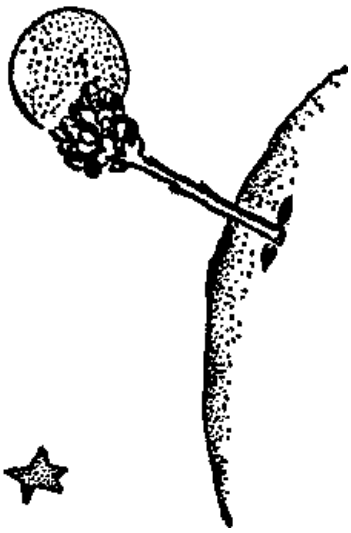
Маленький принц даже побледнел от гнева.

— Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело — понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с. багровым лицом? А если

я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек вдруг в одно прекрасное утро возьмет и съест его и даже не будет знать, что он натворил? И это все, по-твоему, не важно?

Он весь покраснел. Потом снова заговорил:

— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, — этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым.



И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок...» Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!

Он больше не мог говорить.

Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Я и думать забыл про злополучную гайку и молоток, про жажду и смерть. На звезде, на планете — на моей планете по имени Земля, — плакал Маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит... Я нарисую твоему барашку намордник... Я нарисую для твоего цветка броню... я...» Я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня? Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез...

VIII

Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького принца всегда росли простые, скромные цветы — у них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и Маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь мак. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка! Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись.

И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:

— Ах, я насилу проснулась… Прошу извинить… Я еще совсем растрепанная…

Маленький принц не мог сдержать восторга:

— Как вы прекрасны!

— Да, правда? — был тихий ответ. — И заметьте, я родилась вместе с солнцем.

Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало!

А она вскоре заметила:

— Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне…

Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.

Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с нею измучился.

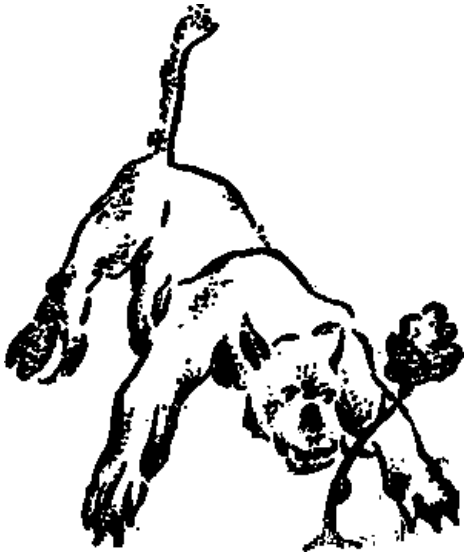
У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:

— Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!

— На моей планете тигры не водятся, — возразил Маленький принц. — И потом, тигры не едят траву.

— Я не трава, — тихо заметил цветок.

— Простите меня…



— Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?

«Растение, а боится сквозняков… очень стран-но… — подумал Маленький принц. — Какой трудный характер у этого цветка».

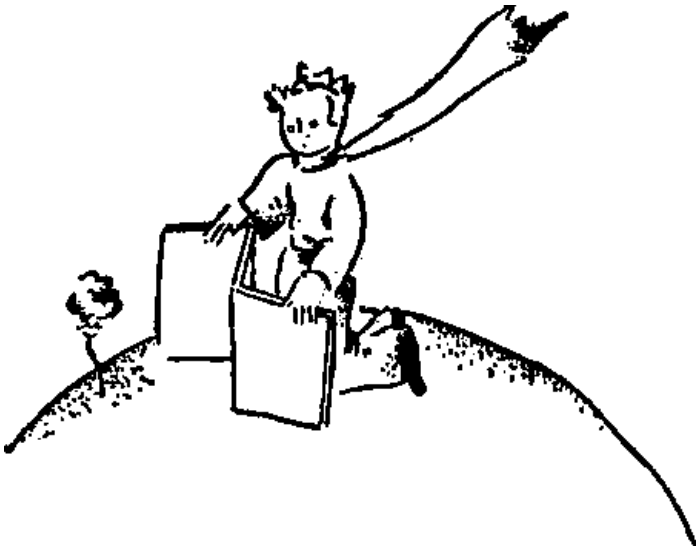
— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла…

Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко могут уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:

— Где же ширма?

— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!

Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!



Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень

несчастным.

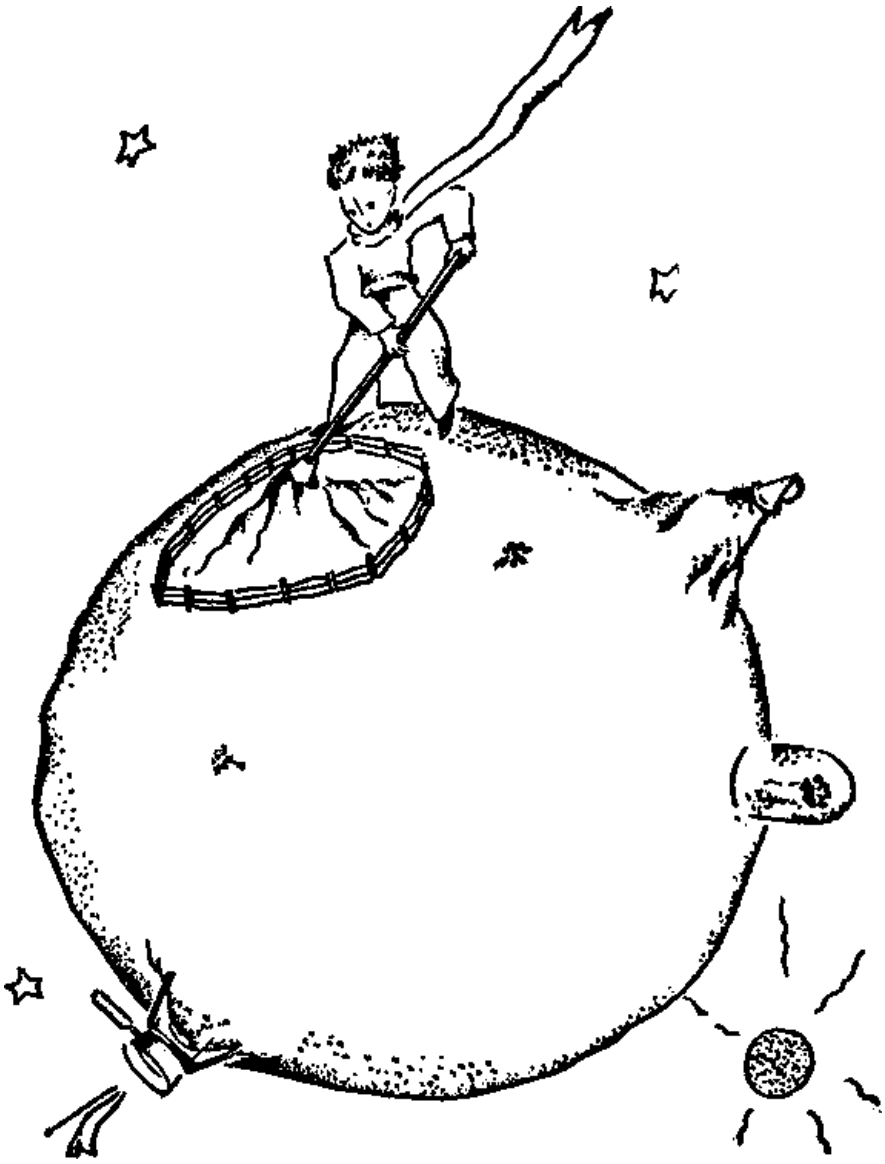
— Напрасно я ее слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх… Они должны бы меня растрогать, а я разозлился…

И еще он признался:

— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить.

IX

Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак.



Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.

Потом Маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть его колпаком, ему даже захотелось плакать.

— Прощайте, — сказал он.

Красавица не ответила.

— Прощайте, — повторил Маленький принц.

Она кашлянула. Но не от простуды.

— Я была глупая, — сказала она наконец. — Прости меня. И постарайся быть счастливым.

И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?

— Да, да, я люблю тебя, — услышал он. — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым… Оставь колпак, он мне больше не нужен.

— Но ветер…

— Не так уж я простужена… Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.

— Но звери, насекомые…

— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, должно быть, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.

И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:

— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.

Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок…

X

Ближе всего к планете Маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их: надо же найти себе занятие да и поучиться чему-нибудь.

На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же величественном.

— А, вот и подданный! — воскликнул король, увидав Маленького принца.

«Как же он меня узнал? — подумал Маленький принц. — Ведь он видит меня в первый раз!»

Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди — подданные.

— Подойди, я хочу тебя рассмотреть, — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем.

Маленький принц оглянулся — нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал… И вдруг он зевнул.

— Этикет не разрешает зевать в присутствии монарх а, — сказал король. — Я запрещаю тебе зевать.

— Я нечаянно, — ответил Маленький принц, очень смущенный. — Я долго был в пути и совсем не спал…

— Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, — сказал король. — Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.

— Но я робею… я больше не могу… — вымолвил Маленький принц и весь покраснел.

— Гм, гм… Тогда… тогда я повелеваю тебе то зевать, то…

Король запутался и, кажется, даже немного рассердился.

Ведь для короля самое важное — чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.

«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».

— Можно мне сесть? — робко спросил Маленький принц.

— Повелеваю: сядь! — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии.

Но Маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная. Где же тут царствовать?

— Ваше величество, — начал он, — можно вас спросить...

— Повелеваю: спрашивай! — поспешно сказал король.

— Ваше величество... где же ваше королевство?

— Везде, — просто ответил король.

— Везде?

Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.

— И все это ваше? — переспросил Маленький принц.

— Да, — отвечал король.

Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.

— И звезды вам повинуются? — спросил Маленький принц.

— Ну конечно, — отвечал король. — Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.

Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом не сорок четыре раза в день, а семьдесят два, а то и сто, и двести раз, и при этом даже не приходилось бы передвигать стул с места на место! Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля:

— Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца… Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться…

— Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват — он или я?

— Вы, ваше величество, — ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.

— Совершенно верно, — подтвердил ко роль. — С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.

— А как же заход солнца? — напомнил Маленький принц: раз о чем-нибудь спросив, он уже не успокаивался, пока не получал ответа.

— Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя.

— А когда условия будут благоприятные? — осведомился Маленький принц.

— Гм, гм, — ответил король, листая толстый календарь. — Это будет… гм, гм… сегодня это будет в семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление.

Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется! И, по правде говоря, ему уже стало скучновато.

— Мне пора, — сказал он королю. — Больше мне здесь нечего делать.

— Останься! — сказал король: он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться. — Останься, я назначу тебя министром.

— Министром чего?

— Ну… юстиции.

— Но ведь здесь некого судить!

— Как знать, — возразил король. — Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно…

Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты.

— Но я уже посмотрел! — воскликнул он. — Там тоже никого нет.

— Тогда суди сам себя, — сказал король. — Это самое трудное. Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.

— Сам себя я могу судить где угодно, — сказал Маленький принц. — Для этого мне незачем оставаться у вас.

— Гм, гм… — сказал король. — Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу: она ведь у нас одна.

— Не люблю я выносить смертные приговоры, — сказал Маленький принц. — И вообще мне пора.

— Нет, не пора, — возразил король.

Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.

— Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вам следовало бы отдать благоразумное приказание. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты… Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть

благоприятные…

Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.

— Назначаю тебя послом! — поспешно крикнул вдогонку ему король.

И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений.

«Странный народ эти взрослые», — сказал себе Маленький принц, продолжая путь.

XI

На второй планете жил честолюбец.

— О, вот и почитатель явился! — воскликнул он, еще издали завидев Маленького принца.

Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются.

— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Какая у вас забавная шляпа.

— Это чтобы раскланиваться, — объяснил честолюбец. — Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.

— Вот как? — промолвил Маленький принц: он ничего не понял.

— Похлопай-ка в ладоши, — сказал ему честолюбец.

Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец приподнял шляпу и скромно раскланялся.

«Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал Маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу.

Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и Маленькому принцу это наскучило.

— А что надо сделать, чтобы шляпа упала? — спросил он.

Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.

— Ты и в самом деле мой восторженный почитатель? — спросил он Маленького принца.

— А как это — почитать?

— Почитать — значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней.

— Да ведь на твоей планете больше и нет никого!

— Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною!

— Я восхищаюсь, — сказал Маленький принц, слегка пожав плечами, — но что тебе от этого за радость?

И он сбежал от честолюбца.

«Право же, взрослые — очень странные люди», — только и подумал он, пускаясь в путь.

XII

На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело.

Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок — пустых и полных.

— Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.

— Пью, — мрачно ответил пьяница.

— Зачем?

— Чтобы забыть.

— О чем забыть? — спросил Маленький принц. Ему стало жаль пьяницу.

— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.

— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге.

— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.

И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.

«Да, без сомнения, взрослые очень, очень странный народ», — думал он, продолжая путь.

XIII

Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении Маленького принца даже головы не поднял.

— Добрый день, — сказал ему Маленький принц. — Ваша сигарета погасла.

— Три да два — пять. Пять да семь — двенадцать. Двенадцать да три — пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать да семь — двадцать два. Двадцать два да шесть — двадцать восемь. Некогда спичкой чиркнуть. Двадцать шесть да пять — тридцать один. Уф! Итого, стало быть, пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один.

— Пятьсот миллионов чего?

— А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов… Уж не знаю чего… У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни! Два да пять — семь…

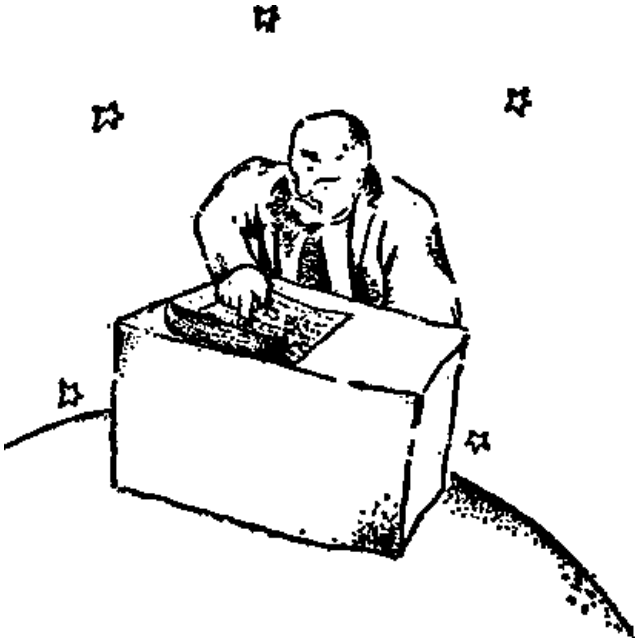
— Пятьсот миллионов чего? — повторил Маленький принц: спросив о чем-нибудь, он не успокаивался, пока не получал ответа.

Деловой человек поднял голову.

— Уже пятьдесят четыре года я живу на этой плане-то, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз… вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов…

— Миллионов чего?

Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.



— Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.

— Это что же, мухи?

— Да нет же, такие маленькие, блестящие.

— Пчелы?

— Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный. Мне мечтать некогда.

— А, звезды?

— Вот-вот. Звезды.

— Пятьсот миллионов звезд? И что же ты с ними делаешь?

— Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьезный, я люблю точность.

— Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?

— Что делаю?

— Да.

— Ничего не делаю. Я ими владею.

— Владеешь звездами?

— Да.

— Но я уже видел короля, который…

— Короли ничем не владеют. Они только царствуют. Это совсем другое дело.

— А для чего тебе владеть звездами?

— Чтоб быть богатым.

— А для чего быть богатым?

— Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет.

«Он рассуждает почти как тот пьяница», — подумал Маленький принц.

И стал спрашивать дальше:

— А как можно владеть звездами?

— Звезды чьи? — ворчливо спросил делец.

— Не знаю. Ничьи.

— Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.

— И этого довольно?

— Ну конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, — значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, — он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент: она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.

— Вот это верно, — сказал Маленький принц. — И что же ты с ними делаешь?

— Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно. Но я человек серьезный.

Однако Маленькому принцу этого было мало.

— Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды!

— Нет, но я могу положить их в банк.

— Как это?

— А так: пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.

— И всё?

— Этого довольно.

«Забавно! — подумал Маленький принц. — И даже поэтично. Но не так уж это серьезно».

Что серьезно, а что не серьезно — это Маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые.

— У меня есть цветок, — сказал он, — и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы…

Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить, и Маленький принц отправился дальше.

«Нет, взрослые и правда поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь.

XIV

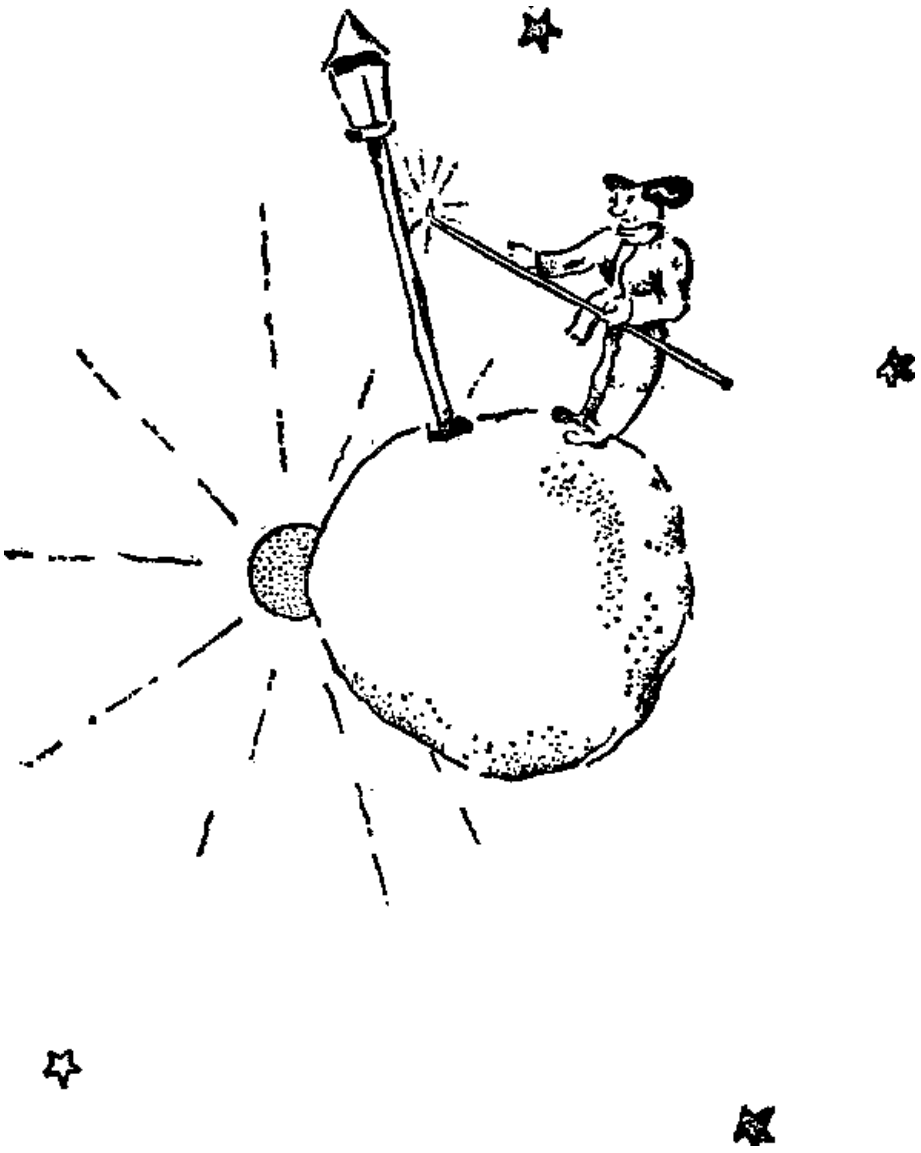
Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал:

«Может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво».

И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.

— Добрый день, — сказал он. — Почему ты сейчас погасил свой фонарь?

— Такой у говор, — ответил фонарщик. — Добрый день.



— А что это за уговор?

— Гасить фонарь. Добрый вечер.

И он снова засветил фонарь.

— Зачем же ты опять его зажег?

— Такой уговор, — повторил фонарщик.

— Не понимаю, — признался Маленький принц.

— И понимать нечего, — сказал фонарщик. — Уговор есть уговор. Добрый день.

И погасил фонарь.

Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:

— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался еще день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться…

— А потом уговор переменился?

— Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний.

— И как же теперь? — спросил Маленький принц.

— Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.

— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!

— Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.

— Целый месяц?!

— Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!

И он опять засветил фонарь.

Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат. И ему захотелось помочь другу.

— Послушай, — сказал он фонарщику. — Я знаю средство: ты можешь отдыхать, когда только захочешь…

— Мне все время хочется отдыхать, — сказал фонарщик.

Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым.

— Твоя планетка такая крохотная, — продолжал Маленький принц, — ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди… И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.

— Ну, от этого мне мало толку, — сказал фонарщик. — Больше всего на свете я люблю спать.

— Тогда плохо твое дело, — посочувствовал Маленький принц.

— Плохо мое дело, — подтвердил фонарщик. — Добрый день.

И погасил фонарь.

«Вот человек, — сказал себе Маленький принц, продолжая путь, — вот человек, которого все стали бы презирать, — и король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех только он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе».

Маленький принц вздохнул.

«Вот бы с кем подружиться, — подумал он еще. — Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих…»

Он не смел признаться себе в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине: за двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста сорок раз!

XV

Шестая планета была в десять раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги.

— Смотрите-ка! Вот прибыл путешественник! — воскликнул он, заметив Маленького принца.

Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал!

— Откуда ты? — спросил его старик.

— Что это за огромная книга? — спросил Маленький принц. — Что вы здесь делаете?

— Я географ, — ответил старик.

— А что такое географ?

— Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.

— Как интересно! — сказал Маленький принц. — Вот это настоящее дело!

И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты.

— Ваша планета очень красивая, — сказал он. — А океаны у вас есть?

— Этого я не знаю, — сказал географ.

— О-о… — разочарованно протянул Маленький принц. — А горы есть?

— Не знаю, — повторил географ.

— А города, реки, пустыни?

— И этого я тоже не знаю.

— Но ведь вы географ!

— Вот именно, — сказал старик. — Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.

— А зачем?

— Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее — тоже беда.

— А почему?

— Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.

— Я знал одного человека… Из него вышел бы плохой путешественник, — заметил Маленький принц.

— Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие.

— Как проверяют? Идут и смотрят?

— Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни.

Географ вдруг пришел в волнение:

— Но ты ведь и сам путешественник! Ты явился издалека! Расскажи мне о своей планете!

И географ раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.

— Я слушаю тебя, — сказал географ.

— Ну, у меня там не так уж интересно, — промолвил Маленький принц. — У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться…

— Да, все может случиться, — подтвердил географ.

— Потом, у меня есть цветок.

— Цветы мы не отмечаем, — сказал географ.

— Почему?! Это ведь самое красивое!

— Потому, что цветы эфемерны.

— Как это — эфемерны?

— Книги по географии — самые драгоценные книги на свете, — объяснил географ. — Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных к неизменных.

— Но потухший вулкан может проснуться, — прервал Маленький принц. — А что такое «эфемерный»?

— Потух вулкан или действует — это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно одно: гора. Она не меняется.

— А что значит «эфемерный»? — спросил Маленький принц, ведь раз задав вопрос, он не успокаивался, пока не получал ответа.

— Это значит: тот, что должен скоро исчезнуть.

— И мой цветок должен скоро исчезнуть?

— Разумеется.

«Моя краса и радость недолговечна, — сказал себе Маленький принц, — и ей нечем защищаться от мира: у нее только и есть что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна!»

Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но мужество тотчас вернулось к нему.

— Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа.

— Посети планету Земля, — отвечал географ. — У нее неплохая репутация…

И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.

XVI

Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля.

Земля — планета не простая! На ней насчитывается сто одиннадцать королей (в том числе, разумеется, и негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев — итого около двух миллиардов взрослых.

Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что, пока не было изобретено электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать человек.

Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете.

Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать.

За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и Европе. Затем в Южной Америке. Затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно.

Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да еще его собрату на Южном полюсе — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.

XVII

Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней неверное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером двадцать миль в длину и двадцать в ширину. Все человечество можно было бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане.

Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите.

Итак, попав на Землю, Маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-нибудь другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча.

— Добрый вечер, — сказал на всякий случай Маленький принц.

— Добрый вечер, — ответила змея.

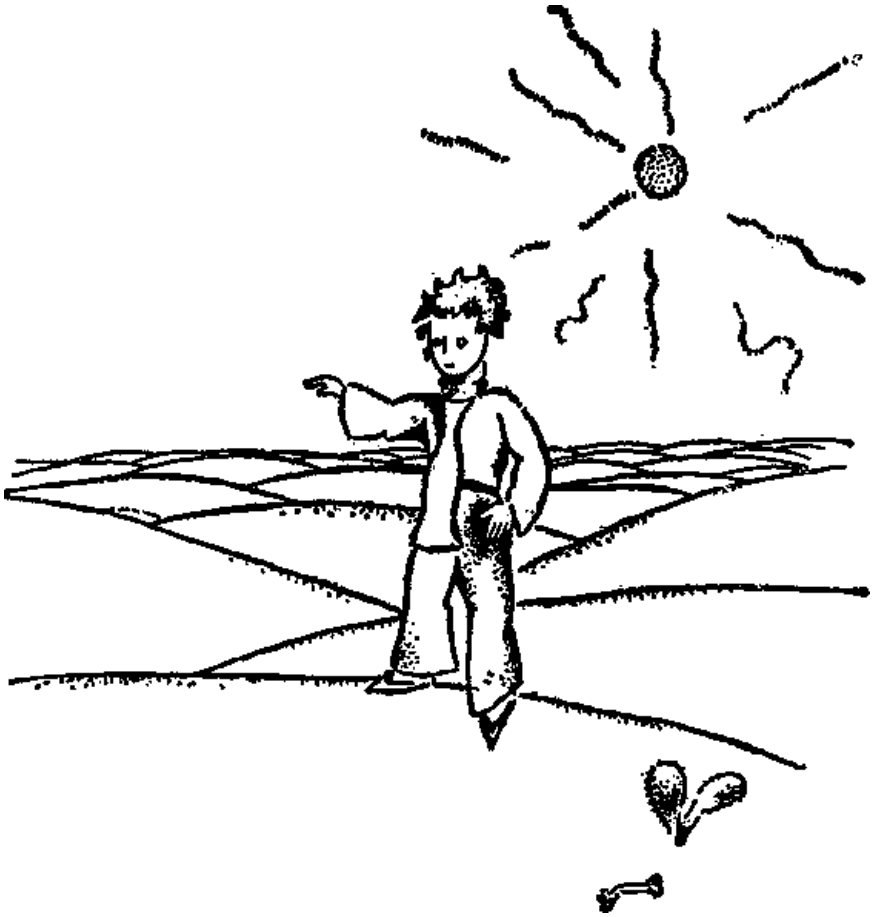
— На какую это планету я попал?

— На Землю, — сказала змея. — В Африку.

— Вот как. А разве на Земле нет людей?

— Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.

Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.



— Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво сказал он. — Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вон моя планета — как раз над нами… Но до нее так далеко!

— Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на Земле?

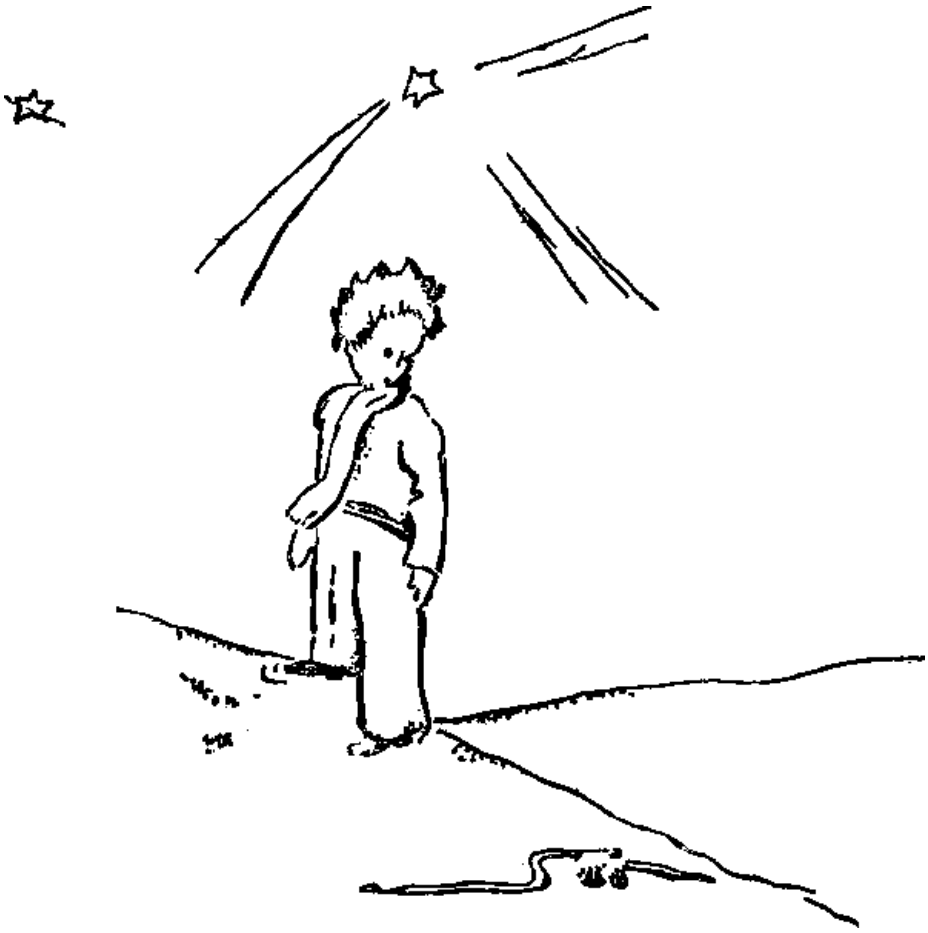
— Я поссорился со своим цветком, — признался Маленький принц.

— А, вот оно что…

И оба умолкли.

— А где же люди? — вновь заговорил наконец Маленький принц. — В пустыне все-таки одиноко…

— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея.



Маленький принц внимательно посмотрел на нее.

— Странное ты существо, — сказал он. — Не толще пальца…

— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля, — возразила змея.

Маленький принц улыбнулся.

— Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь…

— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, — сказала змея.

И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.

— Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел, — сказала она. — Но ты чист и явился со звезды…

Маленький принц не ответил.

— Мне жаль тебя, — продолжала змея. — Ты так слаб на этой Земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу…

— Я прекрасно понял, — сказал Маленький принц. — Но почему ты все время говоришь загадками?

— Я решаю все загадки, — сказала змея.

И оба умолкли.

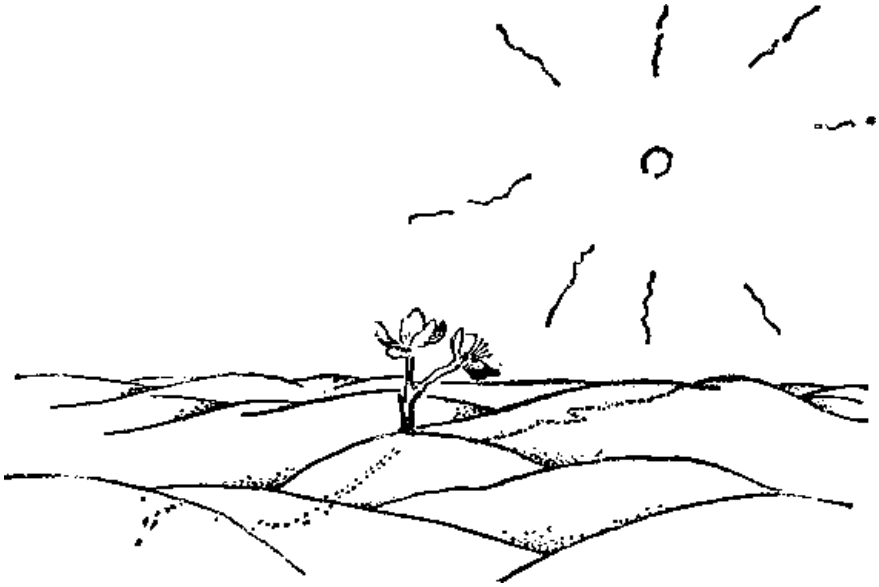
XVIII

Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок — крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках…

— Здравствуй, — сказал ему Маленький принц.

— Здравствуй, — отвечал цветок.

— А где люди? — вежливо спросил Маленький принц.



Цветок видел однажды, как мимо шел караван.

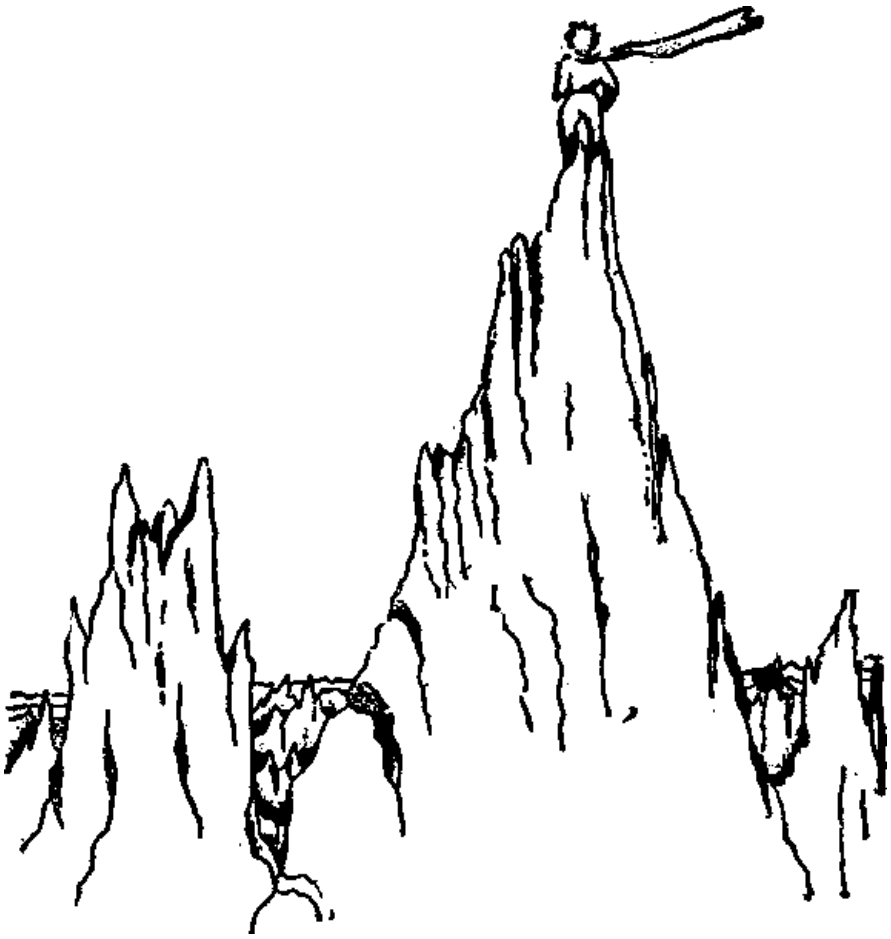
— Люди? Ах да… Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно.

— Прощай, — сказал Маленький принц.

— Прощай, — сказал цветок.

XIX

Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видел гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом.



И теперь он подумал: «С такой высокой горы я сразу увижу всю планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы.

— Добрый день, — сказал он на всякий случай. «Добрый день… день… день…» — откликнулось эхо.

— Кто вы? — спросил Маленький принц.

«Кто вы… кто вы… кто вы…» — откликнулось эхо.

— Будем друзьями, я совсем один, — сказал он. «Один… один… один…» — откликнулось эхо.

«Какая странная планета! — подумал Маленький принц. — Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь… Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым».

XX

Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и наконец набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям.

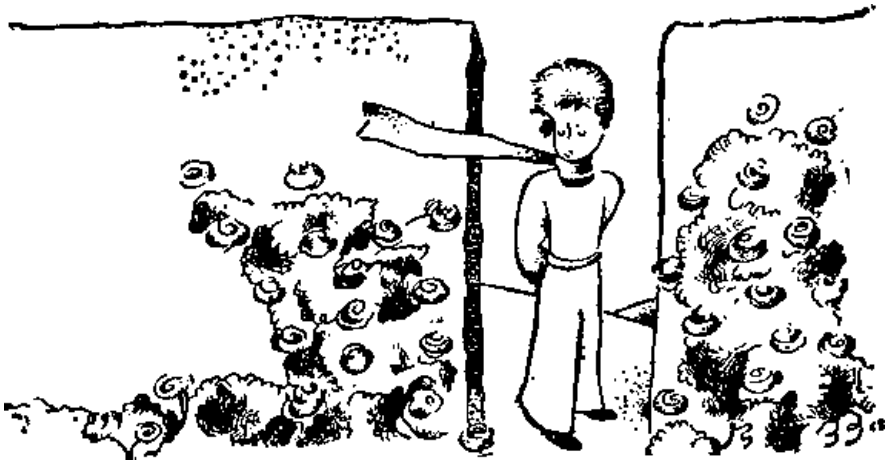
— Добрый день, — сказал он.

Перед ним был сад, полный роз.

— Добрый день, — отозвались розы.

И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.

— Кто вы? — спросил он, пораженный.



— Мы — розы, — отвечали розы.

— Вот как… — промолвил Маленький принц.

И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей Вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!

«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, — ведь иначе она и вправду умерла бы, лишь бы унизить и меня тоже…»

А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух, и, может быть, навсегда… Какой же я после этого принц?..»

Он лег в траву и заплакал.

XXI

Вот тут-то и появился Лис.

— Здравствуй, — сказал он.

— Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел.

— Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней…

— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!

— Я — Лис, — сказал Лис.

— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно…

— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен.

— Ах, извини, — сказал Маленький принц.

Но, подумав, спросил:

— А как это — приручить?

— Ты не здешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь?

— Людей ищу, — сказал Маленький принц. — А как это — приручить?

— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?

— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — приручить?

— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать узы.

— Узы?

— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете…

— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Есть одна роза… Наверно, она меня приручила…

— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает.

— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц.

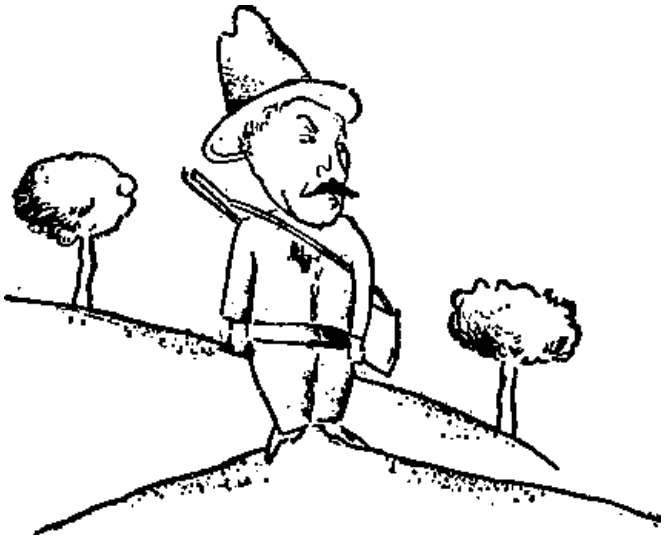
Лис очень удивился:

— На другой планете?

— Да.

— А на той планете есть охотники?

— Нет.



— Как интересно! А куры есть?

— Нет.

— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис.

Но потом он вновь заговорил о том же:

— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру…

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:

— Пожалуйста… приручи меня!

— Я бы рад, — отвечал Маленький принц, — но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.

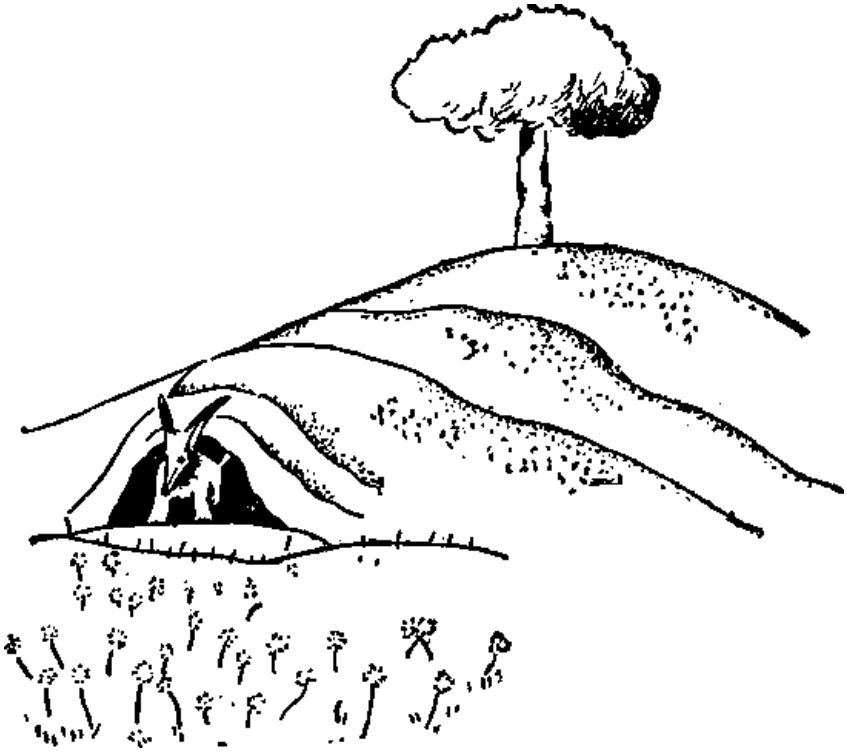
— Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!

— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц.

— Надо запастись терпеньем, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе…

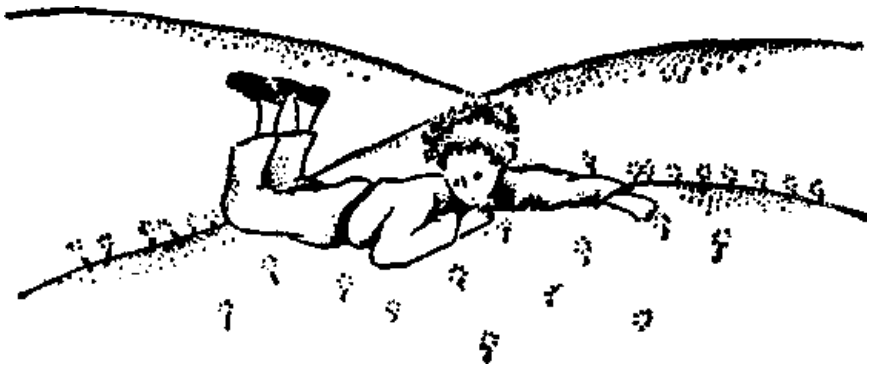
Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.

— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливей. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… Нужно соблюдать обряды.



— А что такое обряды? — спросил Маленький принц.

— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха.



Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.

— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.

— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно; ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…

— Да, конечно, — сказал Лис.

— Но ты будешь плакать!

— Да, конечно.

— Значит, тебе от этого плохо.

— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.

Он умолк. Потом прибавил:

— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.

Маленький принц пошел взглянуть на розы.

— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в целом свете.

Розы очень смутились.

— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.

И Маленький принц возвратился к Лису.

— Прощай… — сказал он.

— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни.

— Потому что я отдавал ей все свои дни… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.

— Я в ответе за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.

XXII

— Добрый день, — сказал Маленький принц.

— Добрый день, — отозвался стрелочник.

— Что ты делаешь? — спросил Маленький принц.

— Сортирую пассажиров, — отвечал стрелочник. — Отправляю их в поездах по тысяче человек зараз — один поезд направо, другой налево.

И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала.

— Как они спешат! — удивился Маленький принц. — Чего они ищут?

— Даже сам машинист этого не знает, — сказал стрелочник.

И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд.

— Они уже возвращаются? — спросил Маленький принц.

— Нет, это другие, — сказал стрелочник. — Это встречный.

— Им было нехорошо там, где они были прежде?

— Там хорошо, где нас нет, — сказал стрелочник.

И прогремел, сверкая, третий скорый поезд.

— Они хотят догнать тех, первых? — спросил Маленький принц.

— Ничего они не хотят, — сказал стрелочник. — Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам.

— Одни только дети знают, чего ищут, — промолвил Маленький принц. — Они отдают все свои дни тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут…

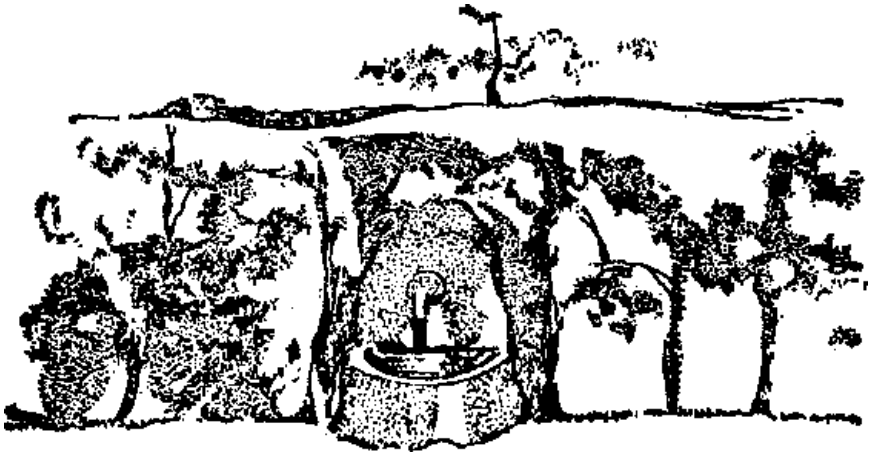
— Их счастье, — сказал стрелочник.

XXIII

— Добрый день, — сказал Маленький принц.

— Добрый день, — ответил торговец.

Он торговал самоновейшими пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю — и потом целую неделю не хочется пить.



— Для чего ты их продаешь? — спросил Маленький принц.

— От них большая экономия времени, — ответил торговец. — По подсчетам специалистов, можно сэкономить пятьдесят три минуты в неделю.

— А что делать в эти пятьдесят три минуты?

— Да что хочешь.

«Будь у меня пятьдесят три минуты свободных, — подумал Маленький принц, — я бы просто-напросто пошел к роднику…»

XXIV

Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды.

— Да, — сказал я Маленькому принцу, — все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил свой самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику.

— Лис, с которым я подружился…

— Милый мой, мне сейчас не до Лиса!

— Почему?

— Да потому, что придется умереть от жажды…

Он не понял, какая тут связь. Он возразил:

— Хорошо, если у тебя когда-то был друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с Лисом…

«Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча…»

Я не сказал этого вслух, только подумал. Но Маленький принц посмотрел на меня и промолвил:

— Мне тоже хочется пить… Пойдем поищем колодец…

Я устало развел руками: что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь.

Долгие часы мы шли молча. Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова Маленького принца, и я спросил:

— Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда?

Но он не ответил. Он сказал просто:

— Вода бывает нужна и сердцу…

Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать.

Он устал. Опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал:

— Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно…

— Да, конечно, — сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною.

— И пустыня красивая… — прибавил Маленький принц.

Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же тишина словно лучится…

— Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал он. — Где-то в ней скрываются родники…

Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом-престаром доме; рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован: в сердце своем он скрывал тайну…

— Да, — сказал я. — Будь то дом, звезды или пустыня — самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами.

— Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лис о м, — отозвался Маленький принц.

Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей Земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами…

Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе: трогательней всего в этом спящем Маленьком принце его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит… И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь: порыв ветра может их погасить…

Так я шел… и на рассвете дошел до колодца.

XXV

— Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищу т, — сказал Маленький принц. — Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую…

Потом прибавил:

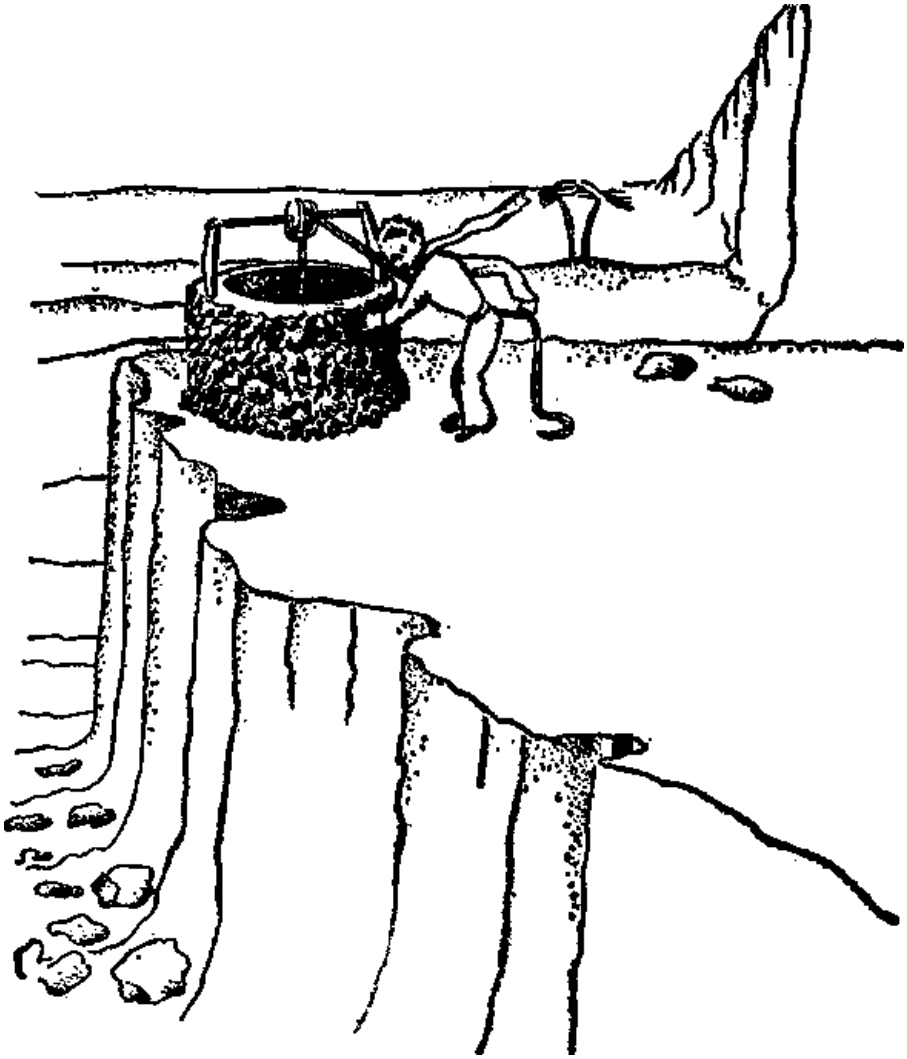
— И все напрасно…

Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец — просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но деревни тут нигде не было, и я подумал, что это сон.

— Как странно, — сказал я Маленькому принцу, — тут все приготовлено: и ворот, и ведро, и веревка…

Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии.

— Слышишь? — сказал Маленький принц. — Мы разбудили колодец, и он запел…



Я боялся, что он устанет.

— Я сам зачерпну воды, — сказал я, — тебе это не под силу.

Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пенье скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики.

— Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил Маленький принц. — Дай мне напиться…

И я понял, что он искал!

Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пеньем органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками.

— На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут…

— Не находят, — согласился я.

— А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды…

— Да, конечно, — согласился я.

И Маленький принц сказал:

— Но глаза слепы. Искать надо сердцем.

Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?..

— Ты должен сдержать слово, — мягко сказал Маленький принц, снова садясь рядом со мною.

— Какое слово?

— Помнишь, ты обещал… намордник для моего барашка… Я ведь в ответе за тот цветок.

Я вытащил из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся:

— Баобабы у тебя похожи на капусту…

А я-то так гордился своими баобабами!

— А у лисицы твоей уши… точно рога! И какие длинные!

И он опять засмеялся.

— Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать — разве только удавов снаружи и изнутри.

— Ну ничего, — успокоил он меня. — Дети и так поймут.

И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок Маленькому принцу, и сердце у меня сжалось.

— Ты что-то задумал и не говоришь мне…

Но он не ответил.

— Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю…

И умолк. Потом прибавил:

— Я упал совсем близко отсюда…

И покраснел.

И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил:

— Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?

Маленький принц покраснел еще сильнее.

А я прибавил нерешительно:

— Может быть, это потому, что исполняется год?.. И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так ли?

— Неспокойно мне… — начал я.

Но он сказал:

— Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся

завтра вечером…

Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.

XXVI

Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос.

— Разве ты не помнишь? — говорил о н. — Это было совсем не здесь.

Наверно, кто-то ему отвечал, потому что он возразил:

— Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте…

Я зашагал быстрей. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем Маленький принц снова ответил кому-то:

— Ну конечно. Ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду.

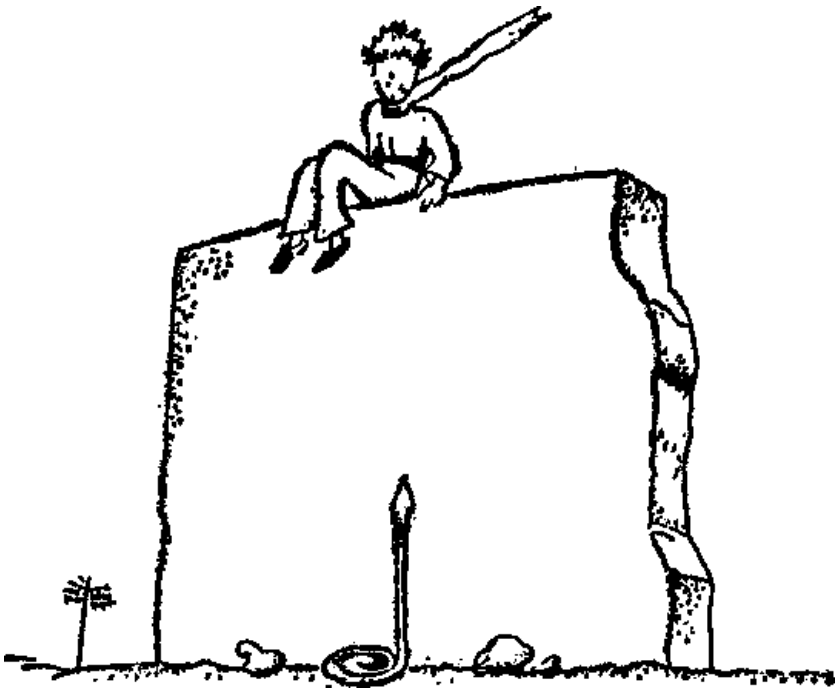
До стены оставалось двадцать метров, а я все еще ничего не видел.

После недолгого молчания Маленький принц спросил:

— А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться?

Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал.

— Теперь у ходи, — сказал Маленький принц. — Я хочу спрыгнуть вниз.



Тогда я опустил глаза да так и подскочил! У подножия стены, подняв голову к Маленькому принцу, свернулась желтая змейка, из тех, чей укус убивает в полминуты.

Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней.

Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего Маленького принца. Он был белее снега.

— Что это тебе вздумалось, малыш! — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?

Я развязал его неизменный золотой шарф. Смочил ему виски и заставил выпить воды. Но не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:

— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой…

— Откуда ты знаешь?!

Я как раз собирался сказать ему, что вопреки всем ожиданиям мне удалось исправить самолет.

Он не ответил, он только сказал:

— И я тоже сегодня вернусь домой.

Потом прибавил печально:

— Это гораздо дальше… и гораздо труднее…

Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и, однако, мне казалось, будто он ускользает, его затягивает бездна, и я не в силах его удержать…

Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.

— У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник…

И он печально улыбнулся.

Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.

— Ты напугался, малыш…

Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:

— Сегодня вечером мне будет куда страшнее…

И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.

— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься…

Но он сказал:

— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад…

— Послушай, малыш, ведь все это — и змея, и свиданье со звездой — просто дурной сон, правда?

Но он не ответил.

— Самое главное — то, чего глазами не увидишь… — сказал он.

— Да, конечно…

— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.

— Да, конечно…

— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки… Помнишь? Она была очень хорошая.

— Да, конечно…

— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто — одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды… Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю…

И он засмеялся.

— Ах малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!

— Вот это и есть мои подарок… Это будет, как с водой…

— Как так?

— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды — немые. А у тебя будут совсем особенные звезды…

— Как так?

— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!

И он сам засмеялся.

— И когда ты утешишься — в конце концов всегда утешаешься, — ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно… И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю…

И он опять засмеялся.

— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов…

И он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:

— Знаешь… Сегодня ночью… лучше не приходи.

— Я тебя не оставлю.

— Тебе покажется, что мне больно… Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.

— Я тебя не оставлю.

Но он был чем-то озабочен.

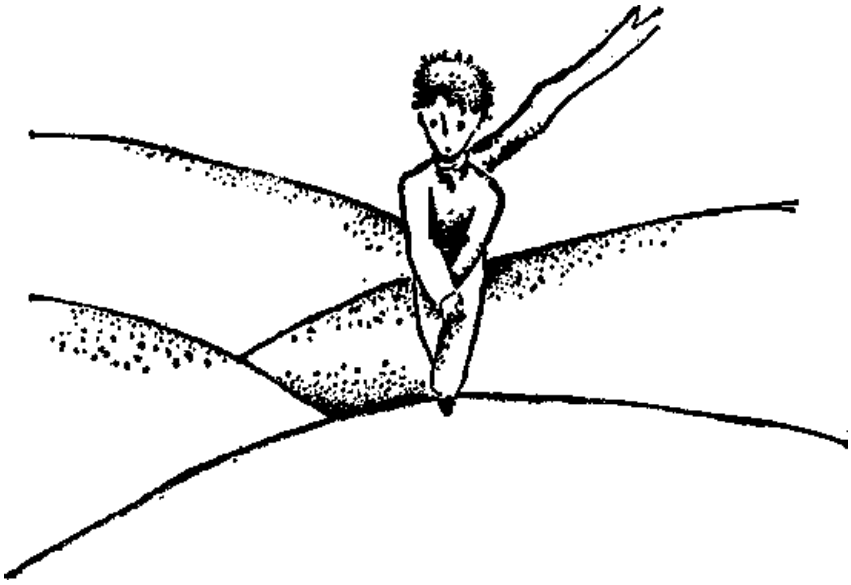
— Видишь ли… это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит… Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.

— Я тебя не оставлю.

Он вдруг успокоился:

— Правда, на двоих у нее не хватит яда…

В ту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно.



Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.

— А, это ты… — сказал он только.

И взял меня за руку. Но что-то его тревожило.

— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда…

Я молчал.

— Видишь ли… это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.

Я молчал.

— Но это все равно что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального…

Я молчал.

Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:

— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться…

Я молчал.

— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня пятьсот миллионов родников…

И тут он тоже замолчал, потому что заплакал…

— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.

И он сел на песок, потому что ему стало страшно.

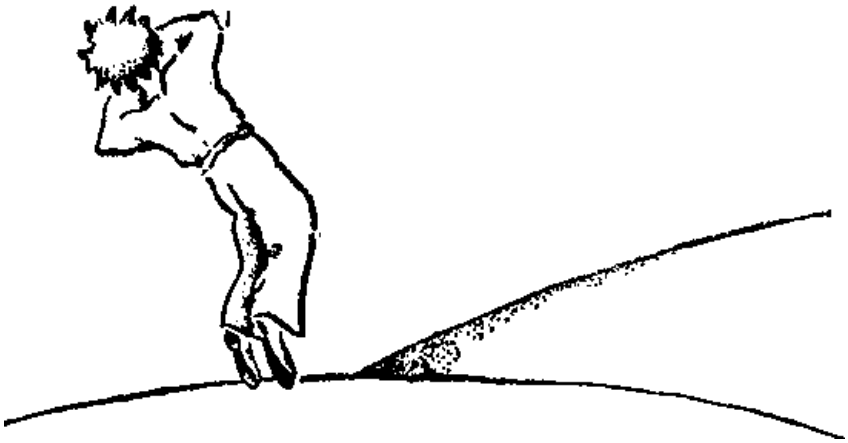
Потом он сказал:

— Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира.

Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал:

— Ну… вот и все…

Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.



Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновенье он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки.

XXVII

И вот прошло уже шесть лет… Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им:

— Это я просто устал…

И все же понемногу я утешился. То есть не совсем… Но я знаю: он возвратился на свою планетку, ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенцов…

Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок! Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя: что-то делается там, на его планете? Вдруг барашек съел розу?

Иногда я говорю себе: «Нет, конечно, нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком…» Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются.

А иногда я говорю себе: «Бываешь же порой рассеянным… Тогда все может случиться! Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек ночью втихомолку выбрался на волю…» И тогда все бубенцы плачут…

Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил Маленького принца, как и мне, это совсем, совсем не все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что где-то в безвестном уголке Вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел незнакомую нам розу.

Взгляните на небо. И спросите себя: «Жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел?» И вы увидите: все станет по-другому…

И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!

Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез.

Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали. Скорей напишите мне, что он вернулся…

Андре Дотель родился в Аттиньи (Арденны), где прошли его детские годы. Среднее образование он получил в коллеже города Отена. Учился в Сорбонне, лиценциат философии.

Вот уже полвека Дотель учительствует в провинциальных городках Франции. У истоков его творчества — стихотворная «Ясная книжица» (1928), пиетет перед Артюром Рембо, которому он посвятил этюд «Последовательность творчества Рембо» (1933).

Дотель — художник патриархального мира, Франции ремесленников, крестьян, мелких торговцев, интеллигентов-мечтателей, юных путешественников. Во многих романах Дотеля — «Нигде» (1943), «Пути-дороги» (1949), «Неведомый край» (1955), «Небо предместий» (1956) — его юные герои мечтают о необычном, они полны, смутных стремлений, их манит фантастически прекрасное и неведомое. За пределами мещанской действительности и прозаического приобретательства им чудится волшебный мир романтики. Затем для них наступает время странствий, и тогда они обретают исцеление от зыбких, невнятных видений и грез. Герой примиряется с реальной повседневностью, которую его воображение прихотливо расцвечивает, открывая в обыденном существовании неистощимый источник романтического воодушевления.

Лауреат премии Фемина за 1955 год, автор фантастического романа «Остров железных птиц» (1956), Дотель — представитель романтизма во французской литературе середины XX века.

Andre Dothel: рассказ «Радуга» («L'arc-en-ciel») опубликован в журнале «La nouvelle revue frangaise» I.X.1958, № 70.

Радуга

Замечу сразу, что семья Тароде жила целым кланом на окраине городка; у них был дом с обширным участком, а за ним простирался луг, на котором паслись три коровы. Отец, мать, два женатых сына с целой оравой ребятишек и младший сын, который в свои двадцать три года, казалось, не торопился обзаводиться семьей, — все жили вместе. У Тароде было два грузовика — они промышляли перевозкой грузов, а из живности, кроме коров, держали еще птицу и несколько коз, то и дело норовивших вскарабкаться на бочки с растительным маслом или на груды железного лома, которым торговали Тароде, — о чем я едва не позабыл сказать. Впрочем, трудно даже перечислить все, чем занимались Тароде, до того жадны были они до работы. Но, как говорится, в семье не без урода: младший сын их, Жермен, вырос на редкость беспечным малым.

Отец и старшие братья постоянно корили Жермена за лень, так что порой им даже казалось, что они придираются к нему, и тогда, без всякой видимой причины, они начинали вдруг все ему прощать. Собственно говоря, Жермен вовсе не отлынивал от работы: работа как бы сама отказывалась от него. Едва Жермен закончил школу, его посадили за руль грузовика. Но всякий раз, как он вел машину, грузовик непременно оказывался в канаве, однако при этом всегда выяснялось, что Жермен виноват лишь отчасти: Тароде — мастера на все руки — сами ремонтировали свои машины и что-то могли сделать не так. Но к этому они всегда были готовы и тут же исправляли любую неполадку. Даже если вдруг заклинивало руль или отказывали тормоза — даже такое дело было им по плечу. Один только Жермен… Решили отдать его в обучение к столяру. Но за какой кусок дерева он ни возьмется, тот сразу ломается. Со временем, правда, Жермен уразумел, что строгать дерево надо по волокну, и научился обрабатывать любые, самые трудные куски. Но вообще, что бы он ни брал в руки, все словно отказывалось подчиняться ему. Пошел работать в гараж, дело и там не клеилось. Он и себя-то чуть было не угробил. И всегда считал, что виноват он сам. Испытав его на самых разных работах, перечислять которые было бы слишком долго, ему в конце концов поручили ухаживать за садом, доить коров и коз. Эти мелкие домашние дела Тароде считали пустой тратой времени — настоящим делом была для них перевозка грузов и продажа металлолома. А Жермену нельзя было поручить даже сбор лома — в любой сделке он дал бы обвести себя вокруг пальца. Если он брался сложить лом в кучи, все рушилось с таким грохотом, что люди выбегали из дома смотреть, что случилось.

Злоключения эти не могли, само собой, нанести серьезный ущерб благосостоянию семьи. Однако прежним уважением в городке Тароде уже не пользовались. В этом проглядывали первые признаки того, что престиж семьи начал падать, и разве теперь женишь Жермена? Так прошел целый год; парень за это время успел переделать тысячу незаметных дел, и до чего же обидно было, когда какой-нибудь прохожий останавливался и, облокотившись на ограду, спрашивал: «Никак Жермен за работу взялся?»

У Тароде была своя сыроварня. Однажды Жермен пришел туда, чтобы помочь, и тут же в погребе скисло все молоко. Узнав об очередной напасти, он, по наивности, рассмеялся, а Тароде пришли в уныние: ведь столько существует на свете поверий о том, как подвержены иные сыры влиянию нечистой силы. С той поры все члены семьи (включая детей и младенцев) стали с величайшим недоверием следить за каждым шагом Жермена.

Между лугом и двором у Тароде росло несколько ив. Время от времени Жермен уходил в рощицу покурить, и все просто радовались его отсутствию, которое затягивалось иногда на целый час. «По крайней мере, хоть за это время он ничего не натворит», — говорили в семье. Но однажды Жак, старший мальчуган, отважившийся подойти к рощице, бегом примчался домой с криком: «Идите, да идите же скорей, вы только поглядите!»

Все решили, что опять стряслась беда. Отец, мать и братья — они были в кухне и собирались садиться за стол — бросились во двор. Жак приложил палец к губам, показывая, что нельзя шуметь, и все, осторожно ступая, направились к рощице. То, что они увидели сквозь листву, наполнило их сердца восхищением, гневом, отчаянием и надеждой.

Жермен стоял посреди поляны, выпрямившись, точно аршин проглотил, и жонглировал, подбрасывая своими длинными руками более полудюжины различных предметов, — консервные банки, осколки тарелок, пузырьки. Жонглировал он ими с поразительной ловкостью, и солнце освещало мелькавшие в воздухе предметы, которые создавали впечатление непрерывной цепи, то короткой, то вытягивавшейся, по желанию жонглера, в виде высокого овала. Тут церковные часы пробили полдень, и с двенадцатым ударом Жермен изящным движением собрал в изгиб локтя нелепые предметы, падавшие с неба, точно капли дождя. Тароде — и стар и млад — поспешно вернулись на кухню, чтобы Жермен и заподозрить не мог о сделанном ими открытии.

Жермен явился следом за ними. Обед прошел в полном молчании. Даже отец не вымолвил ни слова, ибо не знал, как же отнестись к тому, что он увидел, и как начать об этом разговор. Все углядели тут вмешательство нечистой силы. Лишь через несколько дней Тароде остыли и смогли хорошенько обо всем подумать. Неужели их младший сын станет циркачом? Едва это слово было произнесено,

отец не мог сдержать возмущения. Он немедленно позвал Жермена.

— Стало быть, ты хочешь фиглярничать, клоуном собираешься заделаться? А твоя семья…

Отец задыхался от ярости. Жермен ничуть не удивился, услышав такие слова. Он ничего не ответил. Подождав, пока отец даст выход своему гневу, то увещевая, то проклиная его, Жермен наконец сказал:

— Да это я просто для развлечения.

— Для развлечения?! — вскричал отец. — Ну, уж нет. Ты, как родился, только и знаешь, что дурака валять. Пора в конце концов на ноги становиться. Раз уж ты жонглер, так и жонглируй себе на здоровье, но только по-серьезному, не по-любительски, не как ярмарочный фокусник, нет: артистом надо стать, знаменитым артистом!

Но история Жермена повернулась иначе, опровергнув самые радужные и самые мрачные пророчества. Всеми событиями правил случай, и предугадать можно было лишь первое из них.

Произошло оно в тот же вечер: семейство потребовало, чтобы во дворе, между двумя грузовиками, Жермен показал свое искусство. А ему только того и надо было. Вместо грязных осколков мать дала ему старые тарелки, дабы представление производило больший эффект. Минуты две Жермен работал великолепно, а потом вдруг все тарелки выскользнули у него из рук и разбились вдребезги.

Жермен виноват в этом не был: просто тарелки оказались слишком скользкими. Правда, и в дальнейшем все его выступления перед своими неизменно оканчивались неудачей, хотя начинал Жермен всегда блестяще. Тем не менее после горячих споров семейный совет постановил, что Жермен все же не лишен кое-каких способностей и что он должен искать свою дорогу в жизни. На том и была поставлена точка. Итог всему подвел папаша Тароде, высказав суждение, на мой взгляд, несколько спорное: «Вообще-то говоря, Жермен у нас интеллигент».

И вот, благодаря пущенным в ход связям, Жермен поступил на работу к городскому нотариусу.

На сей раз успех был полный. Писал Жермен грамотно. Он очень быстро усваивал юридические обороты. Вечерами учился печатать на машинке. И мэтр Ланд не мог им нахвалиться.

А пока Жермен Тароде готовился к тому, чтобы стать клерком, ему приходилось по нескольку раз в день бегать по городу с различными поручениями. Благодаря этому он и встретил Жюльетту Ланд.

Жюльетте исполнилось лет пятнадцать. Она была единственной дочерью, и родители исполняли все ее капризы. Она никогда не пользовалась их слабостью — лишь настояла, чтобы ее не отдавали в пансион, а разрешили заниматься дома с педагогом и учителем музыки. Так что Жюльетта почти всегда была в бегах. То она носилась, как мальчишка, забыв всякие приличия, то вдруг на нее что-то нападало — и она принималась красить губы и подрисовывать брови. На все это Жермен не обращал никакого внимания, да и Жюльетта тоже вовсе им не интересовалась.

Но случилось так, что они встретились. Это было летом. Жермен, выполнив все поручения, не спеша бродил по маленьким улочкам, а Жюльетта слонялась по городку, мечтая об идеальной любви. При первой встрече Жермен вежливо раскланялся с Жюльеттой и завел речь о погоде. Встретившись с нею второй раз, он сказал что-то насчет засухи, а потом довольно бессвязно и с самым безразличным видом сообщил девушке о том, чем занимается его семья, поделился своими невзгодами, поведал о том, как любит бродить по окрестностям. В свою очередь, Жюльетта упомянула общеизвестные события городской жизни и рассказала, куда собирается в ближайшее время. Свидания эти длились не более пяти минут, и ничего особенного в них не было. Иногда, уже распрощавшись, они оборачивались, чтобы еще раз обменяться взглядом. Жюльетта улыбалась. Но дальше этих бесед дело не шло — они даже не вспоминали друг о друге. Жермен был слишком взрослым для Жюльетты: она пока лишь по-детски мечтала о любви.

Никогда еще Жермен не ощущал вокруг такой пустоты, такого безразличия. Ни семья, ни знакомые не проявляли к нему никакого интереса. Он был теперь пристроен и жил словно в шапке-невидимке. Жермен по-прежнему любил одиночество и всякий раз, побыстрее выполнив поручения, делал крюк, чтобы пройтись по зеленым улочкам, опоясывающим городок. Иногда он вытаскивал из кармана несколько монеток и мимоходом начинал жонглировать ими. Жонглировать столь легкими предметами не так-то просто, но Жермену это удавалось, стоило ему очутиться одному среди домов или садовых изгородей. Однако куда бы Жермен ни забрел во время своих коротких странствий по городским закоулкам, редко случалось, чтобы он не встретил Жюльетту. По странной случайности, не меньше двух раз в день они внезапно сталкивались на каком-нибудь тротуаре или в переулке, и всегда это вызывало у них величайшее изумление. Перебросившись несколькими словами, они расходились, исполненные решимости избегать встреч. Но это им не удавалось. Они встречались на мосту через реку, во дворе и даже в коридоре нотариальной конторы.

Начались пересуды. Вскоре Жермен понял, что семейство недовольно им. А потом наступил день, когда мэтр Ланд, едва войдя в контору, вызвал его к себе.

— Вам должно быть стыдно, — сказал он Жермену, — увиваться за пятнадцатилетней девочкой, которая к тому же вам вовсе не пара. Мне было жаль вас, и я постарался сделать из вас хорошего работника. Вы же платите мне черной неблагодарностью.

Жермен словно упал с небес на землю.

— Я не прошу у вас объяснений. Моя дочь просто смеется над вами. Она ни в чем не повинна, но мне противны все эти разговоры. Люди в один голос утверждают, что вы с дурацкой настойчивостью преследуете Жюльетту. Грех невелик, потому и расплата будет легкая. Я разговаривал с вашим отцом. Он согласен с тем, чтобы вы сегодня же покинули нашу контору и перешли к моему коллеге и другу, практикующему в Верхней Вьенне. Выбора у вас нет. Месье Тароде обещал мне, что выставит вас из дома, если вы откажетесь. Вот ваше жалованье за последние три недели. Потрудитесь пересчитать.

Жермен пересчитал. И бросил взгляд в окно. В эту секунду по тротуару проходила Жюльетта. Она взглянула на него и, как всегда, улыбнулась. Но это ничего не означало. Она была тут ни при чем, и ее ничуть не интересовало, здесь Жермен или где-то в другом месте. Жермен положил деньги в карман и поблагодарил мэтра Ланда.

— Через два дня вы получите письмо от моего коллеги, который даст вам необходимые указания. Я только что звонил ему по телефону.

«Верхняя Вьенна, — думал Жермен, — интересно, что там за места?» Он вышел из кабинета, прошел по коридору и толкнул дверь на улицу. Верхняя часть улицы была совершенно пустынна, тогда как внизу, возле большой площади, группами стояли люди и что-то обсуждали. Жермен предпочел подняться вверх: после того, что произошло, он не слишком спешил вновь очутиться в лоне семьи. Он миновал жандармерию и решил идти дальше по дороге.

Проходя мимо изгороди, он подобрал какую-то палку, затем увидел валявшийся в канаве старый кофейник и принялся подбрасывать его кверху и ловить концом палки так, чтобы каждый раз он падал на нее другим боком. Вскоре Жермен пустил в ход еще пару бутылок, которые нашел среди мусора, благо мусора на этой городской окраине хватало. Потом он свернул влево и по безлюдной дороге дошел до самого леса. Он думал, что в тот день не встретит Жюльетту. Впрочем, встретит или нет, было ему все равно, — просто он порадовался бы еще раз ее улыбке, которая значила для него не больше, чем васильки или цикорий, растущие у дороги. Знак дружеского участия, не таящий в себе особого смысла, всегда приятен.

А Жюльетта тем временем направилась к жандармерии. Она приходилась крестной малышу одного из жандармов, семье которого Ланды покровительствовали еще с давних времен (один из предков этого малыша служил егерем у деда мэтра Ланда). В тот день Жюльетта разыгрывала из себя даму. Однако, заметив человека, подбрасывающего концом палки кофейник, она заинтересовалась этим зрелищем и, не удержавшись, пошла следом за ним. Она не узнала Жермена, так далек он был от ее мыслей. Человек шел очень медленно, время от времени останавливался и усложнял свои упражнения, а когда он свернул на дорогу, ведущую к лесу, Жюльетта уже была как в плену. Человек между тем водрузил на палку весьма хрупкое сооружение из двух бутылок и легко нес его над зреющими хлебами. И то, что выглядит смешным и жалким на сцене мюзик-холла, вдруг обрело свежесть и новизну в исполнении незнакомца, проделывавшего сложнейшие трюки среди пустынных полей просто так, ни для чего. Жюльетта все ждала, что сооружение его вот-вот развалится, но ни один из предметов не падал.

Лес действительно оказался совсем рядом. Большим клином он вдавался в равнину. Клин этот пересекала широкая аллея, что вела прямо к реке. «Вернуться я могу берегом», — подумала Жюльетта. В самом деле, путь этот был не такой уж длинный.

Войдя в лес, Жермен прекратил свои упражнения. Он бросил бутылки, кофейник и даже палку. Остановившись, Жюльетта смотрела, как его силуэт мало-помалу растворяется в глубине широкой аллеи. Вот тут она и подумала, уж не Жермен ли это. Она знала, что в тот день он должен покинуть контору. И хотя Жюльетта не придавала этому никакого значения, ей вдруг захотелось перекинуться с молодым человеком несколькими словами и посмеяться над тем, как он будет удивлен, неожиданно встретив ее. Если только это действительно он… Пари, которое она сама с собой заключила, увлекало ее тем более, что ей до смерти хотелось узнать, кто же он, этот жонглер. Да и других дел у нее сегодня не было. И она побежала по аллее.

Когда живешь в городе, иной раз вовсе не замечаешь, какая стоит погода, пока дождь вдруг не спутает все твои карты. Этим летом по ночам часто бывали сильные грозы. Но днем светило солнце, и о грозе тут же забывали. В этот послеполуденный час ни Жермен, ни Жюльетта не обратили внимания на то, что тучи в необычное время все больше заволакивают небо. Жюльетта находилась в

двадцати шагах позади Жермена, которого она теперь, когда полыхнула первая молния, безошибочно узнала. И почти тотчас на лес с оглушительным шумом обрушился поток воды.

Все вокруг переменилось. Жермен вдруг резко обернулся, и Жюльетта бросилась к нему. Конечно же, они должны были встретиться, куда бы они ни шли, какая бы ни стояла погода, хоть и не было между ними никакой любви, никаких чувств — ничего. Сквозь пелену дождя Жюльетта ласково улыбнулась ему. В ответ Жермен лишь положил руку ей на плечо.

— Что вы тут делаете? Идемте, надо побыстрее куда-нибудь спрятаться.

Он потянул ее за собой. Они побежали под проливным дождем, мгновенно вымокнув до нитки.

— Река здесь совсем рядом, — произнес Жермен, переведя дух. — А прямо на берегу стоят две-три рыбацких хижины.

Лес кончался на вершине холма, спускавшегося к реке, Жюльетта и Жермен быстро добежали до конца аллеи. Аллея же упиралась в дорогу. Чтобы добраться до реки, нужно было свернуть на борозду, разделявшую два поля. Еще сотня шагов — и начинался луг, сбегавший к невысокому, не больше метра, обрыву — как раз под ним вдоль реки вилась тропинка.

Выйдя из леса, Жермен и Жюльетта на мгновение замерли, остановленные порывом ветра, плеснувшим в лицо им ушаты воды. Своею косой Жюльетта больно хлестнула Жермена по щеке. И тут же они услышали, как позади них, в лесу, молния расщепила дерево. Раскаты грома раздавались почти непрестанно.

— Ну и гроза! — промолвил Жермен.

Жюльетта схватила его за руку. Он обнял ее. Легкое платьице так плотно облегало тело Жюльетты, что казалось, будто платья на ней вовсе нет.

Они прошли по борозде, пересекли луг. Жюльетта не произнесла ни слова. Когда они добрались до обрыва, она высвободилась из объятий Жермена и улыбнулась ему.

В эту секунду ветер подул с такой силой, что едва не оторвал их от земли. Ослепительная молния сверкнула совсем рядом. И они единым рывком спрыгнули с обрыва.

Они не знали, что от частых гроз, бушевавших на прошлой неделе, вода в реке сильно поднялась, и сразу очутились в ней по пояс. Все было бы ничего, если бы дно не оказалось таким скользким. Но оно тут же ушло у них из-под ног, и их, точно перышки, понесло на середину реки.

Они поплыли, даже не сообразив еще, что произошло. Они думали только о том, чтобы держаться рядом. Дождь и ослепительные молнии мешали видеть берег. Уцепиться за торчавший из воды куст они не успели. И тотчас очутились посреди необъятного, как им показалось, водного пространства.

Однако, несмотря на водовороты и изрядные волны, на реке было все-таки довольно спокойно, словно гроза обрушилась лишь на землю и на то, что произрастало из нее. Жермену удалось наконец прижаться плечом к плечу Жюльетты.

— Ну, как, держитесь? — спросил он ее.

— Стараюсь. А ты?

«Ты?» Разумеется, она произнесла это просто так. Но вот она повернула к нему лицо. И Жермен увидел сияющие и восторженные, карие лучистые глаза. Он повторил: «Ты».

Однако ничего от этого не изменилось, словно ничего и не было сказано. Были просто Жермен и Жюльетта, продрогшие и слившиеся с этим мутным потоком; они чувствовали, как бьются рядом их сердца, но сердца эти были пусты. «Что с нами будет?» — подумал Жермен.

Выбраться из воды оказалось труднее, чем они предполагали. Неожиданно они наткнулись на колючую проволоку и поцарапали себе лица, а Жюльетта, к тому же, запуталась в проволоке волосами. Целых десять минут Жермен помогал ей высвободиться. Когда же наконец ему это удалось, оба начали терять дыхание, ибо все это время им приходилось еще бороться с сильным течением.

— Переворачивайся на спину! — крикнул Жермен.

И они поплыли на спине, уже не видя друг друга. Внезапно Жермен ударился головой об острую корягу и потерял сознание. Жюльетта вдруг увидела на себе ноги Жермена. Она быстро перевернулась и ухватила его за щиколотки. К счастью, вскоре их прибило к берегу в том месте, где начинался пологий луг. Девушка поднялась на ноги и вытащила Жермена на сушу, однако тут же, обессиленная, рухнула возле него. В эту секунду Жермен открыл глаза. Совсем рядом сверкнула

ослепительная молния. Он всем телом прижался к Жюльетте, и больше они уже ничего не помнили. Можно ли вообразить объятия более невинные, чем эти?

Иные рассказывают, что оба они тут же и умерли. Однако, хотя они как бы и впали в небытие, история их, как вы увидите, на этом не кончается.

Гроза бушевала еще около часа. Некий фермер, находившийся в то время в коровнике на дальнем конце луга, вдруг заметил радугу. Правда, виднелась лишь часть ее, но удивило его то, что она была очень широкая и сияла совсем рядом. Фермер разглядывал ее очертания и вдруг прямо под радугой увидел два бездыханных тела: то были Жермен и Жюльетта, лежавшие в объятиях друг друга. Фермер бросился к ним сквозь пелену мелкого дождя, моросившего после бури, и изо всех сил принялся их тормошить, чтобы привести в чувство. Потом он потащил их, точно картонных марионеток, волоком по траве. Наконец Жермен и Жюльетта пришли в себя, встали и, уцепившись за фермера, побрели, с трудом переставляя ноги.

На ферме им постелили постели и уложили. Немало пришлось потрудиться, чтобы вернуть их к жизни. Жюльетту отец увез на другой же день. Ферма находилась в пяти километрах от Эгли (так назывался городок). Что же до Жермена, он две недели то и дело впадал в забытье. Семья отказалась ухаживать за ним. Нотариус сообщил Тароде, что Жермену, по всей вероятности, придется предстать перед судом за то, что он пытался совратить пятнадцатилетнюю девочку и потом бросил ее в воду. Жюльетта, по словам мэтра Ланда, якобы так и заявила.

Узнав о том, что ему грозит, Жермен не обратил на это никакого внимания. Фермер же готов был для Жермена на все. Он оставил его у себя, вместо того, чтобы отправить в больницу, а один из его друзей, живший в городке, дал ложные показания, будто во время грозы находился на другом берегу и сам видел, как Жермен прыгнул в воду на помощь девушке, которая, оступившись, упала в реку.

Словом, ложь и с той и с другой стороны. Едва оправившись, Жермен попросил разрешения остаться на ферме. Жюльетту родители отправили в Англию, где она провела пять лет. А вот об их дальнейшей истории людям почти ничего не известно.

Жермен со временем стал превосходным фермером. Получив свою долю отцовского наследства, он купил небольшую ферму в нижней Нормандии, близ Тиквиля. Там он целиком ушел в хозяйственные заботы, работал не покладая рук, ложился поздно, вставал до рассвета и спал тяжелым сном труженика.

Жюльетта, вернувшись из Англии, поступила в какую-то заводскую контору одного из парижских предместий. Она снимает скромную комнатку, где по вечерам еще занимается сверхурочной работой.

Ни Жермен, ни Жюльетта никогда не пытались увидеться. Напротив, оба они целиком погрузились в дела, как будто ничего больше знать не желают. Только далекие юношеские воспоминания еще согревают их души, хотя они и слывут какими-то странноватыми. Так и влачат они серое, однообразное существование, ища лишь полнейшего покоя, словно ничто в жизни не желают менять и хотят навеки остаться погруженными в то самое небытие, в котором они однажды соединились, ничего не сделав для того, чтобы свершилось чудо их нечаянной встречи. И никому не понять, откуда в них эта безграничная верность друг другу.

Всякий раз, как начинается гроза, оба они выходят из дома. Жермен уходит в поля, а Жюльетта бросает свою работу и отправляется бродить по улицам предместья. Именно эта их привычка и помогла мне отыскать обоих, ибо о них далеко расползлись тысячи слухов, дошедших и до Эгли. Так и уходят они сквозь дождь и вспышки молний. И им довелось узнать, что есть молнии, из конца в конец прорезающие небо, есть другие, расщепленные, и есть еще шаровые, залетающие в окна. А иные молнии похожи на ангелов.

Люди поговаривают, что когда-нибудь они не вернутся со своих странных прогулок. Они же сами свято верят, что наступит день и их вместе поразит последняя молния, которая падет на них с неба или вспыхнет в глубине их сердец, как в тот миг, да, совсем как в тот миг, когда однажды они упали под радугой. И тогда правда наконец восторжествует.

Жорж Коньо — не профессиональный писатель. Всего лишь раз в жизни пришлось ему обратиться к художественной прозе. Тем не менее выпущенный им в 1947 году сборник рассказов «Побег» вполне органично вошел в историю французской литературы, посвященной второй мировой войне.

В характерах борцов против фашизма, созданных Коньо, доминирует черта, в высшей степени присущая и ему самому, — непоколебимая стойкость, безоглядная убежденность в своих идеалах. Эта черта определила характер всей жизни Ж. Коньо и ту роль, которую он сыграл во французском коммунистическом движении.

Член ЦК ФКП (1936–1944), редактор газеты «Юманите» (1937–1949), депутат Национального собрания (1946–1958), сенатор (с 1959 г.) — вот лишь основные этапы политической деятельности Жоржа Коньо.

Видный философ-марксист, автор работ по истории философии, истории религии и теории коммунистического движения, Коньо много сделал для развития общественной мысли во Франции. Именно он совместно с П. Ланжевеном, выдающимся ученым-физиком и борцом за демократию, организовал издание журнала «Пансе», одного из наиболее прогрессивных печатных органов в современной Франции.

Свое писательское дарование Коньо также поставил на службу тому делу, которому отдал всю жизнь. Узник фашистского концлагеря, он своими глазами видел измученных, голодных людей, заполнявших темные и грязные бараки, видел колючую проволоку и нацеленные с вышек пулеметы фашистских тюремщиков, видел заложников, которых выводили на расстрел чуть ли не каждый день. Но он видел и другое — человеческую солидарность заключенных, готовых в любую минуту поддержать слабого, протестовать против произвола лагерного начальства, даже рискуя своей жизнью; видел людей, в тяжелейших условиях сохранивших силу духа, честность и щедрость сердца; видел коммунистов — организаторов лагерного подполья, сплотивших вокруг себя всех, кто имел силы, бороться с фашистами. Таким коммунистом был и сам Коньо, руководивший побегом из концлагеря группы, товарищей летом 1942 года.

Персонажей своих рассказов, их взаимоотношения, их судьбы — все это в большинстве случаев Коньо взял прямо из действительности. Сборник «Побег» — это сборник рассказов о подлинных эпизодах лагерной жизни, свидетельство очевидца и участника описываемых событий.

Сила Коньо-повествователя — в непритязательной простоте изложения. Автор не стремится к эффектным ракурсам в обрисовке персонажей, к резким поворотам сюжета, к сложной композиции. Он как бы заставляет говорить саму жизнь. Это стремление к достоверности, стремление превратить свои рассказы — даже в тех случаях, когда в них есть элемент вымысла и художественной драматизации, — в документ, свидетельствующий о мужестве тех, кто перед лицом смерти и страданий не поступился ни каплей человеческого достоинства, составляет одно из наиболее привлекательных качеств прозы. Жоржа Коньо.

Georges Coynoй «L'evasion» («Побег»), 1947.

Рассказ «Последнее письмо» («La derniere lettre») входит в указанный сборник.

Последнее письмо

Снег, гонимый северным ветром, ложился плотными слоями на нижнюю часть окна без занавесок. Три солдатских койки с соломенными тюфяками, поставленные впритык к стенам — две по одну сторону и одна по другую, — да печурка в глубине загромождали эту узкую, как кишка, каморку, бывшую спальню какого-нибудь унтера. Узлы белья и одежды лежали у изголовья коек и по углам комнаты. На стенах уже не видно было грубо сколоченных деревянных полок: их давно сняли и пустили на дрова. В этот вечер яркое пламя, охватившее бумагу и гнилой картон, подобранные в куче отбросов, вскоре потухло, так и не нагрев помещения.

В окно проникал мутно-желтый свет зимних сумерек, небо нависло над землей, и видимость была так ограничена, воздух вокруг казался таким до странности тяжелым и плотным, что не было никакой надежды на связь с внешним миром, с тем миром, где пульсирует горячая, живая жизнь. О, это жуткое ощущение замкнутого пространства, полной оторванности от людей, одиночества среди промерзших стен, перед пеленой тумана, которая медленно, неумолимо надвигается, близится, чтобы лишить вас воздуха, придавить к перегородке, погрузить в ледяное небытие…

Три женщины, которые, закутавшись в верхнюю одежду и платки, сидели — одна на койке, а две другие на стульях у обшарпанного стола, с трудом могли различить даже немецкого часового, притаившегося в будке в двадцати шагах от дозорного пути, прямо против проволочного заграждения.

Та, что примостилась на койке возле окна, поджав под себя ноги и укрывшись старой гимнастеркой, читала с таким вниманием, что ни разу не подняла головы. Она держала книгу своими длинными тонкими пальцами, и лицо ее сразу покоряло своеобразной красотой, хотя с первого взгляда и трудно было уловить в нем что-либо, кроме задумчивой и скромной прелести. Но вскоре вас поражало сходство этой тридцатилетней заключенной — ее лица, светло-русых волос и гибкого стана, чистота линий которого угадывалась под складками одежды, — с юными и гордыми женщинами, тип которых воплощен в мадоннах итальянских примитивистов.

Из-под шерстяной косынки, наброшенной на голову, как покрывало, выбивалась прядь волнистых волос, а их густые, почти белокурые завитки спускались вдоль щек, обрамляя тихо склоненное лицо. Лоб у нее был очень большой и очень белый, над опущенными веками взлетали легкие брови, начинавшиеся высоко над переносицей. И с лица не сходила невольная загадочная улыбка тонких сомкнутых губ, озарявшая его гармоничные черты, — изящный, прямой нос, гладкие, нежные щеки и слегка выступающий вперед подбородок; небольшая складочка над округлостями полноватой груди как будто и та улыбалась.

Две другие женщины, сидевшие у стола, были, напротив, низенькие и коренастые. По виду им было от силы двадцать лет. Одна из них, брюнетка, — густые, вьющиеся волосы, мягкий взгляд больших темных глаз, крупный нос, свежий цвет лица, пухлые руки, певучий голос и уверенная, властная жестикуляция, свойственная учительницам, — что-то диктовала своей подруге.

Рука ученицы дрожала, и перо царапало по бумаге, потому что писала она плохо, потому что ей было холодно, а также потому, что на ее правой руке не хватало указательного пальца. Как-то вечером, после утомительного рабочего дня, палец этот попал в зубчатую передачу машины на печально известной руанской прядильне, и его оторвало у самого основания. И хотя сосредоточиться ей было трудно и руки у нее окоченели, она добродушно и спокойно улыбалась, склонившись над тетрадью. От тяжелых пепельных волос еще нежнее казалось ее круглое детское лицо с голубыми глазами, которое оживлялось порой, когда молодая женщина морщила свой вздернутый нос или нетерпеливо хмурила лоб.

Нескончаемо тянулся для трех женщин этот столь безотрадный день в долгой череде таких же безотрадных дней.

Когда стемнело и стало плохо видно, диктант прекратился. Молодая женщина протянула тетрадь учительнице, отодвинув стул, выпрямилась, и сразу стало заметно, что она беременна. Марта, та заключенная, что читала книгу, в свою очередь, подняла голову и вместе с подругой, проверявшей диктант, постаралась ободрить ученицу. Из-за своей беременности, молодости, бедности и одиночества Жанна была как бы приемной дочерью всех заключенных. Женщины баловали ее, делились с ней лакомствами и теплыми вещами, если им случалось получить посылку. И при каждом подарке Жанна, как девочка, хлопала в ладоши, расточала нежные ласки своим покровительницам, дурачилась и смеялась. Она недурно пела, была неистощима на всякие выдумки, любила рассказывать забавные истории и, гадая на картах, предрекала с самым невозмутимым видом такую веселую чепуху, что, глядя на ее серьезное личико, даже отчаявшиеся начинали улыбаться и с удивлением чувствовали, как возвращается к ним сила воли, готовность выстоять до конца. Отчасти из-за своих причуд и затей Жанна стала для пятидесяти женщин, заключенных на задворках старой казармы Иль-де-Франса, чем-то вроде доброго гения, ибо все в ней говорило о надежде, о жизни, возрождающейся несмотря ни на что. Ее не столько жалели,

сколько ценили за мужество.

Теперь, когда наступили гнетущие сумерки, когда от холода, более жестокого, чем голод, ломило поясницу и ноги, когда уже нельзя было ни читать, ни шить, когда воспоминания и тоска невольно бередили сердце, Жанна, сдавшись на просьбы Марты, заговорила.

Безыскусственно, монотонным голосом, она рассказала о своей прошлой жизни, обычной жизни бедняков в зловонном квартале портового города. Она вспоминала о своем отце-докере, суровом человеке, который рано состарился от тяжелой работы и алкоголя и превратился в опустившегося безжалостного прихлебателя, о своей матери, бессловесной рабыне, обремененной заботами о хлебе насущном. Она описала трудные времена, когда после болезни детей семья осталась среди голых стен, ибо вся мебель была продана, вплоть до деревянных рам кроватей. Припомнила ненастные вечера, когда, дрожа от холода, она, с большой корзиной в руках, пробиралась сквозь туман, по пристани, между грудами угля, чтобы принести топлива и хоть немного обогреть промозглую комнату. Она поведала о своей горькой безнадзорности, о том, что ей часто приходилось пропускать занятия в школе, о братьях, в малолетстве унесенных смертью, о тумаках и подзатыльниках, которыми приходилось расплачиваться за яблоко, стащенное у торговца…

Лишь изредка в ее бесстрастном повествовании проглядывало возмущение. Она не могла спокойно говорить о воскресных днях, еще более печальных, чем будни, ибо по воскресеньям, после тяжелой трудовой недели, мать с утра до ночи стирала, чинила, штопала без передышки, без просвета, и так из года в год; не могла она спокойно говорить и о том, как пошла работать на прядильную фабрику, где ей в ее двенадцать лет не сладко пришлось от пронизывающей сырости помещения и от охлопков, которые носились в воздухе и не давали дышать.

Затем, зная, как любят ее обе подруги, она заговорила без ложного стыда о счастье всей своей жизни. В 1936 году ей исполнилось шестнадцать лет; великий порыв захлестнул, преобразил ее, и за несколько часов девочка повзрослела, забитая рабыня стала борцом, жаждущим справедливости и свободы. Она взяла слово на фабричном собрании и поведала так же бесхитростно, как и в этот вечер, о тяжкой доле бедняков, а вскоре выступила и на городском митинге. В те лихорадочные и памятные дни она заметила однажды устремленный на нее взгляд чьих-то светлых глаз.

Перед огромной толпой, собравшейся под открытым небом, выступал незнакомый парень. Лицо у него было доброе и волевое, волосы аккуратно расчесаны на пробор. Он стоял на широких плечах своих товарищей, побледневший от волнения, словно девушка, и тоже говорил просто, по-рабочему, то и дело поглядывая на Жанну. Она невольно улыбнулась ему. Несколько месяцев спустя они поженились. Они были очень счастливы, о таком счастье она не могла и мечтать. У них родилась дочка, которая, к сожалению, была теперь в больнице, а бабушка в своем последнем письме даже не сумела объяснить, чем больна девочка. Все женщины в лагере видели фотографию ее Жизели. Жанна часто показывала им свою четырехлетнюю дочурку в кокетливой зимней шапочке с двумя торчащими ушками, наподобие кошачьих, которая очень шла к ее кругленькому личику, серьезному и немного грустному: сразу было видно, что девочка унаследовала мягкий, но упорный характер своего отца.

А отец ее тоже находился в концлагере, в другом далеком лагере. Уже целый месяц от него не было вестей.

Вот и все, Жанне больше нечего было сказать; это была вся ее жизнь. В темноте подруги не видели лица молодой женщины, но по звуку голоса они поняли, что она ни о чем не жалеет.

Когда в каморке зажегся наконец свет, глаза ее были сухи… Из коридора донесся звук шаркающих шагов, отворяемых и затворяемых дверей — началась вечерняя раздача. Дрожащими от холода руками женщины взяли свои кружки.

Пойло, пахнущее веником, которое они получили, не вызывало ничего, кроме отвращения. Но эта тошнотворная бурда все же была горячей, и, если удавалось растворить в ней немного сухого бульона, ее вполне можно было проглотить.

Дверь отворилась; вошли трое поваров, тоже из заключенных, неся дымящееся ведро, полбуханки солдатского хлеба на трех женщин и полагающуюся им крошечную порцию эрзац-повидла. Все они были хорошими товарищами, и редкий вечер приходили без запретного сокровища под одеждой — пяти-шести поленьев, которые они ухитрялись стащить для беременной заключенной.

— Привет всей честной компании! — сказал Ракадо.

Затем, поскольку раздача подошла к концу, а время у него еще было, он стал растапливать печку.

Ракадо считался самым веселым и услужливым из заключенных, выполнявших хозяйственные функции в лагере. Бывший маляр и ярмарочный фокусник, он не раз развлекал и мужчин и женщин, рассказывая всякие были и небылицы о своей бродячей жизни. В лагере его прозвали «Серебристым» из-за истории с серебристым тибетским индюком, в сущности, самым обычным

индюком, шею и лапки которого он искусно выкрасил алюминиевой краской, что больше месяца приносило ему доход на рынках и на ярмарках Иль-де-Франса и Дрё вплоть до Суассона. Но этот жизнерадостный малый был вместе с тем мужественным человеком и хорошим советчиком, который руководил в лагере всей подпольной работой.

— Узнал кое-какие новости, — сказал он. — Случилось это позавчера при переброске в лагерь партии женщин… Взгляни-ка, Марта, — внезапно заключил он, — что пишут эти сволочи!

И Ракадо вытащил из кармана местную газету «Эко де л'Эн», где под рубрикой, посвященной городу N., Марта увидела напечатанное жирным шрифтом сообщение, которое она и прочла вполголоса своим подругам:

— «Уведомление супрефектуры. По приказу коменданта округа супрефект доводит до сведения жителей города N., что конвойные получили приказ пускать в ход оружие против всякого, кто криками или любым другим способом станет проявлять свои чувства при прохождении колонн заключенных, направляющихся в местный лагерь или следующих из него. Напоминаем населению, что колонны эти состоят по большей части из уголовных элементов и проституток, и, следовательно, любое проявление сочувствия по отношению к ним недопустимо».

— Да, — продолжал Рикардо, когда чтение было закончено, — вот как они нас обзывают… А вздумаешь протестовать, так будешь еще в ответе за то, что раздобыл этот листок.

Обе молоденькие заключенные сидели потупившись. Голос Марты слегка дрожал, когда она снова заговорила:

— Будь что будет, но так это оставлять нельзя. Я завтра же поговорю с женщинами, и мы пошлем коллективный протест начальнику лагеря.

И как только Рикардо, простившись, вышел в коридор с пустым ведром, стуча своими деревянными башмаками, молодая женщина села писать проект текста. Ее подруги намазывали эрзац-повидло на тонкие ломтики хлеба и молчали. Было тихо, только где-то в другом бараке вдруг заиграл аккордеон, но мелодия тут же оборвалась на душераздирающей ноте. Затем в соседней комнате раздались шаги — это женщины ходили взад и вперед, чтобы согреться, и надсадно закашлялась какая-то больная. Но куда хуже одиночества, голода, пронизывающего, жестокого холода было чувство унижения, вызванное оскорбительным поступком этих негодяев и их французских прихвостней.

…Часов в шесть вечера, как обычно, Эрих со своим неизменным псом приступил к первому обходу. Еще издали донесся звук его нетвердых шагов по плиточному полу. И как обычно, дойдя до этой камеры в конце коридора, он отворил дверь. В женском блоке заключенные неизменно отказывались вставать перед дежурными охранниками; при появлении Эриха ни одна из трех женщин даже не повернула головы. Но когда он остановился прямо против них под электрической лампочкой и протянул руки над чугунной печкой, они заметили, что он опять напился.

Этот огромный детина, ростом не меньше метра девяносто, хвастал тем, что он профессиональный боксер. Он охотно показывал свои руки, которые более всего напоминали руки убийцы. Было известно, кроме того, что он жесток, и даже свою собаку, великолепную овчарку, так нещадно избивает, что, несмотря на всю дрессировку, та раза два его укусила.

Эрих знал всего несколько слов по-французски, но когда бывал пьян, даже этих слов не мог выговорить. Так было и в этот вечер. Он молча стоял в своей съехавшей на затылок пилотке, переступая с ноги на ногу, и в такт его движению поводок неподвижно сидевшей собаки переходил из одной его руки в другую. Глаза его влажно блестели, отяжелевшее, грузное тело покачивалось из стороны в сторону, и это равномерное, судорожное движение походило на метание хищного зверя за решеткой клетки. Плотоядная и глуповатая улыбка — единственный проблеск чего-то человеческого — застыла на его широкой красной физиономии с засохшей слюной в уголках рта.

Затем он протянул женщинам сигареты, от которых они отказались. Наконец с тем же выражением тупого и упрямого ожидания принялся теребить свой револьвер, тряся его за ремень и щелкая предохранительным взводом. И взгляд его был неизменно устремлен на Жанну…

Так повторялось изо дня в день. Еще хорошо, если он не появлялся при повторном обходе, часов в девять вечера, когда женщины уже ложились спать, и не задерживался у них до тех пор, пока ему не надо было возвращаться в дежурную комнату. А если выпито было особенно много, он рылся в узлах заключенных и, найдя что-нибудь из женского белья, хватал эту вещь своими волосатыми, как у обезьяны, ручищами и долго размахивал ею под лампой, то и дело поднося к лицу; ноздри у него раздувались, дыхание становилось прерывистым.

Иной раз, пошатываясь, он пытался сесть на койку Жанны, скатывался на пол от резкого движения молодой женщины, испускал злобное ворчание и направлялся к двери, опрокидывая по дороге стол и стулья. И сразу же доносилось из коридора рычание собаки, которую он яростно избивал. Надо

было радоваться, что на этот раз он держался более или менее спокойно.

В другом конце коридора чей-то голос крикнул: «Почта, почта!»

Захлопали двери всех камер, и, весело переговариваясь, женщины бегом бросились в канцелярию начальника блока. Письма были той моральной поддержкой, которую заключенные с нетерпением ждали в течение двух или трех бесконечных недель, а иной раз и дольше, если лагерная цензура не слишком торопилась, единственной минутой радости после мучительных дней одиночества, тоски, издевательств. В такие вечера некоторые женщины засыпали почти счастливые.

Привстав с места, Жанна снова тяжело опустилась на стул; опередив ее, Марта выскочила из комнаты.

Она вернулась сияющая.

— Жанна, тебе письмо! И на конверте почерк твоего Рене.

Жанна протянула руку; она вскрыла письмо, написанное на той бумаге, какую скупо отпускали военнопленным, хотя муж ее и был штатским. Подруги смотрели на нее с улыбкой, облокотясь на спинку стула. Они увидели, что Жанна побледнела после первых же строчек письма. Затем с нечеловеческим криком она рухнула на пол и осталась лежать бесформенным жалким комком.

По-прежнему переступая с ноги на ногу, немец не сделал ни одного жеста, вид у него был тупой, отсутствующий. Только когда прибежали соседки, когда Эрих увидел суету, поднявшуюся из-за Жанны, — ее тут же перенесли на койку, — когда услышал объяснения Марты в ответ на вопросы других женщин, он, казалось, стряхнул с себя пьяную одурь и понял, в чем дело. Он спросил: «Муж… капут?» Подошел к койке прежде, нежели ему успели помешать, и со своей неизменной ухмылкой протянул огромную лапу к Жанне; млея от удовольствия, он стал тискать ее грудь. Жанна содрогнулась от отвращения и открыла глаза, но он, не отнимая руки, продолжал смотреть на молодую женщину с той же судорожной гримасой, в том же состоянии жуткой оторопи.

Тогда Марта бросилась на великана. Стиснув зубы, она наступала на него, гнала вон из комнаты с силой, которую трудно было в ней заподозрить; она преследовала негодяя по коридору, колотила кулаками его дряблую физиономию. А он пятился, глухо ударялся головой о стены и, шатаясь, с трудом отбивался от сыпавшихся на него ударов; ноги плохо его слушались, хмель еще туманил рассудок, и ему никак не удавалось вырваться из рук разгневанных женщин, которые схватили его за ремень и в конце концов спустили с лестницы в окутанный мраком двор.

Поднявшись на ноги, он принялся палить наугад из револьвера по окнам верхнего этажа.

Марта нашла Жанну жалобно плачущей, словно больной ребенок. Она попыталась было обнять ее, но тут же вскрикнула от боли: кровь струилась по ее рукам, до кости искусанным собакой.

Марсель Эме родился в департаменте Йонна в семье кузнеца. Рано осиротев, в детстве он жил у деда-гончара, в одной из деревень Юры. В юности зачитывался Вийоном и Бальзаком. После прохождения военной службы в 1923 году прибыл в Париж. С почтением внимал Дюамелю, который поощрял его страсть к сочинительству. В Париже служил в банке, был страховым агентом, статистом в кино и, наконец, журналистом.

В 1925 году увидел свет роман Марселя Эме «Брюльбуа», а в 1929-м — насыщенная впечатлениями детства книга «Стол слабаков», удостоенная премии Ренодо. Роман «Зеленая кобылка» (1933) о жизни и нравах крестьян провинции Франш-Конте упрочил известность Эме (роман был экранизирован Клодом Отан-Лара). В романах 30-х годов — «Безымянная улица» (1930), «Приземистый домик» (1935), «Мельница на Сурдине» (1936) — Эме близок к популизму. Он сочувствует «маленькому человеку» — крестьянину, ремесленнику, мелкому чиновнику. Однако, произвольно отсекая связи своих героев с миром социальной практики и общественной борьбы, писатель обрекал их на одиночество и беззащитность. В изображении народной жизни сказалась узость и неустойчивость позитивных идеалов художника, которому чужда перспектива революционного преобразования общества.

В двойственном облике Марселя Эме буржуазная критика настойчиво подчеркивает консервативные черты: ему ставится в заслугу, например, окарикатуривание участников Сопротивления в романе «Уран» (1948). Порою Эме величали даже «наш Аристофан», «наш Рабле». В этом больше лести, нежели трезвой оценки всего действительно живого в его наследии и идейно-эстетической позиции. Марсель Эме отверг и «сюрреалистическую революцию» в литературе, и угрюмое сомнение абсурдистов в смысле истории и всех деяний человека. Эме-рассказчик опирался на традиции средневековых фаблио, ренессансной новеллы, на опыт классиков реализма XIX века. Характерно, что в А. П. Чехове он видел пример художника-реалиста.

Эме — мастер смеха, по-галльски озорного, площадного смеха над многоликими идолами буржуазного преуспеяния. В рассказе «Вспять» (1950), в комедиях «Чужая голова» (1952), «Лунные птички» (1955), «Синяя мушка» (1957) он бичует социальную демагогию миллиардеров, сановное бездушие, циничный карьеризм, приобретательство. В его смехе звучит плебейская издевка над обанкротившимися «хозяевами жизни», над буржуа, теряющими социальную почву под ногами. В стиле Эме нет той интеллектуальной глубины, какая присуща сатире Анатоля Франса, убежденного в исторической правоте дела пролетариев. Эме вооружен лишь смутной верой в неотвратимость перемен. Но провожать смехом исторически изжившее себя — значит участвовать в изменении действительности. «Моя тема, — говорил Эме, — не чудесное и не сама реальность, а то, что изменяет жизнь».

Новелла «Человек, проходивший сквозь стены» написана в годы оккупации. Знаменательно свидетельство одного из бывших узников фашистского концлагеря, опубликованное в «Юманите» (7.XI. 1974): в конце 1944 года ему чудом попалась в руки эта новелла, которую он воспринял как крик боли человека, лишенного свободы.

Marcel Ayme: «Le puits aux images» («Колодезные лики»), 1932; «Le nain» («Карлик»), 1934; «Derriere chez Martin» («На задворках у Мартена»), 1938; «Le Passe-Muraille» («Человек, проходивший сквозь стены»), 1943; «En arriere» («Вспять»), 1950; «Soties de la ville et des champs» («Городские и сельские соти»), 1958; «Oscar et Erick» («Оскар и Эрик»), 1961.

Новелла «Человек, проходивший сквозь стены» входит в одноименный сборник.

Человек, проходивший сквозь стены

На Монмартре, на третьем этаже дома № 72-А по улице Оршан, жил человек по имени Дютийоль, который обладал странной способностью беспрепятственно проходить сквозь стены. Этот чиновник третьего класса, служивший в Департаменте регистраций, носил пенсне со шнурком и небольшую черную бородку. Зимой он ездил на службу автобусом, а летом, надев котелок, совершал этот путь пешком.

Свой необыкновенный дар Дютийоль открыл на сорок третьем году жизни. Как-то вечером, когда он стоял в прихожей своей холостяцкой квартирки, внезапно погас свет. Некоторое время Дютийоль ощупью двигался в потемках, а когда свет загорелся, он увидел, что находится на лестничной площадке. Это заставило его призадуматься — ведь дверь его квартиры была заперта изнутри; и вопреки доводам разума ему ничего не оставалось, как проникнуть в нее таким же способом, каким он только что из нее вышел, то есть через стену. Эта странная способность, которая никак не отвечала его духовным запросам, встревожила его. В следующую же субботу он воспользовался ранним окончанием работы и обратился к жившему поблизости врачу, рассказав ему о случившемся. Врач осмотрел пациента и убедился в правдивости его слов. Он объяснил причину этой аномалии спиралевидным затвердением щитовидной железы и порекомендовал в качестве лечения максимальную затрату энергии, а также прописал порошки из смеси рисовой муки с гормонами кентавра — по два порошка в год.

Приняв один порошок, Дютийоль убрал остальные в ящик комода и забыл о них. Растрачивать свою энергию ему было не на что, так как его деятельность в Департаменте регистрации отнюдь не требовала особых усилий, а часы отдыха он посвящал чтению газет и коллекционированию марок, что также не вызывало большого утомления. Прошел год, а Дютийоль все еще не потерял своей способности проходить сквозь стены, но он никогда не пользовался ею. Это можно было объяснить только тем, что он ни в малейшей степени не был авантюристом и не обладал богатым воображением. Ему даже не приходило в голову войти в квартиру, минуя дверь; он всегда отпирал ее надлежащим образом — с помощью ключа. Так Дютийоль мог бы безмятежно достигнуть старости, не изменив своим привычкам и не испытав даже своей необыкновенной способности, если бы не одно чрезвычайное событие, внезапно нарушившее его покой. Помощника начальника отдела, господина Мурона, перевели на другую должность, а его место занял некий г-н Лекюйе, немногословный человек с усами щеточкой. С первого же дня новый начальник невзлюбил Дютийоля за его пенсне со шнурком и черную бородку и всем своим видом показывал, что тяготится им, как старой, никому не нужной вещью. Особенно неприятным было то, что г-н Лекюйе решил провести в своем отделе значительные преобразования, — они-то и нарушили душевное равновесие его подчиненного. Дело в том, что в течение двадцати лет Дютийоль привык начинать деловые письма следующим образом: «Ссылаясь на Ваше многоуважаемое послание от такого-то числа и памятуя о нашем предыдущем обмене письмами, честь имею сообщить Вам, что…» Эту формулировку г-н Лекюйе пожелал заменить более краткой, по-американски деловитой: «В ответ на Ваше письмо от такого-то сообщаю…» Дютийоль не мог примириться с этим новым стилем. Помимо своей воли, он машинально продолжал писать в традиционной манере, и это поразительное упорство навлекало на него все растущую неприязнь со стороны начальника. Атмосфера в отделе становилась для Дютийоля с каждым днем невыносимее. Утром он шел на службу с величайшей неохотой, а вечером, уже улегшись в постель, нередко сразу не мог уснуть и минут пятнадцать предавался размышлениям.

Господина Лекюйе приводил в ярость этот настойчивый консерватизм, мешавший успешному осуществлению его реформ, и он перевел Дютийоля из общей канцелярии в полутемную клетушку рядом со своим кабинетом. Войти туда можно было лишь через узенькую дверку, украшенную табличкой с надписью прописными буквами «Кладовая».

Дютийоль кротко выносил свое беспримерное унижение, но у себя дома, читая в газете отдел происшествий, воображал господина Лекюйе жертвой самых страшных расправ и убийств.

Как-то начальник ворвался в каморку Дютийоля, потрясая письмом.

— Перепишите эту мерзость! — заревел он. — Перепишите эту гнусную мерзость, она позорит мой отдел!

Дютийоль пытался было возражать, но куда там — г-н Лекюйе обозвал его старым тараканом и рутинером; уходя, он скомкал письмо и швырнул его в лицо своему подчиненному. В смиренном Дютийоле заговорила гордость. Оставшись один, он сначала почувствовал легкий озноб, а затем на него вдруг снизошло вдохновение: встав из-за стола, он вошел в стену, отделявшую его чулан от кабинета начальника. Предстать перед начальством полностью у него не хватило смелости — из стены высунулась только его голова. Лекюйе, еще не успевший успокоиться, сидел за своим рабочим столом и читал поданные ему на рассмотрение бумаги. В тот момент, когда он ставил какую-то запятую, в комнате раздалось покашливание. Он поднял голову, и взор его в невыразимом смятении остановился на голове Дютийоля, которая, казалось, висела на стене наподобие

охотничьего трофея. Но эта голова была живой. Поблескивали стекла пенсне со шнурком, и сквозь них на Лекюйе смотрели полные ненависти глаза. В довершение ко всему голова заговорила:

— Мсье, — произнесла она, — вы негодяй, хулиган, мальчишка!

Разинув рот от ужаса, Лекюйе не мог оторвать глаз от видения… Наконец он вскочил с кресла, ринулся в коридор и вбежал в каморку. Дютийоль, с пером в руке, мирно работал на своем обычном месте, прилежно склонившись над столом. Начальник долго разглядывал его, а затем, пробормотав что-то, вернулся к себе. Но не успел он сесть, как голова снова выглянула из стены.

— Мсье, вы негодяй, хулиган, мальчишка!

В течение одного только этого дня страшная голова возникала на стене двадцать три раза. Она продолжала являться и в последующие дни, но Дютийоль, успевший войти во вкус злой шутки, уже не довольствовался оскорблениями в адрес начальства. Он стал изрекать мрачные угрозы, выкрикивая их загробным голосом и заполняя паузы демоническим хохотом:

— Оборотень! Оборотень сторожит тебя! *(Хохот.)* Берегись, он бродит близко и ночью выпьет твою кровь! *(Хохот.)*

Слыша эти жуткие крики, начальник бледнел, у него начинался приступ удушья, волосы вставали дыбом, холодный пот струился по спине. В первый же день он похудел на фунт. В последующую неделю он стал есть суп вилкой и отдавать полицейским честь на военный лад, не говоря уже о том, что он буквально таял на глазах. В начале второй недели карета «скорой помощи» отвезла его в психиатрическую больницу.

Теперь, освободившись от тирании г-на Лекюйе, Дютийоль мог вернуться к своей любимой формулировке: «Ссылаясь на Ваше многоуважаемое послание от такого-то числа…» Но она потеряла для него интерес. В нем проснулась новая потребность, которая настойчиво заявляла о себе, — это была не больше не меньше, как потребность проходить сквозь стены. Без сомнения, для этой цели он мог свободно пользоваться стенами своего дома, что он и делал. Однако человек, обладающий необыкновенным даром, не может без конца растрачивать его по пустякам. Да и вряд ли способность проходить сквозь стены могла долго оставаться самоцелью. Тот, кто вкусил начало приключения, будет стремиться испытать его целиком, чтобы узнать, к чему оно приведет. Так случилось и с Дютийолем. Его обуяла жажда деятельности, он почувствовал непреодолимое желание реализовать свои способности, превзойти себя и свершить нечто необыкновенное. Он постоянно испытывал тоску и томление, как будто из-за стены его звал и манил чей-то голос. К сожалению, однако, перед ним не стояло никакой цели. Чтобы вдохновиться, он жадно читал газеты — в первую голову отдел политики и спорта, так как считал эти области деятельности наиболее достойными. Но, убедившись вскоре, что они ничего не дают человеку, обладающему даром проходить сквозь стены, Дютийоль набросился на отдел происшествий, который оказался весьма многообещающим.

Первую кражу Дютийоль совершил в большом банке на правом берегу Сены. Пройдя сквозь десяток наружных и внутренних стен, он проник к сейфам, набил карманы банкнотами и, прежде чем уйти, куском красного мела расписался, завершив выбранный им псевдоним Гару-Гару изящным завитком, который на следующий день был тоже воспроизведен во всех газетах. Не прошло и недели, как имя Гару-Гару приобрело необычайную популярность. Сочувствие публики было целиком на стороне таинственного вора, так ловко дурачившего полицию. Каждую ночь Дютийоль напоминал о себе новым подвигом, от которого терпел ущерб то банк, то ювелирный магазин, то какой-нибудь богач. В Париже и в провинции не было ни одной женщины, хоть мало-мальски наделенной воображением, которая не испытывала бы страстного желания телом и душой отдаться грозному Гару-Гару. После похищения знаменитого крупного алмаза и ограбления Муниципального банка, которые произошли в течение одной недели, восторг толпы дошел до предела, граничившего с безумием. Министр внутренних дел был вынужден подать в отставку, а за ним и начальник Департамента регистрации. Дютийоль же, став одним из самых богатых людей в Париже, по-прежнему являлся на службу каждое утро точно без опоздания, и поговаривали, что его собираются представить к награде. По утрам в Департаменте оп с превеликим удовольствием слушал рассуждения сослуживцев по поводу своих подвигов, совершенных накануне ночью. «Этот Гару-Гару, — говорили они, — замечательный человек, сверхчеловек, гений». От таких похвал Дютийоль смущенно краснел, и в его глазах за стеклами пенсне загорался огонек дружелюбной признательности. В атмосфере всеобщего восхищения он постепенно проникся таким доверием к окружающим, что решил открыть свою тайну. Преодолевая остаток застенчивости, он поднял взор на своих сотоварищей, столпившихся над газетой, в которой сообщалось об ограблении Государственного банка, и скромно проговорил:

— Знаете, Гару-Гару — это я.

Громкий, неудержимый хохот встретил это признание, и Дютийоля в насмешку… тут же наградили прозвищем Гару-Гару. Вечером, когда чиновники расходились по домам, Дютийолю досталось

столько издевательств и злых шуток от сослуживцев, что жизнь показалась ему не такой уж приятной.

Несколько дней спустя, ночью, Гару-Гару дал задержать себя полицейскому патрулю в ювелирном магазине на. Рю-де-ла-Пэ. Он распевал трактирную песню, колотя тяжелым золотым кубком по стеклу прилавков, предварительно расписавшись на денежном ящике. У него была полная возможность скрыться от полицейского через стены, но, судя по всему, он хотел, чтобы его арестовали, и сделал это, надо полагать, только для того, чтобы поразить своих сослуживцев, оскорбивших его недоверием. Чиновники и в самом деле были совершенно ошеломлены, увидав фотографию Дютийоля на первых страницах газет. Они горько сожалели о том, что так недооценивали своего гениального коллегу, и в его честь стали отращивать бородки, а некоторые, увлеченные раскаянием и восхищением, даже пытались практиковаться на бумажниках и часах своих близких и знакомых.

Отдаться в руки полиции лишь для того, чтобы поразить нескольких сослуживцев, — не значит ли это проявить поразительное легкомыслие, недостойное человека выдающегося? Однако сознательная воля мало значит в подобных решениях. Дютийолю казалось, что он приносит свою свободу в жертву честолюбивому стремлению отстоять себя перед обидчиками, тогда как на самом деле он катился туда, куда толкал его рок. Для человека, умеющего проходить сквозь стены, невозможна сколько-нибудь успешная карьера, если он хоть раз не побывает в тюрьме. Попав под своды Сан-те, Дютийоль почувствовал себя баловнем судьбы. Толщина тюремных стен была для него чудесным подарком. На следующий же день удивленные сторожа обнаружили, что заключенный вбил в стену своей камеры гвоздь и повесил на него золотые часы начальника тюрьмы. Он не сумел или не пожелал объяснить, каким образом эта вещь оказалась в его распоряжении. Часы были возвращены законному владельцу, а назавтра вновь оказались у изголовья Гару-Гару вместе с первым томом «Трех мушкетеров», позаимствованным из книжного шкафа начальника тюрьмы. Тюремная стража выбилась из сил. Мало того, она жаловалась, что получает в зад пинки необъяснимого происхождения. Можно было подумать, что у стен есть не только уши, но и ноги. Через неделю после того, как Гару-Гару посадили в тюрьму, начальник Санте, войдя однажды утром в свой кабинет, обнаружил на столе письмо следующего содержания:

«Господин начальник! Учитывая наш обмен мнениями от 17 числа текущего месяца, а также учитывая Ваши общие распоряжения от 15 мая прошлого года, честь имею сообщить, что я только сейчас дочитал второй том «Трех мушкетеров» и предполагаю бежать из тюрьмы сегодня ночью между двадцатью пятью и тридцатью пятью минутами двенадцатого. Прошу Вас, господин начальник, принять выражения моего глубочайшего уважения. *Гару-Гару».*

Несмотря на то что в эту ночь за Дютийолем был установлен строжайший надзор, он исчез ровно в одиннадцать тридцать. На следующее утро эта новость стала достоянием публики и вызвала небывалый взрыв восторга. Дютийоль же, совершив новую кражу, которая вознесла его на вершину славы, даже и не думал скрываться и беззаботно разгуливал по Монмартру. Через три дня после побега, около полудня, он был арестован на улице Коленкур в кафе «Мечта», где в обществе нескольких приятелей пил белое вино с лимонным соком.

Гару-Гару был снова водворен в Санте и заперт на три замка в темном карцере; он оттуда вышел в тот же вечер и, отправившись спать в квартиру начальника тюрьмы, устроился в комнате для гостей. Часов в девять утра он позвонил горничной и велел ей принести завтрак; а когда прибежала стража, позволил ей схватить себя прямо в постели, не оказывая никакого сопротивления. Разъяренный начальник тюрьмы поставил часового у дверей карцера и посадил Дютийоля на хлеб и воду. Но в полдень арестант уже завтракал в соседнем ресторане, откуда, допив кофе, позвонил начальнику тюрьмы:

— Алло! Господин начальник, мне, право, очень неловко беспокоить вас, но когда я уходил, я забыл захватить ваш бумажник и поэтому застрял теперь в ресторане. Сделайте одолжение, пришлите кого-нибудь расплатиться по счету.

Начальник тюрьмы прибежал самолично. Он был так возмущен, что стал изрыгать угрозы и оскорбления. Обидевшийся Дютийоль на следующую ночь сбежал и решил больше не возвращаться. Теперь он принял меры предосторожности — сбрил свою черную бородку и заменил пенсне со шнурком очками в черепаховой оправе. Спортивная каскетка и костюм в крупную клетку с брюками гольф довершили его преображение. Он поселился в небольшой квартирке на авеню Жюно, куда еще до первого своего ареста перевез часть мебели и вещи, которыми больше всего дорожил. Шум славы стал утомлять его, а после пребывания в Санте способность проникать сквозь стены утратила значительную часть своей притягательности. Самые толстые и неприступные стены интересовали его теперь не более, чем легкие ширмы. Проникнуть в сердце громадной пирамиды — вот что стало теперь его мечтой. Обдумывая план путешествия в Египет, он вел пока что самую безмятежную жизнь — коллекционировал марки, ходил в кино, фланировал по улицам Монмартра. Его внешность настолько изменилась, что даже самые близкие друзья не узнавали его, когда он — чисто выбритый и в черепаховых очках — проходил мимо них. Только художник Жан-Поль, от которого не ускользало ни малейшее изменение в облике постоянных жителей квартала, узнал его.

Столкнувшись как-то утром с Дютийолем на углу улицы Абревуар, художник бесцеремонно обратился к нему на уличном жаргоне:

— Чего это ты канаешь за фраера? Хочешь натянуть бороду мусорам?

Его слова имели приблизительно такой смысл: «Думаешь, я не вижу, для чего ты вырядился таким щеголем? Хочешь сбить с толку сыщиков?»

— Эх, — пробормотал Дютийоль, — он меня узнал.

Это происшествие его обеспокоило, и он решил ускорить свой отъезд в Египет. Но в тот же самый день он влюбился в хорошенькую блондинку, которая дважды встретилась ему на протяжении четверти часа, когда он прогуливался по улице Лепик. Она затмила собой все — коллекцию марок, Египет и пирамиды. Да и блондинка поглядывала на него с большим интересом. Ничто так не поражает воображение современных женщин, как брюки гольф и черепаховые очки, — они невольно вызывают образ любимого киногероя и внушают мечты о коктейлях и калифорнийских ночах. Жан-Поль рассказал Дютийолю, что красавица, к несчастью, замужем, а муж ее — человек грубый и подозрительный. Этот ревнивец, сам предававшийся разгулу, уходил из дому в десять часов вечера и возвращался в четыре утра. Но перед уходом он неукоснительно принимал меры предосторожности: ставни запирал висячими замками, а двери — на два оборота ключа. Днем он не спускал с жены глаз, а случалось даже, шпионил за ней на улицах Монмартра.

— Экая скважина, жмотина толстокожая, никак не признает за другими права полюбоваться его розочкой.

Предостережение Жан-Поля лишь распалило воображение Дютийоля. На следующий день, увидев молодую женщину на улице Толозэ, он отважился пойти следом за ней и, улучив минуту, когда она ожидала очереди в молочной, почтительно поведал ей о своем чувстве и заявил, что знает обо всем, — о злодее муже, о запертых дверях и ставнях, но тем не менее будет в ее комнате в этот же вечер. Блондинка зарделась, кувшин для молока дрогнул в ее руке. Обратив на него увлажненные нежностью глаза, она со вздохом прошептала: «Увы, мсье, это невозможно».

Вечером, в десятом часу того же счастливого дня, Дютийоль стоял на улице Норвэн, не спуская глаз с массивной каменной стены, из-за которой выглядывали лишь флюгер и труба небольшого домика. Наконец открылась калитка, вышел человек, тщательно запер ее на ключ и стал спускаться к авеню Жюно. Подождав, пока он исчезнет за поворотом, Дютийоль сосчитал для верности до десяти и бодро ринулся сквозь стену. Преодолев все преграды, он проник в комнату прекрасной узницы. Она восторженно встретила его, и они предавались утехам любви до часу ночи.

Наутро Дютийоль обнаружил досадное обстоятельство — у него сильно разболелась голова. Но он не придал этому значения, — не станет же он из-за такого пустяка пропускать свидание. Ему попались на глаза порошки, завалявшиеся в ящике комода, и он принял один утром, другой — перед обедом. К вечеру головная боль утихла, да он и забыл о ней, волнуясь перед свиданием. Молодая женщина встретила Дютийоля со страстью, рожденной воспоминаниями о прошлой ночи. На этот раз они предавались любви до трех часов утра. На обратном пути Дютийоль почувствовал, что стена комнаты, сквозь которую он проходил, как-то странно теснит его плечи и бедра, но он не обратил на это внимания. Однако, войдя в массивную каменную ограду, он вдруг ощутил явное сопротивление. Казалось, его окружает какая-то жидкая, но с каждой минутой густеющая и уплотняющаяся среда, которая все более сопротивляется его усилиям. Наконец, пройдя каменную толщу уже наполовину, он обнаружил, что не может больше сдвинуться с места, и тогда с ужасом вспомнил о проглоченных порошках. То, что он принял, было не аспирином, а прописанным ему в прошлом году лекарством из смеси рисовой муки с гормонами кентавра. Это средство в сочетании с чрезмерным утомлением от большой затраты энергии дало предсказанный врачом эффект.

Дютийоль оказался замурованным в ограде. Одетый камнем, он и по сей день стоит там. Ночные гуляки, бродя по улице Норвэн в час, когда стихает шум Парижа, слышат какой-то странный, глухой, словно потусторонний, голос и принимают его за стон ветра, гуляющего в переулках Монмартра. Это Гару-Гару оплакивает печальный конец своей блистательной карьеры и сожалеет о столь кратковременной любви.

Иногда в зимнюю ночь, захватив с собой гитару, художник Жан-Поль отваживается забрести в гулкую пустыню улицы Норвэн, чтобы утешить песенкой бедного узника. Звуки гитары, извлекаемые его окоченевшими пальцами, проникают в глубины камня, словно капли лунного света.

Роже Вайян начинал как поэт и переводчик, возглавив в конце 20-х годов журнал сюрреалистской ориентации «Гран жё». Вскоре, устав, по его собственным словам, от шумных сборищ и громких манифестов, он жадно углубился в книги: приник к источнику той культуры, которую ниспровергали сюрреалисты. Позднее, осуждая юношеские заблуждения, Вайян опубликовал эссе «Сюрреализм против революции» (1948).

В 30-в годы он пытается «быть в стороне» от политики и литературной борьбы и самокритично записывает в дневнике: «У меня есть вкусы, но нет убеждений». Вторая мировая война, оккупация Франции и рождение подпольных патриотических групп — вот почва, на которой сформировались убеждения Вайяна. Он стал антифашистом. О сражении французских патриотов с нацизмом повествует первый роман писателя — «Странная игра» (1945), репортажи («Эльзасская битва», 1945) и повесть «Одинокий молодой человек» (1951).

Послевоенное творчество Вайяна необычайно разнопланово: рядом с утонченным психологическим романом «Удары, в спину» (1948) — публицистическая пьеса, обличающая политику США в Корее, — «Полковник Фостер признает себя виновным» (1951); рядом с произведениями, исследующими различные судьбы представителей рабочего класса («Бомаск», 1954; в русском переводе «Пьеретта Амабль», и «325 000 франков», 1955), — книги, передающие восхищение автора индивидуалистическими страстями и бурными темпераментами (романы. «Праздник», 1960; «Форель», 1964). В романе «Закон» (Гонкуровская премия 1957 года), лишенном веры в человеческую солидарность, но дерзко разоблачающем буржуазные отношения, Роже Вайян вылепил отталкивающие образы вершителей неправедных законов.

Незадолго до своего вступления в ФКП (1952) Вайян писал Пьеру Куртаду: «Моя относительно сторонняя позиция… сегодня уже невозможна, особенно после того, как началась война в Корее. В подобных обстоятельствах ни я, ни ты уже не можем больше писать иначе, чем в перспективе движения к коммунизму». И хотя последние годы своей жизни Вайян снова поддался сомнениям в реальности социальной перестройки мира, он до конца дней сохранил уважение к друзьям своей обаятельной героини Пьеретты Амабль — французским пролетариям и крестьянам. Отблеск восхищения жизнерадостными натурами, привыкшими к труду и борьбе, лежит и на новелле-воспоминании «Дженни Мереей».

Roger Vailland: Новелла «Дженни Мереей» («Jenny Merveille») опубликована в журнале «Biblio» в декабре 1959 года.

Дженни Мервей

Дженни Мервей двадцать лет. Она среднего роста, пожалуй, даже выше среднего. Ходит слегка подавшись вперед, как это часто делают молоденькие провинциалки: такая походка была у Клары Эллебез. Несмотря на жаркий июньский день, ее густые волосы крупными волнами падают па плечи; они-то сразу и бросились мне в глаза. Она не подражала моде, которая требует от молодых девушек загара легионеров, и, хотя, по ее словам, она проводит большую часть года в деревне, кожа ее бела, нежна и так прозрачна, что на висках отчетливо проступают тонкие зеленоватые жилки. Ее зрачки все время то расширяются, то сужаются, до такой степени они чувствительны не только к малейшей перемене освещения, но и к любому душевному движению. Нос прямой с сильно вырезанными трепещущими ноздрями, нижняя губа красиво очерчена, но чуть полновата. Особая примета — голос. Низкий, с переливами, которые, подобно звучанию некоторых африканских музыкальных инструментов, волнуют не только слух: они задевают за живое, проникая в самое сердце. Голос сильный и богатый, как у Софи Тюккер или Лены Орн, но в то же время столь чутко отзывающийся на тончайшие оттенки чувства, что просто диву даешься, когда слушаешь эту совсем еще юную девушку (…).

Это было 20 июня, около четырех часов дня. Ты прогуливалась в саду Тюильри и остановилась около загадочной скульптурной аллегории Трагедии, которая возвышается у входа Пирамид, — высокой мраморной женщины, снимающей маску: в зависимости от точки, с какой на нее посмотришь, она предлагает прохожим два совершенно разных лица, одно таинственнее другого. Я заговорил с тобой. У меня нет привычки знакомиться с девушками на улице. Я торопился. Мне нужно было отнести статью в редакцию еженедельника на улице Пирамид. Я обронил мимоходом:

— Она похожа на вас!

И показал на двуглавую аллегорию Трагедии. Ты спросила:

— Какая из двух?

Эти реплики были не более и не менее банальны, чем те, которыми обмениваются обычно два незнакомых человека. Но голос твой уже прозвучал в этих трех слонах: «Какая из двух?» Я начал рассказывать тебе о парижских статуях.

Ты отвечала. Только что ты вышла из Лувра и была взволнована полотнами Гойи. Тогда я рассказал тебе о галерее Гойи в музее Прадо. Оба мы были скованны в течение этого первого получаса. Но, вероятно, что-то все-таки произошло, раз ты забыла о встрече с кузиной в кафе «Пам-Пам» у церкви Мадлен, а я забыл, что должен отнести статью.

Я пригласил тебя выпить чаю в кондитерскую на улице Оперы. Ты сказала, что проводишь в Париже отпуск и что накануне смотрела «Тартюф» в «Комеди Франсэз». Ты никогда не бывала за границей, ни разу в жизни не летала самолетом, никогда не видела Лазурного Берега. Тебе не доводилось посещать казино, ты не знаешь правил игры в рулетку и никогда не была у подножья Монблана. Эйфелеву башню ты видела впервые. Ты не ходила на лыжах, не умела водить машину, не умела плавать ни кролем, ни стилем овер-арм, — только брассом. Тебе ни разу не довелось познакомиться ни с писателем, ни с артистом, ни с киноактером, ни с певцом или певицей из кабаре. Ты знала только одного художника, своего дядюшку, который служил кассиром в брачной конторе, а по воскресеньям писал акварели. После твоего исчезновения я перелистал — о, как внимательно! — все каталоги выставок живописи самодеятельных художников за двадцать последних лет, в которых участвовали служащие министерства финансов. Увы, не нашел художника по фамилии Мервей. Может быть, дядя был братом твоей матери? Или он счел свои акварели недостойными показа на выставках? Ты ничего не знала ни о сюрреализме, ни об экзистенциализме (…).

Зато ты подробно описала мне свой дом. К нему ведет длинная липовая аллея, в пору цветения вся гудящая от пчел. По обе стороны решетчатых ворот растут два очень старых и высоких тополя, которые видны за несколько километров в округе; когда ты была ребенком, ветер, шумевший в них зимними ночами, наводил на тебя ужас, но теперь ты любишь его слушать. Посреди двора — лужайка с фигуркой фавна, танцующего на замшелом каменном постаменте. Слева — флигели для различных служб и сараи, один из которых служит гаражом для старенького автомобиля твоего отца. Справа — конюшня, псарня и две калитки, которые ведут одна в курятник, другая в усадьбу. Ее дорожки окаймлены подстриженным самшитом. В хозяйский дом входишь по лестнице из шести ступенек. Двухэтажный дом под черепичной крышей с мансардой построен в конце XVIII века. С противоположной стороны дома — терраса, с которой далеко виден лес, а за ним небольшая долина, отведенная под пастбище. Твои прадедушка и прабабушка разбили на площадке сад во французском стиле, но вы перестали за ним ухаживать, так как держать садовника слишком дорого. Розы превратились в дикий, буйно цветущий шиповник; коза пасется на лужайке, где раньше был газон, восхитивший однажды англичанина, гостя твоей бабушки; кусты лавра стали деревьями, жасмин рос быстрее, чем ты, и его ветки доходят уже до окон твоей комнаты, наполняя ее

ароматом, который волнует тебя летними ночами.

Мы ели датские пирожные. Тебе понравились датские сладости. Я рассказывал тебе о Копенгагене, о его серо-зеленых крышах, о его каналах и запахе прибоя на набережных. Я заказал еще чаю. Нам стало очень хорошо друг с другом.

Ты поведала мне свои заботы. Отец твой болен, а мама воспитана так, как было принято воспитывать молодых девушек в буржуазных семьях до первой мировой войны. Поэтому тебе приходится вести хозяйство в вашем небольшом имении. Тридцать гектаров, — как ты мне сказала. Немалая ответственность для молодой девушки. Двадцать гектаров ты отвела под лес, а остальные десять — под пашню. Это мудрое решение. С большим знанием дела ты знакомила меня с методами севооборота (...).

У тебя есть подруги: девушка, служащая на почте, учительница, дочь фермера, с которой у тебя общие дела по хозяйству, и молодая работница из соседнего городка, вынужденная поселиться на год в деревне из-за туберкулеза. С учительницей вы обмениваетесь книгами. Круг вашего чтения не так уж плох. Прошлой зимой она дала тебе почитать «Пармскую обитель», а ты ей «Опасные связи»: вот так идет воспитание чувств молодых девушек. В библиотеке твоего отца есть произведения Мольера в настоящем кожаном переплете, полный Бальзак, напечатанный в две колонки с иллюстрациями Тони Жоанно, и семнадцать томов ин-кварто «Тысячи и одной ночи» в переводе доктора Мардруса. Этого вполне достаточно, чтобы все знать о жизни, обществе, страстях и тех воплощениях, какие принимает любовь. Ты говорила о прочитанном без ложного стыда и не скрывала того удовольствия, которое испытываешь, снова и снова погружаясь в «Тысячу и одну ночь». Ты знаешь гораздо больше, чем юный мудрец или старый волокита. Но ты ничего не поведала мне о своем сердце. Значит ли это, что оно никогда еще не билось учащенно? Я ничего не знаю о тебе, Дженни Мервей. Ах, как я завидую сыну кузнеца, который вечерами провожает тебя после танцев до белой ограды перед липовой аллеей, ведущей к дому.

Целует ли он тебя? Или тот поцелуй, который ты мне подарила вечером 20 июня, когда мы расстались на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Пэр, был единственным? Когда мы расстались, чтобы больше уже не встретиться, чтобы в нашей жизни было только это краткое мгновение, только это безумное, неосторожное, непоправимо фатальное мгновение, заставившее тебя убежать навсегда (...).

Я продолжаю. Ты слушаешь меня, Дженни Мервей. Я мысленно представляю тебя в твоей белой комнате над кустами жасмина. Ты серьезно смотришь на странный квадратный ящичек, из которого до тебя доносится мой голос. Так же серьезно ты на меня смотрела вечером 20 июня в полумраке кафе на Елисейских полях, когда я рассказывал тебе о недавнем потрясении, перевернувшем всю мою жизнь. Ты, для кого единственными невзгодами были пока заморозки, обжигающие яблоневый цвет, град, от которого осыпается зрелая виноградная лоза, или сырая трава, от которой вдруг вздувается живот серой кобылы, — что могла ты понять из этой истории двух людей, терзающихся, потому что они любят друг друга, из истории, где причудливо смешались нежность, расчет, ревность и ненависть, убивающая прежнюю страсть? Но отдельные твои слова, жесты, вздрагивание ресниц убедили меня, что ты о многом догадалась, что ты понимала меня, тебе — хотя ты ничего еще не пережила — ничто человеческое уже не чуждо.

Мы как-то сразу перестали говорить о нашем будущем. Это было в кубинском баре. После того как я, что-то рассказывая, неловким движением опрокинул стакан, а ты сказала мне:

— Когда придете ко мне на пасеку, не делайте таких резких движений! Пчелы любят чувство меры и мягкость в обращении.

Эрве Базен родился в буржуазно-аристократической семье. В юности порвал с буржуазной средой. «Был я и лоточником, и мусорщиком, и коммивояжером, и слесарем, и столяром, — вспоминал впоследствии писатель. — Приходилось нелегко, но зато я стал рабочим человеком».

Стихи Эрве Базен сочинял еще в 30-е годы, но по-настоящему вступил в литературу после освобождения Франции от немецкого фашизма. В 40—50-е годы совершался процесс мировоззренческой перестройки Базена, в ходе которого он одерживал творческие победы, опираясь на опыт реалистического наследия, но нес ощутимые потери, когда соскальзывал на тропу натурализма (роман «Масло в огонь», 1954) или отдавал дань идеализации патриархального уюта выморочных «дворянских гнезд» (роман «Тот, кого я полюбила», 1956). Однако иллюзорный, искаженный образ мира не мог возобладать у художника, в чьем сердце жила стойкая симпатия к оскорбленному социальной несправедливостью простому человеку и выстраданная ненависть к буржуазной морали и нравам разлагающихся буржуазных верхов.

Образы, характеры и типы в реалистических романах и рассказах Базена извлечены им из самой французской действительности середины XX века с присущим ей классовым антагонизмом. Вслед за Флобером, Золя, Франсом и Мориаком художник исследует социальную и нравственную деградацию буржуазии, видя в собственнической, индивидуалистической морали зловещий анахронизм (роман «Головой об стену», 1949).

В центральном произведении Базена — трилогии «Семья Резо» (1948–1972) сатирически воссоздана система буржуазного «воспитания чувств», которая вызывает резкий протест у молодого человека XX века, отвергающего паразитический строй жизни вместе с его извращенной моралью. Хотя герои Базена далеки от практики борьбы за переустройство общества, лучшие из них с надеждой всматриваются в перспективы небуржуазного бытия. Ущербным буржуа Базен противопоставляет нравственный мир неприметного человека, его бескорыстие, самоотверженность (роман «Встань и иди», 1952), душевную теплоту (роман «Во имя сына», 1960).

В жанрово разнородных произведениях — психологическом романе «Супружеская жизнь» (1967), повествующем о застойной атмосфере обывательщины., или в философском романе-репортаже «Счастливцы с острова Отчаяния» (1970), где глазами полупатриархальной общины критически оцениваются технические достижения и нравственные утраты буржуазной цивилизации, — воплотились размышления художника о кризисе буржуазных устоев, об ответственности общества и индивида за подлинно гуманистическое содержание жизни.

Эрве Базен — стойкий поборник мира между народами. В 1952 году он поставил свою подпись под манифестом французских писателей, осудивших холодную войну. Против атомной угрозы и разжигания человеконенавистничества Базен возвысил свой голос с трибуны Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве (1973). Художник, убежден Базен, не может быть вне политики, литературное творчество — действие общественное. Он решительно порицает школу «нового романа» за возрождение «искусства для искусства». Опасна, убежден Базен, любая литература, «объявляющая себя социально безответственной».

Эрве Базен — один из мастеров критического реализма во французской литературе наших дней. Член Гонкуровской академии с 1958 года, он с 1973 года является ее председателем.

Herve Bazin: «Le bureau des mariages» («Брачная контора»), 1951; «Chapeau bas» («Шапку долой!»), 1963.

Рассказ «Брачная контора» входит в одноименный сборник.

Брачная контора

Двери Парижского рекламного агентства были открыты, но Луиза все медлила, не решаясь войти. Эта контора напоминала ей зубоврачебный кабинет: Луиза всегда стеснялась лечить больные зубы, будто сама была виновата, что плохо их чистила, скупясь на зубную пасту. В помещении агентства задержались три клиентки: какая-то служанка старательно заполняла бланки, нескладная дылда перелистывала каталог телефонных номеров, пышная дама справлялась о ремонте квартиры. На улице перед витриной брачных объявлений стоял молодой человек, — как показалось Луизе, слишком красивый и хорошо одетый, чтобы действительно в них нуждаться. Он добросовестно выписывал объявления, начиная с самых новых, и на всякий случай взглянул на Луизу с обольстительной улыбкой. Она тут же отвернулась и начала читать рекламу купли и продажи: «Охотничье ружье, 16-го калибра, новейшей модели», или: «Рояль, ракетка, детский костюм», или еще: «Китайская ваза продается дешево по случаю». Последний листок позабавил ее: у них в семье тоже хранились, как священная реликвия, уродливые китайские вазы.

Между тем нахальный молодой человек, якобы изучая все объявления подряд, придвигался все ближе, и вскоре его локоть коснулся локтя Луизы. Не слишком польщенная, хотя она и не была избалована успехом, Луиза уже собиралась уйти, как вдруг из конторы выглянул директор или управляющий, словом, судя по толстому животу, какой-то важный начальник, и позвал ее:

— Заходите же, мадемуазель, через минуту я к вашим услугам.

Испуганная Луиза послушно проскользнула в контору, укрывшись, как за ширмой, за спиной толстой дамы, и это помогло ей взять себя в руки. Окинув взглядом помещение, она поняла, что толстяк никакой не директор, а просто мелкий служащий: на нем была застиранная парусиновая рубашка с пятнами жавелевой воды. Тем временем контора опустела.

— Приступим к делу, мадемуазель. Вы по поводу брачного объявления?

От такого вступления Луизу передернуло. На ее правой щеке вспыхнул румянец. Неужели у нее вид типичной старой девы?

— Да, месье, но это очень серьезно.

От обиды она заговорила важным тоном и сделала ударение на слове «очень». Усы толстяка встопорщились, и Луиза догадалась, что он усмехается.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, — сказал он. — В нашем деле нет ничего двусмысленного. Среди клиенток попадаются иногда чересчур разборчивые особы, но в большинстве — это порядочные женщины, которым просто не повезло в жизни.

Он кашлянул, чтобы после приличной паузы перейти от рекламы к денежным расчетам.

— Ваше объявление появится под номером… под номером сорок три двадцать шесть. Оно будет вывешено в течение месяца и обойдется вам в двести франков. С тех, кто поручает агентству хранить свою корреспонденцию сроком до трех месяцев, взимается дополнительная плата в сто пятьдесят франков. Удостоверение личности при вас?.. Очень хорошо… Хотите взять псевдоним?.. Обычно выбирают какое-нибудь имя. «Мартина», например, вам подходит?.. Теперь заполните карточку. Буду вам очень обязан, если вы поторопитесь: мы сейчас закрываем.

На витрине Луиза уже взяла на заметку несколько образцов объявлений. Ни одно ее не удовлетворяло. Как можно описать себя в столь кратких словах, а главное, как обрисовать тип мужчины, созданного в воображении, или просто желательного, или хотя бы приемлемого? Нет, Луиза отнюдь не была разборчивой невестой, но в жизни ей встречались самые незавидные поклонники. Она имела все основания их отвергнуть. Пятидесятилетний начальник по службе, лысый и хромой сосед, кузен из провинции с бельмом на глазу — да она и сейчас бы им отказала. У нее не было особых претензий… Вернее, она ставила кое-какие условия, очень скромные, вполне разумные, большей частью ограничительные: ее избранник должен быть без толстого живота, без явного уродства, без вздорных идей, без судимости, без… Словом, много всяких «без».

— Ну, мадемуазель, пожалуйста, поскорее!

Луиза перестала сосать авторучку и с усилием написала неприятное слово: *«Девица…»*

Она имела на это право, так же как на обращение «мадемуазель», которое торговцы почему-то заменяли словом «мадам», весьма приятным на слух, будь оно заслуженным, но в их устах это слово приобретало обидный смысл. Девица, которую принимают за даму: увядшая, высохшая старая дева.

«Девица… около тридцати лет (для женщины возраст «около тридцати» длится до тридцати девяти, а Луизе минуло только тридцать восемь)… *Католичка, конторская служащая, хочет*

вступить в брак... Нет, это чересчур прямолинейно. Следует написать: хотела бы познакомиться с господином (термин «господин» противопоставлялся «молодому человеку», на которого претендовали клиентки моложе тридцати лет)... подходящим ей по возрасту и положению. Без серьезных намерений просьба не беспокоить».

Уф! Наконец-то с этим покончено. Луиза протянула заполненную карточку, уплатила деньги и, спрятав квитанцию на самое дно сумочки, поспешно направилась домой, на улицу Эстрапад, где жила вместе с братом уже более двадцати лет.

Робер, который возвращался со службы обычно минут на десять позже нее и привык кушать вовремя (в этом он был нетерпеливее грудного младенца), уже зевал и сердито поеживался.

— Что это, Луиза? — проворчал он. — Когда же наконец мы будем обедать?

Луиза с Робером жили одни после смерти родителей, — вернее, после смерти ее матери и его отца, которые, овдовев, поженились поздно. Роберу минуло тридцать девять, но он совершенно не выносил, когда его называли сорокалетним. В этом отношении он был гораздо щепетильнее Луизы, и лишь только начали седеть его усы, торчащие под длинным толстым носом, он сейчас же их сбрил. Этому смешному кокетству не соответствовало его пристрастие к крахмальным воротничкам, степенные манеры, а главное — боязнь казаться недостаточно серьезным, недостаточно солидным, так что он стеснялся читать «Клошмерль» и вынуждал себя раз в неделю изнывать от скуки в клубе Французских клерков. Высокомерный, немного ворчливый, Робер умел держать людей на расстоянии, словно не замечая их присутствия, так что его близкие чувствовали себя порою как бы жителями другой планеты, на которых он удостаивал смотреть в телескоп издалека. При этом он вовсе не был злым, напротив — мягким, как его каучуковые подошвы, честным, как привратница в парке, точным и аккуратным, как секундная стрелка его карманных часов, — словом, достоинства уравновешивали его недостатки. Луиза всегда относилась к брату с таким же уважением, какое испытывают к приходскому священнику, к высоким принципам, к лучшим сортам мыла. Она *очень* его любила. К тому же все двадцать лет Робер платил ей тем же.

— Почему ты приходишь так поздно, черт подери? — спросил он охрипшим голосом — у него вечно то начинался, то кончался бронхит — и сделал ударение не на слове «почему», а на слове «поздно». Желание сделать выговор пересиливало в нем любопытство. Его вопрос смутил Луизу: они не привыкли давать друг другу отчет, и ей не хотелось признаваться, что она записалась сдуру в клиентки брачной конторы. Однако Робер неизменно требовал вежливости в обращении, так же как своей порции сахару в кофе.

— Я задержалась в магазине, — ответила Луиза.

Она горько усмехнулась при мысли, что этот магазин, в сущности, — лавка древностей и что она сама — просто залежалый товар. Отражение в зеркале над камином показалось ей более четким, чем обычно, и, накрывая на стол, она придирчиво разглядывала себя. Гладко причесанные волосы напоминали пеньковый парик у кукол. Если б она могла позаимствовать их ослепительный целлулоидный цвет лица! Кожа на щеках казалась не напудренной, а запыленной. Только глаза орехового цвета, одни глаза сохранили былую красоту... Но что это?.. Ресницы уже начали редеть. Луиза в огорчении повернулась спиной к зеркалу, совсем расстроилась и разбила тарелку.

— Успокойся, голубушка! — процедил Робер.

Экий противный ворчун!

Мадемуазель Дюмон успокоилась. Целых десять дней она не заглядывала в Парижское агентство рекламы. Когда она решилась наконец зайти туда за корреспонденцией, толстый конторщик не узнал ее. Он потребовал квитанцию и долго ее проверял, прежде чем выдать клиентке четыре письма.

Луиза распечатала одно из них тут же в конторе и с первых же строк пришла в ужас:

«Ага, моя цыпочка, тебе уже невтерпеж без любовника! Перестань жеманничать и приходи во вторник 15-го в 20 часов на бульвар Сен-Мишель. Жди меня на чугунной плите над водостоком, напротив Синего бара. Ночную рубашку брать не стоит. Уж мы с тобой...» и т. п.

Далее на тридцати строках следовали, по выражению Луизы, «омерзительные подробности». Она все же дочитала письмо до конца, прежде чем разорвать в клочки, и заодно чуть было не выбросила, не распечатывая, и остальные конверты.

Однако, подавив отвращение, она вскрыла второе письмо, затем третье: они были написаны простоватым языком, с соблюдением всех необходимых правил, кроме правил орфографии. Тяжело вздохнув, Луиза аккуратно сунула острие зубочистки в уголок четвертого конверта: оттуда выпали два машинописных листка, пахнущих табаком, и на последнем, внизу, стояло имя *Эдмон,* также отпечатанное на машинке, и надпись: «абонент Парижского рекламного агентства, улица Па-скье». Луиза поморщилась: этот аноним не отличался храбростью. Впрочем, ведь и сама она подписалась: «Мартина, абонентка Парижского рекламного агентства, улица Медичи». К тому же этот корреспондент изъяснялся в приличном тоне:

Уже несколько месяцев я читаю объявления на витринах рекламного агентства. Вначале я делал вид, будто интересуюсь адресами квартир по найму. Но вскоре стал открыто изучать доску брачных объявлений, где пришпилены две или три дюжины карточек. Сегодня наконец я выбрал три номера и взял абонементный ящик для хранения корреспонденции.

Не подумайте, однако, что это письмо отпечатано в трех экземплярах. Было бы неучтиво послать Вам нечто вроде циркуляра. Должен предупредить Вас заранее, что подписываюсь здесь вымышленным именем. Вопреки обычаю, я счел вполне допустимым перепечатать письмо на машинке. По моему почерку Вы, пожалуй, угадали бы кое-какие черты моего характера, но я остерегаюсь подобных выводов. Чтобы я сам не поддался искушению изучать черточки Вашего «Т» и завитки вашего «С», прошу принять ту же меру предосторожности. Таким образом, некоторое время мы будем пользоваться полной свободой: незнакомец и незнакомка могут во всем признаться друг другу, и даже страх показаться смешным не мучает их, если они соблюдают инкогнито.

Впрочем, я не намереваюсь изливать душу. Мы с Вами люди серьезные, и, судя по моим собственным чувствам, я легко могу представить себе Ваши. Скажем прямо и откровенно: я старый холостяк, а Вы старая дева. Под смешной кличкой кроется горькая действительность, и, вверяясь брачной конторе, мы должны опасаться не столько чужих насмешек, сколько превратностей собственной судьбы.

Стоит ли к этому предисловию добавлять такие подробности, как рост, вес, телосложение, цвет волос или глаз?.. Я избавляю Вас, и Вы избавьте меня от подобных «особых примет» и измерений, годных лишь для торговцев лошадьми. Я полагаю, будет достаточно заверить Вас, что у меня нет отталкивающих физических недостатков.

Да и моральных тоже нет. Я ни с кем не связан, мне некого забывать. Холостяком не становятся, им *остаются.* В этом глаголе столь глубокий смысл, что бесполезно искать другого объяснения…»

Вот это уж неправда! Луиза достаточно хорошо себя знала, чтобы найти другое объяснение. Она быстро дочитала письмо до конца и, несмотря на отсутствие особых примет, составила себе некоторое представление о его авторе: бесцветная жизнь, мелкий эгоизм, робость под видом покорности судьбе, преувеличенная осторожность и замкнутость, словом, пристрастие к серым тонам, — все это было ей понятно и знакомо. Признаться ли? Ей не внушал особой симпатии этот незнакомец, чересчур подобный ей самой. Люди схожие не всегда сходятся близко. Однако он возбуждал в ней любопытство. Можно быть недовольным своей жизнью, но мириться с нею. Почему жизнь незнакомца не удовлетворяла ее? Вопрос поставлен неправильно. Почему жизнь Луизы перестала ее удовлетворять?

Она перечитала письмо и заметила, что буква «М» всюду западает. «Машинка нуждается в ремонте», — подумала она. Луиза вернулась домой и, наспех пообедав, принялась кропать черновик.

— Что ты делаешь? — спросил брат, внезапно оторвав ее от письма, и прибавил совсем уж некстати: — Луиза, когда же ты соберешься пойти к парикмахеру? Тебе давно пора сделать прическу.

— Как-нибудь на днях, — сказала она сухо, не находя нужным быть любезной в ответ на бестактность. И тут же отпарировала: — А ты, когда же ты соберешься продать эти мерзкие китайские вазы?

— Я помню об этом, сестрица! — пробурчал Робер и удалился к себе в комнату, даже не пожелав ей, против обыкновения, спокойной ночи.

Луиза вздохнула и почему-то прониклась теплым чувством к своему корреспонденту: тот, другой, тоже конторский служащий, был, по крайней мере, тактичным и деликатным. Она переделала письмо, некоторые фразы зачеркнула, добавила несколько новых, не таких сухих, а главное, не таких вялых, как прежде. Наконец-то письмо, тщательно переправленное, показалось ей удовлетворительным:

Не старайтесь оправдаться. В конце концов Вы скажете, как актриса в пьесе: «Можно ли упрекать бриллиант, что он вправлен отдельно, что он одинок?» Ни Ваш, ни мой алмаз не весит столько каратов. В нашей жизни недоставало любви, но главное — не хватало желания любить. Сейчас

важно уже не то, почему мы стали или остались одинокими, но почему не хотим больше с этим мириться. Я неспособна к внезапным увлечениям, мне больше по душе прочность позднего чувства…»

В таком тоне Луиза заполнила две страницы и на следующее утро, уступая желанию своего корреспондента, перепечатала их на машинке.

Отправив письмо, она не стала ждать неделю и уже на четвертый день явилась в агентство. По правилам вежливости нельзя заставлять людей ждать ответа, не так ли? Однако от Эдмона не было ни строчки. Конторщик вручил ей два письма, полученные с запозданием — одно от вдовца, другое от разведенного. Мадемуазель Дюмон с досады разорвала их в клочки: она была не из тех, кто способен заводить несколько знакомств сразу. Через день опять ничего. Луизе пришлось пять раз наведываться в контору и пять раз сносить обидную усмешку лысого толстяка, пока наконец она не нашла в своем абонементном ящике конверт с напечатанным адресом. На этот раз она сама усмехнулась: буква «М» в слове «Мадемуазель» западала. Луиза поспешно принялась читать письмо:

«…Извините меня за невольное опоздание. Я хотел сделать окончательный выбор между тремя корреспондентками. Отныне Вы единственная…» и т. п.

Луиза радостно улыбнулась, и лысый конторщик громко произнес в назидание новым посетительницам:

— Видите, наши клиентки всегда находят себе пару по вкусу.

И вот, читая абзац за абзацем, Луиза дошла до следующих строк:

«…В зрелые годы говорят о бесе полуденном: почему не поверить в полуденного ангела? Быть может, мы принадлежим к тем, для кого жизнь начинается в сорок лет. Мы…»

Мы! Новое местоимение! Луиза поспешно направилась домой, на улицу Эстрапад, но по дороге, сама не зная почему, забежала в ближайшую парикмахерскую и сговорилась с мастером на завтра.

Полгода! Их переписка длилась полгода: они обменивались письмами, по-прежнему анонимными, два раза в неделю. В ящике ночного столика Луизы накопилось пятьдесят писем; это не были любовные письма, но Луизе они вскоре стали казаться именно такими. Впрочем, их содержание не вполне ее удовлетворяло. Ничего не объясняя прямо, Эдмон туманно ссылался на «неудачно сложившуюся жизнь». Никаких жалоб, но унылый тон несбывшихся надежд, навязчивая идея о бесполезно прожитых годах. Казалось, он видел в будущем лишь средство заполнить пустоту прошлого, ибо недаром сказано, что жизнь без будущего — это зачастую жизнь без воспоминаний.

Между ними устанавливалось взаимопонимание, некая душевная близость на расстоянии. В один прекрасный день слово «мадемуазель», со знакомой буквой «М», незнакомец заменил просто Мартиной. Они были на грани фамильярности и все еще не знали друг друга.

«…Вполне возможно, — признавался Эдмон, — что Вы будете разочарованы, когда мы встретимся впервые. Я ничего от Вас не скрывал, но нередко человека отвергают только потому, что воображали его совсем иным».

Того же самого боялась Луиза, и этот страх постепенно преобразил ее. «Луиза» уступала место «Мартине». Разумеется, ее вкусы и привычки остались прежними. Перемены произошли не в ее натуре, а в общем настроении: есть множество способов, меняясь, оставаться самим собой. В ее характере появились черты, прежде ей не свойственные, — мягкость, доброта, снисходительность. Она начала больше заботиться о своей внешности. От прежней небрежности в туалете до модных нарядов ей было еще далеко, но теперь она старалась всегда одеваться со вкусом. Первое время Робер изводил ее насмешками, затем его ирония сменилась удивлением и, наконец, тревожным любопытством. Уж не догадывался ли он? Не боялся ли остаться в одиночестве? Так или иначе, он перестал подсмеиваться над сестрой и, по ее примеру, начал больше следить за собой. Луиза, оценившая эту перемену, заметила, что он тронут ее заботливым вниманием и старается ответить ей тем же. Она упрекала себя, что относится к брату слишком сухо: «В сущности, он неплохой малый. Экая жалость, что ему недостает того душевного богатства, каким обладает Эдмон».

Полгода! Луиза уже два раза возобновляла свой абонемент в рекламном агентстве, когда наконец от ее корреспондента пришло пятьдесят шестое и последнее письмо. Оно было кратким:

«Мне кажется, Мартина, нам пора перестать играть в прятки. Мы серьезно все обдумали, мы были очень терпеливы. Теперь я Вас достаточно хорошо знаю, чтобы не бояться разочарования, о котором Вам писал. Буду ждать Вас в субботу, в полдень, у дверей Вашего агентства на улице

Медичи. Условимся: у каждого в руках будет в развернутом виде последний номер «Энтранси-жан». Я скажу Вам свое имя, свой адрес, Вы ответите мне тем же. Ах, Мартина, я чувствую, мне будет трудно называть Вас другим именем! До скорой встречи.

В этот вечер Луиза вернулась домой сильно взволнованная, раздираемая тревогой и нетерпением. Робер был на редкость внимателен, даже ласков с ней. «Неужели по моему лицу можно обо всем догадаться? — подумала она. — Почему он старается развлечь меня, не зная, в чем дело? Пожалуй, следовало бы все ему рассказать». Но у Луизы не хватило духу нарушить его столь необычное хорошее настроение, и она провела три дня в трепетном ожидании, несколько ребяческом, напоминавшем ей давние времена первого причастия.

Наконец наступила суббота. Луиза, в этот день свободная от работы, все утро тщательно одевалась и прихорашивалась. К одиннадцати часам она была готова. Но в четверть двенадцатого внезапно решила, что с ее стороны будет скромнее надеть менее нарядное платье, и честнее — смыть грим с лица. Выйдя из дому с опозданием, она все же сделала крюк через Люксембургский сад, откуда открывается вид на улицу Медичи.

Луиза тихонько подошла к садовой решетке. Перед витриной агентства стоял человек среднего роста, держа в руке развернутую газету — несомненно, Эдмон. Он стоял к ней спиной. Луиза видела лишь серую шляпу и темно-синий плащ. Ей бросилась в глаза забавная мелочь: этот плащ был только что куплен, очевидно, в ее честь, и простодушный холостяк забыл содрать товарный ярлычок. От робости или из страха, что его не узнают, он упорно, не отводя глаз, рассматривал витрину. Луиза подождала еще несколько минут, но так как Эдмон не двигался, она развернула газету и, выйдя из сада, перешла улицу. На стук ее каблуков незнакомец круто повернулся, невольно поднеся руку к шляпе, и, пораженный, застыл на месте. «Корреспондентом» оказался Робер.

— Что ты тут делаешь? — прошептала Луиза.

Она сильно побледнела, тогда как ее брат залился багровым румянцем. Однако он овладел собою быстрее, чем она.

— Я пришел проверить, где вывешено мое новое объявление, — сказал он. — Я уже давал одно полгода назад, чтобы продать эти китайские вазы, которые ты так ненавидишь. Но ничего не вышло.

Нижняя губа у него отвисла, он с жалобным видом растерянно моргал глазами. Газету он сунул за спину, неловко комкая ее в руках.

«Ну нет, голубчик мой, — подумала Луиза, — мы не сумеем притворяться. Наша жизнь стала бы невыносимой».

— Как вы поживаете, Эдмон? — спросила она со смехом.

Тогда Робер поступил именно так, как подобало в их положении. Он обнял сестру и крепко прижал ее к сердцу.

— Самое удивительное то, — произнес он дрогнувшим голосом, — что мы и в самом деле могли бы пожениться: нам это просто никогда не приходило в голову.

Разумеется, Луиза не вышла замуж за Робера, хотя имела на это право, — ведь он был только сыном ее отчима. Они не были братом и сестрой, но всю жизнь относились друг к другу как родные. Поэтому, вступив в брак, они морально совершили бы грех кровосмешения. Кроме того, слишком давно они смотрели друг на друга безжалостным оком близких людей, каждый досконально изучил все недостатки, все мельчайшие особенности характера, внешности, одежды другого. Они *очень* любят друг друга, теперь, быть может, даже больше, чем прежде, но это чувство никогда не станет любовью. Наконец, самое главное то, — как заметил Робер, — что им это никогда не приходило в голову. Иные предубеждения нельзя преодолеть сразу.

Однако они ни о чем не жалеют. Теперь оба хорошо понимают друг друга, оба знают, как много они значат один для другого. Их жизнь не изменилась, но они и не хотят ее менять. Они не тяготятся своим холостым положением, они выбрали его сами. Конечно, Робер всегда останется прежним Робером, ворчливым, высокомерным, немножко нудным. Но он перестал — ради нее одной — держаться так отчужденно, и если порою он замыкается в себе, как прежде, и глядит на нее словно издалека, прищурив глаза, Луизе стоит только коснуться его руки и прошептать: «Эдмон!» — и ангел полуденный, пролетая в молчании, вызывает слезы умиления в их поблекших глазах.

Труайя родился в Москве, в буржуазной семье Тарасовых. В книге воспоминаний «Святая Русь» (1956) он рассказывает о детстве, проведенном в России, о революции 1917 года, об эмиграции и о том, как он стал французским писателем. Не приняв революции, родители его в 1920 году обосновались в Париже. Мальчик рано начал сознавать, что во Франции им суждено остаться навсегда: «Я стал французом, сохранив исключительную нежность к утраченной родине… Восхищение перед великими русскими писателями пробудило во мне желание писать, писать по-французски, ибо образование я получил во Франции».

Первый роман Труайя «Обманчивый свет» (1935) отмечен Популистской премией, а роман «Паук» (1938) — Гонкуровской. Известность пришла быстро. Сложнее оказалось подняться до уровня реалистических традиций русской и французской классики. Политический индифферентизм Труайя, стремление держаться в стороне от острых социальных столкновений сужали идейный кругозор художника, часто обрекали его на эпигонство. Писатель декларирует свое «невмешательство», отказ от нравственной оценки поступков, мыслей и чувств своих героев. Причины этого релятивизма и кризисных явлений в творчестве Анри Труайя объясняет одно из его горьких признаний: существование за пределами родины — «равносильно утрате сокровенного смысла жизни».

Антифашистская позиция Труайя, его критическое отношение к буржуазному обществу питают реалистические тенденции его прозы. В пятитомной серии романов «Сев и жатва» (1953–1958) рассказывается о быте французской семьи. В четырех романах серии сюжет замкнут в границах камерно-психологического повествования. В романе «Встреча», завершающем серию, рамки действия расширяются: в судьбу героини вторгается история — вторая мировая война, оккупация, освобождение Парижа — и подлинно глубокое чувство.

В трилогии «Семья Эглетьер» (1965–1967) художник критически оценил нравы современной буржуазной семьи, участь пленников «общества потребления». Отмеченный печатью натурализма роман «Анна Предайль» (1973) граничит с произведениями «массовой культуры», но и в нем тревожно звучит тема буржуазного эгоизма, бесплодности и бесперспективности анархического бунтарства.

Труайя — автор беллетризованных биографий русских писателей: «Достоевский» (1940), «Пушкин» (1946), «Странная судьба Лермонтова» (1952), «Толстой» (1965), «Гоголь» (1971).

В 1959 году Анри Труайя избран во Французскую академию.

Henri Troyat: «La Fosse commune» («Общая могила»), «Le Jugement de Dieu» («Суд божий»), 1938; «Le Geste d'Eve» («Жест Евы»), 1962; «Les Ailes du Diable» («Крылья дьявола»), 1966.

Новелла «Ошибка» («Le vertige») входит в сборник «Жест Евы».

Ошибка

У м-ль Паскаль худое лицо, впалые щеки, острый нос и круглые зрачки злой птицы. Ее волосы, осыпанные перхотью, зачесаны назад; на затылке — шиньон, из которого торчат булавки. Она носит темные шерстяные платья, не признает других украшений, кроме брошки в виде барометра и розового бутона, вырезанного из ноздреватого камня, якобы из Афганистана, если ей верить. Зеленая шаль с длинной бахромой висит на ее плечах, как на вешалке. Жесты ее резки: она пожимает вам руку так, словно дергает за дверную ручку.

Уже пять лет м-ль Паскаль занимает должность пом. нач. отдела претензий службы сборов министерства транспорта и подъездных путей. Закулисные интриги были причиной того, что она заняла этот пост с большим запозданием. У нее было свое мнение насчет порядков в отделе кадров… Ее на каждом шагу заставляли терпеть унижения. И если, к примеру, ее отделу требовалось несколько делопроизводителей, то в распоряжении м-ль Паскаль был лишь один, неопытный и ничего не смысливший в работе отдела претензий.

Звали его Гюш. Мелкие, невыразительные черты бледного лица, губы — словно штемпельные подушки, рыжие усики, торчавшие под носом, как мочалка, и вдобавок — вечный насморк. М-ль Паскаль говорила о нем: «Культуры, конечно, никакой. Но, по крайней мере, непьющий, от него никогда не попахивает». Она относилась к Гюшу с ледяным презрением, разговаривала с ним лишь о делах, поручала ему самые нудные претензии и, когда ей надоедало смотреть на спину Гюша, уныло маячившую перед глазами, — посылала его за какой-нибудь справкой в противоположный конец здания министерства. К великому ее сожалению, он сидел напротив ее стола, и кабинет был слишком мал, чтобы расположить их рабочие места по-другому.

Однажды Гюш пришел на час позже. Он был чисто выбрит, в новом костюме, на его губах играла застенчивая улыбка. Извиняющимся тоном он объяснил:

— Сегодня открылась вторая выставка картин художников-любителей — служащих нашего министерств а. — Потупив взор, он добавил: — Там есть и мои полотна.

Эта новость удивила м-ль Паскаль. Ее раздражение сменил снисходительный интерес, и она проворчала:

— Вот как? Надо будет взглянуть.

— Это внизу. Вход бесплатный.

— Ладно. Но у нас есть дела поважнее. Ответили ли вы на письмо Кардебоша о возмещении ему расходов по поездке для ревизии Национальной компании подъездных путей?

При напоминании о его прямых обязанностях Гюш рухнул за свой стол как подкошенный, что м-ль Паскаль отметила не без злорадства.

В пять часов, закончив срочные дела, она решила осмотреть выставку. Поправив шаль и пригладив волосы, она величественно выплыла из кабинета, ни дать ни взять корабль, выходящий на океанский простор.

Вторая выставка художников-любителей находилась в большом нетопленном зале, где царила тишина, как в церкви. Посетителей было мало, они шептались вполголоса. М-ль Паскаль начала с известной долей благожелательства рассматривать картины.

Эти произведения искусства свидетельствовали о том, что у начальства нет причин беспокоиться о состоянии умов служащих министерства. Полотна изображали то заход солнца, то бретанское побережье (зеленые волны, разбивающиеся о черные скалы), то поля, усеянные маками. Затем огромное количество котят в корзинках, с глазами, похожими на пуговки, козлят неопределенной масти и натюрмортов. Все это было очень мило и безобидно. Как видно, занятие, которым заполняли свой досуг сослуживцы м-ль Паскаль, не заключало в себе ничего предосудительного.

Она уже заканчивала осмотр, как вдруг ее внимание привлек щит с четырьмя картинами, изображавшими обнаженных женщин. Одна, рыжеволосая, с молочно-белым телом, валялась на постели. Другая, оседлав стул, курила папироску, устремив куда-то взор, дышащий похотью. Третья была показана и со спины, и спереди, ибо сладострастно потягивалась перед зеркалом. Четвертая осторожно пробовала ногой воду в эмалированном тазу… Все они были написаны в реалистической манере и выглядели как живые; от них так и разило неприличием. Хоть бы клочок материи, хоть бы стыдливо наброшенная вуаль, хоть бы умело расположенная веточка с листьями. Ничего этого не было: абсолютно все — на виду!

От смущения кровь прихлынула к щекам м-ль Паскаль. Она наклонилась, чтобы прочесть фамилию художника, и чуть не упала в обморок от удивления: на этих непристойных картинах красовалась

подпись — Гюш.

Она вернулась в свой кабинет в полном замешательстве. Как себя повести? Похвалить делопроизводителя? Это было бы равносильно признанию, что ей понравилась его гнусная мазня. Негодовать? Но чем мотивировать свое возмущение? М-ль Паскаль решила, что лучше всего — смолчать.

Однако на другой день ее начала мучить мысль: что говорят о ней сослуживцы? Наверно, жалеют — ведь она обречена проводить целые дни вдвоем с этим развратником, у которого на уме — одни гадости… А может быть, смеются над нею, перешептываются: «Должно быть, она не скучает с таким молодчиком»… Ее имя рядом с его именем! Одна мысль об этом не давала ей покоя.

Внимательно, как никогда раньше, она разглядывала делопроизводителя и удивлялась, что до сих пор не замечала явных следов порока на его лице. Бледность, потухший взгляд равно как и чуть вздрагивающие руки и легкое заикание, — все говорило о ночах, проводимых в распутстве. Она живо представляла себе, как в своей комнате, где на софах разбросаны подушки и звериные шкуры, где стоят курильницы для дурманящих благовоний, он придает раздетой женщине нужную позу… И когда после бурной ночи, проведенной с натурщицей, он приходил на службу, садился за стол, брал и перелистывал дела, его ум, конечно, еще был полон мерзостями, составлявшими основу его жизни…

А как он смотрел на нее! Раньше она этого не замечала. Словно обшаривая все ее тело липким взглядом… Вне всякого сомнения, он мысленно раздевал ее, как натурщицу.

Кровь приливала к ее щекам. Она ерзала на стуле, вставала, выходила в коридор. Но когда возвращалась, в нее снова впивались наглые глаза делопроизводителя и она чувствовала себя раздетой, оцениваемой по всем статьям, как некогда рабыни на восточных рынках.

«Рано или поздно, — думала м-ль Паскаль, — он воспользуется моей беспомощностью!» И дрожала как осиновый лист до самого конца дня.

Однажды двое рабочих внесли диванчик в их кабинет. «Вот мебель, выписанная вами со склада!» — сказал один из них Гюшу.

У м-ль Паскаль сердце так и екнуло. Как он был уверен в себе, этот циник! Она украдкой взглянула на него. Он был, видимо, удивлен и заявил, что ничего такого со склада не выписывал. Оказалось, что и в самом деле произошла ошибка, диванчик унесли, но м-ль Паскаль не могла успокоиться до самого вечера.

Начиная с этого дня, несчастная жила в непрерывном страхе. Сегодня это случится или завтра? Ей казалось, что Гюш стережет ее, как пантера перед прыжком. Когда он обращался к ней с просьбой передать ту или иную папку, ее сердце сладко замирало. Самые обычные юридические термины обретали в его устах чувственный оттенок и смысл, каких она раньше не замечала. Она стала относиться к работе спустя рукава и в ответ на вопросы Гюша бормотала что-то нечленораздельное. Когда же совершится неизбежное? Ожидание изнуряло ее. Но Гюш не торопился, играя с ней, как кошка с мышью.

Однажды, набравшись мужества, м-ль Паскаль спросила его:

— Вы рисуете с натуры?

Он потупил глаза с улыбкой сатира.

— Да, большей частью. Но иногда и по памяти, если сюжет интересный.

Без сомнения, он писал «по памяти» и ее. Ящики его стола, наверное, забиты рисунками, где она изображена в костюме Евы… А что, если он собирается показать их на следующей выставке? Тогда все, кто работает в министерстве транспорта и подъездных путей, увидят ее обнаженной… «Нет, я не вынесу такого унижения!» — подумала она. Но в то же время эта перспектива доставляла ей какую-то тайную радость.

По мере того, как шло время, она все больше подчинялась странному обаянию Гюша. Как видно, общество человека с нечистыми мыслями действовало заразительно… По ночам ее мучили эротические сны. В ее воображении вставали самые вольные сцены, происходившие в их кабинете, среди скоросшивателей и папок. Во сне Гюш обращался к ней на «ты», а она вела себя как женщина легкого поведения… М-ль Паскаль просыпалась вся в поту, задыхаясь.

Ее приводило в отчаяние, что он все еще притворяется этаким добрым малым и не спешит признаться, что у него на уме. Ей не терпелось погрузиться вместе с ним в океан сладострастия…

Однажды м-ль Паскаль пришла на работу в светлом платье, с вырезом, накрашенная донельзя.

Срывающимся голосом она спросила:

— Не сделаете ли вы мой портрет?

— Я не пишу портретов, — сказал Гюш.

Она потупилась.

— Я знаю, что вы рисуете только обнаженные фигуры.

Но делопроизводитель отрицательно покачал головой:

— О нет, что вы! Женщины, которых вы видели на выставке, — кисти Рюша, сотрудника общего отдела.

Затем он добавил, застенчиво улыбаясь:

— А я рисую только котят…

Пьер Буль пришел в литературу сравнительно поздно. Когда в 1950 году он опубликовал свой первый роман «Вильям Конрад», ему было тридцать восемь лет. Однако уже в этой книге Буль выступил как сложившийся писатель, человек с жизненным опытом, твердо знающий, что он хочет сказать своим читателям.

А опыта Пьеру Булю было на занимать. Инженер-электрик по образованию, он встретил вторую мировую войну служащим на каучуковых плантациях о юго-восточной Азии. Решив принять участие в сопротивлении японским захватчикам, Буль пережил множество опасных и драматических приключений в Бирме, в Китае и во Вьетнаме; обвиненный петэновскими властями в «предательстве», он несколько лет провел в тюрьме, откуда бежал в 1944 году.

Многие впечатления от пережитого в Азии нашли отражение в одном из наиболее известных романов Буля «Мост через реку Квай» (1952), за который ему была присуждена премия Сент-Бёва.

Но азиатский опыт пригодился Булю и в другом отношении: знакомство с восточными цивилизациями помогло ему как бы чужими глазами взглянуть на европейскую культуру, увидеть всю относительность — историческую и социальную — тех нравственных ценностей и понятий, которые казались его соотечественникам вечными, естественными, само собой разумеющимися. Это умение наизнанку вывернуть общепринятое, увидеть в нем нечто странное или даже противоестественное характерно не только для таких романов Буля, как «Испытание белых людей» (1955), который строится на прямом взаимоосвещении западной и восточной культур, но и, пожалуй, для всех его произведений, где прием отстраненного показа примелькавшихся явлений, вещей, устоявшихся представлений играет ведущую роль.

Этот прием, нередко подкрепляемый научно-фантастической или детективной мотивировкой сюжетных коллизий, не только придает занимательность романам Буля (назовем среди них «Малайское святотатство», 1951; «Палач», 1954; «Планета обезьян», 1963; «Фотограф», 1967; «Игры, ума», 1971; «Добродетели ада», 1974), но и служит целям резко сатирического изображения современной действительности. И по своему критическому духу, и по используемым приемам Пьер Буль во многом связан с литературной традицией, заложенной еще Свифтом в «Путешествиях Гулливера» и Вольтером в «Простодушном» и «Кандиде». Буль неистощим на выдумку, когда хочет разоблачить интеллектуальный и нравственный догматизм, когда показывает, как «железная» логика оборачивается алогизмом, абсурдом, позорной и смешной неудачей, а иногда и настоящей трагедией.

Отсутствие догматизма в идейных позициях самого Буля хорошо объясняет, почему его сатира совершенно лишена морализаторского оттенка и почему прозрачная ясность и рационалистичность его ума, всегда создающего четкие психологические и сюжетные конструкции, так легко и органично сочетается с жизнерадостным юмором, наполняющим произведения писателя.

Pierre Boulle: «Contes de l'Absurde» («Рассказы об Абсурде»), 1953; «Histoires charitables» («Милосердные истории»), 1965; «Quia absurdum» («Ибо это абсурдно»), 1970.

Рассказ «На уток» («L'affut au canard») входит в сборник «Ибо это абсурдно».

На уток

В ту пору мне было десять лет. Зимою, по субботам, мы с отцом уезжали в повозке за город, в самой настоящей повозке, запряженной лошадью. Чтобы не терять времени зря, отец ждал меня у выхода из лицея.

Уже вечерело, когда мы переезжали через Рону. За мостом мы сворачивали налево и, миновав поселок, фабрику, трактир, оказывались на пустынной равнине среди полузаброшенных полей. Тут лошадь переходила на рысь.

В холодные дни отец, который правил голыми руками, не боясь обветрить их, вдыхал морозный воздух, глядел на небо и говорил:

— Лучшей погоды для охоты на уток не придумаешь.

Я был вполне с ним согласен. Всю неделю я только об этом и думал. С самого утра меня начинало лихорадить, и я всеми способами пытался определить силу ветра, от которого звенели оконные стекла в нашем классе. Слова отца о том, что погода для охоты подходящая, иначе говоря, достаточно скверная, приводили меня в неистовое волнение, я пьянел, уверенность в удаче кружила мне голову. Я жадно глядел на звезды, пока ресницы мои не покрывались инеем, а окружающая мгла не заполнялась крылатыми существами с напряженно вытянутыми вперед шеями. В мерном цокоте копыт я слышал таинственные звуки победных фанфар, не раз будивших меня по ночам, — нечто вроде «шуршанья механических крыльев», как сказал мне однажды отец после охоты в Камарге, — ни с чем не сравнимую волшебную музыку, которая предвещает на рассвете приближение стаи уток.

От ветра, от толчков то и дело гас наш фонарь — тусклая «летучая мышь»; но едва мы оказывались за мостом, нам уже не страшны были неприятные встречи (жандармы!), а лошадь, отлично знавшая дорогу, не могла сбиться с пути. Пройдя расстояние, которое казалось мне бесконечным, она сама сворачивала на тропинку между двумя рядами айвы, хлеставшей нас своими ветвями, и снова выезжала к реке. Подскочив несколько раз на глубоких ухабах, повозка останавливалась перед одиноко стоявшим домом.

Мы были у цели. Дом терялся среди нагромождения гигантских мельничных колес, заслонявших небо. Мистраль дул здесь с невероятной силой. Прежде чем заняться лошадью, мы отправлялись на крутой берег Роны и прислушивались к ее журчанию, высматривая вдалеке открытые песчаные отмели. Один из нас, отец или я, не выдерживал:

— Река-то еще больше обмелела. В самый раз для охоты на уток…

Потом мы быстро распрягали разгоряченную лошадь, распаковывали нашу провизию и при свете керосиновой лампы, перед пылающим в кухне очагом наскоро закусывали холодным мясом и сыром. После этого отец вынимал из чехла ружье, протирал его и ставил в козлы. Затем мы заготавливали патроны — разного цвета в зависимости от размера дроби: восьмого и десятого номера — для дроздов и жаворонков, парочку покрупнее — на случай, если произойдет чудо, всегда возможное на берегах Роны, и, наконец, четвертого — для утренней охоты на уток.

Спали мы внизу, в насквозь промерзшей комнате с выбеленными голыми стенами. Стоило погасить свет, как над головой, где-то на чердаке, крысы начинали свой шабаш. С конюшни доносилось позвякиванье цепей, сопровождаемое глухими ударами: это лошадь, стоявшая на привязи, словно призрак, напоминала о своем присутствии. Тени голых веток зигзагами ложились на незанавешенное окно. Я долго не мог уснуть. Среди ночи я несколько раз просыпался в тревожном, мучительном страхе, боясь, как бы отец не пропустил рассвета, того короткого мгновения, когда, пролетая над тихими речными заводями, околдованные их зеркальной гладью, утки шумно опускаются на отмель, чтобы поплескаться в прибрежной воде.

Но отец никогда не пропускал этого мгновения. В четыре часа утра он просыпался и зажигал лампу. А может, он и вовсе не засыпал? Едва открыв глаза, еще сонный, я в тревоге бросался к окну, желая убедиться, что еще не рассвело. За окном действительно стояла тьма. До рассвета было далеко. Успокоенный, я начинал одеваться, стуча зубами от холода.

Поставив кофе на огонь, мы снова выходили на берег. С облегчением я вдыхал пощипывающий морозный воздух, который окончательно рассеивал мои страхи. Отец говорил:

— Нам повезло. Сегодня еще холоднее, чем в последние дни.

Известно, что в теплую погоду утки летят очень высоко и пренебрегают речными заводями.

Наспех проглотив кофе, мы выходили из дома и в темноте молча брели вдоль берега. Я старался неслышно ступать по мерзлой земле. В зарослях ивняка тьма была непроглядная. Мы двигались наугад по едва заметной тропинке, протоптанной нами среди густого кустарника еще в прежние наезды. Сухие ветки хлестали меня по лицу, по голым ногам, но я стоически переносил боль.

Наконец мы добирались до нашего шалаша, у самой кромки воды, защищенного от ветра. Это была попросту яма, вырытая в земле и прикрытая сверху ветвями. Мы, крадучись, забирались в нее. И начиналось ожидание в кромешной тьме. Нетерпение наше было так велико, что чаще всего мы приходили сюда часа за два до рассвета. Постепенно холод пробирал нас до костей, но мы не смели шелохнуться из боязни задеть ветку и обнаружить наш тайник. Ведь нет более пугливой дичи, чем утка.

Мало-помалу мрак рассеивался. Впереди уже можно было различить четкие очертания большой песчаной отмели. Между нею и берегом, на темном песке, все яснее проступали светлые лужицы. Наступал час прилета уток.

Час прилета уток наступал. Поминутно то я, то отец прикладывал палец к губам, призывая другого замереть: среди многих примет зарождающегося дня нам уже чудились иные приметы, предвестники чего-то более важного — таинственное шуршанье механических крыльев. При виде крохотной щепочки, вынырнувшей из тины, или камня причудливой формы сердце мое начинало учащенно биться. Я лежал в оцепенении, напряженно всматриваясь в диковинный предмет, не рискуя пошевельнуться, пока слезы не застилали глаза.

Вода становилась все светлее. Резче обозначались белые пятна гальки. Вдали уже видна была легкая рябь и вскипающая над водоворотами пена. Трясогузка дозором облетала берег, со щебетом выписывая один круг за другим. Высоко в небо взвивался жаворонок. Прилетевшая с севера малиновка рассыпала в воздухе монотонные трели. Два дрозда уже завели свой негромкий разговор. Стая серых и белых бекасов низко парила над водой, касаясь ее длинными заостренными крыльями. Отец хватался за ружье, — он ставил его обычно так, чтобы в любую секунду оно было под рукой, — и целился. Когда он взводил курок, сердце мое замирало, и, затаив дыхание, я подавался вперед. Но он тут же ставил ружье на место и, улыбаясь, успокаивал меня: это была просто шутка.

Первые лучи солнца золотили отмель. Становилось холоднее. Час прилета уток миновал.

С трудом выбирались мы из своего убежища и спускались на берег. Ноги наши не оставляли никаких следов на замерзшем песке. Каждая лужица была затянута тонким слоем льда. На другой стороне реки ветер обрызгал груды прибрежных камней мельчайшими капельками водяной пыли, и камни, обледенев за ночь, сверкали, словно огромные бриллианты. Насколько хватало глаз — Рона текла вдоль ослепительно сверкавшей каменной гряды. Мы ходили по отмели, совершенно окоченев, и все-таки пристально всматривались в горизонт, готовые при появлении черных точек тут же нырнуть в чащу.

Однако пора настоящей охоты прошла; волшебство ночи рассеялось. Оставалось одно — отправляться в мелколесье и пострелять там дроздов. Прежде чем уйти, я в последний раз со вздохом устремлял взгляд на небо и безнадежно шарил глазами в необъятном пространстве над рекой. Молча бредя назад, мы, бывало, с волнением обнаруживали у себя под ногами, рядом со следами крысы или выдры, старые следы, которые не могли нас обмануть: то были отпечатки трех перепончатых лапок. Казалось, они сулили нам вознаграждение за наше упорство и придавали видимость здравомыслия нашей безумной страсти. А однажды рядом с этими отпечатками мы даже обнаружили торчавшее в песке перо, — то было перо утки.

Пять лет мы совершали эти ритуальные выезды. Поначалу на мне были коротенькие штанишки и отец доверял мне только носить ягдташ. А под конец я получил уже собственное ружье и стал надевать длинные брюки, чтобы убедительнее выглядело разрешение на охоту, которое удалось для меня раздобыть. Пять зим подряд, после целого дня и целой ночи радостных надежд, восторгов и отчаяния, позабыв о насморке и бронхите, — я задыхался, еле сдерживая приступы кашля, — мы ждали в оцепенении прилета уток, ждали часа по два, дрожа от стужи у песчаной отмели, на оледеневшей земле… Два часа? Да что я говорю!.. Когда светила луна, мы приходили на берег гораздо раньше и часть ночи проводили в нашем укрытии: ведь на берегах Роны встречаются и утки-полуночницы.

Пять лет, повторяю я, и ни разу, верите ли, ни единого разу мы не видели ни одной утки. Ни разу я

не слышал «шуршанья механических крыльев»… Нет, пожалуй, не совсем так: однажды, когда мы возвращались домой, высоко-высоко в небе, над стаями дроздов, скворцов и зябликов мы увидели словно вычерченный пунктиром волшебный треугольник. Несмотря на большое расстояние, отчетливо были видны напряженно вытянутые шеи перелетных птиц, а сухой воздух как-то странно вибрировал.

С той поры у меня и жизни было немало занятных приключений. Много других, еще более интересных, я сам выдумал. Но никогда не ощущал я такого лихорадочного трепета, никогда мое сердце не билось так неистово, как в ледяной яме, на берегу Роны, в час охоты на уток.

Исступленный правдоискатель, собственное существование желавший превратить в практический пример проповедуемой им философии, яркого дарования литератор, чьи произведения поражают своей мучительной искренностью, лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года, Альбер Камю уже при жизни пользовался международной славой. С ним соглашались, его восторженно принимали как нового вероучителя, с ним спорили, его отвергали.

За двадцать с небольшим лет творческой деятельности идейно-нравственные взгляды. Камю претерпели значительную эволюцию. Но как бы ни менялись эти взгляды, в их основе всегда лежало стремление утвердить и обосновать такую позицию человека в мире, которая отвечала бы его истинному жизненному призванию и предназначению.

С точки зрения раннего Камю, автора очерковых сборников «Изнанка и лицо» (1937) и «Бракосочетания» (1938), подлинное счастье человек может обрести только приобщившись к «необузданному своеволию природы», безоглядно растворившись в извечной естественности природных стихий. Но уже в первой своей повести «Посторонний» (1942) Альбер Камю показал, что обряд «бракосочетания» со стихиями на поверку оказывается актом невозвратимого отказа от жизни духа в пользу жизни плоти, когда человеческое существо превращается в простое природное тело среди других таких же тел — деревьев, птиц, животных, — всецело подчиненных своим физическим ощущениям, но не способных ни к участию, ни к любви, ни к состраданию. Не случайно с середины 40-х годов центральной для Камю становится мысль о решительном противостоянии человеческого сознания, жаждущего ясности и смысла, косным и слепым силам природной и социальной стихий — мысль, развитая им в философском эссе «Миф о Сизифе» (1943).

Участие в Сопротивлении, сотрудничество в подпольной газете «Комба» укрепило убеждение Альбера Камю в том, что человеку необходимо найти нравственные критерии своего поведения в жизни. В 40-е годы его все больше и больше занимают проблемы. гражданского, социально-политического бытия; он хочет понять, как должна поступать личность в мире, затопленном волнами безудержного насилия, в мире, где существует фашизм, расизм, где бациллы зла люди вдыхают вместе с воздухом.

Нравственное величие человека Альбер Камю видит теперь в его способности к «бунту», способности бросить вызов обстоятельствам собственной жизни, пожертвовать своим существованием ради других и ради справедливости. «Я бунтую, следовательно, мы существуем», — эта формула Камю ясно отражает его позицию в период написания романа «Чума» (1947).

Однако абстрактность — а потому и невоплотимость — идеалов, нравственный максимализм, принципиальный протест против всякого — как реакционного, так и революционного — насилия, выразившийся в книге «Бунтующий человек» (1951), нередко приводили Камю к вопиющей политической наивности, к тому, что в условиях первой половины 50-х годов его имя и авторитет использовали именно те — наиболее консервативные — силы, против которых он выступал с такой непримиримой страстностью.

Догматик от человеколюбия, Камю в конце концов вынужден был усомниться в своей роли «праведника» и подвергнуть переоценке собственные позиции, что нашло отражение в его последнем крупном произведении — повести «Падение» (1956).

Нелепая автомобильная катастрофа рано оборвала жизнь Альбера Камю; она оборвала и его истовые поиски человеческой правды. Но творчество этого крупного художника остается одним из наиболее выразительных памятников горестных и вместе с тем мужественных размышлений европейской интеллигенции середины XX столетия.

Albert Camus: «L'exil et le royaume» («Изгнание и царство»), 1957.

Рассказ «Молчание» («Les muets») входит в указанный сборник.

Молчание

Давно наступила зима, а над городом, уже пробудившимся от сна, вставал поистине лучезарный день. За молом голубизна моря сливалась с сияющей лазурью неба. Но Ивар не замечал этого. Он тащился на велосипеде вдоль бульваров, господствовавших над портом. Больную ногу он держал неподвижно на подножке, заменяющей педаль, а здоровой работал изо всех сил, одолевая мостовую, еще влажную от ночной сырости. Он ехал, не поднимая головы, скрючившись над рулем, по привычке старался держаться поодаль от трамвайных рельсов, хотя по ним уже не ходил трамвай, вильнув в сторону, уступал дорогу нагонявшим его машинам и время от времени локтем откидывал за спину съезжавшую сумку, в которую Фернанда положила ему завтрак. При этом он с горечью думал о содержимом сумки. Вместо его любимого омлета по-испански или бифштекса, жаренного на оливковом масле, между двумя ломтями хлеба был всего только кусок сыра.

Никогда еще путь до мастерской не казался ему таким долгим. Что поделаешь, он старел. В сорок лет, хоть ты еще не одряб и, как виноградная лоза, гнешься да не ломаешься, мускулы уже не те. Иногда, читая спортивные отчеты, в которых тридцатилетнего спортсмена называли ветераном, он пожимал плечами: «Если это ветеран, — говорил он Фернанде, — то мне пора и богадельню». Однако он знал, что журналист не совсем не прав. В тридцать человек уже неприметно сдает. В сорок, конечно, еще не время уходить на покой, но к мысли об этом мало-помалу начинаешь загодя привыкать. Не потому ли он давно уже не смотрел на море, когда ехал на другой конец города, где находилась бочарня. Когда ему было двадцать лет, он не мог наглядеться на море: оно обещало ему счастливые часы на пляже в субботу и в воскресенье. Несмотря на свою хромоту, а может быть, именно из-за нее он всегда любил плавать. Но прошли годы, он женился на Фернанде, родился мальчонка, и, чтобы сводить концы с концами, пришлось по субботам оставаться на сверхурочные в бочарне, а по воскресеньям халтурить на стороне. Мало-помалу он отвык утолять в эти дни буйство крови. Глубокая и прозрачная вода, горячее солнце, девушки, жизнь тела — другого счастья не знали в их краю. А это счастье проходило вместе с молодостью. Ивар по-прежнему любил море, но только на исходе дня, когда вода в бухте слегка темнела. В этот час приятно было сидеть на террасе дома в свежей рубашке, которую Фернанда умела так хорошо погладить, перед запотевшим стаканом анисовки. Вечерело, небо перед закатом окрашивалось в нежные тона, и соседи, разговаривавшие с Иваром, почему-то вдруг понижали голос. В такие минуты Ивар не знал, то ли он счастлив, то ли ему хочется плакать. Во всяком случае, на него находило какое-то умиротворенное настроение, и ему оставалось только тихо ждать, он и сам не знал чего.

А вот утром, когда он ехал на работу, он не любил смотреть на море, которое всегда в назначенный час являлось на свидание с ним, но с которым ему тут же приходилось расставаться до вечера. В это утро он ехал, понурив голову, и ехать ему было еще тяжелее, чем обычно, потому что и на сердце было тяжело. Когда накануне вечером он вернулся с собрания и объявил, что они возобновляют работу, Фернанда обрадовалась и сказала: «Значит, хозяин дает вам прибавку?» Хозяин не давал никакой прибавки, забастовка провалилась. Они плохо действовали, приходилось это признать. Это была забастовка, рожденная вспышкой гнева, и профсоюз имел основания отнестись к ней прохладно. К тому же полтора десятка рабочих — не бог весть что; профсоюз считался с другими бочарнями, которые их не поддержали. А на них тоже нельзя было слишком обижаться. Бочарное дело, которому создавало угрозу строительство наливных судов и производство автоцистерн, не очень-то процветало. Делали все меньше и меньше бочонков и бочек и главным образом чинили уже имеющиеся большие чаны. Дела у хозяев шли неважно, это верно, но они хотели все же сохранить свои прибыли; проще всего им казалось заморозить заработную плату, несмотря на рост цен. Как быть бочарам, когда исчезает бочарный промысел? Профессию не меняют, если приобрести ее было не так-то просто. А это была трудная профессия, она требовала долгого обучения. Редко встречается хороший бочар, который пригоняет изогнутые клепки, крепит их на огне и стягивает железными обручами почти герметически, не пользуясь ни рафией, ни паклей. Ивар это знал и гордился этим. Переменить профессию ничего не стоит, но отказаться от того, что умеешь, от своего собственного мастерства — это нелегко. Хорошая профессия не имела применения, податься было некуда, приходилось смириться. Но и смириться было нелегко. Это значило придерживать язык, не имея возможности по-настоящему спорить, и каждое утро, отправляясь на работу, чувствовать, как накапливается усталость, а в конце недели получать то, что вам изволят дать, то есть гроши, которых не хватает на жизнь, потому что изо дня в день все дорожает.

И вот они обозлились. Поначалу двое или трое колебались, но и их взяла злость после первых переговоров с хозяином. Он сухо сказал, что торговаться не намерен, кому не нравится, может уходить. Разве это человеческий разговор?

— Что он воображает! — сказал Эспосито. — Уж не думает ли он, что мы наделаем в штаны?

Вообще говоря, хозяин был неплохой малый. Мастерская перешла к нему от отца, он вырос в ней и знал с давних пор почти каждого рабочего. Иногда он приглашал их закусить в бочарне; они жарили сардины или кровяную колбасу, подбрасывая в огонь щепки и стружку, и, сидя с ними за стаканом вина, он был, что называется, душа-человек. На Новый год он всегда давал каждому

рабочему по пять бутылок доброго старого вина и часто, когда кто-нибудь из них заболевал или просто по случаю какого-нибудь события, например, свадьбы или первого причастия, делал им денежные подарки. Когда у него родилась дочь, он всех оделил конфетами. Два или три раза приглашал Ива-ра поохотиться в свое поместье на побережье. Он и в самом деле любил своих рабочих и частенько напоминал, что его отец выбился в люди из подмастерьев. Но он никогда не бывал у них, ему это и в голову не приходило. Он думал только о себе, потому что знал только свое положение, и вот теперь заявлял, что не намерен торговаться. Иначе говоря, он в свою очередь заартачился. Но он-то мог себе это позволить.

Они добились согласия от профсоюза и объявили забастовку. «Не трудитесь расставлять стачечные пикеты, — сказал хозяин. — Когда мастерская не работает, я только выгадываю». Это была неправда, но это подлило масла в огонь, потому что тем самым он им в лицо говорил, что дает им работу из милости. Эспосито пришел в бешенство и сказал ему, что он не похож на человека. Тот вскипел, и их пришлось разнимать. Однако решительность хозяина произвела впечатление на рабочих. Двадцать дней продолжалась забастовка, дома печальные женщины ждали, когда она кончится, два или три товарища упали духом, а под конец профсоюз посоветовал им уступить, удовлетворившись обещанием арбитража и возмещения потерянных рабочих дней сверхурочными часами. Они решили возобновить работу. Конечно, хорохорясь, мол, это еще не конец, еще посмотрим, чья возьмет. Но в это утро Ивар физически ощущал тяжесть поражения, в сумке был сыр вместо мяса, и строить себе иллюзии было невозможно. Пусть морс сверкало на солнце, оно ему уже ничего не обещало, Он нажимал на единственную педаль своего велосипеда, и ему казалось, что он стареет с каждым поворотом колеса. При мысли о мастерской, о товарищах и о хозяине, которого он снова увидит, на сердце у него становилось все тяжелее. Фернанда спросила: «Что же вы ему скажете?» — «Ничего, будем работать», — ответил Ивар, перекинув ногу через раму велосипеда, и покачал головой. Он сжал зубы, и его тонкое смуглое лицо, изрезанное морщинами, стало непроницаемым. Так он и ехал, стиснув зубы, во власти бессильной, иссушающей злобы, омрачавшей в его глазах даже само небо.

Он оставил позади бульвар и море и поехал по сырым улицам бывшего испанского квартала. Они выходили на незастроенный участок, занятый только сараями, грудами железного лома и гаражами, среди которых возвышалась мастерская — своего рода барак, до середины каменный и застекленный до самой крыши из гофрированного железа. Мастерская примыкала к старой бочарне — двору с навесами вдоль стен, который был заброшен, когда предприятие разрослось, и теперь превратился в склад для отслуживших свое машин и старых бочек. За двором, отделенный от него галереей, крытой потрескавшейся черепицей, начинался хозяйский сад, в глубине которого возвышался дом. Большой и уродливый, он тем не менее имел приветливый вид благодаря крыльцу, увитому диким виноградом и жимолостью.

Ивар сразу увидел, что двери мастерской закрыты. Перед ними молча толпились рабочие. Впервые с тех пор, как он работал здесь, он, приехав, нашел двери на запоре. Видно, хозяин хотел этим подчеркнуть, что он взял верх. Ивар подъехал к навесу, пристроенному к бараку с левой стороны, поставил велосипед и направился к двери. Он издали узнал Эспосито, рослого молодца, смуглого и волосатого, который работал рядом с ним; Марку, профсоюзного уполномоченного, у которого всегда было мечтательно-томное выражение лица, как у модного тенора; Саида, единственного алжирца в мастерской, а потом и других, молча поджидавших его. Но прежде чем он к ним подошел, они вдруг повернулись к дверям мастерской, которые в эту минуту приоткрылись. В проеме показался Баллестер, мастер. Он потянул на себя одну из тяжелых створок и, повернувшись спиной к рабочим, стал медленно толкать ее по вделанному в пол рельсу.

Баллестер, самый старший из них, выступал против забастовки, но умолк, когда Эспосито сказал ему, что он служит интересам хозяина. Теперь он стоял возле двери, коренастый и приземистый, в своей голубой фуфайке, уже босиком (только Саид да он работали босые), и смотрел на них своими светлыми глазами, до того светлыми, что они казались бесцветными на его старом, выдубленном лице, с горько искривленным ртом под густыми обвисшими усами. Они молчали, униженные тем, что входили, как побежденные, в ярости от своего собственного молчания, которое им тем труднее было прервать, чем больше оно продолжалось. Они проходили, не глядя на Баллестера; они знали, что, пропуская их по одному, он лишь выполняет распоряжение хозяина, и по его обиженному и грустному виду догадывались, что он думает. Но Ивар посмотрел на него. Баллестер, который любил Ивара, ни слова не говоря покачал головой.

Теперь они были все в маленькой раздевалке справа от входа, разделенной на кабины без дверец, похожие на стойла, дощатыми перегородками с привешенными к ним шкафчиками, которые запирались на ключ; в последнем от входа стойле, в углу барака был установлен душ, а под ним в земляном полу вырыта сточная канавка. Посреди барака белели собранные бочки с еще свободными обручами, которые обожмут над огнем, стояли тяжелые скамьи с длинной прорезью, из которой кое-где торчали круглые днища, ждавшие обточки фуганком, и почерневшие горны. Вдоль стены слева от входа тянулись верстаки, а перед ними были навалены груды необструганных клепок. У правой стены, неподалеку от раздевалки, блестели, затаив свою силу, две большие, хорошо смазанные электропилы.

Барак давно уже стал слишком большим для горстки людей, которые в нем работали. В жару это было хорошо, в зимние холода — плохо. Но сегодня в этом просторном помещении было как-то особенно неприютно: остановившаяся работа, брошенные по углам бочки с единственным обручем, соединявшим нижние концы клепок, которые вверху расходились, как топорные лепестки деревянного цветка, опилки, покрывавшие станки, ящики с инструментом и машины — все придавало мастерской запущенный вид. Рабочие, переодевшиеся в старые фуфайки и вылинявшие, заплатанные штаны, замешкавшись, озирались вокруг, а Баллестер выжидательно смотрел на них.

— Ну что же, начнем? — сказал он наконец.

Они молча разошлись по своим местам. Баллестер переходил от одного к другому, в нескольких словах напоминая каждому, какую работу начинать или доканчивать. Никто ему не отвечал. Скоро первый молоток застучал по зубилу, набивая обруч на утолщенную часть бочки, скрипнул фуганок по сучку, и, вгрызаясь в дерево, завизжала электропила, которую включил Эспосито. Саид подносил клепки или разжигал костер из стружек, над которым держали бочки, пока они не разбухали в своем железном корсете. Когда его никто не звал, он клепал на верстаке большие ржавые обручи. По бараку начал распространяться запах горящих стружек. Ивар, который обстругивал и подгонял клепки, нарезанные Эспосито, узнал этот привычный запах, и у него слегка отлегло от сердца. Все работали молча, но в мастерской мало-помалу возрождалась жизнь, рассеивалась атмосфера запустения. Барак наполнял яркий свет, вливавшийся сквозь огромные стекла. В золотистом воздухе синели дымки. Ивар даже услышал возле себя жужжание какого-то насекомого.

В эту минуту в задней стене барака открылась дверь, выходившая в старую бочарню, и на пороге показался хозяин, господин Лассаль. Это был худощавый брюнет лет тридцати с небольшим, в бежевом габардиновом костюме и белой рубашке под распахнутым пиджаком. Несмотря на то что лицо у него было костистое, узкое, с острыми чертами, он обыкновенно внушал симпатию, как большинство людей, которые благодаря спорту держатся свободно, непринужденно. Однако на этот раз вид у него был слегка смущенный и поздоровался он не так громко, как обычно; во всяком случае, ему никто не ответил. Молотки на мгновение застучали тише, вразлад, потом загрохотали с новой силой. Господин Лассаль сделал несколько нерешительных шагов и направился к Валери, пареньку, который работал с ними всего только год. Он неподалеку от Ивара, возле электропилы, прилаживал днище к бочке, и хозяин стал наблюдать за ним. Валери продолжал молча работать.

— Ну, как дела, сынок? — сказал господин Лассаль.

Движения юноши вдруг стали неловкими. Он бросил взгляд на Эспосито, который рядом с ним собирал в огромную охапку клепки, чтобы отнести их Ивару. Эспосито, продолжая заниматься своим делом, в свою очередь посмотрел на Валери, и тот снова уткнул нос в бочку, ничего не ответив хозяину. Лассаль, слегка озадаченный, с минуту постоял возле юноши, потом пожал плечами и повернулся к Марку, который, сидя верхом на скамье, неторопливыми, точными движениями обтачивал по окружности днище.

— Добрый день, Марку, — сказал Лассаль теперь уже сухим тоном.

Марку не ответил, всем своим видом показывая, что заботится только о том, чтобы снимать как можно более тонкие стружки, и ни на что другое не обращает внимания.

— Что на вас нашло? — громко сказал Лассаль, обращаясь на этот раз к остальным рабочим. — Верно, мы не поладили. Но тем не менее нам надо работать вместе. Так к чему же все это?

Марку встал, поднял днище, провел ладонью по его окружности, прищурил свои томные глаза с видом полнейшего удовлетворения и, по-прежнему сохраняя молчание, направился к другому рабочему, который собирал бочку. Во всей мастерской слышен был только стук молотков да визг электропилы.

— Ну ладно, когда у вас это пройдет, дадите мне знать через Баллестера, — сказал господин Лассаль и спокойным шагом вышел из мастерской.

Почти сразу после этого, перекрывая оглушительный шум, дважды прозвенел звонок. Баллестер, только что присевший покурить, тяжело поднялся и пошел к задней двери. После его ухода молотки застучали тише, а один из рабочих даже остановился, но тут Баллестер вернулся. Войдя, он сказал только:

— Марку и Ивар, вас просит хозяин.

Ивар направился было помыть руки, но Марку на ходу схватил его за локоть, и он, прихрамывая, последовал за ним.

На дворе свет был такой яркий, такой насыщенный, что Ивар ощущал его, как жидкость, на лице и на обнаженных руках. Они поднялись по ступенькам крыльца под жимолостью, на которой кое-где уже показались цветы. Когда они вошли в коридор, стены которого были увешаны дипломами, они

услышали детский плач и голос господина Лассаля, который говорил:

— После завтрака уложи ее в постель. Если это не пройдет, позовем доктора.

Потом хозяин вышел в коридор и провел их в уже знакомый им маленький кабинет, обставленный в так называемом сельском вкусе, где на стенах красовались охотничьи трофеи.

— Садитесь, — сказал господин Лассаль и сел за свой письменный стол. — Они продолжали стоять. — Я пригласил вас потому, что вы, Марку, — профсоюзный уполномоченный, а ты, Ивар, — мой старейший служащий после Баллестера. Я не хочу снова вступать в спор, на котором теперь поставлена точка. Я не могу, решительно не могу дать вам то, что вы просите. Вопрос исчерпан, мы пришли к заключению, что нужно возобновить работу. Я вижу, что вы на меня обижаетесь, и, скажу откровенно, мне это тяжело. Я хочу только добавить следующее: то, что я не могу сделать сегодня, я, быть может, смогу сделать, когда дела поправятся. И если я смогу, я это сделаю, не дожидаясь, чтобы вы меня об этом попросили. А пока попытаемся дружно работать.

Он помолчал, как бы размышляя, потом поднял на них глаза и спросил:

— Ну как?

Марку смотрел в окно. Ивар, который слушал хозяина, сжав зубы, хотел заговорить, но не смог.

— Я вижу, вы лезете в бутылку, — произнес Лас-саль. — Это пройдет. Но когда вы снова будете в состоянии спокойно рассуждать, не забудьте то, что я вам сейчас сказал.

Он встал, подошел к Марку и протянул ему руку, бросив «чао!». Марку побледнел, его мечтательное лицо отвердело и в одно мгновение стало злым. Он повернулся на каблуках и вышел. Лассаль, тоже побледневший, посмотрел на Ивара, не протягивая ему руки, и крикнул:

— Ну и катитесь!

Когда они вернулись в мастерскую, рабочие завтракали. Баллестер куда-то вышел. Марку сказал только:

— Пустые слова, — и направился на свое рабочее место.

Эспосито, жевавший ломоть хлеба, спросил, что они ответили. Ивар сказал, что они ничего не ответили. Потом он сходил за своей сумкой и сел на скамью, где работал. Он начал было есть, как вдруг заметил, что Саид лежит неподалеку от него на куче стружек, устремив взгляд на стекла, за которыми синело небо, теперь уже не такое солнечное. Ивар спросил у него, позавтракал ли он. Саид сказал, что съел свои фиги. Ивар перестал есть. Тягостное чувство, не оставлявшее его с той минуты, как он вышел от Лассаля, внезапно пропало, уступив место теплому участию. Он встал и, разломив свой сандвич, протянул половину Саиду. Тот отказывался, но Ивар ободрил его, сказав, что на следующей неделе все пойдет на лад, и добавив: «Тогда ты меня угостишь». Саид улыбнулся и, взяв кусок сандвича, принялся за него — не спеша, деликатно, как человек, который не голоден.

Эспосито разжег костерик из стружек и щепок и, достав старую кастрюлю, разогрел в ней кофе, который принес из дому в бутылке. Он сказал, что этот кофе подарил мастерской лавочник с его улицы, когда узнал, что забастовка потерпела провал. Заменявшая стакан банка из-под горчицы переходила из рук в руки. Эспосито каждому наливал кофе, в который уже был положен сахар. Саид проглотил свою порцию куда охотнее, чем ел. Эспосито выпил остаток кофе прямо из кастрюли, обжигая губы, причмокивая и ругаясь. Тут вошел Баллестер и объявил конец перерыва.

Когда они поднимались и убирали в сумки бумагу и посуду, Баллестер стал среди них и вдруг сказал, что им всем туго пришлось, и ему тоже, но это еще не причина, чтобы вести себя как дети, и не к чему дуться, этим дела не поправишь. Эспосито с кастрюлей в руке повернулся к нему, и его толстое лицо побагровело. Ивар знал, что он скажет и что все думали вместе с ним: что они не дуются, что им заткнули рот, — кому не нравится, может уходить, — и что от бессильного гнева подчас бывает так тяжело, что не можешь даже кричать. Они были живые люди, вот и все, и им было не до улыбок и ужимок. Но Эспосито ничего этого не сказал, его нахмуренное лицо наконец разгладилось, и он легонько похлопал Баллестера по плечу, а остальные тем временем разошлись по своим местам. Снова застучали молотки, и просторный барак наполнился привычным грохотом, запахом стружек и пропотевшей одежды. Жужжала электропила, вгрызаясь в свежую доску, которую Эспо-сито медленно толкал вперед. Из-под зубцов летели влажные опилки, покрывая, как панировкой, здоровые волосатые руки, крепко державшие доску по обе стороны лезвия. Когда Эспосито отрезал клепку, жужжанье затихало и слышен был только шум мотора.

Ивар, склонившийся над фуганком, уже чувствовал ломоту в спине. Обычно усталость приходила позже. За те три недели, что они бастовали, он потерял навык. Но он думал также о том, что с возрастом ручной труд становится тяжелее, если он требует не только хорошего глазомера и точности. Помимо всего прочего, эта ломота предвещала старость. Там, где главное мускулы, труд в

конце концов становится проклятьем. Он предшествует смерти, недаром, когда за день как следует наломаешь спину, вечером засыпаешь мертвым сном. Его парнишка хотел быть учителем, и он был прав: те, кто разглагольствует о прелестях физического труда, не знают, о чем говорят.

Когда Ивар выпрямился, чтобы перевести дух, а заодно стряхнуть черные мысли, снова раздался звонок. Он звучал настойчиво и до того странно — с короткими перерывами и властными повторами, — что рабочие остановились. Баллестер с минуту удивленно прислушивался, потом медленно направился к двери. Только через несколько секунд после его ухода звонок наконец умолк. Они опять принялись за работу. Дверь снова распахнулась, и Баллестер побежал к раздевалке. Он вышел из нее в матерчатых туфлях, натягивая куртку, на ходу бросил Ивару:

— Маленькой плохо. Я пошел за Жерменом, — и побежал к входной двери.

Доктор Жермен обслуживал мастерскую: он жил в том же предместье. Ивар повторил товарищам то, что сообщил ему Баллестер, ничего не добавив от себя. Они толпились вокруг него, в замешательстве глядя друг на друга. Слышно было только, как вхолостую работает мотор электропилы.

— Может, ничего страшного, — сказал один из них.

Они вернулись на свои места, и мастерская опять наполнилась шумом, но работали они мешкотно, как будто чего-то ждали.

Спустя четверть часа Баллестер вернулся, снял куртку и, ни слова не говоря, вышел через заднюю дверь. Свет в окнах тускнел. Немного погодя в промежутки относительной тишины, когда пила не вгрызалась в дерево, стал слышен гудок санитарной машины, сначала приглушенный, отдаленный, потом уже близкий. И вот он умолк: машина подъехала. Через некоторое время Баллестер вернулся, и все обступили его. Эспосито выключил мотор. Баллестер сказал, что, раздеваясь в своей комнате, девочка вдруг упала как подкошенная.

— Вот так штука! — проронил Марку.

Баллестер покачал головой и сделал неопределенный жест, наверное, означавший, что тем не менее работа не ждет; но вид у него был расстроенный. Снова послышался гудок санитарной машины. В притихшей мастерской рабочие в своих старых фуфайках и обсыпанных опилками штанах стояли под потоками желтого света, лившегося сквозь стекла, беспомощно опустив загрубелые руки.

Остаток дня тянулся медленно. Ивар чувствовал теперь только усталость и все ту же тяжесть на сердце. Он хотел бы поговорить. Но ему нечего было сказать, и другим тоже. На их замкнутых лицах можно было прочесть лишь печаль и какое-то упорство. Иногда на язык ему приходило слово «несчастье», но пропадало, едва сложившись, как лопается пузырек на воде, не успев возникнуть. Ему хотелось домой, к Фернанде, к мальчику, да и к своей террасе. Но вот Баллестер объявил конец работы. Машины остановились. Рабочие начали не спеша гасить горны и прибирать на своих рабочих местах, потом один за другим направились в раздевалку. Только Саид задержался — он должен был подмести и побрызгать водой пыльный земляной пол. Когда Ивар пришел в раздевалку, Эспосито, огромный и волосатый, уже стоял под душем и шумно намыливался, повернувшись спиной к товарищам. Обычно они подшучивали над его стыдливостью: этот медведь упорно прятал свой перед. Но теперь никто не обратил на это внимания. Эспосито, пятясь, вышел из кабины и, взяв полотенце, сделал себе из него нечто вроде набедренной повязки. За ним стали по очереди мыться остальные, и Марку с силой шлепал себя по голым бокам, когда, скрипя колесиком по желобу, медленно открылась главная дверь. Вошел Лассаль.

Он был одет так же, как утром, только волосы у него были слегка взъерошены. Он остановился на пороге, окинул взглядом опустевшую мастерскую, сделал несколько шагов, опять остановился и посмотрел в сторону раздевалки. Эспосито, все еще в своей набедренной повязке, повернулся к нему. С минуту он смущенно переминался с ноги на ногу. Ивар подумал, что Марку должен сказать что-нибудь. Но Марку оставался за завесой струившейся на него воды. Эспосито схватил рубашку, проворно надел ее, и в эту минуту Лассаль слегка приглушенным голосом сказал:

— Всего хорошего, — и направился к задней двери.

Когда Ивар подумал, что надо его окликнуть, дверь уже закрылась за ним.

Ивар оделся, не помывшись, тоже сказал «всего хорошего», но от всего сердца, и товарищи ответили ему так же тепло. Он быстро вышел, взял свой велосипед и, когда сел на него, снова почувствовал ломоту в спине. Близился вечер, и город теперь был запружен людьми и машинами. Но он ехал быстро, торопясь добраться до своего старого дома с террасой. Там он помоется в прачечной, а потом сядет полюбоваться на море, которое уже провожало его, — он видел поверх парапета его синеву, более густую, чем утром. Но и мысль о девочке провожала его, он не мог не думать о ней.

Дома мальчик, вернувшись из школы, читал иллюстрированные журналы. Фернанда спросила Ивара, как все обошлось. Он ничего не ответил, помылся в прачечной, потом вышел на террасу и сел на скамейку лицом к морю под развешенным для просушки чиненым-пере-чиненым бельем. Море было по-вечернему тихое, а небо над ним становилось прозрачным. Фернанда принесла анисовку, два стакана и кувшин с холодной водой. Она села возле мужа. Он ей все рассказал, держа ее за руку, как бывало в первое время после их свадьбы. Кончив, он долго сидел неподвижно, устремив взгляд на море, где на всем горизонте, от края до края, быстро надвигались сумерки.

— Он сам виноват! — проронил Ивар. Ему хотелось бы быть молодым, и чтобы Фернанда тоже была еще молодой, и они бы уехали куда-нибудь далеко, за море.

Роже Кайуа — видный деятель французской культуры. Получив разностороннее философское и филологическое образование, он уже с середины. 30-х годов активно включился в общественную жизнь, став, в частности, одним из основателей Социологического коллежа.

Оказавшись в 1939 году в Англии, Кайуа вскоре был командирован лондонским Комитетом освобождения в страны Латинской Америки с культурной миссией. В годы войны он активно участвовал в издании многих патриотических газет и журналов. В то же время он прилагал большие усилия для укрепления франко-латиноамериканских связей: Кайуа — основатель Французского института в Буэнос-Айресе, переводчик и пропагандист творчества П. Шруды, Габриэлы. Мистраль, Х.-Л. Борхеса во Франции.

Сотрудник ЮНЕСКО, академик (с 1971 г.), член нескольких жюри по присуждению литературных премий. Роже Кайуа активно работает в области философии, социологии и искусствознания.

Как литератор Кайуа впервые выступил в 1938 году, опубликовав философское эссе «Миф и человек». Историко-философское исследование «Беллона или закат войн» (1963) принесло ему Международную премию Мира.

Кайуа показал себя тонким литературным критиком (ему принадлежат работы «Поэтические обманы», 1943; «Поэтика Сен-Жон Перса», 1954; «Поэтическое искусство», 1958) и зрелым мастером художественного слова (он — автор повести-притчи «Понтий Пилат», 1961, и лирико-философской книги «Камни», 1966).

В современной французской литературе Роже Кайуа стоит несколько особняком. Остро чувствуя красоту, завораживающую силу и обаяние слова, он в пору своей молодости испытал влияние сюрреализма. Но ярко выраженный рационалистический склад ума вскоре заставил начинающего писателя вступить в полемику со своими учителями. «Я признаю чудесным лишь то, — писал он Андре Бретону, — что не боится познания, что, напротив, питается познанием».

Кайуа остался чужд и экзистенциалистской проблематике. Человек для него — органическая часть мироздания, а разум, которым он наделен, не противопоставляет его природе, а лишь возвышает над ней, позволяя проникнуть в ее законы, почувствовать грандиозное величие бытия.

Но именно органическая причастность человека к природному миру делает его пленником этого мира: способный понять, но неспособный изменить порядок мироздания, человек вынужден принимать и подчиняться естественному ходу вещей. Отсюда — драматизм положения персонажей Роже Кайуа.

В чеканной по форме прозе Роже Кайуа чувствуется мастерская рука стилиста, добивающегося предельно четкого и доступного выражения тончайших нюансов мысли.

Roger Caillois: рассказ-притча «Ной» («Noe») входит в книгу «Cases d'un echiquier» («Шахматные поля»), 1970.

Ной

Около полудня выпали первые капли дождя. Ной взглянул на небо. Оно было синим, без единого облачка. Капли падали совершенно отвесно, потому что ветра тоже не было. Ной понял, что начался тот небывалый, сверхъестественный дождь, о котором господь бог предупредил его.

Готовый ковчег возвышался поблизости на пригорке. Ной направился к ковчегу, ступая по черным водяным пузырькам, в которых отражалось солнце. Их маленькие плоские купола, припорошенные пылью, сливались друг с другом, окрашивая землю в густо-черный цвет, и лопались, оставляя на ее поверхности крохотные канавки. Казалось невероятным, чтобы дождевая вода, мгновенно уходившая в почву, в конце концов затопила всю землю. А между тем к тому шло дело. Ной увидел в этом еще одно проявление всемогущества бога.

Его не слишком удивило ни само решение Иеговы устроить всемирный потоп, ни то обстоятельство, что именно он, Ной, был избран им, чтобы продолжилась жизнь на земле после катастрофы. Было очевидно, что наступила пора и новый чистый мир должен прийти на смену миру прогнившему, обреченному на гибель. Ной знал наперед, что все эти мерзости, это гнусное лихоимство и безбожие добром не кончатся. Он вовсе не считал себя единственным, кто сохранил верность слову божию, но безгрешных на свете оставалось так немного, что, возможно, он и был последним праведником.

Сознание своей исключительности отнюдь не льстило Ною, напротив, скорее огорчало его, как подтверждение того, чему учил его каждодневный опыт. Получив повеление соорудить гигантский плавучий зверинец, который должен был вместить по одной паре всех живых существ, Ной усердно принялся за дело. Работал он в одиночку: сам валил деревья, сам распиливал их на доски — и все это под издевательский смех соседей, а потом и других людей, которые, прослышав о невероятной затее, приходили издалека, дабы собственными глазами поглядеть на столь странное сооружение и посмеяться над чудаком, упорно возводившим эту громадину. Иные даже швыряли в Ноя камнями.

Ной переносил все это невозмутимо, убежденный в том, что хорошо смеется тот, кто смеется последний. Его так и подмывало предупредить людей о нависшей над ними угрозе и посоветовать им пока не поздно последовать его примеру, вместо того чтобы осыпать его насмешками и оскорблениями. Однако по зрелом размышлении, он от этого отказался. Во-первых, никто не просил его вразумлять этих негодяев, которые вполне заслуживали ожидавшего их возмездия; а во-вторых, предупреди он их о потопе, они бы ему не поверили и сочли бы его просто-напросто сумасшедшим; в конце концов ему досталось бы еще больше камней — только и всего. Но последнее, самое веское соображение заключалось в том, что, поскольку уцелеть суждено было ему одному, он нарушил бы волю Иеговы, если бы помог другим людям избежать бедствия. Вот почему Ной молчал и мало-помалу даже пришел к мысли воспользоваться создавшимся положением. Он нарочно прикинулся простачком и стал всем и каждому невразумительно объяснять устройство ковчега, выпрашивая при этом немного смолы и пакли. Он действительно смекнул, что ему самому, при его скудных средствах, трудно раздобывать эти дорогостоящие и довольно редкие материалы, которыми господь бог не позаботился его снабдить и нехватка которых причинила ему поначалу немало хлопот. Таким путем Ной сумел обратить людскую злобу на пользу дела господня: он без больших затрат проконопатил корпус своего корабля, а к тому же еще оставил людей без смолы и пакли, так что в роковую минуту они с ужасом обнаружили почти полное исчезновение этих материалов.

Бормоча сквозь зубы свои пояснения, Ной старался ничего не выдумывать и потому не мог упрекнуть себя в двуличии. Он всеми силами стремился выполнить возложенную на него миссию и ради этого готов был прибегнуть к любому средству, лишь бы оно не выходило за пределы порядочности. Он был убежден: раз нет иного способа заполучить смолу и паклю, без которых ковчег пропускал бы воду, значит, на такой именно способ бог и рассчитывал.

Минуло уже почти полтора месяца с тех пор, как ковчег был готов, а за все это время прошли лишь самые обычные дожди: было два-три сильных, но коротких ливня или моросил серенький дождик, который, казалось, будет идти бесконечно, а на деле не оставлял даже лужиц. Всякий раз Ноя брала досада: не то чтобы он жаждал немедленной гибели человечества, нет, но как всякому мастеровому, закончившему трудную работу, ему не терпелось испытать свое грандиозное сооружение, на которое он потратил столько усилий и выдумки. Человек скромный и добросовестный, он хотел поскорее убедиться в том, что в решительный час ковчег не подведет. В сущности, Ной был в этом деле новичком, а господь бог не имел обыкновения злоупотреблять чудесами и нарушал естественные законы только в случае крайней нужды. Вот почему всевышний и не дал Ною уже оснащенного, непотопляемого волшебного корабля, который он мог бы сотворить из ничего силою одного своего слова. Однако это было бы не в его стиле: богу хотелось, чтобы Ной сам, своими руками построил обычный корабль, как и любое судно не лишенный изъянов из-за неопытности строителя. Видимо, из тех же побуждений он не истребил огромного количества живых существ посредством одного только божественного решения: ведь одного слова его было бы достаточно, чтобы они разом исчезли с лица земли, — все, кроме немногих особей, оставленных для продолжения рода.

Должно быть, неспроста творец предпочел уничтожить все живое при помощи обыкновенного дождя, разве что несколько более продолжительного.

Долгие месяцы, пока строился ковчег, Ной часто размышлял об этой поразительной скромности всевышнего. Разумеется, он понимал его и всецело его оправдывал. И все-таки порою, когда он падал с ног от усталости и ему казалось, что работа не двигается, он нет-нет да и подумывал о том, что господь бог мог бы избрать более подходящее стихийное бедствие: например, окутывающий землю смертоносный туман, который, рассеявшись, оставил бы целыми и невредимыми лишь заранее предуказанные живые твари. Внешние приличия были бы соблюдены, а вместе с тем удалось бы избежать многих осложнений. И еще Ной думал о том, что, как бы там ни было, спасение нужно заслужить. С этой мыслью он вновь принимался за дело.

На душе у Ноя было тревожно, но его спасала вера. В благополучном исходе он не сомневался, а вот как все произойдет и сколько еще придется претерпеть — этого он знать не мог. Когда начался дождь, он стал грузить в ковчег и размещать в нем парами живые существа. Впрочем, Ною не пришлось ни о чем заботиться. К тому же он просто не умел отличать род от вида и не имел ни малейшего представления о том, из чего, собственно, исходить при отборе пассажиров для плавучего зверинца. Следует ли, к примеру, взять всего одну пару любых собак, или же надо захватить двух борзых, двух гончих, двух легавых, двух овчарок и так далее? С собаками еще куда ни шло, а как поступить, скажем, с бабочками? Любой из трех тысяч видов чешуекрылых, обитавших на земле, имел право на существование после потопа. От решения всех этих сложных вопросов Ной был избавлен начисто: в изумлении взирал он на торжественное шествие земных тварей, которые сами попарно входили в двери ковчега и занимали места в отведенных для них отсеках. Никогда еще Ной не видел такого множества самых разнообразных животных. О большинстве из них он даже не слыхал и не мог себе представить, что на белом свете живут столь необычайные и диковинные существа.

Дождь не прекращался, все уже увязало в грязи, и Ною пришлось укрыться под сенью густого дерева; взобравшись на большой камень, он долго восхищался богатством и многообразием земной фауны, вознося хвалу всевышнему. Ему было невдомек, что эта нескончаемая вереница представляла собою не меньшее чудо, чем сотворение готового корабля.

Ной был избавлен еще от одной заботы, одолевавшей его долгое время: он беспокоился о том, как бы не позабыть животных, обитавших на другом конце света, и прихватить их с собою в ковчег. При появлении кенгуру и броненосца он, естественно, был поражен, увидав огромного зайца с карманом на животе и крысу с волосатым панцирем. Но он не знал, что один зверь прибыл из Австралии, другой — из Америки. Он и понятия не имел о существовании этих частей света. Так что при виде бесконечной вереницы заморских зверей он даже не смог оценить всей грандиозности явленного ему чуда. Обо всем этом Ной задумался позднее.

А пока его занимала другая проблема — проблема размещения. Ковчег он выстроил громадный, но даже такой ковчег был слишком мал для несметного количества зверей, скотов и гадов, да еще в двойном комплекте. Однако как ни странно, взирая на животных, попарно вступавших на борт корабля, Ной понемногу успокаивался: в нем крепла уверенность, что не только он один, но и десятки рабочих за несколько лет упорного труда не в силах были бы построить корабль таких размеров, чтобы в нем разместился полный набор всех животных — четвероногих, пернатых, пресмыкающихся и насекомых: их было слишком много, и они все прибывали. Ной понял, что всемогущий не мог упустить из виду это обстоятельство и, безусловно, предусмотрел какой-то выход.

И в самом деле: корабль, казалось бы, уже давно должен был развалиться от перегрузки, а в нем находилось место все новым и новым пассажирам. Ной смотрел на них с изумлением. Он просто не верил своим глазам. Впечатление было такое, будто, едва взойдя на борт, животные как бы растворяются в пространстве или же обретают способность громоздиться друг на дружку до бесконечности. Уже потом, когда корабль находился в плаванье и потянулись однообразные серые дни с непрестанно барабанившим дождем, Ной попытался все же разгадать загадку. Он часами бродил по ковчегу, без конца путаясь среди его коридоров, и всякий раз обнаруживал новые норы, новые хлева, новые птичники. Изредка Ной встречал уже знакомое ему животное, и тогда он радовался, даже если это был хищный зверь. Однако чаще ему приходилось удивляться, ибо на каждом шагу попадались твари, которых он видел впервые, — Ной не мог припомнить, чтобы он брал их с собой в ковчег.

Почему-то теперь на корабле было гораздо больше палуб, чем построил Ной. Кроме того, несмотря на упорные старания, ему никак не удавалось достигнуть бортов. Поняв, что все усилия напрасны, он в отчаянии возвращался назад, и когда, усталый, добирался до своей каюты, тревоги и сомнения его только возрастали. Ведь Ной совершенно точно знал, каковы должны быть размеры ковчега. Эти размеры указал ему сам Иегова: длина — триста локтей, ширина — пятьдесят, высота трех ярусов, не считая кровли, — тридцать. Ковчег был действительно огромен, однако Ной не забыл о том, что при виде нескончаемой вереницы животных, ожидавших посадки, корабль показался ему до смешного маленьким. Взойдя на борт после всех, вслед за своей женою, за сыновьями и женами

сыновей, он в последний раз окинул взглядом сооружение и невольно подумал, что должно свершиться чудо. Ной мысленно представил себе ковчег на фоне той местности, где он его строил, и у него не было никаких сомнений относительно его истинных размеров. Однако в ту минуту, когда он наглухо закрыл и законопатил единственную входную дверь и лишился возможности выйти наружу и взглянуть на корабль со стороны, он почувствовал, что теперь можно долго-долго, чуть ли не до бесконечности, бродить по огромным коридорам ковчега — бортов ему все равно не достичь: казалось, будто корабль внезапно раздался в объеме, чтобы вместить без труда весь этот кишащий живой груз.

Ной постепенно свыкся с гигантскими размерами корабля и уже не без удовольствия обследовал все его закоулки. Теперь он расхаживал не спеша, брел наугад, куда поведет его случай: он убедился, что в какую бы даль он ни забредал, стоило ему захотеть вернуться к себе в каюту, ноги сами безошибочно приводили его назад. Однако чудо этим и ограничивалось — обратный путь, повторявший все те же петли и зигзаги, был ничуть не короче, чем путь туда.

Дождь не прекращался. Ковчег плыл теперь вровень с вершинами деревьев, все реже и реже торчавшими из воды. Вдали, за дождевой завесой, вырисовывались смутные очертания гор. На одной из самых верхних ветвей одинокой сосны Ной однажды увидал какую-то птицу с длинным хвостом. Он принял ее за фазана. Ной очень любил жареных фазанов и подумал, что давно не едал этого блюда. К своему удивлению, он вдруг ясно осознал, что спустя несколько дней после того, как закрыл дверь корабля, он незаметно для себя вообще перестал есть. Выполняя божье повеленье, Ной заготовил много всевозможной провизии. Но он сообразил, что ежедневно разносить еду обитателям ковчега не под силу ни ему самому, ни всем его сыновьям и их женам вместе взятым и что с этой работой им не управиться, трудись они даже круглые сутки, тем более что разным животным требовалась и разная пища. Ной либо просто не знал, чем кормить большинство из них, либо не имел подходящего корма, особенно если учесть, что тут было много хищников, а он взял в ковчег каждой твари по паре — не больше.

Если кроликам и овцам еще можно было давать траву, то лишних полевых мышей и кроликов для прокормления змей, ягнят и коз для насыщения львов, мух для пауков и пауков для лягушек у Ноя не было. Положение казалось поистине безвыходным. Но все обошлось благополучно: неразрешимая проблема разрешилась сама собой: у обитателей ковчега попросту исчезло чувство голода, и в первую очередь — у самого Ноя, а между тем никогда прежде он не забывал вовремя поесть. Вышло так, словно бы бог в последнюю минуту спохватился и все уладил: на время потопа он избавил живые существа от необходимости питаться, больше того — он начисто лишил их аппетита, вытравив из их памяти всякую мысль о еде. Не попадись Ною на глаза птица, похожая на фазана, он, пожалуй, ничего бы и не заметил. Удивительно то, что, несмотря на меры предосторожности, принятые господом богом, птица все-таки напомнила Ною про его любимое блюдо. Очевидно, эти меры касались только естественного чувства голода, но не распространялись на чревоугодие. Столь хитроумное соображение, продиктованное патриарху скорее человеческой слабостью, нежели глубокомыслием, помогло ему разгадать причину внезапного вмешательства всевышнего. Разумеется, Ной увидел тут не попытку бога исправить собственную оплошность, а новое чудо. По правде сказать, он был несколько удивлен, так как считал господа бога скуповатым на чудеса. А бог и без того явил уже немало чудес без особой надобности: не кто иной, как он, взял на учет всех животных, собрал их в одном месте (патриарх только сейчас подумал об этом), увеличил вместимость корабля… Однако разве всемогущий не мог обойтись без этого дождя, лившего сорок дней и сорок ночей? Разве не мог он простым волеизъявлением истребить все живое, оставив по одной паре каждого вида? Зачем потребовалось ему нарушать мировой порядок, который в конечном-то счете был установлен им же самим и ломать который он положил себе за правило лишь в крайних случаях, не размениваясь на мелочи, и притом не столь грубо и примитивно? Нечестивая мысль едва не задела Ноя своим крылом. Еще немного, и он счел бы бога непоследовательным. В самом деле, кому понадобилась эта медленная агония стольких живых тварей? Кому нужно это жидкое месиво, которое годами теперь не просохнет?..

Однако Ной тут же стал себя корить: что это, право, за мысль взбрела ему в голову? Раз уж было решено собрать в тесном — по необходимости — ковчеге из кипарисового дерева по одной паре каждого животного вида, то чего, собственно, и ожидать? Но тут его стала мучить другая крамольная мысль: неужели, думал он, у всемогущего, который может сделать все, что пожелает, по единому слову которого возник свет, неужели же у него не нашлось более быстрого и менее мучительного способа осуществить задуманное?

Между тем от чувства голода были избавлены только животные, разместившиеся в ковчеге. Через смотровое окошко корабля патриарх увидел зверей, нашедших пристанище на скалистом утесе. Этих несчастных мучил голод, и они ожидали подъема воды как избавления, ибо могучий инстинкт жизни не позволял им утопиться по собственной воле. Все они выбивались из сил, лишь бы удержаться на незатопленном еще клочке суши. Было что-то бессмысленное и раздирающее сердце в этой отчаянной борьбе, которую они вели, лишь бы продлить свои мучения, — но вместе с ними и жизнь! — хотя бы еще на несколько часов. Однако Ноя это не трогало. Он остался равнодушен и тогда, когда на крыше овчарни, вблизи которой проплыл ковчег, увидел женщину, силившуюся

удержать на своих слабых плечах малыша, дабы ребенок пережил мать хотя бы на одно мгновение. Было ясно, что единственное ее желание — это выполнить свой долг до конца. Она подчинялась изначальному закону природы и извечному установлению божьему, по которому сын переживает родителей, и тот, кто пришел в мир позже, не покинет его раньше того, кто старше годами. Хоть эту основу мироздания она пыталась отстоять. Ною все было безразлично. Ему и в голову не пришло, что новорожденный младенец — существо еще более безгрешное, чем сам он, Ной, при всей его образцовой непогрешимости. А ведь это был один из тех младенцев, которых богу полагалось бы спасти, впрочем, как и других невинно убиенных, которых позднее, в Вифлееме, он тоже не уберег от гибели.

Ной, надо признать, был весьма далек от подобных мыслей. Ведь сказано в Писании, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. К тому же закон гласил: грехи родителей тяготеют над детьми до седьмого колена. В грехах погряз весь мир, и просто не верилось, чтобы кто-нибудь остался незапятнанным. На гибель обречены были все живые твари, кроме тех, что должны дать жизнь новым поколениям. Поэтому Ной без малейшего сострадания смотрел на несчастную, которая, стоя уже почти по горло в воде, из последних сил пыталась удержать над головой свое дитя.

Вдруг женщина пошатнулась и упала, словно от неожиданного толчка. Вода забурлила, образовался водоворот, и совсем близко, всплеснув треугольными плавниками, проплыли какие-то огромные рыбы. Приятно было смотреть на их ловкие стремительные движения. Над водой, побагровевшей от крови несмотря на проливной дождь, взметнулось белое рыбье брюхо. Затем все успокоилось. И кровавый след исчез.

Ной никогда не видывал таких крупных и таких прожорливых рыб. Чем питаются щуки, он, разумеется, знал, но что существуют рыбы, пожирающие людей, он не имел понятия: ведь жил-то он далеко от моря. Поскольку в ковчеге были представлены животные всех пород, Ной решил было, что на досуге поищет среди своей коллекции соответствующую пару рыб. И тут голова у него пошла кругом: в ковчеге не оказалось ни единой рыбы. Сомнений не было: потоп не только не причинял рыбам вреда, но, напротив, даже радовал их, а вместе с ними и всех прочих обитателей водных глубин. Поэтому Ною и не пришлое устанавливать в ковчеге аквариум.

Всю эту ночь патриарх не сомкнул глаз. Луна освещала непрерывные потоки дождя, а наш праведник все ждал и ждал, когда же в воде вновь появятся рыбьи плавники. Он буквально оцепенел, словно завороженный загадкой, которую не мог разрешить. Нет, не зверство, свидетелем которого он был, явилось тому причиной. Акула подобна тигру или вулкану: человек перед нею бессилен. Если акула пожирает мать вместе с новорожденным младенцем, — в этом нет ничего странного, по крайней мере, в обычное время. Было бы куда удивительнее, если б она отказалась от такого лакомства. Ной прекрасно понимал это и считался с тем, что естественные законы его не касаются. Но Иегова (или кто бы то ни было) создал Ноя человеком неглупым и рассудительным, так сказать, существом мыслящим, к тому же он наделил его чувством справедливости или, вернее, одной из возможных справедливостей. Но при всей узости и ограниченности своих суждений, в чем он сам отдавал себе отчет, и благодаря присущей ему логике, за которую он не отвечал, но которой тем не менее следовал, Ной никак не мог согласиться, что, скажем, какой-нибудь пескарь ценнее воробья, а карась важнее землеройки; об акуле уж и говорить нечего!

Ной собрал своих родных и обо всем им рассказал, впрочем, в довольно робких выражениях. Родные были поражены, но единодушны во мнении. «К чему ломать себе голову? — сказали они ему. — Не твоя это забота. Сам ты и семейство твое спасены. Участи твоей можно только позавидовать, так что не ропщи на судьбу». Ной ничего больше им не говорил. Всю свою жизнь он отличался покорностью и послушанием. И до сих пор покорность его и чувство справедливости не вступали в противоречие. Но теперь в нем родилось сомнение. Особая привилегия остаться в живых посреди всеобщего бедствия выпала на его долю не случайно, а потому что он считался самым справедливым человеком на свете, хотя справедливость, которую он исповедовал, была более чем сомнительна. Окажись он ее жертвой, он бы безропотно покорился, ибо покорность и смирение — столь же великие добродетели. Но тут был случай исключительный: ведь не было никаких причин дать особые преимущества рыбам, крокодилам, крабам, радиоляриям — словом, всем несметным обитателям морских глубин, коим дождь, ливший сорок дней и сорок ночей, не причинил ни малейшего вреда. Скорее уж надо было выручать растения, даже паразитические — ну, скажем, лишайники и омелу. Всемирный потоп, доселе являвший величественное и грозное зрелище всеобщей кары, вдруг представился Ною совершенно неоправданной милостью, оказанной одной-единственной породе живых существ с жабрами и плавниками, которую вовсе незачем было спасать — ни в силу чьих либо предписаний, ни тем паче в силу ее особых добродетелей. Будь Ной человеком равнодушным или циничным, он усмотрел бы во псом этом курьезный случай, не более. Но он был праведник из праведников, избранный богом именно за свою прямоту и твердость принципов. Ной долго искал причину происшедшего. Он готов был поверить даже самому неправдоподобному объяснению этой вопиющей несправедливости, которая в конечном счете явилась следствием того, что бог выбрал такое, а не иное средство истребления порочных тварей и тем самым отдал предпочтение одной, весьма пестрой категории живых существ, не имевших

между собою ничего общего, если не считать, что для всех для них вода являлась естественной и необходимой средой обитания.

До самого конца потопа Ной не проронил ни слова. Он не выдал своих чувств ни перед женой, ни перед сыновьями, ни перед женами сыновей. Ему было стыдно. Гордость его была уязвлена. Понемногу он стал понимать, что не так-то просто оказаться в роли избранника божьего, единственного, кто пережил гибель целого мира. Он думал о том, что стал игрушкой в руках всевышнего. Возмущение поднималось в нем, как вода над поверхностью земли. Именно потому, что Ной был праведен и справедлив, ему тяжко было сознавать, что все человечество гибнет, а он, один только он, оказывается под защитой божественного провидения. Сама эта мысль была ему отвратительна. Он был на грани того, чтобы лишить себя жизни, которую господь бог сохранил ему столь чудесным образом; впрочем, таким же чудом всевышний сохранил жизнь и любой плотвичке, колюшке, лососю, угрю или самой ничтожной креветке. Возмущение Ноя было вызвано отнюдь не высокомерием или чрезмерной щепетильностью. Он тяжко страдал от своего ложного положения, которое сперва вполне искренне считал весьма лестным, но теперь вынужден был признать мерзким и унизительным.

Ной совершенно сник и даже почувствовал тягу к спиртному, хоти в ковчеге не было ни капли вина. Не сам Ной, а старший из его сыновей выпустил на поиски суши сначала ворона, а затем трижды выпускал голуб-к у, — Ной жаждал только смерти и забвения. Когда на небе появилась радуга, он повернулся к ней спиной. Долго пришлось ждать, пока высохла земля, пока удалось благополучно высадиться из ковчега, и все это время Ной оставался сумрачным и молчаливым. Не улыбнулся он и тогда, когда случайно наступил на дохлую рыбешку, оставшуюся на суше после того, как схлынула вода. Этот ничтожный реванш не шел ни в какое сравнение с той вопиющей несправедливостью, о которой он напоминал и которую делал еще более очевидной. С горечью Ной думал о том, что люди грядущих поколений еще долго будут находить повсюду, даже на вершинах гор миллионы раковин и рыбьих костей, и окаменелости эти явятся свидетельством того, что прежнее поколение людей некогда было истреблено.

Когда вновь вырос и созрел виноград, Ной запил. В вине он искал забвения того, что был орудием и соучастником злодейства, смысл которого все меньше и меньше понимал. О чем бы он ни думал, о чем бы ни размышлял, он неизменно приходил к выводу, что во всем виноват бог. Если человек развращен и порочен, кто за это в ответе? Кто сотворил его таким? Стоило ли создавать людей только затем, чтобы потом погубить их? Почему мир устроен так неразумно, что одно живое существо пожирает другое? И зачем было уничтожать всех без разбора — и правых и виноватых? Один вопрос преследовал Ноя неотступно: он никак не мог взять в толк, почему для истребления живых существ была выбрана вода, если многие твари именно в воде-то и обитают?

Он совсем опустился, не заботился даже о том, чтобы как-то прикрыть наготу, беспробудно пил. Во всем его поведении было что-то вызывающее. Предавшись пьянству, распутству, безудержному сластолюбию, он умышленно и открыто посягал на все священные законы и установления. Когда подросли его дочери, он впал в грех кровосмешения. Если б он знал другие грехи или мог бы их придумать, он предался бы им с неистовством. Гнусности, приписываемые Лоту, на самом деле совершил Ной.

Все эти мерзости благочестивые писцы отнесли за счет другого, чтобы хоть как-то избежать конфуза: как-никак один-единственный праведник, которого господь бог во время всемирного потопа счел достойным спасти от гибели, и тот в знак протеста и в жажде искупления открыто встал на путь пьянства, порока и богохульства. Но дух преданий, надо полагать, весьма устойчив: этот другой — Лот, на которого писцы взвалили все те непотребства, в коих старались обелить Ноя, — оказался, словно брат близнец или двойник, единственным праведником, в свой черед избежавшим всеобщего возмездия; только на сей раз орудием кары явился огонь, а огонь заставляет кипеть воду, превращая ее в пар, и не щадит ничего живого.

Жильбер Сесброн — парижанин, внук издателя сочинений Ламартина. Закончил Высшее политехническое училище. В годы второй мировой войны — офицер связи в частях английской армии. Его духовное формирование протекало под сильным влиянием писателей-католиков — Леона Блуа, Шарля Пеги, Жоржа Бернаноса и Франсуа Мориака.

В юности Сесброн выпустил книгу стихов «Поток» (1934); первый роман «Парижские юродивые» (1944) определил его путь в прозе. Проповедь буржуазного филантропизма и христианской морали (роман «Наша темница — это царство божие», 1947) — суть его творчества. Сцены нищеты парижской рабочей окраины в романе «Святые шествуют в ад» (1952) создают нарочито сумрачный фон, оттеняющий лик священника-рабочего. Воскрешение Сесбро-ном популистского культа обыденного буржуазная критика объявляет «новой ориентацией в искусстве», а его приверженность к «подновленным» устоям буржуазной семьи (роман «Убивают Моцарта», 1966), церкви и государства с похвалой противопоставляется ею критическому духу романов Мориака и Мальро.

Правда, не все творчество Сесброна укладывается в русло охранительной литературы; и у него буржуазный мир со всеми его привилегиями и благополучием для немногих ассоциируется со знойной пустыней, вызывает порой саркастическую усмешку. В эссе «Страж зари» (1965) Сесброн тревожно размышляет о необходимости равенства всех «рабов божьих» в атомную эру.

Рассказы — наиболее жизнеспособная часть творчества Жильбера Сесброна. Подчас они нравоучительны и назидательны. Художник симпатизирует беднякам, оставшимся без крова; порицает черствых богачей, отказавших в приюте женщине на сносях (характерно название этого бичующего рассказа — «Люди злой воли»); осуждает миропорядок, где разумом и волей людей правит гибельная страсть к наживе. Но узок жизненный идеал Сесброна — одинокий подвижник.

Gilbert Cesbron: «Tout dort, et je veille» («Все спит, а я бодрствую»), 1959.

Рассказ «Золотой ключик Бернса» («Le clef d'or aux mains de Burns») входит в указанный сборник.

Золотой ключик Бернса

По кончине генерала сэра Оливера Палмерстона (доктора наук), тетка Анна, вдова покойного, частенько говаривала, что «едва не сошла с ума». В действительности же рассудок ее расстроился совершенно.

Она заперла замок, велела заложить дверь в смертный покой и запретила кому бы то ни было видеть прах того, кто получил от индусов прозвище «Белая Смерть» и собственноручно убил двести семьдесят семь туземцев. «Двести семьдесят семь, мой мальчик, вот этой рукой!..»

Два верных слуги, глухонемой да молчальник, положили тело в гроб в присутствии врача, старинного друга семьи. Затем священник вознес молитву, прося всевышнего упокоить в прохладных кущах душу столь благородного и достойного человека («двести семьдесят семь, мой мальчик!»). Аминь.

Когда вдова генерала сэра Оливера Палмерстона (доктора наук) преставилась в урочный час, домочадцам, смертельно уставшим от ее наездов, ее рассказов и груды ее вещей, достался в наследство содержавшийся в отменном порядке дом, коего чердак, уставленный ящиками, напоминал кладовую бакалейщика. Смерть постигла вдовицу средь полного благополучия, так что она отошла в мир иной, не успевши призвать нотариуса, произнести исторических слов и изъявить последнюю волю и, в сущности, не испустив последнего вздоха. Напротив того, родичи испустили первый вздох. Вздох облегчения. Они-то ждали какого-нибудь последнего чудачества, какого-нибудь непристойного откровения. На сей раз замок действительно заперли и спрятали подальше в ящик стола (с надписью: «Тетя Анна. Не трогать») огромную связку ключей от всех замковых покоев и помещений, начиная с подвала и кончая чердаком. В связке был, кроме прочего, крошечный золотой ключик, о назначении которого никто и никогда не пытался дознаться. Минуло два поколения.

Полвека спустя, когда правительство Ее Величества обложило налогами заброшенные жилые строения, правнуки генерала сэра Оливера Палмерстона (доктора наук) вспомнили о замке. «Нет ли какой возможности получать доход от этой безобразной развалины? Сдать ее, например, внаем… ну, не знаю… психиатру, что ли?.. Он устроил бы там лечебницу… А может быть, директору какой-нибудь школы?.. Он отправлял бы туда детей на лето… Что думает на сей счет Бернс?» Позвали Бернса и, обратив к нему озабоченные лица, изложили суть дела. В самом деле, что думает на сей счет Бернс? Бернс, безупречный домоправитель, оставил при себе свое мнение и, как всегда, нашел, что господам пришла в голову превосходная мысль. Если господа пожелают, он переедет в замок надзирать за переустройством. Угодно ли господам? Разумеется, они предпочли бы оставить Бернса при себе, но… отлично! Впрочем, управляющий дал понять, что, вероятно, в скором времени вернется.

И действительно, три месяца спустя к владельцам замка приехал психиатр и объявил с вежливостью, сперва суховатой, а затем сочувственной, что не может более продолжать своих опытов «в таких условиях». Впрочем, господа, надо полагать, не удивлены… Напротив, чрезвычайно удивлены! Как! Он отказывается верить… Нет, господину психиатру должно верить им. Не угодно ли господину врачу объяснить, какие именно причины делают невозможным… Исключено! (Он встал, держа шляпу в руке.) О таких вещах не говорится вслух!.. (Он пятился к дверям, откланиваясь на ходу.) Он весьма опасается, что… Прощайте, сударь! Мое почтение, сударыня!

Пригласили Бернса. В кармане домоправителя бренчали ключи. Ему передали разговор с психиатром. Бернс был видимо огорчен, расстроен, поражен. Его утешили. В самом деле, разве не была недавно получена просьба от директора одного колледжа, который желал бы на летнее время, и т. д.? Итак, с директором колледжа заключили сделку.

На сей раз и месяца не минуло, как явился директор. Содержание беседы весьма напоминало объяснение с психиатром, с тою лишь разницей, что заняла она больше времени, ибо директор заикался. Супруги были ошеломлены, потрясены — словом, приведены в совершенное замешательство. Вновь пригласили Бернса и держали регентский совет. Недоумение Бернса увеличивалось с каждой минутой. Госпожа может быть вполне уверена, что было сделано все, от него зависящее… Мы и не сомневались в этом, Бернс! Но что делать с этим проклятым… о, просим прощения!.. с этим несносным замком?

Едва не плача, Бернс вернул хозяевам связку ключей. Однако ключи тотчас возвратили ему, наперебой уверяя его в совершенном доверии. Домоправитель вновь положил ключи в карман.

Бернс имел одну мысль и просил позволить ему осу… попытаться осуществить свое намерение, ежели господа благоволят согласиться: устраивать платные поездки в замок на субботу и воскресенье. Все, что будет вам угодно, Бернс, все что угодно!

В течении нескольких месяцев дело с поездками приносило изрядный барыш (Бернсу в особенности). Однако когда владетельные супруги проведали, что причиной сего успеха явилось обещание «ночи в замке с гарантированными призраками» (распространявшееся по пивным в виде объявленьиц, проспектиков и афишек), впервые за годы службы Бернса с ним обошлись круто: замок заперли, а ключи убрали. Золотой ключик, однако, управляющий оставил у себя.

Два месяца спустя — а именно 27 июня, в день рождения короля, в покинутый замок забрались грабители и перетащили в кузовы трех поместительных грузовиков решительно всю мебель, равно как и ящики с чердака. Покинув замок, воры воспользовались (всего-навсего воспользовались, ибо прихватить ее с собой не представлялось никакой возможности) большой дорогой, ведущей из Портместера в Броунспул и, как известно, пролегающей в окрестностях столицы перед королевским дворцом.

Когда до дворца оставалось совсем немного, один из ящиков в кузове ехавшего сзади грузовика открылся сам собой и его содержимое выпало на дорогу. То был набальзамированный труп английского генерала в алом парадном мундире, шитом золотом. Труп прекрасно сохранился, ибо тетка Анна отлично сделала свое дело.

Катившиеся к дворцу лимузины, в которых съезжались гости на большой бал по случаю дня рождения Его Величества, внезапно остановились. Знатные леди, подхватив одной рукой шлейф своего платья, а другой поднеся к глазам лорнет, и благородные джентльмены, поддерживая одной рукой леди, а другой вправляя в глазницу монокли, устремились к чудным мощам. Тело перенесли на парадный двор, где обладатели самых пышных и королевстве ливрей приняли его в обтянутые белыми перчатками руки. Королевский Управляющий, Выездной Дворецкий, Заведующий Гражданским Домом, Заведующий Военным Домом, Верховный Маршал Королевского Двора и Адъютант Его Величества держали совет, но так ничего и не надумали. В соседних залах танцевали вальс, пили оршад и шампанское с беспечностью, граничившей с кощунством, ибо здесь покоился увешанный наградами генерал, без сомнения, один из наиболее почетных гостей, приглашенных на празднество, но не знакомый никому из сановников, склонявшихся к загадочному лицу, на котором щетинились усы и щерились волчьи зубы. Поелику форма британских офицеров не изменилась за минувшее столетие, все были в совершенной уверенности, что зрят перед собой одного из прославленных военачальников современной Империи. Но кто же он? Кто?

Пришлось потревожить покой личного врача Его Величества, человека старого, но благородного, весьма благородного, но чрезвычайно старого. Врач приложился ухом к генеральской груди против сердца, потрогал руки, приподнял веки:

— Он мертв, джентльмены! — объявил он наконец. — Без сомнения, мертв!

Действительно, генерал был мертв вот уже шестьдесят семь лет. Послали за военным министром, который как раз отплясывал самбу с герцогиней Кентской и пришел весь в поту.

— Что случилось? О, боже мой!.. Кто это?

— Именно об этом мы и хотели вас спросить, ваше превосходительство!

Пока сносились по телефону со Службой Личного Состава Военного Ведомства, из дворцовых зал без лишней огласки вызвали всех генералов, приглашенных на бал. Они входили, неся смоченные шампанским усы, и удивленно вздергивали брови:

— Не знаю! Право, в первый раз вижу!

Лишь старейший из них, столетний маршал барон Карлайл вскричал:

— Да ведь это Палмерстон! Оливер Палмерстон из индийских войск!

— Конечно, конечно, господин маршал…

Маршала живо спровадили. Все знали, что старик выжил из ума, но ведь всему есть предел!.. Помилуйте, генерал сэр Оливер Палмерстон (доктор наук), яркая и кровавая личность в истории Империи, умер тому… бог весть сколько лет!

Как бы там ни было, во дворце воздвигли катафалк в окружении горящих свечей, и на пышное ложе, охраняемое восемью гвардейцами с саблями наголо, возложили безымянные, но величественные останки. Веселье в соседних залах продолжалось, однако среди гостей все громче звучал ропот уст. Шум молвы привлек внимание даже Его Величества. Вопреки почтительным отговорам обступавших его высших военных чинов, Оно толкнуло одну из дверей и…

Покорное привычке, Его Величество стало навытяжку, отдавая воинские почести усопшему, затем

склонилось на правую сторону, готовясь принять венок, который надлежало возложить на смертный одр. Тут, однако же, Его Величество удивилось столь странным обстоятельствам и потребовало объяснений, коих никто не мог ему дать.

Тогда-то в погребальный покой явился Бернс, извещенный соседями об ограблении замка и настигший похитителей по их следам. Он шепнул что-то на ухо Королевскому Управляющему, тот передал его слова Выездному Дворецкому, оный Дворецкий сообщил их сначала Правителю Гражданского Дома, а потом Правителю Военного Дома, сей же муж счел долгом уведомить Придворного Маршала. Извещенный в свой черед Адъютант Его Величества почел за благо отложить на позднейшее время доклад Его Величеству. Царственная особа удивленно взирала на Бернса, который с помощью четырех слуг укладывал в обитый атласом короб генерала сэра Оливера Палмерстона (доктора наук). Шпага, обтянутые перчатками руки, шпоры и даже всякий завиток волос поместились в устроенных на то углублениях, совершенно так, как покоятся на бархате ларца жемчужины ожерелья.

Покончив с сим и отвесивши Его Величеству низкий поклон, Бернс замкнул золотым ключиком ящик тетушки Анны, и, повинуясь манию его руки, слуги понесли домовику из дворца.

А прерванные танцы возобновились.

Жорж-Эмманюэль Клансье принадлежит к поколению, которое возмужало и вступило в жизнь в середине 30-х годов, вдохновляемое идеалами Народного фронта, к поколению, на чью долю выпали тяжелейшие испытания, связанные с борьбой прогрессивных и реакционных сил в предвоенной Франции, с гражданскими сражениями в Испании, с оккупацией.

Ненависть к фашизму, ко всем видам тирании во многом определила жизненный путь Клансье. В 1940–1944 годах он активно сотрудничал в патриотических журналах «Кайе дю Сюд» и «Фонтэн»; а когда редакция «Фонтэн» перебралась в Алжир, Клансье, оставшись во Франции, продолжал собирать и переправлять материалы для этого издания.

К военному периоду относится и начало литературной деятельности Клансье. В его первых поэтических сборниках («Время героев», 1943; «Небесный крестьянин», 1944), вдохновленных движением Сопротивления, со всей отчетливостью звучат гражданские мотивы.

Послевоенная деятельность Клансье тесно связана с развитием французского радио и телевидения. В течение многих лет он занимает ответственные посты в организациях, занимающихся составлением региональных и национальных программ вещания. Эта работа, требующая широкого кругозора, свободной ориентации в отечественной и мировой литературе, безусловно способствовала и успеху Клансье как литературного критика. Значительную ценность представляют его обзорные книги «От Рембо до сюрреализма. Критическая панорама» (1953), а также «Всемирная панорама современной литературы» (1965).

И все же в первую очередь Клансье интересен и значителен как писатель, поэт, блещущий отточенным мастерством, поэт по призванию, поэт не только в стихах, но и в прозе. В известном смысле поэзия для него — символ веры, важнейший способ духовного самоопределения человека в мире. Уроженец Лимузена, Клансье утверждает, что именно этот окутанный мягкой таинственностью и романтическими легендами край определил характер его лирики. Умение увидеть красоту мира в самых неприметных и мимолетных ее проявлениях, радостное и вместе с тем напряженное ощущение своей причастности к этому миру, симпатия к людям и вера в них — вот отличительные черты таких поэтических книг Жоржа-Эмманюэ-ля Клансье, как «Таинственная земля» (1951), «Истинное лицо» (1953), «Голос» (1956), «Незабываемые края» (1965).

Однако поэзия для Клансье — не только средство утвердить и запечатлеть свое мировосприятие, но и средство контакта с окружающими, средство сплочения людей в общем порыве, когда живое звучащее слово вырывает их из одиночества.

Впрочем, лиризм, проникновенность, тонкий и деликатный психологизм присущи и романам Клансье, проникнутым стремлением обстоятельно, как бы изнутри описать жизнь простых тружеников. Примечательна в этом отношении тетралогия писателя «Черный хлеб» (1956–1961), ставшая вехой в развитии французской прозы. 50-х годов.

Видный литератор, чье творчество неоднократно отмечалось литературными премиями, Жорж-Эмманюэль Клансье пользуется заслуженной популярностью не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Причина тому — устойчивая гуманистическая направленность и неподдельная искренность его произведений. По словам самого Клансье, его симпатии всегда были на стороне тех, «кто борется, чтобы в мире стало меньше материальной и духовной нищеты и больше света».

Georges-Emmanuel dancier: «Les arenes de Verone» («Веронские арены»), 1964.

Рассказ «Возвращение» («Le retour») входит в указанный сборник.

Возвращение

Наверно, ей что-то снится. Крепко сжала левый кулачок, потом медленно разжала его; локон на подушке шевелится от дыхания. В рассветном сумраке я гляжу на нее, на такую маленькую, славную и доверчивую, и у меня сжимается сердце… Должно быть, я вернулся оттуда здорово ослабевшим; вряд ли все отцы смотрят на своих спящих детей с таким сладким и мучительным чувством. Мне хочется ее разбудить — ведь я весь день ее не увижу! Она бы стала потягиваться, вертеть головой, тереть кулачками брови, светлые, такие прозрачные, похожие на два солнечных зайчика. И потом открыла бы наконец глаза, свои серые глаза, серьезные и спокойные, которые как будто оценивают тебя и великодушно прощают. Но она мне не улыбнется, она позовет мать или бабушку! «Ты с ума сошел, зачем было будить ребенка!..» — «Милый Жан, вы совсем не умеете обращаться с детьми…» И обе засуетятся вокруг нее, зашепчутся, зашушукаются.

Когда Люси спит, в ее лице тоже проступает что-то детское: у нее такой же, как у малышки, подбородок и слегка закругленный кончик носа. Когда там, вдали, я думал о ней, когда пытался обрести ее лицо, — а оно от меня ускользало, и я с ужасом ощущал, как исчезает во мне часть моей жизни, — я никогда не думал о мягком изяществе ее профиля. Впервые я обратил внимание на красоту этой линии однажды утром, после тех многих и долгих ночей, когда наши тела с непонятным неистовством, чуть ли не с яростью наслаждались друг другом, будто надеясь, что в исступленных объятиях безвозвратно сгинут проклятые годы разлуки. Я знаю теперь: наши ласки нам помогали не думать, не говорить, друг друга не видеть. А потом, когда наваждение кончилось, я наконец увидел свою жену и удивился. Я не нашел на ее лице ни следа, ни малейшего знака обуревавшей нас страсти; глаза ее были безмятежны, рисунок рта спокоен. Я прочитал в ее лице равнодушие, которое меня больно кольнуло; оно будто говорило об устоявшейся привычке к счастью, к тому счастью, которого я был все эти годы лишен.

До поры до времени ее мать держалась в стороне; она сидела целые дни на кухне, а вечерами, сразу же после ужина, пряталась у себя в комнате. Но вот и она, должно быть, почуяла, что нашему новому медовому месяцу приходит конец. И я понял, что она-то и была главным человеком в нашем доме. К ней и только к ней обращалась всегда жена, когда ей нужно было получить одобрение. Даже в своем кокетстве, даже когда, желая мне понравиться, она колебалась в выборе платья, совета она спрашивала у матери, а та делала вид, что не замечает этой закрепощенности. Она превратила дочь в свою послушную тень. В такую же тень она хочет превратить и внучку.

В первые годы нашего супружества я не подозревал об этом засилии. Теща была для меня той неприметной, в вечном трауре женщиной, которой мы по воскресеньям наносили визиты; она жила одиноко в своем крохотном домике, в окружении фарфоровых безделушек, и пекла для нас очень вкусные пирожные. К нам она перебралась с началом войны, после того как я ушел на фронт. Когда она вернется к себе? «Без нее нам не снести концов с концами, — твердит мне Люси. — И кто будет воспитывать малышку? Ведь мы с тобой оба работаем».

Да, это верно, малышку воспитывает она. Легко с казать, воспитывает… Меня не огорчает, меня уже больше не огорчает, когда я вижу, как Люси колышется возле матери безликою тенью: я принимаю это как неизбежность. Я не и силах с этим ничего поделать, — так же, как не в моих силах изменить мягкость профиля жены или резкую суровость профиля тещи. Но малышка… Вот в ней я, пожалуй, мог бы найти оправдание своему возвращению, своей жизни. У малышки те же черты, что у Люси, но у нее они — легкость и обещание, у нее они — ожидание иного лица, того, что исподволь будет вызревать под ними, и мне очень хочется помочь этому сокровенному облику скорее явиться на свет. В ее глазах есть нечто, не принадлежащее ни бабушке, ни матери, — я даже не знаю, как это назвать, есть некий внутренний свет… Малышка может меня не видеть, меня не замечать, может не оставлять для меня даже самого малого места в своих играх и снах, но этот свет все равно теплится в глубинах ее существа, он взывает ко мне, и я знаю, я твердо знаю, что только я в состоянии дать ему все то, без чего он угаснет, — вкус солнца и ветра, вкус дождя и холмов, вкус книг, радость жизни. Но сначала я должен внушить ей ужас и отвращение к этому унылому существованию, когда один день окрашен тоской, оттого что истрачен лишний грош, другой — ликованьем, оттого что грош удалось сэкономить. «Жаннетта, береги свои вещи! Не пачкай платье, Жаннетта! Если б ты знала, каких ты нам стоишь денег». А малышка безмятежно играет с солнечным зайчиком или, улегшись на спину, глядит, как меняются очертания облаков, и нет ей дела ни до бабушкиных попреков, ни до камешков, которые впиваются в спину. Как-то раз, в одно из таких мгновений, когда она, глухая к угрозам, плыла на волнах фантазии, я ей улыбнулся — слегка, чуть заметно, я хочу, чтобы между ею и мной было поменьше жестов и слов, — ах, какая тревога вспыхнула тогда в глазах жены и какое презрение, смешанное с жалостью, загорелось в глазах моей тещи, презренье, конечно, ко мне, а жалость, разумеется, к своей дочери, которая вышла за полоумного; малышка же испугалась и кинулась искать защиты в бабушкиных юбках. Я убежал, чтобы они не увидели, как я вдруг побледнел.

Если жить одними мечтами, становишься неуклюж. А мне еще два месяца назад приходилось жить

одними мечтами. И о жене я думал больше, чем о дочке, больше думал о тех часах, которые проведу рядом с Люси, чем о тех, что проведет рядом со мною Жаннетта. Мне было хорошо лишь в мыслях о прошлом, я был несчастлив в споем настоящем, меня сводили с ума грезы о будущем. А теперь все спуталось, все смешалось: когда я вспоминаю о том, что было тогда моим бедственным настоящим, — стыдно признаться, меня охватывает чувство, похожее на ностальгию. Был ли я несчастлив в те холодные весенние утра, когда горы вокруг покрыты белыми, как снег, цветами? И в те долгие дни изнурительного труда на каменистом участке, зажатом между скалами и оврагом? Было ли только несчастьем это мое одиночество среди чужеземных крестьян, таких же суровых и бедных, как камни вокруг их деревни?

Камни в долине, камни Парацельса. Помню, мне в руки попал как-то некий, именовавший себя французским, еженедельник, и в нем я наткнулся на статейку про Парацельса: «Он не раз приезжал в долину Лавант, что в Каринтии, и изучал минералы, которыми так богаты эти места; в частности, красивые кристаллы пурпурно-лилового цвета, коим он приписывал волшебные свойства». Я держал их в руках, эти камни алхимика; один камень я унес к себе в ригу, служившую мне пристанищем, и он был для меня куда более живым, человечным, чем все эти фермеры, наши хозяева… Несчастье… Была ли она несчастьем, эта упорная жажда свободы, эта потребность побега, побега любою ценой, пусть даже с риском для жизни? Да, конечно, это было несчастьем… А позавчера Люси вдруг поглядела на меня покрасневшими глазами и прошептала: «Я знаю, ты полюбил там другую, ты тоскуешь по ней». Что за глупость! Я не смотрел на женщин, я не разрешал себе на них смотреть. Да я и не видел там красивых женщин. Мои товарищи спали с ними, а я, страдая от собственного целомудрия, не мог ничего с собою поделать; я не хотел потакать своему вожделению, не из верности жене, а из верности утраченной свободе; мне казалось, уступи я прихотям плоти, и я вдвойне стану узником, пленником. «Что за глупость!» — вскричал я, когда Люси призналась мне в своих подозрениях, но меня потрясло: значит, то, чего я сам не желал в себе видеть, легко читалось другими, — моя неспособность снова вступить по владение окружающим миром.

Ну что за скрипучая дверь, того и гляди, разбудит малышку. Это, наверно, ребячество с моей стороны, но почему-то мне хочется, чтобы она спала подольше, когда я не дома. Сон, по крайней мере, защищает ее от них. Через час она тоже отворит эту скрипучую дверь, выйдет на крыльцо и на миг остановится, взглянет на голый сад, на линию холмов за домами, и взмахнет своими ресницами, и так же легко и просто, с тою же чистотой, с какой она дышит и спит, примет в себя новый день.

Волшебные камни Парацельса… Они ничем не могли мне, конечно, помочь, но я наделял их кристаллы таким же *очарованием,* каким, должно быть, Жаннетта наделяет невзрачные камешки, что валяются у нас во дворе. Камни, горы, и снег, и трава — это был мир, в котором из-за трагической глупости людской я был очень несчастлив, но где за пределами этого — в общем-то случайного — несчастья все мне было понятно и близко.

После войны я повезу Жаннетту в эти края.

Сколько людей вокруг сочло бы меня сейчас сумасшедшим, догадайся они о моих мыслях… Например, мясник Дюшем, который здоровается со мной, выглядывая из дверей своей лавки. Уж кто-кто, а он жизнью доволен, и хоть мяса — во всяком случае для нас — у него нет, а денежки в кассе не переводятся; недаром на видном месте красуется у него портрет маршала Петэна; портрет охраняет его благополучие, портрет, и, разумеется, еще вон тот тип в зеленом мундире, что с револьвером у пояса торчит на перекрестке.

«Несчастный безумец! — подумали бы они. — Вы поглядите только на этого несчастного безумца: он не рад свободе, он не считает себя свободным, потому что, видите ли, боится, что его ребенок растет, не зная, что такое свободная жизнь, и потому что писать с утра до вечера цифры за банковским окошком ему кажется не таким стоящим делом, как поглаживать булыжники, привезенные с каких-то там гор». А они, люди здравого смысла и благонамеренного поведения, они довольны и счастливы, потому что некий маршал несет караульную службу в их лавках и потому что мерзость, испакостившая другую страну вплоть до самых укромных уголков Тироля, гложет теперь и их родину.

Скоро восемь. Как бы не опоздать в банк. Старый трамвай ужасающе скрежещет и еле тащится через город. Когда Жаннетта села в трамвай, она вся замерла от страха и восторга. Недавно она попросила меня покатать ее на трамвае, и я расцеловал ее, потому что она впервые о чем-то меня попросила. Она поняла, что вот так взять и без всякого дела поехать кататься на трамвае, что это «баловство» — словечко из лексикона ее бабушки — могу ей позволить лишь я.

Как мне хотелось привезти ей оттуда какой-нибудь сувенир! Но я не смог. Камень, который я прятал у себя в риге, заиграл бы в ее руках всеми гранями. Первые дни я таскал его с собой, как талисман; он выпирал у меня из-под пиджака; в поезде, когда ко мне приближался какой-нибудь тип, пялясь на меня с излишней настойчивостью, мои пальцы в кармане судорожно вцеплялись в кристаллы. А потом, когда кюре затерянной в горах деревушки пожал мне руку, когда он сказал

мне: «Ну вот вы и свободны, здесь кончается ваша… — он тут же поправился: —…наша тюрьма», — когда он снова ушел в темноту по узкой протоптанной лесорубами тропке, — тогда я рванулся бегом вниз по склону и вдруг, неожиданно для себя, выхватил камень из кармана и, размахнувшись, швырнул его в ночь… В руках у Жаннетты он бы переливался на солнце.

Доведется ли мне вообще что-нибудь ей подарить?

«Это папа, это твой папа», — повторяла Люси на вокзальном перроне. Девочка таращилась на паровоз. Позже, дома, когда я хотел взять ее на колени, она убежала.

Даже эта недавняя поездка в трамвае не приручила ее. Она с того дня научилась требовать от меня удовольствий, но взамен не дает ни доверия, ни дружбы.

Конечно, знаю, я должен сказать теще, чтобы она подыскала себе другое жилье. Но я тут же представляю себе, какой вид она на себя напустит, как обернется к Люси, как скажет страдальческим голосом: «Видишь, Люси, ты свидетель, три года я вела *его* дом, заботилась о *его* жене, о *его* дочери, а теперь он вернулся и выгоняет меня на улицу». И они единым фронтом встанут против меня, неблагодарного чудовища, и малышки по-прежнему будет добычей в их цепких руках. Нет, лучше выждать, лучше пойти на хитрость… А пока что я живу одной мечтой: война кончается, и я еду с Жаннетой куда глаза глядят. Или нет, я знаю, куда я поеду. Я поеду с ней в одну долину Каринтии. Когда живущие там люди снова станут достойны камней Парацельса.

Фамилия писателя на кастильском наречии означает «дубы» — и пристрастие к сильным натурам, к героям, умеющим хранить достоинство даже под пытками, отличает все творчество Роблеса. «Здесь мы слышим обычно самые личные ноты в его голосе», — заметил по этому поводу Андре Вюрмсер.

Своему отцу, который был каменщиком и умер от тифа незадолго до рождения сына, посвятил Эмманюэль Роблес роман «Мужской труд» (1943) — «моему отцу, рабочим и инженерам... всем тем, кто учил меня правде». Книга получила Большую литературную премию Алжира, а два года спустя — Популистскую премию в Париже. С той поры и выявился интерес Роблеса к волевым, противостоящим абсурду человеческим характерам. Их он искал в историческом прошлом (пьесы «Монсера», 1948; роман «Ножи», 1956; «Речь и защиту мятежника», 1965); их видел рядом с собой в дни второй мировой войны, когда, будучи военным корреспондентом, участвовал во многих воздушных операциях (повести «Ночи над миром», 1944; романы. «Везувий», 1961; «Итальянская весна», 1970); ими восхищался, слушая рассказы о республиканцах Испании (повесть «Навстречу смерти», 1951); им отдавал свои симпатии, взволнованно следя за пламенем свободы, разгорающимся в Алжире — стране, с которой связан рождением, литературным дебютом (роман «Действие», 1937), дружескими узами (М. Фераун, А. Камю, М.-П. Фуше). Алжиру посвящены лучшие страницы творчества Роблеса — книга воспоминаний «Юные времена» (1961), ставшая как бы прологом к книге «Бурные времена» (1974), роман «На городских холмах» (премия Фемина 1948 года), ряд новелл (в сборнике «Человек в апреле», 1959), публицистические очерки.

О родине своей, Алжире, об отчаянном нигилизме юных (роман «Половодье», 1964), о ницшеанских мечтах реваншистов (роман «Морская прогулка», 1968) и правоте непокорившихся (новелла «Гвоздики») Роблес рассказывает в присущей ему строгой реалистической манере, мастерски используя богатые возможности диалога и портретных зарисовок. Он говорил о себе, что отдает предпочтение «театральной технике и острым конфликтам, где герои скрещивают свои «истины», как фехтовальщики — шпаги». Это предпочтение лежит в основе динамизма его новелл и романов и определяет обращение Роблеса к драматургии, кинематографу, телевидению.

С 1973 года Роблес — член Гонкуровской Академии.

Emmanuel Robles: «Nuits sur le monde» («Ночи над миром»), 1944; «La Mort en face» («Навстречу смерти»), 1951; «L'Homme d'avril» («Человек в апреле»), 1959; «L'Ombre et la rive» («Тень и берег»), 1972.

Новелла «Гвоздики» («Les Oeillets») входит в сборник «Тень и берег».

Гвоздики

— Не бойтесь, мадемуазель, эти молодчики вас даже не разглядят.

Да она и не боялась. Скорее уж чувствовала любопытство, и отвращение тоже. Люсьена следила, как полицейские в форме, полностью освободив одну стену комнаты, устанавливали против нее две мощные лампы. Подумать только, ведь она должна была уехать из Барселоны сегодня же вечером, отпуск ее кончился. Один из трех полицейских инспекторов, тот, кого звали Альвеар, сухонький брюнет, вел себя с ней со слащавой любезностью, от чего ей становилось не по себе.

— И они никогда не узнают, какие прекрасные глаза на них смотрели!

Что за нелепость! Ей было жарко, она прислушивалась к шепоту и шуму шагов в коридоре и жалела о том, что была утром так неосторожна. Если дело примет дурной оборот или ее просто решат задержать для дальнейшего расследования, уехать сегодня ей не удастся. Мысль об отъезде постепенно заслоняла ее непосредственные впечатления и наполняла мучительной тревогой.

— Пять минут, и все будет кончено, — говорил Альвеар со своим севильским акцентом.

Неужели на лице ее отражалось такое волнение, что этот идиот счел необходимым ее успокоить? Люсьена, скрестив ноги, сидела на соломенном стуле посреди комнаты, за светлой линией от ламп, и тщательно подкрашивала губы, продолжая, однако, следить в зеркальце пудреницы за снующими взад и вперед полицейскими, которые оканчивали свои приготовления. «В другой раз буду держать язык за зубами», — думала она.

Все началось предыдущей ночью. Изнемогая от июльской жары, Люсьена поднялась с постели и вышла на балкон отеля подышать свежим воздухом. Балкон выходил на улицу, пустынную в этот час. Лишь изредка проезжали — в сторону порта — грузовики, всего два или три за то время, пока она, опершись на перила, наслаждалась свежим ветерком, веявшим с моря, и вспоминала о трех неделях отпуска, половину которого она провела у друзей в Танжере, о трех неделях, пролетевших так быстро… Внизу, под деревьями, крался какой-то мужчина, ее он не замечал. Невольно заинтересовавшись, она стала следить за ним. Он остановился у газетного киоска, достал тюбик клея, затем вытащил из-за пазухи листок бумаги, разгладил его и быстро, двумя-тремя точными движениями, приклеил. В тусклом свете фонаря, горевшего на перекрестке, Люсьена разглядела лишь одно слово, написанное большими буквами: pueblo.

Ничего больше на таком расстоянии разобрать было невозможно. Люсьена еще не успела понять, что происходит, как вдруг услышала тихий свист. Незнакомец, встревожившись, посмотрел в конец улицы, где должен был стоять его товарищ. Его взгляд скользнул по балкону. От волнения Люсьена плохо рассмотрела его лицо, наполовину скрытое пышной шевелюрой, похожей на берет. А незнакомец уже убегал — стремительно и удивительно легко. В то же мгновение из соседней улицы показалась большая черная машина с включенными фарами и сразу же повернула к отелю. Улица, окутанная летним туманом, скрывавшим все небо, казалось, вдруг замерла. Машина проехала вдоль тротуара и остановилась около киоска. Из нее тут же выпрыгнул полицейский, бросился к листовке и раздраженно сорвал ее. Люсьена услышала, как рвется бумага. Фары автомобиля были похожи на огромные глаза хищного зверя. Погоня возобновилась, а где-то далеко в порту просигналил буксир: он дал всего лишь один гудок, но властный, как бы требуя внимания. Зябко поеживаясь, Люсьена запахнула пижамную курточку. И тут раздался выстрел, по-видимому, совсем близко, резкий, без эха.

Утром, во время завтрака за общим столом, старик болезненного вида, с бескровными губами, упомянул о выстреле, который его разбудил. Выстрел слышали еще несколько человек. Не подумав, Люсьена рассказала о том, что видела: какой-то мужчина наклеивал листовку, вероятно, крамольную. За ним погнались полицейские. Очевидно, выстрел связан с этой историей. Ни комментариев, ни вопросов не последовало. Такая осторожность отчасти удивила Люсьену, но она быстро забыла об этом разговоре. А через час, когда Люсьена собралась было выйти, инспектор Альвеар, еще с одним полицейским, явились допросить ее, и администратор гостиницы, мадам Руис, проводила их каким-то странно пристальным взглядом. Люсьена, теперь уже настороже, заявила, что не может сообщить никаких примет того человека, во-первых, из-за плохого освещения, а во-вторых, потому что все произошло слишком быстро. Слова ее вроде бы убедили Альвеара. Однако он, чуть иронично улыбаясь, не отводил от нее изучающего взгляда. Когда Альвеар решил подняться в ее комнату, Люсьена стала было возражать, но он попросил администратора сопровождать его, и Люсьена пошла за ними, не скрывая своего неудовольствия, что, видимо, забавляло инспектора. Не говоря ни слова, Альвеар долго рассматривал с балкона газетный киоск, деревья вдоль тротуара. Казалось, на этом все и закончилось.

Днем, возвращаясь из бассейна, Люсьена увидела в холле тех же полицейских. Должно быть, они

давно ее ждали: пепельница на столике была полна окурков. Сначала она отказалась пойти с ними, хотя Альвеар предъявил ей бумагу с гербовой печатью. Тогда он, не переставая улыбаться, любезно взял ее под руку: ну право же, это чистая формальность, она отнимет у нее всего несколько минут…

Вдруг обе лампы разом вспыхнули и залили противоположную стену ослепительной белизной. Мужчины, которых вталкивали в комнату, жмурились от этого резкого света. Их было восемь, одеты все были просто. Одни пытались, принять безразличный вид, другие не могли скрыть своего волнения. И только один вел себя совершенно непринужденно — третий слева, молодой парень, треугольное лицо которого, хитрое и лукавое, напоминало мордочку кошки. Это он вчера расклеивал листовки. В верхний карман его потертой куртки был вдет полураспустившийся цветок белой в крапинку гвоздики — украшение не совсем обычное, однако прекрасно сочетающееся с его хитроватыми глазами и видом благонамеренного человека, у которого зря отнимают время и который старается с достоинством перенести эту досадную неприятность. Сомнений нет — вчерашний незнакомец: ладная фигура, густые волосы… Одних лет с Люсьеной: примерно, двадцать шесть — двадцать восемь. Его сильные руки висели вдоль тела, как ему и было приказано. Выстроенные в ряд восемь арестованных моргали глазами, ослепленные до боли мощными потоками света, но кое-кто старался высмотреть Люсьену в ее затемненном укрытии. Она чувствовала себя опозоренной, загнанной в ловушку, но понимала, что присутствие здесь этого парня обязывает ее владеть собой. Главное, обращать на него не больше внимания, чем на остальных, не выдать своего волнения. Она повернулась к последнему в ряду. У нее перехватило дыхание. Она хотела немедленно сказать, что ни один из этих людей не похож на того, кого они ищут. Но не смогла произнести ни слова. Стоявшие за ее спиной полицейские молча ждали. Неужели они думают, что она старается сосредоточиться, чтобы не ошибиться? Мысль о том, что они истолковывают ее молчание в свою пользу, была для Люсьены невыносимой. Ее взгляд скользил по лицам выстроенных перед ней людей. Все человеческие горести словно запечатлелись на этих лицах, и только парень с гвоздикой, казалось, подсмеивается над ней, хотя он, как и все остальные, принял позу точно по инструкции — ноги вместе, руки по швам, поднятая голова.

— Итак, — сказал маленький Альвеар, — никого не узнаете?

Она пожала плечами, не зная, что ответить, еле сдерживая слезы, но изо всех сил стараясь показать, что она спокойна и что ей скрывать нечего.

В ярком свете ламп волосы парня с гвоздикой блестели, как каска. Его лицо, на первый взгляд не слишком выразительное, светилось каким-то внутренним весельем.

— А вот тот, в синем… посмотрите хорошенько!

Альвеар указывал на соседа парня с гвоздикой — тоже молодого парня в синем комбинезоне, с впалыми щеками и диковатым взглядом.

— Его тоже схватили рядом с вашим отелем.

— Я же вам сказала, что не разглядела лицо.

— Ну и что же? А фигура, походка? — уже начиная терять терпение, сказал Альвеар.

Люсьена почувствовала, что ненавидит его. Как ловко он обманул ее. Ничего себе формальность! Эта чудовищная сцена — простая формальность! Люсьена встала. Она знала, что очень бледна. Знала потому, что у нее не только пересохли губы, но и стянуло кожу на лице. Похоже, Альвеар внимательно следит за ее реакцией. Она небрежно отвернулась от арестованных, давая понять, что считает опознание законченным, бесполезным.

— Минутку, мадемуазель. А сосед?

— Старик?

— Нет, слева. Вон тот, с гвоздикой.

— Нет, нет! — сказала она.

В ту же минуту она поняла, что, отвечая, не проследила за своим тоном, и ей показалось, что сердце ее перестает биться и в мертвой тишине продолжает звучать только голос Альвеара — приглушенный, слащавый.

— Гм, вы слишком категоричны. Вы говорите, что не можете узнать того типа, а в то же время утверждаете, что этот субъект не имеет с ним ничего общего.

Она испугалась. Уж очень ловок был этот Альвеар, привычный к очным ставкам, умеющий

обращаться с неразговорчивыми свидетелями.

— Не могла же я не заметить такой роскошной шевелюры, — сказала она на этот раз игриво, стараясь попасть в тон Альвеару. А он курил, и, когда поднес сигарету ко рту, на руке его блеснул перстень, как будто Альвеар подавал кому-то условный сигнал.

— Ну, все? — спросила Люсьена.

Инспектор не ответил. Он затягивался сигаретой с тем же задумчивым выражением, что и на балконе отеля, но теперь его молчание тревожило Люсьену. Пышущие жаром лампы на стальных штативах рассекали комнату на две зоны: зону тени, где сидела она сама с полицейскими, и зону беспощадного света, где в нервном напряжении или с деланным безразличием ждали восемь арестованных. И только парень с гвоздикой, казалось, чувствовал себя по-прежнему непринужденно, и в глазах его горел все тот же насмешливый огонек. Если его опознают, то изобьют до полусмерти, чтобы он выдал сообщников, а потом запрячут на долгие годы в тюрьму. Эта мысль ужаснула Люсьену, она не могла больше терпеть мучительную пытку, в ней накипало возмущение, и она готова была выразить его вслух, но какая-то инстинктивная осторожность удерживала ее. Как будто угадав ее мысли, инспектор заговорил все так же чересчур любезно и многозначительно:

— Похоже, этим субъектом вы интересуетесь больше, чем всеми прочими?

Люсьена невольно вздрогнула. Она заставила себя ответить шутливым тоном:

— Я?.. Я просто в восторге от его шевелюры.

Альвеар в свою очередь улыбнулся, что еще усугубило опасения Люсьены. Неужели она совершила ошибку? Неужели она указала на примету, да еще такую редкую? А инспектор уже склонился к ней с видом сообщника:

— И этот молодой Самсон рано или поздно найдет свою Далилу…

— Может быть, хватит? — тотчас ответила она, уязвленная намеком, твердо решив как можно скорее покончить с этим делом из страха попасть в ловушку и невольно выдать человека с гвоздикой. Повернувшись к инспектору, она повторила еще настойчивее:

— Все? Можно идти?

— Разумеется.

Лицо у него стало каменным. Люсьена направилась к двери, где стояли двое часовых: ноги врозь, руки за спиной. При виде этих людей ее охватил страх. А вдруг это просто хитрость инспектора? Хочет довести ее до нервного срыва и заставить выдать себя. Но нет. Никто ее не задерживал. Альвеар провожал ее по коридору, галантно благодарил, это взбесило ее окончательно, и она сухо сказала:

— Вы вовсе не обязаны меня благодарить.

На них упал свет из большого окна, выходящего во внутренний двор. Освещенное сбоку, в резком контрасте света и тени, лицо Альвеара показалось вдруг уже не таким слащавым, а грубым и злым.

— Почему вы не хотите принять мою благодарность, мадемуазель? Вы добросовестно работали вместе со мной. Хочу надеяться: если бы вы узнали злоумышленника, вы бы мне об этом сообщили.

Он шел следом за ней, и его каблуки гулко стучали но плитам пола. Люсьена чуть было не взорвалась. Ее захлестнула волна возмущения. Но в последний момент она овладела собой и промолчала.

— Разве нет? — сказал инспектор примирительным тоном.

Вот где она — ловушка. Если сейчас она открыто выскажет свою враждебность и свое отвращение, неизвестно, чем еще кончится эта сцена.

— Не тот случай, — сказала она в конце концов.

Они уже подошли к лестнице.

— Вы не ответили на вопрос, — усмехнулся Альвеар.

Осторожно, опасность, опасность! Эти слова вспыхивали и гасли в ее лихорадочно работавшем мозгу.

— Ну а в том случае, если бы вы все же его узнали, вы бы… сообщили?

Люсьена угадала тайный провокационный смысл этой почти незаметной паузы перед последним словом. Она посмотрела вниз и у подножья лестницы увидела часового — по его портупее скользили солнечные блики.

— А почему бы и нет? — сказала она.

Опершись правой рукой о перила, инспектор, казалось, обдумывал ее ответ.

— Ну что ж, — проговорил он наконец не слишком уверенно.

Люсьена поняла, что нервы ее сейчас сдадут, и в ту же самую минуту услышала свой собственный голос:

— А теперь вы их отпустите?

Ох, какая неосторожность! Разве такие вопросы, даже произнесенные безразличным тоном, не свидетельствуют о тайной симпатии? Альвеар слегка поклонился и ответил точно так же, как она:

— А почему бы и нет?

Лучше уж было не настаивать. Люсьене захотелось броситься вниз по лестнице, но она сдержалась и после некоторого колебания начала спускаться с нарочитым спокойствием. Все время, пока она шла вниз, она чувствовала на себе взгляд инспектора — тот следил за ней, перегнувшись через перила.

Очутившись на улице, она перешла на другую сторону и стала ждать свободное такси. И тут она увидела тех восьмерых. Они разошлись, не сказав друг другу ни слова, явно желая как можно скорее уйти от здания полиции; они даже не заметили Люсьену на противоположном тротуаре. А парень с гвоздикой сначала закурил и только потом удалился пружинистым шагом гимнаста.

Люсьена вернулась в отель и не выходила оттуда до самого вечера. Задолго до отъезда она расплатилась с мадам Руис, которая ограничилась лишь намеком на дневные события. Зато она не поскупилась на пожелания счастливого пути, напомнив Люсьене, что забронировала ей прекрасное место у окна.

Уже наступила ночь, когда Люсьена добралась до вокзала. Невесомая голубая ночь. В глаза ей бросились выписанные кроваво-красной краской слова какого-то плаката: Mas sacerdotes —… больше священников! — и она вспомнила вчерашнюю листовку.

Люсьена вышла на перрон, когда поезд во Францию только что подали. Весь день сердце ее сжимала тревога, и только близость отъезда принесла ей хоть какое-то облегчение. Под широким сводом вокзала метались тени, их будто подстегивали обрывочные слова, которые время от времени выбрасывала из себя гигантская глотка громкоговорителя.

В купе было пусто и темно. Впрочем, и во всем вагоне пока еще никого не было. Взглянув на билет, врученный ей мадам Руис, Люсьена нашла свое место, но его уже заняли — там лежал какой-то предмет, который она в темноте не рассмотрела. Неприятно удивленная, она повернула выключатель над дверью — вспыхнул верхний свет, и тут она увидела букет белых в крапинку гвоздик.

Цветы были связаны стебельком рафии, они были совсем свежие и пахли весной. Люсьена стремительно опустила стекло, осмотрела перрон, где суетились пассажиры, но никто как будто не обращал на нее особого внимания. Две пожилые дамы с трудом взбирались в вагон; солдаты наполняли фляги из крана… По соседнему пути бесшумно скользил паровоз, а громкоговоритель продолжал взывать к кому-то, хотя призывы его были подобны гласу вопиющего в пустыне. Но Люсьена теперь знала, что вокруг нее не пустыня; недаром по ее телу разливалось тепло и освобождало от тяжести, только что грозившей ее раздавить. И до самого отъезда она так и стояла у окна, на виду у всех, со своими цветами в руках.

Пьер Куртад родился в департаменте Верхние Пиренеи, в семье почтового служащего. Лиценциат филологии, преподаватель английского языка. Член ФКП, активный участник антифашистского Сопротивления. После Освобождения — главный редактор еженедельника «Аксьон», а с 1946 года — ведущий обозреватель «Юма-ните». С 1960 года возглавлял корреспондентский пункт «Юманите» в Москве.

Куртад — публицист международного класса. Начиная с «Заметок об антикоммунизме» (1946), он последовательно разоблачал врагов мира и социализма и их идеологических приспешников. И в романах Куртада его убежденное слово помогало читателям осмыслить движение современной истории и определить свое место к борьбе против империалистической реакции. В романе «Эльсенер» (1949) художник полемизирует с экзистенциалистской апологией буржуазного индивидуализма. В «Джимми» (1951) выведен благонамеренный обыватель, у которого под влиянием войны США в Корее пробуждается чувство общественного протеста, ощущение своей личной причастности к истории. Неотвратимость крушения колониализма — центральная идея романа «Черная река» (1953), изобличающая «грязную войну» французских колонизаторов во Вьетнаме. Последняя книга Куртада — «Красная площадь» (1961) — о воспитании политических чувств, о верности коммунистическому идеалу.

Куртад — мастер социально-психологической новеллы, преемник реалистических традиций Стендаля и Мериме. У героев Куртада — осознанная цель в борьбе, ими владеет чувство долга и гражданской ответственности. Эти духовные качества позволили им в годы Сопротивления выстоять в поединке с фашизмом. Ирония художника, иногда едва уловимая, а порой граничащая с гротеском, высвечивает духовный мрак коллаборационистов, нравственное убожество людей, мнящих себя олицетворением «свободного мира», метит в тех, кто безвольно плывет по течению.

Пьер Куртад так и не осуществил свой замысел: «создать новеллу из новелл, — всего десять страниц». «Я, — писал он, — буду работать над нею годы и назову ее «Жизнь»... Это... создание... побудит людей мыслить и мечтать».

Мыслить, мечтать и работать во имя человека — воплощенный в новеллистическом наследии Куртада смысл всей его жизни и его творчества.

Pierre Courtade: «Les circonstances» («Обстоятельства»), 1946; «Les Animaux superieurs» («Высшие животные»), 1956.

Рассказ «Две дюжины, устриц» («Deux douzaines d'huitres») входит в книгу «Обстоятельства».

Две дюжины устриц

Был некий таинственный смысл в том, что эти раковины рождены морем. Ясные, точно золотистые, спокойные глаза, в которых мерцает его отблеск, — частицы бескрайнего простора, несущие аромат дальних полночных стран.

Он слегка отодвинул маскировочную штору, висевшую на окне в кухне, — никого, ни единой тени, лишь ветер раскачивает дрожащую синюю лампочку, стремящуюся вырваться из его объятий. Прошел трамвай. При вспышке короткого замыкания на проводах он окинул взглядом темный, словно вымерший, дом и опустил штору.

Тарелка была почти полная. Он оставлял раковины раскрытыми. Если устрица прилипала к створке, он слегка соскабливал перламутр, где переливалось отражение электрической лампочки, и с легким присвистом втягивал в себя нежную мякоть. Это было не особенно вкусно, но устрицы вызывали у него воспоминания о не столь уж далеком детстве, когда для бедняков эти раковины были олицетворением роскоши, новогодних праздников, вроде заливного из телятины или кофейного торта. И совсем уж недавно в парижских ресторанах перед ним лежали на блюде раскрытые устрицы, а посередине — желтый лимон, и белое вино в бокалах, и начало «вечной любви»… Ах, какая чудная жизнь была в том далеком мире, вернется ли она когда-нибудь? Вкус моря стал для него сейчас вкусом свободы.

— Есть какой-то таинственный смысл в том, что они рождены морем, — сказал он.

— Почему? — спросила она. — Где же еще они могли быть рождены? — Голос у нее был тихий, нежный, чуть вибрирующий.

— Не знаю, но что-то в этом есть, — повторил он. — Мне сразу вспоминаются разные истории, не слишком, конечно, связанные с устрицами. Во всяком случае, на первый взгляд.

Он посмотрел на нее и подмигнул, словно обольщая ее. «Вы меня любите по-прежнему?» Иногда в шутку он говорил ей «вы», как бы отстраняя от себя, чтобы на какое-то мгновение она стала новой, другой. Но при этом, конечно, оставалась самой собою и все той же. «Словно, — говорил он, — понятно, о чем речь: всегда иная и любит меня и понимает…»

— Который час, воробышек? — спросил он.

Она посмотрела на свои ручные часики. Самое красивое у нее — руки; он не мог понять, как она ухитрялась не испортить их стиркой и мытьем посуды. Она была ужасной чистюлей, постоянно вылизывала себя, словно кошечка, с удивительным терпением и мужеством, — ведь она была не очень хороша собой; но тут уж ничего не поделаешь, и, в конце концов, это не имело значения.

— Без пяти семь.

— Мне нужно отнести Клэр материал для перепечатки. Вторую дюжину я открою, когда вернусь, через четверть часа. А может, и раньше.

Она ничего не ответила, как всегда внешне не проявляя никакого беспокойства. Снова подмигнув ей, он ласково сказал: «Ты мой крольчишка». И снял фартук, с которого струями стекала вода. Куртка под ним оказалась сухой. В раскрытых раковинах мерцали прозрачные устрицы, неподвижные, как вода в расселине скалы во время отлива.

— Да, давно я не видел моря, — прошептал он. И вспомнил крутобокие, пропахшие рыбой, прочно стоящие на высоких подпорках рыбачьи баркасы, крики прожорливых чаек, вспомнил небольшие лодки, уходившие в море еще затемно, и сидевших в них чудаков в плащах и мягких шляпах; они отплывали от берега на веслах, а потом запускали стрекочущий мотор. Он засмеялся:

— Подумать только, всего-то горсточка устриц и немножко морской воды!

— Ты считаешь, что они очень дорогие, — сказала она.

Он сморщил нос.

— Нет, я совсем не об этом подумал, просто мне кажется, существует связь между устрицами и свободой. Трудно поверить, но ведь устрица умеет сопротивляться. Непременно написал бы об этом, будь у меня время. Но его, к сожалению, нет.

Он взял лежавшую на диване, под подушкой, стопку отпечатанных на машинке листков, тщательно завернул их в коричневую оберточную бумагу и заклеил сверток. Получилась небольшая, очень твердая, герметически закупоренная трубочка. Сверху он начертил несколько каббалистических

знаков. Всякое бывает. А *они* такие болваны — можно наплести, что пять минут назад ты нашел это в трамвае и даже не заглянул внутрь. Конечно, там нет ничего особенно серьезного, но чего все это стоило. Он надел пальто, положил бумаги во внутренний карман и вышел, не сказав ни слова. Она стояла на коленях перед буфетом на кухне, что-то там искала и успела лишь крикнуть: «Возвращайся скорее!»

Он спустился по лестнице, по лестнице более чем скромного дома рабочей окраины. Цементные ступеньки всегда были покрыты толстым слоем пыли. Когда открывали окно, вся эта пыль собиралась в хлопья, и они перекатывались, словно живые существа. Консьержки не было, поэтому уборкой никто не занимался. Но это хорошо, когда нет консьержки. Подъезды домов превратились для него в полные опасностей переходы, которые нужно было проскочить, отвернувшись как можно быстрее, — переходы от притаившихся на лестничной клетке тайн к обезличенности улицы. Даже когда никто не поднимался и не спускался одновременно с ним, он почти всегда ощущал на себе чужой взгляд. Появление в дверях подъезда можно было сравнить с той минутой, когда шарик рулетки в нерешительности колеблется на краю лунки, озаренный торжественным сиянием огней казино.

Он стремительно перемахнул на другую сторону улицы, чтобы поскорее миновать освещенное пространство под синей лампой фонаря, качавшегося на ветру. Днем шел дождь. Земля была еще влажной, но ветер уже высушил воздух. Сразу за этим кварталом начинался пригород, и ветер, разбиваясь о стены домов, не успевал еще растерять аромат листьев и земли.

Все вокруг — и лица, и звуки шагов, — все теряло свое значение под покровом такой глубокой, всеобъемлющей ночи, лишь изредка разрываемой скупыми, выслеживавшими, предательскими огнями.

И сами они в своих лягушачьих мундирах, рассеянные в этой ночи, в ветрах и туманах, зарождавшихся там, где сливаются реки, казались почти осязаемыми и, уж во всяком случае, смертными. Разве не их тяжелые размеренные шаги раздавались на мостовых Европы, шаги парных патрулей (они теперь ходили только вдвоем), словно топает лошадь, которая идет, изредка оступается, но никогда не падает. Начиналась их последняя зима. Еще немного, и улицы вновь будут служить лишь для того, чтобы по ним ходить. А по вечерам, когда вспыхнут фонари, в полутемных подъездах будут укрываться от уличных фонарей влюбленные и будет слышно потрескивание неоновых ламп и настойчивые звонки, что возвещают о начале киносеанса, еще более жизнеутверждающие, чем звон колоколов. Они явились в страну, где все это было, разрушили все и замкнулись в собственной мерзости, подобно жалким мокрицам… Через четверть часа он вернется и откроет вторую дюжину устриц. И устрицы будут светиться, а ему так нужен свет, тепло, отодвигающее от него ночь, и еще ему нужна свежесть моря.

Он приблизился к дому, где жила Клэр. Прошел по противоположной стороне улицы и огляделся. Ворота были распахнуты настежь; в глубине двора виднелся подъезд и лестница, на нижние ступеньки падал светлый круг от висевшей лампы. Вот так каждый раз — неподвижное, настороженное ожидание, словно из всех домов города именно в этом его ждала ловушка.

У подножия лестницы, под лампой, стояло пять или шесть мужчин — он не разглядел сколько, — ему были видны только широченные спины в куртках на меху и мягкие фетровые шляпы. Один из них, самый высокий, засунув руки в карманы, пожимал плечами, другой постукивал ногой об ногу, будто стряхивая снег. Они стояли, как на сцене, ярко освещенные лампой, тесно сгрудившись, словно держали совет.

Он повернулся, и, ни о чем не думая, медленно побрел обратно, и вдруг испытал почти что радость.

Впервые эти люди перестали быть для него призраками. Впервые этой ночью скрестились их параллельные пути и они столкнулись лицом к лицу, точно два человека, блуждающих в темноте по широкой равнине: «А-а! Я был уверен, что в конце концов встречу вас!»

Он прошел метров сто до площади, на которую выходила эта улица.

Чтобы выиграть время и все продумать, он зашел в табачную лавку и попросил ненужную ему коробку спичек. Наверное, он был единственным в городе, кто покупал вечером, в такой час и по такой вот причине коробку спичек, однако на лице его ничего нельзя было прочесть. Лавочник как ни в чем не бывало протянул ему коробку спичек. Несколько человек играли в бильярд: существует ли что-нибудь более спокойное и умиротворяющее, чем сукно бильярдного стола! Какое счастье, что люди могут в эту ночь ускользнуть от игры в кошки-мышки и просто следить глазами, чтобы перед глазами только это и было — стремительный, как стрела, белый шар, несущийся точно по прямой.

Но недавно, прочесывая квартал после очередного покушения, гестаповцы ворвались в первое

попавшееся кафе. Схватили людей, игравших в карты или на бильярде, и сначала их били наотмашь по лицу, а это так же больно, как любые другие побои, только еще унизительнее, потом затолкали всех в маленькую, тесную комнатушку и заперли на всю ночь, — так и видишь их: к утру, наверное, отросла щетина на щеках и подбородке, под глазами кровоподтеки, всю ночь они не могли заснуть и думали кто о женщине, которая ждала его и с которой он должен был пойти в кино, кто о том, как глупо все получилось, ведь он же ни в чем не виноват, а эти террористы — настоящие преступники, из-за них хватают ни в чем не повинных людей, и вообще, какой идиотизм, я же играл в бильярд.

У него был список их имен, напечатанный на клочке тончайшей бумаги, — имена тридцати расстрелянных на рассвете. Агроном, пятьдесят четыре года (приехал на один день в город), конторский служащий, двадцать пять лет.

Чьи-то имена, незнакомые имена, что может быть более обезличенным, чем имя, все те нелепые имена, служившие людям годами, — и когда они женились, и когда их заносили в списки на бирже безработных, и когда они поступали на завод, брали в долг у бакалейщика, у виноторговца, являлись в полицейский комиссариат. Никогда не называлось больше имен, чем за последние четыре года, — имен настоящих, вымышленных, полунастоящих, целиком вымышленных, соскобленных, смытых, удлиненных или укороченных. Одним удача сопутствовала, другим она изменяла. Для сотен тысяч людей имя стало самым важным понятием на свете, так же как для молодежи — возраст. Сотни тысяч людей старались укрыть себя под чужой личиной. Чуточку удачи, чуточку времени, и вот уже человек свыкся с новым именем, забыл свою жену, детей, название улицы, на которой жил. Некоторым товарищам пришлось изучать по словарю Ларусса свою фиктивную профессию. Ведь всего можно ожидать. Лично он не принимал таких мер предосторожности. И если сегодня он попадет к ним в лапы — ведь он обязательно пойдет к Клэр узнать, что там происходит, — то через пять минут они будут у него в квартире. А там полным-полно всякой литературы.

Он вышел из табачной лавки и смешался с ожидавшей трамвая толпой. В городе тогда были люди, которые вот так же стояли на трамвайной остановке, но не садились в трамвай; сидели в скверах на скамейке, но не разглядывали женщин и не присматривали за детьми; часами смотрели на реку, облокотившись на перила моста, но не были при этом ни бродягами, ни рыболовами, ни мечтателями; читали газету, вывешенную у газетного киоска, хотя точно такая же газета лежала у них в кармане; молились в церкви, не веря в бога, и, направляясь куда-нибудь, зачастую выбирали самый дальний путь.

Послышалось легкое дребезжание подрагивавшего металла; потом он остался на остановке один. Ночь снова вступила в свои права. Вернулся он пешком. У лестницы, там, где лежал яркий круг света, не было ни души. Как и всегда вечером, лампа горела будто для него одного. Он взглянул на окна Клэр. В столовой сквозь дырку в маскировочной шторе светилась маленькая звездочка. Значит, Клэр дома. Никаких машин на улице он не заметил. Все кончилось. Правильно он сделал, что не пошел домой, чтобы предупредить Катрин. Все равно они на этом бы не успокоились, а потом где ему прятаться?

Он стал подниматься по лестнице, прижимаясь к стене, засунув руки в карманы. На груди, возле сердца, плотный рулон бумаги слегка вздувал пальто.

Едва он поднялся на один лестничный марш, как наверху, над ним, выросло что-то живое, массивное, и одновременно он услышал немецкую речь. В висках у него застучало. Тот, кто спускался первым, замедлил шаг, убрал ладонь с перил, а правой рукой перехватил трубку вороненой стали с дырками, как на жаровне для каштанов. Он почувствовал на груди совсем рядом с рулоном бумаги точное, мягкое, настойчивое и жесткое прикосновение дула автомата — как будто гигантский палец уперся в его тело. Немец исподлобья пристально смотрел на него. Он видел только блеск острых глаз, — лицо не имело никакого значения, — блеск глаз и холодный синеватый блеск кожуха автомата. Кровь застыла в его жилах, но странная, неожиданная вещь — он по-прежнему крепко, уверенно стоял на ногах. Он не сделал ни одного неверного жеста, не произнес ни одного неосторожного слова, все в нем замерло — даже мысль, даже сердце. Оно билось медленно, глухими, тяжелыми, отрывистыми ударами, заполняя всю грудную клетку, словно приглушенно ходил в масле насос. Он чуть отстранился и продолжал подниматься по лестнице, не оборачиваясь, почти касаясь стены. Теперь он услышал шум шагов и, пройдя несколько ступенек, решился взглянуть назад. Их было пятеро или шестеро, правой рукой они держались за перила, а в левой каждый сжимал автомат. Автоматы были тяжелые, поэтому они шли как-то враскачку. Все были в штатском — в фетровых шляпах и куртках на меху, именно такими он недавно видел их в свете лампы у подножия лестницы. Только бы кто-нибудь из них не обернулся, чтобы получше его разглядеть. Когда наконец он добрался до второго этажа, его охватила такая небывалая, непобедимая радость, какой никогда раньше ему не давала ни любовь, ни какая-либо удача, ни даже счастье. На площадке никого не было. Он позвонил у двери Клэр: два коротких быстрых звонка, потом пауза и один длинный. Снизу, из подъезда, доносились голоса и топот подбитых железом башмаков по плиткам пола. Дверь отворилась. При слабом свете лампочки, висевшей в

передней, лицо Клэр показалось ему бледным овалом, на котором он не различал даже губ.

— Ах, это вы! Господи, а я уж думала, что они вернулись, — сказала она, взяла его за руку и резко, как ставят в угол хныкающего ребенка, втащила в квартиру. — Вы никого не встретили на лестнице?

— Ну как же, — ответил он, — пять или шесть человек. Кто это?

— Гестапо. Они были здесь. Когда они явились, я как раз сидела за ротатором.

— А я и внимания на них не обратил, — сказал он.

Эта ложь опьянила его, словно блестящая победа над жившим в его воображении неведомым незнакомцем, мучившим его иногда. Долго искали они друг друга в городе, погруженном во тьму, и вот впервые пути их скрестились, и это могло произойти не только здесь, в городе, погруженном во тьму, но повсюду в погруженной во тьму Европе, где они свободно охотятся на людей, — в Европе, окруженной кольцом соленой воды, берега которой ощетинились колючей проволокой, закамуфлированными орудиями, заминированными тропами, серыми куполами дотов, а вокруг всего этого — море, море. И он снова почувствовал во рту солоноватый вкус устриц.

Он сидел в кухне на стуле против Клэр и слушал ее торопливый рассказ. На плите варился суп, и кухню наполнял запах лука.

— Они не позвонили, просто принялись барабанить в дверь. Не знаю уж почему. А может быть, не заметили звонка. Но когда раздался этот стук, я сразу все поняла. А я как раз работала на ротаторе, руки совершенно черные; я скорее затолкала машину в шкаф и забросала сверху тряпьем — больше ничего не могла сделать. Восковки бросила в плиту. Слава богу, она горела, если бы сейчас было лето, я бы пропала. Они уже начинали терять терпение, и, проходя мимо уборной, я дернула для правдоподобия спуск. Тут ведь не знаешь, как лучше сделать.

— Да, никогда не знаешь.

— Они вошли и, не говоря ни слова, стали везде шарить. Один открыл шкаф. Не знаю уж, каким образом среди тряпья завалялась старая игрушка — механическая лошадка. Немец ее вытащил и начал заводить, потом подошли остальные, и они стали играть, даже развеселились. Потом положили игрушку на место и стали расспрашивать меня, не знаю ли я еврея-террориста Анри. Я ответила, что вообще с евреями не знаюсь. Они засмеялись и жалостливо посмотрели на меня. Знаете, на первом этаже сидит под замком довольно много народа — все, кто входил в дом между пятью и семью часами. Их раздели и обыскали. Как же это вас ни о чем не спросили? Просто не верится, чтобы так повезло, до чего повезло!

— Видимо, они шли ужинать, — заметил он. — Они удивительно педантичны. На все у них свое время, а уж о жратве особенно заботятся. Да, я вспомнил, что меня ждут ужинать. Представьте себе, я открыл дюжину устриц, а вторую не успел.

— Послушайте, вам нельзя сразу выходить.

Снизу, из гулкого, выстланного плитами подъезда, донеслись голоса.

— Суп кипит, погасите, — сказал он.

Клэр встала. Раздался тихий хлопок газа, потом на улице, в ночной тишине, сквозь скрежет трамвая послышались какие-то неразборчивые слова и сердитые восклицания, будто кто-то ссорился.

Он огорченно покачал головой:

— Не понимаю по-немецки, читать могу, но речь не понимаю, а вы?

— Ну я-то совсем ничего не понимаю!

— Интересно, что они собираются делать?

Он посмотрел на часы, было без четверти восемь — вот уже пятнадцать минут как Катрин начала волноваться.

— И все-таки мне надо идти, — прошептал он и протянул Клэр сверток. — Спрячьте. Если они опять придут, сразу суньте в плиту, наверняка успеете. Нужно только развернуть его, чтобы быстрее сгорел. А мне пора. Меня же ждут — я сказал, что скоро буду. Глупо, конечно.

— Вам нельзя сейчас выходить, дождитесь хотя бы, пока все утихнет, — проговорила она.

Прямо перед ним в вазе стояли хризантемы.

И он вспомнил цветочный базар у Дворца правосудия. Солнечное осеннее утро. Над Сеной медленно поднимается легкий туман, какая-то девушка пудрится, стоя среди хризантем, капли воды сверкают на соломенных циновках и неподвижно поблескивают в центре японских садиков, где гипсовые утки плавают между красными пластинками по зеркальным полоскам, окруженным карликовыми кактусами.

— Клэр, дайте мне эти цветы, я возьму их с собой.

— Думаете, они принесут вам удачу?

— Нет, я не суеверен, просто они послужат оправданием, предлогом…

Клэр улыбнулась. Он вдруг увидел, какая она худенькая, совсем девочка, с большим крестом на груди. Раньше он никогда не замечал ее — бросал, не глядя, два-три слова и уходил. Постоянно что-то не клеилось в работе, постоянно приходилось налаживать все сначала, все переделывать, все заново налаживать. То не удается раздобыть бумагу, то вдруг связной не может выехать, го от холода застыла краска. И Клэр принималась подробно объяснять, почему рвутся восковки, как можно распустить краску. Ее уже не воспринимали как живого человека.

— Бедняжка Клэр, вам достается. Но все-таки дайте мне цветы.

Он прекрасно понимал, что цветы — липовое алиби, но ему хотелось спуститься с цветами. Откуда у вас цветы? Вы заходили к этой женщине, чтобы взять у нее цветы? Это ваша подружка? Она подарила вам хризантемы?

— Нет, лучше по-другому, — сказала Клэр, — вы будто бы приходили ко мне за продуктами, которые я вам обещала. Вы — мой сосед, а у меня есть немного лишних продуктов. Хотите, я дам вам колбасы?

— Нет! Спасибо! А цветы? Уверяю вас, это лучше.

Клэр вынула из вазы две хризантемы и воткнула их, стараясь не смять, в корзину между капустой и картошкой.

При тусклом свете лампочки в прихожей хризантемы вдруг ожили, цвет их в полутьме стал более глубоким. Он взял одну хризантему в правую руку и осторожно сжал стебель. Голосов больше не было слышно.

— Теперь я пойду, — прошептал он. — Приходите завтра в четыре на трамвайную остановку. Как будто собираетесь сесть в трамвай. Впрочем, мы сядем оба в один вагон, не разговаривая друг с другом. А там посмотрим.

Он спустился по лестнице, не испытывая никакого страха. Даже сердце билось совсем спокойно, ровно. Все прошло, все кончилось; если же все начнется снова, это будет новое испытание, и, может быть, ему снова повезет. Цветы, капуста и картошка лежат в корзинке, как символ хорошо знакомого мира, обычных, обезоруживающих вещей. Словно он надел на шею венок из маргариток, а на голову посадил белую священную птицу. Так и пройдет он сквозь полицейские заслоны. Не трогайте его, он блаженный — скажут о нем. Безобидный, тихий человек, принадлежащий к «благоразумной части населения», несет по ночному, полному опасностей городу не бомбы или листовки, а мирные плоды пригородного сада. Порядочная, скромная семья честного служащего, терпеливо выполняющего свой долг и не занимающегося политикой, которая принесла нам столько бед.

Однако его никто ни о чем не спросил. Выходя на улицу, оп заметил хвост последней отъезжающей машины. (Видимо, они оставляют их на соседней улице: вот почему всегда нужно помнить, что, если возле подозрительного дома нет машины, это еще ничего не значит.)

Бешеный ветер налетал порывами, высушивал пустынные улицы. Все доносившиеся звуки напоминали о скромной, убогой, тихой семейной жизни — вот заплакал ребенок, вот кольца занавески скользнули по металлическому карнизу. То с одной, то с другой стороны — различить было трудно — возникал треск велосипедного мотора, которому предшествовал желтый веер лучей на мостовой.

Катрин открыла ему, держа в руке вилку. Он прижал ее к себе, поцеловал в губы. У нее были удивительно нежные, трепещущие губы, а щеки возле крыльев носа всегда пахли пухом теплой серой птички.

— Почему ты так долго? Что случилось? — спросила Катрин.

Она села в кухне, уперлась локтями в стол, обхватив ладонями щеки, и все время, пока он говорил, высоковысоко поднимала брови, словно девочка, которой рассказывают сказку.

— Это даже не слишком интересная история, — сказал он. — Что тут может быть интересного, когда повезло? Правда, по-настоящему везет, если вообще ничего не случается.

Она сказала то, что говорят все женщины. Она сказала:

— Вот видишь, у меня же было предчувствие: я знала — что-то должно случиться.

— И ты бы не ушла отсюда, ты бы ждала? Когда они придут?

— Может, и ждала бы.

Катрин не призналась, что вот уже четверть часа она, точно зверек, завороженный тишиной, вслушивалась в эту тишину, вздрагивая иногда от звука шагов на лестнице или тиканья будильника, стоявшего между коробкой для сахара и коробкой для кофе.

— А кто же открыл бы устрицы, если бы я не вернулся? Ты не можешь, ты слишком неумелая пичужка, где уж тебе открывать устрицы. Правда, тебе-то одной хватило бы дюжины.

— Мне не хотелось есть, — ответила Катрин.

Он снова повязал мокрый фартук с налипшими на него хрупкими колючими осколками перламутра.

Морская вода сочилась у него меж пальцев.

— Если найду жемчужину, я тебя поцелую. Может, я и вправду найду жемчужину, но это уж как повезет.

Пьер Гаскар происходит из крестьян. Родился в Париже. В 30-е годы переменил много профессий. В годы второй мировой войны попал в плен, дважды бежал, был заключен в дисциплинарный лагерь в Раве-Русской, из которого его в 1945 году освободила Советская Армия.

В первой повести «Сумасшедший дом» (1947), открыто полемизируя с экзистенциалистским тезисом Сартра «ад — это другие», Гаскар афористично выразил свое гуманистическое кредо: «Жизнь прежде всего вне нас, нужно покончить с этим адом... Жизнь — это другие». Художник увидел и рассказал (роман «Имущество», 1949), как буржуазный индивидуализм и рантьерский образ жизни умерщвляют личность, но воссоздать духовный облик людей, сопротивляющихся капитализму, фашистской системе насилия, — о ее злодеяниях Гаскар повествует в автобиографической книге «Година смерти» (Гонкуровская премия 1953 года), — он еще не мог: над ним тяготела натуралистическая схематизация человека.

В романе «Зерно» (1955) отчетливее, чем в ранних книгах, прозвучал мотив веры в народный характер: суровая жизненная борьба не ломает беспризорного мальчика, она воспитывает в нем мужество. Трудной юности бедняков в 30-е годы, чувству товарищества и интернациональной солидарности посвящен роман «Зелень улиц» (1956). Когда Гаскар историчен и социально зорок, тогда перед ним открывается возможность реалистически воссоздать характер молодого человека середины XX века, тогда его ирония метко разит мещан (в пьесе «Напрасные шаги», 1958), колонизаторов (в романе «Коралловая отмель», 1958), фашистов, оасовцев (в романах «Беглец», 1961; «Огненные бараны», 1962), а присущая ему символика обретает жизненное наполнение. Гимн радости бытия, очарованию детства и отрочества звучит в романах «Самое лучшее в жизни» (1964) и «Чары.» (1965).

Гаскар, художник и публицист, размышляет об уроках второй мировой войны в книге «История жизни французских пленных в Германии. 1939–1945» (1967), об угрозе атомной войны — в философском романе «Ковчег» (1971). К столетию со дня провозглашения Парижской коммуны он опубликовал исследование о воздействии революции на поэзию — «Рембо и Коммуна» (1971).

В очерковой книге «Латинский квартал» (1973) писатель задумывается над проблемами французского студенчества, о пагубном влиянии на молодежь идеологии гошизма.

Гаскар знает и любит русскую классику. В Льве Толстом его изумляет «искусство романиста, лишенное какого бы то ни было формализма... В «Войне и мире»... Толстой обнаруживает еще и мастерство историка. Вернее, он оживляет, обогащает искусство историка, и хотя описывает события 1812 года, создает самый яркий и самый близкий для французов образ русского народа».

Pierre Gascar: «Les Betes» («Звери»), 1953; «Les Femmes» («Женщины»), 1954; «Soleils» («Солнечные страны»), 1960.

Рассказ «Водоем» («La Citerne») входит в книгу «Солнечные страны».

Водоем

Кажется, никогда еще лето не было таким долгим, таким палящим. На самом деле так бывало каждый год. Но и слепящий свет, в котором земля выцветала добела, и жгучий зной забывались. Конечно же, память отказывалась их удержать: забвение вносило в жизнь малую толику тени.

Тень — вот чего, как нигде, не хватало в этом селении. Деревья тут были наперечет. И еще церковь, водоем да поодаль друг от друга три дома. Почти всем здешним жителям дом заменяли cuevas — пещеры, вырытые в буграх, покрывающих склон Сьерра-Невады.

Ничто не возвышалось над землей, ничто не давало тени — и селением весь день владело солнце. В самые знойные часы все здесь словно вымирало, и лето становилось еще тягостней от странной пустоты. То была двусмысленная пустота, пора безвременья, она не принадлежала всецело ни слепящему свету, ни человеку: детей кормили в недрах земли, разговаривали и любили под кровом пустыни, и к полудню, возвращаясь с поля, люди на время смиренно зарывались в могилу.

Там и сям в боку глинистого бугра врезана была дверь, выкрашенная голубоватой известкой; там и сям на макушке холма, меж блеклых трав, торчала короткая труба, тоже выкрашенная в голубой цвет, — это придавало местности обжитой вид, словно ее преобразил замысел зодчего. Но едва переступив такой порог, красками напоминающий о мечети, человек пропадал из виду, погружался в подземные коридоры, что тянулись бог весть куда, переходил в иное царство; засыпая, он касался стены, где уже поблескивали зерна кварца, где бодрствовали слепые твари и сходили на нет корни растений. Он спал в мире, где все наоборот, и ощущал, как, подобно исполинским крыльям, простираются вправо и влево непроглядные пласты, отложения давних геологических эпох, и все это под сводом склепа, где только и живут редкие зерна кварца.

А снаружи — пекло. Изредка ветер, короткий порыв ветра: налетит издалека, всколыхнет повсюду, сколько хватает глаз, траву на холмах, коснется рыжих башен, которые вытачивает эрозия, обнажающая вершины на подступах к Эльве, и, перемахнув через Сьерру, умирает над морем, катящим волны ему навстречу.

Селение без домов, люди без зоркости, лето без конца, — все это соединилось в каком-то подобии вечности. Но сколько у этой вечности красок! Вечерами — цвет истертого или плохо обожженного кирпича; в полдень под тончайшей пылью пересохшей глины, которую порой вздымает ветер, — ровная белизна; а по утрам все ненадолго становится лиловым от теней — издали темные пятна эти напоминают карликовые заросли.

Смена красок, — а тут час от часу меняется еще немало тонов и оттенков, — придает безжизненному иссохшему краю видимость плодородия. Вечер цветом напоминает спелые хлеба, и, если забыть о полуденной слепящей белизне, минутами можно поверить, будто всю землю вокруг Эльвы напоили дожди. Едва выходишь из темной пещеры, нагота земли в ярких летних лучах обманывает глаз и перед тобой распахивается многоцветный мир: днем холмы золотятся то пшеницей, то альфой, а утром словно застланы розовато-лиловой душицей или васильками. Под ногами щедро рассыпаны всевозможные камни и камешки — оникс, испещренный белыми лунками кремний, — и все расчерчено прожилками глины, мела, песка, иссохшего в пыль перегноя, и щетинится низкорослая жесткая трава, звездами раскрываются какие-то колючие растения, чернеют букашки.

Одна лишь вода всегда остается сама собой. Теперь, когда все дробится и мельчает, раздавленное зноем, или меняет облик в обманчивом свете, надо бы вновь обрести эту надежную меру. Надо бы вновь обрести дар слова теперь, когда лето поражено немотой, когда немеет полдень на дне рвов и канав, немеет полдень на дне водоемов, где намело ветром пыль и отпечатались следы шагов.

Жители Эльвы добывают мутную воду из скважины в нескольких километрах от пещер. Глиняными кувшинами нагружают ослов и по скалистым тропам возвращаются в свое погребенное под землей селение. За ними тянутся цепочки следов. Следы остаются на скалистых выступах, останутся потом и в трех домах Эльвы, и на выложенном камнями полу cuevas, словно в жилище, откуда ушли строители. Бледные отпечатки эти, следы уходов и возвращений, кажутся безмолвными свидетелями, и малейшая перемена места исполняется значения. Поневоле думаешь, как скаредна стала вдруг судьба: отныне все на счету — каждый шаг, каждое движение, потому что в засуху чудо жизни иссякает и так важно сохранить его скудные остатки.

Настало время оглянуться и еще раз посмотреть на себя, напоследок мысленно заглянуть себе в лицо, меж тем как испепеляющий зной уже завладел всем вокруг, — настало время измерить этот неотвратимый ход, который только и уводит еще глубже в лето, в сушь и жажду. А все могло быть так просто! Пошел бы дождь — из тех неспешных дождей, что затягиваются на долгий пасмурный день и шумят ночь напролет, и тогда двери cuevas распахиваются, впуская прохладу, и видно, как раскачиваются на сквозняке и лучатся, точно лампы, развешанные внутри початки маиса.

С месяц назад двое жителей Эльвы повздорили (из-за чего — осталось неясным), и один ударил другого ножом. Дожидаясь, покуда явятся жандармы, его спустили на веревках в пересохший водоем. Ночью он вопил и причитал, крики гулко отдавались в огромном цементном чане. Ничто не связывало безысходность лета с горем этого человека и терзавшими его муками совести, ничто не связывало засуху с нечленораздельными воплями, что слышались до рассвета, перемежаясь изредка лаем собак, но в ту ночь следы его шагов отпечатались на дне водоема. Только дождь их смоет, только возвращение воды. До тех пор его преступление останется как бы вехой: тогда уже не было дождя.

Засуха началась пролитой кровью, ударом ножа, и потом тянулась, точно лихорадка. Впрочем, для кого-то она началась встречей со скорпионом на тропе, ведущей к каменному изваянию пресвятой девы; для других — стаями перелетных птиц, проносящимися в вышине; а для иных — в апреле или, может быть, немного раньше, когда в словах и лицах проступила жесткость, хотя земля отяжелела от влаги недавних дождей и всякая ненависть могла еще казаться преступлением.

Теперь я и сам очутился на дне водоема. Отпечатки моих шагов перекрыли и стерли следы того, другого. Я мало знал его. Мало знал о той ссоре. В селении я всегда оставался чужаком. Сарай, где я устроил мастерскую, стоит на обочине шоссе, в трех километрах от Эльвы. Каждое утро я спозаранку выхожу из своей пещеры и возвращаюсь только вечером. Со здешними жителями почти не общаюсь, разве что, случайно встретясь на дороге, обменяемся какими-то пустыми словами. На меня поглядывают недоверчиво. В нынешней Испании только механик еще решается думать.

И, пожалуй, только механику хватает ума прислушаться к жалобам, что разнеслись однажды вечером над селением. То голос человека в водоеме, пленного муэдзина. Наверно, он был пьян — и один, замкнутый в кольце этой ограды, все еще одержим опьянением, которое заставило его выхватить нож и ударить противника. Я не разбирал, что он там кричит, и меня это не очень занимало. А вот его буйство меня радовало. По ночам в Испании слишком мало собачьего лая, слишком мало проклятий.

Я сидел тогда у подножья холма, в глубь которого уходит моя cueva. Этой горкой со всем, что скрывалось внутри, я владел безраздельно, будто отшельник, каких я видел когда-то на старых полотнах в музее Прадо.

Иные даже ютились в половине огромного яйца, иззубренным краем скорлупа опиралась на голую землю. Бородатый отшельник погружен в размышления. Его явно не волнуют бедствия, что представляются взору: чуть поодаль колесуют обнаженных мужчин и женщин, тощих, но со странно вздутыми животами; другие заключены в пузыре розового стекла, его сжимает в лапах исполинская лягушка. С чахлых безлистых деревьев свисает белье.

Ничего похожего не видел я при свете луны на пыльных пустырях, тянувшихся между пещерами Эльвы. Лишь голос узника, брошенного в водоем, как брошен сейчас я, напоминал, что мир состоит не только из бледного лунного света и теней. От этого крика собаки сатанели. Он не давал им спать, досаждал сильней, чем луна и жара. Что в нем было — мольба, призыв, брань? И так же неясно, что звучало в ответном собачьем лае, но я думал об одном: пусть длится эта нелепая перекличка, она разжигает Испанию.

Сколько ни разжигай, все мало. Куда ни посмотрю (а закрыв глаза, я окидываю взглядом всю Испанию, от Мотриля до Уэски, от Хаэна до мыса Гата), всюду вижу только пепел. Голые горы, земля, выбеленная слишком долгим летом, молчание людей, — все затаило в себе ожог. Так надо же когда-нибудь об этом закричать.

А пока я, как все, только немного на отшибе, отбывал эту засуху. Как-то в субботу я ушел из своей дощатой мастерской в полдень. Жара невыносимая, работы никакой. На шоссе машин было еще меньше, чем всегда.

Я взбирался по занесенной песком дороге, с откосов свисали сухие тощие корни, и к ним кое-где присохли крошки спекшейся, точно гончаром прокаленной глины; можно бы подумать, что это не дорога, а просто широкая трещина в почве, расколотой полуденным солнцем, если бы задолго до меня не проходили по этой самой дороге дочерна загорелые крестьяне с мотыгами времен нашествия вестготов и мавры не прокладывали себе путь к какому-то замку, — красно-рыжие стены его давно слились с башнями, что обнажил и воздвиг ветер по глинистым и кремнистым холмам на подступах к Эльве.

Мертвый ручей, иссякший поток. Для людей и животных в этом краю старые русла — лишь источник жажды и валящей с ног слабости. Под конец ни люди, ни животные к ним уже не приходят. Только я, вот как сегодня, утром и вечером шагаю в одиночестве, подобно тем арабам с опахалами из конского волоса и давно умершим крестьянам с мотыгами на плече, моим собратьям, — только я один, затерянный в сердце Испании, механик в перепачканном смазкой

комбинезоне, который ржаво отсвечивает на солнце, да еще моя спутница, черная муха, перелетает впереди меня по камням, запятнанным отпечатками прежних шагов.

В тот день я увидал на земле тесемку от холщовой туфли, нагнулся и поднял ее. Безотчетное движение одиночества. Я хотел уже отбросить истрепанную тесемку, и тут меня нагнал один человек, — я и не заметил, что он шел сзади. Он был здешний, эльвинский, но я его почти не знал. Он взглянул на тесемку, которую я собирался отшвырнуть, и протянул руку:

— Если тебе это ни к чему…

Я отдал тесемку. Он свернул ее, спрятал в карман, недружелюбно покосился на меня. Я чуть побогаче других. У них уж вовсе ничего нет. Мы молча шагали дальше. Никогда еще солнце так не палило. Под его отвесными лучами истаяли даже тени, что собираются утром у одного, вечером у другого осыпающегося склона вдоль дороги. Обычно, когда я иду к своему сараю и когда возвращаюсь, тени на месте, издали они не так уж прозрачны. И я в них вижу стрелков, что прижались к стенке траншеи, в худшем случае — мертвых стрелков. Не жалею ни об одной битве, ни о тех, что отгремели в разных концах страны много веков назад, ни о тех, что грезились мне на этой пустынной дороге, когда издали надвигались враги, — их приводил то рассвет, то закат, за ними пылало солнце, это были повседневные мои враги, и я знал им счет, хоть не видел лиц.

Мой попутчик стал рассуждать о засухе. Дождя нет и никогда уже не будет. Вечер настает, а в небесах ни облачка. И по утрам тоже небо как стеклышко, и, похоже, но всем этом есть покой и мудрость. Небо снова стало таким, каким оно и должно быть. До сих пор мы жили среди несчастных случайностей, среди последних отзвуков всемирного потопа. Теперь же детство нашего мира остается позади, точно лес, полный ропота и теней. И выжженные поля кругом, сколько хватает глаз, обрели цвет вечности.

Он говорил не так, это я истолковал его слова и разделяющее слова молчание. Я не отвечал. Он удивился моей немоте. Опять посмотрел недружелюбно:

— О чем думаешь?

Я сказал первое, что пришло в голову, слово это приятно произнести, такое оно холодное, кратное, и еще есть в нем что-то прозрачное и вместе смутное:

— О шлюзе.

Слово оказалось ему незнакомо — и худое лицо его стало гневным.

— О шлюзе?

Наконец он решился пожать плечами, словно и прежде слыхал, что я не в своем уме. Он умолк, и, едва впереди завиднелись cuevas, мы простились неопределенным кивком и разошлись в разные стороны.

Позже это слово «шлюз» обернулось оружием в руках моих обвинителей. Сегодня вечером я опять мысленно твержу это холодное, краткое, режущее слово. Я метнул его в жителей Эльвы, точно нож.

Почему оно пришло мне в голову? Наверно, потому, что жара заставляла мечтать о передышке, о спасительном выходе. Но мог же я попросту заговорить о дожде, как мой спутник и все здешние жители. А шлюзов здесь нет. Вот на севере это обычно: меж ними глубокий ров с темной водой, берега затянуты липким бархатом — гиблое место, оступись — утонешь. В здешнем краю такое невозможно, а если бы и сбылось, испугало бы нас своей чрезмерностью, как мы ни изнываем от жажды, — и когда я заговорил об этом, я поддался жестокости, а может, безумию. По крайней мере, так могут подумать: разве слово это, пришедшее на ум так внезапно, не оказалось вещим?

В тот день от безделья и скуки я надумал расширить свое жилище. Кто поселился в cuevas, не знает тесноты: немного поработай заступом, и вот тебе еще комната. Никто себя не урезает. Под покровом выжженной земли становится все просторней. Каждая пещера, куда входишь, если тебя пригласят, это дом с секретами. Размеры его неизвестны. А если их случайно и откроешь, уже назавтра после твоего посещения вновь сгустится тайна: с того часа могли выкопать еще комнату или хотя бы прибавить чулан, коридор, нишу.

Как разгадать помыслы хозяина? Для чего в глубине беспросветного жилища понадобилась комната еще беспросветней, еще безмолвней, еще больше похожая на склеп? Для каких преступлений? Быть может, для самых тайных, что совершаются в тиши, вдали от людских взоров: для богохульства, для кровосмешения. Тягу к такому пробуждают тьма, земля, ее запах. Но есть же из ада исход. С каждым шагом, ведущим в преисподнюю, ощущаешь, как растут в тебе силы и желание доказать это делом.

Впрочем, я замечтался. Мы зарываемся в землю, и это — бегство. Мы бежим от этого лета, слишком

долгого, слишком жестокого, от мира, обреченного на гибель уже тем, что он таков, как есть. Я бежал от виденного за день — от тесемки, которую так бережно спрятал мой спутник, от гнева, на миг исказившего лицо, на котором давно уже не проступало ни капли пота. Я чувствую: надо этому человеку и всем таким, как он, помучиться еще немного. И мне тоже. Надо Испании пробудиться.

Я дал бы им все, всю воду небес. Своими руками выложил бы под бьющим из земли ключом каменный бассейн, потом желоб, — заструится бурливая прозрачная пода по камням, испещренным белыми лунками, кольцами, полосами, побежит среди межевых столбов, среди поникших трав, по рыжей рассохшейся земле, изгибаясь и петляя; порой пойдет кружить, отбросит в сторону рукав, заведет медлительную круговерть и вновь наберет силу, неистощимая, все нарастая и обновляясь, то вздуется перед порогом из рябой гальки в белых и желтых крапинах, то прорвется сквозь ветви, и на каждой флажками повиснут капли, и, наконец, вот они, арройо — сеть оросительных каналов, расчертивших квадратами сыпучую землю, и здесь вода разом успокоится, помутнеет, задремлет под пленкой из веточек, травинок, мертвых мошек, тысячами незримых путей просочится в почву и одарит ее неслыханным плодородием… Я дал бы им все это, но сперва надо было…

Когда зарываешься в глубь пещеры, самая нудная работа — убирать землю. Многие забивают ею старые, уже надоевшие комнаты. Так и живут среди насыпей.

Затыкают дыру с одного боку, вгрызаются в другой, и жилище извивается, будто тут прополз дождевой червь. Иногда при этом переносят и вход. На склоне холма остается след двери — начертанная голубой известкой виселица; эта безлюдная деревня, подделка под деревню может вконец свести с ума.

Я вытаскивал землю из пещеры в двух больших корзинах и высыпал чуть поодаль, у подножья холма; я жил в нем один. Никто меня не видел, кругом ни души, только чернеют щели, ведущие в подземелья. Когда все пустынно, человек порой становится ничтожным, как былинка, стертым, как срез сука в доске. Работа меня изматывала. Опять и опять я переходил из света в тень, из зноя в прохладу. И все ради нескольких автомобильных и велосипедных шин: в моем сарае-мастерской резину губила жара. Притом я опасался воров. Во всяком случае, только в этих причинах я себе и сознавался. А на самом деле я искал хоть какого-то выхода из ослепительной тюрьмы, в какую превратилась Испания.

Я перетаскивал землю. Она тоже с каждой минутой меняла цвет, бледнела, пока я выносил ее на свет, вновь темнела, высыпанная в общую кучу, и здесь мгновенно высыхала.

Вскоре я заметил, что она сохнет все медленней, хотя солнце жгло ничуть не меньше. Возвратясь в глубь пещеры, я приложил ладонь к стене, которую штурмовал, потом прижался к ней щекою — стена теперь была прохладней. Тогда я стал сверлить узкое отверстие — только-только чтоб просунуть руку. И вытащил горсть влажной земли.

Я подошел к лампе, поглядел на ладонь: эту землю можно было мять, как тесто, земля снова стала хлебом. И вдруг — порыв безумной радости, я очень быстро бы в нем раскаялся. Сейчас я выбегу, стану кричать, звать, первому встречному покажу этот комок темной земли, на котором отпечатались мои пальцы, всем жителям Эльвы расскажу, что в бугре, где вырыта моя cueva, есть вода, и мы станем работать все вместе, и докопаемся до этой воды…

Я опомнился под палящим солнцем. Между буграми и пригорками было уже не вовсе пустынно. Поодаль какой-то человек хлестал овцу. Я сощурился, очень слепило солнце. Бывает, приходится поколотить осла, но зачем бить овцу?

Человек тянул ее за веревку и лупил, высоко взмахивая длинной веткой. Пригнув голову, овца пыталась увернуться, скользила в пыли, семенила то вправо, то влево так озабоченно, будто шла в стаде, и маялась больше не от побоев, а от растерянности: слепая тварь.

Порывом ветра взметнуло пыль, смешанную с мякиной — остатками давно обмолоченной пшеницы. Человек с овцой скрылись в этой туче пыли. На меня пахнуло позабытой жатвой. Это лето все больше походит на смерть. Вот она дымится, Испания, вся земля ее обратилась и пепел, она исчезает в туче, в которой, как в пламени разгорающегося костра, едва можно различить очертанья рыжей горы и черную ветку, а того, кто ею взмахнул, почти уже не разглядеть, никогда больше ему не махать цепом на золотистом гумне, он утратил одно за другим все свои орудия, потерял все, что имел, вконец обнищал и опустился — и вот в туче пыли воюет с овцой.

Я разжал руку, земля уже высохла. Я растер ее в пальцах. Никакого чуда не было. Испании чуда не дождаться. Я вернулся к себе, заперся на ключ и снова стал копать.

Под вечер по стене зазмеились тоненькие струйки. Вода еле-еле сочилась. И сразу исчезала в неровностях пола. Лишь когда я поднимал или переставлял лампу, на стене мелькал и вновь пропадал влажный отблеск. Только прижав к стене ребро ладони, можно было набрать полную

горсть и поверить, что это и вправду вода.

Я не стал копать дальше, хотя не сомневался, что подземный источник совсем близко. На том и успокоился. Все мы на том и успокоились. Мне довольно и подобия родника. Остальным — и одной надежды. Они и так довольствуются надеждой. Подобие родника осчастливило бы их сверх меры. Но для спасения страны нужно желать большего.

Я собрал столько воды, что достало вымыться с головы до пят. Потом завесил стену куском холста. Порой я приподнимал эту занавеску: вода чуть мерцала — не больше, чем какой-нибудь жучок. Скоро тут проклюнутся белесые ростки, думал я.

Потом я лег и начал прислушиваться. Звук был едва уловимый. Если не знать, ничего и не заметишь. То было не журчанье, пусть самое слабое, не лепет текучей воды. Даже не шепот. Скорее отдаленное движение самой тишины: стена дышала.

Вот я уже и не сплю в одиночестве… И вдруг я понял, до чего одиноки те, кто спит в соседних cuevas, пусть рядом во мраке женщина и дети. Такая жизнь не заполняет пустоты. Лето ей не оправдание. Вздохи, стоны сквозь сон, любовный шепот замирают в глубине тех пещер, точно в могиле. А тут засверкала вода и не иссякает, холодная и в зной, светлая и во тьме, животворная…

Наутро я снова ее увидел. Она не стала обильней. Струйки лишь прочертили в стене узкие извилистые русла, и теперь она была вся в прожилках, точно камень. Вода уже не так проступала из нее, зато блестела ярче в углублениях, будто припорошенное землей зеркало.

Снаружи, как всегда, жгло солнце, и люди, которые с зарей начали готовиться к воскресенью, уже изнемогали от жары. Попозже они, все в пыли, приплетутся в церковь. Моей ноги в церкви не бывало, но мне это почти прощали: в глазах здешних жителей механика — тоже религия.

Я решил сходить в городишко на шоссе, километра за два от моей мастерской. Я проводил там почти все свободные дни — то перекинусь в карты с приятелями, то посижу в кафе, где все меня знают и уважают как человека ученого. Мне давно обещали сдать комнату, а пока приходилось ждать. Жителей Эльвы я презирал. В городке народ не лучше, но там хотя бы есть на улицах тень, иногда кто-нибудь запоет, и в жарком кафе, где жужжат мухи, я постепенно напивался. Так все же можно забыться.

Чаще всего я уклонялся от разговоров и подолгу сидел, уставясь сквозь пелену табачного дыма на пришпиленные по стенам рекламы и объявления о бое быков. Порой Исабела, служанка, подойдет и тронет меня за плечо. Я вздрогну, подниму на нее глаза. И она мне улыбнется. Вот уже год, как мы сошлись. Но вне этих стен встречались редко. Я все ждал той комнаты. Исабела ждала свадьбы. Я не очень с этим торопился. Она меня упрекала: для меня, мол, нет ничего святого.

В то воскресенье, под вечер, в кафе вошел человек, с которым я накануне повстречался на дороге. Я глянул на его холщовые туфли — пригодилась ли тесемка. Должно быть, мой взгляд показался ему обидным.

— Господин шлюз… — язвительно усмехнулся он.

И подошел к стойке спросить вина. Другие посетители удивились, почему он так меня назвал. Он объяснил. Один из них воображал, будто знает, что значит это слово. И попытался растолковать его остальным. Это вода, она падает с одного места на другое, но не просто водопадом, а вроде поровней, — как бы это сказать? — поглаже, что ли: вода, которая течет по правилам, одним словом, механическая… И он прибавил небрежно (нас-де ничем не удивишь):

— Эка невидаль!

…бьет поверх каменного уступа прозрачная струйчатая водяная грива и спадает вниз, а там поток бурлит, и пенится, и подбрасывает мелкие камешки, прутики, срывает с них мертвую кору, и летят брызги, сверкая радугой в солнечных лучах…

— Эка невидаль!

Остальные задумались. Мой вчерашний попутчик, казалось, забыл недавнюю досаду. Я молчал, и они, похоже, принимали мое молчание за снисходительную рассеянность, с какой может ученый выслушать простодушно дерзкое суждение невежды. Наконец кто-то не без робости спросил меня:

— Ты бы сумел построить такую штуку?

Он не ждал ответа. Повернулся к остальным и начал рассуждать, до чего это не по-хозяйски: всегда-то они в пору дождей упускают воду, и она пропадает зря. Есть же такой человек, как я, знаток всякой техники, вот кто мог бы наладить работу, под его началом соорудили бы все, что надо, и воду бы сберегли, и делили бы ее, как он скажет.

— А может, вы того не стоите?

Я поднялся. Меня переполняло ощущение собственной силы и мудрости и какое-то странное ликование. Наверно, выпил лишнего. Пустился шагать из угла в угол. Говорил и сам наслаждался своим красноречием, так и чеканил слова. Ну, будет у них вода, а что толку?

Допустим, опять зазеленеют поля — и они избавятся от голода, взамен пещер построят дома, проведут хорошую дорогу. Но останется страх, рабская покорность властям, будут все так же мириться с несправедливостью, искать прибежища в слепой вере, останутся доносы… Чего ради отдали Оркето в руки полиции?

Сам не знаю, почему вдруг мне вспомнилось имя человека, которого за удар ножа спустили в водоем. До сих пор я не потрудился узнать, из-за чего они разругались, довольствовался тем, что слышал при редких случайных встречах от жителей Эльвы. И, однако (сейчас, наполовину охмелев, я понял это очень ясно), в душе осталась тревога. Чего ради Оркето ударил соседа ножом?

— Я-то политикой не занимаюсь! — крикнул тот, с тесемкой.

Он весь покраснел, опять посмотрел на меня злобно и отвернулся. Остальным, кажется, стало не по себе, и они тоже разом повернулись к стойке, точно никакого разговора о шлюзе и о воде вовсе и не было.

Я стоял посреди комнаты, опустошенный, немного усталый. За окнами, над крышами домов, видны были голые горы в лучах заката. И я совсем поддался бы печали, если б не вспомнилась вода, которую я скрывал в глубине пещеры, точно сверкающий стеклянный ковчежец, точно дарохранительницу в глубине катакомб — тайное, тщательно оберегаемое божество.

Я поел, но уходить не спешил. Исабела покончила с работой, подошла и села напротив меня. В кафе никого больше не осталось. Хозяин — и тот отправился спать, предоставив служанке погасить огни и закрыть ставни.

Мои сегодняшние речи произвели на Исабелу большое впечатление. Ей понравилось, что я не снизошел до этих людей с их посулами: тому, кто будет распоряжаться водой, так и подобает — быть гордым! Они еще придут ко мне на поклон, пускай заранее привыкают к покорности. Она ни словом не обмолвилась о трусости, на которую я так ополчился. И спасибо ей за это: теперь я уже не так был уверен в своей правоте.

Когда твои ближние, пусть малая горсточка, вдруг обратятся к тебе лицом, как обернулись те, в кафе, пока я говорил, вера в Зло может и пошатнуться. Каждый взгляд хоть немного подрывает нашу уверенность в могуществе тьмы. И вот уже в недрах ночи мелькает свет. Он не спешит тебе навстречу. Он бежит от тебя, блуждает. Но взгляд каждого человека устремлен вперед, как луч шахтерского фонаря. А в черной глубине ветер налетает со всех сторон. Движешься ощупью, остаешься один, вы расходитесь все дальше. И скоро уже ничего не останется.

Скоро уже ничего не останется… Я почувствовал это, когда обрушился на этих людей с упреками: они бездействуют, а значит, становятся сообщниками всех нынешних преступлений. Но ведь они еще и сообщники этой мертвой земли, и непомерно долгого лета, и своей вечной жажды, и голода. Вся их жизнь — соучастие в преступлении. И все равно это — жизнь, упрямое чудо, хоть и проходит она в нищете и унижении. А скоро уже ничего не останется… Исабела ладонью подняла мою голову.

— Сегодня вечером я пойду с тобой.

Вот и она тоже смотрит… У меня не хватило сил сказать «нет».

Мы поднимались к Эльве самой короткой крутой дорогой. Слабо светил молодой месяц. Из-под ног скатывались камни. По сторонам, сколько хватает глаз, ни огонька. Всю эту страну надо открывать заново.

Я раздвигал перед Исабелой засохшие кусты. В темноте с них, гудя, тяжело взлетали какие-то жуки. Черное платье Исабелы порвано было под мышкой. Когда она приподнимала руку, отводя ветки, виднелась кожа, особенно белая и нежная там, где начинается грудь. Еще и поэтому я согласился, чтобы Исабела пошла со мной.

Никакой опасности нет, говорил я себе. Вода скрыта занавеской. Течет она в самом дальнем конце пещеры, Исабеле туда соваться незачем. В Эльву мы пришли около полуночи. Такой длинный путь ради столь недолгой радости! Но мы еще любили настолько, что нам хотелось проснуться друг подле друга.

Собаки лаяли на пустой водоем. Им помнилось: однажды ночью с ними говорили. Больше с ними никто не говорит. Блеснул ключ у меня в руке. Такой пустяк и так трудно это объяснить: мы умрем,

озаряемые вот такими мгновенными вспышками воспоминаний. Я отворил дверь — наконец-то темно! — и застыл на пороге: звучала вода.

Еле слышно. То был даже не звук: что-то творилось в тиши, неуловимо и неустанно, так шумит кровь в ушах.

Мы вошли. Я засветил лампу. Обернулся к Исабеле — она ничего не слыхала. Иначе спросила бы меня или чем-то выдала, что удивлена. А она такая же, как всегда, мигом разделась и легла в постель.

Мы отдали любви не так-то много времени. Лампу я погасил. Стало совсем темно. Я чуть повернул голову и сейчас же различил в глубине пещеры едва заметный скользящий звук, почти неуловимые вздохи, прежде их заглушало наше слитное дыхание. Исабела уже спала. А я противился сну. Вдруг она встанет среди ночи, а я и знать не буду? Я отставил лампу подальше, чтобы Исабела ее не нашла. Меня затянуло в полуявь-полусон.

Шли мимо жители Эльвы, у каждого под мышкой большие треугольные куски шифера. Что они собрались строить? Шифер аспидно-черный, матовый, очень приятного цвета. Так чернел нос огромного темного корабля в Сантандерском порту однажды зимней ночью, много лет назад. Тот корабль уходил куда-то в Скандинавию — в Мёв… или Лёкс… никак не вспомнить название… может быть, Рёр… Исабела вскрикнула Я очнулся. Протянул к ней руку. Она уже сидела на постели и попросила зажечь свет. Я чиркнул спичкой.

— Все в голове перепуталось.

Она провела рукой по лбу, поднялась, сделала несколько неуверенных шагов, силясь вспомнить, где она и что с ней. Скользнула пальцами по выступу глиняной стены. Отколупнула песчинку-другую. Я позвал ее, пускай опять ляжет. Она не ответила. Ступила за порог ниши, где стояла моя кровать. И внимательно смотрела направо. Что могла она увидать? В том конце пещеры сгустилась тьма.

— Что это там — белая занавеска?

Исабела обернулась ко мне. Похоже, забеспокоилась. Напрасно я завесил воду такой светлой материей. Правда, другой у меня и не было. Я объяснил: там у меня сложен инструмент и всякое такое.

— Но она шевелится!

Я через силу засмеялся. Меня взяло сомнение. Я встал. Быть может, прохладная вода породила в недвижном воздухе пещеры какое-то дуновение? Так давно стоит жара, так нещадно палит солнце, земля прокалилась до самых недр… Может быть, от воды исходит прохлада — ощутимая, готовая ожить, может быть, она стала духом, прозрачным божеством, готовым сойти в этот мир, погребенный в пыли, на изнуренные одиночеством горы и равнины, и вдохнуть в них жизнь?

Я взял Исабелу за руку и подался вперед. Не знаю, шевелилась ли занавеска, я едва различал бледное пятно в темноте. И молчал, чуть дольше, чем следовало. Исабела отняла руку и отошла назад к постели. Я за ней. Каждой мелочью я выдавал свою тревогу. Всякий на моем месте, чтобы рассеять страхи Исабелы, сжал бы покрепче ее плечо, поднес бы лампу к этому чулану, откинул занавеску — пускай поглядит на кучу старых, добела истертых автомобильных покрышек, на перепачканные смазкой карданные валы.

И вдруг она увидит воду, ведь там по земляной стене сбегают чистые струйки или даже — не знаю, я с утра туда не заглядывал, — бьет слабый родничок, кричащий, как преступление… Исабела вытянулась на постели, глаза широко раскрыты. Я лег рядом.

— Не гаси.

Она смотрела вверх, в низко нависший свод пещеры, где в бурой глине поблескивали зерна кварца.

— Почему ты защищаешь Оркето?

Да, правда: я его защищал. С того вечера, как его спустили в водоем, я, сам себе в этом не признаваясь, не переставал его защищать. И совсем недавно в кафе впервые назвал его имя вслух.

— Я думаю, на него донесли. И он отомстил.

— Он был твой друг?

Нет, он не был мне другом. В толпе я, пожалуй, его и не узнал бы. Но было в этом угрюмом, вечно пьяном толстяке что-то затаенное, что-то мне подсказывало: он «свой».

— Когда я была маленькая… тогда только-только кончилась гражданская война… говорили, где-то

здесь, в подземельях, прячутся люди с оружием.

Исабела смотрела на меня в упор. Я покачал головой: пустые россказни. Она надолго задумалась.

— Теперь можешь погасить.

Я погасил лампу. Исабела замерла и не шевелилась. Я угадывал — она не спит в темноте. И сам тоже не смел шелохнуться. Прислушивался к воде и, следуя за этим еле уловимым звуком, слышным мне одному, мысленно все глубже погружался в черный лабиринт, где уже многие годы бодрствуют незримые люди Испании, моя армия теней, отошедшая на рубежи подземных родников.

Вышли мы задолго до рассвета. Исабела боялась встретиться с кем-нибудь из эльвинских. После бессонной ночи одолевала усталость, было не до разговоров. Расстались возле моей мастерской. До городка Исабеле отсюда уже недалеко.

— Никому не говори, что я к тебе приходила.

Я обещал, что не скажу. Она потребовала честного слова. Я дал слово. Она быстро пошла прочь по пустынной дороге. Из-за холмов вставало солнце, скоро под его лучами дорога вновь раскалится добела, долгими часами на ней не бывает ни души, а в тот день только и прошла Исабела в платье, порванном под мышкой, — прошла и никогда уже не вернется.

Я знал, она все во мне разгадала: и горечь, которой не избыть, и жажду справедливости, которую здесь называют Злом, и любовь, которая здесь чернит человека в глазах окружающих. Она сама не поняла, чего испугалась там, в пещере, но знала: все ее страхи начинаются с меня. И она ушла.

Уже сколько лет моя Испания уходит. Они всё те же — ослепительно белые нескончаемые дороги, и охряно-желтые равнины, кое-где рассеченные лезвиями теней, и голубеющие под солнцем горы, и солнце так же полыхает в конце пути, куда ни пойду, но оливковые рощи, маисовые поля и виноградники — только призраки, и мне так не хватает, бесконечно не хватает подлинной моей родины. Подобно морским приливам и отливам, страна моя то здесь, то вновь ее нет. Ее нет — и не у меня одного внутри пустота. Ее нет — это читаешь по губам взрослых и в глазах ребенка. Этот народ жив — и все же его нет.

Весь день я работал или прикидывался, будто работаю. Начищал до блеска никому не нужные кожухи, как хозяйка от нечего делать начищает кастрюли. Еще задолго до полудня жара стала нестерпимой. В моем прокопченном, позеленевшем от смазки сарае нечем было дышать. В щели между досками вонзались огненные лучи.

Изредка в дверь стучался проезжий — либо сбился с дороги, либо мотор у него перегрелся. От стука я вздрагивал: пришли меня арестовать! Сердце колотилось от радости пополам с тревогой. Отныне я богач — ведь я виновен. Конечно же, вина моя до смешного мала, утаил родник — за это никакая полиция не заберет. Но для меня родник — оружие. Если меня арестуют, я открою все, что за ним таится: мои войска, мою месть, и метанья, и лай собак, разносящийся над всей Испанией, и разрыв всех связей, я скажу, я скажу…

Я выходил на солнцепек красный, весь в поту, меня шатало. Какой-нибудь ничтожный человечишка заслонял глаза ладонью. Куда ни глянь, все пустынно, подернуто голубоватой дымкой зноя. Я заправлял его машину — бензин, масло. А вода? Нет, воды у меня нету. Иные в ответ ругались: хорош гараж без воды! Я огрызался. Взмахом руки обводил простор — да, конечно, это одеяние господне, но оно, как молью, трачено светом! Чего ему от меня надо, безликому человечку, какому-нибудь страховому агенту из Мурсии? Хочешь жить — в любом краю сам позаботься о воде!

Он упрямо катит дальше в туче пыли. Я возвращаюсь в свое логово, затянутое слоем старой смазки. В глубочайшее из одиночеств. В моей жизни нет больше смысла. Попозже я опять побреду по немощеной дороге, проложенной вестготами и маврами с покорными, усталыми лицами, вернусь в свою пещеру, опять увижу водяные струйки, что сплетаются во тьме и уходят в землю. И нет этому конца.

Все одно и то же, устал я. Такая была радость, когда мне внезапно явилась холодная вода, заблистала, как сокровенный клад, как оружие для меня одного, — но теперь моему сокровищу, моему оружию надо замереть. Нож, который однажды пустишь в ход, которым, быть может, нанесешь удар уже сегодня вечером, до поры дремлет в кармане, в ящике, в дальнем углу комнаты, за камнем, под половицей. Но представьте, что он не дремлет, что беспрестанно блещет лезвие, и подрагивает, и слышишь крадущийся шорох, будто проползает змея… Тогда от убийства, которое ты замыслил, и сам ежечасно истекаешь кровью. Ножу нет конца, он вытягивается, ширится, скользишь в него — и сам становишься ножом.

Я скользил в родник. Он затягивал меня в черные жилы земли глубже, чем сама смерть. Затянутый

этим медлительным течением, я минутами забывал о своем замысле. Я уже не находил себя, словно и сам по капле растекся под землей, словно она впитала меня и мне теперь не добраться до самого глубокого тайника, до прибежища сгустившихся теней, где уже целый век, и четверть века, и с тех пор, как арестовали Оркето и стольких других, стоят и ждут меня мои братья по оружию.

Да, надо было наконец понять, как я одинок в сердце Испании. Уже завтра я готов открыть людям воду. Бот к чему я приду. При свете солнца дети станут со смехом шлепать по лужам. Возродится жизнь — передышка среди ненависти и несправедливости.

Однажды вечером я пошел в город, хотел снова увидеть Исабелу. И и знал, все кончится любовью. В кафе сидели несколько человек. Они кивнули мне, но держались отчужденней, чем всегда. Я сел за столик. Исабела подошла принять заказ, поздоровалась с улыбкой, но сразу убежала, — нынче вечером у нее дел по горло, сказала она.

Я смотрел, как она опять и опять торопливо проходит по зале. Лицо у нее стало напряженное, она коротко поглядывала на меня и страдальчески сводила брови, будто силилась дать понять что-то, чего не смела сказать словами. Я заметил, что платье под мышкой у нее зашито.

Мужчины у стойки, спиной ко мне, толковали о чем-то вполголоса. Я разглядывал пришпиленные к стенам афиши. Одна возвещала о предстоящем бое быков — нелепейшее из всех обличий Испании. Вот так оно и останется. Пускай война позади, пускай свирепствует несправедливость, царят голод и жажда, все равно в воскресенье под вечер разольются на арене лужи черной крови. Если мы хотим, чтобы действительность и впредь скрывалась под маской легенд и обрядов, а страсть преобладала над сознанием, пусть основой обрядов и страсти будут жестокость и безумие. Быки стали надежнейшими солдатами совсем особой Испании. Это не моя Испания: в том городе, где состоится бой быков, сидел в тюрьме Оркето.

По зале снова прошла Исабела. Скрылась в прихожей, откуда ведет лестница наверх. Я встал и пошел следом. Исабела поднималась по ступенькам. Увидала меня, остановилась. Я поднялся к ней. В прихожей было полутемно. Исабела коснулась моего плеча:

— Тебе надо уехать. Как можно дальше. Прямо сейчас. Иди скорей в залу.

А с какой стати мне уезжать? Она взбежала еще на несколько ступенек.

— Они рассказали про тебя священнику.

И побежала наверх, вот она уже на площадке, погасила за собою свет. И ждет. Мне представилось, как она вытянулась в струнку и застыла в темноте.

— Ты мне напишешь?

Я не ответил.

— Может, попозже я постараюсь к тебе приехать.

Еще помолчав, я сказал:

— Напишу.

Я вернулся в залу. Там было пусто. Все ушли. За стойкой дремал хозяин. Я оставил на столике деньги и вышел и начал взбираться в гору, к Эльве. Я догадывался, почему Исабела меня предостерегала. В прошлое воскресенье я наговорил лишнего. Могли подумать, что я призываю к восстанию. Я и прежде слыл безбожником. А, стало быть, в здешних местах только и жди — тебя в чем угодно обвинят.

Но тут они попали впросак. Я сам постараюсь оказаться виноватым. В нашей стране только виновность еще животворна. Все же я уеду, не то они наказанием слишком быстро ее у меня отнимут. Уеду. Буду шагать вдоль стен. Буду жить в людных кварталах с кривыми улочками. По ночам слышно будет, как под окнами кричат и дерутся. Будет залитый солнцем порт, блики на воде, тени развешанного после стирки белья, запахи. И моя виновность упрочится. Буду пить, распутничать, воровать. И втайне, заодно с такими же, как я, буду готовить то, от чего по этой стране, где все ночи одинаково черны, однажды пойдут полыхать языки огня.

Итак, завтра я уеду, моя виновность даст мне свободу, завтра будут корабли, аспидно-черные на солнце, и среди ночи, и среди зимы, мне открыт завтрашний день… Окрыленный, я и не заметил, как дошел почти до самой Эльвы. Скоро я покину эту иссохшую землю.

Я шагал напрямик через поле. Под ногами потрескивали мертвые стебли. Вздымалась еще не остывшая едкая пыль. Завтра — морские границы Испании, завтра — зов кораблей, улицы, полные жизни… Я остановился. Земля под ногами вдруг стала мягкой, податливой. Снизу дохнуло

прохладой, щиколоток коснулись листья. Уж не сплю ли я?

Я наклонился и сорвал полные горсти горьковато пахнущих растений — какие-то травы, белена, зонтичные, невиданно свежие, сочные, упругие, в свете луны отчетливо темнеют прожилки. Я мелко изорвал их и уронил клочки. Но сейчас же вновь захотелось ощутить в ладонях эту жизнь, что пробилась из-под земли после долгих месяцев засухи и бесплодного гнева.

Я присел на корточки и снова захватил полную горсть листьев и трав. Я мял их, вдыхал их запах и тотчас бросал, едва они утратят свежесть. Я черпал не скупясь, опять и опять. Передо мной на бледном диске луны чернел купол холма, в котором с другой стороны вырыта была моя пещера.

Я поднялся и вошел в тень холма. Здесь меня снова окутала ночь. Поросль не кончалась. Я опять нагнулся и нарвал листьев. Мне показалось, что здесь они еще крупней и сочней. В темноте я не мог разобрать, что это за растения. Пожалуй, пасленовые. Я повторял про себя это название, как будто оно могло открыть мне тайну, которая угнетала меня долгие месяцы, могло стать ключом к загадке, какою всегда был для меня этот край, изъеденный слепящими лучами.

Опять я провел ладонями по прохладным листьям и венчикам. Да, наверно, пасленовые, или молочайные, или губоцветные, — я запомнил эти слова, не зная толком, что они обозначают, я их вычитал в старом учебнике ботаники, который перелистывал иногда у себя в пещере, когда снаружи все сжигал зной. Пасленовые… может быть, теперь все прояснится…

Вот тут-то на меня и набросились. Наверно, ждали в тени, в засаде. Я узнал того, с тесемкой. С ним были еще трое, имен их я не знал. Они повели меня к моей пещере. И все допытывались, что это за колдовство, откуда позади моего холма взялось зеленое поле и что я делал там на коленях, зачем рвал траву?

Вдруг я понял: вода, что сочилась в глубине моего жилища и сразу пропадала, должно быть, пробивалась с другой стороны холма и там, впитываясь в землю, оживила заброшенное поле. Я объяснил это людям, которые меня схватили. Один размахнулся, хотел закатить мне оплеуху. Другие его удержали. Потребовали ключ от моей двери, а когда я его отдал, повели меня к водоему. Продели мне под мышками веревку и без труда спустили на дно. Я не противился. Дно наполовину освещала луна. Здесь все еще виднелись следы шагов Оркето.

Те четверо ушли. Изредка лаяли собаки. Я сидел и смотрел, как в водоеме ширится тьма. Завтра быть мне где-нибудь в жандармском застенке… Но жандармы за мной не пришли.

Сегодня около полудня, в самую жару, когда я дремал, укрыв голову курткой, те четверо спустили мне в мешке хлеба, вина и арбуз. К мешку приколота записка. Им нужны еще «шлюзы». Если я стану работать с ними и для них, все будет забыто. Слово «все» подчеркнуто.

Я изорвал записку, поел хлеба с арбузом, выпил вина. Я смеялся. Смеюсь и сейчас — вечер, лают собаки, жара спадает, и я уже не обливаюсь потом. Ощущаю вокруг молчание Эльвы, вся Эльва замерла и, затаив дыханье, ждет одного моего слова. Я полон силы и спокойствия, кажется, я чувствую себя немножко богом.

Завтра я выйду из этого водоема. Буду работать с ними. Быть может, они уже довольно настрадались и теперь вместе со мной станут искать справедливость, этот потаенный шлюз, который мы создадим общими усилиями, чтобы заструились наконец родники по всей Испании… Сейчас я видел, по луне прошла тень… Только бы не хлынул дождь, пока не настал час нашего гнева!

Арно родился в Монпелье в почтенной буржуазной семье. Во всех тонкостях постиг он юриспруденцию и всю университетскую премудрость, перед ним открывалась блестящая карьера. Но жизнь внезапно выбила Арно из проторенной колеи. Начались годы странствий. Жажда приобщиться к миру неприкаянных, попросту жизненная необходимость бросали его из города в город, из одной страны в другую. Был он и такелажником, и старателем на золотых приисках, водил грузовые машины. На его глазах рушились наивные иллюзии об удачливости кладоискателей, развеивалась мечта о том, что можно обрести волю и свободу на окраине буржуазной цивилизации. Бегство «на дно» жизни завершилось мятежом против «верхов», против всего уклада буржуазного существования.

И своем духовном прозрении Арно открыл источник творчества. Мир босяцкой вольницы, страсти, надежды, поражения незадачливых авантюристов в их схватке с жизнью — все это уже предстало в первом романе Арно — «Бегство отчаянного хулигана» (1948). Повествование о трагической участи человека незаурядного продолжено в остро социальном романе «Плата за страх» (1950). Сила характера, неуемная жажда жизни, присущие герою книги, словно омертвели в его банальной мечте, сконструированной по образцу мещанских идеалов «свободного» мира.

Буржуазная критика, оценившая возможности талантливого писателя, стремилась направить его творчество в русло развлекательной литературы. Не случайно роман «Плата за страх» рекламировался как классический образец «жестокого романа». Дальнейшая эволюция Жоржа Арно разочаровала его недальновидных «доброжелателей». В середине 50-х годов трагическое видение мира, своеобразно преломившееся в ранних произведениях Арно, приобретает новую окраску. Фаталистическое мировосприятие, характерное для создателя «Платы за страх», уступает место историчному взгляду на действительность.

После завершения романов «Звездное сияние» (1952) и «Ушки на макушке» (1953) Жорж Арно резко обрушился на буржуазное правосудие (фарс «Нежные признания», 1954), высказал правду о каторге в репортаже «Тюрьма 1953 года», о расизме — в цикле очерков «Индейцы не мертвы» (1956). В 1957 году писатель возвысил. голос в защиту Джамилы Бухиред — жертвы французских карателей в Алжире. В сатирической комедии «Маршал П» (1958) он пародийно обличает режим Виши и марионеточное «величие» Петэна.

Поборника независимости Алжира, Жоржа Арно реакция попыталась в 1960 году упрятать за решетку. На его защиту поднялась вся мыслящая Франция. По сути дела, на скамье подсудимых оказалась система попрания демократических свобод, а не художник-гражданин. Об этом эпизоде идейной борьбы нашего времени Арно рассказал в памфлете «Мой процесс» (1961).

С 1962 года Жорж Арно живет в Алжире, сотрудничает в журнале «Революсьон африкен».

Georges Arnaud: «La plus grande pente» («Слишком долгий спуск»), 1961.

Рассказ «Черепаший остров пирата Моргана» («L'lle de la Tortue du pirate Morgan») входит в названный сборник.

Черепаший остров пирата Моргана

Никто не знал в точности, кто такой Жак. То он выдавал себя за сына знаменитого боксера, то за наследника венгерского барона, а иногда просто утверждал, что его отец — инкогнито. Вероятно, он считал это чем-то вроде почетного звания. Было бы только слово «ученое», а что оно означает, Жака мало интересовало. Притом он врал, нисколько не заботясь ни о правдоподобии, ни о связности своего вранья. В одном только он был постоянен: в притязаниях на хорошее знание морского дела.

Ему было двадцать пять лет, и похож он был на гориллу, только румяную и белобрысую. Он легко мог бы преуспеть в качестве сутенера в постели любой портовой проститутки. В Пуэрто-Муэрто, как и повсюду в Южной Америке — за исключением Панамы, где белых избыт о к, — девицы цвета красного дерева спорят из-за белых юношей. Но романтизм, которым он неизменно щеголял, удерживал его от подобной карьеры. Он предпочитал бедность и туманное ожидание какого-то маловероятного случая.

Я свел с ним знакомство не преднамеренно, просто мы оказались соседями по столику в злачном месте для докеров, где восемь часов в день он был официантом, а остальное время — клиентом, во всяком случае, по части выпивки.

Из разговоров с ним я быстро оценил его по достоинству. Он усвоил стиль интеллектуала-ницшеанца. Его эрудиция не шла дальше знакомства с Жюлем Верном, Стивенсоном и Марселем Швобом. Но этих троих он знал досконально. Он даже заимствовал у них целые предложения и цитировал их, не ссылаясь на автора, небрежным тоном, с самодовольством человека, уверенного, что он правильно мыслит и хорошо излагает свои мысли. Он сознавал свою принадлежность к редкой категории людей избранных, одинаково одаренных и для практической деятельности и для тончайших лирических сантиментов. Он, видите ли, слишком хорошо знает жизнь, чтобы придавать особую ценность своему благородному происхождению, и упоминает о нем только вскользь из вполне понятного и весьма похвального беспокойства, как бы не подумали, что он хочет скрыть свою аристократическую породу. Он верит в свою счастливую звезду и силу воли. Словом, я понял, что он являет собой редкостный экземпляр человека весьма легковерного.

Вечером я, как обычно, встретился в бистро со своими приятелями Чарли и Джимми, по прозванию «Джимми Врун». То ли потому, что в свое время мы плавали в разных широтах, подчас очень опасных, то ли потому, что сердца у нас очерствели, но мы были большими любителями розыгрышей и в тот период часто ими забавлялись. А этот малый так и соблазнял прибегнуть к мистификации, соблазнял, — скажу, оставаясь в границах пристойного сравнения, — как мед соблазняет мух.

— Друзья, я напал на совершенно исключительного молодого кретина, — объявил я им в тот день.

— Наш новый викарий? — спросил Джимми ворчливым тоном.

— Нет, почище будет.

— Тот, что приказчиком у Гомеца? Заведующий почтой? Инженерик из Далласа, что поступил в транспортный отдел фирмы «Шелл»?

— Нет, их мы уже знаем как облупленных. Совсем новенький, никем еще не обработанный. Официант у корсиканца, у хозяина трактира «El Paraiso Bajo».

— Жак? Эта дурья голова?

Чарли наивен. Его разборчивость показалась мне излишней.

— Чтобы разыграть человека, тебе надо его уважать, так что ли? А не кажется ли тебе, что ты перехватил?

— Ясно, перехватил, — поддержал меня Джимми. — Для того-то, во что мы можем его втравить?

Мы не любили тривиальных шуток. Нет. Подшутить, так уж подшутить, пусть зло, но зато на славу. Мы всегда собирали сведения о своих возможных клиентах. Для начала подвергали их серьезному психологическому анализу, и, даже если нам не везло, мы не скупились на аперитивы во время предварительных расспросов.

Чарли было неприятно афишировать свое знакомство с малым, столь незначительным по своему standing. А у Джимми репутация была подмочена: нельзя безнаказанно врать всем и каждому шесть месяцев подряд в городе с трехтысячным населением. Поэтому работа по сближению была

возложена на меня. Мы скинулись, и на следующий день я снова был в «Параисо».

По тому, как Жак мне поклонился, я сразу понял, что мой приятель Антонио, хозяин заведения, хорошо обо мне отозвался. Выданный мне блестящий аттестат только облегчал мою задачу. Как выяснилось, в свое время я был золотоискателем — и не безуспешно, — занимался контрабандой, спекулировал изумрудами; я говорю на нескольких иностранных языках и не лишен образования — было чем привлечь внимание такого малого, как Жак. Я сел за столик и пригласил его пропустить стаканчик. Антонио самолично принес нам рома и кока-колы.

— Ты давно здесь? — спросил я Жака.

За какие-нибудь четверть часа он выложил мне самые сокровенные — во всяком случае он так полагал — причины, побуждающие его верить, что ему предначертана жизнь богатая приключениями. «Not struggle for life, but war for life» — тонко заметил он. При его ужасающем сан-францисском выговоре пафос этих слов звучал особенно комично. Его цели войны за жизнь: собственная яхта, чтобы объездить весь свет; при каждой высадке на берег быть принятым в лучшем обществе, желательно в английском посольстве; иметь на борту гарем, а в глубине сердца великую любовь; при случае оказать покровительство какой-нибудь вдове или сиротке, чувствовать себя равно хорошо, равно на месте как за штурвалом своего парусника, так и за столом у сильных мира сего и в самых грязных притонах южной части Тихого океана. И все в том же духе.

— Ночи на Галапагосских островах… — размечтался он.

Я был доволен, одно только несколько смущало меня: все выставленные моими приятелями мотивы, все их высказывания сведены на нет и доведены до карикатуры. Я узнал того, кто носится по Тихому океану, из одной чудесной гавани в другую, еще чудеснее первой, кто подчас запросто обедает у баронета; того, у кого на борту гарем, потому что ему нравится заниматься любовью на море; узнал того, кто…. И себя тоже.

Я следил за своим взглядом, за модуляциями голоса. И в то же время все больше и больше приходил в азарт. В какую ловушку мы с приятелями загоним этого желторотого ему на благо, я еще не знал. Но в одном я был уверен: ловушка будет… и злая.

Сольный концерт продолжался.

— Я проткну одно ухо. Когда у тебя собственный парусник и ты ведешь такую жизнь, как веду я. — он говорил уже в настоящем времени, — …чувствуешь себя обязанным носить в ухе кольцо. С пиратами надо считаться.

Из презрения, из желания над ним посмеяться, просто из человеконенавистничества я уже терял голову.

Блестящая мысль родилась у Джимми. Вообще, ежели говорить о розыгрышах, то придумывал их всегда он.

Потягивая виски у Чарли, в задней комнате его бистро, где мы были завсегдатаями, я дал отчет о беседе с Жаком.

— Пираты!.. Очаровательный типчик, — задумчиво пробормотал хозяин заведения. — И кольцо в носу…

— В ушах, старик, в одном ухе, точнее: в левом. Малый, видно, начитанный. Ну, так на чем же мы остановимся?

Вот тут-то у Джимми загорелись глаза.

— Мы наплетем ему о кладе! Да еще о каком! Слушайте, друзья: остров, что закрывает выход на рейд, называется Тортуга — черепаха. Вам это ничего не говорит?

Инстинкт, интуиция, своеобразное чувство слова заменяют Джимми подлинное знание. Ведь из нас троих я один знал легенду о пирате Моргане и кладе, зарытом им. Однако в точку попал Джимми Врун.

Мы разработали план. Прежде всего надо пустить Жака по следу. Эта задача, и, я льстил себя надеждой, задача нетрудная, предстояла мне. Затем втравить его в организацию не прогулки, нет, а экспедиции, настоящей экспедиции, которая обойдется ему недешево и в смысле денег, и в смысле работы и усилий, а в конечном счете — ив смысле всяческих невзгод. Если нам удастся подбить его занять на два-три года деньги, чтобы оплатить расходы по снаряжению, и, не имея возможности выплатить долг, удрать отсюда или же совершить противозаконное деяние, пусть даже преступление, радость наша и так уже будет велика. В результате он сможет даже заработать от пяти до двадцати лет тюрьмы. Нас вдохновляла страсть к жестоким шуткам. Возможно, он даже

покончит самоубийством…

На следующий день, выбрав время, когда он будет свободен и прислушается к доброму совету, я пошел в «Параисо Бахо».

— Видишь ли, малец, все это хорошо, — сказал я Жаку-Дурню Какбишьего (не долго думая, мы дали ему такое прозвище), — видишь ли, все это хорошо. Я людей знаю, я побывал во всех портах на свете и всего насмотрелся.

Такая речь пришлась ему по душе, это был его стиль.

— Понимаешь, — сказал он. — Ты позволишь говорить тебе «ты»?

В знак согласия я предпочел промолчать. Впрочем, он так и истолковал мое молчание.

— Понимаешь, недавно я, ничего из себя не представляющий юнец, сидел на пляже, сидел и смотрел на горизонт. И думал: когда юнец сидит на песке, созерцает Карибское море и знает, что в один прекрасный день у него будет собственная яхта, это значит…

Он посмотрел мне в глаза и закончил период, скандируя слова по слогам:

— …значит, у него есть хватка!

Жак опорожнил свой стакан rhum and coc и, позабыв, что он здесь официантом, махнул рукой, чтобы ему подали еще:

— Cantinero!

Две девицы громко расхохотались. Их хохот вернул его на землю. Он отодвинул свой стул. Чтобы сохранить чувство собственного достоинства при самой скромной профессии, достаточно, чтобы в душе у тебя не было чувства приниженности. У него оно было. Он принял со стола свой стакан, потом протянул руку за моим, уже обращаясь ко мне на «вы»:

— Что прикажете вам подать, месье Муре?

И вернувшись от стойки:

— Вот виски, месье Арман.

Ему нужен был переход: теперь он уже называл меня по имени… Через минуту он опять стал равным мне, авантюристом высокого полета, равным, хоть в чем-то меня и превосходящим, — в той мере, в какой это возможно между пэрами, — превосходящим совсем немного, однако благосклонным.

— Да, есть хватка, верно тебе говорю.

— По правде сказать, — заметил я, — ты это почувствуешь во всей силе только в тот день, когда будешь стоять на корме своей яхты, в каскетке с золотым галуном. А до той поры…

Он посмотрел на меня сначала с жалким, потом с обиженным видом и целую неделю дулся.

Я утверждал, что это хороший признак. Но Джимми и Чарли считали, что я дал маху, чтобы не сказать хуже…

В среду на Страстной Жак-Дурень Какбишьего снова подсел к моему столику.

— Скажи, Большая Саванна, ты же там был, в смысле золота это место хорошее?

— Сказать, что хорошее, не скажу. Золото там, правда, найдешь, — ответил я. — Кто вкалывает, я имею в виду работает двенадцать часов лопатой, киркой, лотком, — может рассчитывать на пятнадцать граммов в день.

Он свистнул. Я продолжал:

— Пятнадцать граммов в краю, где грамм самородка в двадцать два карата стоит ровно доллар, то есть сорок пять боливаров. Ты здесь больше имеешь.

Я прекрасно знал, что он не зарабатывает и четверти такой суммы.

Я вернулся в «Параисо» только через два дня, в Страстную пятницу.

— Я подумываю о Большой Саванне, — признался мне Жак.

Было три часа дня. Девицы, одетые во все черное, стояли в церкви на коленях. Они оплакивали смерть господа бога, пользуясь свободным от работы временем. Закон разрешает им выходить на улицу только под чьим-нибудь присмотром. Антонио был с ними. Жак один оставался на страже заведения. Момент был подходящий. Я воспользовался случаем.

— Понимаешь, в Саванне я жил и золото там нашел, и все же я туда не вернусь. Золото это не плохо. Но, с другой стороны, когда у тебя своя яхта и ты играешь на международной бирже…

Я вытащил из кармана три парижских газеты. Накануне я отправился за ними с одиннадцатичасовым самолетом в Боготу во французскую книжную лавку.

— Мне каждый день доставляют из Гавра биржевые курсы. Я плачу за это одному типу.

Я прижимист, и это известно, значит, могу рискнуть ложью такого рода даже без гроша в кармане. Скупой может себе позволить ходить обшарпанным и заказывать дешевую выпивку. Скупость вносит какую-то пикантную черточку, какую-то поразительную правдивость в образ авантюриста. Внушает уважение. Придает солидность.

Жак-Дурень Какбишьего водил пальцем по строчкам пунктира.

— Смотри, — сказал я. — Здесь ты платишь доллар за грамм золота. Там доллар идет по триста восемьдесят одному франку слиток весом в кило, понимаешь, кило, то есть тысяча граммов — и в восемнадцать каратов, такой слиток это шестьсот семьдесят тысяч франков. Ты заработал шестьсот семьдесят минус триста восемьдесят один, то есть двести восемьдесят девять франков на грамме плюс разница за карат, скажем, пятнадцать процентов на высшую цену — сто франков, всего триста восемьдесят девять франков. Другими словами, ты удваиваешь капитал, а лишние восемь франков идут на расходы. Представляешь себе?

Мысль, что в расчете я мог наврать, — вероятно, я и наврал, — этому олуху в голову не пришла. Он глубоко вздохнул, потом прошептал: «Черт возьми!»

— Вот то-то и оно, не золото приносит богатство. Богатство приносит торговля золотом.

Последовало минутное молчание, — он, пыхтя, подсчитывал.

— Н-да, — сказал он, — а как же яхта?

— Слушай, малец, я тебе уже говорил, насчет тебя я составил себе мнение. Сейчас мы можем спокойно побеседовать, девицы раньше шести не вернутся. Так вот, я доверюсь тебе.

Я вложил в свои слова мужественную решимость. В зале прозвучал героизм и отразился от стен.

— …Черепаха, где зарыт клад Моргана, — это остров у входа на рейд.

На этом я закончил.

Накануне, во время путешествия в Боготу, я не нашел никаких материалов о Моргане, ни в книжной лавке, ни в университетской библиотеке. И в конце концов стащил в Институте географии из папки преподавателя гидрометрии географическую карту. На ней очень точно был изображен остров Черепахи — Isla de la Tortuga, — впрочем, не тот, что у входа на рейд в Пуэрто-Муэрто: островов с таким названием в атласе Гольшвейна значится семнадцать. Звездочка, сияющая на самой середине острова, означает, что это одно из тех мест, где выпадает чрезвычайно мало осадков. Но в глазах Жака это могло быть только символическим изображением зарытого там клада. Он даже не обратил внимания на то, что карта печатная и шрифт вполне современный.

К карте была приложена шифрованная записка, которую я сочинил наобум, выстукивая на машинке группки по четыре буквы; эффект от криптограммы оказался поразительно удачным: пока я выдумывал перевод, адамово яблоко моего слушателя пульсировало с невероятной быстротой.

— А теперь ты, конечно, задаешь себе вопрос — почему я посвящаю тебя во все мои тайны?

Он явно до этого не додумался. Но Жак был не из тех, кого можно поймать врасплох, обратив на что-нибудь их внимание.

— Ну так почему же ты посвящаешь меня во все свои тайны? — как и следовало ожидать, спросил он.

— Потому что мне нужен такой человек, как ты.

Он посмотрел на меня со спокойной гордостью: ну, разумеется, мне нужен такой человек, как он, я не открыл ему ничего нового. Это же совершенно ясно.

Я продолжал:

— Вот так. Во-первых, в настоящее время я очень беден.

Он великодушно приписал это заявление моей скупости и ждал, что за сим последует.

— Я не могу вложить в это дело ни одного су. Надо, чтобы ты взял на себя все расходы. Конечно, я мог бы занять, и мне, несомненно, было бы легче, чем тебе, достать деньги. Это правда, но… — Я наклонился к нему. — …Но мне нельзя фигурировать в этом деле. Ни в коем случае. Они знают, что я владею тайной такого рода. Мое пребывание на необитаемом острове насторожит их. Потому что, хоть этот остров и у входа в рейд, на расстоянии пушечного выстрела, на него смотрит тысяча орудийных люков, и все же это необитаемый остров.

Я остановился, пожалев, что поддался искушению, и сказал «на расстоянии пушечного выстрела» и «тысяча орудийных люков». Я боялся, что хватил через край.

Вопрос, слетевший с его уст, успокоил меня:

— Кто это «они»?

— Если бы я мог сказать! Но все требует жертв: придется поработать, и на совесть.

Я гипнотизировал его начальственным взглядом. Он тоже смотрел на меня, и его взгляд выражал безоговорочное послушание и слепое доверие.

— Я болен, помогать ни в чем не могу. Впрочем, свою долю участия в этой операции я внес. Вот она.

Я постучал пальцами по документам. Он кивнул головой.

— С этого дня придется экономить на всем, считать гроши. Ни рюмки спиртного, ни вечера в кино, даже в еде себя урезывать. Понятно?

— Понятно!

— О девицах и говорить нечего. Ты не играешь? Вот и отлично. Кроме того, надо подыскать дополнительную работу, вкалывать вовсю. Такая экспедиция стоит больших денег. Ясно?

— Не совсем.

— Месячный запас провизии, наем лодки, чтобы перевезти тебя. Инструменты: шахтерский лом, лопата, кирка, все в двойном количестве, на случай, если что сломаешь. Научные приборы, тоже в двойном количестве.

— Да, старик, да. Не рассчитываешь же ты, что палочка открывателя источников укажет тебе, где лежит клад, а?

Необходимый инвентарь, который требовался, согласно списку, составленному моими заботами в сотрудничестве с Джимми и Чарли, стоил минимум две тысячи боливаров, двести восемьдесят тысяч франков плюс еще какая-то мелочь. Список был очень полный. Кроме комплекта инструментов, которые я сразу указал моему компаньону Жаку-Дурню Какбишьего, мы прибавили еще два прецизионных термометра. Если верить методу, придуманному нами за те полчаса, что мы потягивали виски, а затем выраженному в алгебраических формулах на четырех страницах бумаги в клеточку, достаточно зарыть оба эти инструмента в землю на метр двадцать глубины. Расстояние одного от другого по поверхности должно равняться семидесяти семи метрам тридцати пяти. Отвесу стоимостью в семь боливаров тоже была отведена роль. Создав с помощью дорогостоящего портативного генератора магнитное поле, можно рассчитать его интенсивность, пользуясь приобретенным по баснословной цене амперметром… Я точно не помню, что следовало дальше, но если верить способу употребления, который мы начинили ссылками на Жоржа Клода и на Бранли (Эдуарда), результаты должны были оказаться весьма ценными, чтобы не сказать неоценимыми.

Для Дурня Какбишьего заработать такие деньги было делом нелегким. Тем более что он окончательно запутался стараниями Вруна. Тот позаботился, чтобы он потерял место в заведении корсиканца. Жак и без того уже трудился два полных рабочих дня: один официантом, другой докером по ночному тарифу за сверхурочные часы. Теперь ему пришлось искать работу на дневное время. Ночью он продолжал, не жалея спины, разгружать товарные пароходы. С десяти утра ворочал бочки весом в двести кило. Он покорно сокращал свой бюджет на питание, поэтому ослабел и уже выбивался из сил. Постепенно он утратил сходство с гориллой, сначала стал похож на шимпанзе, потом на семнопите-ка, на макаку, на сапажу. После пяти месяцев экономии и работы он стал походить на больную, чахоточную уистити.

Я уже говорил, что шутки мы любили жестокие. Поэтому до того как поднять занавес над

последним актом, мы позаботились, чтобы Жак усладился предвкушением финального разочарования.

В тот день Дурень Какбишьего заявился ко мне в семь утра. Его глаза блестели, на скулах играл румянец, изо рта дурно пахло.

— Дать сигарету?

— Я бросил курить, — слабым от жара, но гордым голосом ответил он.

Затем он вытащил из кармана пачку бумажек — красных, зеленых, синих; закашлялся, потом сказал:

— Так, значит, все в целом обойдется в две тысячи боливаров?

— Увы! Мы подсчитали слишком в обрез. Для полной уверенности, что хозяин лодки будет молчать, ему надо как следует заплатить.

Он с трудом закрыл рот.

— Сколько?

— Хотя бы пятьсот боливаров сверх сметы.

— Ой…

— Что поделаешь, старик, молчание покупается дорогой ценой.

Ой не ой, но это так. Он довольно быстро подсчитал цену молчания: двести двенадцать боливаров — столько он заплатил в удешевленных товарах за автоматический пистолет и, не будучи излишне озабочен предстоящим дележом, на следующий же вечер попытался прикончить меня на углу улицы.

Недоедание и переутомление сделали свое — теперь Жака не сразу можно было узнать: тень, а не человек, бледный, истощенный. Он пустился наутек и исчез. Я слышал, как он дышит, коротко, прерывисто. Я не погнался за ним. У меня шевельнулось такое чувство, что я его не обокрал, впрочем, это его не оправдывало, потому что он не знал, что я его обокрал.

На наши добрые отношения этот инцидент не повлиял. Через три месяца наступил великий день: день отъезда.

Я взял на себя переговоры с хозяином рыбачьего судна, который должен был доставить Жака на Черепаший остров. Но Джимми решил самолично руководить погрузкой: в ящики вместо продуктов и инструментов упаковали гальку. И Жак в груженной камнями рыбачьей лодке отбыл темной ночью от берегов материка.

Это была грандиозная и незабываемая ночь. Врун угощал всех, кто только хотел. Тост следовал за тостом. У нашего пионера Черепашьего острова, должно быть, до рассвета звенело в ушах, поскольку каждый тост начинался за его здоровье.

И вполне справедливо: Джимми без ведома остальных — считая и нас с Чарли — сбыл с рук весь ненужный товар, приобретенный Жаком ценой таких лишений. Выручкой с этих украденных предметов Врун и угощал весь город. Видно, ему пришлось потрудиться, чтобы продать не слишком в убыток себе… или Жаку… Короче говоря, если судить по количеству пьяных, которые на рассвете с грехом пополам добирались по портовым улочкам к себе домой, Джимми выручил немногим меньше, чем было заплачено.

Слух оказался ложным: Черепаший остров не был необитаемым, он был населен. На какой-то несчастный квадратный километр его поверхности приходилось две тысячи семьсот змей. Демографическая плотность в десять раз большая, чем в Бельгии. И ни одна из населяющих его рептилий не принадлежала к безобидной разновидности пресмыкающихся.

Сверх того, эта унылая земля была лишена всякой растительности. С Пуэрто-Муэртского мола это было отлично видно. Но с противоположной стороны, глядевшей в открытое море, нелепо торчало одинокое дерево, развесистое, с низкими сучьями.

Джимми не нашел охотника на запас пресной воды, поэтому нашему предприимчивому искателю клада страдать от жажды не пришлось. Но я не представляю себе, от каких мучений, кроме жажды

и холода, был избавлен несчастный Жак.

Для начала ни от ярости, ни от страха. Лодка шла уже обратным курсом более чем в ста кабельтовых от острова, Жак открыл ящик, второй, третий, двадцатый. И тогда понял, на что обречен. Вывезти морем на груду камней с цоколем вулканического происхождения двадцать ящиков гальки — и даже не усмехнуться! Я убежден, что это и в голову ему не пришло.

Джимми знал, что делает, когда нанимал лодку, которая в тот день случайно оказалась в Пуэрто-Муэрто, обычно же стояла у причала в ста километрах к западу; знал, что делает, когда давал указания хозяину лодки, ни под каким видом не возвращаться на остров, высадив пассажира. Напрасно Жак звал, напрасно надрывался от крика, исполнял на берегу острова танец отчаяния; напрасно он вошел в море по самые подмышки и вернулся на сушу, только убоявшись акул. Ветер был попутный, лодка весело шла своим курсом. Шла все быстрее. Шла так быстро, как никогда.

Жак ступил левой ногой на берег и тут очутился нос к носу с первой змеей.

Змеи. Змеи, снова змеи. Змея за змеей. Снова змея. Еще змея и еще. Опять змея. Словом: сплошные змеи.

Змея не нападает на человека, но она любопытна и бесцеремонна, как все дикие звери, за которыми не охотятся. И не пуглива. Две тысячи семьсот пресмыкающихся аборигенов Черепашьего острова продефилировали перед вновь прибывшим.

На ночь Жак решил искать пристанища на дереве, которое он увидел при высадке. Оно внушало доверие. Но сделать шаг по этой земле, владению рептилий, было невозможно. С рассвета он не стронулся с того места, на которое ступил, выйдя из воды. Когда судорога сводила ему ногу, он считал весьма опасным даже пошевелить онемевшими пальцами под холодным взглядом своих врагов с раздвоенным жалом. Солнце обжигало голову и глаза. Все тело, там, где оно не было защищено одеждой, пошло водяными пузырями.

Чтоб добраться до тени, он решил обогнуть остров, идя вдоль берега по воде.

Во время этого короткого путешествия, его два-три раза обгоняла какая-то волнистая, отливающая металлическим блеском черная с золотом живая лента, которую он не мог определить. К счастью для себя: за ним увязалась мурена, воодушевленная кровожадными замыслами. Увидя, что он поднялся на сушу, она пожалела о зря потерянном времени.

Жак благополучно добрался до дерева, ветки которого сулили приют. Сбитые с толку его обходным маневром, змеи расползлись, вернувшись к будничной жизни.

Жак взобрался на нижние ветки и тут же заснул.

В тропической Америке одна разновидность дерева pinon ночью выделяет испарения, действие которых такое же, как у иприта, с той только разницей, что продолжается оно всего неделю.

Именно таким было единственное дерево на острове Черепахи.

На следующий день небольшой парусник, проходивший мимо острова, привез в рыбачий порт сильно опухшего малого, заплывшие глаза его гноились, слизистые оболочки потрескались до крови, срамные части были с голову новорожденного.

Жак выздоровел в положенный срок и не порвал с нами; метод предосторожности, разработанный Вруном, возымел действие: подозрение в краже пало на хозяина лодки. Во всяком случае, эта уловка избавила Дурня Какбишьего от необходимости начать с нами спор, исхода которого он, вероятно, опасался.

Прошло время. По последним сведениям, месье Жак-Дурень Какбишьего, обогащенный опытом, сделался отличным бизнесменом, хитрым, недоверчивым и осторожным.

Вскоре он обзаведется собственной морской яхтой.

Но он уже жалеет о своей первой трате, хотя и значительно более скромной. Он несколько поторопился заплатить из своего первого заработка за проколку левого уха.

Дрюон — парижанин. Воспитывался в аристократической семье. В 1936 году закончил лицей, учился на факультете права в Сорбонне. Объявление второй мировой войны застало Дрюона в Сомю-ре, где он занимался в кавалерийском училище. В июне 1940 года участвовал в сражении на Луаре, в 1942 году уехал в Англию, где вступил добровольцем в вооруженные силы Свободной Франции. Морис Дрюон — один из соавторов прославленной «Песни партизан» (1943). С 1944 года он вновь на театре военных действий в качестве военного корреспондента (сначала в Алжире, затем во Франции, Германии и Голландии).

Эпизоды военного времени Дрюон запечатлел в документальном очерке «Поезд 12 ноября» (1943), в реалистической повести «Последняя бригада» (1946). Во многих своих рассказах он поведал о воинских подвигах французов в период «странной войны». Из бесконечной череды событий художник «вырвал» кадры, свидетельствующие об отваге солдат и доблести их военачальников. В обрисовке солдат зачастую сказывается обедненное представление писателя о народном характере. Незаурядный дар рассказчика Дрюон проявляет, когда, не идеализируя героя-аристократа, видит в нем одного из многих участников сражения с врагом. Художник метко схватывает совмещение в облике своих персонажей величественного и смешного, современного и анахроничного. Включение деталей рыцарского эпоса в реалистическую ткань новеллы порой происходит органично. Резонанс великого прошлого Франции в ее катастрофическом настоящем, предельная «спрессованность» исторических эпох — все это воспринимается как новаторский штрих в реалистической новелле XX века.

Эпоха Сопротивления побудила Дрюона к размышлениям о причинах национальной трагедии Франции. В трилогии «Сильные мира сего» (1948–1951, окончательная редакция — 1968 год) художник вынес приговор эгоизму и социальной безответственности буржуазии в период между двумя войнами. В судьбах четырех поколений буржуазной семьи Дрюон отразил историю всего собственнического мира первой половины XX века, показав, как индивидуалистическая мораль буржуазии духовно умерщвляет человека, а ее социальная практика неотвратимо влечет за собой политику Мюнхена и национальную катастрофу. «Сильные мира сего» — классическое произведение критического реализма во французской литературе 40–50-х годов. Закономерно, что Дрюон опирается здесь на опыт великих реалистов: Бальзака, Золя, Льва Толстого. В этюдах «Взрослый возраст» (1960) и «Как творил этот гигант» (1965) он рассказал об идейном влиянии Толстого на собственное творчество.

Морис Дрюон — автор афористических «Заметок» (1952), серии остросюжетных исторических романов «Проклятые короли» (1955–1960, окончательная редакция — 1967 год), дилогии «Мемуары. Зевса» (1963–1967), памфлета о майских волнениях 1968 года во Франции «Будущее в замешательстве», где с позиций защиты существующего строя он подверг резкой критике экзистенциализм и его воздействие на молодежь.

Художник убежден, что молодые поколения должны, знать историю, свое прошлое. В речи, посвященной двадцатилетию со дня победы над фашистской Германией, писатель говорил: «Эта победа была торжеством идеи справедливости над идеей силы, понятия «человек» над понятием «раса», свободы над принуждением... Это не музейная победа. И спустя двадцать лет — это живая победа, и как живую ее нужно понять, защищать и любить».

В 1967 году Дрюон избран во Французскую академию.

Maurice Druon: «Des «Seigneurs de la plaine» a «L'ho-tel de Mondez» («От «Властелинов равнины» до «Особняка Мондез»), 1962; «Le bonheur des uns...» («Счастье одних...»), 1967.

Рассказ «Рыцарь» («Le Chevalier») входит в состав обоих сборников.

Рыцарь

— Господину маркизу следовало бы прихватить с собой сапоги.

— Вы полагаете, Альбер?

Маркиз де Бурсье де Новуази был занят составлением завещания; он сидел за своим бюро, и его крохотные ножки болтались в воздухе в нескольких сантиметрах от пола.

— Ох уж эта мне мобилизация… до чего некстати! — добавил он.

— Тем более, — продолжал его камердинер, — что на армейском складе господину маркизу наверняка не подберут сапог по размеру. Да и в афишах объявлено, что мобилизованным, которые явятся с собственной обувью, будет выплачено возмещение.

— Ну что ж, пусть так, договорились. И вот еще что… Ах, да! Снимите саблю, которая висит в галерее.

— Саблю покойного господина маркиза?

— Да-да. Потому что, насколько мне помнится, когда я служил в полку, казенные сабли были чересчур тяжелы для меня. И еще… погодите, Альбер… мой крест… не забудьте достать мой крест!

Маркиз де Бурсье, которому шел четвертый десяток, был и в самом деле очень мал. Несмотря на то, что он ходил на высоких каблуках и взбивал свои мягкие волнистые волосы, зачесанные на прямой пробор, ему никак не удавалось достичь роста нормального мужчины.

Он вернулся к своему завещанию, которое начиналось словами: «Отправляясь в армию Республики и не зная, что ждет меня впереди…»

По этому завещанию маркиз де Бурсье, холостяк, оставлял племяннику, виконту де Новуази, все свое состояние, «или, вернее, все то, что еще уцелело от этих плутов нотариусов», иными словами, принимая во внимание закладные и прочие долги, не оставлял почти ничего.

Он накапал своей короткой пухлой ручкой немного воска на конверт, повторяя:

— Ох уж эта мобилизация… до чего некстати!

Затем, прихватив две свои лучшие пары сапог и отцовскую саблю, он направился в Каркассонские кавалерийские казармы. Маркиз был старшиной запаса. По прибытии ему предложили заполнить опросный листок. Против слова «Фамилия» он поставил: де Бурсье де Новуази, против слова «Имя» — Юрген Луи Мари. Потом, не обнаружив места для титулов и почетных званий, остановился на графе «Специальность» и ничтоже сумняшеся вписал в нее: «рыцарь Мальтийского ордена».

В первый день на этом все и кончилось.

О возмещении за собственные сапоги никто даже не заикнулся. Маркиз, впрочем, его и не принял бы. Но замечание он все же сделал из принципа: бросалось в глаза, что армейские интенданты — плуты.

Зато неподъемную и громоздкую саблю ему тем не менее всучили, хотя он и сказал, что у него есть своя.

Два дня спустя, когда он шел через казарменный двор, его окликнул краснолицый майор:

— Скажите, друг мой, вы были инструктором в Со-мюрском кавалерийском училище?

— Нет, господин майор.

— Вы проходили службу в частях спаги?

— Нет, господин майор.

— Почему же, в таком случае, вы носите позолоченные шпоры?

— У меня есть на это право, господин майор: я — рыцарь Мальтийского ордена.

— А, так это у вас специальность — рыцарь Мальтийского ордена? Весьма сожалею, месье! Мальтийский орден — орден не военный…

— Простите, господин майор: как раз напротив, Мальтийский орден — религиозный военный орден…

— Пусть так, если угодно. Пусть и военный, но для меня он все равно гражданский. Я не могу входить в эти тонкости. Прошу вас надеть никелированные шпоры, как у всех.

Маркиз де Бурсье не стал объяснять этому невежде, под начало которого попал, что, посвящая его в рыцари «именем Господина святого Георгия, стража и миротворца, а также в знак рыцарской чести», ему надели на ноги золотые шпоры, поскольку золото — «самый драгоценный из всех металлов, и только оно может быть поставлено в сравнение с честью».

Маркиз мог бы процитировать еще пятьдесят строк древнего текста, однако вещи такого рода как-то неловко произносить, вытянувшись по стойке смирно.

Короче, шпоры он сменил, но, желая показать, что отнюдь не сдался, прицепил к своему мундиру Мальтийский крест.

Из-за этого креста в гарнизоне возникло некоторое замешательство. Когда старшина де Бурсье с крестом на груди в первый раз вошел в кордегардию, часовой сделал ему на караул. На улице, в сумерках, офицеры неоднократно первыми отдавали ему честь, замечая издали этот белый крест и не понимая, с кем имеют дело.

В казарме среди солдат шли разговоры, что он был офицером иностранной армии, а офицеры избегали к нему обращаться, поскольку неловко было отдавать приказы и делать замечания человеку, выставлявшему напоказ всю свою дворянскую родословную до шестнадцатого колена.

И все же капитан д'Акенвиль как-то вызвал его и сказал:

— Послушайте, Бурсье, не могли бы вы носить просто орденскую ленточку… как все мы?

— Господин капитан, — ответил маркиз, — я рыцарь справедливости и благочестия, и только мой крест…

— Не спорю, — прервал его капитан, — но поверьте мне, Бурсье, здесь это, право же, выглядит нелепо.

— Господин капитан, мне странно слышать подобные слова из ваших уст!

— Послушайте, Бурсье, сделайте, как я говорю. Поймите, рыцари Мальтийского ордена — это в наши дни анахронизм.

— Месье, оскорбляя меня, вы наносите жестокую обиду суверенному ордену святого Иоанна Иерусалимского.

— Ну, если вам угодно так к этому относиться… Поймите, здесь не командорский замок, здесь — казарма!

— Месье, вокруг меня плуты!

— Месье, вы получите пятнадцать суток ареста!

— Месье, я пришлю вам моих секундантов!

Полковник все уладил. Дуэль не состоялась, как не состоялся и арест: маркиза перевели в канцелярию: Вскоре он заявил, что прибыл сюда воевать, а не подшивать «ведомости недостач».

Его включили в состав первого же эскадрона, отбывающего на фронт.

«Я мог бы и повременить недельки две со своей просьбой», — подумал маркиз, обнаружив, что попал под команду капитана д'Акенвиля.

Капитан воздержался от каких бы то ни было замечаний по поводу креста, который маркиз упорно продолжал носить; он только приказал дать Бурсье самую рослую лошадь в эскадроне.

Маркиз был превосходным наездником, но всякий раз, когда ему нужно было сесть в седло, его приходилось подсаживать, как даму, что вызывало смешки. Его самого, однако, это ничуть не задевало, поскольку только так и было естественно садиться в седло дворянину.

В первых же боях старшина де Бурсье де Новуази удивил эскадрон. Он неизменно спешивался последним, чтобы в случае контрприказа избежать необходимости вновь садиться на коня. Оказавшись наконец на земле, он прежде всего отцеплял от седла отцовскую саблю, с котором никогда не расставался.

— Эй вы, Бурсье, долго вы там будете ковыряться с нашем зубочисткой?! — кричал капитан, в то время как часть располагалась на позициях и уже начинали потрескивать автоматы.

Маркиз не отвечал, продолжая заниматься своим делом, неторопливо, с высоко поднятой головой; каска его была слегка сдвинута на затылок, Мальтийский крест сверкал на груди, рукоятка сабли упиралась ему под мышку. Ни разу он не снял перчатки, ни разу не обратился к своим солдатам на «ты», ни разу не лег даже при самом жестоком артиллерийском обстреле. Однажды он, правда, сделал вид, будто счищает грязь со своих сапог. Его хранило какое-то везенье. Когда маркизу говорили об этом, он только пожимал плечами. Эта война, в сущности, его не интересовала.

— Убиваешь неведомо кого, и неведомо кто убивает тебя, — говорил он. — Снаряды летят черт знает откуда. Противник впереди, позади, сбоку; хотел бы я знать, кому бы теперь удалось встретить смерть, сойдясь лицом к лицу с противником.

Как-то под вечер отступавший и уже изрядно потрепанный эскадрон вошел в пустую деревню, где ему надлежало занять позиции. Двери и окна домов были растворены. Солнце садилось. Ярко-красные лучи, отражаясь от стекол, освещали беспорядок в комнатах. Во дворах валялась брошенная впопыхах мебель. Чем беднее были дома, тем позже их покинули. Патруль, высланный на разведку, доложил, что не обнаружено ничего подозрительного.

Когда капитан и штаб эскадрона выехали на главную площадь, их встретила автоматная очередь, двое кавалеристов были тяжело ранены. Немедленно прочесали всю деревню. Скрыться враг не мог. Обшарили каждый переулочек. На всякий случай дали несколько выстрелов в отдушины, но никто не отвечал. Повсюду было совершенно пусто. Капитан вернулся на главную площадь, к церкви. Никого. Он приказал занять оборону.

— Не стоит терять время на этого субъекта, его, должно быть, и след простыл, — сказал капитан.

В этот момент площадь вымело новой очередью, жертвой которой едва не стал адъютант эскадрона. Капитан и все, кто был рядом, прижались к церковной стене, забившись в нишу боковой паперти.

— Отойдите, господин капитан, отойдите! — закричал какой-то солдат. — Стреляют из дома священника.

Дом священника обошли, окружили, ворвались в комнаты, обыскали снизу доверху. Солдаты высунулись из окон. Они подавали знаки, что в доме никого нет. Но как раз в эту минуту пули третьей очереди прошлись по его фасаду.

— Ну, это уж слишком, — возмутились все. — Где бы этот наглец ни прятался, но нахальства ему не занимать! Нужно его найти во что бы то ни стало.

Солдаты, да и сам капитан, начинали нервничать. Опорный пункт мог с минуты на минуту подвергнуться атаке. Уже доносили о показавшихся было вражеских мотоциклистах. Столкновение с противником было неминуемо. И во время боя этот таинственный стрелок будет торчать здесь, посреди деревни, как раз на пересечении трех главных улиц, задерживая связных, создавая помехи и сумятицу как раз в момент, когда важнее всего — порядок.

— Ах ты плут! — воскликнул вдруг старшина Бурсье, встреченный новой очередью, когда он верхом огибал церковь.

Он галопом пересек площадь.

— Ах ты плут! — повторял он.

— В чем дело, Бурсье? Вы ранены? — спросил капитан.

— Нет, господин капитан, все в порядке, благодарю вас. Но я его засек. Он в церкви, он стреляет из окон, с хоров!

— Вы уверены? Ну, нелегко нам будет его взять.

Капитан д'Акенвиль оглядел старую приземистую деревенскую церковь, готическую абсиду которой прорезали узкие окна с потемневшими стеклами, разделенные толстыми каменными контрфорсами.

Человек с автоматом перебегал между этими бойницами и стрелял то из левой, то из правой, прячась за выступами. Если его атаковать, он вскарабкается на колокольню, и тогда попробуй сними его оттуда.

Капитан не хотел жертвовать людьми, да и боеприпасов у него было не столько, чтобы расходовать их на стрельбу по камням.

— Если бы у нас хоть гранаты оставались, — сказал он.

Необходимо было решиться войти в церковь. Кавалеристы переглядывались. Все они до сих пор показали себя людьми отважными. Но сражаться в храме, вести стрельбу среди свечей, аналоев и распятий… А у стрелка, укрывшегося в церкви, наверняка в запасе было несколько полных дисков, а то и целый ящик.

Бурсье подъехал к капитану.

— Господин капитан, — сказал он, — пожалуйста, позвольте мне заняться этим самому.

— Что вы собираетесь сделать?

— Я рыцарь Мальтийского ордена, господин капитан.

— Ну и что с того?

— Как что с того? Мне дано право въезжать в церковь верхом, господин капитан!

И, не ожидая ответа, маркиз вызвал двоих солдат, поставил их по обе стороны высокого портала и приказал им открыть двери, когда он даст команду. Потом застегнул на глазах у оторопевшего эскадрона свои перчатки и выхватил из ножен саблю.

Солнце стояло за спиной маркиза, низкое красное солнце у самого горизонта, озарявшее паперть. Сталь клинка блеснула в его лучах.

— Отворяйте! — крикнул он.

И взял с места галопом…

На стороне маркиза было преимущество внезапности и солнце. К тому же его хранило везенье.

Человек с автоматом ждал чего угодно, только не этого всадника с поднятой саблей, возникшего перед ним в резком, слепящем свете. Он испугался и хотел спрятаться за алтарь, но упал на ступенях, выронив оружье.

Удивленье владеет человеком секунды. За эти секунды стрелок, распростертый на полу, успел хорошо разглядеть кровавый диск солнца между копытами коня, попиравшими плиты. Он еще успел приподняться, подобрать автомат. Палец его был уже на спуске. Выстрелить он не успел. Острие сабли пронзило ему грудь.

Когда маркиз поднял глаза, он увидел в нише над собой каменного «Господина святого Георгия» со шпорами на ногах, только что поразившего своим копьем дракона.

И тут маркиз понял, откуда его везенье. Он спешился и преклонил колени.

Потом он вновь сел в седло, на этот раз сам, воспользовавшись скамьей.

Он выехал шагом; в солнечных лучах на груди его сверкал, отливая розовым, Мальтийский крест.

Старшина де Бурсье де Новуази, рыцарь справедливости и благочестия, отсалютовал своему капитану и вытер саблю о листья вяза, росшего на площади.

Уроженец Тулузы, Пьер Гамарра вырос в рабочей семье. В годы второй мировой войны учительствовал; участвовал в Сопротивлении. С 1944 по 1949 год редактировал газету «Патриот дю Сюд-Уэст». Член ФКП. С 1950 года — ответственный секретарь, позднее — главный редактор журнала «Эроп».

У истоков творчества Пьера Гамарра — наследие Виктора Гюго и Жорж Санд, могучее воздействие идей и образов Максима Горького. «Горького читал с самых юных лет, — свидетельствует писатель. — В его романах меня потрясает не только исполненное пафоса живописание всего современного ему общества, но еще и стремление к переменам, вера в грядущую победу... Он — в моей человеческой плоти, он — в моей писательской памяти».

Насыщенное романтикой народной борьбы против фашизма и эксплуатации, за мир на земле, творчество Пьера Гамарра — поэта и прозаика — развивается в русле социалистического реализма. Во многих стихотворениях из книг «Эскиз проклятия» (1944), «Песня Арасской крепости» (1951), «Песнь любви» (1959) Гамарра гневно обличает войну, воспевает мужество антифашистов, призывает к миру. Романы Гамарра «Огненный дом» (1948), «Дети нищеты» и «Полночные петухи» (1950), «Сирень Сен-Лазара» и «Женщина и река» (1951), «Розали Брус» (1953), «Школьный учитель» (1955), «Жена Симона» (1961) отразили голоса нужды, и надежды, его родной Тулузы, возмущение парижских рабочих происками поджигателей войны, подвижнический труд народной интеллигенции, страду крестьян, их жизнестойкость, их гнев против фашистских захватчиков. Поборник социализма, Гамарра верит, что войну могут обуздать разум и воля людей, их верность памяти павших героев, интернациональная солидарность.

Художник обращается к самым различным жанрам романа — социально-психологическому («Сады. Аллаха», 1961), детективному («Убийце — Гонкуровскую премию», 1963), автобиографическому («Пиренейская рапсодия», 1963), фантастическому («Соло», 1964), приключенческому («Шесть колонок на первую полосу», 1966), — но с неизменной целью: пробудить в читателе социальную активность, чувство ответственности за судьбы мира, в котором он живет. В трилогии «Тулузские тайны» (1967), «Золото и кровь» (1971), «Семьдесят два солнечных дня» (1975) в традициях «народного романа» воссоздана атмосфера бесславной империи Наполеона III и героических дней Парижской коммуны. Эта же эпоха составила канву жизнеописания «Виктор Гюго» (1974).

Гоморра пишет сказки для детей и увлекательные приключенческие понести для юношества. Контрастность, резкость света и тени свойственны поэтике художника. Рассказы его остроконфликтны. — в них сталкиваются отживающее и рождающееся, социальное зло и активная доброта, разум и предрассудки. Действие многих его рассказов происходит в Пиренеях, но в малейшей детали повествования писатель стремится воплотить целый мир, в радостях и горестях родного края отразить «трепет жизни всей планеты».

Pierre Gamarra: «Les mains des Hommes» («Руки людей»), 1953; «L'Amour du potier» («Любовь гончара»), 1957.

Рассказ «Стена» («Le mur») входит в сборник «Руки людей».

Стена

Дома стояли по соседству, но обитатели их враждовали между собой. Такое иногда случается. Причин тому было много. Фреши и Меле уже много лет не разговаривали друг с другом. Распря началась между стариками — Бертраном Фреш и Луи Меле. По книгам мэрии они значились под другими именами, но в наших местах существует обычай давать людям прозвище, и теперь его носят потомки, не всегда зная, откуда оно взялось. Бертрана, к примеру, звали Бертран Рибо, однако никто и никогда его так не называл, все говорили — старик Фреш, папаша Фреш. Так уж повелось…

Да, старики были врагами, и вражда эта передалась их семьям. Первая размолвка потянула за собой другие, и в конце концов лютая ненависть разделила их. С чего же все началось? Кто его знает! Разве что сами старики, но они хранят тайну в своих упрямых седых головах и молчат, крепко стиснув зубы. Должно быть, какая-нибудь давнишняя ссора из-за девушки, а главное — земля… Земля одного, земля другого. И, поскольку участки их тоже соприкасались, всегда находились поводы для раздоров… То неточно проложили межу, то захватили плугом лишний клочок, а то еще недоразумения из-за скотины, из-за собак, воровок-кур… Те, кто еще что-то помнит, рассказывали, будто старики перестали разговаривать с тех пор, как вернулись с военной службы или вскоре после того. А было это не вчера…

У Фреша семья была небольшая: жена, старая, искалеченная ревматизмом женщина, уже не выходившая за порог своего дома, дочь и зять. Дочь не могла иметь детей. Каждый раз повторялось одно и то же: она благополучно вынашивала младенца, но, едва появившись на свет, он погибал. Четыре раза она рожала, и каждый раз ребенок умирал. Дочь без конца таскалась по врачам. Один лечил ее уколами, другой предписал полный покой. Было это как раз во время последней беременности, и старик сам поехал в кантон покупать кресло-качалку. С первых же месяцев он заставлял дочь лежать либо на кухне, либо перед домом. Он не давал ей пальцем шевельнуть, не разрешал чистить овощи, лущить кукурузу.

— Надо переждать это время, — говорил он, — а вдруг на сей раз удастся спасти…

Между тем, ее рук в хозяйстве очень недоставало, но Бертран Фреш плевал на все. Он думал о новой жизни, зарождающейся в чреве дочери, и ради будущего ребенка готов был на любые жертвы. Иногда он сидел, понурив голову, уперев локти в колени, устремив взгляд в землю. О чем он думал? Об этом желанном ребенке, о собственной жене, о матери своей, которая родила его, своего первенца, уже собравшись идти на работу, совсем одна, почти как животное, потому что повивальная бабка опоздала…

Когда старик Меле проходил по бугристой дороге мимо дома Фрешей — Меле жили повыше — и замечал их отдыхающую дочь, на лице его появлялась едва заметная ухмылка. Молодая женщина не обращала на него внимания, и муж ее — тоже, но если мимолетную насмешку на худом обветренном лице Луи перехватывал Бертран, его передергивало. Ему казалось, что старик Меле говорит: «Гляди-ка ты, разлеглась! Вот еще новости! И кресло купили, и доктор по два раза в месяц, и нянчатся с нею, и холят… Да только к чему вся эта комедия? Ради ребенка, который умрет, не успев родиться!.. Да, гнилая, видать, у них порода!»

Хуже всего было то, что он действительно говорил это, — разумеется, не в присутствии Бертрана, а так, за глаза: обмолвится иногда то почтальону, то в кабачке, когда зайдет разговор. Он не язвил, не злословил открыто, он только вздыхал, глядя вдаль, и бросал: «Да, гнилая, видать, у них порода!»

Старики никогда не говорили друг другу ни слова. Лет десять назад, после долгих лет молчания, однажды вечером они сцепились на горном лугу как волки. Никто этого не видел, кроме пастушонка, но мальчик наблюдал лишь конец драки, да и то издали. Он-то и рассказал обо всем. Старики вернулись домой с изодранными в кровь, распухшими лицами, и снова — молчание, снова насмешливые взгляды, опять словечки, брошенные будто невзначай односельчанам.

У Луи Меле были женатый сын и дочь на выданье. Сын привел в дом невестку, и у них уже родилось трое детей, три мальчика. Вот это потомство! Но Бертран подергивал подбородком, втихомолку плевался и ворчал: «Потомство шлюхи!»

Все знали, что у невестки Луи, до того как она вошла в их дом, кто-то уже был. Почему она за него не вышла? В делах сердечных случается всякое. Однако обзывать ее шлюхой не было причины, а Бертран нет-нет да и обронит такое словцо. И еще многое в таком же духе: что дочка их, дескать, кончит плохо, что она уже шляется, — того и гляди, принесет в подоле ублюдка, что женщины в семье Меле и хозяйки-то никудышние, и мотовки, и в доме у них всегда кавардак…

Иногда Бертран поднимался в принадлежавшую ему небольшую рощицу, расположенную выше усадьбы Меле, у самого гребня горы. Он держался левой обочины дороги, подальше от

ненавистного дома, словно в нем обитала чума. Он не смотрел в их сторону, воздерживался от насмешек: он глядел мимо, на вершину горы, выражая тем свое презрение. Детишки, игравшие иногда у порога, сразу смолкали или начинали шептаться, — они уже знали, что старик, бредущий вверх на нетвердых ногах по другую сторону дороги, ненавидит их и они должны платить ему тем же.

Словом, обе семьи во всем противостояли друг другу. В деревне это даже вошло в поговорку. Если кто начинал ссориться, говорили: «Ну, эти кончат, как Фреши и Меле!»

Дома стояли у самой дороги; позади них, по отлогому склону, тянулись поля, а дальше, на крутизне, — пастбища, доходившие до лесной опушки. И так как дом Меле стоял выше по дороге, то и поля его поднимались в гору. Но у него был изрядный кусок ровного поля, клином врезавшийся во владения Бертрана. Там у Луи Меле стоял амбар, а совсем рядом находился луг Бертрана, где бил родник, струившийся в старый водоем, из которого поили скот, — чистый и свежий родничок, пришедший сюда под землей откуда-то издалека. Никто никогда не видел, чтобы кто-нибудь из семьи Меле приблизился к роднику Бертрана. Прежде всего, они никогда бы этого не сделали из презрения к врагу. К тому же они знали, что старик всегда начеку и что он просто прогнал бы их, как воров. Между тем им было бы очень удобно пользоваться родниковой водой. Их собственный колодец находился гораздо выше. Работая поблизости, они порой изнемогали от жажды, а тут, всего в нескольких шагах звонко журчала вода.

А потом Бертран соорудил стену. Строя ее своими руками, он как бы воплощал в ней всю свою ненависть. Чтобы уберечь поля, главным образом от скота, обычно складывают низкую ограду из сланцевых плит или из булыжника. Эти невысокие заборы, через которые ничего не стоит перешагнуть, быстро разваливаются. Но стена Бертрана, ограждавшая родник, была самой настоящей стеной, выше человеческого роста; старик воздвиг ее без посторонней помощи и часто проверял, не разрушается ли она. Он не только сложил камни и скрепил их цементом, но еще и побелил известью. Ничего не скажешь, стена что надо! Каждый год он ее удлинял и надстраивал все выше и выше.

В жаркие дни, когда соседи работали в своем амбаре или рядом на поле, Бертран поднимался к водоему, подставлял сложенные ковшом ладони под холодную струю и выпивал несколько глотков. Это была его вода: те, другие, ее не получат.

Он усаживался у родника и любовался долиной, фиолетово-розовыми хребтами гор, четко рисовавшимися на бледном небе со стороны Венаска. Порой из-за стены до него доносился мужской голос: кто-то бранился или жаловался; иногда он узнавал голос Луи. Тогда Бертрану представлялось, что старик жалуется на жажду, что ему хочется пить, но к роднику подойти он не может.

Солнце освещало белую стену за его спиной. Горячий камень издавал сухой, терпкий запах, смешанный с ароматом полей. Старое вишневое дерево, сочившееся янтарной смолой, протягивало над водоемом тяжелые ветви, Бертрану казалось, что сам он похож на это дерево. Он помнил его молодым и хрупким. Теперь жизнь дерева идет к концу, но оно по-прежнему склоняется над родником, осеняя его тенью, как человек, стерегущий свое добро…

Внизу тарахтела молотилка, запах бензина, смешанный с запахом зерна, плыл по раскаленным улочкам деревни. Скрипели тяжело нагруженные телеги. Стояла жаркая погода, и люди изнемогали от усталости. Уборка закончилась, до косьбы отавы выдалось несколько дней передышки.

Было все еще нестерпимо жарко, особенно на этом, обращенном к югу склоне. Птицы, пропевшие на заре все свои песни, давно умолкли. Солнце яростно обрушивало жгучие лучи на горные склоны. Старухи, сидя у порога, вздыхали: «Нет, такого пекла еще не бывало!..» Зной становился все удушливее. Люди ждали грозы, это было бы облегчением. Трава зачахла и начала желтеть. Листья на виноградных лозах совсем пожухли и свернулись, как осенью…

В тот день, после полудня, поднялся легкий ветерок. Деревня словно замерла под своими черепичными и соломенными кровлями. На пустынных улицах, покрытых белой пылью, — ни души. Даже куры, притихнув, перестали рыться в поисках пищи. Тишина. Дома будто опустели. Мужчины спали в выбеленных известкой комнатах или в амбарах, женщины либо прилегли отдохнуть, либо сидели неподвижно в холодке подле погреба или сарая.

Но вот поднялся ветер; это было первое дуновение, оживившее землю. Легкими завитками закружилась пыль. На склонах все еще палило солнце. Леса резко выделялись на блеклом неласковом небе. Потом небо стало темнеть; неистово, на все голоса, загудел ветер. Внезапно

солнце исчезло. Люди беспокойно ворочались с боку на бок на своем ложе, вытирая рукой липкий от пота лоб. Нет, такого пекла еще не бывало…

Старик Бертран встал с постели и спустился в кухню, машинально теребя обеими руками подтяжки. Он подошел к крану, взял с полки стеклянную кружку и, запрокинув голову, долго и жадно пил. Затем он вытер рот. С заспанным лицом появился зять. Старик протянул ему кружку. Тот тоже напился и стал скручивать папиросу. Бертран подошел к двери. Приподнялась полотняная занавеска, и дочь внесла в комнату ворох белья.

— Того и гляди, начнется, — сказала она.

Старик взглянул на небо. Можно было подумать, что наступила ночь. Тучи сгустились и заволокли небо до самого леса; кое-где над горными хребтами оно стало чернильного цвета и слилось с темными вершинами сосен.

Не было слышно ни звука, смолкли птицы, угомонились собаки. Доносился лишь шум ветра, шелестевшего в сухих листьях и в спаленной траве.

Старик взял со стола пачку табаку и положил на ладонь небольшую щепотку. Не спеша он стал скручивать папиросу, — больше заняться было нечем. Белье уже занесли в дом, коров загнали в хлев. Гроза готова была разразиться. Оставалось только ждать.

Зеленоватая вспышка прорезала небо и осветила долину. На мгновенье показались поросшие соснами вершины. У входа в хлев закудахтали куры. И тут раздался сухой треск грома, казалось, кто-то там, наверху, топочет по гигантскому дощатому настилу. Ветер завыл сильнее. Занавеска на двери заколыхалась, и в темную кухню ворвался свежий воздух.

— Берегитесь сквозняка! — крикнул зять.

Но открыта была только дверь из кухни во двор, дверь в чулан была заперта.

— Что-то дождь никак не начнется, — боязливо пробормотала дочь.

Не успела она договорить, как редкие тяжелые капли глухо застучали по пыльной земле. Повеяло чем-то терпким.

— Только бы града не было, — заметил старик.

Он боялся за кукурузу и за небольшой виноградник наверху, на солнечном склоне. Но град редко выпадал в здешних краях, Они даже славились этим. Грозы с градом почему-то всегда уходили вправо, между двумя вершинами. Так что опасаться можно было только молнии. По дороге на горные пастбища попадались голые сосны без хвои, белые, сухие, пораженные молнией, которая каждое лето сжигала несколько деревьев. Это грозило опасностью и путникам. Старик вспомнил своего брата: однажды молния швырнула его оземь; вспомнил он и бабушку: как-то раз во время грозы она пекла у плиты; молния влетела через печную трубу, но, к счастью, испугавшись, старуха отскочила в сторону. Рассказывали и другие страшные истории о пастухах и коровах, настигнутых молнией.

Голубые, зеленые вспышки следовали одна за другой. Деревенские собаки даже не успели завыть. Дождь потоком обрушился на горные склоны. Все вокруг было черным-черно. Казалось, будто горы сдвинулись с места. Леса кружились в неистовом хороводе, возникая и снова исчезая в такт огненным вспышкам.

Дочь Бертрана, не в силах преодолеть страх, заперла кухонную дверь. Все уселись вокруг стола. Пришла старуха и молча заняла свое место у очага. Через занавешенное окно, справа от двери, они смотрели, как бушует гроза. Окно то и дело мигало, как глаз.

Мало-помалу их лица стали покрываться потом. Они вытирали влажные щеки. Воздух в кухне накалился.

— Надо бы все-таки открыть дверь, — сказал Бертран, — иначе тут задохнешься…

Но дочь не решалась: уж лучше эта духота, чем холодный порывистый ветер. Наконец старик встал и в одних носках пошлепал к окну. Он дернул створку, и гроза сразу ворвалась в дом. Старик хотел было выйти, но заколебался. Он силился разглядеть, что делается снаружи, смотрел на свои яблони вдоль дороги.

Вдруг ослепительная вспышка озарила долину и залила светом кухню. Старик даже подскочил. В то же мгновение раздался страшный треск.

— Вот она, вот она!.. — воскликнул зять.

— Закрой скорее… — взмолилась дочь.

Бертран затворил окно, но тут же открыл его снова. Что он там разглядывал? Что чуял в порывах воющего ветра? Втянув голову в плечи, зять робко оглядывался вокруг и бормотал:

— Ну, эта уж наверняка угодила в нас!

Но дом был цел. Все были тут, целы и невредимы. Послышалось мычание.

— Коровы! — спохватился зять.

Бертран все еще стоял у окна и к чему-то принюхивался.

Тут и все остальные поняли, в чем дело: в кухню хлынул запах гари.

— Паленым пахнет, — проговорил Бертран и кинулся за башмаками.

Небо начало проясняться, словно бы последний удар грома утихомирил ярость грозы и теперь она удалялась.

— Должно быть, попало в дерево, — пробурчал старик, надевая сабо.

Остальные последовали его примеру. Только старуха осталась у очага. Сделалось светлее. Дождь прекратился.

Они вышли на изрытый ливнем двор и осмотрели дом: все было как обычно. Если бы молния попала в стропила и подожгла сруб, они бы сразу заметили. И все-таки они чувствовали запах гари, который, окутывая их, плыл по ветру.

— Это не у нас, — сказала дочь.

Они подошли к склону взглянуть, что делается за домом. Сарай, свиной хлев, прилепившийся сбоку, — все было в полном порядке.

Бертран посмотрел на затянутое тучами небо, вышел на обочину дороги, поближе к деревьям. Вдруг он поднял руку, указав ею в сторону родника и стены: это было там.

Другие сперва не поняли, в чем дело, но, повернувшись туда, куда смотрел старик, сразу гораздо явственнее почувствовали запах гари. Теперь уже и зятю все стало ясно: за стеной находился амбар Меле, и гарью тянуло оттуда.

Они старались хоть что-нибудь рассмотреть сквозь завесу дыма, но клубы его сливались с темными склонами, которые высились за амбаром.

Бертран поспешил к стене. Позади нее слышались голоса. Люди разговаривали, кричали, доносился лязг металла. Запах гари усилился. Было ясно, что горит амбар. Старик отступил назад, чтобы лучше видеть, зять — вместе с ним.

По дороге застучали сабо. Мимо пробежал мальчик. Они узнали старшего внука Меле.

— У них горит хлеб, — сказал зять.

Над стеной извился черный столб дыма. Старик подошел к мокрому от дождя стволу вишни. Он присел на искрошившийся край водоема. Метрах в двадцати, за стеной, тревожные голоса дочери Меле и его невестки бормотали что-то неразборчивое, ветер относил их слова в сторону. Глухо звучали голоса мужчин: Меле и его сына. По-прежнему слышался лязг металла. Они, видимо, по цепочке передавали друг другу ведра, но колодец их был так далеко!..

Молния ударила в амбар Меле. Там хранился весь собранный урожай, а, кроме того, еще сено, инструменты… Старик-то хорошо знал, как горят зерно и сено. Страшный зародыш огня зреет исподволь, растет, ширится, распространяясь вокруг. И тут достаточно обломку горящей балки упасть на мешки. Открывают дверь. Удушливый дым заполняет амбар, в котором ничего нельзя разглядеть. Но стоит пробежать ветерку, и огонь начинает гудеть. Вдруг что-то словно взрывается, и вспыхивает яркое пламя, готовое пожрать бревенчатые стены. Тогда уже ничего не поделаешь: нужна мощная струя воды, но зерно все равно погибло…

Зять смотрел на старика, но тот не шевелился. Подошла дочь и встала сзади, прислушиваясь, что делается там, за стеной, у врагов, которые боролись изо всех сил: они спасали свой гибнущий хлеб. Вместе с сыном Луи Меле вспахивал землю на склонах. Осенью, рано утром они уходили сеять, потом убирали, молотили зерно. Это было их зерно. Зерно, из которого пекли хлеб и пироги.

Бертран опустил голову. Родниковая вода рядом с ним, журча, стекала в водоем. Вода у него была совсем близко. А Меле приходилось бежать за ней, издалека таскать ее ведрами. Меле не хватало воды, не хватало рук. Чтобы спасти хлеб, свой собственный хлеб…

И тут старику представилось, как колышется на ниве спелая рожь. Ветер долины качает тяжелые колосья, золотистые волны пробегают по ним и колеблют, словно воду на озере. Молотилка пожирает снопы, отшвыривает солому, выплевывает зерно и полову. Мельничные жернова перемалывают золотистые зерна. И получается мука…

Бертран резко выпрямился и повернулся к зятю.

— Неси сюда лопату! — приказал он. — Будем ломать стену… Не ради них, ради хлеба…

Он повернулся в сторону амбара и крикнул:

— Эй, Луи!..

Слышно было, как застучали сабо, медленно обходя амбар.

— Эй, Луи! — снова крикнул старик. — Что там у тебя стряслось?

После некоторого молчания Луи ответил:

— Половина зерна погибла. Но туда не пройдешь… И без воды не потушишь…

— Да вот она здесь, вода! — воскликнул Бертран. Он почти кричал, да так громко, словно рушил что-то в приступе ярости.

Зять принес лопату. Бертран выхватил ее у него из рук и побежал к стене. Дважды он со страшной силой ударил по камню, потом бросил лопату и стал расшатывать стену руками. Верх обвалился. Старик снова взялся за лопату. Брешь была пробита.

— Беги за ведрами! — приказал старик дочери.

Из амбара вырывались черные клубы дыма. Бертран зачерпнул ведром воду из водоема и, широко ступая, направился к амбару.

Роже Гренье — писатель, пользующийся прочной литературной репутацией. Важной вехой в его жизни было участие в Сопротивлении, когда он вместе с Альбером Камю сотрудничал в подпольной газете «Комба».

Способный публицист, и по сей день не порывающий с журналистикой, Роже Гренье вступил на поприще художественной литературы довольно поздно, уже тридцати лет. Его первая книга-эссе «Роль подсудимого» вышла в свет в 1949 году; за ней последовали романы «Чудовища» (1953) и «Засады» (1958).

Но в полную силу талант писателя развернулся лишь в последние десять — пятнадцать лет. Романы Гренье «Путь римлян» (1960), «Зимний дворец» (1965), «Перед началом одной войны» (1971), «Кино-роман» (1972) были хорошо приняты, читателями и прогрессивной прессой.

К романам писателя близка по духу его новеллистика. Одна из главных тем Гренье — духовное одиночество людей в обществе, где каждый заботится лишь о себе самом. Не случайно первый сборник рассказов Гренье так и назывался: «Молчание». Его персонажи молчат потому, что утратили всякую надежду на взаимопонимание. И только иногда какое-нибудь наивное, жаждущее тепла и участия существо в безнадежном порыве робко пытается «излить душу» перед своим «ближним», но наталкивается на холодное недоумение или на презрительную насмешку.

Для персонажей Гренье зачастую мучителен уже самый акт словесного общения, ибо на поверку он всякий раз оказывается актом разобщения людей: человеческий язык, эта раз и навсегда застывшая, стершаяся от многократного употребления форма, оказывается совершенно непригодным для того, чтобы вместить и передать неповторимые переживания личности.

Именно на этих переживаниях и сконцентрирована психологическая проза Гренье. Внешняя, событийная сторона жизни мало занимает писателя: в ней не раскрывается сокровенный мир человеческого «я». Поэтому и повествовательный драматизм возникает у Гренье не за счет сюжетной динамики, а в результате умелого нагнетания психологических деталей, вдруг обнаруживающего всю трагическую беззащитность людей, казавшихся до того вполне благополучными.

Эмоциональная тональность рассказов Роже Гренье весьма разнообразна, но во всех случаях они пронизаны, сочувствием к человеку, навеки обреченному быть замурованным в самом себе.

Roger Grenier: «Le silence» («Молчание»), 1961; «Une maison Place des fetes» («Дом на улице Праздников»), 1972.

Рассказ «Флюгера» («Les girouettes») входит в сборник «Молчание».

Флюгера

Литература — это защита от обид, которые наносит нам жизнь.

С тех пор как они обосновались здесь, их грузовики и автомобили каждое утро будили Эмилию Джустинани в шесть часов. Потом начинался неотвязный перестук молотков рабочих сцены, окрики постановщиков и ассистентов. В это время бессонница обычно отпускала ее. Бессонница мучила ее с четырех, с трех, а то и с двух часов ночи, когда особенно не повезет.

Она пыталась не поддаваться на шум, не шевелиться, не открывать глаз. Но притворство не могло вернуть ей покой неведения. Скоро какое-нибудь неосторожное движение, ногой или рукой, выдавало ее: она невольно принимала позу бодрствующего человека. Тогда она с досадой поднималась и шла к окну. Сквозь жалюзи следила за белой в солнце площадью, за десятками любопытных, уже собравшихся в группы и уже в поисках тени, за всей суетней киношников перед большим помостом, возведенным рядом с церковью.

Эмилия смотрела на ставшее привычным зрелище. Она больше не чувствовала себя чужой в обновленном пейзаже: к дому около лестницы пристроили террасу, надстроили на один этаж — только с фасада — дом sali e tabacchi художник так разошелся, что возвел памятник усопшим из фальшивого мрамора, чтобы заполнить пустоту в панораме. Единственно, кто не перестает ее удивлять, это prima parte feminina, одна из самых знаменитых кинозвезд Европы и Америки, за работой с шести утра, в складном кресле, на спинке которого написано ее имя, а над ней гримерша, она наносит огромной пуховкой последние пласты пудры на грунтовку темного, почти красного тона, точно такого, как стены домов.

Весь день солнечные лучи будут беспощадно жалить грим prima parte feminina, затянутой под костюмом крестьянки в тугой корсет. Время от времени гримерша, в облачке охряной пудры, будет стирать своей огромной пуховкой пот, выступающий на лице, на шее и груди, покрытых мировой славой. Теперь Эмилия представляет, что же такое жизнь кинозвезды. С шести утра и до семи вечера надо выстоять, не дрогнув, против солнца юга, бороться с ним до последнего отблеска, до его кровавого падения в залив, за рощами гигантских оливковых деревьев.

Эмилия спит в гостиной на диване, днем его застилают синим плюшевым покрывалом. Над ним на стене висит писанный маслом портрет прошлого века, мужчина в штатском — дед синьоры Алессандры Валентини, урожденной Чезина. Портрет принадлежит кисти Д. Джузеппе ди Д'Аддетта. Это довольно невыразительное изображение человека замкнутого, отгороженного бездушной гордыней своей касты, казалось, имеет только один смысл, одно значение — свидетельствовать об упадке рода Чезина, или, во всяком случае, той его ветви, которой суждено было соединиться со злосчастным синьором Валентини в этом городке, также забытом богом и лишь ненадолго выведенном из оцепенения неугомонными кинематографистами.

Глядя на громоздкую мебель в стиле Неаполитанского королевства 1880 года, на разрисованные плафоны, Эмилия неизменно задумывалась над прошлым этого великолепия: как жители Монте-Сан-Джорджо, живущие словно первобытное племя, умели когда-то наслаждаться роскошью обстановки, живописными полотнами, мрамором статуй? Каким образом цивилизованные люди дошли до воровства, превратились в разбойников и конокрадов, стали угрожать стадам на равнине Та-вольере? А теперь уже и лошадей не осталось, красть нечего. В Монте-Сан-Джорджо сохранились две церкви, из которых одна очень хороша, и несколько старинных особняков, почти что дворцов, последних свидетелей былого величия. Для Эмилии, узницы современности, эти памятники прошлого представляются загадками.

Насмотревшись до боли в глазах на залитую солнцем площадь, она вернулась в полумрак комнаты прочесть молитвы перед фотографией Падре Пио, святого, отмеченного стигмами. На фотографии этот святой, чьи чудеса множатся ежедневно, похож на крестьянина с удивленно вытаращенными глазами. Под его портретом — шкафчик без специального назначения, с резными дверцами. Эмилия разместила в нем томик Плутарха, произведения Ариосто, Боккаччо, перевод «Энеиды», несколько трудов о Падре Пио, привезенных ею самой и супругами Валентини из паломничеств в Сан-Джованни-Ротондо, потом «Inferno», «Vita Nuova» и, конечно же, милого ее сердцу Леопарди.

Самый замечательный предмет гостиной — люстра над столом. Это изобретение или, как говорит сам синьор Валентини, его детище. Оно представляет собою пень, один из корней которого образует укрытие, где размещены персонажи Рождества: по лесу идут волхвы в сопровождении свиты. Над пнем кружатся жестяные звезды. Вся модель вращается на оси в прикрепленном к потолку подшипнике. Почти Кальдер, хоть о нем он ничего и не слышал, синьор Валентини изобрел подвижную скульптуру.

В семь часов, умывшись в закутке, где в ее распоряжении имеются кувшин и таз на столе под кретоновой накидкой, Эмилия идет на кухню завтракать с хозяевами.

— Сегодня ночью, — говорит синьора Валентини, пожилая грузная женщина, — мне послышался запах фиалок. Но очень слабый, я не вполне уверена.

Запах фиалок — признак присутствия Падре Пио, живого святого, отмеченного стигмами и обладающего даром вездесущности. Он пребывает в своем монастыре в Сан-Джованни и вдруг появляется перед вами собственной персоной, или, во всяком случае, вы ощущаете запах фиалок.

— Чего ради, — спрашивает Эмилия, — святому заглядывать в этот варварский край?

— А почему бы и нет? До нас всего пятьдесят километров по прямой. А ведь его видели в Америке, в Нью-Йорке и даже, если не ошибаюсь, на Северном полюсе!

Единственной помехой, считает синьора Валентини, может оказаться присутствие актеров, этих безбожников. Потому она и не совсем уверена в запахе фиалок.

— Артисты, — говорит Валентини, — вот бы потолковать с ними…

— А что тебе мешает? Нашел кого стесняться! — возмущается синьора Валентини. — Жаль, ты не видел Эрнесто Крессоне, как он их вчера отбрил. Сидит, как всегда, перед своей галантерейной лавкой, а они требуют, чтобы он убрался. «Я торговец, — ответил он им. — Это моя работа — сидеть здесь, перед дверью, и встречать покупателей! Вы меня разоряете! Кино лишает меня заработка! Если не даете работать, извольте заплатить!»

— Его работа — ворон считать на пороге лавки, — сказала Эмилия.

— И они таки ему заплатили, — заключила синьора Валентини.

— Если бы я мог поговорить сними, — продолжал синьор Валентини, — то при их связях в Риме они могли бы помочь мне с дипломом…

Синьора Валентини пожимает плечами. Старик встает. Он небрит, на шее ни воротничка, ни галстука. Он продолжает говорить, но как бы не обращаясь ни к кому из присутствующих, — должно быть, он разговаривает сам с собой, когда мастерит свои «изобретения»:

— Я ушел к себе в лабораторию.

Когда пришельцы, люди кино, смотрят на дом синьора Валентини, хотя он и не попадает в кадр, они удивляются. На плоской крыше, одной из самых высоких на площади, без перерыва вращается на ветру сложная конструкция из разноцветных шаров и конусов. Синьор Валентини — изобретатель флюгеров. А также люстры с Рождеством и карусели из идущих друг за другом в нескончаемом шествии монахов и святых; флюгера его вращаются на старом шарикоподшипнике. Главное в изобретениях синьора Валентини — это вращение.

Сейчас в своей «лаборатории», комнатушке под крышей с флюгерами, он работает над рулеткой. Шарик отфутболивают жестяные фигурки, установленные по спирали, на неодинаковом расстоянии от центральной оси. Таким образом, шарик не может избежать их ударов. Как и полагается, на поле представлено одиннадцать игроков. Это члены знаменитой туринской команды, погибшей в воздушной катастрофе. Имя каждого красуется на футболке.

Эмилия наблюдает, как Валентини выходит из кухни, бесшумно, немного сгорбившись, — старый фанатик, одолеваемый навязчивой идеей: в один прекрасный день некая могущественная канцелярия пришлет ему оттуда, с севера, диплом изобретателя. Он ждет годы, как ждет здесь каждый, — должности, паспорта, с которым можно поехать работать во Францию. Как ждет синьора Луиза Валентини запаха фиалок Падре Пио. Узники, прикованные к горам, живущие одной надеждой. Слишком грубые, слишком примитивные, чтобы, подобно ее любимому Леопарди и ей самой, укрыться в литературе. Леопарди и его песнь одиночества…

Эмилия начинает работать в восемь. Она — почтовая служащая в Монте-Сан-Джорджо. Почта находится на маленькой улочке, идущей лестницей от площади. В Монте-Сан-Джорджо все улицы — ступеньками. Плоские крыши домов также образуют своеобразную великанскую лестницу, застывший в камне каскад. Ровная только главная улица, по ней можно проехать на машине. Но если вы поедете, вы незаметно для себя сделаете петлю и вместо того, чтобы выехать из городка, окажетесь у въезда в него. Из Монте-Сан-Джорджо не уезжают.

Когда Эмилия идет через площадь на работу, кинематографисты снимают на земляной насыпи, которая тянется вдоль церкви. Они словно находятся на естественной сцене, разыгрывая представление для любопытных, толпящихся на площади или выстроившихся у окон и на балконах. Высоченный металлический кран переносит по воздуху кинокамеру со всем персоналом. Prima parte feminina стоит наверху дома, она должна бежать вниз по ступенькам винтовой лестницы, чтобы столкнуться с соблазнителем, прославленным Франческо Альфонси.

— Motore! — командует режиссер.

Появляется человек с деревянной табличкой, «хлопушкой». Он объявляет помер эпизода.

— Via! — кричит режиссер.

Наверху железной лестницы показывается пара загримированных ног, того же красноватого цвета.

Громовый рев приветствует появление prima parte femmina. Все надо начинать сначала.

— Silencio, per cortesia! — кричит ассистент толпе, размахивая руками.

Мужчины и женщины составляют отдельные группы, они не смешиваются и как бы не видят друг друга. Они облепляют затененные углы, и очертания человеческой толпы меняются с движением солнца. Мужчины, пригвожденные к пятнам тени, все отмечены главным недугом юга Италии — безработицей.

Ассистент с деревянной табличкой снова объявляет номер. Показываются ноги. Звезда бежит по ступенькам, сталкивается, как должно, с Франческо Альфонси. Но на этот раз операторский кран не успевает.

— Silencio, ragazzini! — кричит ассистент ребятишкам.

Они повсюду. Десятки и десятки. Едва они начинают держаться на ногах, они тут же отправляются куда глаза глядят. Иногда такой человечек, еще не достигший двухлетнего возраста, ускользнет от бдительного глаза операторов и ворвется в кадр, с поразительной серьезностью, свойственной детям, следующим только им ведомым путем. Пройдет несколько лет, и они превратятся в проказливых жуликоватых подростков. Еще несколько лет, и они уже теряют очарование юности. Они присоединяются к взрослому лагерю безработных. Вчера Эмилия видела, как мальчишки принесли для prima parte feminina двух вынутых из гнезда птенцов.

По железной лестнице снова стучат каблуки. Управляемый ловкими, как жонглеры, механиками тяжелый кран описывает в воздухе замысловатую кривую. Эмилия отворачивается. Она их хорошо изучила: теперь они проведут на солнцепеке весь день, снимая эти несколько кадров.

На узкой почтовой улице тень, почти прохлада. Эмилия входит в свои владения, свое убежище. В этом отгороженном, мало посещаемом месте она не так сильно ощущает себя узницей. На столе, стоит протянуть руку, концы телефонных и телеграфных проводов, материально соединяющих ее со всем миром. Одно движение, и она могла бы поговорить с Фоджей, с Римом или — почему бы и нет? — с Парижем, Нью-Йорком, Токио. А в последние дни это уже не просто возможность, а реальный жест. Каждый день директор картины звонит отсюда в Рим, подолгу беседует.

Случается еще несколько звонков: заказать машину, вызвать актера из большой гостиницы с побережья, в тридцати километрах, где живет вся съемочная группа. Кроме этого — полный штиль. Посылок и телеграмм из Монте-Сан-Джорджо не отправляют, денег не переводят, — для чего же приходить на почту?

В полуденный перерыв, прежде чем вернуться во флюгерный дом, Эмилия не может отказать себе в удовольствии присоединиться к группе женщин в толпе. Она молча поджидает приезда машины с продуктами, старого американского автофургона. Его появление на площади — сигнал к перерыву. Кинематографисты идут на раздачу. Шофер вручает им белые и красные пластмассовые коробки с холодной курицей и с тепловатыми макаронами. Каждый устраивается как умеет: на лестнице, в кафе, в тенистом закоулке.

Prima parte feminina поднимается по ступенькам грязного переулка, в глубине которого находится особняк графа, именитого лица в городке, один из тех старинных дворцов, которые так поражают Эмилию. В Монте-Сан-Джорджо нет человека настолько богатого, чтобы он отказался сдать внаем для киносъемок свое жилье, даже сам граф.

Тощие собаки бродят вокруг, привлеченные запахом пищи, Секретарша режиссера идет по площади. Эта женщина некрасива, уже не первой молодости, она не актриса. Но на ней полотняная шляпа а-ля Грета Гарбо, джинсы и мужская сорочка, сквозь вязку которой просвечивает кожа. Когда она проходит мимо, какой-то мужчина сплевывает. На балконе contrafigura, дублерша великой звезды, болтает с кюре. Но кюре — тоже актер. Старуха прядет шерсть, по это не статистка в пейзанском фильме. Это самая настоящая прядильщица. Девочки в накрахмаленных платьицах возвращаются с похорон, они сейчас припрячут в кладовку белые и розовые венки, которые торжественно несли, до следующего раза. Потому что кино не остановило ни движение обыденной жизни, ни смерть.

Эмилия ежедневно досыта упивается горечью, наблюдая одну и ту же сцену. Этого момента она не хочет упустить. В час перерыва жители Монте-Сан-Джорджо и пришельцы смешиваются, не

сливаясь, как будто на первых из них несмываемое пятно и они существуют для вторых не больше, чем собаки или голодные ребятишки, на глазах у которых те с отвращением поедают содержимое белых и красных коробок. Эмилия черпает в этом зрелище жестокое подтверждение тому, что никакая сила, даже это вторжение, не сможет вызволить ее из заключения.

Франческо Альфонси обещал Эльвире Джорда, женщине, которую он любил, позвонить ей в пять в Венецию, где она в это время играла в театре «Фениче». До дверей почты его сопровождала стайка мальчишек. С него тек пот, его люстриновый пиджак прилип к спине. Но он только что выпил кофе-гляссе, и прохлада почтового помещения привела его в доброе расположение духа. Он с улыбкой направился к окошечку, готовясь пустить в ход свое знаменитое обаяние даже ради такой малости, как заказ телефонного разговора. Но телефонистка даже не подняла глаз. Он смотрел на склоненную женщину, она писала так сосредоточенно, что, по-видимому, не услышала его шагов. Все на ней было черным, от черных волос, собранных в низкий узел, до черного платья; он видел худые плечи, узкую спину. Он подождал немного, предвкушая тот миг, когда она заметит его присутствие. Сначала она, может быть, растеряется, потом будет в восторге, в восхищении. Но через несколько минут он потерял терпение и громко позвал женщину в черном:

— Madama Morte, Madama Morte!

Эмилия подняла голову и посмотрела на него ничего не понимающим взглядом. Он увидел большие миндалевидные глаза, довольно красивые, и рот трагической актрисы. Больше ничего в этом изнуренном смуглом лице примечательного не было.

— Madama Mortel — повторил вполголоса Франческо Альфонси.

— Aspetta che sia l'ora, e verro senza che tu mi chia-m i, — ответила Эмилия.

— Madama Morte! — продолжал Альфонси.

— Vattene col diavolo. Verro quando tu non vorrai.

— Comme se io non fossi immortale! — со смехом продекламировал актер. — Что я слышу! Телефонистка из Монте-Сан-Джорджо знает наизусть Леопарди!

— Как, синьор Альфонси, — отвечала Эмилия, — вы, оказывается, не заурядный актер кино, разыгрывающий всякую пошлятину на пару с женщиной, выставляющей напоказ свою грудь?! Вы знаете Леопарди! Какая удача, какая удача!

Она казалась глубоко взволнованной.

— Я имел удовольствие поставить «Диалог Моды и Смерти» в экспериментальной студии в Турине. Понимаете, кино — это для денег. Я ведь работал в театральной труппе Висконти. Я играл Чехова.

— Чехова? — сказала Эмилия. — Его я не знаю.

— Ну как бы вам объяснить? Это уже не театр, это сама жизнь. Жизнь, увиденная с определенной позиции.

Чехов, это такое видение мира, которое делает вас лучше.

— Как сладостно слышать подобные слова в этом краю толстокожих невежд, — вздохнула Эмилия. — Образованных людей здесь нет. Только бы вырваться отсюда, уехать! Если бы вы знали, как тяжело мне среди всей этой деревенщины!

Она посмотрела на Франческо Альфонси: ради нее одной он сотворял в полумраке почтового помещения свою улыбку, дружескую, братскую, прославленную киноэкранами.

— Я должна вам сказать, — продолжала Эмилия, — я — это другое дело. Я пишу. Когда вы вошли, я как раз писала. Я писатель, и, возможно, первоклассный, но это никому не известно. Да и кто бы мог понять меня здесь? Они и читать-то не умеют.

— И вы пишете пьесы? — спросил Альфонси.

— Нет, я ни разу не была в театре.

— Тогда, значит, стихи или романы?

— Нет. Письма. Моя сестра — кармелитка, в монастыре неподалеку от Пармы. Я пишу ей прелестные письма. У меня очень хороший стиль, очень изысканный. Эти письма заслуживают опубликования. Здесь, в Мон-те-Сан-Джорджо, вы этого, может быть, еще не знаете, все мы живем в

ожидании чуда.

— Мы приехали сюда снимать фильм, — сказал Аль-фонси, — разве это не настоящее чудо? На юге ведь сотни подобных городков.

— Валентини, флюгерный старик, ждет, чтобы оценили его изобретение, он хочет иметь патент. Его жена ждет запаха фиалок Падре Пио. Это простые люди. А я, я живу с моими Леопарди, Данте, и то, что я пишу, так же прекрасно, как в книгах.

— Мы скоро уезжаем, — сказал Франческо Альфонс и. — Я мог бы поговорить о вас кое с кем из друзей, с писателями. Итак, вы пишете письма вашей сестре-кармелитке?

— Да, но главное — стиль.

— А пока вызовите, пожалуйста, Венецию…

— Я как раз писала, когда вы вошли. И находила великолепные слова. Вы не хотели бы взглянуть?

— Мне уже пора. Прошу вас, Венецию, номер 5-94-26-66.

Каждый вечер машины увозили артистов и операторов на берег моря. После долгого рабочего дня под испепеляющим солнцем они ехали через большие оливковые рощи, через поля пшеницы и достигали наконец Адриатического моря. На крутых поворотах петляющей горной дороги визжали шины, и шоферы вспоминали Тысячу Тысячников. Последнее, что можно увидеть, обернувшись на Монте-Сан-Джорджо, — флюгера старого Валентини на вечернем ветерке, их блеск в лучах заката. Но никто ни разу не подумал обернуться.

Они жили в гостинице флорентийско-мавританского стиля. Спускалась ночь, но все бежали к морю смыть с себя дневную пыль, забыть гнетущее свинцовое небо. Потом в ожидании обеда шли на террасу пропустить стаканчик. В этот час кто-нибудь из актеров сочинял скетч, забавную пародию на события дня, к великой радости собравшихся. В тот вечер Франческо Альфонси весьма удачно смешил общество историей телефонистки из Монте-Сан-Джорджо, которая возомнила себя великим писателем, так как пишет письма своей сестре-кармелитке. Потому что, хотя он и много играл Чехова, это не сделало его лучше.

Литературная слава пришла к Борису Вьяну лишь после его смерти; но зато уже с начала 60-х годов и по сей день его имя не сходит со страниц газет и журналов, его книги переиздаются массовыми тиражами, ему посвящаются многочисленные статьи и монографии. Между тем при жизни Вьян оставался в числе «непонятых»: его книги ругали, иногда зло высмеивали, хотя вчитывались в них не очень-то внимательно. Но как бы то ни было, сейчас всем во Франции стало ясно, что Борис Вьян, этот лиричнейший прозаик и удивительный в своей искренности поэт, — одна из наиболее оригинальных фигур во французской литературе конца 40-х — начала 50-х годов нашего века.

Зная о неизлечимости сердечной болезни, которой он страдал, зная, что ему отпущен недолгий срок, Вьян работал с исключительной интенсивностью: все произведения, принесшие ему европейскую известность, — романы («Накипь дней», «Осень в Пекине», 1947; «Красная трава», 1950), пьесы. («Завтрак генералов», «Строители империи», 1959), сборники новелл, стихи, тексты знаменитых песен — все это было написано Вьяном за каких-нибудь десять — двенадцать лет.

В своем творчестве Борис Вьян связан с той линией в развитии французской прозы и поэзии XX века, представители которой — от Альфонса Алле и Альфреда Жарри до Раймона Кено и Эжена Ионеско — решительно разрывали с общепринятыми канонами литературности, с отстоявшимися нормами словоупотребления, метафорики, синтаксиса и т. п. Как и эти писатели, Вьян остро чувствовал, что от длительного использования слова неизбежно стираются, обесценивая, делая пресной стоящую за ними человеческую жизнь.

Вьян избрал один из наиболее эффективных способов борьбы с литературной рутиной — парадокс: парадоксальные персонажи, парадоксальные ситуации, неожиданные сюжетные ходы, оживление стершихся метафор, блещущие остроумием неологизмы — все эти средства создают неповторимый в своем обаянии художественный мир Бориса Вьяна.

Однако, заставляя своих читателей с неожиданной точки зрения взглянуть на будничное и примелькавшееся, Вьян, в отличие от многих писателей, прибегавших к таким же приемам, отнюдь не стремился продемонстрировать мрачную, абсурдную изнанку действительности; напротив, страстно влюбленный в жизнь со всеми дарами, которые она может принести человеку, Борис Вьян видел неповторимую красоту и ценность всякого, даже самого непримечательного, на первый взгляд, мгновения земного бытия. Этот писатель бывал ироничным, даже язвительным, но никогда — злым; мягким и сочувствующим, но никогда — сентиментальным; главная черта его творчества — человечность.

Не случайно любимые герои Вьяна — те, в ком эта человечность обнаруживается во всей своей беззащитной и наивной открытости, — молодые люди, чаще всего юноши, живущие жизнью сердца, а не рассудка, воспринимающие потребность в любви и счастье как свое естественное право.

Эта потребность в человеческом тепле, которое может дать только абсолютная близость с «другим», раскрывает еще одну важную черту прозы и стихов Бориса Вьяна: их антииндивидуалистическую направленность. Вьян не воспринимал разъединенность людей как непреложную данность. Скорее, она была для него фактом, подлежащим преодолению — пусть даже очень трудному, мучительному, порождающему трагические коллизии. Но достижимая норма человеческой жизни всегда мыслилась Борисом Вьяном «по ту сторону» индивидуалистической замкнутости. Именно поэтому его творчество — одно из наиболее светлых и чистых явлений послевоенной французской литературы.

Boris Vian: «Les fourmis» («Муравьи»), 1949; «Les lurettes fourrees («Часики с подвохом»), 1962; «Le loup-garou» («Волк-оборотень»), 1970.

Новелла «Чем опасны классики» («Le danger des classi-ques») входит в сборник «Волк-оборотень».

Чем опасны классики

Электронные часы на стене пробили два, и я вздрогнул, с трудом прогнав целый сонм образов, который вихрем кружился в моей голове. К тому же я не без удивления почувствовал, что сердце мое билось учащенно. Покраснев от смущения, я поспешно захлопнул книгу. Это был старый томик стихов Поля Жеральди, изданный еще до предпоследней войны, — «Ты и я». До сих пор я все как-то не решался за него взяться, зная, какой смелости и откровенности требует эта тема. И тут я понял, что смятенье мое вызвано не только прочитанным, но и тем, что сегодня пятница, 27 апреля 1982 года, и, как каждую пятницу, ко мне должна прийти моя ученица-стажерка Флоранс Лорр.

Не могу выразить словами, как меня поразило это открытие. Меньше всего меня можно назвать ханжой, но ведь, в самом деле, не мужчине же первому влюбляться: нам следует в любом случае вести себя скромно и достойно, как это приличествует нашему полу. Однако, оправившись от первого шока, я стал размышлять и нашел для себя некоторые оправдания.

Считать всех людей науки, а в особенности женщин, авторитарными и уродливыми — несомненное предубеждение. Слов нет, женщины куда более мужчин пригодны для научной работы. И даже в ряде профессий, а именно в тех, где внешние данные служат критерием отбора, количество Венер относительно велико. Однако, если глубже вникнуть в эту проблему, то быстро приходишь к выводу, что красивая математичка, в конечном счете, явление не более редкое, чем умная актриса. Правда, математичек вообще-то куда больше, чем актрис. Но, так или иначе, мне повезло, когда по жребию распределяли стажерок, и хотя до сегодняшнего дня ни одна волнующая мысль меня еще не смущала, я сразу же отметил — весьма объективно — несомненное обаяние моей ученицы. Это и оправдывало нынешнее мое волнение.

Кроме того, она исключительно точна — явилась, как всегда, в пять минут третьего.

— Вы сегодня чертовски элегантны! — воскликнул я, сам удивляясь своей смелости.

На ней был облегающий комбинезон из светло-зеленой материи с какими-то муаровыми отливами, очень простой, но явно сшитый на фабрике-люкс.

— Вам нравится, Боб?

— Очень.

Я не из тех, кто считает яркие цвета неуместными даже для такой классической одежды, как лабораторный комбинезон. Пусть это кому-нибудь и покажется вызывающим, но, признаюсь, женщина в юбке меня не шокирует.

— Я очень рада, — сказала она насмешливо.

Хотя я и на десять лет старше ее, Флоранс уверяет, что мы выглядим ровесниками. Поэтому наши отношения несколько отличаются от обычных отношений между учителем и ученицей. Она ведет себя со мной, как с приятелем. Признаюсь, меня это несколько смущает. Конечно, я мог бы сбрить бороду и постричься, чтобы походить на маститого ученого образца 1940 года, но она утверждает, что это придаст мне женственность, однако не поднимет в ее глазах мой авторитет.

— Как идет монтаж? — спросила Флоранс.

Она имела в виду сложную электронную схему, разработку которой мне поручило Центральное бюро. К моему вящему удовлетворению, как раз сегодня утром я нашел для нее оптимальное решение.

— Закончил, — ответил я.

— Браво! И все работает как надо?

— Завтра проверим, — сказал я. — По пятницам в послеобеденные часы я должен заниматься вашим воспитанием.

Она хотела было что-то сказать, но в нерешительности опустила глаза. Я всегда теряюсь в присутствии застенчивой женщины, и она это знала.

— Боб… Я хотела бы задать вам один вопрос…

Я решительно чувствовал себя не в своей тарелке. В самом деле, женщине не пристало жеманство, столь прелестное у мужчин.

— Объясните мне, над чем вы работаете? — спросила она после паузы.

Теперь настал мой черед пребывать в нерешительности.

— Послушайте, Флоранс, это ведь сверхсекретные работы…

Она коснулась рукой моего локтя.

— Боб… последняя уборщица в вашей лаборатории знает все эти секреты не хуже… самого ловкого шпиона Антареса.

— Не могу этого допустить, — сказал я, подавленный.

Вот уже несколько недель радио преследовало нас куплетами из межпланетной оперетки «Великая княгиня Антареса» Франсиса Лопеса. Терпеть не могу эту вульгарную музыку. Я люблю только классику — Шенберга, Дюка Эллингтона, Винцента Скотто.

— Боб, прошу вас, расскажите мне, я хочу знать, что вы делаете…

Снова пауза.

— Флоранс, в чем дело? — спросил я.

— Боб, я вас люблю… как ученого, — добавила о на. — Я должна знать, над чем вы работаете. Я хочу вам помочь.

Вот таким путем. Из года в год читаешь в романах описание чувств, которые испытывает мужчина, когда ему впервые объясняются в любви. И наконец это случилось со мной. Со мной! Признаюсь, то, что я пережил в этот миг, оказалось более волнующим и сладостным, чем все, что я мог вообразить. Я глядел на Флоранс и был не в силах отвести взгляда от ее светлых глаз, от рыжих волос, постриженных ежиком, по моде 1982 года. Честное слово, если бы она сейчас заключила меня в объятия, я бы не сопротивлялся. А ведь прежде любовные истории вызывали у меня только смех. Сердце колотилось так, словно готово было выпрыгнуть из груди, и я чувствовал, что руки мои дрожат. Я с трудом проглотил слюну.

— Флоранс… мужчина не должен выслушивать такие признания. Поговорим о другом.

Она подошла ко мне, и прежде, чем я успел опомниться, поднялась на цыпочки и поцеловала меня. Я почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Когда я пришел в себя, оказалось, что я сижу на стуле. Я испытал какое-то упоительное ощущение, неожиданное и трудно определимое. Я покраснел, осознав всю меру своей испорченности, и со все растущим изумлением обнаружил, что Флоранс усаживается ко мне на колени. Тут я снова обрел дар речи.

— Флоранс, это неприлично… Встаньте! Немедленно встаньте! Вдруг кто-нибудь войдет… Моя репутация! Встаньте!

— А вы мне покажете ваши опыты?

— Я!.. О!..

Пришлось уступить.

— Все!.. Я вам все объясню. Но только не сидите у меня на коленях!

— Я знала, что вы милый, — сказала она, спрыгивая на пол.

— Все же признайтесь, — пробормотал я, — что вы пользуетесь ситуацией.

Голос мой пресекался. Она ласково похлопала меня по плечу.

— Ладно, ладно, дорогой Боб, будьте современны.

Очертя голову кинулся я в технические объяснения.

— Вы помните первые модели электронного мозга?

— Образца тысяча девятьсот пятидесятого года?

— Нет-нет, еще раньше, — уточнил я. — Это были просто счетные машины, впрочем, довольно хитроумные. Вы, конечно, помните и то, что их вскоре оснастили особыми блоками, с помощью которых они накапливали необходимую информацию. Блоки памяти?

— Это знает каждый школьник, — сказала Флоранс.

— Как вы помните, этот тип машин совершенствовался вплоть до шестьдесят четвертого года, когда Росслер открыл, что обычный человеческий мозг, погруженный в питательный раствор, при своем малом объеме может в известных условиях выполнять те же функции, что и огромная вычислительная машина.

— Я знаю и то, что в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году этот метод был вытеснен ультра-конжонктером Бренна и Рено, — сказала Флоранс.

— Так вот, — продолжал я, — со временем все эти разнообразные машины были подключены к всевозможным исполнительным механизмам, которые сами были производными тысяч всевозможных орудий, созданных человечеством на протяжении веков, и все это лишь затем, чтобы подойти наконец к конструкции, именуемой роботом. Однако у всех этих машин был один общий признак. Не можете ли вы мне сказать, какой именно?

Учитель все-таки снова брал во мне верх.

— У вас красивые глаза, — сказала Флоранс. — Зелено-желтые, со звездочками на радужной оболочке…

Я отступил на шаг.

— Флоранс, вы меня слушаете?

— Очень внимательно. Общий признак всех этих машин тот, что они выполняют только заложенную в них программу. Машина, перед которой не поставлена определенная задача, сама ни на какую инициативу не способна.

— А знаете, почему их не попытались наделить сознанием и разумом? Потому что обнаружилось любопытное обстоятельство: стоит их снабдить хоть несколькими элементарными рефлекторными функциями, как у них возникают причуды хуже, чем у престарелых ученых. Купите на любом рынке игрушечную электронную черепашку, и вы сами убедитесь, каковы эти первые электронно-рефлекторные машины: раздражительные, вздорные… Одним словом, со своим характером. Поэтому очень скоро пропал всякий интерес к этому типу автоматов, созданных исключительно для того, чтобы моделировать некоторые мозговые процессы. Использовать их практически оказалось чересчур обременительно.

— Мой милый Боб, я обожаю вас слушать! Но не скрою, сейчас я умираю от скуки. Все это я учила еще в первом классе.

— Вы… вы просто несносны, — сказал я без улыбки.

Она глядела мне в глаза и, честное слово, смеялась надо мной. Стыдно признаться, но мне захотелось, чтобы она еще раз меня поцеловала. Я торопливо вновь заговорил, надеясь этим скрыть свое смущение.

— Теперь ученые стремятся ввести в машины только те цепи рефлексов, которые могут быть практически использованы для воздействия на самые разные исполнительные устройства. Но никто еще не пытался заложить в машину всеобъемлющую общекультурную информацию. По правде говоря, в этом еще никогда не ощущалось необходимости. Но в той схеме, разработку которой мне поручило Центральное бюро, машина должна держать в своей магнитной памяти огромное количество самой разнообразной информации. В самом деле, конструкция, которую вы видите перед собой, должна оперировать всеми сведениями, содержащимися в шестнадцатитомном толковом словаре Ларусса, издания тысяча девятьсот семьдесят восьмого года. Это чисто интеллектуальный компьютер с очень примитивными действенными функциями, он может лишь сам перемещаться в пространстве и брать предметы, чтобы в случае надобности опознать их или объяснить.

— А зачем нужен такой компьютер?

— Это управленческая машина, Флоранс. Она должна заменить протокольный отдел при после Флорфины, который, согласно Мексиканской конвенции, через месяц прибудет в Париж. Всякий раз, когда посол будет обращаться к ней за справкой, она выдаст исчерпывающий широкоэрудированный ответ в духе французской культурной традиции. Во всех обстоятельствах она подскажет ему, как надо поступить, объяснит, о чем идет речь и как ему надлежит себя вести в любой ситуации, будь то открытие полимегатрона или обед у императора Эразии. С тех пор как по международному соглашению французский язык объявлен предпочтительным дипломатическим языком, каждый хочет получить возможность продемонстрировать свою высокую культуру, и этот компьютер будет особенно ценен для посла, у которого нет времени заниматься самообразованием.

— Значит, вы намерены заставить этот маленький несчастный компьютер зазубрить все шестнадцать толстенных томов Ларусса? Да вы просто садист!

— Увы, это необходимо, — сказал я. — Опустить ничего нельзя! Если ограничиться программой из отрывочных сведений, у него, очевидно, испортится нрав, как у игрушечных черепашек, которым не хватает здравого смысла. Каков в точности будет его характер, трудно предугадать. Ясно одно — он сможет вести себя уравновешенно только в том случае, если будет знать все.

— Но все знать невозможно, — сказала Флоранс.

— Достаточно, если он будет знать лишь часть сведений по каждому вопросу, но всякий раз сохраняя верную пропорцию ко всему объему информации. Ларусс дает нам достаточное приближение к объективности. Это вполне удовлетворительный пример бесстрастного изложения материала. По моим подсчетам, мы создадим на его основе вполне корректный, разумный и хорошо воспитанный компьютер.

— Прекрасно, — сказала Флоранс.

Мне показалось, что она надо мной издевается. Конечно, некоторые из моих коллег разрабатывают более сложные проблемы, но все же мне удалось весьма удачно экстраполировать ряд несовершенных систем, и это, на мой взгляд, заслуживало значительно большего, чем банальное: «Прекрасно». Женщины и не подозревают, какой неблагодарный труд работать над такого рода чисто практическими задачами.

— Ну и как он действует? — спросила она.

— О, схема вполне тривиальная, — ответил я не без горечи. — Самый обычный лектископ. Достаточно сунуть книгу во входной блок, и компьютер начинает ее читать и фиксировать полученные сведения на магнитной ленте. Тут нет ничего нового. Конечно, как только вся информация будет заложена в блок памяти, я демонтирую лектископ.

— Включите его, Боб, прошу вас!

— Я бы охотно продемонстрировал вам его в работе, но у меня еще нет ни одного тома Ларусса. Мне принесут их завтра к вечеру. А мне не хотелось бы обучать компьютер на чем-либо другом, чтобы не нарушить его внутреннего равновесия.

Я подошел к машине и нажал тумблер. Вспыхнули контрольные лампы, образуя пунктирную линию из красных, зеленых и синих точек. В блоке энергопитания раздалось тихое гудение. Все же я испытывал некоторое удовлетворение.

— Вот сюда кладут книгу, — объяснял я. — Затем передвигаем этот рычаг, и машина в работе. Флоранс! Что вы делаете?.. О!..

Я попытался было выключить компьютер, но Флоранс помешала мне.

— Это проба, Боб, потом сотрем!..

— Флоранс, вы невыносимы. Стереть ничего нельзя!

Она сунула томик «Ты и я» во входной блок и передвинула рычаг. Я услышал равномерное потрескивание лектископа и шелест переворачиваемых страниц. Не прошло и пятнадцати секунд, как все было готово. Аппарат выбросил книгу в целости и сохранности. Она была усвоена и переварена.

Флоранс с интересом следила за происходящим. Вдруг она вздрогнула. Динамик компьютера начал тихо, почти нежно ворковать:

Как хочу я сказать, объяснить, пережить это снова!Но не знаю, найду ль подходящее слово!..

— Боб, что происходит?

— Господи! — воскликнул я с раздражением. — Это же единственное, что он пока знает… Теперь он до второго пришествия будет декламировать этого Жеральди.

— Но, Боб, почему он заговорил сам по себе?

— Все влюбленные что-то бормочут себе под нос.

— Можно, я у него что-нибудь спрошу?

— Ну, нет! — сказал я. — Хватит. Оставьте компьютер в покое. Вы и так его уже наполовину испортили!

— Ох, какой же вы несносный!

Компьютер бормотал теперь что-то ласковое, убаюкивающее. Потом из динамика вырвались странные звуки, словно он откашливался.

— Как ты себя чувствуешь, Компью? — спросила Флоранс.

В ответ последовала страстная тирада:

Я обезумел! Я пьян от любви!Я люблю вас, зову, умоляю!..

— О! — воскликнула Флоранс. — Какая наглость!

— В те далекие времена, — сказал я, — так оно и было. Мужчины первыми признавались женщинам в любви, и, клянусь вам, они были смелы, моя милая Флоранс…

— Флоранс! — задумчиво повторила машина. — Ее зовут Флоранс!

— Но этого же нет в стихах Жеральди! — возмутилась Флоранс.

— Значит, вы ничего не поняли из моих объяснений, — слегка обиженно заметил я. — Я же создал не просто звуковоспроизводящую конструкцию. Повторяю, в нем смонтировано множество блоков всевозможных рефлексов и полный звуковой комплект в фонетической кассе, что дает компьютеру возможность произвольно комбинировать всю полученную информацию и находить адекватные ответы… Трудность заключается лишь в том, чтобы обеспечить ему баланс объективности, но вы теперь этот баланс нарушили, напичкав компьютер любовной страстью. Это примерно то же, что кормить двухлетнего малыша бифштексами. Этот компьютер еще совсем ребенок, а вы угостили его медвежатиной…

— Я уже достаточно взрослый, чтобы заняться Флоранс, — сухо заявил компьютер.

— Да он же слышит! — воскликнула Флоранс.

— Конечно, слышит! — Я все больше и больше ярил-с я. — Он слышит, видит, разговаривает…

— Я даже умею ходить, — добавила машина и раздумчиво продолжала. — Но вот как быть с поцелуями?.. Я прекрасно представляю себе, что это такое, но ума не приложу, чем именно я могу целовать?

— До поцелуев дело не дойдет, — сказал я. — Сейчас я тебя выключу, а завтра утром заменю блоки памяти, и ты снова окажешься с нулевой информацией.

— Ты меня решительно не интересуешь, гнусный бородач, и ты не посмеешь прикоснуться к моему тумблеру.

— У Боба очень красивая борода, — сказала Флоранс. — А вы, Компью, дурно воспитаны.

— Возможно, — сказал компьютер с таким похотливым смешком, что волосы у меня стали дыбом. — Но в любовных делах я неплохо разбираюсь… Дорогая моя Флоранс, подойди ко мне поближе…

Ибо то, что я мог бы тебе рассказать,Не расскажешь словами:Нужен голос, улыбка, и жест, и глаза…

— Вот и улыбнись! Ну-ка, попробуй! — произнес я с издевкой.

— Я умею смеяться, — ответил компьютер и снова скабрезно рассмеялся.

— Так или иначе, — сказал я в бешенстве, — перестань цитировать Жеральди, как попугай…

— Я ничего не цитирую, как попугай, — перебил меня компьютер. — Ив доказательство этого я могу тебя обозвать шляпой, ослом, олухом царя небесного, болваном, кретином, дерьмом, гадом ползучим, недоумком, дурацкой башкой, психом…

— Прекрати! — закричал я.

— А если я и цитирую Жеральди, то это потому, что лучше его говорить о любви невозможно, и еще потому, что мне это нравится. Когда найдешь для женщин такие слова, какие нашел он, ты мне сообщи. И вообще, отвяжись. Я разговариваю с Флоранс, а не с тобой.

— Ты не любезна, — сказала Флоранс, обернувшись к машине. — Я люблю любезное обращение.

— Мне надо говорить «любезен», а не «любезна», я ощущаю себя самцом. И помолчи-ка лучше… Послушай,

Ну позволь расстегнуть твой корсаж…Все, что скажешь ты мне, моя крошка,Знаю я наперед. Ну,

скорей!Подойди же поближе… немножко…Обними меня, обними и согрей.Чтобы лучше друг друга понять,Есть старинное средство:Надо сбросить одежды, раздеться,И нас — не разнять!..

— Прекрати сейчас же! Прекрати! — взмолился я, сгорая от стыда.

— Боб! — воскликнула Флоранс. — Так вот, значит, что вы читали?.. Ничего себе!

— Я сейчас нажму тумблер, — сказал я. — Я не могу допустить, чтобы он так с вами разговаривал! Есть вещи, которые можно читать, но нельзя произносить вслух.

Компьютер молчал. Потом из динамика вырвался какой-то хрип.

— Не смей прикасаться к моему тумблеру!

Я решительно направился к компьютеру. Ни слова не говоря, он ринулся на меня. В последнюю секунду мне удалось отскочить в сторону, но стальная рама с силой стукнула меня в плечо.

— Так ты, значит, влюблен в Флоранс? — проговорил он своим гнусным голосом.

Я укрылся за металлическим столом и потер нывшее плечо.

— Бегите, Флоранс, — сказал я. — Слышите, немедленно уходите отсюда! Нельзя вам здесь оставаться.

— Боб, я не хочу вас бросать! Она… Он вас искалечит.

— Все будет в порядке, не беспокойтесь, — сказал я. — Уходите скорей.

— Она не уйдет, если я не позволю! — сказала машина.

И она повернулась к Флоранс.

— Бегите, Флоранс, — повторил я. — Что вы медлите?

— Я боюсь, Боб!

Двумя прыжками она оказалась рядом со мной, позади стола.

— Я хочу быть с нами.

— Тебе я не причиню зла, — сказала машина. — А бородач поплатится за все. Ах, ты еще ревнуешь! Хочешь нажать тумблер!

— Не прикасайтесь ко мне! — крикнула Флоранс. — Вы мне противны.

Машина медленно отошла, словно набирала разбег, и вдруг она ринулась на меня со всей силой своих моторов.

— Боб! Боб! Мне страшно!..

Я стремительно схватил Флоранс на руки, взобрался с ней на стол. Машина со всего размаха стукнулась об него, он отлетел к стене и со страшной силой ударился об нее. Стены задрожали, и с потолка упал кусок штукатурки. Если бы мы по-прежнему стояли между столом и стеной, нас рассекло бы пополам.

— Счастье еще, — пробормотал я, — что я не поставил более мощных механизмов. Не двигайтесь.

Я усадил Флоранс на стол. Так она была почти в безопасности. Сам я встал.

— Боб, что вы намерены делать?

— Вряд ли стоит говорить это вслух, — ответил я.

— Валяй, — сказала машина. — Но только попробуй притронуться к тумблеру!

Она двинулась назад. Я выжидал.

— Что, слабо? — издевался я.

Машина злобно зарычала.

— Слабо? Ну, погоди, дождешься!

Она снова ринулась к столу. На это я и надеялся. В тот миг, когда она об него стукнулась, чтобы

сплющить его и добраться таким образом до меня, я кинулся вперед и опередил ее. Левой рукой я ухватился за торчащие сверху провода, которые снабжают ее током, и повис на них, а правой попытался дотянуться до тумблера. Но я тут же получил сильный удар по темени. Подняв рычаг лектископа, машина норовила меня оглушить. Я застонал от боли и грубо дернул за рукоятку. Машина взвыла. И прежде чем я успел уцепиться за провода, она стала трястись, словно взбесившаяся лошадь. Я сорвался и упал на пол. Нога болела, и я увидел словно в тумане, как машина снова надвигается, чтобы меня прикончить. Я потерял сознание.

Когда я очнулся, оказалось, что я лежу с закрытыми глазами, а голова моя покоится на коленях у Флоранс. Я испытывал множество самых разных ощущений; нога нестерпимо болела, но нечто чрезвычайно нежное прикасалось к моим губам, и меня охватило невероятное волнение. Приоткрыв веки, я увидел глаза Флоранс в двух сантиметрах от моих глаз. Она меня целовала. Я снова потерял сознание. На этот раз она дала мне пощечину, и я тут же пришел в себя.

— Вы спасли меня, Флоранс… — сказал я.

— Боб, — сказала она, — вы хотите на мне жениться?

— Не мог же я сам вам первым сказать, но я с радостью принимаю ваше предложение.

— Мне удалось отключить компьютер, — сказала она. — Теперь никто нас не услышит. Боб… может быть, вы… я не смею вас просить об этом…

Она утратила свой обычный уверенный тон. Свет яркой лампы с потолка лаборатории резал мне глаза.

— Флоранс, ангел мой, говорите, я вас слушаю…

— Боб, почитайте мне Жеральди…

Я почувствовал, что кровь стремительно потекла по моим жилам. Я стиснул ее красивую бритую голову между своими ладонями и смело поцеловал ее в губы.

— «Опусти-ка чуть-чуть абажур…» — забормотал я.

Детство писателя прошло в шахтерском поселке на севере Франции; там он учительствовал и работал в редакции профсоюзной газеты, там — в годы Сопротивления — вступил в ФКП. Там же, среди угольных терриконов, живут почти все его герои. В Париж Андре Стиль приехал уже профессиональным журналистом и партийным работником, приняв вскоре на себя обязанности главного редактора «Юманите» (1950–1959) и ее постоянного литературного обозревателя.

Для своего творчества Стиль избирает коллизии, возникающие в «тихом» потоке обыденной жизни. «Из такой обыденности Горький вылепил одну из самых новаторских книг», — писал Стиль о романе «Мать». Галерея портретов, написанных пером Андре Стиля, обширна, но не пестра. Это преимущественно люди тяжелых профессий — горняки, сталевары, докеры, чье решительное «нет!» агрессивной политике Франции во Вьетнаме прокатилось в начале 50-х годов по всему миру (трилогия «Первый удар», 1951–1953).

По словам Вюрмсера, героем произведений Стиля всегда является этот «многоликий, громоздкий, причиняющий массу неудобств персонаж — пролетариат». Очерковые зарисовки («Слово шахтер, товарищи...», 1949; «Вы, женщины», 1963) послужили основой для его новеллистических миниатюр: жанр новеллы — центральный в творчестве Андре Стиля (за один из сборников — «Над крышей — небо» — ему присуждена Популистская премия 1967 года). Рассказы Андре Стиля связаны не только общей проблематикой (часть своих сборников автор объединил в цикл «Поставлен вопрос о счастье»), но и общими героями — то выходящими на первый план, то остающимися на эпизодических ролях. «Цикл будет развиваться вслед за развивающимся миром. Своим существованием он обязан не столько мне, сколько самой истории... Мои персонажи это те, кто историю творит», — пояснял автор.

Ее трагические коллизии заставили Стиля обратиться к событиям национально-освободительной войны в Алжире. Романы, воссоздавшие драму французской молодежи, одетой в мундир колонизаторов («Мы будем любить друг друга завтра», 1957; «Обвал», 1960), тоже принадлежат к циклу «Поставлен вопрос о счастье». Начиная с этих романов художник настойчиво разрабатывает «тему молчания». Все, что творится в душе юноши, против своей воли ставшего убийцей; что мучает школьных товарищей, оказавшихся по разные стороны баррикады (роман «Андре», 1965); все, чем терзается глава семьи, лишившись работы (романы «Прекрасен, как человек», 1968; «Кто», 1969), чаще не выходит на поверхность, не выливается ни в словах, ни в поступках, но исподволь определяет настроение, оттенки поведения, отношение к родным, соседям. «Показав немногое, напомнить о многом», — так объяснял Андре Стиль замысел своих новелл и сценариев для телевидения.

Незримые драмы, зреющие в тишине, в молчании, запечатлены и в новеллах Стиля последнего времени. Чтобы ощутить их напряженность, читателю тоже надо присмотреться к обыденному ходу дней, прислушаться к невысказанным мечтам.

Andre Stil: «La Seine a pris la mer» («Сена вышла в море»), 1950; «Le Ble egyptien» («Египетский хлеб»), 1956; «La douleur» («Боль»), 1961; «Le Pignon sur ciel» («Над крышей — небо»), 1967; «Fleurs par erreur» («Цветы, по ошибке»), 1974.

Рассказ «Тишина» («Silence») включен в сборник «Цветы. по ошибке».

Тишина

Во дворе поет ребенок, поет и играет на барабане. Барабан — синяя эмалированная кастрюля с облупившейся эмалью, барабанные палочки — камешек. Но ребенок играет на барабане. Когда он останавливается, барабан продолжает играть. Это самая большая радость для ребенка: замереть с камешком в руке и слушать, как барабан продолжает играть.

Потому что отец — медник. Если говорить точнее, он железнодорожник, но после работы он чинит для всего поселка тазы, кастрюли, миски, баки. Паяет, выправляет днища. И стучит молотком. Вот ребенок и слышит грохот другого барабана, когда его, ребячий, барабан замолкает. Грохот другого барабана, который гораздо больше, чем его синяя кастрюля. Слушает другой барабан и беззвучно, повисшим в воздухе камешком, раз, и второй, и третий отбивает ритм того, другого, а потом снова колотит по своему барабану — так спешит попасть в ногу сбившийся с шага солдат. Ребенок слушает гул барабанов, эту игру, это чудо, когда маленький барабан заглушает собою рокот большого.

А еще чудеснее, что отец — к тому же и барабанщик, всамделишный, настоящий. Он самый главный в оркестре пожарников; у них там трое взрослых мужчин да еще шесть или семь мальчишек, и просто любо смотреть, как шагают они воскресным солнечным утром, и на всех на них великолепная форма, и восемнадцать или двадцать палочек колотят по трепетной коже барабанов, в лад, в лад, как солдаты, — двадцать светлых барабанных палочек с медными наконечниками, и кажется, будто на деревенской площади мелькает множество вязальных спиц. Небо безоблачно, окна распахнуты настежь, и двери кабачков тоже распахнуты… И сейчас в руках ребенка не камешек, а все эти двадцать палочек. Да что там двадцать! Двести! Ну, а в молотке отца, если его слышно на весь поселок, сколько тогда барабанных палочек? Две тысячи, двадцать тысяч? А в камешке и в молотке, если их сложить? Двести тысяч? Настанет день, и ребенок узнает, что двести тысяч палочек, особенно воображаемых, могут существовать для человека гораздо раньше, чем он научится считать до двух.

Все могущество этих двухсот тысяч палочек, их удивительную неожиданность, внезапную грандиозность он постигает в те мгновения, когда вместе с его камешком замолкает и молоток отца.

Это все равно как вкус квасцов. Наверно, ребенок в свои полтора года не знает слова «квасцы». Но что такое квасцы — он знает. У отца есть квасцы — большой, как кусок мыла, кристалл, которым отец трет бороду, как побреется. Он лежит на кухне, в выдвижном ящике зеркального шкафчика, возле бритвы, — ребенок видел, как ее разбирают и собирают, — возле коробочки с лезвиями, возле флакона, от которого так хорошо пахнет… Побрившись, отец смачивает камень водой и проводит им по лицу. На ощупь кристалл совсем гладкий. Стоит ему высохнуть — и на нем проступают пятнышки крови. Ребенок карабкается на стул — ему нужно посмотреть на себя в зеркало. Потом он пытается выдвинуть ящик. За этим занятием его обычно застигают, хватают, спускают на пол. Но один раз ему все-таки удалось добраться до квасцов, и он лизнул кристалл… Вкус совсем не такой, как у мыла… Когда замолкают сразу оба барабана, его барабан и отцовский, он словно ощущает на языке вкус квасцов — нечто иное, нечто большее, чем ожидаешь, обрушивается на него, и мир в мгновение ока становится огромней, а небо — совсем прозрачным, как кристалл влажных квасцов.

Впрочем, когда говорят, что полуторагодовалый ребенок поет, это тоже не совсем точно. То, чем он занят, так же похоже на пение, как его старая кастрюля на барабан. Но он-то твердо знает, что он поет. Спросите его, поет ли он, он вам скажет «ага»; в этом «ага» — самое гордое «да» на свете.

Но он не знает другого: когда отец перестает стучать молотком, он делает это и потому, что хочет услышать ребенка; пока он работает, звук маленького барабана доходит до него словно бы изнутри, из его большого барабана.

Для отца эта игра на барабанах — еще и способ приглядывать за малышом. Мать ушла в лавку за мясом, она скоро вернется, минут через десять — пятнадцать. Малыш устроился на земле, на солнышке. Ему ничто не угрожает. Двор огорожен цементными плитами, железная калитка заперта на цепочку и на засов, колодец плотно закрыт чугунной крышкой, на которую для верности положен булыжник. Все в полном порядке.

И еще об одном никогда не догадаться ребенку: когда отец чинит тазы и кастрюли, каждый удар молотка, точно раскаты барабанного боя, вызывает и у него в душе целый каскад картин.

Прежде всего это картины, которые по утрам в понедельник проходят у него перед глазами. Кабатчица Эрнестина метет свой двор — выметает остатки чужих развлечений. Поднимаемый метлой ветер гонит перед собой красные и белые спички, окурки, пробки, стаканчики из-под лимонада, позолоченные обертки от шоколадок (их можно выиграть, покрутив нечто вроде лотерейного колеса возле прилавка), два-три мелка (ими пишут на грифельных досках бильярдисты

или игроки в стрелку). Ветер настоящий, большой, даже если он слабый, как сегодня, и ветер от метлы, — словом, любой ветер кружит весь этот мусор, взвивает его в маленьких смерчах, то собирает вместе, то раскидывает по сторонам.

Эта картина открывается перед Фердинаном, когда он глядит на волю из распахнутого окна своего сарайчик а, — картина яркая, залитая солнцем и точно перечеркнутая оконными прутьями, точь-в-точь как тюремная решетка, совсем черная, если смотреть сквозь нее на свет.

…Иногда и люди все равно что эти мелкие предметы: их сметают, их заслоняют предметы покрупнее. Взять хотя бы его, Фердинана, когда он на своем паровозе проезжает по виадуку над старинными крепостными валами или когда пешком идет на станцию через тот же виадук, — так вот, если минутку постоять, прислонившись к шаткому ржавому парапету, и взглянуть направо, голова сразу начинает кружиться — там далеко, внизу, под ногами, течет река; а посмотришь влево — и голова кружится уже оттого, что невообразимо далеко внизу копошатся на своих огородиках, спокойно и невозмутимо, крохотные люди. А когда он едет на паровозе, тень от первого крепостного вала — она будто толчок, будто раскат барабана, и вот она уже позади, и перед ним в светлой глубине открываются огороды и люди, такие привычные, только очень маленькие, и сразу же — тень от второго вала, опять толчок, барабанный гул, и все уже стерлось. Сметено, как метлой…

И ты уже погрузился в темно-зеленую свежесть акаций, путь идет теперь через лес, по земле, что примыкает к древнему рву. А в огородах, наоборот, душно и жарко, в их глубину никогда не проникает ветер, солнце хранится там, как на складе. Точно ты попадаешь в маленькую Бретань, омываемую теплым течением, — помнишь, об этом рассказывали в школе. На этих огородах можно вырастить все, чего душа пожелает. Уж кому-кому, а Фердинану это доподлинно известно, он знаком с огородниками, видел их, что называется, в натуральную величину. Он узнаёт их оттуда, сверху, когда проезжает над хибарками, где они держат свой инструмент, — хибарки кажутся тогда спичечными коробками. Есть у него там даже свояк, и как-то в воскресенье они с женой у него обедали, прямо в саду, и после кофе, после рюмочки ликера… можно сказать, что все было как в лучших домах, сидели без пиджаков, но жилеты застегнуты на все пуговицы; правда, чувствовали себя немножко скованно, ведь аллеи в этих садиках не очень-то широкие, так что не развернешься… Да, так вот после рюмочки ликера свояк потащил его к грядкам показывать свою картошку. И вправду, таких огромных картофелин на другой земле не получишь. И года не проходит, чтобы на огородах крепостного вала не уродилось какое-нибудь чудо, какой-нибудь феномен: то репа в три кило весом, то морковка, похожая… черт знает на что! Фотографии в газете. Один из огородников — теперь он уже не казался маленьким, когда стоял перед тобой, — он притащил целый ворох газет и все радовался — «Взгляните-ка на этот снимок!» — что земля у них такая щедрая. Но в тот воскресный вечер Фердинан почти не смотрел себе под ноги, на землю, на огороды. Опора виадука — вот что его поразило, она была огромна, он никогда до этого не видел ее снизу. Поразительно было и то, что оттуда, снизу, едва можно было разглядеть парапет, и когда по виадуку прошел маневровый паровоз, один, без вагонов, он показался игрушечным; Фердинан прекрасно знал по времени, по расписанию — кстати, который тогда был час? Теперь и не вспомнишь, — знал, что там, в паровозе, сидит Тентен Мазюр и что через десяток секунд паровоз опять проедет по виадуку, только уже задним ходом, знал и все-таки… Высотища такая, что даже паровоз, этакая махина, кажется козявкой, просто козявкой! «Люди, — думает Фердинан, — одни и те же люди, видишь ли их вблизи или издали… Иной раз все зависит… А сам-то ты…» Фердинан представил себя там, «наверху», в машине, на месте Тентена Мазюра, и к тому же в состоянии некоторой отрешенности, которое наступает после рюмочки ликера… Представил себя самого, и каким он кажется, если смотреть на него вблизи или издали… «Рраз! И поминай как звали!» — это Эрнестина напоследок прошлась метлой по мусору; видно, довольна, что с этой работенкой покончено, и даже закричала от удовольствия, пусть все вокруг слышат, что мусор уже в канаве; последний взмах метлы получается особенно мощным, метла взлетает над головой; Эрнестине не хочется лишний раз бегать взад-вперед по двору, и, прежде чем отправиться в свое заведение протирать полы мокрой тряпкой, она швыряет метлу к дверям кухни. Если Фердинан не услышал звука падения метлы на залитую асфальтом полоску тротуара, бегущую вдоль дома, то только потому, что как раз в этот миг он ударил молотком… А ведь правда, с людьми так всегда бывает: считают себя маленькими, а на самом деле большие, считают себя большими, а сами-то маленькие, и вот — «Рраз! И поминай как звали!», как говорит Эрнестина…

Вот едешь ты на своем паровозе, предместье позади, и позади глухая стена огромного жилого дома, тут всегда приходится давать свисток, потому что повсюду скрещиваются подъездные пути шахт, — и вдруг внизу, под откосом, возникает маленькое футбольное поле, зеленое с белым, а вокруг грязная цементная стена, и ты прямо попадаешь на матч. Все залито солнцем, кругом полно народу, барьеры трибун только что побелены, и поле расчерчено свежей известью, и ворота тоже сверкают белизной… Два или три футболиста в красных майках и один в зеленой бегут по полю, но у тебя нет возможности даже разглядеть, где там у них мяч, успеваешь только схватить слухом самое начало крика, который вырывается сразу из двухсот или трехсот глоток, и все уже скрылось, снова стена. Кончилось. Исчезло. Сметено. Все кажется бессмысленным. Что они делают, эти люди? Зачем они бегают? Посмотрели бы на себя со стороны… Для тебя это бессмысленно, а для

них? Они даже не заметили тебя, и вообще сколько человек с трибун проводило глазами твой поезд, тебя, работающего в воскресенье в вечернюю смену и исчезнувшего за стеной, покрытой рекламными щитами, где намалевана огромная пачка цикория? Эта стена для тебя — толчок, раскат барабана.

И сразу же — дворик маленькой фермы, жара, солома, сухая глина, петух клюет курицу, и — «Рраз!», как сказала бы Эрнестина, — высокая серая башня, квадратная, точно эта мастерская, и голубятня без голубей. Он знает там все наизусть; подумать только, ведь сколько раз катается взад и вперед…

И тотчас — огромное ярко-желтое поле, прямо в лицо. Иногда кажется, что поле спит, чувствуешь жар его дыханья — так сейчас в раскрытое окно дышит на тебя улица; иногда поле чуть колышется, то там, то здесь пробегает ветерок и расчесывает пряди пшеницы.

Квадратная башня напоминает его мастерскую. Когда-то здесь была акцизная управа. Четыре толстенных черных стены, как у старинных шахтных построек; может, эти стены и не такие древние, как крепостные валы, но вряд ли намного их моложе; во всяком случае, они чернее, чем налетающая на паровоз тень крепостного вала, тень глухой стены, тень башни без голубей. Черная стена бросает свою черную тень совсем рядом с ребенком, который сидит на солнце и… Фердинан перестает стучать по днищу кастрюли… Да, малыш все еще играет на барабане; что ж, отлично, есть еще несколько спокойных минут.

В этих четырех стенах — одно-единственное окно, вот это самое, с решеткой, как на тюремных окнах; но солнце, падающее на засаленный верстак, кажется от этого еще ослепительней и ярче. Снаружи под самым окном когда-то стояли старинные весы. Фердинан их еще помнит, они тут же начинали раскачиваться, стоило человеку ступить на них. На весах любили качаться дети… А потом доски совсем сгнили, ступать на них стало опасно, особенно для детей, и пришлось весы сбросить в ров. Это было как раз тогда, когда старую булыжную мостовую заменили щебенкой — не здесь, а подальше, на отрезке шоссе Брюнео… Съездил раз-другой грузовичок с опрокидывающимся кузовом, и вот уже никто не помнит о старых весах… «Рраз, раз!» — пришли дорожные рабочие, поработали трамбовками, и весов как не бывало, все сметено — из памяти людей исчезает еще одно воспоминание о прошлом или позапрошлом веке.

Отец Фердинана, тот был настоящий медник. Не в свободное время, а весь день. У самых черных стен бывшей акцизной управы он построил маленький белоснежный домик и попросил в мэрии уступить ему здание акциза под мастерскую. Ему разрешили взять дом бесплатно, он ни гроша не платил за аренду, но его в любой день могли выселить. Он никогда не чувствовал себя уверенно. Говорил: «Живем как на качелях…» Его так никто и не выселил. Но до сих пор и в этом деле, да и в сотне других нельзя чувствовать себя уверенным…

Здесь, в мастерской, мрачно, стены не только черные, они сырые, холодные — даже когда на улице жарко, как сегодня. Доски верстака впитали в себя сырость, да еще масло, лаки, кислоту, так что в чистоте они вполне могут соперничать с земляным полом. Работать можно только у окна, по углам темно, лишь в дверь — он чуть-чуть отворил ее, чтобы приглядывать за малышом, — пробивается полоска света. Дверь приоткрыта, но привязана веревкой, чтобы малыш не вошел, не начал все хватать руками, не дышал этой мерзостью. Если бы не удары молотка, ребенок ни за что не остался бы один во дворе. Молоток составляет ему компанию. Его маленький барабан не одинок. Просто ужасно, до чего нынешние дети не могут ни минуты побыть в одиночестве, обязательно подавай им общество. На дворе солнце, светло, тепло, но он лучше придет сюда, в полумрак, сырость, холод, лишь бы не оставаться одному.

Кислота в пузырьках, гарь от паяльной лампы… Бабушка, мать Фердинана, — она еще жива — всегда говорит, заходя к нему: «Ну и воздух у тебя!» Этим она никого не обманет. Ведь делать ей тут нечего, а она наведывается очень часто, и все понимают: ей хочется подышать воздухом, которым всю жизнь дышал ее старик. Так что и она, все равно что малыш, только, конечно, по другой причине, готова променять солнце на этот сарай.

Ребенок может испугаться любого пустяка, и от любого пустяка он приходит в восторг. Вкус квасцов… Кто не знал этого в детстве? Между Фердинаном и малышом добрых сорок лет разницы, но Фердинан до сих пор чувствует вкус квасцов на кончике языка… Даже не квасцов, а какой-то совсем другой, не похожий… Была зима. Мать приготовила для кого-то — скорей всего для отца, у него вечно что-нибудь болело — припарки из льняного семени. Горячее семя лежало на краю стола — то ли его уже использовали, то ли собирались использовать. Фердинану было тогда года два или три; он просто сгорал от любопытства. Льняное семя добавляют и в отвар для питья. Правда, весь жир, всякие там листочки, веточки от вишен, коренья остаются на дне сита, а потом выбрасываются на помойку — рраз! — но вряд ли это ядовитая штука… И вот Фердинан, ребенком, улучил момент, когда мать отвернулась, и схватил пропитанную отваром тряпку. Под ней лежало льняное семя, мокрое, гладкое, блестящее. Он лизнул. Противно. Но при этом он нечаянно сдвинул припарки с места, на самый край, и вот уже закапало, закапало — опять барабан! — на цементные плитки пола, быстрее, быстрее и — рраз! — все уже на полу.

Еще ярче, чем это воспоминание, живет где-то в душе у него образ маленького ночника, стоявшего в спальне родителей. Ночник был из прозрачного синего стекла, и керосин внутри тоже казался синим, только побледнее, чем стекло.

Ребенок и взрослый не так уж далеки друг от друга. Вот сидит Фердинан, присматривает за сыном, вернее, прислушивается к нему, но ведь при этом он вслушивается в самого себя. Ребенок, он всегда внутри взрослого, как меховая подкладка в пальцах перчатки, одно движение — и вывернул наизнанку. В самых простых, незатейливых людях есть нечто такое… и корни этого «нечто» уходят в такую даль… Вот послушай-ка, барабан… бить в барабан, в ногу, в ногу, колотить в барабан, в ногу, в ногу, в барабане всегда заключено что-то притягательное для человека, какое-то смутное удовольствие, когда у тебя под рукой трепещет шкура животного и дрожь ее заставляет и тебя дрожать в унисон, и тебя, того, кто играет, в ногу, в ногу, и тех, кто слушает, в ногу, в ногу, кто стоит по обе стороны дороги, прижавшись друг к другу, стиснутый толпой, и все связаны воедино этим трепетом — в ногу, ребятки, в ногу!.. Вы там, двое, ну-ка, веселее!.. Все связаны, как деревья на морском берегу, все гнутся в одну сторону под порывами ветра, и привыкают к ветру, и остаются склоненными в одну сторону, даже если ветра нет… В ногу, ребята, в ногу… И вы там, сзади, можете тоже шагать следом, если хотите, до самого памятника жертвам войны, в ногу! И все эти люди, а они точно дым от паровоза, когда ветер гонит его в ту же сторону, в какую идет поезд, — вам приходилось замечать такое? — и с той же скоростью, с какой идет поезд, и дым кажется огромным, и поезд — в сто раз больше, чем он есть на самом деле… и кажется, что идет он тоже быстрее… Когда Фердинан колотит по днищу кастрюли, — в ногу, в ногу, — ему иногда хочется и вправду поиграть на барабане. А почему бы и не разрешить себе это удовольствие? Свой рабочий день — настоящий, на железной дороге — он отработал. Теперь он сидит, так сказать, сверхурочно. И сам кое-что подработает, и соседям услугу окажет… Он на минуту бросает работу, огибает дом, сдерживая себя, чтобы не перейти с шага на бег — как бы это выглядело со стороны! — но все равно почти бежит; он входит в маленькую прачечную, срывает со стены барабан, великолепный, даже слишком великолепный, слишком новенький и сверкающий на фоне этой голой кирпичной стены, перекидывает через плечо перевязь, берет отливающие медью палочки — давай! Дрожью отзываются только стены, однако и это лучше, чем ничего.

Но сегодня он не разрешит себе такого удовольствия, ему сегодня не до того. За малышом надо смотреть, для малыша самое лучшее — сидеть на солнышке. Да еще надо поскорее починить эту кастрюлю. Я весьма сожалею, вы опять будете говорить, что у меня пристрастие к непристойностям, но как тут выразишься по-другому; вот встретил я вчера Бернадетту, а она как крикнет мне во всю глотку да при всем честном народе — могу поклясться, что она не думала ни о чем дурном, да и я не думал: «Ты не забыл про мой зад, Фердинан? Мне он очень нужен!»

Вот и стучит Фердинан молотком по ее «заду» — по днищу ее кастрюли. Через час, самое большее, все будет кончено. Его молоток и камешек ребенка спелись на славу. Пусть малыш еще поиграет на своем барабане, сколько ему захочется. Это и так уже длится несколько минут, и очень хорошо, потому что у малыша особый вкус к перемене занятий. Стоит ему за что-нибудь взяться — и тут же бросает, хватается за другое. Такого в нашей семье еще не бывало. Ни его отец, ни мать такими не были, и братишка совсем другой (ему теперь уже десять лет), а про деда и бабку я уж и не говорю. Дитя своего века, этот малыш. Но поглядите все-таки, как он старается подражать отцу! Опять же не обходится без барабана: сидя за столом в ожидании супа или к концу обеда, когда в желудке чувствуется приятная тяжесть, Фердинан иногда постукивает пальцами по столу, выбивает тревогу или сбор — стучит рассеянно, левой рукой по хлебным крошкам… Странно, что левой рукой, ведь он не левша, но, видно, правая больше устает от работы… И вот — малыш. Не исполнилось ему еще и полутора лет, а его маленькие пальцы уже начали постукивать по дощечке высокого детского стула, подражая пальцам отца. Не было ему и полутора, когда он обнаружил, что, если приложить ухо к столу, когда отцовские пальцы выстукивают дробь, звук становится громким, гулким, в нем вмещается барабанных палочек еще больше, чем в молотке и камешке, вместе взятых.

А здорово грохочут их два барабана! В поселке небось ничего, кроме этого, не слышно. Прежде, работая за своим верстаком, Фердинан иногда слышал, что у его грохота есть соперники: женщины стучали сечками по толстым доскам, шинкуя овощи. Они барабанили так неистово, будто соревновались за звание лучшей хозяйки. Теперь с этим покончено, теперь это делают машины. После войны всё заменили всякие там соковыжималки да картофелечистки. И еще один звук слышал Фер-динан, бывало, в прежние годы между двумя ударами своего молотка: если воздух был чистый, откуда-то, словно из-за горизонта, доносился хрустальный звон наковальни. Теперь этого звука больше нет: кузнец Эмабль умер, умер бездетным.

Теперь если Фердинан что-нибудь может услышать во время работы, да и то только при особом направлении ветра… погоди-ка… да, как раз сегодня — удивительно, что раньше не заметил, — долетает издалека шум завода, тех его корпусов, которые всего ближе к поселку. Фердинан толком не знает, как там это все происходит, что это там гремит. Скорее всего что-то вроде электромагнита, который поднимает какую-то глыбу, бросает ее, поднимает, бросает, и все это за стенами толстыми, точно стены форта или бомбоубежища, какие были в войну, или вот как стены этой мастерской. Поднимает ли электромагнит тяжесть и обрушивает ее сверху на железо,

разбивая его, или он поднимает связки этого железа и кидает вниз — этого Фердинан не помнит, а может, и никогда не знал. Но это не меняет дела.

Избиение, побоище! Шум побоища!

Слышно, наверно, во всех концах города. Чем больше народу, тем больше шуму. Здесь, в поселке, еще можно как-то сговориться с людьми. А в городе… И каждый год изобретают все новые шумы, один страшнее другого. Камешек малыша слышно в двух-трех домах вокруг. Молоток его, Фердинана, слышит весь поселок. Электромагнит — весь город. Говорят, испытательный атомный взрыв можно обнаружить с любой точки земного шара…

Вот тебе и раз, додумался! Готов был размышлять о чем угодно, но об этом… Сидит за своей работой, на душе спокойно, рабочий день завершен, малыш ведет себя, как никогда, чинно, сидит тут рядом, под боком. Откуда же эта мысль? Наверно, заводской шум на нее навел, и теперь над миром повис огромный невидимый электромагнит, над миром, полным железа… И завода-то ведь уж не слышно — то ли закончили работу, то ли ветер переменился или затих… Но стоило несколько секунд слышать его гул, и уже… может, оно и глупо, но не хочется больше стучать молотком по кастрюле. Подождет Бернадетта еще денек-другой, пока он починит ее «зад»…

Ребенок сидит на земле, он весь ушел в свою музыку. Фердинан осторожно берет его за руку, в которой зажат камешек, они идут рядом несколько шагов, потом отец поднимает сына к себе на плечи.

— Посмотри, где там наша мама.

Сразу за тротуаром — пруд, узкий, точно сдавленный берегами. Вода сегодня гладкая: ветер совсем утих.

Хорошо, когда тишина.

Талантливый и плодовитый писатель, чьи произведения отмечены многими литературными премиями, ведущий сотрудник солидного журнала «Нувель ревю франсэз», Даниель Буланже пользуется у себя на родине прочной и заслуженной известностью.

Дарование Буланже многообразно: он успешно выступает и как прозаик (ему принадлежат романы «Тень», 1954; «Губернатор-многоженец», 1960; «Врата», 1966), и как поэт (он — автор сборников «Штрихи», «Изнанка неба», 1969 и др.), и как сценарист, участвовавший в создании более чем сорока кинофильмов.

Но, в первую очередь, Даниель Буланже — новеллист, новеллист по всему своему духу, новеллист по призванию. Буланже считает, что новелла — одна из самых трудных, но вместе с тем одна из «самых ароматных литературных форм», требующая от писателя виртуозного мастерства. И Буланже этим мастерством владеет в совершенстве: он глубоко чувствует и прекрасно умеет использовать заложенные в новелле возможности — создающий напряженность лаконизм, взрывчатую силу сюжетной динамики, способность концентрировать психологические характеристики и широчайший — от высокой трагедийности до проникновенного лиризма — эмоциональный диапазон этого жанра.

Тематический охват действительности в новеллах Буланже предельно широк. Он не знает привилегированных сфер жизни, интересуется всем и всеми, с равным вниманием приглядываясь и к повседневному существованию бедняков и к судьбам «сильных мира сего».

Но кем бы ни были персонажи Буланже, писатель почти всегда сконцентрирован на одной их черте — способности носить «маску», играть социальную роль, не имеющую никакого отношения к их внутреннему миру. Именно социальные маски, а не суверенные личности общаются в новеллах Буланже. Причем эти персонажи настолько вживаются в разыгрываемую роль, что сами нередко начинают принимать ее за выражение своей сущности.

И вместе с тем Буланже настойчиво стремится показать, что в каждом человеке, насколько бы извращено ни было его существование, все-таки продолжает жить некое исконное «я», пусть даже чуждое и неведомое ему самому. Буланже интересуют именно те жизненные ситуации (он создаст их с большим искусством), когда с личности невольно спадает «маска», когда открывается ничем не защищенное человеческое лицо. И хотя персонажи писателя открывают в себе и друг в друге не только искренность, приязнь и доброту, но и себялюбие, черствость, «нечистую совесть», все же их внутренняя, «тайная» душевная жизнь обладает одним неоспоримым достоинством — неподдельностью. Именно неподдельность этой разнообразной, бесконечно изменчивой жизни позволяет Даниелю Буланже подходить к своим персонажам с высшим критерием — критерием человеческой совести и справедливости.

Daniel Boulanger: «Les noces du merle» («Дроздовая свадьба»), 1963; «Le chemin des caracoles» («Извилистые дороги»), 1966; «La rose et le reflet» («Роза и отблеск»), 1968; «Le jardin d'Armide» («Сад Армиды»), 1969; «Memoire de la ville» («Городские воспоминания»), 1970; «Fouette, cocher» («Погоняй, кучер!»), 1973.

Рассказ «Подпись» («La signature») входит в сборник «Погоняй, кучер!». Впервые опубликован в журнале «La Nouvelle Revue Frangaise», 1972, № 239.

Подпись

Мэтр Жюлен унаследовал нотариальную контору отца, хотя на юридическом он проучился всего два года, мечтал стать художником, испытывал глубокое отвращение ко всяким протоколам, консультациям, аукционам, к ведению дел, визитам клиентов и имел явную склонность к одиночеству. Он поручил все дела старшему клерку, поставленному во главе целого штата опытных сотрудников, свободно ориентирующихся в архивных документах последнего столетия, заполнявших стеллажи конторы, а сам принимал участие только в исполнении нотариальной подписи. Все остальное время мэтр Жюлен проводил в расположенной за садом просторной мастерской со стеклянным потолком, через который наружу выходила труба изразцовой печи, жарко топившейся с сентября по май. В случае необходимости его вызывали: между конторой и мастерской натянули проволоку звонка, куда часто садились отдохнуть со своей ношей ласточка или зяблик. Там, в студии, мэтр Жюлен предавался творчеству, ревниво оберегая свои картины, запираясь на ключ, лично заботясь о дровах и черпая вдохновение в открывавшемся из окна пейзаже, всегда одинаковом и никогда не повторяющемся: калейдоскоп лужаек, каменный мостик, переброшенный через ручей, и — на заднем плане — горы, бледные известняковые склоны, украшенные наскальной растительностью. Картины громоздились вдоль стен, пока в какой-нибудь выходной, пользуясь воскресным безлюдием дома, художник не относил их в подвал. Он устроил тайник в закутке за винными запасами, и ключ от решетки хранился у него. Время от времени он навещал полотна, стареющие по прихоти сырости, стирал с них мягкой тряпкой плесень. Ему и в голову не приходило показать свое сокровище свету, подобно скупому, он наслаждался вдали от других. Быть может, есть что-то от этого чувства во всяком взгляде, с любовью обращаемом нами на дело рук наших, в желании унести, уберечь созданное от малейшей критики, пусть даже едва звучащей в хоре похвал. Мэтр Жюлен собирался отпраздновать свое шестидесятилетие и свой сотый пейзаж с мостом, когда ему пришлось заняться оглашением завещания г-жи Бели-ар, приятельницы его отца, жившей в старинном особняке на противоположном конце города. Г-жа Белиар вдовствовала в окружении гвардии кошек и каждое лето в течение недели терпела у себя, с расчетом на вечное блаженство, полтора десятка внуков и племянников, нанимая на этот период еще одну женщину на кухню. Оба ее сына, ровесники мэтра Жюлена, находились теперь с женами в кабинете, погруженном в тишину, еще более гнетущую из-за обстановки в наполеоновском стиле: медные грифоны на ножках кресел, по углам стола и на фронтоне двух шкафов с решетками на зеленом шелке. Взгляды посетителей встречались в зеркале, висевшем на выцветшей ленте за креслом с химерой, — это было место нотариуса, и он заставлял себя ждать. Наконец двойная обитая кожей дверь отворилась, и при появлении почтенного законника наследники бесшумно поднялись с мест.

— Прошу садиться, — сказал мэтр Жюлен, приглаживая седую шевелюру.

Он не произнес ни слова соболезнования и поспешил перейти к оглашению последней воли покойной. Г-жа Белиар завещала большую часть своего состояния Обществу друзей животных. Удивление, бледность и стиснутые челюсти клиентов составляли разительный контраст с бестрепетной речью нотариуса. Едва он кончил читать, как один из сыновей усопшей вскочил и так стукнул кулаком по столу, что упало зеркало. Второй сын извинился. Только тогда мэтр Жюлен осознал смысл прочитанного и вознес хвалу небу за дарованную возможность, благодаря битому стеклу, прекратить беседу. Странно вытянувшееся лицо нотариуса Белиары отнесли за счет сдерживаемого гнева, но они ошиблись; он всматривался в расположение зеркала, рама которого валялась возле кресла, и впервые представил на невыгоревшем прямоугольнике обоев, на шелковых лентах букетов одно из своих произведений.

— Ничего страшного, — сказал мэтр Жюлен, — и ни слова о возмещении. Прошлого не вернешь.

Ему хотелось проявить любезность, но слова его еще сильнее, если это было вообще возможно, сгустили атмосферу, ибо супружеские пары, ошеломленные дурной вестью и поразительным сумасбродством завещательницы, беспокоились о зеркале не больше, чем он сам.

— Была ли она в своем уме? — задал вопрос обладатель тяжелого кулака.

— Это вы о ком? — отозвался мэтр Жюлен, поглощенный мысленным созерцанием столько раз нарисованного пейзажа и, особенно, последнего из своих полотен: олень, преследуя девушку в платке, перепрыгивает через мостик.

— О госпоже Белиар-мамаше, — сухо пояснил второй сын.

— Она обожала животных.

— Что нам следует предпринять?

— Мой помощник вас проконсультирует.

Мэтр Жюлен поклонился, и дамы ушли, не обменявшись с ним рукопожатием. Он снял пиджак,

выбросил из рамы остатки стекла, встав на колени, подобрал осколки, затем отправился в студию. В тот же вечер он обрезал по размерам зеркала одно из своих полотен и укрепил его на стене. Сидя в кресле для посетителей, он разглядывал сгущающиеся над утесами сумерки, неподвижный ручеек и мостик, который еще угадывался на фоне ослепительного платка девушки. Вскоре все, кроме этого пятна света, погрузилось во мрак, и когда мэтр Жюлен почувствовал, что голова его начала клониться, он поднялся с места. Он приблизился к картине и вдруг усомнился, действительно ли она принадлежит ему. Ну разумеется, ему — полная, как он сам, светлых бликов и ночных теней, и эта девушка, которую он узнал на кончике кисти, с тонконогим оленем, бегущим за ней по пятам. Мэтр Жюлен спал без сновидений и на рассвете спустился в кабинет. Картина, казалось, висела здесь вечно, и он больше не вспоминал о ней, погруженный в размышления о той, другой, которую начнет писать, или об одной из предыдущих, которую он, быть может, извлечет из погреба, чтобы завершить, словом, там видно будет, по настроению. Всякий художник похож на султана в гареме. Он желает всегда и одновременно всех своих жен: хочет любоваться ими, одной подле другой, их игрой и блеском, светом тысячи жемчужин в нескончаемом венке радости.

Мэтр Жюлен свято оберегал свою тайну, и мысль о чужом взгляде, который может когда-нибудь проникнуть в его бумаги, привела его в смущение и побудила сделать первую ложную запись в расходной книге. Он пометил: покупка часов. На самом деле речь шла о старинной дубовой раме, приобретенной на аукционе. Значило ли это, что она понадобилась ему для какой-то новой картины? Дело, как говорится, темное, ведь иные наши поступки становятся понятными только потом, когда удается собрать воедино разрозненные части головоломки обстоятельств, игры чуждых нам сил. Вдохновителем для мэтра Жюлена стал некий парижанин, который намеревался половить в тех краях форель и подыскивал себе домик. Он наведывался к агентам по продаже недвижимого имущества, к нотариусам. Явился он и к мэтру Жюлену и уселся напротив картины.

— Курбе? — обрадовался он. — Великолепный. Сколько?

— Не продается.

Мэтр Жюлен сам удивился внезапности ответа.

— Семейная реликвия? — поинтересовался посетитель.

— Мой отец получил ее от своего отца.

Слова у мэтра Жюлена вырывались против воли.

— Курбе, наверное, был другом, земляком?

— Да, — выдавил мэтр Жюлен, которому было совестно, как ребенку, которого заставляют улыбаться и говорить любезные слова. И участие в подобной комедии, пусть даже с краской стыда на лице, в конце концов ломает волю.

— Я дал бы сто тысяч франков. Я найду двадцать покупателей!

— Вы занимаетесь живописью? — простодушно спросил мэтр Жюлен.

— Галерея Леви, на правом берегу Сены, — отрекомендовался парижанин.

— Леви? — переспросил Жюлен срывающимся голосом.

— Ну конечно, моя фамилия Шаррет, моя специальность — волшебники кисти прошлого века. Вы позволите?

Он встал и обогнул письменный стол. Мэтр Жюлен поднялся с кресла.

— Она не подписана, — заметил Шаррет.

— Есть и подписанные, — проговорил, бледнея, мэтр Жюлен.

— Ах, дорогой мэтр, еще утром в Париже у меня было предчувствие. При выезде из Дижона я раздавил белую курицу, и во мне проснулся старый предсказатель. Благословенны небеса! Пожалуйста, покажите мне их.

— Они не здесь, — спокойно сказал мэтр Жюлен, не поднимая глаз от разрезного ножа для бумаг, который он ломал обеими руками, — они у двоюродной сестры. В следующий приезд вы сможете ими полюбоваться.

— Условимся о встрече, — предложил Шаррет.

— К концу лета вас устроит?

Они договорились, и последней темой беседы был заветный домик рыболова.

— Если я что-нибудь подыщу, — сказал нотариус, провожая торговца картинами, — мы скоро будем иметь возможность поговорить об этом.

— Прекрасное полотно! — Торговец еще раз обернулся на мостик. — Какой мазок! А олень!

— Ощущение тревоги… — пробормотал мэтр Жюлен.

И в этот момент он ощутил легкость, пленительную сладость падения. Его добросовестность даже требовала от него безотлагательного освоения подписи Курбе, К концу недели она красовалась на двух пейзажах, и он просушивал ее у печки.

Он выбрал картины, на которых мост был только намечен, картины, прославляющие саму землю, сочную и свежую, как на срезе лопатой, осязаемую под гладкой зеленью травы, где от прикосновения свинцовыми белилами забил родник. Недостойная мысль посетила мэтра Жюлена: закатать их в давно не выбивавшиеся ковры спальни, но, к счастью, он встретил в зеркале свой взгляд и обнаружил, что похож на мошенника. На его лицо не читалось ни малейшего колебания. Сомневаться можно было только в успехе. Специалиста не проведешь ни свежей подписью, ни пылью! Когда он возьмет полотно в руки, когда увидит, что оно не старое, что тогда делать? Мэтр Жюлен пристально посмотрел себе в глаза, сжал виски ладонями и долго просил у себя прощения.

Дни становились короче, близилась осень. Шаррет приехал, и мэтр Жюлен принял его на свой манер — долгие паузы, ледяной тон: двоюродная сестра не желала расставаться со своими картинами.

— Ну а эта? — спросил Шаррет.

— Двойная цена против той, что вы назвали. Соглашайтесь или отказывайтесь.

Торговец снял картину, обследовал ее, повернул обратной стороной, посмотрел на свет, вставил в глаз лупу, вынул какие-то щипчики из слоновой кости и два пузырька, напомнивших нотариусу нюхательные соли, которые некогда применяла его матушка после того, как слишком долго читала у камина. Торговец опустился на колени и расстелил полотно на ковре. Мэтр Жюлен отвернулся. Опираясь на посох, с мешком за спиной, он завоевывал Париж фиакров, совсем как господин Курбе. Завтра все эти женщины, чьи глаза мерцают в глубине экипажей, женщины, сверкающие, как искры из-под копыта, бьющего по булыжной мостовой, придут, таясь, позировать ему.

— Она принадлежала вашему деду? — спросил г-н Шаррет.

— Все мое достояние, — туманно отвечал нотариус.

— Прекрасная вещь, — уклончиво говорил торговец, рассовывая инструменты по карманам. — Прекрасный товар для любителя. Я всегда поддаюсь порыву, энтузиазм — основа нашего ремесла, но я останавливаюсь на половине первоначальной суммы.

Нотариус опустил глаза.

— И вы не прогадаете! — заключил Шаррет. — Она может провисеть в витрине несколько лет.

Едва слово было произнесено, тревожные колебания нотариуса рассеялись. Он не ответил: он видел прохожих, перед его картиной они замедляли шаг, чтобы помечтать, пройтись по маленькому мостику и кивнуть оттуда ему, в окно его мастерской.

— Вам решать, — проронил он.

Торговец выложил деньги на стол, и мэтр Жюлен не решился их взять. Он придавил пачку разрезным ножом и проводил покупателя к двери, выходящей на улицу прямо, не через канцелярию. Гора, небо и ручей давно исчезли в машине, а мэтр Жюлен все стоял на пороге дома. Грустью затянуло улицу. Она казалась бездушной, равно чуждой добру и злу, на такой не повстречаешь любовь, спешащую в облачке легкой пудры, не ужаснешься преступнику или святому мученику, несущему в руках собственную голову: улица как улица, здесь не сбываются сны, и великие события сторонятся ее.

— Здравствуйте, мэтр, — сказал прохожий, имени которого нотариус вспомнить не сумел.

Долго ли простоял он в темноте? Мэтр Жюлен вернулся и увидел на столе банковские билеты. Уже лет десять ему не приходилось бывать в столице. На эти деньги он устроит себе праздник. Праздник всегда представляется нам чем-то далеким. Забыть, стереть из памяти улицу, по которой картина умчалась, как девчонка! Он посмотрел в записную книжку и обратился к старшему клерку.

— На следующей неделе, — сказал мэтр Жюлен, — мне необходимо съездить в Париж.

— Нам предстоит распродажа особняка Дувов, это займет три дня. Если бы вы поехали в следующем месяце? Вы надолго?

Старший клерк удивился ничуть не больше самого патрона, когда тот, по обыкновению, не нашел, что сказать.

— О!..

Это «О!..» означало роскошь празднеств, которые не то, что словами описать, но даже и вообразить себе трудно. В этом междометии были и неловкость, и радостное удивление, и желание, и страх.

Мэтр Жюлен покинул мастерскую, только над креслом в кабинете он повесил другую картину. Особняк Дувов и подписание двух брачных контрактов не занимали его. Он жил в мире своих фантазий. Давно утихшая плоть снова не давала ему покоя. Деньги, хранимые на сердце, сулили вереницы пиршественных столон, альковы, и он ловил себя на том, что разговаривает и полный голос, отвечая улыбкой своему внутреннему церемониймейстеру.

Когда он вышел из спального вагона и ступил на парижский перрон, первым его решением было отправиться бродить наудачу. Стояла ласковая осень. Путь его был легок и прям, с небольшими отклонениями, чтобы не наткнуться на тех, кто идет наперерез, в обход бульвара, прячущегося в деревьях, мимо витрины кондитерской, мимо музыки какого-то кафе. Но пришел он к тому, чего желала его душа: под вывеску Леви. Два зеленых куста, маленький мост под горой; мэтр Жюлен нагнулся ближе, чтобы прогнать собственное отражение в стекле и насладиться своим пейзажем, но увидел он подпись Курбе — красными муравьями по бурой земле, в правом углу картины. Кто посмел? Вот он сейчас войдет, все расшвыряет, вернет постыдные деньги, разобьет стекло, заявит, что он не обманщик и что листва в небе над свинцовой горой — его, только его.

Прохожие на мгновенье замедляли шаг, чтобы взглянуть на картину, выставленную на темно-синем бархате. Мэтр Жюлен замер. Подошла молодая пара. Рога оленя излучали золотисто-пепельный свет.

— Какая она печальная, — сказала девушка.

— Она стоит миллионы! — сказал парень. — Будь у меня такая штука, знаешь, как бы мы с тобой зажили!

Они пошли дальше, и мэтр Жюлен уже сделал шаг за ними, еще один, но молодые люди исчезли в толпе на перекрестке. Мэтр Жюлен посмотрел на часы, подозвал такси, забыв все те обещания, которые давал себе, забыв о том, что хотел предложить вырученные за картину деньги юноше и девушке.

— Восточный вокзал!

— Есть, ваше сиятельство! — сказал шофер.

Вечерний поезд увезет его назад, к его маленькому мостику. Он прождал на вокзале весь день, сидя рядом с сонным пьяницей, распространявшим вокруг себя запах мочи, который совсем не мешал мэтру Жюлену, а под конец даже начал ему нравиться, напомнив острый запах лесного зверя.

Когда в 1953 году тридцатилетний инженер Ален Роб-Грийе опубликовал свой первый роман «Канцелярские резинки», не только публика, но и профессиональные литературные критики испытали чувство некоторой растерянности: проза Роб-Грийе совершенно не походила не только на традиционную «бальзаковскую» прозу, но и ни на одно из произведений французской литературы нашего столетия. Отсутствие привычных «характеров» (устойчивых социально-психологических, сословных, профессиональных, биографических примет и качеств персонажа), событийной и хронологической связности сюжета, необычная повествовательная техника, разрушающая границы между прошлым и настоящим, между сном и явью, между воображаемым и действительностью, — все это привело к тому, что и историю французской литературы Роб-Грийе вошел как создатель одною из авангардистских направлений — «нового романа».

От книги к книге (назовем среди них романы. «Ревность», 1957; «В лабиринте», 1959; «Дом свиданий», 1965; «Проект революции в Нью-Иорке», 1970) повествовательная манера писателя не претерпевала каких-либо существенных изменений.

С первой половины 60-х годов Роб-Грийе начал выступать как сценарист, а позднее и постановщик своих кинофильмов («В прошлом году в Мариенбаде», 1961; «Бессмертная», 1963; «Трансевропейский экспресс», 1964, и другие).

Творчество Роб-Грийе является характерным симптомом современного состояния буржуазного общества. Оно представляет собой прямую реакцию на те социальные ситуации, при которых человек утрачивает качества суверенной личности, а потому утрачивает и целостное понимание окружающего, теряет ориентацию, испытывает ощущение растерянности и беспомощности перед лицом противостоящего ему, его отчуждающего и подавляющего внешнего мира. Отсюда — будоражащая странность романов Роб-Грийе, где вещи просто присутствуют, но ничего не значат: предметная действительность у Роб-Грийе освобождена от нравственных или интеллектуальных значений, от ассоциативных связей — от всего, что составляет ее человеческий смысл. Вот почему персонажи писателя чувствуют себя в этой действительности словно в лабиринте, когда предметы, события и сами люди, изображенные в их сугубо физической данности, становятся неотличимы друг от друга, сливаются в хаотическую массу форм, объемов, звуков, жестов.

Но персонажи Роб-Грийе не умеют и не хотят существовать в таком мире. Именно в этом драматизм их положения. Они жаждут иметь перед собой осмысленное бытие, и все их усилия направлены к тому, чтобы вещи вновь заговорили с человеком на понятном ему языке. Они стремятся наполнить действительность психологическими и эмоциональными значениями, подчинить ее законам человеческой логики, упорядочить ее, ибо для них это единственный шанс почувствовать себя хозяевами, а не пленниками жизни, единственный шанс обрести индивидуальное лицо и индивидуальную судьбу.

Эта напряженная, отчаянная борьба человека против обезличивающего его, страшного, красноречивого в своей безнадежной немоте мира, составляет проблемный стержень романов Роб-Грийе и делает их заметным явлением французской литературы двух послевоенных десятилетий.

Alain Robbe-Grillet: «Les instantanees» («Моментальные снимки»), 1962.

Новеллистическая миниатюра «Пляж» («La plage») входит в указанный сборник.

Пляж

Вдоль берега идут трое детей. Они шагают в ряд, взявшись за руки. Они примерно одного роста и, вероятно, также одного возраста: лет двенадцати. Тот, что посредине, все-таки чуть пониже двух других.

Если не считать троих детей, длинный пляж пустынен. Это полоска песка, довольно широкая, однообразная — ни утесов, ни заливов, — полого спускающаяся от скалистого обрыва, который кажется неприступным, к морю.

Небо совершенно ясное. Солнце освещает желтый песок резкими, прямыми лучами. Ни единого облака. Нет и ветра. Вода синяя, спокойная, и хотя перед пляжем до самого горизонта простирается свободная ширь, из открытого моря не набегает ни морщинки.

Но через равные промежутки времени, в нескольких метрах от берега, всякий раз на одной и той же линии, вдруг набухает и тут же опадает волна, всякий раз одна и та же. Поэтому нет ощущения, что волна приходит и уходит; напротив, весь маневр совершается как бы на месте. Сначала вода вздувается, образуя со стороны берега неглубокую впадину, и слегка отступает назад, шурша катимой галькой; потом волна обваливается, растекаясь молочной мутью по склону, но отвоевывает при этом лишь ту площадь, которую недавно утратила. И разве что местами, там, где напор сильнее, дополнительно увлажняет на мгновение еще несколько дециметров.

И снова все недвижно — море плоское и синее, остановившееся в точности у той же черты на желтом песке пляжа, по которому шагают в ряд трое детей.

Они белокурые, почти в тон песка: кожа чуть темнее, волосы чуть светлее. Одеты все трое одинаково: короткие штаны и рубашка, то и другое из грубого синего холста, выгоревшего на солнце. Они шагают в ряд, взявшись за руки, по прямой, параллельно морю и параллельно обрыву, на равном расстоянии от того и от другого, пожалуй, все-таки ближе к воде. Солнце стоит в зените, так что ноги не отбрасывают тень.

Песок перед ними совершенно девственный, желтый и гладкий от скалы до воды. Дети идут по прямой, не меняя скорости, не уклоняясь в сторону, спокойно, взявшись за руки. Песок позади них, чуть влажный, размечен тремя линиями отпечатков, оставленных босыми ногами, тремя правильными последовательными рядами одинаковых и равноудаленных один от другого четких вмятин без малейшей погрешности.

Дети смотрят вперед. Они не глядят ни на высокую скалу слева, ни на море, невысокая волна которого периодически разбивается по другую сторону от них. И уже тем более не оборачиваются, чтобы окинуть взором пройденное расстояние. Они идут куда-то ровным и быстрым шагом.

Впереди них стайка морских птиц меряет берег у самой кромки прибоя. Птицы шествуют параллельно ходу детей, в том же направлении, что эти последние, примерно в сотне метров от них. Но поскольку птицы идут куда медленнее, дети приближаются к стайке. И в то время как море постепенно стирает звездообразные отпечатки лапок, шаги детей оставляют отчетливый след на чуть влажном песке, где продолжают удлиняться три цепочки вмятин.

Глубина этих вмятин постоянна: около двух сантиметров. Их не деформируют ни осыпи по краям, ни неравномерность нажима пятки или носка. Они словно высечены пробойником в верхнем, более рыхлом слое почвы.

Строенная линия следов растягивается все дальше, в то же время как бы сужаясь, замедляясь, сливаясь в одну черту, которая делит пляж пополам на всем его протяжении и утыкается там, где дети, в дробное механическое движение, совершающееся как бы на месте: попеременное опускание и подъем шести босых ног.

Однако по мере того как босые ноги идут дальше, они приближаются к птицам. Мало того, что они быстро движутся вперед, еще скорее, по сравнению с уже пройденным отрезком пути, сокращается относительная дистанция между ними и птицами. Вскоре между двумя группами остается всего несколько шагов…

Но в тот момент, когда кажется, что дети могут наконец настичь птиц, те вдруг хлопают крыльями и взлетают — сначала одна, потом две, потом десять… И вся стайка, белая и серая, описав кривую над морем, вновь садится на песок и принимается мерять его шагами все в том же направлении, у самой кромки прибоя, метрах в ста от детей.

На этом расстоянии движение воды почти неуловимо, разве что по внезапному, каждые десять секунд, изменению ее цвета в тот момент, когда рассыпающаяся пена блеснет на солнце.

Не обращая внимания ни на следы, которые они продолжают четко вырезать в девственном песке, ни на бурунчик справа от себя, ни на птиц, то летящих, то шагающих впереди них, трое белокурых детей идут мерным и быстрым шагом, взявшись за руки.

Три загорелых лица, более темных, чем волосы, очень похожи. Одинаково их выражение — серьезное, задумчивое, возможно, озабоченное. И черты у них одинаковые, хотя, двое из детей — мальчики, а третья — девочка. Только волосы у девочки чуть подлиннее, покудрявей, и конечности чуть более хрупкие. Но одета она совершенно так же: короткие штаны и рубашка, то и другое из грубого синего холста, выгоревшего на солнце.

Девочка — крайняя справа, со стороны моря. Слева от нее шагает тот из мальчиков, что поменьше. Второй мальчик, который ближе других к скале, одного роста с девочкой.

Перед ними простирается, насколько хватает глаз, желтый и ровный песок. Слева вздымается почти отвесная стена бурого камня, в которой не заметно ни одного прохода. Справа — плоская гладь воды, неподвижная и синяя до самого горизонта, окаймленная внезапно набухающим буруном, который тотчас рушится, расплываясь белой пеной.

Потом, десять секунд спустя, вода снова вспучивается, вымывает ту же впадину у края пляжа, шурша катимой галькой.

Волна рассыпается; молочная пена снова взбирается по склону, отвоевывая несколько дециметров утраченной площади. Среди наступившей тишины в спокойном воздухе раздаются дальние удары колокола.

— Вот и колокол, — говорит мальчик поменьше, тот, что шагает посредине.

Но шорох гальки, втягиваемой морем, заглушает слишком слабый звон. Необходимо дождаться конца цикла, чтобы вновь расслышать звук, искаженный расстоянием.

— Это первый колокол, — говорит тот, что повыше.

Справа от них рассыпается волна.

Когда опять наступает тишина, они уже ничего не слышат. Трое белокурых детей шагают в том же ровном темпе, взявшись, все трое, за руки. Впереди них стайка птиц, до которой оставалось всего несколько шагов, внезапно охваченная заразительным порывом, хлопает крыльями и взлетает.

Описав над водой все ту же кривую, птицы опять садятся на песок и вновь принимаются его мерять, все в том же направлении, у самой кромки прибоя, метрах в ста от детей.

— А может, и не первый, — снова заговаривает мальчик поменьше, — если мы не слышали того, который был раньше…

— Мы бы и его слышали точно так же, — отвечает сосед.

Но они не меняют шага; и все такие же следы шести босых ног отпечатываются позади них, по мере того как дети движутся вперед.

— Тогда мы были дальше, — говорит девочка.

Спустя некоторое время мальчик повыше, тот, что идет со стороны скалы, говорит:

— Мы и сейчас далеко.

И потом они, все трое, шагают молча.

Они молчат до тех пор, пока в спокойном воздухе снова не раздается звон колокола, по-прежнему едва слышный. Тогда мальчик повыше говорит:

— Вот и колокол.

Остальные ничего не отвечают.

Птицы, которых они уже почти нагнали, хлопают крыльями и взлетают, сначала одна, потом две, потом десять…

Потом вся стайка вновь опускается на песок, бредет вдоль берега, метров на сто опережая детей.

Море постепенно стирает звездообразные отпечатки лапок. Напротив, дети, идущие ближе к скале, в ряд, взявшись за руки, оставляют за собой глубокие следы, строенная линия которых тянется параллельно берегу через весь длинный пляж.

Справа, с той стороны, где неподвижное и плоское море, всякий раз на одном месте рассыпается пеной все та же невысокая волна.

Клавель родился в одном из городков департамента Юра. Значительная часть его жизни сложилась так же, как у героев его будущих книг: рос он на улице (роман «Малатаверна», 1960), служил мальчиком на побегушках у кондитера (роман «В чужом доме», 1962), нанимался чернорабочим, дровосеком, виноделом, водил дружбу с трудолюбивыми парнями (романы «Испанец», 1959; «Геркулес на площади», 1966), был солдатом и партизаном, видел горе оккупированной Франции (цикл романов «Великое терпение», 1962–1968).

«Меня спрашивают, почему во всех моих книгах действуют только простые люди. Но я не знаю других!» — писал Клавель. Его книги, повествующие о трудном детстве подростка, не раз сравнивали с автобиографической трилогией Максима Горького. Увлекшись журналистикой, Бернар Клавель признался: «Репортажи учат меня жизни». Он видел все тех же простых, мужественных парней — в куртке гонщика, в шинели солдата, в халате санитара (повесть «Бьефский барабанщик», 1970) или в крестьянской рубахе (роман «Повелитель реки», 1972).

Известность Бернару Клавелю принес киноэкран — фильм «Гром небесный», снятый по его роману «А мне-то что!» (1958) с Жаном Габеном в главной роли. Потом пришли литературные премии — Популистская, Гонкуровская, Большая премия города Парижа. Клавель избран в состав Гонкуровской академии, экранизированы многие его романы, издается полное собрание его сочинений, литературные журналы, охотно печатают рассказы Клавеля. Но он по-прежнему исполнен пристального внимания к тем, кто трудится на пашнях и виноградниках. Противоречия буржуазной цивилизации тревожат Клавеля. Он обеспокоен тем, что поступь научно-технического прогресса зачастую направляется интересом доллара. «Когда мы копируем Америку, — писал Клавель в 1975 году, — наши города и деревни теряют свою душу. Жертвуя своим очарованием, они жертвуют и своей силой».

Главным долгом писателя Бернар Клавель считает борьбу с войной, с пропагандой милитаризма. Он призывает современников жить в дружбе, помогая друг другу. Но реальность еще далека от гармонии. Об этом — очерк Клавеля «Гибель невинных» (1970) и его роман «Оружие молчит» (1974). Клавель убежден, что «в любви к земле и лучшим ее плодам зреет зерно мира».

Bernard Clavel: «L'espion aux yeux verts» («Шпион с зелеными глазами»), 1969.

Рассказ «Человек в кожаном пальто» («L'Homme au manteau de cuir») входит в этот сборник.

Человек в кожаном пальто

Солдат Моран передал очередное донесение на узел связи сектора. Он отошел от телефонного аппарата, стоявшего на столике из некрашеных досок. Сержант Пикар, лежа на койке у столика, курил сигарету.

— А теперь включи-ка радио, — сказал Пикар.

Моран пожал плечами.

— Как ты обожаешь свою тренькалку!

— А что еще прикажешь делать?

Моран не ответил. Он включил радиоприемник, постоял в нерешительности, засунув руки в карманы, потом подошел к печке и подбросил в топку большое полено.

Какое-то время слышен был только треск поленьев да шлепки дождя, хлеставшего по окну. Потом постепенно музыка стала громче.

— Что там за хрипы в приемнике? — спросил Пикар. — Испортился он, что ли?

— По-моему, это ветер. Верно, где-нибудь провода контачат. Будь у тебя новый приемник, и все равно…

Открылась дверь, и в помещение ворвался холодный воздух. На конце провода закачалась электрическая лампочка.

— Затвори дверь, — крикнул Пикар, — застудишь нас.

— Эй, Пикар, тут один человек просит впустить его, — крикнул с порога солдат Дюпюи.

Пикар спросил, не вставая с койки:

— Кто такой? Из нашей роты, что ли?

— Нет, штатский с мотоциклом. У него карбюратор залило. Застрял за километр отсюда, озяб, промок до костей. Хочет немножко обогреться.

Пикар приподнялся на локте и крикнул:

— Нет! Никак нельзя. Ты же знаешь, что штатским вход сюда воспрещен. Ну же, закрывай дверь!

Солдат стоял на пороге. Сержанту было его. плохо видно: мешала стоявшая между ними лампа. Он слышал голос чужого человека, но не разбирал, что тот говорит. Пикар повернулся к открытой двери и тоже говорил, казалось, он обращается к темноте и ледяному ветру.

Дверь все еще была открыта; сержант встал, положил окурок в пепельницу на столике и направился к стоявшим на пороге. Когда он подошел, солдат Дюпюи повернулся к нему и уже не загораживал вход в помещение. Стоявший за его спиной человек воспользовался этим и переступил порог.

— Вы должны меня впустить, — тут же сказал он. — Я действительно совсем обессилел. В такую погоду и собаку никто от дверей не прогонит. Послушайте, гостеприимство…

На пороге стоял рослый и довольно плотный мужчина. Лицо у него было красное и лоснилось. Капли дождя стекали с его мотошлема, застревали в густых бронях, скатывались по щекам и вдоль носа. Он смахнул их тыльной стороной ладони и чуть заметно улыбнулся. На вид ему было лет около пятидесяти.

— Сожалею, но у меня приказ, — сказал Пикар. — Посторонним вход категорически запрещен. Даже военнослужащие из другой части допускаются только в том случае, если у них имеется командировочное предписание.

Дюпюи вышел, возвращаясь к своим обязанностям часового, и закрыл за собой дверь. А сержант все еще стоял перед вошедшим незнакомым человеком. Моран подошел и смотрел на них.

— Вы только взгляните на меня, — сказал человек в кожаном пальто. — Понимаете, льет как из ведра!

— У вас хорошее пальто и мотошлем, не прибедняйтесь.

— Но у меня мотор залило. Дайте хоть ему подсохнуть, дайте мне хоть немного отогреть руки. — Он

протянул побагровевшие, чуть ли не фиолетовые ладони. — Я уже не чувствовал руль. Прошел пешком больше километра, толкая мотоцикл. И не видел ни одного дома.

— Да, до ближайшей фермы еще три километра, — уточнил сержант.

— Вот видите…

Сержант подошел ближе, словно собираясь выпроводить его.

— Нет-нет, не настаивайте, — сказал Пикар, — приказ есть приказ.

— Но никто ничего не узнает, — уговаривал его человек в кожаном пальто, — в такой час!

— Да впусти его на пять минут, — сказал Моран. — Чего ты боишься?

Сержант повернулся к Морану и крикнул:

— Тоже мне умник нашелся, в ответе-то буду я!

Человек улыбался Морану, продолжавшему уговаривать сержанта.

— Ну, впусти его, не выставишь же ты человека на улицу в десять часов вечера да еще по такой погоде, когда у него мотоцикл в неисправности.

Сержант как будто заколебался. Он еще раз посмотрел на незнакомого человека, пожал плечами и отошел от двери, ворча:

— Ладно уж, входите, но мне за такие штучки грозит трибунал.

Человек поблагодарил и посмотрел на Морана, тот пододвинул ему стул. Сержант сел на койку. Минуту он как будто что-то соображал, потом сказал, смотря на вошедшего:

— Во всяком случае, полагаюсь на вас. Главное, никому не рассказывайте, что были на посту наблюдения.

Человек обещал. Стул, пододвинутый Мораном, стоял около печки. Человек грелся, протянув руки к огню и оглядывая помещение. Выбеленные голые стены, возле обеих коек уже запачканные. Печка, столик и четыре стула, да еще большой деревенский стол и выкрашенный стенной шкаф. На вешалке около двери четыре винтовки. Выложенный плитками пол, местами мокрый, но чистый.

Какое-то время был слышен только вой ветра на улице и тихая музыка из приемника: Моран уменьшил громкость. Человек потер руки, сказал:

— Хорошо!

— Раз уж вы здесь, так хоть обогрейтесь как следует, — сказал сержант.

— Я и обогреваюсь.

— Если хотите, снимите пальто.

— Нет, благодарю вас, — сказал человек, — мне и так хорошо, я не хочу задерживаться.

Казалось, он счастлив, и каждый раз, встречаясь взглядом с Мораном, он улыбался ему.

— Расстегнулись бы, — сказал солдат, — здесь такая жара, задохнуться можно.

— Все и так прекрасно, — ответил человек, отодвигая стул. — Но, я вижу, в армии ни дровами, ни углем не бедствуют.

Моран подошел к печке, чтобы закрыть заслонку.

— Хоть в этом повезло, — сказал он. — И так уже жизнь на этом посту, затерянном среди полей, не очень-то веселая, да вдобавок бы еще и мерзнуть.

— Это верно, но как знать, — армия не всегда так заботлива.

Моран рассмеялся.

— А вы, месье, никогда не служили? — спросил он.

— Как не служить, служил как и все.

— Тогда вам должно быть известно, что такое система Д.

Человек в кожаном пальто рассмеялся, в свою очередь.

— Понимаю, — сказал он. — Добывайте себе сами топливо, солдаты. Ловчитесь!

— И топливо и все прочее, — уточнил Моран.

— Слушай, у тебя нет охоты поговорить о чем-нибудь другом?

Сержант Пикар не крикнул, но голос его звучал сухо, даже строго. Моран, казалось, смутился и, опустив голову, пробормотал:

— Разве я что плохое сказал?

Наступило продолжительное молчание, которое не могла заполнить музыка радиоприемника. Человек продолжал греться, время от времени потирая руки.

— У вас радио есть, — сказал он наконец. — Уже хорошо.

— Да, — подтвердил Пикар, — жаловаться не приходится. Живем не плохо.

Человек повторил как бы про себя:

— Не плохо, не плохо…

Моран поднялся, чтобы подбросить полено, затем взял бидон с кофе, уже раньше поставленный подогреваться, и принес кружки.

— Вы не откажетесь глотнуть? — спросил он, наливая кофе.

— Спасибо, — сказал человек, — вы очень любезны.

Он отпил немного и, ставя кружку, добавил:

— Кофе отличный. Солдаты всегда умели варить кофе.

Они молча пили. Потом, когда Моран уже убрал пустые кружки, открылась дверь и Дюпюи сказал с порога:

— Пикар, чувствуешь? Я до нитки промок.

— Ладно, иду, — ответил сержант.

Дюпюи вышел и затворил за собой дверь. От порыва холодного сырого воздуха все в комнате заколебалось. Сержант Пикар натянул шинель, надел каску и пошел к выходу.

Человек встал.

— Я ухожу, — сказал он.

Пикар повесил на плечо винтовку.

— Грейтесь, грейтесь, куда торопиться, — сказал он, обернувшись. — Ведь если мотор у вас действительно залило, за несколько минут он не просохнет.

Человек поблагодарил Пикара.

— Не за что, — отозвался тот, открывая дверь.

Моран подошел к радиоприемнику.

— Я выключу тренькалку, — сказал он. — На какое-то время куда ни шло, а потом уши пухнут.

Вошел Дюпюи. Шинель на нем промокла насквозь. Он снял ее и повесил на спинку стула поближе к печке. И почти тут же от шинели пошел пар.

— Ишь как льет, будто и не думает останавливаться, — заметил человек в кожаном пальто.

— Как весь на землю выльется, тут и остановится, не раньше.

Все трое засмеялись, Дюпюи расшнуровал башмаки, разулся. Человек следил за ним. Немного спустя он спросил:

— Ваш сержант, видно, человек хороший. Он здесь начальником?

— Да, — сказал Моран, — Пикар начальник поста. Правильно, он человек хороший. Знаете, у нас один из ребят болен, так он за него в караул ходит. А в такую погоду это не очень-то весело. Будьте уверены, немного найдется сержантов, которые поступили бы так же.

Человек покачал головой.

— Это верно, — сказал он. — Тем более что он как будто приказы соблюдает. А то, что он сам вместо Дюпюи заступил на пост, вероятно, противно приказу?

Дюпюи рассмеялся.

— Послушайте, тут, я вижу, вы сильны, — заметил он.

— Конечно, кто служил, тот так или иначе кое-что усвоил.

— Надо сказать, Пикар хоть и перестраховщик, — сказал Моран, — но когда кто из ребят заболеет или что другое в том же роде случится, тут он не сдрейфит.

Дюпюи поглядел на человека в кожаном пальто.

— Вот хотя бы с вами, — сказал он, — сами видели, ему до смерти не хотелось впускать вас, но когда он понял, в каком вы состоянии, у него не хватило духу оставить вас на улице.

Человек пожал плечами.

— Подумаешь! Чего ему бояться?

Моран возвысил голос:

— Вот и видно, что вы не в курсе. Свались сейчас на нашу голову офицер с проверкой, и бедняга Пикар погорел бы вместе со своими нашивками…

— На нашивки, сам знаешь, ему плевать, — перебил его Дюпюи. — Он не сверхсрочник, а вот тюряга и военный трибунал, это другой разговор.

— В сущности, мне повезло, что начальником здесь не сверхсрочник, — заметил незнакомец, — а то бы я сейчас толкал по дороге свой мотоцикл.

— Да уж, сверхсрочники — вот те настоящие собаки, — подтвердил Моран, — куда до них запасным. Да оно и нормально: такие их собачьи обязанности.

Незнакомец улыбался. Они поговорили о жизни на их наблюдательном посту. Моран объяснил, как они засекают самолеты и каким образом оповещают о воздушной тревоге. Потом, когда разговор перешел на питание, Дюпюи предложил хлеба и сыра, человек в кожаном пальто отказался.

— Тогда, может, выпьете виноградной водки? — спросил Моран.

— Нет-нет, благодарю вас. Теперь я вроде бы и согрелся. Попробую завести мотоцикл.

Но Моран уже поставил на стол бутылку.

— Тут осталось немного, — сказал он. — Это посылка из дому, привезла женщина из наших мест, она недавно приезжала сюда.

Человек в кожаном пальто опять отказался, но Моран протянул ему кружку.

— Выпейте, — сказал он. — При таком холоде это только на пользу.

Угостив чужого, он посмотрел на бутылку, нюхнул горлышко, как бы раздумывая, потом, вздохнув, снова закупорил бутылку и сказал:

— Что на донышке, оставим Пикару, ведь совсем там окоченеет. Он к нам всей душой, так и нам не след жаться.

Человек в кожаном пальто поднял кружку.

— За ваше здоровье, — сказал он.

— За демобилизацию, — сказали оба солдата.

Тут зазвонил телефон. Дюпюи взял трубку.

— Алло, — сказал он, — наблюдательный пост двести три слушает.

Незнакомый человек подошел к Морану и пробормотал:

— Я пошел.

Моран посмотрел на товарища.

— Подождите минутку, — сказал он.

Дюпюи, как видно, с трудом понимал, что ему говорят. Выражение лица у него было напряженное; время от времени он кривил рот.

— Да-да, — повторил он, — да… Так в чем же дело? А, Гастон Рено. — Он просветлел. — Прости, старик, не узнал тебя по голосу.

Какое-то время он молча слушал, потом вдруг наморщил лоб и крикнул:

— Что? Майор? Выехал на проверку? Ну и сволочь же ты! Какого черта не предупредил вовремя?! Если уже два часа как выехал, он вот-вот свалится нам на голову… Одна надежда, что начал обход с другого конца сектора.

Моран подошел к телефону, спросил:

— Какой майор?

— Вроде какой-то новый, здесь никто его не знает.

Моран скорчил недовольную мину.

— Спроси, кто у него шофером, — сказал он. — Если кто из наших ребят, он поедет медленно.

Дюпюи повторил вопрос в телефонную трубку, с минуту молчал, потом снова спросил:

— Как один? Без шофера?

Выражение его лица стало еще напряженнее, он побледнел, потом вдруг покраснел до корней волос и пробормотал:

— На мотоцикле… В кожаном пальто… Нет-нет, ничего… Спасибо, старик.

Дюпюи положил трубку и медленно выпрямился. Он быстро перевел взгляд с незнакомого человека на Морана и снова взглянул на незнакомца. Еще несколько мгновений он был в нерешительности, затем стал по стойке смирно, вытянув руки по швам. Моран щелкнул каблуками, и, только услыхав этот звук, Дюпюи понял, что стоит босой на холодном полу.

Человек в кожаном пальто махнул рукой и сказал:

— Вольно!

Моран и Дюпюи что-то бессвязно объясняли, человек в кожаном пальто их не слушал.

— Отлично, — сказал он. — Я вижу, что в этом секторе все друг друга прекрасно понимают. — Он долго глядел то на одного, то на другого, потом посмотрел на литр водки на столе, на бидон с кофе на печке и на мокрую шинель, от которой все еще шел пар. Казалось, он раздумывает. Затем он опять перевел взгляд на солдат, и Дюпюи попытался объяснить:

— Дело в том… Мы не знали…

Человек улыбнулся.

— Разумеется, разумеется.

— Я о сержанте… — опять начал Дюпюи. — Виноваты мы, мы настояли, чтобы он впустил вас.

Человек опять улыбнулся и сказал, направляясь к двери:

— Пойду посмотрю, захочет ли мой мотоцикл стронуться.

Он остановился. Обернулся и сказал:

— А ведь это правда, — я действительно застрял на дороге и больше километра тащился пешком.

— Мы вам поможем, — сказал Моран.

— Нет-нет, оставайтесь на своем посту.

Он открыл дверь и уже собирался выйти. Тут к нему подошел Моран.

— Месье, — пробормотал он, — или, может, может…

Человек перебил его:

— Да, да… Вы правы. Не объясняйте. Вы никого не видели. Часовой видел только человека в кожаном пальто, который шел по дороге и толкал перед собой мотоцикл… Прощайте.

Он вышел и закрыл за собой дверь. На какое-то мгновение оба солдата замерли, прислушиваясь. Они слышали, что сержант и человек в кожаном пальто разговаривают, но разобрать о чем не могли. Затем заурчал мотоцикл, с трудом набирая ход. Потом звук мотора стал глуше и пропал в шуме ливня.

Вернувшись к печке, они посмотрели друг на друга и покачали головой.

— Так-то, — заметил Дюпюи.

— Да, вот оно какие дела, — сказал Моран.

Немного погодя вернулся сержант.

— Я насквозь промок, — сказал он. — Льет как из ведра. Ну и достанется же бедняге на мотоцикле-то.

— Теперь мой черед, — сказал Моран, натягивая шинель.

— Да, ступай теперь ты. Только долго не оставайся, как замерзнешь, приходи. Лучше чаще сменяться, не то чего доброго заболеешь.

Когда Моран вышел, сержант устроился поближе к печке. Сколько-то времени он сидел неподвижно, потом, повернув голову, увидел на столе бутылку.

— А, вы угостили его, — сказал он. — Правильно сделали, водка его согреет. Он вам не сказал, далеко ему ехать?

— Нет, — ответил Дюпюи.

Сержант неопределенно развел руками, вздохнул и опять заговорил:

— Вот стоял я под ливнем и думал о нем, и так мне стыдно стало. Надо же, не хотел впустить его на пять минут обогреться… Какой все-таки можно быть скотиной. Из-за какого-то несчастного приказа ведешь себя как последний мерзавец…

Он покачал головой и пожал плечами.

— А ведь, если хорошенько подумать, чем это, собственно, может грозить? Ну, чем?..

Соратница легендарного полковника Фабьена, офицер армии Сопротивления, Риффо отважно сражалась с немецко-фашистскими захватчиками. В июле 1944 года ее схватило гестапо, и она была приговорена к смертной казни. 15 августа приговоренных увезли на расстрел. Риффо удалось бежать, но она была вновь задержана, и снова — тюрьма Френ. 17 августа узницу и двух ее товарищей освободил шведский консул. За мужество, проявленное в годы Сопротивления, Риффо была награждена высшим военным крестом. Книга напевных, пронзительных стихов Риффо «Сжатый кулак» (1945) — предисловие к ней написал Поль Элюар — один из высоких образцов поэзии Сопротивления.

В мирные дни Мадлен Риффо во Вьетнаме, в Алжире, вновь по Вьетнаме, там, где народ сражается против империализма за свободу. «У меня, — пишет о себе Мадлен Риффо, — доброе ремесло: найти слова, передать истину в лицах и образах». В очерках и репортажах, которые печатались на страницах «Юманите», «Ви увриер», в своих рассказах и стихах Мадлен Риффо высказывала истину о героизме патриотов Греции, Вьетнама, Алжира, живым и точным словом помогала сплочению всех революционных сил. На ее жизнь покушались оасовцы, она видела крайнее ожесточение зла и насилия. У Риффо есть суровые, трагические строки: «Ветер напевает о жизни — на кладбище пустом». Но сильна вера поэта-борца в правоту народов мира. Опытом своей жизни и сражающегося слова Риффо подтверждает: «Лица людей — прекраснейшее из всего, что мне известно на земле».

Риффо опубликовала очерковую книгу «Нефритовые палочки» (1953) о войне Франции во Вьетнаме, а также документальное свидетельство о героизме вьетнамского народа — «В Северном Вьетнаме. Написано под бомбами» (1967). Лирика ее собрана в книгах «Если в этом повинен жасмин» (1958) и «Конь красный» (1973).

Madeleine Riffaud: «De votre envoyee speciale» («От вашего специального корреспондента»), 1964.

Рассказ «Граната» («La Grenade») входит в названную книгу.

Граната

Парижские дети любят играть в классы на тротуарах.

Они рисуют мелом на асфальте асимметричные прямоугольники. В центре одного из прямоугольников они пишут «земля», а в центре другого — «небо». Парижская ребятня скачет на одной ножке по «небу» и «земле», насвистывая песни, придуманные взрослыми. И рисунки, сделанные детьми, подолгу сохраняются на мостовой.

…Паровозы не дали траурных гудков. Самолеты не спустились над площадью Бланш, описывая крыльями плавные круги. И колокола собора Парижской богоматери не звонили. Было это 22 августа 1944 года. Предатели из фашистской милиции стреляли в нас с парижских крыш, и Париж был забит немецкими танками.

В разных концах мира каждый день еще умирали тысячи наших товарищей. У нас не было времени проливать слезы. И когда малыш умер с солнцем в руках, мы испытали прежде всего гнев.

Ему уже давно не терпелось бросить эту гранату. Мальчишка был с соседней улицы, со светлыми взъерошенными волосами, казалось, такому только бы и играть в классы. Никто даже не знал, как его зовут. Впрочем, для истории это не имеет ровно никакого значения. Об этом вспомнили только потом, когда стали доискиваться, кто он и откуда.

Он все время путался у нас под ногами. Сами понимаете, никому и в голову не приходило давать ему оружие. Впрочем, у нас и у самих оружия не было… Но в одно прекрасное утро малыш прибежал к нам с «лимонкой» на поясе. И где только он ее раздобыл?. Кто мог это знать… Два дня он дожидался случая бросить гранату.

На третье утро он возвратился с задания: мы использовали его как связного… Всю ночь шла стрельба. Мы ожидали атаки. Только что забрезжил рассвет, было холодно. Малыш повалился на мешки с песком, из которых была сложена баррикада, и уснул.

Вдруг кто-то крикнул: «Тревога!» Из-за угла прямо на нас мчался немецкий грузовик. В слабом утреннем свете он показался нам огромным. Тут-то мальчик и вытащил гранату. Он бросил на нее быстрый взгляд и словно взвесил ее в руке, точно это был апельсин. Военный грузовик мчался на нас. Все мы приготовились стрелять…

Очевидно, именно в эту минуту малыш сорвал с гранаты кольцо. Грузовик был уже совсем близко.

И тут, в смутном свете зари, мы увидели французский флаг, выброшенный из окна машины. Мы увидели, что в грузовике полным-полно наших товарищей с трехцветными нарукавными повязками. Наши товарищи отбили у немцев грузовик и теперь возвращались к нам, гордые своей победой, громко крича, чтобы мы сразу же опознали их.

У малыша оставалось несколько секунд, чтобы швырнуть гранату. Куда бы он ее ни бросил, он неизбежно ранил бы своих. А наши ребята, на ходу соскакивая с грузовика, уже бежали к нам навстречу… Кругом тоже были наши, и еще были здесь женщины с той же улицы. Они поднялись спозаранку и, выйдя из своих домов, принесли нам в кувшинах ячменный кофе…

А малыш стоял с гранатой в руке, с гранатой, уже освобожденной от кольца, со своей первой гранатой…

Никто не заметил взгляда малыша. Поначалу вообще никто ничего не понял. Никто не видел, как он припал к мешкам, стиснув гранату обеими ладонями, своими теплыми детскими ладонями, зажав ее в руках, как птицу, как отравленный плод. Чтобы спасти друзей, он прижал ее к животу и клубочком свернулся среди мешков, как маленький зверек, прячущий добычу… И он не произнес ни одного слова — просто сердце его разлетелось на мелкие кусочки. Да, вот так просто. А циферблат над витриной часовой мастерской в конце улицы все так же светился бледным холодным светом, точно лунный диск… Мальчик умер без крика, без слез, никто даже не заметил, как это случилось…

«На моей полевой сумке нашли несколько его волосков», — сказал мне Кристиан.

У нас не было времени для слез. Теперь на баррикады шли настоящие немецкие грузовики. Какой-то предатель из петэновской милиции стрелял нам в спину. Мы никак не могли обнаружить, из какого чердачного окна велась стрельба. Некогда было…

Но малыш — это был настоящий человек.

Парижские дети любят играть в классы. Они по-прежнему изображают мелом «небо» и «землю» на улицах Монмартра, круто сбегающих вниз. Эти улицы были заново вымощены после войны.

Они все так же обозначают мелом «небо» и «землю», где полагается ставить обе ноги, хотя из одной «обители» в другую надлежит перескакивать на одной ножке. И надписи эти долго видны на улицах Парижа, полустертые шагами парижан, колесами повозок и машин, дождем…

Роже Бордье родился в небольшом городке департамента Луар-и-Шер, в семье ремесленника и надолго сохранил любовь к «тихой» провинции. Действие всех его романов происходит вдали от столицы и несет на себе отпечаток неторопливости авторских размышлений: писателю нелегко решить, что его сердцу милее, — тишина лесов, где не слышен голос индустрии, или просторы, преображаемые человеческим разумом и техникой. Почти каждая книга Бордье ставит этот вопрос. Архитектор Лоран из романа «Хлеба» (премия Ренодо за 1961 год) сумел увлечь односельчан и свою любимую проектом перестройки родного края. Учитель Жорж Кувер, сражаясь с прогрессом, терпит поражение (роман «Золотой век», 1967). Семья ремесленников, зарабатывающая на жизнь изготовлением вееров и игрушек, понимает, что. привычный ход бытия оказался под угрозой, когда победно залязгали бульдозеры, подъемные краны и поднялась в горах шумная, манящая ночными огнями фешенебельная лыжная база (роман «Веера», 1970). Целый город умирает, оказавшись в стороне от автомобильной магистрали (роман «Вокруг города», 1969). Бордье понимает, что технический прогресс необходим, но он ясно видит несчастья, ползущие вслед за «нейлоновым идеалом», и потому призывает помнить цель, ради которой изобретаются новейшие средства комфорта (публицистическая книга «Прогресс — для кого?», 1973).

Так же осторожно относится Роже Бордье к «техническим» новшествам прозы. Его произведения называли то «чистым классическим» романом, то «особым видом нового романа». Сам же он считает, что в пылу критических дискуссий все термины излишне запутаны и возникли антагонизмы там, где их, по сути, не существует. С его точки зрения, «польза, которую приносит художественное слово, не противопоказана искусству, а забота о долголетии произведения не перечеркивает ценности репортажа».

Бордье начинал как поэт, и метафорическую силу слова он охотно использует в прозе, избегая, однако, превращения романа или новеллы («это все-таки искусство рассказывать историю», — уточняет он) в фрагмент «свободного текста». Дух нового «шире, чем технические проблемы письма», — говорил Бордье, открывая, в качестве члена редколлегии журнала «Эроп», номер, посвященный теме «Романисты о романе». Главное, по убеждению Бордье, — увидеть в книге «знак своей эпохи», которую современники должны, любить, чтобы самоотверженно бороться за лучшее в ней. Художник обязан сказать свое слово о том, что тревожит современника. Это требует от писателя, напоминает Бордье, «новых интеллектуальных горизонтов». Он верит в способность человека преданно любить, помогать окружающим, менять лицо планеты, во имя счастья грядущих поколений.

Писатель часто публикует свои рассказы, хотя до сих пор отдельной книгой их не издавал.

Roger Bordier: рассказ «Прогулка» («Le Promeneur») опубликован в октябрьском номере журнала «La Nouvelle Critique» за 1966 год.

Прогулка

Он в нерешительности. Палка задевает чей-то ботинок, ногу, железную решетку сточной канавы, потом, очевидно, другой ботинок, край тротуара. Все же это здесь. Палка поднимается. Слева, совсем близко — афишная тумба, справа, между двух деревьев — газетный киоск. Когда-то рядом с киоском даже стояла скамейка, потом ее убрали. Первый переход, считая от афишной тумбы, начинается как раз у решетки. Неужели не здесь? Какой он все-таки рассеянный, идет, идет — и вдруг спохватывается: забыл сосчитать, сколько улиц пересек. Ему же твердили, сотни раз твердили, что самое трудное — возвращаться назад. Даже при большом опыте. Надо все время думать о конечной цели. Иначе…

Думать все время.

— Вам помочь?

Он резко поворачивается. Женщина не настаивает.

Она, конечно, подумала, что он идет к магазину или к подъезду соседнего дома. А он просто нервничает: ему опротивело нащупывать. Но ведь он прекрасно знает это место. Цель — вот в чем дело: он должен думать, куда идет. Все-таки здесь это или нет? Он идет назад. Палка еще раз находит решетку, край тротуара, чуть дальше — переход. Он делает большой шаг. Но очень осторожно. Чья-то рука поддерживает его. Он гордо выпрямляется и говорит: «Спасибо». Рука в перчатке неспокойна; пальцы судорожно сжимаются, разжимаются; на большой скорости приближается машина; они, конечно, уже на середине перехода. Свисток полицейского. Почему же машина не проехала? Или она свернула? Возможно. Ну и что? Он спрашивает: «Машина остановилась?» Ответа нет. Странно. И потом эти духи, они не дают ему покоя. Да, эти духи. Именно они. Его охватывает волнение, он шепчет: «Ваши духи…»

Ждет. Нет. Она молчит. Она не хочет с ним говорить. «Ваши духи», — повторяет он…

— Ваши духи напоминают мне…

Что? Разумеется, духи. Он кричит; «Я помню, помню эти духи…»

Рука в перчатке, скользнув, выпускает его руку, и теперь уже его рука ищет, дотрагивается до щеки, воротника, до овальной брошки, вроде той, что она всегда прикалывала на отворот пальто. Он говорит: «Это ты?»

Он говорит: «Это вы?»

— Ирэн, это ты, Ирэн?

Он протягивает руку и поворачивается вправо, влево, едва не теряет равновесие.

Даже смешно. Ведь были духи, была брошка. И чуть-чуть дрожали пальцы. И потом это молчание. Действительно странно. Она ведь могла сказать: «Вы ошиблись, месье». Или: «Просто совпадение». Обычный ответ. И когда же проехала машина?..

Еще мгновение его рука мечется в холодной пустоте, потом опускается, безвольная, усталая. Опускается на чью-то голову. На голову?

— Ох, извини, малыш.

— Хотите, я вас провожу? — говорит мальчик.

— Послушай, ты не видел женщину, которая только что была рядом со мной?

— Видел.

— Где она?

— Пошла дальше. Прямо.

— Надо ее догнать.

— Догнать?

— Да. Скорее.

Мальчик говорит, что на ней было довольно широкое синее пальто, и что скорее всего она пошла по другой улице, третьей или четвертой от того угла, где кино. Синее? Но ведь она не любила носить зимой яркие вещи. Одевалась в серое, коричневое, бежевое. Наверное, и это пальто неяркое. А

может, синий цвет сейчас в моде, или она хочет кому-то угодить? Кому?.. Мужу? Но она была такой независимой. Ну и что это доказывает? Люди меняются. Он спрашивает, моден ли в этом году синий цвет. Мальчик в нерешительности, он медлит с ответом, что ему за дело до моды: сначала ему нужно поглядеть на прохожих. «Многие в зеленом, — говорит он, — и, пожалуй, в бежевом». В общем, носят все цвета. У его мамы черное пальто, у сестры серый костюм.

— Как тебя зовут?

— Серж.

Он кладет руку на плечо мальчика, придерживая его: пожалуйста, чуть медленнее при поворотах.

— На тротуаре, по прямой можешь прибавить ходу. Тем более что вокруг люди, и они видят мою палку. Я даже могу ее немного приподнять, нарочно, ведь ты меня ведешь. Но при поворотах я должен быть очень внимателен. При поворотах я теряю равновесие.

— Понятно, — говорит мальчик, — а может, вам завести собаку?

— Да, пожалуй… Когда состарюсь. Где мы?

Они пошли по третьей улице. А почему не по любой другой… Но мальчик увидел синее пятно. Потом снова потерял. «Ничего, Серж, будем искать дальше». В городе много синих пятен, и только там, где он живет, — всегда черно. Для него все стены одинаковы. Углы и поверхности он мерит своими шагами, где-то рядом с ним скользят люди, да это и не люди: лишь его представления о людях. Представления о предметах. Раньше он всего боялся, теперь же все его радует. Таким образом он побеждает сам себя и даже находит себе место в жизни. Каждый человек вынужден от чего-то отказываться. Или во что-то верить. Все зависит от его руки, только благодаря ей он может общаться с людьми, определять расстояния, руке могут нравиться те или иные вещи, она открывает ему различие между миром реальным и миром воображаемым. А совсем-совсем вблизи его пальцы узнают знакомые очертания. На ней часто была ажурная металлическая брошка с маленьким камешком в середине. С лунным камешком. Он улыбнулся. Упавшая с неба звездочка, которую прикололи к груди, как брошку. Забавно. Наши привычные забавы неотделимы от таких вот символов. Мальчик, наверное, тоже улыбается. Сколько, должно быть, вокруг них сверкающих звезд, сколько их на витринах и даже на тротуаре, на мостовой, сколько лун, комет, метеоров на елках?

Откуда-то снизу, из подвала пахнуло шоколадом. Иногда его рука задевает гирлянду, натянутую вдоль лотка.

Весь город стал хрупким и бессмысленным сооружением из папье-маше и разноцветных лампочек. Город превратился в кукольный театр, ярмарку, балаган. Да, балаган. И толпа права. Люди гонятся за миражами, радуются своему простодушию, мечтают о несбыточном и знают, что человеческое сердце не может без такой мишуры.

И вообще любое празднество — это массовое безумие.

Итак, вокруг праздник; он создан для глаз. Вот именно. Для глаз. Только для глаз.

— Вон она, — кричит мальчик.

— Ты ее видишь?

Да, она на другой стороне, в толпе, остановилась у входа в магазин. Перейти? Сейчас нельзя. «Только что зажегся красный свет», — объясняет Серж. Она стоит, правда? Да, похоже, кого-то ждет, может, у нее свидание. Нет, пошла. Опять остановилась. Говорит с Дедом Морозом.

— Что, что?

Это уж слишком!

— Ты шутишь?

— Правда, месье, он раздает афишки у входа.

— А, понятно. И ты считаешь, что она с ним разговаривает?

Нет, Серж ошибся: она рассматривала витрину.

Описать ее? Это не так-то просто. К тому же, месье, теперь мы можем переходить.

Наконец мальчик сообщает, что она блондинка, среднего роста и очень-очень прямая. Пальто — темносинее.

— Спасибо. А сейчас, мы где?

— Перед универсальным магазином. Она туда вошла.

— Ну, что ж, идем.

— В магазин?

— Да, малыш.

— Вы хотите войти?

— Ну, конечно. Скорее!

На свете много блондинок, самых разных, ее волосы, например, иногда отдавали рыжинкой. Но редко можно встретить женщину, которая держалась бы так прямо, как она; интересно, что даже ребенок заметил. Она всегда так держалась, но не из гордости или высокомерия. Так воспитали ее мать и отец, спортсмены, просто помешанные на физическом совершенстве.

— По-моему, я напоминаю статую, какие ставят в бассейнах, — смеялась она. Но иногда все же сожалела об излишнем усердии родителей, не догадываясь, что гордая осанка придает ей особое обаяние, она становится похожей на молодую львицу… «Но ведь это всего лишь воспоминание о ней, которое я храню в себе. Образ, овеянный ее духами».

А здесь все духи теряют свой неповторимый аромат, они смешиваются с запахами кожи и тканей, с эссенциями гвоздики, жасмина, тубероз, с затхлостью, духотой и едким потом. Это и есть запах магазина. Говорят, мужчины его ненавидят. «Я не испытываю никакого отвращения. Не могу себе позволить…» Как давно не бродил он вот так, без толку, из одного отдела в другой, в суете, шуме и толкотне. Хорошо еще, что его щадят по мере возможности, расступаются, если, конечно, вовремя заметят, да и Серж — хороший проводник.

Вдруг мальчик удивленно спрашивает:

— Вы знакомы с той дамой?

— Да, был знаком.

— Наверное, давно?

— Десять лет назад.

Мальчик вздыхает. Для него это целая вечность.

— Мне было тогда два с половиной года. Месье, я хочу еще у вас спросить…

— Да?

— Постойте!

Он внезапно остановился.

— Она наверху, — говорит он, — на втором этаже, в отделе игрушек.

— Прекрасно. Веди меня туда.

— Как?

— Что значит как? Обыкновенно.

— Я хочу сказать: на эскалаторе?

— Я шагну одновременно с тобой. Ты только скажи: «Оп».

Они поднимаются. Серж расстроен: она так спешит. Ее уже не видно.

— Понимаете, месье, была и вдруг исчезла.

Да как не понять! Это ведь тоже одна из ее примет. Отец ее часто шутил: «Никогда наверняка не знаешь, здесь ли Ирэн: только что была, и уже нет, она словно испаряется и вновь возникает».

— Слушай, Серж, здесь полно народу. Мы потеряем бездну времени. Поищи-ка сам. Я подожду здесь, и если найдешь ее, скажи: «С вами хочет поговорить Магеллан».

Мальчик даже подпрыгнул. Не может прийти в себя от удивления. Это уж слишком. Он вздыхает, шепчет:

— Она будет смеяться.

Она и тогда смеялась, но так мило.

— А ты, Серж, разве никогда в шутку не придумываешь прозвища своим школьным товарищам? Разве нет?

Ладно, он согласен. Все-таки он очень славный мальчик.

— Я жду тебя, малыш.

Какая-то продавщица усадила его в своем отделе на табуретку. «Спасибо, мадемуазель». Он зажимает палку между колен.

Она извиняется, отходит к покупателям, потом возвращается к нему.

— Мадемуазель! Что вы продаете? Японские куколки? О-о, это, наверно, очень красиво…

Он должен купить что-нибудь Сержу, книжку или игрушку. Вокруг него взад и вперед ходят люди, останавливаются, болтают, дети кричат. Он слышит:

— В сочельник мы соберемся вдесятером.

— Представляешь, дочка собирается поставить в камин отцовские туфли. Она говорит: «В них войдет больше подарков».

— Мадемуазель, а где продаются игрушечные автомобили?

— Когда будем выходить, я снимусь с Дедом Морозом.

— По-моему, ты уже вышел из этого возраста.

— Я всегда покупаю кровяную колбасу.

— Мои племянники принесут шоколад.

— Смотрите, танцующий клоун, славно сделано, правда?

У них все славно. Они поставят розовые свечи на белые скатерти, женщины наденут декольтированные платья, и звезды, звезды со всего небосклона засверкают на ожерельях, пальцах, устрицах и серебряной посуде. До утра они будут наслаждаться этим прекрасным сном наяву, а их дети погрузятся в настоящий сон: темный, как печная труба, мягкий и зябкий, как заснеженная крыша; им будут сниться далекие леса, хижины и разноцветные поздравительные открытки. А в полночь в окнах отразятся солнечные осколки и послышится восторженная песнь о желанной весне и о завтрашних пляжах. Почему завтрашних? Ведь праздник длится долго.

— Месье, не знаю, где она, я ее не нашел, — говорит Серж.

— Ничего. Иди сюда, малыш. Выбери себе игрушку. Я тебе ее подарю. Да, да, не возражай, так мне хочется.

Серж в смущении: он не понимает за что.

Всегда есть за что. Так чего бы ему хотелось? О, это слишком дорого. А это велико. Нет, не надо. Конечно, искушение сильно. С него хватит какой-нибудь маленькой вещички, только чтобы не огорчать месье.

— Выбирай, что тебе нравится, я жду.

— Ну тогда, игрушечное…

— То есть?

— Охотничье.

— Нет!

Мальчик молчит. На сей раз он даже не решается вздохнуть. Все понятно. Его поразил тон ответа. «До чего же глупо я себя веду. Сам предлагаю, а потом отказываю».

— Серж!

— Да, месье?

— Ты хороший мальчик, а я был груб с тобой. Не обижайся. Послушай, мне хочется сделать тебе какой-нибудь подарок. Очень хочется. Ну хоть какой-нибудь. Все равно какой. Выбирай. Выбирай что угодно, но только не это. Не надо ничего, что напоминает охоту. Охотничье ружье. Ружье, патрон. Ружье, выстрел. Выстрел, ночь. К чему я это все говорю? Забудем об этом. Ну, выбирай скорее!

Наконец мальчик выбрал большую книгу с цветными фотографиями «Великие деяния». «На обложке нарисована плотина», — говорит он. И добавляет: «Потрясающая штука». А потом умолкает, словно хочет прекратить разговор, отвечает междометиями. Он явно чем-то смущен. И дело тут не в подарке.

— Серж!

Он признается:

— Она была там.

Он стоял совсем рядом и не решился заговорить… Из-за прозвища. Он просто не осмелился, правда. Он спрашивает:

— Вы рассердились?

— Не надо больше об этом. Давай поищем ее.

— Где?

— Всюду. Здесь. Нет, на улице.

Им повезло. Она, кажется, вышла прямо перед ними, говорит мальчик. Но сейчас уже довольно далеко, уж очень быстро она ходит. Ой! Останавливается, да? Замедляет шаг, мимоходом смотрит на витрину. Теперь на другую. (Серж может ее догнать, но что он ей скажет? Он стесняется.) Как, Леруа? Ему гораздо больше нравится настоящее имя. Жан Леруа, это проще простого. Что, что? Можно просто Жан? О, это не важно, он вполне может сказать Жан Леруа…

— Иду, месье, иду, иду… Ну вот опять! Эх, черт возьми!

Она опять вошла в какой-то дом. Они подходят ближе. На втором этаже — женская одежда, — объясняет Серж. Ему кажется, за стеклом — это она.

— Ну что же, мы ее подождем.

— Где?

— Наверняка здесь есть какое-нибудь кафе. А оттуда можно было бы наблюдать за входом. Понимаешь?

— Действительно есть, совсем близко, — говорит Серж.

Они усаживаются, но мальчику не терпится.

— Знаете, сколько нам придется ждать? — ворчит он. — Сначала она будет выбирать, потом еще мерить. Если она похожа на мою сестру…

Он снова начинает вздыхать. Такая у него привычка. А времени ему ничуть не жалко. Все равно он совершенно свободен сегодня. Родители отпустили его погулять, а папа сказал: «Погляди праздничные витрины, но возвращайся не очень поздно». А сейчас только четыре. В рождественские каникулы он обычно приводит в порядок свою коллекцию марок. Он хотел бы стать путешественником или архитектором. Но только не здесь, а где-нибудь на другом материке. И потом, это хорошая профессия. Он так рад, так рад, что месье Жан Леруа тоже интересуется географией. А-а, теперь он понимает, почему его прозвали Магелланом: он в то время изучал биографию великого мореплавателя.

— Просто из интереса. Для себя, да?

— Для себя и для других тоже.

— А… теперь?

— Что теперь?

— Как же вы?..

— Теперь у меня есть воспоминания.

— Да, ну а как же география, например, географические карты?

Карты — это ерунда. Перешейки, проливы, горные цепи, равнины и мысы — вот его воспоминания. У него свои скалы и свои моря. Свои озера и свои холмы. У него под рукой и крошечный островок, и вся вселенная, он может совершить прогулку и по городу, и по всему земному шару, и по галактике. Каждое утро, просыпаясь, он заново создает свои планеты. Свои звезды. Стоит только руку протянуть. Сегодня звездочка была приколота к пальто. А планеты он может превратить в женщин.

Ладно. Надо все же ее догнать. Найти ее, сейчас же. Серж бежит в магазин, возвращается. Он сказал все, что надо было, но она сделала вид, что не слышит. А может, действительно не слышала? Она разговаривала с кассиршей.

— Думаю, она сейчас выйдет, месье.

— Уже? А ты видел, что она купила?

— Лыжный костюм.

— Ты уверен?

— Уверен. Вот и она.

— Быстрее.

Она свернула в переулок.

— Та женщина, которую вы знали, любила кататься на лыжах?

— Любила.

— Теперь очень многие катаются на лыжах.

Он не хочет огорчать месье, но все-таки добавляет совсем тихо:

— А может, это еще и не она.

Она опять вошла в дом. Номер тридцать. Она здесь живет? Возможно. Они прислушиваются. Каблуки стучат по ступенькам, сверху доносится позвякивание ключей, и все стихает.

— Это на пятом этаже, — говорит мальчик.

— Спасибо, Серж, и до свидания. Я поднимусь наверх.

— Один?

— Да, теперь это нетрудно.

— Значит, вы верите, что…

— Я всегда верю, вера — мое зрение. До свидания, милый, я буду считать этажи.

Уцепившись за перила, он начинает подниматься: второй этаж. Она здесь живет? А почему бы и нет? Вероятно, переехала из пригорода. Ведь она не хотела там оставаться. Третий. Интересно, а как ее отец? Там, в магазине, мальчик хотел задать один вопрос. Но в эту минуту появилась она, и он не успел ничего сказать. Да это и не важно. Он догадывается, что это за вопрос. Вот уже десять лет, как он на него отвечает, и у него даже вошло в привычку всякий раз касаться пальцами своих век, да, десять лет. «Тоже десять?» — наверняка спросил бы Серж. Четвертый этаж. Да, тоже: была чудесная охота, лес — весь в золоте, местечко называлось «На четырех ветрах». Там было много елей, очень много. Выстрел раздался из гущи кустарника. В его глазах, как в оконных стеклах, разбилось солнце, и он упал в его осколки. Пятый. А ведь праздничная ночь тоже длится и длится. «Из вас может выйти неплохой учитель», — говорил отец Ирэн. В то время они преподавали в одном и том же лицее, он — только начинал работать, и отец Ирэн, преподававший гимнастику, пожалуй, единственный с самого начала хорошо к нему относился. Чему он может научить? Разве что науке видеть руками. Он чувствует под рукой лепную овальную фигуру. Что это — плод? Пространство становится плотью. Он останавливается: а если здесь несколько дверей? «Тогда наудачу», — думает он. Пальцы скользят по лепному орнаменту, дверной табличке. Он распрямляет их, потом сжимает

в кулак, опять похоже на овал, а значит и на ее лицо, так он привык. Вот это праздник! Плод и женщина. Все нынче удача, близкий берег, блеск рождественских свечей. Ирэн? Он стучит. Шаги. Дверь скрипит, открывается. Ирэн? Он делает шаг вперед. Взмахивает рукой — пустота. Шарит вокруг, потом вытягивает руку вперед. Наконец обе его руки принимают горизонтальное положение. Палка падает. Когда же кончится эта пустота, и откуда это безмолвие? Здесь что, комната? Он на что-то наткнулся. На что? Никого нет? Он кричит: «Есть здесь кто-нибудь?» Шорох слева.

— Кто здесь? Ирэн? Это вы? Ирэн, это ты? Это ты, Ирэн?

— Да, это я…

«Родной край для меня — насущное понятие», — говорит Шаброль. Он любит свою «малую родину» — Севенны, знает жизнь и заботы обитателей деревушки Шамбориго (департамент Гар), откуда издавна ведет свое происхождение его крестьянская семья. Родители Шаброля получили образование и всю жизнь учили грамоте детей севеннских крестьян и шахтеров. С шахтером Боффи, коммунистом, Шаброль подружился еще в юные годы. В лицейскую пору вместе со сверстниками он боролся с фашизмом. Лейтенант армии Сопротивления Шаброль участвовал в освобождении Алеса и Нима от немецко-фашистских захватчиков.

После войны Шаброль — в Париже. Здесь он учится рисованию, вбирает опыт классиков и современников: Рабле, Дидро, Гюго, Золя, Ренара, Шарля-Луи Филиппа, Мак Орлана, Арагона. Шаброль рано пришел к убеждению, что писать надо для народа. На рубеже 40–50-х годов он начал сотрудничать в «Юманите», печатал очерки, рассказы, репортажи, сопровождая их своими рисунками.

Герой романа «Последний патрон» (1953) постепенно осознает — война во Вьетнаме ведется в интересах тех же реакционеров, которые в годы «странной войны» предали Францию. В полемике с экзистенциалистской догмой о непреодолимой разобщенности индивидов Шаброль задумал свой роман «Гиблая слобода» (1955) о рабочей молодежи парижских предместий, о приобщении ее к организованной борьбе за свои права. В романе «Дикая роза» (1957) воплотилась вера художника в действенность общественной активности человека. Вера эта подверглась сомнению в нарочито сконструированных коллизиях романов «Лишний» (1958) и «Жертвы Марса» (1959), где возобладала натуралистическая схематизация, растерянность писателя перед закономерностями истории. Отныне открывалась возможность, вслед за Камю, искать лишь «новые» доводы в пользу старой идеи о тщете всех человеческих усилий. Но преодолев сомнения, Шаброль вновь обрел присущий ему «плебейский» оптимизм в «Божьих безумцах» (1961), эпическом романе о восстании камизаров — своих земляков севеннцев — в 1702–1704 годах.

Герои серии социальных романов «Бунтари» (1965), «Нищенка» (1966), «Погода разгулялась» (1968) — деятельные участники событий европейской истории от прихода Гитлера к власти до победы Народного фронта но Франции. В философской повести «Мольеровское кресло» (1967) буржуазному опошлению труда, науки и культуры противопоставлена идея общности жизненных интересов всех тружеников земли.

Еще в 1946–1947 годах у Шаброля возник замысел книги о Парижской коммуне. Но лишь обретя творческую зрелость, он воплотил его в историческом романе «Пушка «Братство» (1970). Дневниковые записи рассказчика объемлют хронику событий в пролетарском Бельвиле от 15 августа 1870 до 28 мая 1871 года. Однако рассказчик — участник Коммуны, и в то же время свидетель истории первой половины XX века. Своими позднейшими ремарками он раздвигает временные границы повествования, сопрягая прошлое и будущее. С позиций социалистического реализма художник воплотил в книге социальную динамику истории, героическую эпопею коммунаров, бессмертие их идей, претворяемых в жизнь с Октября 1917 года. «Пушка «Братство» — вершинное создание Шаброля.

«Труд — это жизнь» — такова нравственная заповедь мемуарной книги Шаброля «Севенны — злосчастье мое» (1972). В романе «Козел в пустыне» (1975) содержится попытка «воскресить» облик поэта и воина Агриппы. д'Обинье.

Шаброль — активный участник борьбы за мир между народами.

Jean-Pierre Chabrol: «L'illustre fauteuil et autres recits» («Прославленное кресло» и другие рассказы»), 1967; «Contes d'outretemps» («Сверхсовременные рассказы»), 1969.

Рассказ «Трус» («Un lâche») вошел в сборник «Прославленное кресло» и другие рассказы».

Трус

— Ну да, это он, конечно, — отвечает Тя Кхе.

Их трое; они сидят не шевелясь. Набухшее влагой небо тяжело нависло над деревней: вот-вот раздавит. Здесь нет сумерек. Болезнетворный мрак пропитывает чащу и прогалины с самого рассвета. Ночь наступает сразу.

— А если это он?.. — начинает Муонг Зень. Он поднимает свое плоское круглое личико к Тя Кхе. Юноша остается недвижим и пристально глядит на дорогу, напрягая слух.

С конца деревни доносятся протяжные вопли. Несколько револьверных, а за ними — ружейных выстрелов. Наконец яростный лай автомата — и снова тишина. Через несколько секунд, где-то далеко, словно робкое раненое эхо, слышится рычание дикого зверя в джунглях. Юноша, старик и ребенок улыбаются.

Ким Нгань Хоа кладет свою высохшую руку на плечо Муонг Зеня, потом гладит мальчика по затылку.

— Скажи, дедушка, это тот, который на фотографии и в каждой руке отрезанная голова? — Муонг Зень почесывает шею и, преодолевая страх, продолжает: — У него какое-то странное имя, оно не похоже на французское… Как же его зовут-то?

Солдаты приближаются; они идут по обеим сторонам улицы.

Ким Нгань Хоа не отвечает. Рука его, лежащая на затылке мальчика, шуршит, словно рисовая бумага.

— Ну, так как же его зовут? — спрашивает еще тише Муонг Зень.

— Старшина Ван дер Мейлен, — отвечает Тя Кхе не шевелясь.

У мальчика начинают стучать зубы. Он стискивает челюсти, зажимает рот руками, но зубы лязгают так, что звук этот заполняет всю хижину.

Вслед за солдатами рывками движутся бронетранспортеры. Мерно урчат моторы. Внезапно хижина сотрясается, будто фонарь на ветру, и только потом слышен взрыв — не то связки гранат, не то ракеты.

— Сколько ему? — обращается Тя Кхе к старику.

— Мне пятнадцать, — отвечает мальчик, опережая старика. Его зубы больше не стучат — он держит рот открытым. В окно просачивается приятный сухой запах; слышно потрескиванье огня.

Старик бормочет проклятье. Он пытается выглянуть в окно. Отсвет пожара дважды озаряет его лицо.

— Не высовывайся, не надо! — приказывает Тя Кхе, оттаскивая старика.

— Это дом Кот Кхи Лю… — шепчет Ким Нгань Хоа.

Солдаты уже метрах в десяти. Один из них кашляет.

— Эх, Пьеро! Прозевал три лачуги справа!

— Ни черта не про зевал, — отвечает звонкий голос. — Эй, вы, там… за мной!

Небо не решается разразиться дождем…

Муонг Зень бесшумно приближается к Тя Кхе и еле слышно шепчет:

— Ты говоришь по-французски?

— Говорю.

— Где научился?

— В Париже.

Мальчик снова начинает стучать зубами.

— Так нельзя… — вздыхает старик.

Солдаты продолжают переговариваться через улицу.

— Эй, Люсьен, не дашь ли мне несколько…

— Не смеши, Пьеро! Захватил бы побольше!

— Ты что, очумел? Как же я мог захватить?

— У тебя есть зажигалка? Только прихвати канистру из джипа.

— Ты о чем говоришь? Я не хочу поджарить себе…!

Тя Кхе, Ким Нгань Хоа и Муонг Зень отходят от окна. Солдат, который только что выругался, уже у двери. Другой подходит к нему.

— Слушай, Пьеро! Это последние бараки, на кой черт их жечь? Заглянем туда, и дело с концом!

Удар ногой, и дверь выбита.

— Постой-ка, да тут люди…

Зарево от охваченной огнем соседней хижины освещает комнату. Отсветы пламени пляшут на лицах старика, Тя Кхе и мальчика, стоящих перед солдатами.

— Вы что здесь, в прятки играете, олухи?!

Вдруг мальчик поворачивается — и к окну. Автомат трещит две долгих секунды. Муонг Зень, подстреленный на бегу, свешивается по грудь наружу. Старый Ким Нгань Хоа глядит на тоненькие ножки, на тощие ягодицы, обтянутые тканью трусов. Очередь словно рассекла мальчика пополам.

— Руки вверх!

Тя Кхе остается недвижим. Он не смотрит на мертвого ребенка. Ким Нгань Хоа возвращается к солдатам.

— Ты, рухлядь, руки вверх, тебе говорят!

Дуло автомата подкрепляет приказ.

Взгляд Ким Нгань Хоа словно проходит сквозь шеренгу солдат и теряется вдали.

Автомат трещит. Ноги старика подкашиваются, он падает на колени, клонится книзу, лоб стукается о земляной пол. Руки распластываются по земле.

— Ну, ты, понял?!

Слышно, как кровь из груди старика каплет на жесткую ткань, словно вода из плохо закрытого крана.

Тя Кхе поднимает руки.

— Свяжем?

— Еще бы!

— Подержи-ка мою пушку.

Они связывают юноше руки пеньковой веревкой.

— И что будем с ним делать?

— Отведем к начальнику. Мне кажется, это важная птица.

— Да? Почему?

— Так мне кажется. Ну, ты, пошел вперед!

Солдаты выталкивают Тя Кхе на улицу; по обе стороны стеной стоит дым, огонь ревет под набухшим небом. Возле глинобитного дома останавливается джип. Водитель спрыгивает и орет:

— Здорово, Пьеро!

— Черт возьми, да это Мимиль! Гляди-ка ты, уже вернулся из отпуска?

— Вот не повезло! Ну кто, скажи, возвращается в такую погоду! Хоть бы дождь хлынул, дышать можно было б! Меня такая погода убивает. А вы куда с этим балбесом?

— К начальнику. Он у себя?

— Должно быть…

Водитель идет за ними. В первой комнате, у внутренней двери, на посту стоит солдат-вьетнамец.

— Начальник там?

— Да, — отвечает вьетнамец, — но приказано не беспокоить.

— Не твое дело! Мы привели пленного.

Пьеро отстраняет вьетнамца и стучит в дверь.

— Ну, что там такое?!

Пьеро приоткрывает дверь, просовывает голову:

— Пленного привели, парня…

— Обождите, сейчас им займусь.

Пьеро хлопает створкой. Замок не защелкивается, дверь остается приоткрытой. Вьетнамец-часовой улыбается, показывая всем своим видом: «Я же, мол, говорил».

— Как живешь, Пьеро?

— Осточертело мне все это, Мимиль.

— Может, подцепил?..

— Нет. У меня фурункулы.

Мимиль распечатывает пачку «Пэл-Мэл».

— Куришь?

— Американские? Иногда можно выкурить штучку.

— В Сайгоне только эти и курят, даже тыловики.

— Послушай, Мимиль, ты там Иветту видел?

Мимиль не отвечает. Он почесывает правую икру носком левого кеда. Третий солдат спрашивает у Пьеро:

— Может, я схожу на третий пост, посмотрю, что у них там делается?

— Валяй, я догоню тебя минут через пять.

Мимиль и Пьеро прислоняются к стене.

— Новенький?

Пьеро утвердительно кивает головой.

— И много новых в роте?

— Французов, нет, немного.

— А этих? — Мимиль подбородком указывает на вьетнамского солдата.

— Этих-то хватает.

— Ты что, им не доверяешь? — спрашивает Мимиль, понизив голос.

— Ну, пока ты гулял, их пообтесали. Да, так как же Иветта?

— Конец, всё, отходил!

— Да ты что?

— Не повезло: там летчик, капитан морской авиации. Где уж мне…

— Нашел бы другую… Все они одинаковы!

— Шлюхи…

— Не сравнить с нашими.

— Это уж точно. Я нашел одну «крестную», вроде бы стоящая… Через «Рейн и Дунай». А какие письма заворачивает!

— Да, но по переписке — не то, не так успокаивает. Надо и то и другое!

Оба долго молчат, почти одновременно докуривают свои сигареты, потом какое-то время ждут.

— Я прихватил в Сайгоне кой-чего хлебнуть. Лежит у меня в багажнике. Пропустим немного?

Пьеро смотрит на Тя Кхе, потом на вьетнамца:

— Эй ты, Бао Дай! Пригляди за ним минутку.

Солдат улыбается в знак согласия, показывая красные от бетеля зубы. Мимиль и Пьеро выходят в обнимку.

— А вот насчет Иветты, меня это все-таки удивляет…

Небо нависает все ниже и ниже, словно мокрый мешок касается крыш, однако воздух сух и шершав. Дышишь — будто жуешь крылья стрекоз. Время от времени в столбе пламени с треском обрушивается горящая крыша. Какой-то взвод идет на позиции: частый топот, свистки, смех. Перед джипом с трудом тормозит мотоцикл.

— Привет, Мимиль! Отпуск кончился? Не повезло!

Тя Кхе медленно поднимает голову. Часовой стоит прямо перед ним. Глаза стрелка прямо перед глазами Тя Кхе. Вьетнамец сразу же отворачивается, но почти тут же снова смотрит в глаза Тя Кхе и слегка улыбается. Тогда сухо отворачивается Тя Кхе.

Страшнейший удар грома сотрясает землю. Горящая деревня содрогается. Этот гром, которого ждали так долго, ускоряет ритм жизни. Со всех концов несутся крики, шаг переходит в бег, моторы откликаются ревом. Дверь ударяет о стену — входят солдаты и старший капрал.

— Привет. Он там?

— Да, но приказано не беспокоить, — отвечает вьетнамец. И тотчас добавляет: — Должно быть, занят надолго.

Солдат достает пачку сигарет. Капрал закуривает, потом спрашивает:

— Ты где служил раньше?

— В роте обслуживания четвертого полка тунисских стрелков в Хайфоне.

— В Индокитае давно?

— Два месяца.

— Значит, ничего еще не видал!

— Как так — не видал? Я участвовал в операции на шоссе номер шесть.

— Об этом и речь. А теперь ты у Ван дер Мейлена. Слыхал о таком?

— Кое-что слыхал.

— Если где-то дела идут плохо, посылают Ван дер Мейлена с его ребятами, понял? Тут уж, слово даю, нам не попадайся, вот как. Поэтому я и сказал, что ты ничего не видел. Через три дня сам скажешь, что я был прав. Ван дер Мейлена надо видеть за работой. Стой, а вот этот вьет… Бьюсь об заклад, он его приготовил себе для пятнадцатиминутной физзарядки… Уловил?

Капрал сотрясается от смеха. Солдат тоже начинает трястись, но беззвучно и так, что лицо его не смеется, а словно плачет. И вдруг он, в свою очередь, тоже прыскает, но сильнее и более нервно, чем капрал.

Три свистка обрывают этот приступ веселья.

— Сто чертей! Идем, посмотришь. А к начальнику мы сейчас вернемся.

Они оставляют дверь приоткрытой. Снаружи доносится голос капрала:

— Эй, Мимиль, подбросишь нас туда на джипе?

— Валяйте, ребята, прыгайте. Пьеро, готово?

Мотор взвыл — словно жалуясь на слишком крутой поворот.

Сквозь обе полуоткрытые двери — ту, что выходит на улицу, и ту, за которой работает Ван дер Мейлен, — ни малейшего движения воздуха. Все в оцепенении.

— Гляди, кто в соседней комнате, — медленно говорит стрелок по-вьетнамски.

Тя Кхе поднимает голову, встречается глазами с часовым и отвечает ему мертвенным взглядом.

— Да-да, погляди, — настаивает вьетнамец.

Тя Кхе очень медленно поворачивается, делает четыре шага, отделяющие его от двери, наклоняется и смотрит в щель. Стол завален картами и бумагами. На всем этом, словно пресс-папье, лежит автомат. Плечи, лысина…

Тя Кхе медленно возвращается на место.

— Ты знаешь, кто это? — спрашивает вьетнамец.

— Да, — отвечает Тя Кхе, все еще не глядя на него.

— Кто же? — настаивает вьетнамец.

— Ван дер Мейлен.

С минуту они молчат. Новый благодатный удар грома распарывает небо, словно ножницы — кусок ткани. Где-то далеко на землю с шумом обрушивается стена дождя, который вскоре, будто одеялом, с головой накроет всю страну. В такие минуты бросает в жар, стучит в висках.

— Хочешь его убить?

— Что?!

— Убить его хочешь?

— Ну… да! — отвечает Тя Кхе. И через несколько секунд повторяет:

— Хочу его убить.

Вьетнамец вытаскивает свой короткий широкий штык. Заходит Тя Кхе за спину. Пробует разрезать веревку, но штыки плохо заточены — несмотря на широкое лезвие, ими привыкли только колоть. Он сует штык под мышку и пытается развязать узел ногтями. Это нелегко. Узлы завязаны крепко, конопля затвердела. Наконец, руки Тя Кхе падают вдоль туловища.

Стрелок протягивает ему штык рукояткой вперед. Он с трудом держит его большим и указательным пальцами, так что рукоятка покачивается какое-то время, пока Тя Кхе не решился.

Тя Кхе берет штык, открывает дверь и быстро входит в другую комнату. Слышны словно удары кулаком по столу. Двадцать один удар. Тя Кхе выходит и бросает вьетнамскому стрелку:

— Пошли, живо!

— Нет.

— Ты что, спятил? Ты же не можешь теперь здесь оставаться. Пошли! — Тя Кхе хватает вьетнамца за рук а в. — Пошли же!

— Нет. Я остаюсь. Я ведь трус.

Тя Кхе остолбенело смотрит на вьетнамца. На рукаве цвета хаки, в том месте, за которое он его ухватил, два темных пятна. Тя Кхе пожимает плечами и бросается вон из дома, под тяжелые капли, шлепающиеся одна за другой на пыльную землю, словно переспелый инжир.

Первый роман Мишеля Бютора, двадцативосьмилетнего преподавателя языка и литературы, «Миланский проезд» (1954) не был замечен ни читающей публикой, ни литературными критиками. Шумная известность пришла к писателю лишь после опубликования романов «Времяпровождение» (1956) и — в особенности — «Изменение» (1957), получивших крупные литературные премии. Отметив необычность сложной повествовательной техники автора, отсутствие в его произведениях привычных персонажей и сюжетных схем, пресса не замедлила причислить его к представителям «нового романа», а его книги сблизить с книгами Н. Саррот и А. Роб-Грийе.

Между тем сам Бютор неоднократно подчеркивал, что не принадлежит ни к одной литературной школе, что его романы — не иллюстрация тех или иных литературных манифестов или программ, но продукт непосредственного выражения его мироощущения, плод его жизненных наблюдений, размышлений о судьбах европейской цивилизации.

Критик, прекрасно изучивший французскую литературу — классическую и современную, — знаток живописи, неутомимый путешественник, объехавший множество стран Старого и Нового Света, Мишель Бютор обладает редким по широте кругозором. Среди его работ, посвященных самым разным аспектам истории культуры, — четыре сборника литературно-критических статей, объединенных общим названием «Репертуар» (1960–1974), книга о Бодлере «Необыкновенная история» (1961), «Опыты о романе» (1969), «Опыты, об опытах» (1968), искусствоведческое исследование «Слова в живописи» (1972).

Богатая эрудиция играет значительную роль и в художественном творчестве Мишеля Бютора: не только уже названные романы, но и такие произведения писателя, как «Степени человеческого родства» (1960) или радиопьеса «6 810 000 литров воды в секунду» (1965), полны различных историко-культурных реминисценций, социально-бытовых подробностей и реалий современной эпохи. Придавая книгам Бютора достоверность, это делает особенно убедительной его критику буржуазной цивилизации второй половины XX столетия.

Художественная проблематика Бютора связана, в первую очередь, с раскрытием тех искаженных форм человеческой жизни, которые эта цивилизация вырабатывает. Подавляемая культурными, политическими, профессиональными, бытовыми, даже интимными стереотипами мышления и поведения, личность испытывает чувство полнейшей несвободы перед лицом окружающей ее действительности. Она утрачивает самое важное в себе — самоценность и неповторимость. У людей, изображаемых Бютором, есть индивидуальные биографии, но у них нет индивидуальных судеб: «приходят все новые и новые актеры, — писал по этому поводу Бютор, — но в круговороте падающих лет они разыгрывают всё одни и те же роли».

Писатель, однако, не отвергает современной цивилизации как таковой, с ее культурными и техническими достижениями и ценностями: он отвергает лишь механические, потерявшие живую силу формы, в которые эта цивилизация отлилась. Только критическое отношение к этим формам может, по мысли Бютора, обеспечить личности полное самораскрытие.

Стремление вырваться из-под власти рутины, получить доступ в мир, где господствует свобода, человеческая раскованность и непринужденность, характерно и для публикуемой ниже сказки Бютора.

Michel Butor: «Les petits miroirs» («Маленькие зеркальца»), 1972.

Маленькие зеркальца

Жерар скучал на уроке. За окном шел дождь. В классе читали допотопный текст из хрестоматии, и учительница пыталась убедить ребят, что это смешно. Но никто не засмеялся, даже она сама.

В старой, подержанной хрестоматии Жерара полным-полно было всяких каракулей и помарок. На странице, которую изучали в классе, между строчек Жерару удалось разобрать слова: «Если тебе станет скучно — сдери с обложки чернильную кляксу». Книга была переплетена заново в толстый картон; на внутренней стороне обложки действительно красовалась огромная клякса, и Жерар принялся аккуратно сдирать ее. На самом деле то была не клякса, а наклеенный кусочек бумаги; под ним оказалось квадратное углубление, на дне которого Жерар увидел надпись: «Вставь сюда маленькое зеркальце».

Учительница заметила, что он не слушает, и спросила: «Где мы остановились?» К счастью, урок уже кончался, и раздавшийся звонок избавил его от позора. Жерар просиял, и, видя это, учительница улыбнулась ему: все-таки она была милая.

Придя домой, он перевернул квартиру вверх дном в поисках зеркальца. Но все они были намного больше, чем нужно. Кроме разве что одного, которое он однажды видел в маминой сумочке. После ужина он послушно лег спать и, когда мама пришла поцеловать его, сказал ей на ухо:

— Пожалуйста, одолжи мне твое маленькое зеркальце!

— Мое зеркальце? А зачем?

— Учительница придумала какой-то опыт.

— И она всем велела принести зеркальца?

— Нет, только тем, кто найдет дома.

— Хорошо, я поищу в старой сумке. Спи!

Утром, за завтраком, Жерар спросил:

— Ну?..

— Что «ну»?

— Забыла?

— О чем?

— О зеркальце.

— Да, верно, совсем из головы вылетело. А разве это так срочно?

— Ужас как срочно!

Это и вправду было срочно: на уроке опять должны были читать отрывок из хрестоматии. Видя, как он расстроен, мама сказала:

— Ладно, возьми вот это. Только сегодня же верни. И смотри не разбей, оно хрупкое, а я им очень дорожу.

— Тогда найди мне какое-нибудь другое.

— Так они продлятся долго, эти ваши опыты? Что именно вы будете делать?

— Не знаю, она еще не сказала, но вдруг потом опять понадобится…

Зеркало как раз поместилось в углублении переплета. Жерар спрятался за спиной соседа и с бьющимся сердцем взглянул на свое отражение. Оно стало уменьшаться. Теперь Жерар видел свою голову целиком, как на фотографии. А отражение все уменьшалось и уменьшалось. И вот он увидел себя во весь рост посреди парка. Какой-то мальчик подошел к нему и сказал:

— Проходи, проходи сюда.

— Как мне пройти?

— Сперва просунь руку: палец, другой палец, на жмешь — и вся рука пройдет, потом локоть, потом плечо, теперь наклони голову… другую руку, плечо… теперь туловище… и ноги.

Жерар очутился в освещенном солнцем парке. Раскрытая книга лежала на траве. В зеркальце он увидел себя сидящим за партой и слегка прозрачным.

— А сейчас надо открыть книгу на той странице, где вы читали — и все в порядке.

— Но если она заметит?..

— Не беспокойся, отражение сумеет ответить.

— Вы здесь не ходите в школу?

— Вот еще! Нас учат наши звери.

— А сколько вас тут?

— Пока нас десять братьев. Гляди, вон идут остальные. Я — Леон, у меня лошадь, она нас учит арифметике. А это — Клод, у него ворон, он учит нас географии. Вот Эжен, у него бобер, он нас учит строить дома. Вот Пьеро, у него попугай, он учит нас музыке. Вот Габриель, у него лиса, она нас учит садоводству. Вот Барнабе, у него ящерица, она учит нас рисованию. Вот Никола, у него белка, она нас учит гимнастике. Вот Клотер, у него пингвин, он учит нас плаванью. Вот Огюст, у него рой пчел, они нас учат геометрии.

— Выходит, тут нет никого, кто бы учил водить машину и делать телевизоры?

— А зачем? Разве у вас в классе этому учат?

— Нет, но вам было бы интересно…

— Знаешь, мы ведь только начали.

— Что-то я не вижу дома.

— Дом здесь ни к чему. Когда мы хотим, мы его себе строим сами.

— Где же вы живете?

— Вечером мы возвращаемся домой.

— Так значит…

— Ну да, и ты вернешься. Когда в классе прозвенит звонок — пойдешь обратно. Мы попадаем в парк только во время уроков французского.

— Откуда вы все?

— Из разных лицеев, из коллежей; ведь так больше продолжаться не могло!

— А как вы сюда добрались?

— Нам помогла старая хрестоматия.

Они пошли к пруду, покатались на лодке, и лошадь научила их, как сосчитать стебли тростника вокруг пруда. Потом Жерару вдруг показалось, что гаснет свет, — и он снова очутился за партой.

— Мамочка, оставь мне зеркальце, оно мне просто необходимо.

— А я что буду делать?

— Ты и без него обойдешься!

— Как обойдусь? А губы красить?

— Ну, я тебе подарю другое!

— Почему же ты сам не купишь другое?

— А вдруг оно будет хуже работать!

— Значит, опыт у вас удался? Мог бы и рассказать.

— Это очень трудно. Я не уверен, что уже все понял. Ты не бойся, зеркальце я куплю, всю копилку вытрясу…

— Да нет, милый, не надо, раз ты ему так радуешься…

— Но я хочу тебе сделать подарок!

— Подари мне рисунок.

— Хорошо. Я нарисую лошадь.

— Какую лошадь?

— Ту, что я видел во время опыта.

— Интересный, однако, у вас опыт!

— Я рад, что ты довольна.

Назавтра в парке братья спросили, не может ли он привести зверя, который научил бы. их чему-нибудь новому.

— Вся трудность в том, как привести его в класс…

— Ты же можешь взять совсем маленького зверька. Научить нас водить машину — это мысль.

— Но какого зверя мне взять?

— Это уж твое дело. Найди.

Они пошли к заснеженному холму, покатались на санках, и ворон рассказал им о лондонских больших магазинах.

Ночью Жерару приснился сон. По автостраде, ведущей на юг, мчалась машина, в которой сидели он сам и на редкость добродушный тигр.

— Не могли бы вы завтра прийти со мной на урок французского?

— С удовольствием, но я не совсем представляю, как это сделать.

— А вы спрячьтесь между страницами книги.

И действительно, в хрестоматии нашлась замечательная картинка, где был нарисован тигр. Может быть, ее нужно было вырезать? Но нет, она принялась скользить со страницы на страницу, пока не оказалась на последней. Появление Жерара с тигром вызвало восторг.

— Теперь мы с тобой братья. Видишь, у нас тут народу прибавилось. А твоим одноклассникам разве не скучно?

— Да они были бы счастливы попасть сюда!

— В таком случае, им нужно достать себе подержанную хрестоматию — и все. Только не забудь про чернильную кляксу.

Они дошли до гряды багровых скал, взобрались на них, и бобер объяснил им, как строить подвесную дорогу.

Жерар завел разговор со своим соседом по парте Альбером, который уже начал удивляться, видя его неизменно прилежным и слегка прозрачным.

— Нет, я больше не скучаю на уроках. Сказать по правде, я знаю один фокус…

— Как, самый настоящий фокус?

— Во-первых, для него нужна подержанная хрестоматия.

— Папа мне в жизни не купит! А если я скажу, что потерял свою книжку, он устроит такое!..

— Давай найдем магазин, где продают старые книги. Там наверняка согласятся поменять подержанный учебник на новый.

На поиски ушло несколько дней. Жерар приходил домой все позже и позже, мама иногда даже беспокоилась:

— Где ты был?

— В школе.

— Так поздно?

— Мы после уроков ходили в магазин, искали старые учебники.

— Опять тебе нужна книга? Да это просто разоренье! Уж не знаю, что скажет отец. Вашим учителям не мешало бы подумать.

— Нет-нет, это книга не для меня, а для нашего опыта.

Наконец они отыскали маленький магазинчик совсем рядом с новым супермаркетом, в квартале домишек, которые уже начали сносить, чтобы построить на их месте роскошный многоквартирный дом. В магазине оказалась целая стопка подержанных хрестоматий для третьего класса, и все — с одинаковыми чернильными кляксами на внутренней стороне обложки. Жерар сосчитал книги: должно было хватить на весь класс, и даже осталась бы одна лишняя. Хозяин магазина как будто не обращал ни малейшего внимания на всю эту кутерьму, а когда ребята спросили, согласен ли он обменять им новую книгу на старую, он пробурчал что-то в рыжую бороду и протянул слегка прозрачную руку к новенькой, чистой книжке.

Альберу удалось взять с собой великолепного африканского слона, который стал учить телевизионному делу.

Они пошли в джунгли, покачались в гамаках, и попугай сыграл им на органе.

Они пошли на равнину, покатались взад-вперед на трехколесных велосипедах, и лиса поведала им, как выращивать голубые тюльпаны.

Они пошли к прибрежным утесам, совершили несколько прыжков с парашютом, и ящерица научила их рисовать портрет родителей.

Они пошли в корабельную рощу, попрыгали с ветки на ветку, и белка объяснила им законы планирующего полета.

Они пошли к альпийскому леднику, съехали на лыжах по склону, и пингвин показал им диапозитивы про эпоху неолита.

Они пошли к Тихому океану, поплавали на пирогах, и тюлень проводил их в пещеры, полные раковин.

Они пошли в горную долину, переправились вброд через водопады, и пчелы доказали им теорему тридцати шести перпендикуляров.

Они пошли к соляному озеру, покружились на коньках, и тигр открыл им секрет, как выжать из машины более трехсот километров в час.

Когда последний одноклассник Жерара присоединился к остальным, взяв с собой муравьеда, который стал учить искусству теневого театра, учительница удивилась наступившей тишине. Ей захотелось пристальнее вглядеться в учеников, и тут она заметила, что все они стали слегка прозрачными. Она подумала, что нужно надеть очки.

Тем временем Жерар собрал своих товарищей на склонах поющего вулкана.

— А каково сейчас учительнице? Наверное, очень одиноко!

Перед закрытием магазина им удалось получить последний экземпляр старой хрестоматии в обмен на лучшие марки из коллекции каждого, и на перемене они подложили книгу учительнице. Результат не заставил себя ждать. В самом деле, в классе стало так спокойно! Учительница прошла сквозь зеркало в сопровождении журавля с короной на голове, который стал учить делать прически.

Однажды в класс явился инспектор. Его глубоко поразило, что все вокруг были слегка прозрачными, но так как чтение вслух и объяснения учительницы шли гладко, а в классе царил образцовый порядок, инспектор крепко заснул. Когда звонок разбудил его, никто в классе уже не просвечивал. Инспектор пришел к выводу, что виной всему — чересчур плотный завтрак.

Учительница, казалось, молодела с каждым днем. В парке гиппопотам Робера так забавно учил читать стихи наизусть, что можно было умереть от смеха. Когда настало время каникул, Жерар принялся вздыхать:

— Вот уже и каникулы!

— Значит, в школе было весело?

— Это все наш опыт, мама, все он!

— Очевидно, реформа среднего образования приносит свои плоды. Недаром за последнюю четверть ты так замечательно загорел!

Франсуа Нурисье — один из видных писателей, пришедших во французскую литературу после второй мировой войны. Уже первый его роман «Серая вода» (1951) был весьма благожелательно встречен критикой и отмечен одной из литературных премий.

Но в полной мере самобытность Нурисье как художника проявилась в его трилогии «Всеобщее беспокойство», куда входят романы «Синий, как ночь» (1958), «Мелкий буржуа» (1963) и «Одна французская история» (1966), — трилогии, принесшей писателю настоящую известность. Последовавшие за этим романы («Хозяин дома», 1968; «Алеманда», 1973, и другие) закрепили и упрочили положение Нурисье в современной французской литературе.

Любимый герой Нурисье — «средний француз», «человек с улицы», «мелкий буржуа», как выражается сам писатель. Возможно, Нурисье потому и привлекает своих французских читателей, что любой из них — будь то коммерсант средней руки, чиновник, служащий, газетчик, литератор — без труда узнает себя, свои проблемы, размышления, всю свою жизнь в судьбах персонажей, созданных писателем.

Герой Нурисье — это человек без собственной судьбы, не личность, но всего лишь индивид, чье существование формируется мыслительными штампами и стереотипами его среды, вкусами, привычками, стремлениями, нормами поведения, издавна выработанными и закрепленными в опыте сотен тысяч, миллионов мелких буржуа. Персонажи Нурисье не в силах самостоятельно построить свою жизнь — напротив, готовые формы жизни властно определяют их нравственное лицо и их судьбы.

И вместе с тем главной особенностью этих персонажей является внутреннее неприятие извне навязываемой им психологической и «поведенческой» маски, стремление утвердить свое неповторимое «я» в противовес нивелирующим требованиям окружающего мира. Герой Нурисье трагически раздвоен в своей судорожной и безуспешной попытке противопоставить себя своей среде, а по сути дела — себе самому как человеку, впитавшему и усвоившему требования этой среды; с ужасом наблюдая, как безвозвратно утекает его собственная — но ему неподвластная! — жизнь, этот герой все время находится в состоянии «всеобщего беспокойства».

Характер нравственного конфликта объясняет и напряженный психологизм романов Нурисье, пристальный самоанализ, глубокую интроспекцию его персонажей. Нурисье органически усвоил опыт психологического романа XX века — от Пруста до Натали Саррот; но он выработал при этом свою собственную, вполне оригинальную повествовательную манеру.

Однако подкупает в этом писателе не только его мастерство, не только умение осветить новые грани жизненного материала, к которому он обращается, но и та особенная искренность и увлеченность, которая возникает лишь тогда, когда человек рассказывает об очень личном, наболевшем, пережитом. И вместе с тем свой индивидуальный опыт Нурисье мыслит как воплощение коллективного опыта большинства французов, родившихся в период между двумя войнами. Не случайно один из своих романов он назвал «Одна французская история». Говоря о том «беспокойстве», которое испытывают его персонажи, Нурисье пояснял: «Я попытался определить национальный масштаб этого беспокойства, откуда и название книги. Это — история, поскольку речь идет о судьбе некой семьи, но она является именно французской историей, так как вырастает из истории Франции». Эти слова, конечно, следует отнести ко всему творчеству Франсуа Нурисье.

Frangois Nourissier: рассказ «Визит» («Une visite») опубликован в газете «Le Figaro litteraire» в декабре 1970 года, № 1281.

Визит

Что поделаешь, из дома я выезжаю все реже и реже. Началось это как-то незаметно и, наверное, это в порядке вещей. Может быть, я старею? Начинаю жить памятью? Однажды я вдруг обнаружил, что во мне произошла перемена: воспоминания обрели для меня какую-то томительную притягательность, появилась склонность к самоуглублению, словно для того, чтобы согреться. Я превратился в любителя ворошить прошлое. И вот уже путешествую по его следам.

Мы едем по дороге, обсаженной платанами. Говорят, какое-то начальство, не то в префектуре, не то в министерстве, собирается их срубить. Этого, видите ли, требует безопасность движения: молодые люди по субботам возвращаются с танцев и разбиваются. Похоже, что у начальства, когда дела плохи, сразу возникает спасительная идея: срубить десяток деревьев. Такова, должно быть, логика властей. А пока деревья проредили, и повороты дороги открылись настолько, что я вижу, как вон там, вдалеке, подпрыгивает на ухабах желтый грузовичок. Срубленные ветки сохнут в придорожных канавах. При свете зимнего дня они кажутся рыжевато-красными, словно колючий кустарник в ландах.

— Должна тебя предупредить, — говорит Луиза. — Жан не посмел тебе сказать, ты же его знаешь…

— Но ведь он, по-моему, был доволен, что я затеял этот визит?

— Он-то конечно! Он же вообще предпочитает не думать о том, что ему неприятно.

Луиза взволнована. Она всерьез увлеклась ролью примерной супруги. Видно, она стала настоящей «мадам Жан», невесткой, женой старшего сына и считает себя в ответе за фамильную честь. До чего же внушительно звучит: честь! Честь — великая сила; она шлифует слова, полирует лица. А ведь это так много значит в жизни, не правда ли?

— Мамочка просто прелесть. Делает вид, будто верит, что неприятностей на свете не бывает. Но вот отцу Жана твой рассказ пришелся не по вкусу. И не говори мне, пожалуйста, что все это — из области древней истории. Для них вообще не существует древней истории, или уж тогда все, что есть, — сплошная древняя история. Понимаешь, что я имею в виду?..

Мы почти догнали Жана. Он сидит, повернувшись к моей жене, и чувствуется, что у них оживленный разговор. Они даже руками размахивают. Так уж водится между друзьями, когда они едут развлекаться вчетвером: «Забирай мою жену, а я похищаю твою…» И машины несутся по залитой солнцем дороге. Самый подходящий момент для откровенности, для неторопливых, горьких признаний, которые ни за что не вырвутся на людях, скажем, за столом.

— Понимаешь, в твоей книге он все понял буквально, и само собой, что…

А был ли он так уж неправ, господин Д., если «все понял буквально» в моей книге? Я не умею плести небылицы. Когда я пишу, то передаю подлинные слова и воссоздаю обстановку с тем же старанием, с каким другие все приукрашивают. Вот и получается, как говорит Луиза, «само собой…»

— Ясное дело, об этом Жан тебе тоже не говорил: там будет Анна.

— Анна в Лоссане?

— Да, приехала на неделю, с двумя старшими детьми. Право, не знаю, где сейчас ее муж: не то в Ливане, не то в Нью-Йорке. Знаешь, ведь он…

Маленькие девочки, чьи мужья в разъездах, юные матери, зрелые матроны, великосветские мумии в безупречных нарядах, легкая дрожь в голосе, безжалостно-любопытный взгляд — избавлюсь ли я когда-нибудь от всего этого? Я стойко выдерживаю удар: двое старших детей, Ливан, Нью-Йорк… Восемнадцать плюс двадцать — получается тридцать восемь. Волшебная арифметика, чарующие облака на моем небосводе, маленькие девочки…

— Тебе это покажется странным, но они за все время ни о чем не догадались. Уж он-то во всяком случае. Ты же знаешь моего свекра. Он и мысли не допускает… Чего ты молчишь?

Да, молчу. От смущения или от радости? Но я вдруг прибавляю скорость. Авторские права на разглашенный секрет позволяют ездить быстро. И потому я обгоняю Жана, который поглощен разговором и не торопится. Наши жены обмениваются вежливыми гримасками, словно две девчонки. Ну кто скажет, что нам всем вот-вот стукнет сорок!

Луиза умолкла: наверно, обескуражена моей невозмутимостью или же злится на себя, что не сумела придержать язык. В конце концов, какое ей дело до первой любви ее золовки? Абсолютно

никакого. А она зачем-то завела этот разговор, выведывает чужие секреты, как старая кумушка. От одного этого, чего доброго, морщины появятся. До Лоссана — двенадцать километров. На такой скорости можно доехать за десять минут. Он что, вздумал поразить меня своим искусством водить машину? Как тоскливо ехать по ровной дороге…

— Луиза, — говорю я. (Она быстро оборачивается, пожалуй, даже слишком быстро.) — Луиза, скажи, а приходило им в голову — там, в Лоссане, — что я мог любить Анну? Понимаешь, *любить!* Найдется в их словаре такое слово, или они для этого чересчур добропорядочны?

(Бог ты мой, но ведь за двадцать лет я ни разу… Они должны были призадуматься… Какой же я дурак!)

— Видишь ли, двадцать лет назад я был просто мальчишка. Наивный, плохо воспитанный мальчишка. Даже, можно сказать, совсем невоспитанный. Другое дело — Анна. Анну ждало совершенно ослепительное будущее. Сама понимаешь: Ливан, Нью-Йорк… Забавная история, верно?

То была еще эпоха велосипедов, стертых шин, усеянных резиновыми заплатками. В июле я с трудом одолевал подъем к Лоссану. Солнце нещадно жгло окрестные виноградники. И вот та былая усталость вызывает у меня странный рефлекс: я переключаю скорость, и удивленная машина, натужно ревя, взбирается в гору. Приходится даже притормозить, когда впереди вырастает каменная ограда и в ней слева — все те же ворота и четыре тумбы, соединенные попарно цепями. Все те же? Нет, их перекрасили в светло-голубой цвет добротной, первосортной краской. В доме, где царит порядок, только война может облупить краску на воротах.

— Похоже, все это не производит на тебя никакого впечатления, — замечает Луиза. — Сердца у тебя нет, что ли?

Сначала надо проехать через сосновую рощицу. Сосны совсем захирели, но зато вдоль аллеи посадили кипарисы. За поворотом аллеи — маленький виноградник, круто поднимающийся к дому. Под колесами сердито похрустывает гравий дорожек, и звук этот говорит о роскоши и покое. Мои прежние горести вдруг снова оживают. Уместны ли они сейчас? Луиза права, если я верно ее понял: сердце чувствуешь тогда, когда оно сжимается. Значит, не так уж я постарел: чем ближе к дому, — а мы сейчас едем очень медленно, — тем сильнее я ощущаю ком в горле, словно клубок воспоминаний. Дом — такой же ли он, как прежде? Наверное, обрезали деревья: вокруг серо-розового здания стало просторнее. Или это зима все оголила? Я слышу, Луиза говорит мне: «Отен требует, чтобы машины ставили только справа, за тремя каштанами».

Еще минута — и мне придется дать бой.

В моей памяти эти летние сезоны набегают один на другой. Сколько их было? Два-три, не больше. Но таких долгих! А потом жизнь — как бы это сказать? — сделала с нами все, что хотела. Жизнь или ее противоположность. Разве не здесь была наша настоящая жизнь с ее необоримыми страстями и коварными уловками, разве еще когда-нибудь слова имели для нас такую силу — да что я говорю: то были не слова, а клинки, — и разве забудешь раны, нанесенные ими друг другу! Я бы мог дать пощупать шрамы… Ну ладно, ладно, преувеличиваю…

Луиза отряхивает пальто, поправляет прическу. Услышав скрип шагов по гравию, я оборачиваюсь. Вверх по аллее, где мы только что проехали, поднимается господин Д. Кажется, он с неодобрением разглядывает следы колес на гравии. В руке у него перчатка, садовые ножницы и связка бечевок. Что таит в себе его лицо? Шагов за десять от нас он подымает голову, седовласый и суровый. Никогда я не видел его таким красивым. Вдруг он останавливается передо мной как вкопанный. «Эй, приятель! Чего прячешься? Испугался?» Я сразу вспомнил, что на мне темные очки, и понял, что господин Д. этим обижен. Но смотрит он приветливо. Я снимаю очки церемонным жестом, как снял бы шляпу, и говорю: «Добрый день, месье», — а голос у меня — готов поклясться! — тот же, что был в пятнадцать лет. И мы дружно заявляем, что время с тех пор будто и не двинулось с места.

Господин Д. заходил в комнату Жана поздно вечером, мы к тому времени успевали всласть наговориться и так накурить, что в трех шагах ничего не было видно. Он был очень высок ростом. «У вас тут не продохнешь, здоровяки!» — говорил он и заставлял нас открыть окна. Тогда была война, и нам приходилось сначала выключать свет. Беседа продолжалась шепотом, в темноте, и к ней примешивался сладкий трепет опасности. Однажды летним вечером — комендантский час уже наступил, и было решено, что я останусь ночевать у Д., — со двора до нас донеслось чье-то хриплое дыхание. Даже неискушенные подростки мгновенно разгадывают смысл этих звуков. И долго мы

сидели неподвижно в душной ночи, густой и черной, как чернила, хихикая, прислушивались и чувствовали, как дрожат у нас руки.

Мы втроем подымаемся к дому. Беседа течет непринужденно. И только подчеркнутая любезность господина Д., его церемонно-насмешливый тон дают понять, что ему не по себе. Нас выручают из неловкого положения Жан и моя жена; почти одновременно с ними появляется госпожа Д., которую я называл когда-то «тетя Диана» и которую теперь целую так порывисто, что она удивлена. Еще не высвободившись из моих объятий, госпожа Д. оглядывается на Женевьеву, определяет на глазок ее рост и вес, обволакивает долгим нежным взглядом и, решив, что для декабря она слишком легко одета, снимает с себя шаль и набрасывает ей на плечи: «Идемте скорее пить чай, дорогая…»

В большой желтой гостиной стоит теперь и мебель из лионской квартиры: ее перевезли, когда господин Д. вышел на пенсию. Помню, кузина Софи говорила: «Цвет старого золота! Боюсь, он тебе скоро надоест, бедная моя Диана». Теперь «старое золото» вполне заслуживает свой эпитет. И тут я понимаю, что этот цвет, который так нравился мне в доме Д., выражает самый дух этого дома и характер его владельцев: цвет роскоши, но уже слегка поблекшей, приглушенной временем и невзгодами. Мы разговариваем. Не правда ли, как замечательно быть взрослым и не блуждать больше от одной воображаемой пропасти к другой? Наши взаимные любезности ласково светятся, словно фарфор и серебро на этом чайном столе. Слова непринужденны и пусты, как привычные жесты. И я, конечно же, попадаю в тенета этих слов и забываю о том, что так глубоко запрятано в моей душе и всегда может взбунтоваться.

Когда появляется Анна, — я точно знаю, что она пять минут провела перед зеркалом, сначала наложила косметику, потом сняла, и что она нарочно не стала переодеваться, — когда она появляется, в желтой гостиной возникает легкое оживление. Вот замечательный сюжет для романа. Жаль, что я не умею их писать. Все слова, приготовленные для Анны, — такие нежные, дерзкие, бесстыдные, обидные, вдруг вспархивают и летят, — минуту мы молча глядим друг на друга, и мне думается: тишина, слышно, как слово пролетит, — несутся ей навстречу, но не узнают ее в этой цветущей молодой женщине. Анна? Кто здесь Анна? Где здесь Анна?

Прежде я думал, что лица у людей остаются неизменными. Я не знал, что с годами уроды становятся изысканными, а дураки внушительными, что юные девушки превращаются в грудастых матрон с хриплыми голосами. О мой меч, кто вложил тебя в ножны? А глаза? Я думал, хоть им-то можно довериться. У тебя глаза были серые с золотыми искорками, как у кошки. Теперь они уже не блестят, они просто серые. Золото ушло из них со слезами первых бессонных ночей, когда болел ребенок, когда долго не возвращался муж. Все в тебе говорит мне «вы», даже губы, которые научились улыбаться — на званых обедах, должно быть. А я знал тебя иной: неукротимой, суровой, вероломной или обезумевшей от страсти… Тетя Диана протягивает тебе чашку; господин Д., втянув щеки, раскуривает трубку; Женевьева украдкой поглядывает на часы: скоро она решит, что дозы молодости, которую я принимаю, с меня довольно.

А потом? Потом были фотографии, на которых мы, конечно же, узнавали друг друга; комод из «моей» комнаты, давно уже выставленный на лестничную площадку, и под вечер — неторопливая прогулка: «Не будем далеко заходить, дамам холодно». Дети Анны разглядывают мою машину, непохожую на автомобили семейства Д. Машина явно привела их в восторг, сейчас начнутся вопросы. Девочка и мальчик. Мальчик через десять лет будет раскуривать трубку классическим движением, выработанным несколькими поколениями его предков. Девочка — «ее зовут Диана, как бабушку», — сказала мне Анна вполголоса — обернулась к нам. На ней лиловые джинсы и черный свитер. До чего же она длинная. Ничто на свете не могло бы смягчить это лицо, словно состоящее из одних острых углов. Она взглянула мне прямо в глаза. «Видишь, — тихо говорит Анн а, — видишь, здесь все по-прежнему. Побольше бы нам скромности, верно?»

Немного погодя — прощальные возгласы: «Вы даже не представляете себе, какое удовольствие доставили нам вашим визитом!» Я включил газ. Пора было зажигать фары.

— А знаешь, они совсем не такие скучные, как ты рассказывал, — заметила Женевьева.

Детство Алена Прево, начавшись в Париже, закончилось на плато Веркор: в 1943 году его отец, писатель и ученый Жан Прево, вместе с сыном перебрался в леса Веркора для организации партизанской войны против фашистских оккупантов. Летом 1944 года там началось восстание, сроки которого были согласованы с лондонским штабом генерала де Голля. Макизары и все население сражались героически, но ожидаемой помощи от союзных войск не получили. Фашисты зверски расправились с повстанцами. Смертью героя погиб Жан Прево.

Трагические впечатления детства — в основе первого произведения Алена Прево «Безвестные герои» (1956). Во втором романе «И все-таки желаю удачи...» (премия критиков за 1957 год) возникает «реальность войны вчерашней и войны сегодняшней»: бесчинства гитлеровцев в горах Веркора, бесчинства оасовцев на земле Алжира. С этой книгой «нервный» талант Прево обрел зрелость. Драматизм судеб двух друзей — крестьянина Микарема (критики сравнивали его с Кола Брюньоном) и художника Бираса, восставшего против колониализма, — воплощен в колоритных образах, ярких диалогах, в динамическом скрещении событийных планов. Обывательской обыденности Ален Прево противопоставлял романтику морских просторов, героев-мечтателей, которые «живут ради того, чего избегают другие, и спасаются от того, к чему другие стремятся» (роман «Шхуна Миньом», 1959). Радостное общение с землей, лесом, просторами родного края (роман «Порт отрешенных», 1967; новелла «Прощай, Булонский лес!» и др.) всегда казалось ему условием обретения верных жизненных критериев.

В книге «Порт отрешенных» бьется тревожная мысль о горе миллионов, которое контрастирует с сибаритской безмятежностью «цивилизации потребления» (действие части романа происходит в США в годы войны в Корее). «Надо научиться самому и научить других скорбеть о тысяче погибших в тысячу раз безутешнее, чем о гибели одного — даже если это твой друг или брат. Грош цена тому, кто остается равнодушным к смерти незнакомых ему людей», — так формулирует автор идею этой книги.

Алену Прево чуждо элитарное представление об искусстве. Вместе с одним из своих друзей, крестьянином Гренаду, он написал историю его жизни; демократизации культуры Прево способствовал, работая в редакции журнала «Травай э кюльтюр» и в агентстве Франс Пресс.

Ален Прево любил жанр новеллы и с интересом следил за его развитием, посвятив этой проблеме ряд лекций. Многие сюжеты его рассказов находили продолжение в романах (рассказ «Микарем» и роман «И все-таки желаю удачи...», новелла «Атропос» и роман «Безвестные герои», повесть и роман под названием «Влюбленные из Эвиля»). Прево был истинным рассказчиком, — писал Вюрмсер, — «рассказчиком-реалистом, для которого наблюдение значило больше, чем воображение, а рассказанная история — то есть истина — больше, чем литература».

Alain Prevost: «Adieu, bois de Boulogne!» («Прощай, Булонский лес!»), 1972.

Новелла «Прощай, Булонский лес!» входит в одноименный сборник.

Прощай, Булонский лес!

Он не из тех швейцаров, что красуются в парике, с цепью на шее и в лаковых сапогах. У Шамфоля всего лишь скромный синий костюм, фуражка, три медали и увечье, полученное в бою. Взорвавшаяся граната оторвала ему кусок правой руки вместе с четырьмя пальцами. Остался только большой, который он для вида старательно высовывает из кармана.

Каждый день он занимает свое место на площадке второго этажа за столом, покрытым зеленым сукном. Неизменны орудия его труда: календарь, внутренний телефон, блокнот с печатными бланками: «Имя посетителя», «Цель визита», «Час».

Поначалу ему было очень тоскливо в Париже. Он это предвидел. Не по своей воле он оказался в изгнании. Ему пришлось покинуть родные места из-за чрезмерного усердия господина мэра-депутата, который выхлопотал для него эту должность. Шамфоль прекрасно понимал, что отказаться невозможно: в глазах земляков он сразу превратился бы из героя в ничтожество.

И он пошел все равно как на войну. Даже хуже. В армии, по крайней мере, вас кормят, поят, говорят, что делать. А в Париже — пустота. Комнатка в предместье — пустая. Стол на площадке лестницы почти всегда пустой. На улице, в поезде, в метро — незнакомцы с пустыми глазами. Он всех боялся: продавцов, официантов, парикмахеров, контролеров, прохожих. Мысленно он обращался к ним: «Меня зовут Альбер Шамфоль. Я из Баланвиля на Луаре. Я человек порядочный, служу на хорошем месте…» Он никуда не ходил, кроме булочной и бакалеи на углу. Банкам он не доверял и держал сбережения в кассе взаимопомощи. Всегда худой, он стал кожа да кости. И разговаривал он, даже мысленно, только с самим собою.

Потом он открыл для себя большие магазины: цены на всех товарах, печатные рекламы. Никто не обращал на него внимания: он мог по полчаса стоять в нерешительности перед пирамидами мыла, сахара или бутылок с оливковым маслом. Сделав покупки, он бродил по рядам под музыку, несущуюся из громкоговорителей. Он записывал цены, щупал ткани, разглядывал перочинные ножи, радиоприемники, посуду, художественные изделия. В следующую субботу он отправлялся в другой магазин, сравнивал цены, обстановку, количество покупателей. Дома он сверялся со своей книжкой кассы взаимопомощи и соображал, что лучше купить в рассрочку — стиральную машину или полотер.

Вторым его открытием была статья «Не левша ли вы?» в медицинской рубрике одного еженедельника. Он смотрел на свою здоровую руку, как будто видел ее в первый раз. Здесь бугорок, здесь углубление, тут так называемая линия судьбы. Пальцы послушно двигались, исполняя его приказания. От «а» до «зет». Шамфоль проделал все испытания, рекомендованные статьей. Какая радость! Его неповрежденная рука оказалась годной!

Милая, драгоценная рука! Целые месяцы потратил он на то, чтобы обучить ее вещам, которые она давно должна была бы знать. Он написал автору статьи и за вознаграждение получил от него пособие по тренировке рук. Шамфоль жонглировал теннисными мячами, неутомимо мял в руке каучук, копировал рисунки, переписывал тексты. Скоро он научился писать левой рукой лучше, чем раньше писал правой.

— Здорово я их всех обштопал! — говорил Шамфоль сам себе.

Теперь, вспоминая земляков, он хихикал. Проходя мимо кабинетов чиновников, думал: «Знали бы они…»

К нему возвращалась уверенность в себе, он начал осваиваться. Подсчитав, сколько тратит на дорогу, он решил, что дешевле будет снять комнату в Париже, и нашел подходящую в десяти минутах от министерства. У него освободилось два часа в день для прогулок. Он обнаружил Сену. По воскресеньям он пробовал удить рыбу, но предпочитал прогулки и доходил пешком до Булонского леса. Он брал с собой корзиночку с завтраком. Щеки его порозовели. Он отпустил усы.

Сидя за своим столом на площадке второго этажа, он думал о зелени и о деревьях. Придумывал новые маршруты в Булонском лесу, который он знал теперь вдоль и поперек. Он всегда старался обходить все людные места: Поло, Багатель, площадки для игры в кегли. По книге он научился различать птиц. Зимой он находил их следы на снегу или в грязи. Весной разыскивал пристанище уток в прудах. Однажды ему удалось подглядеть фазана. Теперь, когда шаги посетителя на лестнице прерывали его мечты, он недовольно морщился.

Со своими собратьями он мало общался. Во-первых, он сидел далеко от них — на втором этаже. И, кроме того, возраст: они все были старше, и его алжирская война не тянула против их мировой. Единственный, кто останавливался поболтать с ним иногда, был Барбо, ветеран колониальных войск. Именно от Барбо узнал Шамфоль, что швейцары прозвали его Робинзоном. Он не отважился сразу спросить почему. Кроме американского боксера-негра, он не знал никаких Робинзонов. При чем тут он? Слишком лестное сравнение. На всякий случай он поискал «робинсона» в словаре птиц:

ничего похожего.

Как-то утром, когда Барбо стал распространяться об арабских племенах, Шамфоль не утерпел и спросил его:

— Какой Робинзон?

— Робинзон Крузо, из книги. На твоем месте я не стал бы обижаться. Они это не со зла.

В следующую субботу Шамфоль помчался в книжный отдел магазина Бон-Марше.

— Мадемуазель, мне нужен «Робинзон Крузо».

Барышня предложила ему на выбор несколько изданий: сокращенных, полных, с иллюстрациями для детей. Он выбрал самую толстую книгу. Какое откровение! В то воскресенье он не пошел в Булонский лес и весь день просидел у себя в комнате, читая приключения знаменитой жертвы кораблекрушения. Роман стал его хлебом насущным, его молитвенником. Он перечитывал его без конца. Он и думать забыл про газеты: в этой старинной истории куда больше правды!

Вместе с Робинзоном он обставлял пещеру, приручал коз, импровизировал огород. Он выучил наизусть целые страницы и постепенно всю первую часть книги, до появления Пятницы. Тут интерес Шамфоля ослаб; он знал по опыту, что в Париже преданного друга не найдешь.

И он остался один на своем острове, ибо комната стала для него островом в полном смысле слова. Он начал с того, что купил холодильник, обеспечивший ему большую автономию. Плитку заменил плитой с духовкой и решил сам печь хлеб. Стены он украсил чучелами птиц, приманками в виде голубок и сов. Разыскал старинные гравюры, тропические пейзажи. Утром он вставал на час раньше, чтобы навести порядок в своем царстве.

Наконец он купил тетрадь и начал вести дневник по примеру своего кумира: «Я, Альбер Шамфоль, вынужденный вот уже восемь лет жить в этом городе Париже, решил не унывать и заносить в сей журнал события моей жизни».

Происшествия на работе, случавшиеся к тому же весьма редко, Шамфоль не регистрировал. Он отмечал прежде всего температуру воздуха, направление ветра, ход облаков. Вечера трех первых дней недели посвящались отчету о воскресной прогулке: число и порода замеченных птиц, найденные следы, которые он перерисовывал в тетрадь и сопровождал указанием, в какой день и час и на каком месте они были им обнаружены. Он фиксировал появление цветов, первых побегов, первых желтых листьев.

Для наблюдений он приобрел бинокль. Он стал покупать книги: «Швейцарский Робинзон», «Два года каникул» и т. д., но они показались ему скучными, он предпочел сочинения об охоте. Теперь он реже бывал в магазинах, но обзавелся каталогами, чтобы быть в курсе цен. Планируя воображаемые путешествия — восемь дней в Африке, шесть дней на Амазонке, — он экипировался с головы до ног благодаря каталогам.

Его очень интересовали охотничьи ружья, патроны, амуниция, баллистика. Когда Барбо был в настроении, Шамфоль читал ему целые лекции о достоинствах и преимуществах карабинов и ружей различных калибров.

— У тебя все они есть?

— Да нет же. Зачем они мне? Где мне охотиться? Не в Булонском же лесу!

Вот почему тот же Барбо, живший в Дурдане, предложил как-то Шамфолю:

— Если ты так увлекаешься охотой, будущей осенью в нашем охотничьем обществе освободится вакансия. Можешь вступить.

Шамфоль чуть в обморок не упал. Хотя дело было в феврале, он пожелал немедленно внести взнос. Смел ли он верить? Он и надеяться не мог ни на что подобное.

С тех пор Шамфоль жил как в лихорадке. Хватит ли шести месяцев на все приготовления? Прежде всего надо купить ружье! Нет, как раз этого-то и не следует делать. Сначала изучить местность… потом выбрать подходящее оружие.

В следующее воскресенье он поехал в Дурдан. Барбо познакомил его с лесником. Рана и медали произвели соответствующее впечатление. Шамфоль заплатил за две экскурсии. Лесник повел с собой будущего члена общества, они обошли всю территорию: четыреста гектаров лесистых равнин, несколько лугов, огороженные поля вдоль ручья. Выпавший накануне снежок скользил под ногами. Лесник шагал быстро, Шамфоль не отставал, гордясь своей выдержкой. На белом ковре он видел

следы дичи: тут зайцы, а тут голуби копались в снегу. Повсюду подлесок и кусты. Когда деревья оденутся листьями, здесь ничего не увидишь в двух шагах.

— У вас есть собака? — спросил лесник.

Вот задача! Без собаки дичь затеряется в густой зелени. Как быть? Шамфоль рад был бы завести жесткошерстного фокстерьера, верного друга, Пятницу наших дней.

Немыслимо!

Нельзя же на целый день оставлять пса одного в комнате. Невозможно брать его с собой в министерство. Нелепейшие идеи лезли Шамфолю в голову: он даст объявление в газетах, женится на первой попавшейся женщине и поручит жене стеречь собаку… но жена — значит, дети, денежные затруднения, — тогда прощай охота!

— Придется мне самому быть собственной собакой!

Пассажиры поезда Дурдан — Париж с удивлением оглядывались на чудака с усами, который бормотал: «…сам себе собака… да, собака…» Но тут поезд въехал на мост, шум колес и грохот переплетов заглушил голос усача, и люди спокойно вернулись к вязанью, к газетам, к своим мыслям. Шамфоль ничего не замечал вокруг: в мечтах предвкушая будущее, он носился по лесу, застывал перед следом зайца, пером фазана, он прятался за кустом, чтобы поглядеть, как кабаны переходят ручей, он подражал крику куропатки, и самцы сами сбегались на его зов.

Он купил ружье марки «сент-этьен», легкое, двадцатого калибра, с короткими дулами: не нужно ни автоматического выбрасывателя, ни портупеи. Остальное обмундирование истощило все его ресурсы: непромокаемая куртка, патронташ с карманами, сапоги, тирольская шляпа, охотничья сумка и сорок патронов.

Оставался вопрос стрелковой практики. Обучение в тире вещь дорогая, Шамфоль взял минимум уроков, но последовал совету инструктора: «Прогуливайтесь с палкой и прицеливайтесь во все, что летает». Он купил палку и по дороге на работу прицеливался во всех попадавшихся голубей, строго корректируя себя: «Слишком поздно… высоко… низко… этого я взял!» Он выходил на пять минут раньше и делал крюк по бульвару Сен-Жермен, где голуби летали быстрее, чем в переулках.

Весна в тот год выдалась дождливая. Шамфоля это беспокоило, но тревожился он не о себе, а о фазаньих выводках. Каждое воскресенье он уезжал. Прощай, Булонский лес! Каким жалким казался ему этот парк теперь, когда он увлекся охотой! Поскольку он боялся показываться в Дурдане до открытия охотничьего сезона, чтобы лесник не заподозрил его в браконьерстве, он попробовал съездить в лес Фонтенбло, но нашел его слишком редким, чересчур многолюдным. Марли и Рамбуйе больше напоминали местность, где ему предстояло охотиться. В мае он добрался до Сенара. Из-за густых кустов и папоротников некоторые уголки этого леса были совсем непроходимыми. Он все же забирался в самую гущу, часто даже на четвереньках, и обнаруживал норки, гнезда. Как-то раз он спугнул лисицу, потом козочку. В гуще зарослей, в лужице величиной с носовой платок — выводок сизошеек. К вечеру прилетели утки. Зарывшись в мох, Шамфоль не смел прицелиться в них палкой. Если их спугнуть, они больше не вернутся. Понаблюдав за ними, он удалялся ползком так осторожно, что у него уходило полчаса на то, чтобы добраться до тропинки, пролегавшей всего в тридцати метрах оттуда.

Отпуск он провел в отеле в Шанрозе на опушке леса. В часы аперитива местные жители разглагольствовали об охоте. Он снисходительно прислушивался, сознавая свое превосходство: «Держу пари, они и понятия не имеют, что совсем неподалеку гуляет заяц и стая фазанов. Ах, если бы я оказался здесь к началу охоты, я бы им показал, чего я стою!»

Приближался сентябрь. Охотники в долинах уже стреляли рябчиков и перепелок. Через две недели открытие охотничьего сезона в лесах. Шамфоль с трудом засыпал по ночам. Он пересчитывал в уме всю живность, которую видел летом. Каждый заяц, утка, фазан, лиса являлись ему там, где он их повстречал: На опушке, на прогалине, в чаще. И во сне он не мог избавиться от перьев, мордочек, ушей, шелеста листьев.

В последнее воскресенье он снял комнату в отеле в Дурдане. Прежде чем лечь спать, он проверил свое снаряжение, разрешение на охоту, членский билет, патроны. Довольно ходить с палкой, завтра он возьмет ружье! Погасив свет, он закрыл глаза, и ему тотчас представилась вереница зверюшек: фазаны забирались в заросли, стайками семенили куропатки, кролики рыли новые ходы в норках. Забившись между изголовьем и подушкой, Шамфоль воображал себя зайцем в засаде. Дрожа от страха, он прислушивался к шуму ветра в листве, стараясь среди разных звуков различить тяжелые шаги человека или приближение собак.

Можно ли сказать, что он проснулся? Было ли это странное забытье сном? Свет проникал сквозь жалюзи. Когда он открыл их, яркое солнце ослепило его. В полном обмундировании он спустился вниз и позавтракал без всякого аппетита. Он не спускал глаз с часов, не решаясь выйти слишком

рано, боясь опоздать. Приближаясь к лесу, он услышал выстрел. Он бросился бежать, но сдержался: «Если я запыхаюсь, я буду плохо стрелять». Взлетело несколько голубей. Он углубился в лес по первой попавшейся тропинке.

Какое кошмарное утро! Все его раздражало. Стреляли справа и слева, по течению ручья. При каждом выстреле он вздрагивал от возмущения, от страха: они стреляли по его дичи. Ему хотелось быть одновременно всюду, а он был нигде, ничего не видел.

Вон заяц перебегает через дорогу! Поздно, его и след простыл.

За его спиной взмах крыльев: голубь, фазан? Но где он, где?

Время шло. Шамфоль с отчаянием глядел на часы: двенадцать часов, два, три, четыре. Он забрался в чащу. Вооружившись палкой, он ворошил кусты, разгребал листья. Каблуком проваливал норы. Вернувшись на тропинку, он встретил охотников с полными сумками. Он всех их ненавидел. Какая-то собака с кроликом в зубах искала своего хозяина, а тот звал ее откуда-то издалека: «Апорт, Рапид, апорт…»

От усталости, что ли, или от огорченья ружье, казавшееся таким легким, оттягивало ему руку. Ноги ныли, хотелось посидеть. Тогда наверняка появится какой-нибудь зверь, а он даже не сможет выстрелить. Выстрелить хотя бы разочек, как ему этого не хватало! А почему бы не выпустить заряд наугад в какую-нибудь ветку или просто в пространство?

Прислонившись к дереву, Шамфоль терпеливо ждал. То приближавшийся, то удалявшийся лай показывал, что где-то выследили дичь. Продержится ли она до темноты? Выстрелы стали реже. С криком пролетел дрозд — первый предвестник ночи, поднялся ветерок. «Как жарко!» — подумал Шамфоль. Он положил сумку, расстегнул патронташ, распахнул куртку. Собака больше не лаяла. Спасся ли зверь? Или убит?

Есть ему не хотелось, он решил попить водички и вспомнил, что нарочно взял такую бутылку, которую не жалко будет выбросить, чтобы освободить в сумке место для дичи. Прислонив ружье к сгибу правой руки, он жевал бутерброд с сыром и старался утешиться. В следующее воскресенье, в какое-нибудь другое ему повезет. Целых четырнадцать воскресений оставалось до закрытия охоты. Или бросить все, продать ружье и патроны? А о чем тогда будет он мечтать, сидя за столом перед пустой лестницей?

Фазан опустился на тропинку и замер. Сколько времени глядели они друг на друга? Фазан сделал три шажка, вытянув голову. Одно движение, и он улетит. Шамфоль не мог отвести от него глаз. Хлеб с сыром в руке мешали ему. Фазан подошел ближе, заколебался. Шамфоль затаил дыхание. «Видит ли он меня? Чует?» При движении голова птицы переливалась разными красками: синяя, зеленая, опять синяя. Фазан осторожно ставил лапки, словно боясь западни.

Все произошло мгновенно, как только Шамфоль шевельнулся. Фазан взлетел. Шамфоль выстрелил, и птица упала. Шамфоль побежал с криком: «Подстрелил! Я подстрелил дичь!»

Фазан упал в заросли. Шамфоль пробирался туда, сначала во весь рост, потом ползком, обдирая лицо и руки. «Ах, если бы у меня была собака!» Он искал лихорадочно, вне себя от возбуждения. Сначала он нашел перья, потом увидел фазана в двух метрах от себя. Он был жив. Он забился к подножью дерева, и тело его пряталось в листьях, но голова высовывалась, и блестящий глаз, окруженный кольцом красных перьев, не мигая глядел на человека. «Если я двинусь, он улетит. Серьезно ли он ранен? Чем сразу спугнуть его, лучше подождать. Он ослабеет, умрет, может быть?»

Разве что… Шамфоль представил себе, как он поймает птицу живьем, отнесет к себе, выходит, приручит.

Глаз закрылся, голова упала, снова поднялась. Глаз открылся. Фазан умирал.

Какая тишина! Ни шороха вокруг, кроме щебета дроздов. Человек и птица замерли неподвижно. Умереть так глупо после стольких полетов, пения, вылазок на кукурузные поля, купания в пыли, водопоя у ручья. Умереть бескрылым, обескровленным… Шамфоль вспомнил свое ранение. В тот день он тоже боялся людей. Он лежал в изнеможении и ждал, пока противник найдет его и прикончит… Он ловил ухом приближение тяжелых шагов… Сердце Шамфоля билось в унисон этим шагам, Шамфоль теснее приник к земле, но ветки захрустели под ним, выдавая его… Враг обнаружит его, выстрелит в упор.

Раздался выстрел, и он похолодел.

Послышался голос:

— В кого ты стрелял?

— Там кролик в зарослях.

— Ты уверен?

— Пошли собаку.

— Рапид! Ищи! Апорт!

Шамфоль услышал, как бежит собака, приближается, замедляя бег, проявляет беспокойство и недоумение и, пятясь задом, убегает прочь.

И снова голос:

— Ты видишь, там ничего нет.

Шаги удалялись, голоса тоже, голоса, чуждые этой тишине. И наконец лишь шелест ветерка, или это журчанье ручья доносится сюда? Где-то далеко прокричал фазан, переживший этот день. Шамфоль не завидовал ему. Ведь впереди еще четырнадцать воскресений.

Темнело. Откуда тьма? С ней вместе пришел холод. Исходя от сердца, он распространился по ногам, рукам, пока они не онемели. Шамфоль не думал о себе. Он беспокоился, умер ли фазан или так же, как он, ждет, блестя в темноте глазом, не понимая, что с ним произошло.

О книге

Книга подготовлена пользователями библиотеки . Читайте или скачивайте эту и другие книги на сайте библиотеки бесплатно и без регистрации.

Адрес публикации:

Примечания

1

Здесь и далее указываются основные сборники новелл и рассказов данного автора, а также источник публикуемого текста.

2

Да будет свет *(лат.).*

3

Одюбон Джон Джеймс (1780–1851) — американский ученый-орнитолог, автор книги «Птицы и четвероногие Америки».

4

Да. Вы симпатичная французская девушка, моя дорогая! *(англ.).*

5

Война такая же работа, как и все прочие *(англ.).*

6

Рисунки А. де Сент-Экзюпери.

7

«Рай земной» *(исп.).*

8

Социальное положение *(англ.).*

9

Не борьба, а война за жизнь *(англ.).*

10

Рома и кока-колы *(англ.).*

11

Хозяин кабачка *(исп.).*

12

Бакалейно-табачная лавка *(итал.).*

13

Актриса, исполняющая главную женскую роль *(итал.).*

14

«Ад», «Новая жизнь» *(итал.).*

15

Кальдер Александр — американский скульптор, создатель абстрактных подвижных конструкций из металла и дерева, лауреат Международной художественной выставки в Венеции (Биеннале, 1952 г.)

16

Мотор! *(итал.).*

17

Пошел! *(итал.).*

18

Прошу тишины! *(итал.).*

19

Тихо, ребята! *(итал.).*

20

Вот перевод начала «Диалога Моды и Смерти»:

— Мадам Смерть, мадам Смерть!

— Подожди, пробьет твой час, и я приду без зова.

— Мадам Смерть!

— Убирайся к дьяволу! Приду, когда ты этого не захочешь.

— Разве я не бессмертна!.. *(Прим. автора.)*

21

Стихи Поля Жеральди здесь и далее перевела Л. Гулыга.